

Даниил Гранин

2

Даниил
Гранин

2



Даниил Гранин

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ



Ленинград
«Художественная литература»
Ленинградское
отделение
1989

Даниил Гранин

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ВТОРОЙ

Рассказы и повести
·
Путешествия



Ленинград
«Художественная литература»
Ленинградское
отделение
1989

ББК 84.Р7

Г 77

Оформление художника
Б. ОСЕНЧАКОВА

Г $\frac{4702010201 - 060}{028(01) - 89}$ подписное

ISBN 5—280—00862—1 (Т.2) © Состав. Издательство «Ху-
дожественная литература»,
ISBN 5—280—00860—5 1989 г.

Рассказы и повести

ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ

Вечерами внизу, где сидела дежурная, собирались командировочные, или гости, как они тут именовались. Там урчал кипятильник, за длинным столом стучали в домино, гоняли чай и трепались. Что еще делать командировочным людям осенними вечерами в таком городке, как Лыково?..

Кира заходила в дежурство Ганны Денисовны. Подруги они были. Поначалу Чижегов ничего особенного в ней не заметил. Если б ему сказали, что вскоре он будет страдать и мучиться из-за этой женщины, он посмеялся бы, такая она была невидная. И ведь если бы ему так сказали, то наверняка ничего и не было бы. Потому что Чижегов давно перестал помышлять о чем-либо таком, обстоятельная и серьезная его натура с годами целиком приспособилась для работы и домовитости. И сам он привык, что женщины, с которыми у него бывали короткие командировочные романы, смотрели на него как на семейного человека, никаких планов им и в голову не приходило.

С ее появлением разговор за столом не то чтобы менялся, а перестраивался, в том смысле, что большей частью начинали обращаться к ней. Она из тех людей была — в каждой компании есть такие, — которые неизвестно отчего становятся центром. Кто бы что ни говорил, посматривал на нее, ожидая от нее одобрения или какого-нибудь слова.

Потом уже, когда они выяснили, с чего же у них началось, Кира призналась, что до той истории с иностранцами она ничем не выделяла Чижегова.

Иностранцы, два инженера из ГДР, приехали на лесобиржу по закупке леса. Поместили их в единственный люкс с телефоном и радиоприемником. В лыковской гостинице иностранцы останавливались впервые.

Накануне из райисполкома проверяли, инструктировали, но, конечно, предусмотреть всего не могли; поздним вечером обнаружилось, что приезжие, ничего не объяснив, выставили в коридор у дверей свои туфли и легли спать. К тому времени, когда Чижегов спустился вниз попить чаю, нашелся специалист по заграничной жизни, который разъяснил, что по тамошним порядкам обувь выставляют, чтобы ее чистили. Ганна Денисовна наотрез отказалась — с какой стати, она собственному мужу сапог не чистила, да и не ее это обязанность. И нет у нее ни крема, ни щеток. За столом обсуждали ситуацию, кто посмеиваясь, кто всерьез. Что получится, если иностранцы найдут утром свои штиблеты нечищеными, как отзовется это на престиже гостиницы и какого мнения будут о Лыкове в Европе. Тут кто-то заметил, что хорошо, если туфли достоят до утра, очень свободно за ночь они могут исчезнуть, за всех не поручишься. Смешки смешками, а Ганна Денисовна разнервничалась, и директор гостиницы, вызванный несмотря на поздний час, тоже зачертыхался. Не пост же выставлять к этой обуви. Директор был однорукий инвалид Отечественной войны, и Чижегов, глядя на него, вдруг раесердился, встал, подошел к дверям люкса, громко постучал и вошел.

Он по-немецки сказал, что у нас не принято выставлять ботинки на ночь, каждый сам себе чистит, нет у нас такого обслуживания, рабочих рук не хватает... Сердясь, он выпалил это залпом, чем напрасно смутил немцев, они оказались простыми ребятами, долго извинялись и назавтра вечером пили со всеми чай и играли в шашки.

Но в тот вечер Чижегов стал героем. Конфузясь от внимания, он ушел на крыльцо покурить. Вскоре вышла, собираясь домой, Кира Андреевна, спросила его, откуда он так знает немецкий. Надо сказать, что он и сам не понимал, откуда что у него взялось, специально язык он не изучал, наслушался, когда служил в армии под Берлином. Кира Андреевна позавидовала ему — великое дело способности к языкам, она, например, полностью неспособна и дочери передала свою бесталанность. За разговором не заметили, как Чижегов пошел ее проводить. Насчет дочери он вызвался помочь, у него самого было двое сыновей, он любил возиться с ребятами.

Один раз он и в самом деле позанимался с ее дочкой, шестнадцатилетней модницей, пообещал еще как-нибудь заглянуть, потом на заводе началась горячка, и Чижегов так и не выбрался. Отладив регуляторы, он вернулся в Ленинград, и снова вызвали его на лыковский завод только в июне. В первое воскресенье, взяв у начальника энерголаборатории Аристархова снасти, Чижегов отправился порыбачить. Рыбак он был небольшой, нравилось ему бездумно нежиться с удочкой на берегу, энергичной его натуре для отдыха нужна была хотя бы видимость занятия. На этот раз не успел он закинуть, как потянуло, и сильно, и Чижегов, чтобы не сорвалось, сошел в воду и, чертыхаясь, проваливаясь по колено и выше, повел вдоль берега. Рыбина тащила его долго; он продирался за ней по камышам, молясь лишь, чтобы жилка выдержала. Прошел под мостом, с которого ему свистели ребятишки, миновал купальни. На его счастье, речушка разделилась, и в омут рыба не пошла, а вильнула в протоку за песчаным островом. С хлюпом и треском, ломаясь сквозь ивняк, Чижегов выскочил на травянистый спуск, на этакую замкнутую кустами прогалину. Посреди нее лежала женщина. Она лежала совсем голая, раскинувшись на безветренном солнышке. Это была Кира Андреевна. Ему показалось, что она спит, но в это время она подняла голову. И что его поразило — нисколько не испугалась. В первый момент, правда, она дернулась, собираясь прикрыться, а потом, словно передумав, разморенно так повернулась на бок и, подперев голову, стала смотреть на Чижегова, очевидно не признав его в этом залепленном черно-зеленой тиной, всклокоченном рыбаке. Вид у него и впрямь был дикий. Он остановился, выпучив глаза, пораженный бесстыдным спокойствием, с каким она продолжала лежать, покраснел, попробовал отвернуться.

Рыба, не считаясь с его переживаниями, рванула со всей отчаянностью, леска лопнула. Чижегов поскользнулся на камне и шлепнулся в воду. Он поднимался, ругаясь от боли и досады. Кира Андреевна засмеялась. Она села, обхватив колени руками, и смеялась. Чижегов выбрался на берег, по-собачьи отряхнулся, избегая смотреть на нее, а все равно видел ее слабо загорелые груди, прижатые к коленям, складки ее живота. Он поздоровался, назвав ее по имени-отчеству, надеясь, что она смутится, но она вгляделась и, узнав его, еще пуще захохотала.

Так и началось у них. Все произошло со смехом, само собой, как бы нечаянно, и вечером, засыпая, Чижегов подумал о ней, как думают о гулящих бабах, довольный главным образом собой.

Впоследствии он не раз пытал ее: так ли она вела бы себя, если бы появился не он, а кто другой. Кира все уклонялась, убеждая, что узнала его; в конце концов он добился: она сказала, что женщина она одинокая, свободная и может позволить себе. Странно, что это ее откровенное рассуждение и обидело его, и чем-то поправилось. Он подумал, что так лучше, никаких у него не будет обязательств.

Приезжал Степан Чижегов на лыковский завод примерно раз в два-три месяца отлаживать автоматические регуляторы. Почему они разлаживались, неизвестно, разные были предположения, однако с того раза, как запероли партию готовых деталей из-за неправильного режима, дирекция настояла, чтобы институт регулярно присылал человека для проверки. Летом и осенью командировки эти устраивали Чижегова — из Лыкова он привозил домой яблоки, вяленую рыбу, грибы. Зимой было хуже. Единственное, что как-то примиряло, это Кира. Нравилась она тем, что не докучала и ничего не требовала. Придет Чижегов, и хорошо; что есть, то и праздник. Никаких планов не строила, не загадывала, не было в ней ни прилипчивости, ни бабьего желания обязательно власть забирать.

И постепенно Чижегов доверился ей. Семью свою он ценил и гордился и детьми, и женой, которая вела все хозяйство и успевала работать в ателье. Она была веселой и умной женщиной, и Чижегов старался не доставлять ей никаких огорчений. После армии он, случалось, запивал и погуливал, в последние же годы не то что уgomонился, а стал беречь жену и перед сыновьями не хотел показывать себя плохо.

Отношения свои с Кирой Андреевной Чижегов считал баловством, ничего более. Прошел год с лишним с того июньского дня, и Чижегову казалось, что ничего не изменилось. В Ленинграде он почти не вспоминал о Кире Андреевне. Появлялась она для него, когда он приезжал в Лыково. Уже в поезде, подъезжая, он представлял, как позвонит к ней в контору и она, узнав его голос, притворно деловым тоном условится... И тут он вспоминал, что надо было бы привезти ей что-нибудь, какой-нибудь пустяк: чулки, кофе, шариковую ручку, —

было неловко, что опять он забыл, но тут же он успокаивал себя тем, что, может, и ни к чему приучать ее.

А может, и ей самой странным показался бы такой подарок. Она скучала по Чижегову, но он понимал, что говорит она так, чтобы доставлять ему удовольствие. Видимо, ее тоже устраивали их нечастые встречи, которые пока что не вызывали никаких толков. В Лыкове его мало кто знал. Заводские жили большей частью в поселке, в трех километрах от города, да и среди заводских общался он главным образом с лаборантами и Аристарховым.

В самом Лыкове они никуда вдвоем не показывались, встречались с предосторожностями. Приходя в гостиницу, Кира держалась свободно, Чижегова даже озадачивало ее искусство. За столом она заигрывала с Чижеговым, подтрунивала над ним, никак не выделяя его; нахальное это актерство вгоняло его в краску.

Кира же объясняла ему, что так оно лучше, безопаснее.

При всей своей осторожности она ничего не боялась и ничего не стыдилась. Летом, когда они забирались вверх по реке, она купалась при нем голая, не пряча чуть отвисающего своего живота с большим белым шрамом. В ласках она тоже была бесцеремонной, жадной и нисколько не щадила Чижегова.

Утомившись, они лежали, не касаясь друг друга. Кира рассказывала о себе, о погибшем муже-летчике, о дочери, о делах своего леспромхоза, и хотя Чижегов никак не участвовал в этой ее жизни, было интересно ее слушать. Как-то она показала ему старые фотографии. На велосипедах с какими-то спортсменами; у самолета в летном шлеме; на юге в купальнике. Толстоногая курносая девчонка — сходство с дочкой было, но в пользу Киры, она была куда ярче, озорнее. Это совпадало с ее рассказами, как она охотилась с отцом и как с мужем, тогда еще женихом, вытащила из проруби маленького цыганенка...

Чижегову становилось грустно оттого, что он не знал ее в ту пору. То была нелепая, хотя и обычная ревность мужчины к тому, что молодость ее досталась другим и в этом бурном веселом прошлом его не было.

Кира, утешая, терлась холодной своей курносостью о его шею. Если бы они встретились лет пять назад, то все бы уже давно кончилось. Да и не нравились ей тогда такие серьезные, семейные, занятые важными делами,

ей нужны были красавцы, весельчаки. Жесткая ладошка, загрубелая от домашних стирок, от огородной лопаты, гладила, ворошила его волосы, и Чижегов чувствовал жалость к отцветающей ее женской судьбе. В такие минуты старался не смотреть на нее...

Зимой Кира часто задерживалась на работе. Однажды перед отъездом Чижегов, не дозвонясь, зашел в контору попрощаться. В комнате ее сидели пришедшие лесники, заготовители. Из раскрытых дверей тянуло дымом, парной теплыню. Стоя в сенях, Чижегов различал в шумном споре быстрый, хозяйский ее голос. Шла какая-то распря с заготовителями, и она мирила и тут же совестила, отчитывала. В сени вышел парень в шикарной нейлоновой куртке, прикурил у Чижегова и в сердцах выругал Киру: цепляется по пустякам, берется судить бабьим своим умом, ничего не смысла. Руганул ее скорее с досады и, отведя душу, вернулся, с ходу встряв в разговор. Кира наперекор всем честила какого-то инспектора. Воровать не мешает — вот и вся его заслуга. Кто не мешает, тот им и хорош. А Грекова выжили за то, что спуска не давал. На нее закричали — жить надо, мол, давать людям, тысячи кубометров на дно идут, а тут из-за десятка кряжей жизнь человеку портят. И без того у лесников нет условий. На это она им сказала, что все они получают больше, чем в любой стране, о такой зарплате канадцы, например, и мечтать не смеют. Вот тут-то и вклинился парень в куртке — откуда ей знать, тоже, мол, международный экономист; у канадцев, при их капитализме и прибавочной стоимости, жизненный уровень будь здоров... Но она с ходу подсекла его — какая с него прибавочная стоимость, при его работе он любого капиталиста по миру пустит. Ему бы там, в Канаде, и на кусок хлеба не заработать...

И так это у нее складно повернулось, что все загрохотали, а Чижегов, радуясь за нее, с обидой подумал, почему с ним у нее нет серьезных разговоров, а вот у всех этих мужиков был к ней, оказывается, и другой интерес, не такой, как у него.

На улице кружила метель. Кира провожала его до моста. У Троицкой церкви постояли в каменной нише под облупленной фреской божьей матери. Было за полночь. Городок спал. Ветер колотил оторванным железным листом. Сухой снег не падал, а поднимался в черное небо. Чижегову странно было: взрослые люди, а ведут себя будто старшеклассники; стоят обнявшись,

молчат — и не скучно. Почему-то вспомнилась ему девушка из офицерской столовой в Потсдаме, как они гуляли и он угощал ее орехами. Надя ее звали. От нее вкусно пахло земляничным мылом, она тянула Чижегова за мочки и говорила: «Ох ты, человек два уха». Чепуха, а не забывается. И ей, Наде, может, помнится это, и она рассказывает мужу или кто там у нее теперь есть, и тот ревнует ее к Чижегову и к давней берлинской ее службе.

Ему захотелось сказать Кире что-нибудь хорошее, чтобы в одинокой своей жизни, когда у них все закончится, ей было бы что вспомнить. Но на ум приходили шутки и приговорки, которые он когда-то уже говорил жене или совсем чужие, из кинокартин...

Сразу после майских праздников Чижегова вызвали в Лыково: забарахлили потенциометры. Первые два дня он возился до вечера и не позвонил Кире. То одно, то другое; он не спешил, даже приятно было оттягивать встречу. На третий день в обед телефон не ответил. Вечером он пошел к ее дому, окна были темные. Повертелся, подождал, вернулся в гостиницу. Дежурила Ганна Денисовна. Чижегов поболтал о том о сем, наконец как бы между прочим осведомился, почему давно не видать Киры. Он догадывался, что Ганне про них кое-что известно, хотя виду она не подавала. На его притворное равнодушие, не подняв головы от вязания, обронила, что позавчера Кира уехала в Новгород. Немного потомив его, нельзя же без этого, добавила, что Кира скопила отгульные дни и решила погостить у своих.

Чижегов сел за шашки. Рядом стучали в домино, пили чай из толстых граненых стаканов, и все это привычное вечернее житье показалось Чижегову нестерпимо скучным. Он вышел на улицу, гулять не хотелось, и спать было рано. «Как же так, как же она уехала?» — тупо и обиженно повторял он, не находя объяснения. Впервые он не застал ее. Он привык к тому, что она всегда здесь, стоит ему приехать — и они увидятся, как только ему захочется. Что ж это она делает...

Назавтра его пригласил к себе на день рождения начальник энерголаборатории Костя Аристархов. Собиралась приятная компания. Аристархов был холостяк, и лаборантки взялись приготовить стол и советовались с Чижеговым, вовлекая его в свои планы.

Будь Кира в городе, он бы пошел, позвонил ей, сказал, что нельзя ему не идти, и пошел, и веселился бы, вот в чем парадокс. А теперь у него всякая охота пропала. Отговорился нездоровьем и вечером кружил у ее дома, не зная, куда себя деть. Ни с кем разговаривать не хотелось. Ничего не хотелось. Такая пустота, такая тоска его забрала, что представить не мог, как еще четыре-пять дней маяться до отъезда без нее. Городок этот, Лыково, с его перекопанными улицами, которые ремонтировали много лет, с редкими фонарями, палисадниками, старым заколоченным под склад гостиним двором, стал дырой, глухоманью, непонятно было, чего ради он, Чижегов, торчит здесь. Он долго не мог заснуть. Ему вдруг подумалось: неужели и Кира вот так же томится без него, когда он в Ленинграде. Никогда раньше ему это в голову не приходило. Ей-то приходится месяцами ждать, да и когда он здесь, то ведь тоже не каждый вечер они видятся. Неужели ей тоже бывает так пусто без него, и некуда деваться, и все в неохоту? Уже почти два года так, да это ж страшно подумать, если примерить к себе. Нет, такого быть не может, успокоил он себя, у нее дом, дочь, друзья-приятели, она ж ни разу ему не пожаловалась. Но тут в памяти его возник один осенний прошлогодний день, когда они гуляли по лесу перед его отъездом, потом распрощались, и он, как всегда, пошел к железнодорожному мосту в обход, а она мимо мукомольни. Что-то Чижегов позабыл, журнал, что ли, вернулся и издали увидел, как она сидит на поваленном бревне, где он оставил ее, опустив голову, руки сцеплены... Он подходить не стал, чувствуя, что лучше не вникать, осторожно попятился и ушел — черт с ним, с журналом. И еще кое-что было, чего он старался не замечать.

Чтобы отвлечься, он стал думать о работе. Тонкий механизм потенциометра двигался перед его глазами, все увеличиваясь в размерах. Латунные контакты величиной с бульдозер, скрежеща, ползли по медному шоссе, надвигались на Чижегова; можно было различить неровный их ход, они подпрыгивали, круглые, твердые, чем-то знакомые, а вот чем именно, он понять не успел.

То ли это привиделось во сне, то ли сообразил засыпая, но наутро он мысленно повторил, чтобы не забыть. И в автобусе, и на работе картина эта не выходила у него из головы. Он чувствовал, что это чем-то похоже на то, что творится в регуляторах. Постепенно

что-то накапливается в их электронном организме и разлагивает его. Следовало бы сесть и додумать до конца. Но сейчас он не хотел ни на что подобное отвлекаться. Хоть какое открытие — не его это обязанность исследовать, искать причину. Его дело отрегулировать и сдать, и до свидания. По инструкции следовало отключать плечо за плечом, замеряя каждую цепь в определенной последовательности. Чижегов решил рискнуть. Выбрать наугад. Не совсем, конечно, наугад, а полагаясь, так сказать, на чутье. В случае удачи он выигрывал почти двое суток от положенного времени. Существовал один шанс из четырнадцати. Не повезет, тогда придется начинать сызнова, и целый день на-смарку.

Старшая лаборантка Анна Петровна, подключая приборы, вопросительно посмотрела на него, Чижегов молча кивнул. Перед тем как замкнуть цепь гальванометра, Чижегов взглянул в окно. За частым переплетом синело пустое небо. В душе его замерло.

Не то чтобы он молился. Древнее чувство, переданное поколениями предков, неведомых ему, безотчетно заставляло его делать то же, что делала его бабушка, когда вот так же в крайние минуты жизни, подняв глаза к маленькому городскому небу, истово шептала. Давно позабыл он ее изначальные, всегда одни и те же слова, похожие на стих, да и саму бабушку почти не помнил, а вот это осталось: не молитва, не бог, а мольба, к судьбе своей, что ли...

Стрелку гальванометра отбросило к нужному делению. Чижегов обнял Анну Петровну. За четыре часа все было исправлено, собрано, запломбировано.

Он сдал работу и попросил Аристархова отметить командировку вперед на два дня, поскольку ему хочется заехать к приятелю под Новгород.

Сперва он сходил посмотреть Кремль, восстановленные заново башни, белую громаду Софийского собора, купил билет в Грановитую палату, но дожидаться впуска терпения не хватило. План у него был такой — встретиться с Кирой как бы невзначай: надо же, повезло, не то чтобы специально искал, заехал город посмотреть — и нате вам, кого вижу. Пусть не поверит, зато самолюбие не ущемляло.

Сдерживая себя, походил вокруг бронзовой махины памятника тысячелетию России, где не убывали экскурсанты, толпились, разглядывали, спрашивали про

бесчисленные эти фигуры. Князя, патриархи, полководцы, композиторы неразличимой каруселью мчались перед Чижеговым. В другое время и он по книжечке опознал бы каждую историческую личность, кто есть кто, а тут на ум ничего не шло.

...Прошел час, второй, как он сидел, укрывшись за ларьком перед домом ее тетки. Ждать было приятно, как бы что-то доказывал, квитался, потом уже сидел по-упрямому, без чувств. И когда она вышла, даже не обрадовался. Может, еще потому, что была она не одна, с целой компанией, шесть человек, трое на трое.

Ресторан «Детинец» помещался в Кремлевской башне. Под кирпичными сводами горели свечи, была удобная полутемь. Чижегов сел поодаль от Киры, пристроился к компании студентов-узбеков.

Одета Кира была нарядно, впервые он видел на ней полосатое синее с белым платье, крупные металлические бусы или ожерелье, бог его знает, как это называется, и браслет. Губы ее были накрашены грубо-вызывающе. Справляли, судя по всему, какое-то семейное торжество, чокались, Кира что-то произносила, и с ней целовались.

Чижегов заказал графинчик, угостил студентов, он быстро захмелел и все просил не обращать на него внимания. Spина его вспотела, словно оттуда, от Киры, через весь зал дышало на него жаром. Впервые он видел ее в такой обстановке, на людях; у нее шла какая-то своя жизнь, неизвестная ему, были родные, друзья. Ему-то казалось, что когда он уезжает, ничего не происходит, все останавливается и оживает лишь при его появлении. Выходит, и без него она живет. Почти не оборачиваясь, краем глаза он видел, как ее сосед, черноусый, в вязанке, с кожаной блестящей грудью, обнял Киру.

— Вы, папаша, местный? — спросил Чижегова узбек. Чижегов обиделся — рано таких сыновей иметь, что еще за обращение. Но тут же подумал: а как, кроме папаша, называть: студент — он «молодой человек», а Чижегов — какой он человек? Сколько есть разных слов — и не хватает. Вот и ему подойти сейчас к Кире, сказать — какими словами? Тоже нет таких слов. Мысли эти были непривычные. Он смотрел на длинные ресницы молоденького узбека, на нежные красивые его

щеки и чувствовал себя старым. Папаша. Неловко извинился, распрощался.

Наверху, на балкончике заиграли гусли, ряженые в расшитые рубахи. Один гуслик был в роговых очках, другой с длинными модными баками.

Чижегов, кривя губы, подошел к ее столу, поздоровался, назвав по имени-отчеству. Ради этого мгновения все и было, оно все искупало, все ради того, чтобы увидеть, как изменяется ее лицо, эти переходы радости, испуга, растерянности. Конечно, она пригласила его к столу, хотела познакомиться, разве что на миг замешкалась, и микросекунды эти обостренным чутьем своим он уловил, поняв, что он тут чужой, непрошенный. Поймал напряженную улыбку ее тетки, лицом похожей на Киру, любопытство розовой толстухи с накладными волосами. Мужчины, те ничего не заметили, приняли его, должно быть, за сослуживца, усач гостеприимно, по-хозяйски велел потесниться. Почему-то это особенно уязвило Чижегова. Не скрывая усмешечки, он отказался, поскольку уже откушал и не желал нарушать приятной компании, — все это ерничая: где нам, дуракам, чай пить, — и поклонился слишком низко, и, прямо держась, пошел, спустился вниз, надел пальто, взял чемоданчик.

Медлил, ожидая, выйдет ли она. Ему надо было проверить, может ли она бросить всех ради него. Для этого и говорил таким тоном, стоя у стола. Доказать, доказать всем и самому себе. А если не выйдет, что тогда?

Надо было уходить, он понимал, что самое лучшее уйти, и не уходил. И когда она сбежала вниз, Чижегов, придушив свою радость, пьяно потребовал, чтобы она оделась и пошла с ним. Не то чтоб он был пьян, у него было как бы равновесное состояние — он мог быть пьяным, а мог держать себя в руках. Ему не терпелось проверить свою власть. И этого, он чувствовал, тоже не следовало делать. Кира не перечила, вздохнула, подчинилась с охотой, уже на улице рассказала, что праздновали они серебряную свадьбу тетки, тот мужчина с усиками — племянник мужа тетки, только что приехал из Финляндии.

Чижегов почувствовал себя виноватым и еще сильнее озлился. Вместо того чтобы вернуть ее назад, он молчал и быстро вел ее через мост, в новые скучные кварталы железобетонных домов, все дальше от Крем-

ля. Начался редкий дождь. Кира спросила, зачем он приехал в Новгород. Он услышал надежду в ее голосе и назло с усмешкой сочинил про дела на заводе, и так сочинил, чтобы не оставить ей ни малейшей надежды. Дождь полил сильнее, надо было бы переждать, но Чижегов шагал все так же размашисто, словно была у него какая-то цель. Он слышал, как она задышалась, и ведь жалел ее, а не останавливался. Ему было бы легче, если б она плюнула и оставила его здесь, так ведь нет, она послушно спешила за ним, как бы нарочно, чтобы доконать его, чтобы он признался, прощения попросил. Ну что ж, раз она так, и он так, и посмотрим, кто кого перетакает.

Наконец она остановилась, сняла платок с головы, вытерла мокрое лицо, прическа ее развалилась, волосы обвисли. За что он мучил ее? Она так и спросила. Он стоял стиснув губы. Она посмотрела на его лицо, в котором не было ни жалости, ни любви, и заплакала.

На этом они и расстались. У Чижегова было противно и муторно на душе. Утром, подъезжая к Ленинграду, он думал о вчерашнем, о том, как хорошо ему было, когда он ждал ее, сидя на лавочке за ларьком, и как потом почему-то все получилось скверно. Он все старался понять, отчего так произошло, зачем он испортил ей праздник. Он представлял, как они могли бы вместе погулять по Кремлю в Новгороде, благо никто их не знал, могли бы ходить под руку, не таясь.

Выходя из поезда, он твердо решил позвонить ей в Лыково.

Дня через два после работы он заскочил на переговорную. Дежурная сказала, что Лыково дадут в течение часа. Чижегов подсчитал: к тому времени Кира уйдет из конторы. Да и сидеть, ожидая вызова, тоже не хотелось. Он подумал — не написать ли. Купил рядную открытку, но словами писать такие вещи было невозможно.

В начале августа, согласно расписанию, Чижегов собрался ехать в Лыково. Перед самым отъездом он загрипповал и пролежал неделю. Как-то днем раздался частый междугородный звонок. Дома был младший сын. Слышно было, как он сказал, что папа болен. Чижегов крикнул ему, прошлепал в коридор, взял трубку. Он думал, что это Аристархов, но это была Кира. Сын стоял рядом. Чижегов откашлялся и сказал, что выздоравливает, ничего опасного, скоро приедет; он ничем не

выдал себя, в такие минуты он умел найтись. «Не беспокойтесь, Анна Петровна», — повторял он, вспомнив старшую прибористку. И тут он услышал, как Кира заплакала: «Я не Анна Петровна, не хочу быть Анной Петровной, не хочу». «Да, да, привет Аристархову», — ответил он и повесил трубку.

Отчаянный ее голос продолжал звучать в его ушах.

Перед отъездом он купил духи за шесть рублей и коробку конфет. Пришлось сказать дома, что это просили девушки из энерголаборатории. Он иногда прихватывал в командировку кое-какие мелочи, потому что волей-неволей надо чем-то одалживаться у лаборанток.

Жена ничего не ответила, усмехнулась грустновато. Чижегов вспомнил, что с некоторых пор она перестала расспрашивать его про Лыково и больше не просила взять с собой ребят. Усмешка ее была слишком заметна, и он знал, что она знает, что он обратил внимание на эту усмешку, так что промолчать было нельзя. С привычной заботливостью она укладывала в чемодан носки, белье, но ему казалось, что делает она это еще старательней, чем обычно, как бы с укором. Руки ее, гибкие, туго обтянутые кожей, совсем молодые руки, были красивы, давно он не замечал, какие они красивые. Чтобы как-то ответить, он сказал, что нынче собирается провести испытание, есть у него одна мыслишка, потребуется помощь Аристархова и Анны Петровны, и если получится... Слушая себя, он мельком удивился, как правдиво у него выходит, даже с упреком, и все более заводился, выкладывая вслух свои мысли. Похоже было, что он убедил Валю. От ее поцелуя ему стало не по себе. Никогда раньше эти две женщины не существовали для него одновременно, никогда он не сравнивал их и не выбирал между ними, да и сейчас он не то чтобы выбирал, он впервые обнаружил, что у него есть и та, и другая и что он должен обманывать, врать, и никак не мог понять почему, что заставляет его... Почему кроме жены, с которой ему так хорошо и спокойно и которая красива и дороже ему всех остальных, почему появилась в его жизни другая женщина, и появилась не мимоходом, не так, как бывало раньше... Зачем она так нужна ему и что же было вместо нее, когда ее не было?

Тут заключалось много непонятного, но вместо того чтобы разобраться в этом, он в поезде опять вернулся к своему разговору с женой и обнаружил, что идея его была не отговоркой, действительно можно что-то сде-

лать с регуляторами. Та смутная, неоформленная мысль, что тлела у него с прошлой поездки, разгорелась теперь: медное шоссе, контакты, и за ними он явственно видел тоненькую струйку тока, как след, она так и представлялась ему водяной перевитой стружкой, утекающей помимо фильтров сквозь какую-то дырку; где эта дырка, то есть утечка, он догадывался, хотя определенно не знал, но иначе быть не могло, он ощутил это с полной определенностью. Больше всего он боялся, что виновато тут статическое электричество, штука неуловимая, которую он скорее чувствовал, чем понимал, и знать не знал, как за нее ухватиться.

В лесу у них была недалеко от просеки со столбом «234» старая, заросшая кустами бомбовая воронка. Там они встречались, если дочка была дома.

На этот раз он позвонил ей сразу. Автоматов в Лыкове не было, говорил он с завода, в цеховой конторе толпился народ, но, к счастью, Кира сама взяла трубку. Голос ее был ровный, спокойный, пожалуй, слишком спокойный. Чижегов сперва обиделся, однако тут же вспомнил последний их разговор, ее плач и понял, что она все еще не может ему простить.

Он сделал вид, что ничего не заметил. Странное дело, ожидая ее в лесу, он волновался, и, волнуясь и опасаясь, как она встретит, он в то же время продолжал думать об утечке тока, и мысли эти, совсем посторонние, почему-то не мешали ему, даже как-то прочно сплетались с мыслями о Кире.

Она сильно загорела. Каждое лето она рано и быстро загорала, хотя загар не шел ей, делал ее похожей на цыганку. Подарки обрадовали ее и чем-то огорчили. Она поцеловала Чижегова. Обычно она почти никогда не целовала просто так, она признавалась Чижегову, что боится целоваться, особенно с ним, потому что слабеет и начинается нетерпение, нетерпение это передавалось и ему. Все, о чем они потом говорили, было уже как сквозь шум... Но в этот раз она поцеловала его спокойно, губы ее оставались мягкими. Он решил, что она не может забыть ему Анны Петровны. Он спросил, она пожала плечами и стала рассказывать, как ездила в совхоз на сеноуборку, работала на косилке, метала стога, и видно, что там было ей хорошо, потому что она развеселилась, руки ее напряглись, вспоминая эту рабо-

ту, а потом без всякого перехода, с тем же оживлением, словно с разбегу, она сказала, что получила предложение выйти замуж.

Пересохший мох потрескивал под ногами. В редком чистом лесу освещены были вершины сосен. Блестела хвоя, наверху золотились стволы, особенно много света было в макушках берез, желто-густого, переходящего в огненный, словно верховой пожар полыхал. Внизу все было пронизано косыми длинными лучами. Отсветы скользили по блестящей обтянутой кофточке Киры, с крупными цветами, по синей ее короткой юбке, по ее гладким волосам. Чижегову запомнилась каждая подробность этой картины.

Вот и все, думал он, вот и все... Оживленный голос Киры медленно снижал, словно выдыхаясь на подъеме. Оказывается, она затем и звонила в Ленинград, посоветоваться. То есть не то чтобы посоветоваться, глупое это слово, хотела услышать от него, что он скажет.

— Ты что же, любишь его? — недоверчиво спросил Чижегов.

— При чем тут любовь, — сказала Кира. — Надоело мне одной жить. Тебя ждать надоело. Пора... Сколько можно. Надо жизнь как-то устроить. Будет в доме мужик. Плохо ведь без мужика.

— Значит, не любишь... — обрадовался Чижегов.

— Любишь — не любишь, не тот у меня возраст, — огрызнулась она и вдруг встала перед Чижеговым. — Ну что ты пытаешь? Зачем? Сам все знаешь. Можешь ты сказать: выходить мне или нет? Как скажешь, так и сделаю.

Глаза ее потемнели, и в самой глубине их металлически заблестело. Чижегов понял, что так она и сделает, так и будет, как он скажет. Сейчас все от него зависело. А что ему сказать? Не выходи? И что тогда? Он точно представил, как у них потянется дальше. Сказать такое — все равно что заставить ее чего-то ждать. А чего ей ждать? И он уже будет как привязанный. А рано или поздно, как ни тяни резину, придется кончать, расставаться. Вот тогда-то Кира напомнит ему, да если и не напомнит, разве может он брать на себя такую ответственность? Лишить человека, может, последнего шанса, и что взамен? Что он, Чижегов, может дать ей? Ничего больше того, что есть, не будет. А если согласиться, то есть подтолкнуть? Он посмотрел на нее: нет, такого она не простит, никому женщина этого не про-

стит. И черт с ним, с прощением, подумал он, есть удачный повод покончить разом, отрубить. Когда-то ведь надо рубить, повторил он себе. И по-человечески если, по совести, то он обязан это сделать. Зачем же калечить ей жизнь?

— Еще года два-три — и кому я буду нужна? — сказала Кира, как бы помогая ему. — Отпусти меня, Степа. Мне твое слово нужно.

То, что она произносила, совпадало с тем, что он думал, но когда он услышал это от нее, его охватила тоска и чувство утраты, которое было невыносимо.

— Ты что же хочешь, чтоб я сам... Нет, я тебе не помощник... Да ты пойми, — с жаром перебил он себя, мучаясь от жалости к ней и жалости к себе. — Что я могу посоветовать? Что бы я ни сказал, все плохо.

Неподалеку, впереди детский голосок зааукал, ему отозвались взрослые. Грибники или ягодники. Не сговариваясь, Чижегов, за ним Кира зашли в глубь высокого малинника и сразу же сообразили, что зря, сюда-то и идут ягодники, но выходить уже было поздно. Они стояли, прижимаясь друг к другу.

— Вот видишь, — тихо сказала Кира. — Надоело мне это. Не хочу.

Чижегов молча виновато погладил ее руку. Пробежала белка. Где-то треснула ветка. Голоса приблизились, а потом свернули, отдалились.

— Кто он? — спросил Чижегов.

— Не все ли равно... Тебе-то что... Да и мне...

— Что ж, и тебе все равно?

— И мне... Человек он добрый. Будем жить как люди. Пойти ведь в кино не с кем. Да нет, ты этого не знаешь.

Чижегов почему-то представил себе того усатого, что сидел с Кирой в ресторане.

— Господи, свободная, здоровая, чего тебе еще надо. Предложению обрадовалась. Выходит, ты себя все время неравноправной считала. Из-за того, что не замужем? «Пойти в кино...» — передразнил он. — Да разве ради кино замуж выходят? Хомут такой наденешь и в кино не захочешь. Зачем тебе это? Живешь в свое удовольствие, что может быть лучше?

— А я хочу этот хомут, хочу! — выкрикнула Кира. — Мне заботиться не о ком. Галка, ну что она, она уже взрослая. Надоело мне в свое удовольствие. Если я нужна кому... — она вдруг успокоилась, ласково, как

бы уговаривая, взяла Чижегова под руку, прижалась. — Миленький ты мой, тебе этого не понять... не на кого мне себя расходовать. Пропадаю я впустую. Помнишь, ты голодный пришел в прошлый раз, для меня такое удовольствие было накормить тебя, запеканка тебе моя понравилась.

Чижегов кивал, хотя не помнил никакой запеканки и лишь ночью, засыпая, вспомнил не запеканку, а как он проснулся у Киры на кровати и увидел, как она ходит босиком по комнате, моет посуду, прибирает, и лицо у нее счастливое и чем-то гордое.

Он тогда не понял, отчего так, но сквозь полузакрытые веки любовался ее лицом и босыми ногами, которые оставляли на линолиуме маленькие матовые быстро тающие следы. И сейчас в лице ее слабо промелькнуло то самое счастливое выражение. Чижегов почувствовал, что относилось оно уже не к нему. Мысль о том, что Кира может так же целовать другого, произносить те же слова, называть «тяпкой», и тот, другой, будет видеть, как она шлепает маленькими босыми ногами, — мысль эта иглой прошила его.

Смеркалось. Они вышли к железной дороге. Тропка вдоль насыпи была узкой. Чижегов шел позади, перед ним покачивались ее плечи, под кофточкой переливалась спина.

— Чем мне возражать, нечем мне возражать, — сказал Чижегов ей в спину. — Нет у меня аргументов. Благословение тебе надо? Получай. Не бойся, я ему не проговорюсь.

— Зачем ты так...

— А что ты ожидала? Чтоб я впорядку пустился?

Он с ненавистью смотрел на ее шею, затылок, ему хотелось ударить раз, другой, с маху, чтоб она пошатнулась, застонала, закричала, заплакала. Счастье ее, что она была спиной к нему, бить сзади он не мог — с мальчишества это твердо усвоил, — а будь она лицом, может, и не удержался бы.

Внутри у него пекло все сильнее. Они вышли на опушку. За овсяным вздувшимся полем виднелись крыши, торчала водокачка, открылся догорающий, в полнеба, закат. Тут они обычно расходились, разными дорогами возвращались в Лыково.

— Что ты за человек, — сказала Кира со злой тоской.

— А всякий, — так же зло отвечал Чижегов. — Всякий я человек.

И вдруг словно сошел туман и все прояснилось перед ним. Он увидел, как они сейчас расстанутся, все кончится и наступит другая жизнь, для него другая, уже без Киры. Он понял, что теряет ее. И эта другая жизнь будет уже не жизнью. Только сейчас он открыл, как наполнены были эти два года. Впереди же теперь простиралась пустыня, мучительные часы, как тогда, в Лыкове, без нее, отныне будут длиться без конца, не часы, а месяцы, может, годы...

Что-то он произнес... С недоверием, потом со страхом он слышал слова, которые внезапно взახлеб забили, рвались, обгоняя одно другое, никогда он не произносил таких слов, а тем паче фраз, и все про любовь... Это были не его слова, откуда они брались — разные, нежные, ласкательные.

Ничего он не просил у Киры, ни о чем не договаривался, просто рассказывал, как любит ее. Он не мог заставить себя замолчать. Было стыдно, и пусть стыдно, он радовался тому, что стыдно. Зачем, ради чего нужно было это объяснение — теперь, когда все решено, — он не знал. Он произносил слова, какие вырываются в минуты, когда не слышишь, что произносится, когда они ничего не означают и предназначены для той единственной минуты и дальше не существуют. А сейчас он говорил их отчетливо, полным голосом, слышал их и ужасался этому.

Оттого, что происходящее виделось с необыкновенной четкостью, от этого казалось, что прежняя жизнь его проходила в смутности чувств. Сыновей своих он любил, но никогда не думал об этом, он помнил, как они болели, как пошли в школу, а своих чувств не помнил. Да и были ли они? Волновался ли он, когда Валя рожала? Наверное, но он не мог вспомнить как — все прошедшие события казались приглушенными, неосознанными. Острым было только нынешнее, хрипый звук его голоса, выкрикивающий эти невероятные слова.

Впервые он понимал, как важно то, что происходит. Странно: чем острее он чувствовал эти минуты, тем больше его поражало, как же он жил до сих пор не видя, не страдая, не жил, а словно дремал, словно все последние годы прошли в полудреме. Что-то он отвечал, ходил на работу, развлекался, но самого его при этом почти не было. И вот сейчас — разбудили, проснулся...

И это он тоже сказал, хотя выразить это было трудно, но откуда-то набегали нужные слова, а может, Кира понимала больше, чем он говорил.

— Зачем ты мне говоришь это... — сказала она. — Не нужно. Нехорошо это, — и заплакала.

Она прижала кулаки к глазам и плакала тихо, для себя, заглатывая горечь беды, ведомой только ей.

А почему нехорошо, поразился он, чего ж тут нехорошего; хотя той свежей чувствительностью, какая появилась в нем, догадывался почему, и все же не желал признаваться, а желал говорить и говорить, ведь это же были самые наилучшие слова, и среди них главное, которого он никогда не понимал так, как сейчас. От повторения сладость этого слова возрастала.

Кира уткнулась в кулаки, сжатые до белых косточек. Выставилась прямоугольность ее широких плеч, жилы, косо натянутые по шее. Фигура ее была хороша в движении, когда все ладно соединялось, играя силой и ловкостью. Сейчас же, застыв, она стала нескладной, грубой.

— Сам приучал меня не загадывать нас обоих наперед. — Она отняла кулаки, без стеснения открыв мокрое, в красных пятнах лицо. — Приучил. Оба мы привыкли... Что ж ты делаешь, Степа? Затягиваешь меня петлей. Теперь выходит, иначе надо жить, а мы не можем иначе, ты ведь не можешь переменить.

Он поспешно согласился, поймал себя в этой трусливой поспешности, и Кира тоже уловила это. Голос ее дрогнул от обиды. Никогда еще она не выглядела такой жалкой и незащитной. Словно несчастье пришибло ее, и виноват был Чижегов; жили и жили, мало ли что бывает, сошлись, разошлись, по-доброму, не портя той радости, какая была, зачем же надо было волю давать своим чувствам?..

Чижегов удрученно молчал. Ругал себя, а через час, в гостинице, не вытерпел и выложил все соседу по комнате, приезжему инструктору по вольной борьбе. Удовольствие было произносить это слово: люблю. Без насмешки, всерьез. «Понимаешь, вдруг оказалось, люблю ее...» На всякий случай поселил ее в Новгороде и все настаивал, что некрасивая, ничего в ней нет особенного. Раньше она казалась интереснее, и ничего такого не было, а теперь... И удивленно ругался.

— Хуже всего в некрасивых влюбляться, — опытно сказал инструктор. — Они в душу впиваются, как кле-

щи. Мордашечку, ту можно променять на другую мордашечку. У меня тоже в прошлом году... Представляешь: в очках, да еще конопатая...

Чижегов оглушенно улыбался, глядя в потолок.

Назавтра, после обеденного перерыва, Аристархов, зайдя, как обычно, в щитовую, увидел вместо отладочной схемы путаницу проводов, батарей, гальванометры и главное — разобранные, выпотрошенные регуляторы. Чижегов, блаженно улыбаясь, пытался показать ему, как накапливается заряд на пластинках. Стрелки гальванометра едва заметно вздрагивали. Они могли вздрагивать по любым причинам, но Чижегов убеждал, что это и есть то самое, та электростатика, от которой проистекают все неполадки. Никаких доказательств у него не было, чутье и путаные соображения, которые Аристархов разбил с легкостью. Однако Чижегов не сдавался. Возражения не интересовали его. А может, он вообще ничего не слышал. Глаза его смотрели ласково и неподвижно, как нарисованные. Когда Аристархов исчерпал свои доводы, Чижегов неожиданно сообщил каким-то механическим голосом, что просит отключить все регуляторы на двое суток, то есть остановить печь. Это была уж явно безумная затея. Обращаться с таким предложением к директору было безнадежно. Аристархов руками замахал, раскричался, но вдруг, посмотрев на отрешенно счастливое лицо Чижегова, сам не понимая почему, согласился отправиться с ним к директору. По дороге он опомнился. Утешала лишь надежда, что директор поймет, что он, Аристархов, отпихивается, не желая портить отношений с кураторами.

Поначалу директор нетерпеливо, подгоняюще барабанил пальцами по столу. Беспорядочная речь Чижегова, если изложить ее в записи, отдельно от него самого, вызвала бы недоумение. Аристархову стало ясно, что сейчас их выгонят. Молодой директор был известен вспыльчивой нетерпимостью ко всякой мастеровщине: на глазок, на авось, на шармачка. Вместо этого, посмотрев на Чижегова, а потом на Аристархова, он вдруг вздохнул: если, мол, они ручаются, что причина найдена, то имеет смысл. Однако под личную ответственность и при условии, и при гарантии... — но смысл его угроз никак не соответствовал сочувственному тону.

Чижегов рассеянно заулыбался, и стало слышно, как он напевает про себя.

— Что это с вами? — спросил директор, однако не у Чижегова, а у Аристархова.

— Перемагничивание происходит, — туманно ответил Аристархов.

Если бы Чижегов находился в другом состоянии, он, конечно, заметил бы, что и с Аристарховым что-то творится.

Всю субботу и воскресенье Чижегов не выходил из цеха. Окажись у него достаточно чувствительные приборы, он мог бы построить кривую накопления заряда в зависимости от самых разных штук, бывших у него на подозрении. Наверняка получилась бы неплохая научная работа. Впоследствии, когда приехала специальная комиссия утверждать изменения, введенные в схему, у Чижегова допытывались, почему да отчего, откуда известно, что нужно здесь сопротивление, а не здесь. Никаких замеров не мог представить и объяснить тоже толком ничего не сумел.

Просто пришел день, когда он почувствовал, что и где надо, — так понял его председатель комиссии, старый конструктор, с которым тоже когда-то случилось подобное.

Под утро, в воскресенье, Чижегов вздремнул на диванчике в щитовой. Проснулся он от печали. Он сел, не понимая, откуда эта печаль, потому что ничего ему не снилось и работа шла хорошо. Часы показывали шесть утра. Вскоре должны были прийти лаборанты и Анна Петровна. Надо было успеть подготовить схемы для пайки. Руки его задвигались, ноги осторожно переступали через провода, приборы, он делал все, что полагалось. Но тоска его не проходила. В окно он увидел идущих по двору лаборанток. И тут он подумал — что ж это будет? Через два дня регуляторы заработают по новой схеме — и, значит, поездки в Лыково прекратятся. Незачем будет ему ездить сюда, не надо будет ничего отлаживать, поскольку он нашел и устранил причину разладки. Сам, своими руками.

Он потрогал беззащитно обнаженную подвеску датчика. Легкий ротор послушно качнулся. Вот и все, добился, подумал Чижегов, а для чего, зачем это надо было? Ездил бы и ездил. Кому мешали его приезды, подумаешь, какую техническую революцию произвел...

Раза два он, конечно, еще сумеет напроситься — проверить новую схему. Но не больше.

Еще не поздно было взять и отменить всю эту затею. Так, мол, и так, номер не проходит. Ошибся. Прокол. Стоило чуть царапнуть сопротивление, поменять конденсатор — и концы в воду. Да и хитрить не к чему: скажет — не вышло, и все, он хозяин, хотел — придумал, хотел — раздумал... Никто не заставлял его, какого же черта...

Никак было не разобраться — что мешает ему?

Нет ведь у него такого самолюбия или амбиции, чтобы обязательно стать новатором. Дело свое он знал, авторитета хватало ему и без этого творчества. Вообще странно — чего его привело, что заставило?

Рыженькая Лида паяла. Анна Петровна выгибала проводнички. Безошибочно разбиралась в корявых набросках Чижегова. Подварили заземление. Жестянички принесли новые экраны. Монтаж подвигался уже независимо от его воли, и чем больше волновался Аристархов, тем Чижегову все становилось безразличней. В середине дня он позвал Аристархова в конторку и предложил оформить по БРИЗу всю эту бодягу на двоих. Пусть Аристархов сам доведет, испытает, а с него хватит. Он уходит. Выдохся.

Костя Аристархов, чистая душа, слышать не хотел о соавторстве: довести — доведет, то, что надо, проверит, только по дружбе, чужие лавры ему ни к чему.

— А свои мне тоже — как корове венок, — равнодушно сказал Чижегов.

Кроме лавров еще деньги будут, упорствовал Аристархов. И немалые, как он прикинул. Исходя из простоев за регулировку, плюс оплата каждого приезда Чижегова, согласно договору с их управлением, — словом, процент набегал солидный.

— Вот процент за мои приезды и возьмешь, — сказал Чижегов. — Или тебе денег девать некуда?

— Мне сейчас как раз кстати, у меня теперь обстоятельства... — Аристархов слабо покраснел и засмеялся. — Может, ты слыхал? Но если ты специально для меня, то я категорически возражаю!

Однако Чижегову было не до того, чтобы вникать в его обстоятельства. Он накричал на Аристархова и тут же заставил его подписать заявку, отнес в БРИЗ, оформил и, не заходя на пульт, уехал в гостиницу.

Скинув туфли, он зарылся головой в подушку и заснул, мертво, без сновидений. Разбудила его Ганна Денисовна. Вызывали к телефону. За окнами смеркалось. Голова у Чижегова была тяжелая, словно с перепоя. Звонил Аристархов, сообщил, что все готово к испытаниям.

— Ни пуха, — сказал Чижегов.

— А ты что ж, не приедешь?

— Обойдется.

— Неужели не интересно, твое ведь это.

— Было мое... Вот что, Костя, я с тобой не задаром уговаривался. Я свою часть отработал вроде бы сполна?.. — Чижегов почувствовал, что хватил лишку, и, смягчая, поправился: — Лучше тебе без меня, я сам в своем деле не судья.

Может, прозмеилась у него тайная мыслишка, что Аристархов напугает и все сорвется.

Он вышел на улицу, постоял у автобусной остановки. Мимо прошли трое длинноволосых парней. Они шагали в обнимку и тихо пели. Получалось у них душевно, и одеты они были красиво — в джинсах, рубашки с цветочками, только черные очки выглядели нелепо.

А что мне видно из окна —
За крыши прячется луна.

От песни щемило. От этого теплого вечера, от заночевавших в переулке машин, груженных капустой, от пыльной дороги, от дремлющих на остановке баб с корзинами брусники — от всего этого почему-то щемило, и было грустно и жалко утлую свою судьбу.

Впервые в жизни Чижегов не знал, чего он хочет. Чтобы все получилось там, у Аристархова, или, наоборот, чтобы все сорвалось. И с Кирой тоже не знал, чего он добивается. Если б его спросили еще вчера, он бы сказал, что лучше всего оставить как было. А теперь он и сам не знал. Что-то вдруг изменилось в его жизни. Он старался не думать о будущем. Раньше будущее означало только хорошее... В будущем всегда помещались удачи, премии, отпуск, поездки, встречи с Кирой... Это Будущее кончилось. Оно перестало существовать. Признание Кире сделало все безвыходным. Чижегов вспомнил, как его младший сын недавно расплакался: «Не хочу расти...»

Он дошел до кинотеатра и повернул назад.

Как-то Кира уговорила его сходить посмотреть «Даму с собачкой». Некоторые сцены ему понравились, особенно в гостинице и в театре. Было даже неловко — он представил себе, как Кира, глядя на это, думала про него и примеривала к этому Гурову. После сеанса на выходе одна девушка говорила: «Взяли бы да развелись, характеру им не хватает... когда настоящая любовь, ничего не страшно». Чижегов только усмехнулся. Не над ней, а над тем, что и он недавно точно так же рассуждал. Ему захотелось прочесть этот рассказ. В школе он читал Чехова «Каштанку» и еще что-то смешное. Вообще же классиков он не читал, тем более рассказов. Он любил мемуары про войну, детективы, и если рассказы, то когда попадался под руку «Огонек» или «Неделя». Начав читать «Даму с собачкой», он увидел, что там было не совсем так, как в кино. Не было старинных сюртуков, швейцаров и извозчиков, а был Гуров и эта женщина, которая неизвестно чем нарушила его жизнь. Куда больше оказалось сходства с тем, что творилось у него с Кирой. Положение Гурова было даже потруднее. Чижегов хоть имел причину ездить в Лыково. А этим-то приходилось изворачиваться; ох как он их понимал... Жаль было, что писатель, в сущности, не кончил рассказ, оборвал на самом жизненном моменте. Как полюбили, как сошлись — это известно, так сказать популярное явление, можно представить. Проблема в другом — выход найти из положения, в которое люди попали. Вот тут бы великому писателю и подсказать. Что же с ними дальше было. Самое актуальное тут и заключается. Ведь как-то они независимо от писателя выкарабкались, что-то придумали. Кира, выслушав его рассуждения, сказала: «Надеешься, что разлюбишь...» Говорила она и другое, а запомнилось вот это, вроде некстати сказанное.

Тогда, когда он читал, жаль было обоих, особенно Гурова он жалел, теперь самому Чижегову повернулось куда солонее.

Он вернулся в гостиницу. Внизу за столом компания заготовителей распивала пиво. Пиво было чешское, в маленьких коричневых бутылках. Чижегова усадили. Он пил и прислушивался к телефонным звонкам. Думать он ни о чем не мог, было только томление, высасывающее все мысли и чувства.

— ...Псих этот говорит: «Я торшер, выключите меня, пожалуйста», — услышал он свой голос и смех кру-

гом и удивился: такие с ним происходят события, можно сказать катастрофы, а он рассказывает байки, и никто не замечает, что с ним творится. И как это в нем сосуществует, не смешиваясь, точно масло с водой. Ему пришло в голову: а что, если и с другими происходит то же самое? Вспомнил своего начальника отдела Рукавишников, умершего от рака. Наверняка знал про свою болезнь и до последнего дня держался молодцом, скрывая от всех. Вспомнил, что Кира рассказывала про Ганку — муж ее два раза уходил, да и сейчас гуляет с одной врачихой. По Ганке разве узнаешь: сидит вяжет, всегда вежливо-приветливая. У многих, может, есть своя тайная беда. Множество людей, продолжающих жить и работать, несмотря ни на что, вдруг поразило его...

— Чижегов! — позвал кто-то.

Голос Аристархова гудел в трубке победной медью оркестра. И Анна Петровна кричала в микрофон: «Поздравляю!», и девушки-лаборантки.

— А ты боялся. Ну сознайся, боялся? — кричал Аристархов. — Мы тебя раскусили... Имей в виду, завтра устраиваю вспрыск... всех приглашаю... — и снова вздохнул, расписывал, как шло испытание, какие результаты, где чего пришлось подкрутить... С какой-то хитрой добротой он выворачивал так, что все это Чижегов предусмотрел, знал заранее, а грубил ему оттого, что волновался, сам же из гостиницы не выходил: сидел ждал звонка...

Чижегов положил липкую горячую трубку. Все-таки было приятно за Аристархова и остальных. Лично он словно не имел отношения к этому. Или перестал иметь отношение. Было такое чувство, как будто отвязался, освободился...

Он еще постоял в застекленной кабине администратора.

Одним вопросом стало меньше, как-никак облегчение. Отныне он будет автор, передовик, новатор. Творческая личность. Это с одной стороны. А с другой — прохвост, предал женщину, которую любит. Он мог гордиться собой, а мог стыдиться. На выбор. Как повернуть. И ведь что смешно — если бы он ради Киры задробил всю свою затею с регуляторами, тоже плохо было бы, тоже устыдился бы, по-другому, но устыдился бы.

Когда он вернулся к столу, там сидела Кира. Заготовители наперебой ухаживали за ней. Особенно ста-

рался рыжий добродушный толстяк, которого тоже звали Степаном.

Чижегов покраснел и не поздоровался. Все эти дни он не звонил и не решался зайти к ней; когда все свершилось, он тем более был не готов встретить ее здесь.

Кира сделала вид, что увлечена общим разговором, слегка покосилась на Чижегова, не больше чем на любого другого входящего. Он сел напротив нее, к своему недопитому стакану.

— Мы не должны ждать милости от природы, — говорил толстый заготовитель, — но пусть и она от нас не ждет милости, — и первый захохотал, намекаяще подмигивая Кире.

Она тоже засмеялась, хотя шутку эту Чижегов когда-то слышал от нее. Потом, улучив момент, негромко спросила Чижегова, все ли в порядке. Сочувственный ее голос растворил все мучения и страхи. Что ему мешает? Как просто — надо взять и уехать с ней, поплыть паромом, гулять по палубе, спускаться в каюту, сидеть на белых скамейках, любуясь на берега, слушать ее восторги. Отправиться на Урал, в Нижний Тагил, где у него друзья на комбинате; взяли бы там катер. Нет, сперва он показал бы ей огромный термический с новенькой автоматикой, отлаженный им, потом уже на катере, до порогов. А можно в Алма-Ату, погостить у старика Родченко, в его саду, где висят огромные яблоки... Не то чтобы жить, как он живет с Валею, а именно ехать куда-то, плыть, смотреть...

— Поздравляю вас, Степан Никитич. — Кира подняла стакан, и ровный голос ее легко выделился среди шума. — Большое дело, говорят, вы сделали.

Он мельком удивился: откуда это ей известно, да и казенная эта торжественность никак не подходила Кире, но принял все за чистую монету и по-идиотски заулыбался, замахал руками — мол, ах, что вы, ах, не надо.

Была Кира в том самом белом в синюю полоску платье, красиво-праздничная, с медными бусами, он даже подумал, что это специально ради него. Не понимает она, что ли, недоумевал он, растроганный ее наивным прямодушием.

И когда он, как полный слюнтяй, размяк, она небрежно выдала ему, выбирая, куда бы побольнее:

— Не скромничайте, Степан Никитич, от своих рук накладу нет. Да и то пора. Третий год как мотаетесь

в нашу Тмутаракань. С такой докуки что угодно изобретешь... Дома-то уж, поди, прсклинают Лыково... Так что с освобождением. Приходится с вас, Степан Никитич, жаль, что час поздний, а то бы выставили вас на коньячок с закуской.

Голос ее чуть сорвался, в сухих глазах полыхнуло, и все почувствовали, что происходит что-то не то. Но она откашлялась, прикрывшись платочком, улыбнулась, и сразу все заулыбались, заговорили, что коньячок кусается, хватит и белого, а Кира неуступчиво мотала головой: не жмитесь, у Чижегова премии хватит; и получилось, что премия тоже не последняя причина в этой истории, что Киру на деньги променял.

От явной этой несправедливости Чижегов побагровел, никак не мог найтись, словно стукнули его по голове. Лица размазанноплыли перед глазами. Единственное, что он видел, — отчетливо пульсирующую улыбку Киры. То маленькую в острых углах рта, то широкую, с блеском стиснутых зубов.

Так ему и надо было. По чести — следовало смолчать, пусть думает что хочет. И ведь чувствовал, что промолчать лучше, умнее, но, глядя на ее усмешку, уже не мог сдержаться.

— За отвальной, Кира Андреевна, мы не постоим, раз уж так вас волнует технический прогресс. А вот насчет Лыкова — это напрасно, городок ваш с развлечениями, не хуже других. — Сладостная злость несла его бог весть куда, да он и не оглядывался. — Жалко расставаться, да что поделаешь, Кира Андреевна, интересы производства превыше всего.

— Государственный человек, — сказал толстый заготовитель. Кира прижалась к нему, что-то шепнув, и они оба рассмеялись. С этой минуты она больше не обращала внимания на Чижегова, словно его не было. Раз, другой пробовал он вмешаться в разговор, она презрительно кривила губы, и слова его безответно пропадали.

И без того она умела быть в центре внимания, нынче же она пустила в ход все свое искусство. С каждым из мужчин она вела свою игру, каждому что-то обещала глазами, улыбкой, позволяла держать себя за руку, обнимать.

Соперничая, мужчины изощрялись кто во что горазд. Хвастались, острили, кто-то гадал ей по ладони... Стародавние, дешевые эти приемчики были хорошо

известны Чижегову, и он не понимал, неужто на Кире они могли действовать. Не замечала она, что ли, как распаленно посматривают на ее обтянутые груди. Она будто нарочно поводила ими, наклоняясь, открывая глубокий вырез. Не сразу он понял обдуманную ее игру. Все, все было у нее обдуманно, вплоть до завитых пружинок волос, что приманчиво дрожали на висках. Хотелось взять ее за эти кудельки и оттащить. Чижегов мысленно раздевал ее так, чтобы показать немолодое ее тело и вислость груди, но почему-то эта Кира была желанней, чем та накрашенная кукла, что сидела перед ним, и было непонятно, что они все нашли в ней — разбитная, вызывающая бабенка, не больше.

Ганна Денисовна подсела к Чижегову, посетовала на разлуку. Все же привыкла она к регулярным его приездам, и в гостинице должно быть что-то постоянное...

Нехитрым своим сожалением как могла утешала его, защищая от Кире. И хотя Чижегов понимал это, ему и впрямь жаль стало навсегда расставаться с этим деревянным городком, со здешними страстями лесозаготовок, льноуборки.

Ганна Денисовна не осуждала Чижегова, у мужчин другое устройство, мужчина привязывается не к месту, а к работе. Нельзя ревновать его к работе. Женская природа иная. Женщина, особенно одинокая, она незащищенная. Ее узнать потруднее, чем прибор...

— Откуда мне их знать, — рассеянно сказал Чижегов, следя за Кирой. — Уж так сложилось, что я ни разу не был одинокой женщиной.

Он вышел, стал прохаживаться за углом.

Только что прошел дождь. Дранка на крышах блестела рыбьей чешуей. Воздух посвежел.

Хлопнула дверь, потом на перекрестке показались трое. Кира была в белом плаще, в высоких сапожках. Она громко сказала:

— ...По такой грязюке... Спасибо, уж меня Степочка проводит. Как, Степочка, не откажете быть кавалером?

От этого «Степочки» Чижегова передернуло.

— Кавалеры, кавалеры, никакой нам нету веры, — придуриваясь, пропел Степочка.

Поодаль, крадучись, Чижегов следовал за этой парочкой. Стыдился самого себя. Желал, чтобы она пригласила этого толстяка к себе домой. Тогда все станет ясно. И молился, чтобы этого не было. Чтобы

оставила у себя до утра. Чтобы захлопнула перед носом дверь...

У Троицкой церкви он потерял их из виду. Заметался в темноте, шлепая по лужам. Услыхал позади смех и шепот. Застыл и, осторожно прижимаясь к стене, направился к ним. Обогнул заколоченный вход, и опять позади засмеялись. Из черноты отовсюду виделись ему глаза — темные, сухие, без блеска, они следили за каждым его движением. Шелестело, шуршало, потрескивало. Казалось, где-то совсем рядом целуются, прижимаются, скрытые этой проклятой тьмой.

...Сделав круг, Чижегов вышел к железнодорожной ветке. При свете прожекторов там грузили яблоки. Узнал несколько заводских парней. Энергетик из термического помахал ему рукой, поздравил с удачным испытанием. Чижегов взвалил на спину ящик и понес по упругому мосту в густо пахнущую яблоками глубь вагона.

Прошел час, а может, и больше, он таскал и таскал, злость медленно отпускала его, смывалась потной усталостью, приятной от этой разумной очевидной работы, от чистого доброго запаха яблок. Он подумал, что, возможно, Кира хотела успеть бросить его первой. Так ей, наверно, легче. Она имела полное на это право, решил он сочувственно, и даже к толстому Степану не осталось ничего злого. Тот-то вообще был не виноват. И своей вины Чижегов тоже не мог углядеть. Все, что он делал, он должен был делать, все по отдельности было правильно, никаких ошибок, и не в чем раскаиваться, а почему-то в результате получилось плохо, каждому из них плохо...

Два дня ушло на оформление документации. Только на третий день удалось собраться, отпраздновать. Строго говоря, работа могла считаться принятой после специальной комиссии, месяца через три. Фактически и Чижегову, и всем остальным было ясно, что причина неполадок найдена и устранена. Бог знает откуда возникает это отчетливое ощущение удачи. По правилам и теориям месяцами надо проверять, не выявится ли что-нибудь, а им, мастерам, почему-то безошибочно известно: все в порядке, вскочило, в самый раз. Поэтому, суеверно сплюнув через левое плечо, Чижегов согласился не откладывать ресторанное застолье.

Новенький ресторан в заводском поселке оформляли молодые столичные художники. Заметно, что никто не стеснял их выдумки. Столики были разгорожены то кактусами, то канатами, то обожженными березовыми плахами, и вместо общего застекленного зала получились уютные закутки, уголки, беседки, и длинный стол у стены, заказанный Аристарховым, тоже был отделен свисающими коваными цепями.

Аристархов был за тамаду. Вызывал по очереди на тосты. Почти в каждом хвалили Чижегова. Во-первых, сделал чуть ли не открытие. Во-вторых, за двое суток провернул невероятный объем работы. Анна Петровна привела в пример своего мужа — однажды при пожаре он вытащил бухгалтерский сейф, потом сам не мог его с места сдвинуть. Слова ее как бы намекали на особое состояние Чижегова, вызванное тайными счастливыми причинами. При этом многие заулыбались, но Анна Петровна обернула все на талант, вдохновение и процитировала стихи Пушкина.

Энергетик термического смешно изобразил Аристархова с его конфузливymi приговорками «я вас, Лидочка, боготворю, а вы жжете прибор за прибором, это же неаккуратно». И Анну Петровну, яростно защищающую Аристархова. А потом дико сверкнул глазами, засопел, разглядывая огурец, и посветлел, блаженно хихикая, и получился Чижегов. Общий хохот подтвердил, что похож, а Чижегов удивился, потому что никогда не видел себя.

Смеялся Чижегов громче всех, стараясь сбросить странную напряженность, которая держала его. Что это было — предчувствие? Он никогда не понимал и не верил в эти предчувствия. Не существовало никаких причин, чтобы что-то предчувствовать. Наоборот, чем дальше, тем становилось веселее, непринужденней.

Лаборантки Лида и Зоя в ярких цветастых мини выглядели не хуже столичных модниц. Мужчины чувствовали себя в смокингах, предупредительно подкладывали дамам в тарелки и старались не говорить о производстве. Аристархов как тамада был в ударе. Малиново-рыхлое лицо его источало доброту. Он смотрел на Чижегова с обожанием. Было ясно, что и вечер, и этот стол были устроены ради Чижегова. Он был героем, женщины разглядывали его с интересом, словно впервые увидели. Никогда еще не оказывали ему такого внимания и таких слов о себе не слышал. Мужествен-

ный Победитель, не убоившийся риска. Щедрый Талант, Наш Парень... И звуки скрипки нежно увивали его чело.

Чижегов добросовестно выпивал за каждый тост. Он не пьянел. Нисколько. Он трезвел. Водка смывала горечь последних дней. Вся эта накипь мутными хлопьями оседала туда, где хранится то, о чем лучше позабыть.

Окружающее становилось звонко чистым и добрым, как выпуклые глаза Аристархова. В них отражался мир, в котором Чижегов не сумел бы жить, но которым он любовался. Наверное, не было на заводе человека, обиженного Аристарховым. «Позвольте заметить, что вы нерасторопны». Или: «Вы неаккуратны» — вот наибольшее, на что он был способен. Он не умел наказывать и тем более ругать, он предпочитал страдать от чужой недобросовестности, делать за других, получать самому выговоры. На многих это действовало сильнее наказания. Как ни странно, порядок в лаборатории держался на беззащитности Аристархова. Анна Петровна и техники совестили тех, кто пользовался его кротостью. Женщины пеклись о нем особо, поскольку Аристархов пребывал в холостяках. Первая жена, красавица, москвичка, уехала от него через год после свадьбы. Причины никто не знал. Аристархов признался как-то Чижегову, что и для него это загадка. Честно ждала его из армии, а через год бросила. Перед уходом сделала аборт. Не то чтоб к другому ушла. От него ушла. Несколько лет спустя у него произошел роман с местной учительницей. Все шло прекрасно, и вдруг она вернулась из отпуска вместе с синоптиком и так и осталась у него. С тех пор у Аристархова образовался «брачный шок», как он называл. Напрасно обхаживали его местные девицы — он уклонялся как мог...

Предстояло сказать ответный тост. Чижегов встал. Все зашикали. Он вдруг представил, как они готовились к этому вечеру, продумывали, обговаривали любые мелочи. Они понимали, что прощаются, хотя никто не говорил об этом. Лыковская жизнь его кончалась. Кроме Киры были в ней и эти люди, они любили его. До этого вечера он как-то не думал об этом. Он лишается их, он расстается с друзьями, и, кто знает, стоит ли вся его придумка с регулятором этой потери. Что из того,

что несколько регуляторов станут работать надежно. Что термообработка пойдет бесперебойно. Если за все это, оказывается, надо платить. Да еще так дорого. Никогда заранее не знаешь цену, которую придется платить.

Вместо этого он сказал, что не видит своей большой заслуги, мало ли что идея, идей много, а вот воплотить ее можно было только благодаря тому, что каждый... и он пошел вокруг стола, пожимал каждому руку, а с Анной Петровной расцеловался, и с Аристарховым трижды.

Потом он поднял стопку.

— Я хочу за Аристархова Константина Акимовича, — и расписал его авторство, чтобы не было никаких кривотолков. В заключение пожелал Аристархову новых творческих успехов и счастья в личной жизни.

Последняя фраза вызвала оживление.

— В самый раз! — выкрикнула Лида.

С Аристарховым чокались, многозначительно подмигивая.

— На выданье он у нас, — пояснила Чижегову Анна Петровна. — А вы не в курсе?

— Почему же, — сказал Чижегов, что-то припоминая. — А кто невеста?

— Да Семичева, Кира Семичева. В леспромхозе работает.

— А-а-а, — протянул Чижегов. — Надо же...

Но тут грянул оркестр, начались танцы. Стол опустел. Аристархов придвинулся к Чижегову. Был он не пьян, а разнеженно-доверчив.

— Знаешь, Степа, — говорил он затуманенным голосом. — Я решил, потому что подошел предел. Мне сорок стукнуло. Детей хочу. А их надо успеть на ноги поставить. Фамилия наша древняя... Боюсь, конечно, как бы опять не сорвалось. Какой-то порок во мне.

— Ты это выкинь из головы, — бесчувственно сказал Чижегов. — Не в тебе тут дело.

— ...Наследников хочу. Ведь я тоже наследник. Во мне отец мой живет. И дед-переплетчик. И пращур. Я должен быть продолжением, а не окончанием. Сто, двести лет назад они жили — и все они живы. Во мне. А я умру, и что? Поздно, скажешь, спохватился? Так не поздно еще... Страх мне мешал, Степа... Духовное наследство, если угодно, оно самое...

Чижегов перестал слушать, тупо смотрел, как движутся толстые его мокрые губы.

Оркестр умолк. Анна Петровна подсела к ним, обмахиваясь платочком.

— Чего ты их боишься, баб... — Чижегов бросил кулаки на стол. — Их держать не надо... Пусть она за тебя держится. А мы-то... Душу открываем. Думаешь, ей душа твоя нужна, ей нужно, чтобы ты мутился...

— Глупости, — сказала Анна Петровна. — Домострой какой-то. Уж Кире Семичевой это совсем не подходит.

— Да, да, — подхватил Аристархов. — Ты понятия не имеешь, вот познакомлю тебя. Она, брат, в жизни тоже навидалась, ей покой нужен, гавань нужна.

— Она навидалась... — Чижегов усмехнулся одной половиной лица.

Анна Петровна посмотрела на него:

— Вы что, знаете ее?

— Кира... значит... Андреевна... Семичева... — Чижегов аккуратно налил себе стопку.

Официантки разносили кофе. Энергетик Илченко предлагал женщинам конфеты. Женщины отказывались, они берегли талии. У скрипача не было талии. У скрипки была талия. За соседним столом справляли именины. Земля не изменила своего вращения. Солнце не изменило угловой скорости. Ничего не изменилось. Нигде и ничего, а ведь должно же было хоть что-то измениться.

Чижегову стало весело.

— Ай да Костя, надо же так угадать. В самое яблочко. — Пустой и гулкий голос его звучал как со сцены. И ничтожная эта стопка впервые за вечер обожгла, разлилась жаром по рукам.

— Реагируешь ты... не пойму, — в растерянности сказал Аристархов.

Анна Петровна повернула Чижегова к себе.

— Закусите апельсинчиком. И кофеечку.

Илченко с другого конца спросил: о чем спор?

— О Кире Андреевне, — откликнулся Чижегов. — Понимаешь, спорная кандидатура. Есть такое мнение...

— Не надо, Степа. Нехорошо. Ты ведь ее не знаешь, — как можно тверже остановил Аристархов, но тут же сконфузился, испуганно заулыбался.

— Почему же не знаю, — заулыбался Чижегов.

Стало тихо. Чижегов попробовал поймать чей-нибудь взгляд, все глаза избегали его.

— Знаю я ее, — оправдываясь, сказал он. Махнул рукой перед глазами, словно отгонял муху. — Вся гостиница знает. Она же у нас постоянная посетительница. Третьего дня, например. Навестила. — Он подождал. Никто не остановил его. Он пригнулся, ловя взгляд Аристархова. — Ты когда звонил мне, она пиво распивала. С заготовителями. У нее теперь заготовители.

Аристархов со страхом отодвинулся, даже как-то слабо оттолкнул его. Чижегов поймал его руку, стиснул ее.

— Заготовители... Эти коблы. Понимаешь? Заготовки у нее. Новый сезон.

— Ты в каком это смысле? — тихо сказал Аристархов. — Ты зачем так...

— Святой ты человек. Не любит она тебя.

— А ты откуда знаешь? — еле слышно, одними губами прошептал Аристархов и стал вырывать свою руку, но Чижегов не отпускал ее.

— Спроси ее. Про заготовителя. Степочка, мол. Тезка мой, — все более ожесточаясь, спешил Чижегов. — Последний выпуск, то есть последний впуск. А ты... Эх ты, не знаешь, что на проходной дороге и трава не растет.

Анна Петровна в сердцах постучала ложечкой.

— Фу, кончайте, Степан Никитич. Не по-мужски это. Гадости всякие повторять... Сплетни.

— Да, да, зачем вам-то вступать, Степан Никитич, — морщась, подтвердил энергетик. — Неделikatно это. Вы человек посторонний.

Аристархов очнулся, шумно задышал, складки на шее плотно заблестели.

— Нет, это недоразумение, товарищи, вы не так поняли. Степан Никитич из лучших побуждений. От заботы. Пожалуйста, не обращайтесь внимания, я прошу вас... Верно, Степа? Я же тебя знаю. Ты потому, что добра мне хочешь. Ты так понимаешь добро, а я другому. И ничего тут плохого. Может, ему что показалось, вот он и расстроился. Мы же все тут друзья. Я знаю, вы мне только хорошего... И ты, Степа. Ты все же не знаешь ее. Ты меня прости, но это голословно все, что ты... Извини, конечно, — умоляющая улыбка позабыто дрожала на его губах.

— Да что ты все извиняешься! — крикнул Чижегов. Он вскочил, отшвырнул кресло. — Что ты все замазать хочешь! Неприятно тебе, да? Испугался. Все вы испугались... Потаскуха она. Слышите? И ты не придумывай себе. Потаскуха, — в расстановку, не оставляя сомнений, с яростью повторял он.

Затылок ему сдавило. Он чувствовал, как раздувается у него шея, голова. Больше всего ему хотелось сейчас что-нибудь разбить, кого-то ударить.

Он ждал, рыская глазами, но никто не шевельнулся. Тогда Чижегов повернулся и пошел. Он старался идти легким своим пружинистым шагом, сунув руки в карманы, но на этом скользком паркете не получалось, огромная тяжелая голова придавливала его, он чуть не упал и шел неловко, шаркаяще.

И на улице он никак не мог вернуть твердого, упругого шага, прекрасной своей походки и выправки, которой он отличался еще в армии, на гимнастических соревнованиях.

Слышно было, как в ресторане оркестр грянул полечку, посмеиваясь вдогонку длинными блестящими трубами.

От ветра в черном небе покачивались звезды, и Чижегова мотало из стороны в сторону, как лодку на широкой реке. Город со своими домами, витринами расступался перед ним, огибал его, словно все было лишь отражением в воде.

— Степа! Степан!

Его догнал Аристархов. Запыхавшись, остановил, держась за сердце.

— Погоди. Ты объясни... нельзя же так... сбегать... Может, я чего напутал... Ты посиди, проветришь...

— Не пьян я, — сказал Чижегов. — Не надейся.

— Что же с тобой? Так меня перед всеми... Ты уедешь, а мне с ними... Ты понимаешь, что ты надевал?.. — он вцепился Чижегову в плечи, белое сырое лицо его стало еще больше. — У тебя с ней было... что-то?

— Что-то... что-то... — передразнил Чижегов. — Эх ты, недопеченный.

— Позволь... Тогда это совсем... это непорядочно. Даже если у тебя всерьез. Как ты мог такие слова... Она женщина. Какое право ты имел. Она человек! Да и я!.. Совесть у тебя есть? — голос его сорвался, пискнул. Пальцы вцепились в плечи.

Чижегов ударил его по рукам и, от сопротивления войдя в ярость, ударил еще раз, по-настоящему, снизу вверх.

Хватая воздух ртом, Аристархов покачнулся, но устоял.

— Ты драться... Ты меня. За что... Ах, подлость, подлость какая, — он зажмурился, поднял перед собой кулаки.

Чижегов стоял, опустив руки.

— Не умею... — простонал Аристархов. — Стыдно. Никогда не умел. Стыдно-то как... — большое лицо его задрожало, он всхлипывал, пытался унять этот всхлип и не мог. — Боже мой, только что целовал, слова говорил такие!

Они стояли под фонарем, у газетного киоска, и прохожие почему-то не обращали на них внимания.

— Что ж ты, ударь, — сказал Чижегов. — Давай, давай, не бойся.

Аристархов помотал головой.

— Не могу. — И вымученная умоляющая улыбка задергала его губы. — Не могу...

Жалкая эта улыбка неотступно прыгала перед Чижеговым, когда он шел дорогой, затем проселком через выгон. Ночь была светлая, и он все хорошо видел, каждую выбоинку, коровьи лепешки и черное, выжженное пятно костровища. На опушке, у черемуховых кустов, он сел в мокрую росяную траву. Мысль о том, чтобы убить себя, появилась сразу, как только он отдышался, и нисколько не ужаснула его. Наоборот, был страх и отвращение к необходимости жить, а значит, искать выход, изворачиваться.

Когда-то все было просто — он садился в поезд, и Лыково пропадало. Появлялся другой Чижегов, которому было наплевать на здешние страсти, для которого существовал свой дом, семья, работа... Сейчас же эти двое, жившие независимо, раздельно, соединились, замкнулись, и больше некуда было укрыться. Было холодно и мокро. Чижегов думал, как легко, в сущности, расстаться с жизнью. Казалось бы, такой здоровый человек, и столько у него дел, и дети, и все время занят, и вот, оказывается, ничто не держит. Куда все делось? И Валя тоже почему-то стала связана с Кирой... Как же так получилось, что людям, которых он любил, он же испортил жизнь, сделал их несчастными? Он ведь не хотел этого и сделал это. Случайность? Но он знал, что

это не случайность, что это вышло из его жизни и вся прошлая его жизнь стала лишь причиной того, что случилось, и в ней не осталось ничего, что могло бы его оправдать и чем можно было бы гордиться.

Он спокойно прикинул, как он повесится и что написать в записке, чтобы не стали тягать Аристархова или Киру. Перед глазами всплыла дрожащая улыбка Аристархова, и Чижегов подумал, что независимо от записки Аристархов все равно угрызет себя, а то и руки наложит. Не то чтобы ему было жаль Аристархова, ему никого не было жаль. Но глупо, если поймут так, что он, Чижегов, испугался скандала, что из-за ревности, спьяна... Можно было уехать. Исчезнуть. Скрыться от всех. Начать где-то жизнь сызнова, и это всех бы устроило, и никому ничем не грозило. Но в голову сразу полезло насчет прописки, военного билета, трудовой книжки, разных прицепок, без которых невозможно обойтись. Он понял, что это тоже неосуществимо, да и в чем будет состоять смысл этой жизни на другом месте. Как будто все дело в том, чтобы обмануть окружающих и скрыться. От кого скрыться? И кого он боится? Он никогда никого не боялся...

Сырость пробирала до костей. Тело его дрожало, требуя движения. Он не заметил, как пошел, потом побежал. Где-то расцарапался о сук, потерял кепку. Сквозь тонкие ветки неохотно занималась заря. Он торопился, словно что-то увидел в этом бледном рассвете. Постучал монеткой о стекло. В блестящей тьме шевельнулись занавески.

...Только это, ничего больше ему не нужно было — уткнуться в ее колени, почувствовать ее. Он не слышал, что и как он рассказывал, помнил лишь, что повторял, что жить ему больше нельзя, невозможно, незачем, и слышал, как она говорила:

— Будет тебе... Ну, что с тебя взять... это ж ты от любви.

— Все равно подлость... Зачем ты выгораживаешь меня... Оба вы. И ты, и он. А я не хочу! Не надо мне...

Его колотило. Кира держала его голову. За перегородкой спала дочь. Они говорили шепотом.

— Это я виновата. Разревновала тебя. Ну, перестань. Подумаешь, обозвал меня. Да что я, девушка? Молва — что волна... — И другие легкие слова, от которых знобякая его дрожь уходила, высвобождалась из глубины тела.

Кричали петухи. Вместе с розовым светом открывалось перед Чижеговым в полной непоправимости все, что случилось. Но это уже не касалось его. По существу, его как бы уже не было. Он как бы умер, отделился от всего этого. Он все хотел объяснить ей, почему он еще не окончательно лишил себя жизни; не от боязни, а оттого, что ему надо понять смысл, и это неважно, что он еще жив, все равно он уже как бы покончен или покончит, что-то умерло в нем, и тоже не в этом дело...

— Поговорят обо мне, да надоест, — не слушая, продолжала Кира, ловко снимая с него пиджак, туфли. — Да что это за человек, о котором не говорят. Неизвестно, был он или не было его. Аристархов, тот, конечно, примет к сердцу. Сердца в нем много. Я думала, ты про нас знаешь... Ах, поди ж ты, как схлестнулось, как нарочно. Ну да ладно, все зарастет. Уговорю я его, это не твоя забота.

Ни на одну минуту он не верил ей. Не понимал, откуда в ней такое спокойствие. На что она надеялась? Как будто она что-то знала такое, что позволяло ей жить самой, не подчиняясь общей жизни.

— Для чего, для чего ты утешаешь? — допытывался он. — Ты думаешь, я поверю. Во что? Не хочу. Мне, может, так легче. Ничего не осталось, и черт с ним.

Она подняла за волосы его голову, посмотрела внимательно.

— У тебя лоб разбит.

Ловко промыла царапину, уложила на диванчик. Чижегов лежал, скрестив руки. Запавшие глаза смотрели в потолок.

— Спи, — сказала Кира и села рядом.

Он почувствовал, как засыпает, и подумал — хорошо, чтобы вот так и кончилось, и не проснуться.

...Валя была полегче и стройнее, особенно в талии. Он сравнивал их, не выбирая. Они сидели перед ним, положив руки на колени. Впервые он видел их вместе и понимал, что и ту, и другую любит, но почему-то любит уже меньше, чем любил, когда они были врозь. Если б он остался жить, ему больше было бы жаль Киру. А если он умрет, то хуже придется Вале. В груди у него вертелся моторчик и горели лампы. Женщины неумело вытаскивали эти лампы, он пытался им объяснить, что делать этого нельзя, они не слышали его. Они думали, что это регулятор, и понятия не имели, что он регулирует. Ни той, ни другой не нужен был этот регулятор. Где-

то внутри регулятора находился Чижегов, и они выкидывали деталь за деталью, чтобы извлечь его, освободить, не понимая, что, когда они это сделают, его, Чижегова, уже не будет...

Он открыл глаза. Светило солнце. На столе был накрыт завтрак. Кира сидела в той же позе, одетая в коричневое платье, причесанная. На плечи накинута кофточка. Руки лежали на сдвинутых коленях. Она видела, что он проснулся, и оцепенело продолжала смотреть на него. Под красными веками ее свисали темные обводы. Чижегов подумал, что вот так сидят перед покойниками.

— Ты что... — сказал он.

Слабая улыбка появилась отдельно от ее неподвижного лица. Чижегов потянулся. Подушка и диванчик пахли Кирой. Он вспомнил, как хорошо бывало им здесь, и на миг ему представилось, что они в одном из тех прошлых счастливых утренников. Почему нельзя было снова начать с этого места? Как на репетиции: «начнем с этого места». Просто надо окончательно проснуться. Чтобы и это все осталось во сне.

Он поискал отклик в усталом лице Киры и не нашел. Что-то произошло за те часы, пока он спал.

Расспрашивать Чижегов не стал. Ополоснулся под краном, оделся. На столе среди чашек стояла непочатая бутылка чешского пива.

— А все-таки зачем ты с этим бугаем, со Степочкой? — спросил он.

Кира ответила не сразу, она как бы ждала, пока лицо ее застынет в недоброй враждебности, и наконец, еще осторожно шевеля губами, сказала:

— С ним весело.

— Веселее, да? Животик не надорвала?

— Тяжело с тобой.

Он подошел к зеркалу. Вид у него был почему-то свежий, здоровый. Румянец со сна на обе щеки. Хорош покойничек. Поскреб черную щетину на прямоугольном подбородке. Увидел в зеркале, как за спиной Кира нехорошо усмехнулась.

— Попей чайку, — сказала она. — А хочешь — кофею.

Чижегов сел к столу. Обжигаясь, пил черный кофе. Глаз не поднимал. Он чувствовал, как воздух становится горячим, грозovým.

— Ну что же дальше, — сказал Чижегов, разглядывая клеенку. — Давай дальше.

— Дальше было раньше. Осточертело мне. Вот и весь сказ, — грубость ее слов никак не вязалась с тем, как руки ее подливали кофе, придвигали ему колбасу. — Нет в тебе легкости. Какой из тебя любовник. Твоя профессия мужем быть. Все у тебя по расписанию, все по делу. Осторожный ты...

— Любовник! — слово это поразило его. — Вот куда ты меня определила... Спасибо. У меня, может, жизнь сдвинулась, все треснуло, а ты... я чуть...

— «Чуть» не считается. А «может быть» в кармане лежит, — не повышая голоса, оборвала она. — Что может быть? Ничего уже не может быть. Может быть, ты жениться собирался на мне? — И она откинулась, тихо посмеялась. — Опоздал. Всякому овощу свое время. Пересмотрела я. Не отвечаешь ты нынешнему моему стандарту. Было времечко, могла я... Между прочим, думаешь, не сумела бы тебя перетянуть? Эх, Степа, Степа, перетянуть ведь легче, чем удержать. Но... Рассчитала я, прикинула — невыгодно. Ты свой проект рассчитывал, а я свой. Зачем мне тебя любить... Не хочу! Мне ведь муж с квартирой нужен, с должностью, не те у меня годы, чтобы заново начинать. Разбивать чужую семью, так уж было бы ради чего.

— Придумываешь... Кого ты обманываешь? — Чижегов отмахнулся с нарочитой уверенностью. — Да никогда ты это и в мыслях не держала.

— Видишь, как ты себя любишь. Нет, миленький, я правду говорю, все как есть, — торопясь, подтвердила Кира. — Выяснила я тебя до конца, до доньшка. Неинтересно... Ты зачем сегодня явился ко мне? Ведь если я при тебе, при всех — с другим пошла, мог ты понять. Тебе лишь бы выиграть. А что со мной будет, наплевать. Ты-то сам ничем поступиться не хочешь. Хоть бы раз чем поступился для меня. Лестно тебе было, когда в ресторане нахваливали тебя? Жаль, не пришла. Звал меня Аристархов. Праздник тебе не хотела портить... Представляю, каким ты сидел благодетелем. Еще бы, Костю Аристархова соавтором сделал, от своих щедрот. — Жестяно звенящий ее голос завораживал Чижегова; он все ждал слез, но в глазах ее не было ни грусти, ни гнева, они пусто блестели, как пузыри на воде. — Подкинул молодым на обзаведение. В порядке, так сказать, компенсации... за амортизацию невесты. Не

вскидывайся. Известно, что не знал. Это я про себя. А что, скажешь, от щедрости подарил ему? Нет, ты совесть свою хотел умаслить. Ты, Степа, ведь от меня откупался. Думаешь, я злость накопила? Когда любишь, все можно стерпеть... Ты, когда шел ко мне, думал, что мне тяжелее станет? Ты меня не жалел, тебе моя жалость нужна... — Руки ее зябко легли на чайник. — Степа, скажи: ты зачем в Новгород приезжал?

Замерла, не поднимая глаз. Чижегов маленькими глотками допил вторую чашку кофе.

— В Новгород? А-а-а... На завод ездил. Детали доставал.

Кира кивнула, вернее голову наклонила, с каким-то удовлетворением, принимая его слова.

Чижегов встал, прошелся по комнате.

— Ничего не попишешь... Рад бы в рай... — само собой получался у него упругий шаг, молодцеватая походочка, и плечи расправились, все мышцы его заиграли. Небритая щетина, ссадина на лбу, — все годилось сейчас, и наглая ухмылка — чем похабнее, тем лучше.

— Хотела цацку себе на память оставить? Не будет тебе цацки. Других проси... — он изгилялся, чтобы не сорваться в тоску, в крик, в ругань. — Способен был ради тебя поехать. Не стану отпираться. Но не поехал. А тебе охота самолюбие свое защитить? Эх, напридумывала ты себе. Ну что ты тут плела насчет женитьбы? У меня, к твоему сведению, и мысли такой не возникало — развестись. Ни разу. Честно говорю. Женщина ты, прошу прощения, не первой молодости. — Он оглядел ее выразительно. — И в остальном... Если между нами, так я Аристархову правду сказал. Выразился сгоряча, это да, а по существу так и есть, точно... — все более воодушевляясь, подтвердил он. — Гулена ты. В жены таких не берут. Со мной тебе тяжело? Зато с тобой легко...

Зайдя сбоку, он увидел, как на шее у нее дергается, дрожит какая-то жилка, и медное ожерелье в этом месте чуть слышно позвякивает. Несчастливое это было ожерелье. Всякий раз приносило оно Чижегову беду. А профиль у Керы был неподвижен. Профиль не изменился, как и прежде — легкий, красивый. И Чижегов вдруг ужаснулся тому, что происходит. Зачем, почему он говорит такие слова.

— Вот и хорошо, — сказала Кира твердо.

Каменная ее незыблемость помогла ему.

— И слава богу... И выяснили. А Костю ты за соавторство не трави, он тут ни при чем. Свою половину он честно отработал. В этом вопросе я... ты правильно подчеркнула мои мотивы. Признаю. Но тут, если хочешь, в основе другой пункт. Я знал, что сук рублю... А ты, Кирочка, задумывалась, почему я это делал? Потому что не мог иначе. Работа мне дороже, чем всякие шуры-муры. Покрутили — и хватит.

Так они и разговаривали, уже ничего не жалея, ничего не сохраняя. Чижегов стремился лишь доказать, что он сильнее и плевать он хотел на то, что было, все это чушь, труха, обычные шуры-муры, повторял он на все лады.

Вышли они вместе и до моста шли рядом, не таясь, по солнечному людному Лыкову. С Кирой здоровались. На Чижегова же никто не любопытствовал, не оборачивался им вслед. Казалось, все эти два с лишним года можно было вот так же ходить вдвоем.

По мосту Чижегов шел один. Все тянуло оглянуться, узнать, смотрит ли Кира или тоже идет по берегу, не оборачиваясь. Конца и края не было этому мосту.

Нежданно-негаданно история с лыковскими регуляторами заинтересовала ленинградское начальство. Главный конструктор вызвал Чижегова, долго пытал его: откуда то, откуда это, да с чего он взял, что такие фильтры снижают заряды, как теоретически это можно вывести. Дело в том, что новый тип регулятора, назначенный для ответственных объектов, капризничал. Главный конструктор подозревал, что виновато тут статическое электричество. Доказательств у него не было, и Чижегов, смекнув это, сослался на свою интуицию; если главный — лауреат, доктор и прочая — вместо формул держится за интуицию, то рядовому инженеру сам бог велел. Прозвучало довольно-таки нахально, но изобразить на бумаге распределение зарядов Чижегов не сумел бы, в теории он был не силен, а кроме того, терять ему было нечего, рядовое его инженерство давало приятную независимость. На его счастье, высоконаучные консультанты с их гипотезами до того заморочили главного, что кичливое, как он выразился, знахарство Чижегова пришлось ему по душе. Решено было поехать в Лыково, пощупать, увидеть, что получилось,

и нельзя ли изменения, внесенные Чижеговым, использовать для новой серии. Не слушая никаких отговорок Чижегова, главный включил его в состав комиссии, и в начале декабря они поехали в Лыково.

На вокзале их встретил молодой незнакомый Чижегову инженер. Он представился начальником энерголаборатории, потряс руку Чижегова, не скрывая любопытства, что выглядело вполне естественно, тем не менее Чижегов тотчас замкнулся. Ни о чем не расспрашивал, отвечал односложно, держался позади. Впрочем, новый начальник сам словоохотливо сообщил, что Аристархов уволился месяц назад, завербовался на Север, якобы врачи рекомендовали сменить климат. Но это «якобы» прошло впустую, члены комиссии Аристархова не знали, а Чижегов промолчал.

Городскую гостиницу ремонтировали. Комиссию поселили при заводе, в доме приезжих. Работали до упора, ужинать отправлялись в ресторан. Главному конструктору, как нарочно, полюбился тот длинный стол за железными цепями... Чижегов сидел спиной к входу. Играл тот же оркестр, подавали тот же квас с хреном и пеклеваный хлеб.

Кира уехала не то в Новгород, не то в Москву. Новости сами упрямо настигали Чижегова. То кто-нибудь из лаборанток, то гостиничный знакомец, за-всегда-тай-толкач, обязательно выдадут про Киру: уехала на год, нет, насовсем, к жениху, нет, к мужу, да-да, был у нее муж-летчик, думала, что погиб, а он не погиб...

Толком никто не знал, ходили слухи, что Аристархов стрелялся или стрелял — словом, была какая-то волнующая любовь...

Затем Чижегов на рынке встретил Ганну Денисовну. В Лыкове трудно было не встретиться. Она сказала, что Кира действительно вышла замуж за бывшего летчика, приятеля первого мужа, уехала к нему в Москву, на авиазавод. Дочь ее пока живет в Новгороде. Квартиру свою Кира отдала дальним родным, оставила со всей обстановкой. Ганна Денисовна и осуждала Киру, и скучала по ней, и тревожилась. Она искала сочувствия у Чижегова, но его невозмутимость сбила ее с толку. Он не расстроился, не удивился скоропалительному этому замужеству. Присвистнул, будто вслед, и даже повеселел.

— Устойчивый ты мужик,— сказала Ганна Денисовна.— Тебя не сшибешь. Правду говорят: в любви добро не живет.

Чижегов засмеялся:

— Какая тут любовь. Утром был мил, вечером постыл.

— Да ты что, всерьез? Ну и ну. Ничего, я вижу, ты не понял.

— А чего тут понимать, все как на ладони,— сказал Чижегов.

Все эти месяцы он прожил в обиде; если вспоминал Киру, то сразу натыкался на свою обиду, незаслуженную, несправедливую, и вместо тоски получалась злость, которая помогала ни о чем не жалеть. Теперь, узнав, как просто и легко все решилось у Киры, он торжествовал, он уличил ее. Совесть его успокоилась. Больше того, вышло, что в некотором роде он способствовал налаживанию ее судьбы.

Довольный его вид, руки в карманах новой выворотки, купленной с премии, раздражали Ганну Денисовну. Она переложила в другую руку тяжелую сумку с картошкой, поправила платок на голове. Высокий лоб осветил ее лицо, большие глаза. Она была еще приятна. Чижегов вспомнил гуляку ее мужа, Кира видеть его не могла, поэтому и ходила к Ганне в гостиницу. Он мысленно пожалел загубленную ее жизнь, обреченную так и сойти на нет, без счастья и любви.

— Все-то ты прохлопал... Изобретатель. Может, ты в чем другом умник, а тут ты дурень.— Ганна смотрела на него с жалостью.— Из-за тебя, может, она сердце порвала. А ты не заметил. Живешь ты, чувствуя как убогий,— разве это жизнь? Глаза есть, уши есть, а душа слепая и глухая.

— А-а, понятно,— протянул Чижегов.— Только информация у тебя, Ганночка Денисовна, односторонняя. Третьему тут не разобраться. Так что давайте не будем. Я ведь тоже мог бы...

Она вздохнула разочарованно.

— Боишься ты... Ладно. Как-нибудь сам дойдешь.

Простился с ней Чижегов сердито, однако с этого дня он почувствовал себя свободнее. Заснеженный этот городок с водоразборными колонками, обросшими наледью, с дымом от печных труб стал уютным и безопасным. Чижегов больше не сторонился знакомых, не обращал внимания на поджатые губы Анны Петровны,

на козье, вытянутое ее лицо. Работа завершалась как нельзя более удачно. С ходу, без подсчетов и проб Чижегову удалось кое-что уточнить в схеме, и последние претензии комиссии и завода отпали. Главный конструктор разводил руками: ну медиум, ну виртуоз, откуда что берется...

Дирекция наградила Чижегова грамотой. Про его соавтора никто не вспоминал. Чижегову было неловко, но энергетик Илченко посоветовал не вмешиваться, поскольку директор не мог простить Аристархову внезапный, беспричинный его уход с завода.

— Костя Аристархов, между прочим, поступил рационально, — сказал Илченко. — Ему полезно климат сменить. Бабочки наши кисель из него сделали... Верить, конечно, можно всему. Ты, Степан Никитич, тоже... не ушам, так глазам веришь. А ведь есть и другое, — добавил он непонятно, но Чижегов не стал выяснять. И про Аристархова ничего не спросил.

Перед отъездом Чижегов отправился погулять. Незаметно, по морозцу, дошел он до Троицкого собора, спустился к причалу. Лед на реке был еще слабый. Жидко светила луна. Наверху по набережной шли машины, а здесь было тихо. Чижегов взял камешек, швырнул и долго слушал, как он скользил по ледяной глади, оставляя за собой длинный замирающий звон. Будто дрожащая струна натянулась над рекой. Будто длинный провод повис, соединяя Чижегова с тем, прошлым вечером... В такую же пору гуляли они с Кирой, вот здесь же. Оставив ее на берегу, Чижегов сбежал на лед. Подальше от берега тонкий лед гнулся, слышно было, как хлюпала внизу вода, потом треснуло. Чижегов побежал быстрее, но не назад, а вдоль берега. Звонящий треск гнался за ним. Кира вскрикнула и затихла... Чудом, по мерзлым бревнам, он добрался до мостков. Кира выговаривала ему за глупое удалство, и Чижегову было приятно ее волнение. «Лучше бы ты полюбился, красота-то какая, — говорила она. — Лес вот одинокий, луга замерзли, первый снег, а почему-то такая печаль... Отчего? Каждое утро хожу тут и ничего этого не вижу. Вижу, вот гонки прихватило, лес сплавить не успели... А сейчас хоть на колени становись». Она закрыла лицо руками, Чижегов гладил ее по голове и смеялся. «Ничего ты не понимаешь», — сказала она.

Теперь он отчетливо услышал тоску в том прошлом ее голосе и подумал, что никогда как следует не

знал Киры, знал лишь наружность, видимость, а не тот секрет, который и составлял ее саму, который и толкал ее на поступки необъяснимые. Он воспринимал ее, так сказать, в масштабе один к одному. С чего она вдруг от всего открестилась, растоптала... То утешала его, то избидела, оскорбила. И это замужество. И бросить кому попало квартиру... С чего? Что значит — разлюбила? Может ли так быть, что в душе ее что-то накапливалось. Вроде статического электричества. Черта с два теперь узнаешь, что там произошло. Какая-то слабая догадка мельтешила, но Чижегов отгонял ее, уверенный, что не могла Кира нарочно разыграть. Ради чего, спрашивается? Зачем ей было истязать себя так?

Припомнилось, как он наврал Кире про Новгород, про цацку, наврал назло, лишь бы дать сдачи. И про свою работу — «это тебе не шуры-муры вертеть»...

Он вдруг подумал: неужели все дело в том, что он не понимал ее? А если оттого и любил, что не понимал и никак не мог разгадать. Но тут он вспомнил Ганну Денисовну. Она была права: оттого, что он не понял, он многое потерял. И вообще он многое, наверное, упустил. Однако если бы он все понимал и ничего не упустил, то Кира перестала бы его интересоваться, потому что человек всегда интересен, пока есть в нем секрет... Тут заключалось противоречие, в котором он не мог разобратся.

Странно, откуда появилась грусть. О чем ему было грустить? Никого у него здесь не оставалось, дела завершились как нельзя лучше. Было жаль, что Кира никогда не узнает, как он сидел на этих мостках и думал о ней, и чувствовал печаль этой замерзшей реки. Про все догадался и перетолковал к лучшему то, чего и не было. Потому что никаких доказательств не существовало, все игра воображения. Ему вспомнился ее жестяной голос, глаза пустые, как пузыри на воде. Чижегов вскочил, прошелся по морозно-скрипучим мосткам, глубоко вдыхая холодный воздух. От жгучей этой студености здоровый его организм наполнился чувством бодрости. И все стало выглядеть просто, Чижегов даже удивился: какие могли быть сомнения? Кто первый начал? Факт, что он явился к ней со всей душой, а она оттолкнула его. Пусть нарочно, тогда, значит, обидные упреки ее не соответствуют действительности. Перед кем угодно Чижегов мог бы оправдаться. Факты были на его стороне. Что касается психологии,

то ведь можно допустить, что Чижегов наговорил на себя из лучших побуждений, выставил себя в невыгодном свете, взвалил напраслину, поскольку он мужчина...

Позднее ему стало казаться, что так оно и было.

В сущности, у него не осталось никаких поводов возвращаться к этой истории. Тем более что в судьбе его с этого времени начали происходить счастливые перемены. После лыковского успеха Чижегова назначили руководителем группы. На новой должности неожиданно для всех обнаружилась в нем деловая хватка, самостоятельность суждений. По-видимому, долгие годы командировочных заданий, где приходилось полагаться лишь на собственное чутье, не прошли даром. До сих пор его дело было регулировать, отлаживать эти созданные другими приборы. Сейчас он с наслаждением хозяйничал над схемами. Так что лыковские неприятности в итоге, можно считать, пошли на пользу Чижегову. Однако когда главный конструктор, похвалив очередное его решение, обронил, что все, мол, началось с Лыкова, Чижегов взорвался: «При чем тут Лыково,—закричал он,—хватит меня попрекать Лыковым!..» Потом он опомнился, извинился, но вспышка эта его самого испугала. Он всегда мог управлять собой, если он знал, отчего ему тяжело, тут же он обнаружил в себе тоску, глухую, прочную, неизвестно о чем. Она тлела в глубине без мыслей и воспоминаний. Иногда она вырывалась, и на Чижегова нападало полное безразличие ко всему, как будто внутри у него все было выжжено. О Кире он не думал, тоска грызла его сама по себе, беспричинная и слепая.

Единственным лекарством оставалась работа. Вместе с работой возвращалось ощущение силы, он наваливал на себя все новые заказы, и, хочешь не хочешь, надо было тащить эту ношу. Раньше он жил по правилу: чем меньше делаешь, тем меньше надо делать. Теперь чем больше он работал, тем больше у него набегало работы, и это его устраивало. Тоска была недостойной слабостью. Он презирал себя за то, что не мог справиться с ней. Он упрямо учился одолевать ее, но, может, ему помогало время, которое всегда помогает незаметно.

Первый год он не брал отпуска, только на следующее лето выбрался вместе с женой и младшим сыном на юг.

В Ростове самолет задержали из-за непогоды. Чижегов сидел в павильоне, читал газету, наслаждаясь покоем начинающегося долгого отпуска. Изучая таблицу футбольных игр, он вдруг поднял голову и увидел за стеклянной стеной Киру, она шла с высоким седым мужчиной, он держал ее под руку. Короткая стрижка с челочкой молодила ее, большая вышитая сумка висела через плечо, белая маечка туго обтягивала располневшую грудь. Сыпал мелкий дождь. Голые плечи ее мокро блестели. Чижегов встал, и Кира посмотрела на него, она как-то сразу выделила его среди множества людей в павильоне. Она сделала движение вперед и тотчас отпрянула, глаза ее расширились. Мужчина что-то спросил ее, за толщей стекла сцена происходила безмолвно. Чижегов увидел ее испуг, она сделала какой-то жест, неконченный, не то растерянный, не то умоляющий. Пока Чижегов миновал путаницу скамеек и выскочил наружу, ни Киры, ни ее спутника уже не было.

В толпе у камеры хранения мелькнула белая маечка и эта яркая расшитая сумка, но Чижегов не стал догонять. Некоторое время он, однако, еще стоял, как бы ожидая — не бросится ли за ней. Нет, не бросился. Он мог быть доволен собой. Но как же он дождался до этого? Когда-то он мечтал встретить ее и пройти мимо, а сейчас испытывал лишь разочарование и неловкость.

Он вернулся, Валя посмотрела на него вопросительно.

— Знакомая, еще лыковская, Кира Андреевна. — Он произнес ее имя без всякой запинки.

— Чего же это она убежала? — спросила Валя.

— Сам не знаю, — искренне ответил Чижегов. — Чудачка. Поцапались мы с ней перед отъездом, ну и что?

Он говорил с такой досадой, что Вале и в голову не могли прийти какие-либо подозрения. Да и сам он недоумевал, с чего Кира так испугалась. Обоим приятно было бы поговорить, узнать друг про друга. Что было, то сплыло, но ведь не враги же они...

В самолете, посасывая карамельку, Чижегов не топясь словно бы рассматривал моментальный снимок Киры: бледнеющее ее чужое лицо, тяжелую фигуру.

Неужели когда-то он готов был лишиться себя жизни из-за этой женщины? С удивлением он вспомнил ту ночь, не понимая себя, не веря тому, что это происходило с ним. Почему тогда все казалось таким безвыходным? И как же, каким образом все улеглось, образовалось? Выходит, все, что тогда было, все его страдания были наваждением, глупостью?

Было грустно, что все это, отдаляясь, становится забавной, а в сущности, обычной историей.

Самолет пробился сквозь облака, стало солнечно и сине. Сплошная пелена облаков опускалась вниз, с изнанки они лежали красиво и мягко белым каракулем. Ничто уже не напоминало о дождливой хмари внизу. И вдруг Чижегов позавидовал тому прошлому своему безумию. Нет, он не хотел бы снова это повторить и понимал, что жизнь, которую он ведет, правильная, честная, полезная. Но чем-то она напоминала эту солнечность и невозмутимую ясность, которая царила здесь, в вышине, в любую погоду. Странно, думал он: тогда было так плохо, столько горя и стыдных поступков — как же можно завидовать этому?..

Хоронили художника Малинина. Было людно, что удивило Щербакова. Гроб стоял в зале, там происходило движение, приносили цветы, венки, при этом у самого гроба возникала толкотня, все старались разглядеть покойного. Разглядывали с любопытством почти неприличным, даже недоверием. И сам Щербаков испытывал примерно то же, поскольку давно не числил Малинина в живых. О Малинине каким-то образом позабыли, и, оказывается, прочно, поэтому то, что он умер только сейчас, воспринималось с недоумением.

В дальнем углу играло трио. Между зеркал, завешанных холстами, висел в траурной раме фотопортрет Малинина с орденами и лауреатскими значками. Сами они, поблескивая, лежали тут же на красных подушечках, Малинин же лежал отдельно, повыше, среди цветов и венков.

Приехало начальство, похороны сразу обрели значительность, и уже не было места недавнему смущению.

Когда Щербаков встал в почетный караул, он увидел Малинина рядом, но не узнал его. Задрав седую бороденку, которой на портрете не было, сухонький старичок с каменно-ожесточенным смуглым лицом жмурился не то от сильного света, не то от любопытных взглядов, в последний раз устремленных на него. Совсем Малинин не был похож на того величаво-благодарного мэтра, которого Щербаков помнил по институту, привыкшего к вниманию, уверенного в своей безошибочной руке. Тот Малинин был насмешлив, весел, окружен сиянием успеха. Таким он и возникал в речах, что произносились над ним одна за другой. Ораторы смотрели то на покойника, то на бумажки, как бы не доверяя своим глазам. Перечисляли награды, должности, названия некогда нашумевших выставок и картин. Из

всего этого количества следовало, что Малинин заслужил славу большого художника, выдающегося, замечательного. Некоторые его картины действительно помнились Щербакову до сих пор со всеми деталями; вспомнил он и то, как Малинин приглашал его зайти к себе в мастерскую, а Щербаков постеснялся, не пришел; жил рядом, выходит, с таким художником, может быть, классиком — и не понимал. Выступила женщина из министерства культуры. Говорила она без бумажки, проникновенно, о жизни, наполненной служением искусству, и Щербаков впервые взгрустнул. Но на словах «сколько красоты мог еще дать людям его талант» голос ее прервался, и тогда Щербаков вспомнил, что этот прерывистый вздох вместе с этими словами он услышал от нее же на похоронах режиссера их театра.

Он оглянулся. Неподалеку стояли Андрианов и Фалеев, они обсуждали, кого ввести в худсовет вместо покойного. Спорили они тихо, сохраняя на лицах скорбное выражение. На других лицах было такое же изображение скорби. Одинаковость этого выражения заинтересовала Щербакова; секрет тут, очевидно, в том, думал он, что чувство это неискреннее, потому что искренние чувства несхожи и у каждого они должны выражаться по-своему.

Заиграл оркестр. Траурная мелодия поднялась над гробом, над венками, подушечками, и в зале впервые повеяло тайной человеческой смерти, ее вечной загадкой.

На кладбище поехало совсем немного народа. Хватило двух автобусов, остальные пришлось отпустить. Ехали долго. Долго стояли у переезда. Дождь перешел в снег. Крупные хлопья таяли в желтых лужах. В автобусе говорили о болезнях, обсуждали, почему Малинин последние годы не выставлялся; одни считали, что у него был кризис, другие, что он болел. Щербаков досадовал на себя за бесхарактерность. Когда гроб понесли из зала, большая часть публики куда-то пропала, непонятно было, как могло сразу исчезнуть столько людей. Те, кто замешкался, боком пробирались мимо администратора — Нины Гургеновны, которая громко приглашала в автобусы. Осмотрев сидящих там, она пожаловалась Андрианову: все старики, кто же гроб нести будет?

Андрианов покачал головой:

— Ни чьтывда, ни совести.

На нем было новенькое пальто коричневой кожи, оно ярко блестело, и весь он, высокий, плечистый, блестел здоровьем и приветливостью.

— Вот Щербаков поедет. Верно?

— О чем разговор, — сказал Щербаков и полез в автобус.

Сидя в автобусе, он видел, как Андрианов поднял зонтик, нажал кнопку, черный купол раскрылся, Андрианов под ним проводил Нину Гургеновну к передней машине, сам же отправился куда-то своей легкой походкой. Щербаков ругал себя, но отказать Андрианову не мог. Со студенческих времен он признавал первенство Андрианова и привык подчиняться ему. Андрианов был гордостью их выпуска. Впрочем, успех его не имел прямого отношения к его дарованию. Скорее он был обязан счастливому своему характеру, а еще точнее натуре, потому что характер Андрианова определить было трудно, зато имелись качества, привлекавшие к нему всех, — веселость, ровная приветливость со всеми, готовность помочь, и в то же время была цепкость, уверенность в себе, он умел держаться с начальством с достоинством человека талантливого, и начальство его уважало.

Земля на кладбище раскисла. Гроб был тяжелый. Щербаков нес и смотрел себе под ноги, боясь поскользнуться.

За железными прутьями кладбищенской ограды раскинулась стройка. Там в синем дыму рычали панелиевозы. Длинные жилые корпуса наращивали третий этаж. Кран медленно опускал квадрат стены с готовым окном. Сквозь запыленное стекло навывлет скользило серое косматое небо. Панель встала на место, и Щербаков подумал, что отныне из этого окна всегда будет видно кладбище, похороны, кресты и обелиски. Ничего плохого в этом нет, думал он, зря кладбища стараются отодвигать подальше, на окраины, зря чураются их. Лично он сохранил бы небольшие кладбища посреди города. Чтобы помнить о бренности жизни. Чтобы хоронили при всех, чтобы водили школьников для размышлений; как это у Пушкина — младая жизнь чтобы играла у гробового входа. Смерть надо использовать для улучшения человека. Мысли эти нравились Щербакову. Когда-нибудь, когда ему не надо будет служить в театре и он не будет зависеть от заказов, он напишет серию акварелей — разные кладбища, могилы. Надгробья —

заброшенные, ухоженные, пышные, тщеславные... Не смерть я воспеваю, а жизнь, скажет он, если его станут обвинять... Занятый своими мыслями, он не заметил, что происходило некоторое замешательство — Нина Гургеновна не могла найти кого-то, кто должен был заключать церемонию. Из-за непогоды народу ubyло, некоторые угли в автобусы. Щербаков очнулся, когда Нина Гургеновна взяла его под руку, умоляюще зашептала. Он совершенно не был готов выступать; в сущности, на похороны он попал случайно, его послали от театра возложить венок. Он хотел все это объяснить Нине Гургеновне, но в этот момент между ними втиснулся какой-то пожилой толстяк с фотоаппаратом на животе и попросил у Нины Гургеновны разрешения выступить. Толстые очки его сползли на кончик потного носа, он смотрел с таким волнением и мольбой, что Нина Гургеновна мгновенно насторожилась. «Челюкин?» — переспросила она, фамилия эта ей ничего не говорила, и Нина Гургеновна решительно отказала — уже поздно, сейчас, в заключение, от молодых, от учеников слово имеет Щербаков, и тут же объявила его.

Щербаков испугался, и, как ни странно, при этом его не зажало, наоборот, на него словно накатило и понесло — про Малинина, которого он знал так мало, хотя мог знать лучше, да вот упустил, про то, что кроме художника Малинина, картины которого останутся, был еще человек Малинин и умер-то как раз человек, которого не сведешь к картинам. А теперь, когда его не стало, окажется, что человека не знали, никто не знал его...

С чего это он взял, причем с уверенностью, которой ему всегда не хватало.

Впрочем, его не слушали. Жались под зонтики, тоскливо переминались с ноги на ногу. Смотрели на него безучастно, незряче. Могильщики готовили веревки. И вдруг среди этой холодной измороси Щербаков ощутил чье-то устремленное к себе внимание. Он не сразу нашел этот огонек в подслеповатых красных глазах. Там, за стеклами очков, что-то разгоралось навстречу каждому его слову с каким-то мучительным восторгом. И Щербаков говорил уже только для этого толстяка, как его — Челюкина? — который стоял, сняв берет, и снег вместе с дождем падал на его лысину.

Стали забивать крышку гроба, все зашевелились, и вот тут этот Челюкин заплакал. У него даже вырвалось рыдание тонким птичьим вскриком. Он удерживал

себя и не мог удержать. Отчаянный этот крик получился неуместным... Принялись сморкаться, всхлипывать какие-то старушки, плакали они тихо, прилично, скорее над собственной близостью к смерти. Вытирали глаза, щеки, но, может, мокрые от дождя. Челюкин схватил фотоаппарат и стал беспорядочно наводить и щелкать. Слезы быстро катились по его бледным щекам. И такое горе было в этих слезах, которые он никак не мог скрыть, что Щербаков опустил голову, было неудобно за Челюкина, за озябшую смущенную кучку людей, за торопливость, с которой забрасывали могилу.

С кладбища поехали на поминки. Щербаков продрог и поехал вместе со всеми, мечтая выпить водочки.

Стол был накрыт в мастерской Малинина. Огромная, запущенная — потолок в потеках, стены облупленные — мастерская тем не менее восхитила Щербакова своим простором, антресолями, куда вела дубовая лестница. Продуманные удобства сочетались с добротностью, размахом — чего стоили полки для красок, бронзовые ручки, выдвижные рамы стеллажей, ступени, обитые медью.

Вокруг стола хлопотали двоюродные сестры Малинина. Народ прибывал, толпились у раковины, большой, синего фаянса, мыли руки. Появились Андрианов, Фалеев с Аллой и с дамой из министерства. Когда расселись, рядом с Щербаковым сел Челюкин. Первую, как положено, выпили не чокаясь за светлую память. Щербаков сразу же повторил и принялся закусывать. Принесли горячую картошку, куски вареного мяса, рисовую кашу с изюмом. При чем тут каша, Щербаков не понял. «Кутья», — подсказал ему Челюкин, который воспринимал все с благоговейной серьезностью. Стол дымился, поблескивая хрусталем, зеленью овощей, протертыми, лоснящимися помидорами. Свежесть и яркость стола никак не вязались с тусклыми, невымытыми окнами, с нежилой затхлостью, видно, давно заброшенного помещения. Всем это бросалось в глаза. И тут выяснилось, что никто из присутствующих в последние годы не заходил сюда, в мастерскую. Это было непонятно, потому что раньше посещали ее часто. Сидели допоздна, пели, пили, выясняли, кто как пишет. К Малинину тянулись, он помогал, подсказывал, он имел множество должностей, от которых отказывался, отбивался, страдал и все же возглавлял, входил... Он любил свою общественную деятельность — вроде суетную, пустую, но необходи-

мую его темпераменту. Работал он в этой мастерской быстро, легко, успевал участвовать во всех выставках. Написал сотни картин, тысячи листов графики... И вот почему-то все это оборвалось. Малинин перестал выставляться. Новых работ его не видели, никто о них не слышал. Он отказался от персональной выставки в Манеже. Отказ его произвел впечатление. Полагали, что он что-то пересматривает, ищет, может, у него что-то не задалось. Все реже он показывался в Союзе художников, куда-то пропадал. К телефону не подходил, на письма не отвечал. Незаметно от него отвыкли, он затерялся.

В искусстве тот, кто не напоминает о себе, быстро перестает существовать. Считалось, что Малинин есть, он подразумевался, где-то он пребывал, но как бы невещественно, как воспоминание, все более слабое... Щербаков спрашивал одного за другим, и обнаружилось, что в последние годы Малинина вообще не видели, ничего не знали о нем. Всем стало как-то неловко. В этот момент, случайно взглянув на Челюкина, Щербаков поразился напряженной его позе: Челюкин втянул голову в плечи, застыл, словно затаился.

— Вы-то видались с Малининым? — спросил Щербаков.

Челюкин, вздрогнув, посмотрел на него долго, нерешительно, и не ответил.

— Большой художник нуждается в молчании, в паузе, — заговорил Фалеев. — Возьмите Гогена, Александра Бенуа, Боттичелли, да мало ли. Надо накопить. Молчание — это очищение, катарсис. Малинин вынашивал новый взлет...

Речь его звучала внушительно, успокоенно, и все охотно согласилось с ним, довольные, что можно перейти к другим темам, и разговор рассыпался.

Один Щербаков был раздосадован. Вмешательство Фалеева все испортило. Самоуверенный говорун, который тем не менее умел подавлять людей категоричностью, многозначительными намеками, как бы внушая, что за его словами есть еще что-то, чьи-то суждения, а может, и сведения. Щербаков покосился на Челюкина. Тот тихо спросил:

— Это кто?

— Профессор Фалеев.

— Слышал.

— Что же вы слышали?

— Известный искусствовед.

Фалеев сидел наискосок от них и ел чавычу. Сочные губы его были того же густо-красного цвета, что и чавыча, и это было противно Щербакову. Над губами шевелились обвислые черные усы. Фалеев отрастил их недавно, чтобы походить на казака, поскольку с некоторых пор любил упоминать о своем казацком происхождении.

Щербаков не верил ему, может, потому, что Малинин терпеть не мог Фалеева и не стал бы с ним делиться... «Катарсис», «очищение», — и слова эти, и фалеевская манера произносить их — все было сейчас неприятно Щербакову, и оттого, что Щербаков не мог показать Фалееву этого, потому что боялся его, как и все остальные, от этого он злился еще сильнее.

Сам Малинин, хотя сторонился Фалеева, ссориться с ним избегал. В статьях Фалеева, даже хвалебных, угнетали конструкции, которые он находил в картинах, от его разбора они гибли. Малинин называл его «искусстводав». И то, что Фалеев сейчас присутствовал здесь и нахваливал Малинина, говорил о нем по-хозяйски, все разъясняя, казалось Щербакову кощунством.

— А вы как думаете? Про молчание Малинина? — спросил Щербаков Челюкина.

— Почему молчание, — Челюкин пожал плечами, вздохнул, потом сказал: — А если не было никакого молчания? Может, это другое... Кризис...

Щербаков засмеялся.

— От кризиса не перестают писать, от кризиса становятся начальством, вице-президентом академии, ректором. Да мало ли куда податься.

Он сунул в рот горячую картошку и сказал с набитым ртом:

— Какой может быть кризис при такой мастерской. Верстачок в нише — это же игрушка! Багеты. Резные рамы. Работай — не хочу.

Щербакову жизнь Малинина показалась обольстительно-загадочной. Собственно, пока шла жизнь, она казалась ясной, но вот человек умер — и появились тайны. Странно, что смерть так изменила образ человека. Все не прояснилось, наоборот потеряло четкость, суть человека скрылась.

Тем временем Андрианов произносил тост о краткости жизни и переходе к иному существованию. Лицо его было серьезно, но безупречные зубы ослепительно свер-

кали, стоял он звонко-крепкий, орехово-смуглый, и чувствовалось, что говорить о смерти ему не страшно, даже чем-то забавно. На его предложение выпить за истинных художников, неподвластных времени, рюмки дружно поднялись, и Щербаков ощутил приятную свою причастность к этому бессмертию. Заметив обращенную к нему улыбку Андрианова, он подумал — не попросить ли его насчет мастерской? А что, если этой? Но вздохнул, понимая, что не по чину. Он поскущел, и Алла через стол подмигнула ему, считая виновником Челюкина: что за хмырь тебе в соседи достался? Челюкин супился, не ел, не пил, поглядывал угрюмо, единственный здесь в черном костюме, в черном галстуке. Была в нем чуждость разговорам, которые составляли общий интерес для всех этих людей. Мелькали громкие имена, излагались мнения о других громких именах, сообщались новости, прогнозы, предположения. О предстоящих выборах в секцию, о кандидатах на премию, о заграничных командировках...

Тяжелое молчание Челюкина мешало Щербакову и говорить, и слушать.

— Вы почему не пьете? — спросил Щербаков.

— Стыдно, — сказал Челюкин.

— Чего?

— Какие ж это поминки? При чем тут Митя?

— А вы его давно знали?

— Студентами. В одной комнате жили.

— Вот вы и расскажите. Я вас сейчас объявлю.

Щербаков взял ножик, собираясь постучать по тарелке, но Челюкин испуганно схватил его за руку.

— Не надо. Зачем им мешать!

Щербаков заспорил, ему хотелось, чтобы Челюкин выступил, однако слово перехватил Фалеев, заговорил о молодости Малинина, о том, что самые сильные работы были у него в тридцатые годы — поиски формы, эксперимент, модернизм, — да вот не дали ему развернуться, прикрикнули, навалились, запретили, пришлось ему искать иные пути.

— И как это дорого обошлось! А если бы свободно развиваться, самому преодолевать свои юношеские излишества... — говорил Фалеев, ни к кому не обращаясь, но следя за тем, чтобы все его слушали. — Я думаю, — он сделал маленькую паузу, — из споров с другими возникает риторика, из споров с самим собою появляется поэзия!

— Вот это да! — воскликнула Аллочка. — Колоссально!

— Но вы же сами ругали его, — вдруг скрипуче проговорил Челюкин, глядя себе в тарелку. — Вы же писали...

— Я? Когда ж это? — удивился Фалеев.

Все кругом насторожились.

— Вы осуждали его за бесплодные формальные искания молодости. — Челюкин неровно покраснел, натужно поднял голову и продолжал с той же мучительной ему твердостью. — Приводили его как учебный пример. Вот, мол, какие заблуждения одолел, из какого болота выбрался. А теперь извините, шиворот-навыворот. Хвалите.

Изумление Фалеева было неподдельным: никто никогда не осмеливался говорить ему такое. У него даже рот полуоткрылся. На Челюкина смотрели, будто впервые увидели его. Один Щербаков был в восторге.

— Да откуда вы свалились, да вы понимаете... — начал Фалеев поднимать голос, но вовремя нашелся, расхохотался благодушно, прощая бедного этого старика за то, что позабавил. — Милый вы мой, да как же иначе могло быть. Это только догматики повторяют то же, что твердили двадцать лет назад. Я не догматик. Я, дорогуша, раньше всех, раньше самого Малинина пересмотрел. А тогда мои выступления заслонили его, сохранили, иначе бы ему устроили мясорубку. Да разве бы ему простили!..

Челюкин поднялся, на выпирающем животе у него торчал фотоаппарат:

— Неблагодарно! — Он покраснел еще сильнее. — И неправда!

Он вышел из-за стола. Шея его блестела от пота. Уже в дверях, со странной для его толщины ловкостью он извернулся, мгновенно наставил объектив на Фалеева, щелкнул, кляцнув затвором, будто выстрелил, и исчез.

Некоторое время стояла ошеломленная тишина.

— Псих, — твердо определил Фалеев. — Откуда он взялся? — Строгий вопрос этот был направлен Щербакову.

— Понятия не имею. Приезжий вроде.

— Физиономия дебила. Типичный чайник. Посторонний человек, — продолжал Фалеев.

Щербаков почувствовал на своих губах улыбку. Маленькая, непрощенная, она не уходила, никак было

с ней не сладить. Люди за столом, и стол, и посуда показались комично плоскими, как на бумаге. Мокрые усы Фалеева, кошачьи его желтые глаза — все можно было свернуть в трубочку. Останутся стены, предвечерний свет из высоких окон...

— Между прочим, этот человек — единственный, кто плакал на кладбище, — сказал Щербаков. — Хотя вы ж не видели. Вас там не было. Вы только сюда явились.

Получалось грубо, и он несколько струхнул. Но виду не подал. Таких, как Фалеев, можно брать только нахрапом...

Щербаков вышел, чуть покачиваясь, стараясь двигаться по идеальной прямой. Длинный коридор уводил его в глубь малининской квартиры. Сундуки, велосипеды на стене, ниши... Он толкнул какую-то дверь с матовым стеклом, очутился в полукруглой комнате. Там было полукруглое окно, скошенный потолок с темными потеками, стены, заставленные книжными полками. Посредине овальный стол карельской березы, подле него высокое кресло, обтянутое малиновым бархатом. Желтый свет голой лампочки делал все тусклым, пыльным.

На полу у окна прислонены были три небольших холста. Перед ними на четвереньках ползал Челюкин.

— Вот вы где, — сказал Щербаков.

Челюкин не ответил. Шлепая руками, он передвигался от одной картины к другой, умиленно сопел, пофыркивал, похожий на черного пуделя.

Портрет девушки, портрет старухи, дачный интерьер — все три вещи исполнены красиво, легко, с той чуть детской угловатостью, которая отличала малининский рисунок. Щербаков хорошо знал эту соблазнительную манеру, которой он долго подражал и от которой еле избавился.

Челюкин отполз, приладил фотоаппарат, сделал несколько снимков с картин.

— Чего вы пачкаетесь? — сказал Щербаков. — Все и без вас будет заснято. Фалеев позаботится. Альбомы изготовит, монографии будут. Улицу назовут.

Фотовспышка молниевое высветила дальние углы, следы ног на пыльном полу. Щербаков обиделся: Челюкин даже не взглянул на него.

— И что это в них такого вы обнаружили? — ядовито спросил Щербаков. — Такие Малинин пек одну за другой. — Из-за Челюкина Щербаков покинул поминки, надерзил Фалееву, а этот Челюкин и в ус не дуется. —

Улицы Петрова-Водкина нет, улиц Лентулова нет, а улица Малинина будет. Очень он подходит для классика. Всех устраивает.

Челюкин, пыхтя, поднялся, отряхнул колени, сказал коротко:

— Напрасно вы... Малинин — великий человек.

— Ух ты! Чем же он великий? Да еще человек! Если художник, то, слава богу, у нас есть мерки. Великий — это Врубель. Великий — Пикассо. — Щербаков тонко усмехнулся. — Так что не будем заниматься приписками. Мастер он хороший...

— Вы кто, художник? — спросил Челюкин.

— Да. И что? — с вызовом начал Щербаков. — Я-то как раз объективен. А вы кто, фотограф?

— Нет. Тоже художник. Бывший. Бывшая бездарность, — спокойно сказал Челюкин и сел в кресло. — Бывший директор художественного училища. — Он подумал. — Заслугу имею перед искусством — не стал художником. Разрисовывал конфетные коробки.

— А зачем фотографируете?

— Исчезает все. Страшно.

— Что исчезает?

— Стало вдруг исчезать. Однокашники... Ситный... Лошади...

Он называл вещи, уже неведомые Щербакову, смутные призраки из детства: молочницы с бидонами, крендели, ломовые извозчики, трубочисты, рабфаки... — жизнь, от которой ничего не сохранилось, — комиссии, переполненные старыми картинами, гравюрами, барахолка, где можно было загнать собственную мазню, барахолка-толкучка, шумная, неожиданная, с находками, с толстыми альбомами, рамами, боже, какие там попадались роскошные рамы, там были олифы на льняном масле, кисти соболиного волоса...

Лицо его помолодело. Это был его мир, которого уже не будет; он фотографировал его, пытаясь запечатлеть остатки, последыши.

— С Мити даже маски не сняли. Когда-нибудь спохватятся. Я хоть успел нащелкать. Может, для этого меня судьба задерживает на земле.

Челюкин поймал невольную усмешку Щербакова, не смутился, кивнул, будто того и ждал.

— Вы когда-нибудь лично знали великого человека?

— Не приходилось, — сказал Щербаков.

— Хм, а откуда вам это известно?

— Не понимаю.

— Может, он рядом жил. Или живет. По вечерам вы с ним в картишки играете. Может, он в долг просил? А? Потом, после его смерти, откроется вам, что приятель ваш школьный был великий человек, а вы и не подозревали. Может такое быть?

— Это вы про Малинина?

— ...а вы его поучали, считали, что он дурачок, не умеет жить. Счастья своего не понимает. Господи, как будто я сам умею жить!

Он задышался, нездоровая полнота мешала ему. Бледный, потный, он не обращал внимания на себя, видимо не дорожа остатками своего существования. Черты лица его расплылись, фигура расплылась, трудно было представить, каким он был в молодости, какой была походка, — все заросло и характер наверняка сместился. Куда? Щербаков разглядывал его без сочувствия к перипетиям челюкинской жизни, как натуру, как заготовку для какого-то рисунка. Разглядывая людей. Щербаков всегда искал, чем бы тут поживиться, — у одного был интересный разрез глаз, у другого могучие руки. Челюкин был как развалины — но чего?

— ...а как распознать такого? Слава, она только путает. Слава чаще достается ловкачам. Есть ведь величие без славы? — спрашивал Челюкин, глядя мимо Щербакова. — На глубоком месте вода не бурлит, так ведь? Я его шпынял, вернуть старался на путь истинный. Не понимал, чего ему не хватает. Как можно все завоеванное, добытое трудами — отбросить! Знаете, что он мне в ответ?

— Что? — спросил Щербаков без интереса.

— Чуть что он начинал петь.

Челюкин вскочил, запел — сипло, фальшиво, с чувством:

Но грозные буквы давно на стене
Чертит уж рука роковая!

Глаза его заблестели.

— Это он иносказательно! У него все было со значением. В Библии рука роковая кому начертила?

Щербаков пожал плечами.

— Ну как же, вспомните — царю Валтасару! Вот и Митя считал, что жил он Валтасаром, пировал, пока не прочел на стене знаки.

Ничего такого Щербаков вспомнить не мог, Библию он не читал, хотя не раз собирался, однако с пьяной хитростью стал подманивать Челюкина:

— То царь, а то Калинин. Он не пировал, он работал.

— Главный-то, средний знак что означал, а? — Подойдя к стене, Челюкин поднялся на цыпочки, стал пальцем чертить на ней и произносить торжественно, нараспев: — Ты взвешен на весах и найден очень легким!

Выглядело напыщенно, даже комично, но в словах было что-то устрашающее, опасное.

— Найден очень легким, — повторил Щербаков, встряхнул головой. — Ну и что? Работать-то он почему перестал?

— Не перестал. С чего вы взяли?

— Ага! Я так и думал. Но рука-то роковая была? — азартно спросил Щербаков. — Рассказывайте.

Челюкин непонятно усмехнулся, в руках его появился портфель, обыкновенный раздутый портфель командировочного, откуда были извлечены банка грибов, пол-литра, обмотанные вафельным полотенцем, пластмассовые стопки, ложечка, все это аккуратно и быстро разместилось на краю заваленного бумагами стола. Водка, как предупредил Челюкин, страшная, уральская, не для столичного пищевода, зато дух Мити, по его словам, будет витать здесь, а не над тем застольем.

— Вы в это верите? — спросил Щербаков.

Челюкин не ответил, посмотрел на него с жалостью, как смотрят на калеку.

Водка сивушным своим огнем прожгла все внутренности Щербакова, так что он охнул, протрезвел и вцепился в Челюкина, выясняя тайну малининского исчезновения. Но Челюкин отвечал уклончиво, никак было его не ухватить. Говорил, что тайна эта не его и он не имеет права, говорил, что вообще никакой тайны нет, что все это ребячество, человеком надо интересоваться, потом спросил, зачем Щербакову нужна эта тайна, лучше ее не касаться... Взгляд его при этом заострился, и какое-то неприятное чувство остановило Щербакова.

На столе, за которым они расположились, высился бумажный сугроб. Альбомы, конверты, грамоты, билеты, открытки... Щербаков сунул руку в эту скользкую грудку, вытащил наугад какую-то малининскую репродукцию, красный мандат с печаткой «президиум». Попалась визитная карточка, вырезка статьи, каталог за-

граничной выставки. Все было перемешано, видно, искали для похорон подходящую фотографию, документы, ордена. Из раскрытых папок подписанные краснополосые телеграммы, поздравления, подписанные известными когда-то лицами...

Щербаков хмыкал — былые салюты, угасшие огни иллюминаций, снятые флаги расцвечивания. Суэта сует и всяческая суета.

— Кому это нужно? Зачем копить этот мусор? — сказал он. — Поздравляет товарищ А. Н. Зубарев. А где ныне этот Зубарев? Кто это имя сейчас помнит?

Круглая блестящая голова Челюкина согласно кивала, потом он сказал не споря, как бы соглашаясь.

— Для нас, провинциалов, одна такая бумажечка — ого! Поднимет и вознесет над проблемами быта. Шутка ли — подвал в столичной газете! Репродукция! Билет в президиум — вроде мишура, но какую силищу надо иметь, чтобы отвергнуть. А Митя презрел, отказался.

— От чего ж это он отказался?

— От всего.

— Не знаю, не знаю.

— От самого главного отказался.

— Чего вы темните.

Челюкин понюхал свою стопку.

— А вам зачем это?

— Сами виноваты. Великий, великий, а доказать не можете. Если великий, так чего ж скрывать? Все это труха, — Щербаков махнул рукой, и так решительно, что Челюкин забеспокоился.

— Допустим, я скажу вам, что Калинин скрылся, стал работать под чужим именем, так вы ж не поверите, верно?

— От кого скрылся? Чушь какая-то. Вы серьезно? Что за смысл?

— Никакого смысла, — с живостью подтвердил Челюкин. — Абсурд, я тоже так считал.

— Когда ж это случилось? С чего он?..

— После смерти жены. Надю знали? — Он стал рассказывать, как покойница обожала Малинина, как строила мастерскую.

Все эти подробности в тот момент казались Щербакову лишними, только мешали выяснить главный вопрос — зачем же от своего имени отказываться, от такого имени?

— Вот именно, совершенно точно, — соглашался Челюкин и снова продолжал о приезде к нему Малинина, тоскующего, ушедшего в себя.

— Стал он чинить нашу халупу на садовом участке, поселился там.

Пьянея, Челюкин распрямлялся, кончик носа его засветился красным цветом, взгляд очистился.

— Представляете: никому не известный пожилой работяга в ватнике приносит свои картины, а? Никто понятия не имеет, что это Малинин. Неизвестная подпись. Да и картины-то совсем непохожие.

— Как же он мог соблюсти? Чтобы никому — ничего?

Челюкин легко отмахнулся.

— Нет, вы отвечайте, вы лично могли бы так? — и вперился маленькими глазками, где разгорался огонек. — Вы на себя примерьте и скажите.

— А зачем мне, зачем? — выкрикнул Щербаков.

— Ха, тут много может быть. — Челюкин приставил к груди Щербакова палец. — Чтобы никаких льгот и поблажек. Годится? Преимуществ имени и славы — чтобы не было их. Или, допустим, чтобы отвязаться от своих штампов. Вот вы, например, вы уже сложились. И вам надоело, вы хотите иначе, вам надо вырваться, отвязаться от себя.

— Да вырывайтесь, кто вам мешает, только зачем от себя отказываться?

— Я его тоже про это спрашивал... Я ему говорил: художник должен самим собой оставаться. Развивайся в любую сторону. Расти, как дерево, но чтобы корни были одни. А если я не деревом хочу быть, говорит он, а рощей, тогда что?

— Не понял.

— Сегодня одним, затем другим, если, говорит, во мне много разных людей, которых можно осуществить, тогда как?

Палец сильнее уткнулся в живот, Щербаков отстранился, разговор этот затягивал, что-то неприятное, даже опасное было в нем.

— Вы не вернетесь туда, к столу? — спросил Щербаков.

Челюкин посмотрел на него, понимающе усмехнулся.

— Да-да, вы идите.

От приставленного пальца внизу под ложечкой остался сосущий холодок. Проклятый вопрос этого толстяка словно затягивал в водоворот. В самом деле, мог бы он, Щербаков, автор уже отмеченной дипломной работы и трех спектаклей, мог бы он... начать подписывать вместо Щербакова... Даже передергивало от любой чужой фамилии.

Челюкин дожеввал грибок, спросил:

— Вы ничего не заметили в этих картинах?

— С какой стати я буду менять свою подпись,— сказал Щербаков.— Нет уж, извините. Искать себя — это я понимаю. Но — себя. Быть верным себе.

— Вы посмотрите внимательно,— продолжал Челюкин, не слушая его.— Откуда свет и куда падают тени. Нелепица. Он давно искал...

Щербаков нетерпеливо дернул плечом.

— Все это известно, лучше скажите: что ему дало это? Сменил он фамилию — и что?

— Вот вы чем все проверяете.— Челюкин покивал облезлой своей головой.— Результатом. Что с этого можно иметь. Главная нонешняя идея жизни. А ничего.— Он театрально поклонился, развел руками.— Одни потери. Не устраивает?

— Но для чего, для чего? — все более возбуждаясь, крикнул Щербаков.

— Мистификация это. Одурачить хотел.— Челюкин говорил быстро, тихо, поглядывая куда-то вверх.— Если бы он не умер, получилось бы два больших художника. Не успел достигнуть до второго. А то, представляете себе, какой бы вышел скандал? Два классика.— Челюкин хихикнул.— Две улицы... На самом деле все не так. Оброс он заученностью. Талант стал техникой. Надоел сам себе. А впрочем, может быть, не тупик, а вершина. Добрался до вершины — дальше куда? Вот он и спрыгнул.— Челюкин зашел к Щербакову сбоку, заглянул в глаза.— А может, тут совсем другое... Перед ним новая идея замаячила: писать то, чего не хотят видеть другие. Каково? То, что на самом деле творится у вас в душе, под вашими румяными щечками. А? Или кругом нас. Вся изнанка жизни, весь хаос, все скрытые чувства. Страшеннько? — Он потер ладоши, опять обошел вокруг Щербакова.— Фактически-то я не поверил. Что-бы певец красоты и радости жизни так перестарался? Тут совсем другая причина должна быть.

От всей этой путаницы у Щербакова кружилась голова.

— Какого ж черта вы меня морочите! — Он схватил Челюкина за отвороты пиджака, чтобы перестал мелькать перед глазами. — Я же с самого начала добиваюсь: какая причина?

— Вам тайну любопытно раскрыть. Что вам Митя!

— Будете вы говорить?

Щербаков затряс его, голова Челюкина податливо моталась, и крохотная усмешечка тоже моталась по бледному его лицу. Сам он оказался легким, мягким.

— Чего говорить-то. Не знаю я ничего, — тихо и обессиленно признался Челюкин. — Упустил.

— Что упустил?

— Хотел он как-то открыться. А я отверг.

— Почему же?

Челюкин поправил очки, сказал покорно, как на допросе:

— В очередь побежал. Сосиски давали.

— При чем тут сосиски?

— Плевать мне было на его философию. Я ему нарочно — накося, пошла нашего хлебни после твоих столичных разносолов.

— О чем же он сказать хотел?

Челюкин пожал плечами.

— Так и не узнал. И не спрашивал больше. Изменился он с того времени. Ясный стал. Сосредоточенный. Пока он метался, он мне люб был, я думал — от неприятностей подался он к нам. А когда увидел его другим... Он, значит, дважды хотел меня обойти. Я ведь кто? Нуль. Он приехал к нулю и безо всего тут опять хотел подняться.

Жар прежней злости еще сквозил в его словах, но голос его звучал ровно и печально. Что-то бесстыдное и тягостное было для Щербакова в этих спокойно произносимых признаниях.

— Послушайте, Челюкин, при чем тут вы? — сказал Щербаков. — Зачем вы тут возникаете?

Челюкин поднял очки, маленькие глазки его смотрели колко и сухо.

— Ничего не поделаешь, без меня не получите. Считайте — взбесившийся гарнир. Осталось на тарелке немного холодного пюре... А Митю считали безумным. Оттого, что человек успокоился, просветлел, от этого он у нас кажется безумным. Новые картины его тоже

повод давали. Я слухов этих не отвергал. Заслонить его хотел. С безумного какой спрос? Безумство его безобидное. Малюет, допустим, затылки. Я и в самом деле убеждал себя, что он того. Оправдание своей подлости делал.

— Что вы мне плачетесь? — сказал Щербаков. — Вашим признаниям теперь грош цена. Ничего они не стоят.

Опять вышло слишком резко, безжалостно, так, что Челюкин съежился, замолчал. Потом произнес удивленно:

— Отчего мне так тяжело? Значит, это ничего не стоит? — Он смотрел вверх, под потолок, в грязные пятна потеков. — Единственный шанс мне выпал в жизни — и тот упустил. А почему? Мы никак не примиримся, что другой человек может быть совсем не таким, как мы. — Он покачал головой. — Что же, Щербаков, будете делать с этим?.. Великовато для вас.

В мастерской еще не расходились, пили чай с вареньем. Фалеев тоненько пел «Летят утки», подпевали ему вразнобой, хмельно и мякло. Табачный дым колыхался над столом, было шумно, жарко. При появлении Щербакова все стало смолкать. Вид у него был оглушенный и несколько затуманенный, как будто его сильно стукнули по голове. Что с ним, никто не успел спросить, он начал сам, лунатически, каким-то растерянным голосом: «А вы знаете...» Другой бы подождал, пришел в себя; спросили бы — ответил; всегда выгоднее отвечать на вопросы, чем навязываться со своим рассказом. Но в ту пору Щербаков еще был доверчив и не понимал выгоды. Терпения ему не хватало.

Слушали его с любопытством. Про то, как Малинин уехал, провел последние годы на Урале, в городке, где Челюкин заведовал художественной школой. Там Малинин уединился, стал работать, ничем не позволяя себе пользоваться от прошлого, даже внешность изменил. Челюкин устроил его работы на областную выставку. Разразился скандал. Впрочем, Малинина это мало огорчало, он был занят своими поисками. К сожалению, Щербаков не сумел объяснить, в чем состояли эти поиски. И что за городок на Урале — не упомянул, как-то прослушал и то, под каким псевдонимом работал Малинин, все это в разговоре с Челюкиным

представлялось не важным, теперь же вызывало законные вопросы. Щербаков отмахивался от них, и рассказ терял убедительность. Кто-то засмеялся — может, он разыгрывает их? Алла уговаривала его выпить крепкого чаю. Он почувствовал, что ему не верят, и сбился. Он не понимал, для чего им нужны адреса, фамилии, все это только мешало, разве это важно, подробности можно выяснить у того же Челюкина. Отправились за Челюкиным, но найти его не могли.

После чая Щербакова развезло. Он вытирал губы от набегавшей слюны и говорил все громче:

— Проститься с миром! Без сожаления! Понимаете? Раз Челюкин признал себя ничтожеством, я ему верю. Тогда ответьте, где же пребывал Малинин последние годы, а? Опровержение имеется? То-то!

Тут Фалеев, кисло кривясь, заметил: мало ли что наплетут безответственные типы вроде Челюкина. Следует критически относиться к такого рода измышлениям. Многие теперь будут клеиться к имени Малинина, не постесняются. Ишь ты, какую криминальную историю расписал. Ну да она рассчитана на легковверных, на тех, кто плохо знал Малинина, его жизнелюбство... Говорил он тоном посвященного, но без насмешки, даже как бы выручая Щербакова, пробуя все закруглить в анекдот, а как анекдот, преподнесенный Щербаковым, такая версия допустима и может служить предметом веселых обсуждений. От Щербакова требовалось вздохнуть, посмеяться. Он же повел себя бестактно, заспорил с Фалеевым, доказывая, что все так и было, хотя никаких доказательств не приводил. Размахивая руками, разбил фужер, и тогда Фалеев постучал пальцем по столу и сказал строго, что имя Малинина отныне принадлежит истории нашего искусства и трепать его никому не будет позволено.

Алла тащила Щербакова прочь от Фалеева.

— Не принимайте его всерьез, — уверяла она, — поддали они там.

«Не принимайте всерьез» более всего обидело Щербакова. Среди этих красных, лоснящихся, поглупевших от водки физиономий он не находил ни одной, где мелькнуло бы хотя бы сочувствие. У него не было здесь друзей. Жалость к себе пронзила его — ни одного друга, в сущности, нигде у него нет, друга, которому интересны его чувства и мысли. Господи, как он одинок! Накрашенное лицо Аллы расплылось.

— Кто из вас на такое способен? Никто! — выкрикнул он. — Вставил вам Малинин фитиль! Не нравится?

От увещеваний он пуце расхотелся, совсем по пьяному куражась, так что пришлось вывести его. Сделал это Андрианов, единственный, кого Щербаков послушался.

На улице было светло от снега. Белизна, еще непривычная глазу, замалевала газоны, крыши, деревья, подоконники. Стало празднично чисто, город словно прибрался. Андрианову расхотелось возвращаться назад.

— Пойду домой, — сказал он. — Черт с ними. Поминки долгие, память короткая. Алку я предупредил, она Фалееву объяснит, что ты из-за нее взбеленился. Заревновал. Потому что с Фалеевым лучше не связываться, он из тебя любой гибрид сделает.

На улице было тихо, шагов не слышно. Это от снега, сообразил Щербаков и обрадовался своей догадливости.

— А чего он грозится?

— Потому что ты, дурила, замахнулся на источник его существования. Ну к чему Фалееву твоя сомнительная история?

— Ты, значит, тоже не веришь?

Андрианов поиграл зонтиком, промурлыкал:

Верила, верила,
А на себе проверила.

Потом сказал, посмеиваясь:

— Ну, верю, что дальше?

— Почему же ты не вмешался? Ведь это событие. Оно все меняет.

— Ничего не меняет. Тут не знаешь, как самим собой остаться, свое бесценное «я» сохранить. Нет, дорогуша, все это фантазии. Открывать в себе другую личность! Могу таким, могу этаким, — задразнился Андрианов, — могу новую жизнь начать, ах, сколько во мне всего... Жизнь нельзя начинать сначала, ее продолжать можно, — твердо, с раздражением подытожил Андрианов. — Ясно тебе?

— Но Малинин сумел. Он-то начал сначала.

— И что? — прикрикнул Андрианов. — И что?.. Пшик! Что получилось? Пшик! Так ему и надо. Я говорил ему! И поделом.

— Это за что так?

Андрианов не отвечал, с силой тыкал зонтиком снег, оставляя темные дырки. Никогда он еще не был таким.

Было привычно, что Андрианов неуязвим, все скатывалось с него бесследно. Блестящий и непромокаемый, как клеенка, — подтрунивал Щербаков, втайне при этом завидуя и восхищаясь им.

Некоторое время они шли молча. Щербаков дышал глубоко, трезвея от морозного воздуха.

— В конце концов, дело не в результате, — сказал он, — дело в идее.

— Ах ты птичка-алкоголичка! Витатель ты. В нашем деле, заруби себе, все решает результат... Сам он не добился и нам не дал. Я ему простить не могу.

— Чего?

— По его милости мы заказа лишились. Какой заказ уплыл! Дворец молодежи оформлять! Чуешь? Верная премия светила. Всей группе. Отказался. Видите ли, это не соответствовало его поискам. Эта старая задница искала иное самовыражение. Так его растак. Только о себе думал, о себе неповторимом, единственном.

— Нет, ты не прав, он не обязан был...

— Ему-то что, он все получил, обожрался, видите ли, захотел по второму кругу пройти... Спаси больше, чем таланту. Чего дадено, за то и благодари.

Красивое лицо его перекосилось, он совсем не походил на того Андрианова, которого все любили и который всех любил, который был счастливчиком, баловнем судьбы, не нажившим себе врагов, — прекраснейшее исключение в этом мире.

— Ну знаешь, это как расценивать... — Но вдруг Щербаков остановился, пораженный догадкой. — Подожди-ка, значит, ты знал?

— Аа-а, про это... — Андрианов усмехнулся зло. — А ты, тыпа, думал, что никто ничего? В наше время не укроешься.

Слова его значили, что, может, и другие, тот же Фалеев, знали, но виду не подали, кивали, удивлялись, выспрашивали. Самообладание этих людей, непроницаемость их ужаснула Щербакова.

— Как же ты мог, когда надо мною... — он смотрел на Андрианова по-новому, со страхом.

— Ко мне не вяжись, — предупредил Андрианов с металлическим холодком. — Если при жизни Малинин считал нужным скрывать какие-то вещи, то нечего ковыряться и болтать. Есть Малинин, есть его работы, остальное не наше дело.

Не мигая, Щербаков смотрел прямо перед собою, чувствуя слезы в глазах. Они стояли там, постыдные, детские слезы, он ничего не мог поделать с собою.

— ...Ты поверил этому чайнику уральскому? Тогда тем более не суйся. Был Малинин стал Немалинин. И не надо их путать. Не надо,— чеканил Андрианов,— Малинин — мой учитель. Твой тоже, кстати. Учитель — это марка. Родословная. Фирма. Родословная должна быть чистой.

Они вышли на проспект. Горели высокие фонари. Снег был затоптан. Дул ветер. Щербаков вытер глаза, откашлялся.

— Чего ж тут плохого? История эта украшает биографию Малинина. Конечно, если успех мерить премиями...

— Уймись,— оборвал его Андрианов.— О каком успехе ты говоришь? Хочешь, дадим тебе командировку творческую? Поезжай, убедишься.— Он был снова весел, красив, и глаза его приветливо лучились.

Три года спустя открывали мемориальную доску на доме, где жил Малинин. Движение на улице было перекрыто. Пришли пионеры, студенты, представители предприятий. Щербаков стоял у трибуны и разглядывал толпу. Челюкина не было. Щербаков и не ждал увидеть его, и все же искал, просматривая ряд за рядом. Выступал Фалеев. Он раздался вширь, голос его загустел, облачка пара вылетали из его рта то маленькие, то побольше и таяли на искристом морозце. Наверху, в синем небе, плыли такие же круглые облачка. Доска была толстая, из серого гранита, чувствовалась ее тяжесть. На доске, чуть выступая, белел барельеф — строгий профиль Малинина, классически правильный, как на камее. Почему-то в памяти Щербакова всплыло — «ты взвешен на весах и найден очень легким», это звучало как стих.

— Выглядит вполне,— сказал Андрианов.

— Сделано со вкусом,— подтвердил Щербаков и поклонился к Андрианову.— Я иногда думаю, почему он не вернулся... Если не получалось, мог сюда вернуться? А он и не собирался. Что-то, значит, ему светило.

— Лучше бы ты думал над своими делами,— сказал Андрианов.— Кто же персональную выставку в киноте-

атре устраивает. Несерьезно. Ты обратись к Нине Гургановне, я ей скажу.

Цоколь малининского дома вскоре выложили коричневой плиткой, доску перевесили к воротам, освободив место для вывески блинной. Сама блинная заняла весь нижний этаж. Оттуда всегда валит пар и слышна музыка. Поэтому, когда Щербакову предложили бывшую мастерскую Малинина, он отказался. Антресоли были уже убраны, бронзовые ручки сняты... И слишком шумно внизу. Истинная причина, однако, состояла в чувстве, которое охватило его среди этих стен. Не по себе ему стало. Как будто что-то ему тут могли сказать или сам он должен был что-то сказать, спросить, сделать, а что именно — не знал.

Мастерскую Щербаков получил в новом квартале, огромную, двусветную, с квартирой, — кстати, неподалеку от переезда, за которым начинается кладбище.

Весной Щербаков иногда приходит туда. Всякий раз долго путается в узких аллеях надгробий и памятников. Отыскав могилу Малинина, он садится на скамейку и задумчиво смотрит на тесное нагромождение разных памятников, дорогих и скромных, ухоженных и забытых, безвкусных и строгих, вся эта мешанина заботливо и одинаково присыпана прелым бурым листом. Напротив огромное многоэтажье белых корпусов, сотни окон.

Поют, заливаются птицы, и Щербаков незаметно начинает мечтать, как он уедет в маленький городишко, в какую-нибудь глухомань, и будет там писать всякую всячину без мыслей о выставке и заказах. Думать об этом приятно и грустно. Он вспоминает историю с Малининым, все то, что рассказал Челюкин, но, странно, история эта кажется ему все сомнительней, поступок Малинина стал вовсе необъяснимым. И все же что-то тревожит и досаждаёт Щербакову, особенно здесь, у этого надгробия. Следовало бы съездить туда, к Челюкину, хотя, наверное, его уже нет в живых. Да и было ли все это? Он сидит, сняв шапку, на теплом солнце и чего-то медлит, ждет, зная, что потом будет ругать себя за впустую потраченное время.

Заносчивое упорство молодого инженера раздражало и в то же время странно привлекало Минаева. Ни на одно из требований Ольховский не соглашался. Грязными, тонкими пальцами он поминутно хватал крышку чернильницы на столе у Минаева и водил ею по стеклу. Неприятный, пронзительный скрип сливался с неприятным смыслом слов, произносимых Ольховским, и впечатлением от его статьи, такой же неприятно резкой. В сущности, статья больше всего раздражала своей неопровержимой правотой: Ольховский убедительно доказал неэкономичность новых двигателей конструкции академика Строева. Такую статью Минаев не мог разрешить печатать. Бесполезно было объяснять этому мальчишке, что критика академика Строева вызовет множество осложнений и в работе института, и для самого Минаева, еще не утвержденного в должности директора.

— Дружески прошу: выкиньте все насчет Строева, — мягко сказал Минаев. — И в критической части там тоже амортизация нужна, тогда легче будет печатать.

Ольховский вскочил, изогнулся, бледное лицо его порозовело, пальцы сжались в кулаки.

— О чем же тогда будет моя статья? Ни о чем! — воскликнул он тонким голосом. — Поймите, ведь они поведут к пережогу тысяч тонн горючего. Как же вы так... — Прямые брови его недоуменно поднялись. — Нет, нет, никаких переделок. Ни за что, Владимир Пахомович, это же беспринципность!

«Молодец», — подумал Минаев. В позе Ольховского было что-то удивительно знакомое... И вдруг перед глазами Минаева возникла давняя, забытая сцена, когда он вот так же, изогнувшись, сжимая кулаки, кричал

звонящим ломким голосом... Были и у него когда-то лохматые волосы и на лацкане потрепанного пиджачка такой же комсомольский значок. Воспоминание было трогательным, но оно никак не отразилось в притушенном взгляде его глаз, устало полуприкрытых тяжелыми веками. Бугристое, энергичное лицо его прочно хранило в углах губ ту неопределенность выражения, которую вольно было разгадывать по-всякому.

— Любите вы все бренчать этим словом — принципиальность, — холодно сказал Минаев. — А вы попробуйте реализовать ее. Заработайте-ка право и средства реализовать ее. Да, товарищ Ольховский, — со злым удовлетворением повторил он, — осуществляйте, а не объявляйте. Ради этого приходится кое-чем жертвовать.

Ольховский наклонился над столом. Густые волосы свесились. Из-под них на Минаева яростно смотрели блестящие глаза.

— А вы как, Владимир Пахомович, добились вы уже права быть принципиальным?

Вопрос возмутил Минаева какой-то своей, никогда не звучавшей в этом кабинете наглостью. Улыбнувшись той благодушно-дружелюбной улыбкой, которая выручала его в трудные минуты, он снисходительно сказал:

— Осторожнее, вы опрокинете чернильницу.

Ольховский покраснел и отодвинулся.

— Ну, вот видите, — продолжал Минаев, — важно вовремя остановиться.

От этого разговора у Минаева осталось тягостное ощущение. Ладно, сейчас важно одно — приказ об утверждении, тогда можно будет помочь Ольховскому, тогда не страшен и Строев, перед кем угодно можно отстаивать свое мнение. Недостаточно иметь еще и соответствующее положение... Мысли эти привычно успокаивали, они услужливо появлялись всякий раз после неприятного выража.

Вскоре по поводу статьи Ольховского пришел запрос, подписанный инструктором горкома партии Локтевым. К запросу было подколото письмо Ольховского. Прочитав письмо, Минаев рассердился: «...трусливая политика Минаева укрепляет строевскую аракчеевщину... На такой должности пора позволить себе «роскошь» защищать свое мнение...» — смотри, как распоясался умник.

Минаев сам написал ответ, лаконичный, корректный и в то же время убийственно ядовитый, до отказа используя хорошо известную ему подозрительность Локтева. Ольховский представлял мнительным, неуживчивым, отнимающим у людей время своими вымогательствами, работа его — спорной, некорректной. Местами получалось голословно, но Минаев знал: чем голословнее, тем убедительнее. Подписывая бумагу, он неловко царапнул пером, и от этого скрежещущего звука поморщился... Ну и что ж, не мог же он накануне свершения всех своих надежд рисковать из-за упрямства этого мальчишки. Ольховский сам вынуждает его писать такое. Ничего, ничего, потом он все это исправит. И он присоединил дело Ольховского к серии дел, отложенных до назначения.

Петрищева, заместителя министра, Минаев глубоко уважал, и, вероятно, поэтому его приезд в институт не обрадовал Минаева. В присутствии Петрищева Минаев всегда испытывал непонятное и стесняющее чувство какой-то опасности. Правда, это совершенно ненужное чувство несколько не мешало Минаеву улыбаться, шутить, порой его даже изумляло, с какой налаженной независимостью от него самого действовали мускулы его лица, голос, руки.

Минаев водил Петрищева по лабораториям, знакомил с тематикой их работ, выслушивал замечания, и, хотя те же самые замечания Минаев сам высказывал своим подчиненным, тем не менее просил референта записать их, считая, что такое внимание приятно Петрищеву.

В одной из лабораторий, показывая вибратор, Минаев увидел, как Ольховский протолкался к заместителю министра. Он был бледнее обыкновенного. Острый подбородок вздрагивал. Широко открытые черные глаза его смотрели с надеждой и страхом. Каждая минута ожидания убавляла решимость Ольховского, и, понимая это, Минаев включил установку. Воющий гуд фонтаном взметнулся к потолку и осыпался, затопив комнату плотным шумом. Минаев угрожающе посмотрел на Ольховского, пытаясь остановить его, показать, как не вовремя он суется со своей просьбой. Ведь осталось подождать всего какую-нибудь

неделю. Эгоизм Ольховского возмутил его, но, когда Ольховский наконец заговорил, Минаев успокоился.

Вместо того чтобы сразу изложить суть дела, Ольховский, путаясь в длинных заготовленных фразах, начал про истоки консерватизма, систему ответственности, — никто не мог понять, чего он хочет. Во взгляде заместителя министра Минаев поймал сочувственное внимание, и ему вдруг стало стыдно за Ольховского. «Ну чего он тянет, теоретик сопливый, балда, — мысленно выругался Минаев. — Какая бестолочь! Сейчас его прервут».

— Простите, — сказал Петрищев, — что, собственно, вы просите?

Ольховский растерянно умолк, продолжая беззвучно шевелить сухими губами. Минаев опустил глаза. Господи, какой неумелый мальчишка! Ольховский полез в карман, рывком выдернул затрепанную на сгибах рукопись и стал совать ее Петрищеву. Заместитель министра расправил свернутую рукопись, внутри лежал измятый, в табачных крошках рубль. Кто-то прыснул, заместитель министра не выдержал и, протягивая рубль Ольховскому, рассмеялся. И сразу кругом засмеялись. Ничего обидного в этом смехе не было, в таких случаях надо засмеяться вместе со всеми, пошутить, но Ольховский пятнами покраснел, нелепая застенчивая улыбка перекосила его лицо, казалось, он сейчас разрыдается.

— Я вас прошу, разберитесь сами, — быстро заговорил Ольховский с тем отчаянием, когда уже все равно осталась последняя минута и можно говорить все. — А то вы пошлете... Вот я Владимиру Пахомовичу...

— Обязательно разберемся, — подчеркнуто спокойно и неторопливо сказал заместитель министра.

Когда вернулись в кабинет Минаева, Петрищев спросил, что за рукопись дал ему этот молодой инженер.

Раскрывать свои опасения относительно Строева было бы неразумно, поэтому Минаев начал так:

— Рукопись... — потом сделал паузу. — Пожалуй, лучше меня может оценить ее начальник отдела, где работает Ольховский.

«Я не могу иначе», — оправдываясь, подумал он, заранее представляя все, что произойдет.

Начальник отдела отметил интересные методы расчета, сделанного Ольховским, и тут же оговорился — нужна тщательная проверка, без всей этой фронды, шумихи, жалоб, писем... Он старался ничем не повре-

дить Минаеву и в то же время соблюсти объективность по отношению к Ольховскому.

— Вот уж никак не ожидал, что он такой скандалист,— удивился Петрищев.

— Я с ним учился в университете,— сказал референт Минаева.— Он всегда был какой-то...— Референт повертел пальцем у виска.

Минаев знал, что референт говорит так, потому что считает, что Минаев хочет, чтобы он говорил так, но все же это было слишком.

— Есть, конечно, у нас такая категория,— сказал заместитель министра.— Строчат, требуют комиссии, идут на таран. А потом оказывается — форменный бред. Но есть люди, которых подводят под категорию бредоносцев...— Он нахмурился, вспоминая, очевидно, что-то свое.

— Как бы там ни было, сама проблема стоит того, чтобы ею заняться,— поспешно сказал Минаев с той грубоватой независимостью, которую Петрищев любил.

Петрищев согласился, как бы вручая ему судьбу рукописи. И хотя это доверие было приятно Минаеву, оно вызвало у него смутное чувство вины. Минаев успокаивал себя: никакого морального долга перед Петрищевым у него нет. Петрищев согласился вынужденно, не мог же он высказать недоверие к человеку, которого собрался утвердить директором. Ничего не поделаешь, вы заставляете, но и вас заставляют, такие обстоятельства пока что встречаются.

Теперь, когда вопрос был решен, ему вдруг стало жаль Ольховского. В сущности, Петрищева убедили, что Ольховский — скандалист и вредный чудаки. Это нехорошо. Губим парня только за то, что он так неумело отстаивает свою правду. Так нельзя.

С каким удовольствием он отшвырнул бы к черту всякие свои расчеты и соображения и сказал бы все, что думает про шумиху, поднятую Строевым. Но губы его оставались твердо сжатыми; сидя в кресле, он слушал рассуждения заместителя министра, и грузное лицо его изображало невозмутимое внимание.

Став директором, Минаев за ворохом новых дел забыл про Ольховского, и лишь запрос из главка напомнил ему эту историю. К запросу опять было приложено письмо Ольховского — ожесточенно и неумело он

продолжал безнадежную борьбу. По своему простодушию Ольховский пренебрегал пишущей машинкой, и поэтому даже внешний вид этих писем, на листках ученической тетрадки, исписанных детски круглым почерком, настраивал читателя несерьезно.

Первые абзацы Ольховский выводил тщательно, затем буквы ложились все более косо, строчки торопливо загибались, и Минаев был уверен, что никто, кроме него, не дочитал этого письма.

С яростной наивностью Ольховский обрушивался на систему публикации научных работ. «У нас воцарилась пагубная «ответственность с одного бока», — писал он, — какой смысл печатать острую или спорную научную статью, за нее может нагореть, придется отвечать, а отклони эту статью — и никто тебя к ответу не притянет...»

«Наконец-то, допер», — думал Минаев. Судя по всему, парень через свои синяки и шишки чему-то научился. Ольховского возмущала уже не столько судьба его собственной работы, сколько природа той вязкой, непробиваемой преграды, на которую он наткнулся впервые в жизни. Гнев делал его мысли более зрелыми и глубокими. С раскаянием Минаев улавливал в них нотки озлобления и порой отчаяния. Он медлил отвечать в главк, собираясь на досуге продумать способ как-то помочь Ольховскому. Выработанное годами чутье удерживало его от поспешного выступления против Строева. Следует укрепиться, выждать момент... Доводы эти удивили Минаева — вот наконец он стал директором, и, выходит, ничего не изменилось...

На партийном собрании Ольховский попросил слова и стал разносить инструктора горкома Локтева — за полное непонимание характера научной работы, за «трупное равнодушие к живой мысли...». Безрассудство Ольховского встревожило Минаева — все, что говорил Ольховский, было правдой, только Ольховский не учитывал, что именно в силу своей бездарности Локтев не оставлял безнаказанным ни одного выступления против себя. Рано или поздно он находил удобный случай подставить ножку, нашептывал, распространял слухи. Не гнушался никакими средствами.

Слыша, как Ольховский бесстрашно атакует явно сильнейшего противника, Минаев испытывал жалость и сочувствие. Он даже досадливо крикнул: жаль-то жаль, а пособить вроде и нечем. Слишком далеко

в своей борьбе зашел Ольховский, открыто поддерживать его — означало вступить в конфликт со многими влиятельными людьми. В глубине души Минаев остро завидовал безоглядной свободе Ольховского — терять ему было нечего, расчетливость, вероятно, казалась ему малодушием, а терпение — слабостью.

На следующий день после собрания Минаев положил запрос и письмо Ольховского в папку референту для ответа. Вечером референт, гладко причесанный молодой человек с бледно-желтым лицом, в очках с такой же бледно-желтой оправой, бесшумно ступая на толстых каучуковых подошвах, вошел в кабинет и дал ему на подпись бумагу, отпечатанную на бланке с красивым штампом института. Туманно доброжелательный стиль ответа лишал всякого повода к протесту и оставлял право тянуть с решением неопределенно долго.

Минаев с любопытством посмотрел из-под усталых полуприкрытых век в бесстрастное лицо референта.

— Какого вы мнения об Ольховском? Все же он способный парень?

— Да, — сказал референт, наклонив гладко причесанную голову, — он способный.

«А что бы ты, друг любезный, написал, сидя в моем кресле?» — хотелось спросить Минаеву. Но он умел разбираться в людях и поэтому сказал, сохраняя вопросительную интонацию:

— Сейчас-то вам просто, а будь вы на месте академика Строева...

Впервые Минаев увидел, как его референт оживился и как-то по-молодому лихо почесал голову, нарушив блестящий пробор.

— Владимир Пахомович, я бы напечатал, не задумываясь... Ведь такая экономия...

— Ага, почему же вы готовите мне такие ответы, — быстро спросил Минаев, — ведь это расходится с вашим мнением? Почему вы поступаете, как Молчалин?

Референт медленно, с силой пригладил волосы.

— Я пишу так, как вы хотите, чтобы когда-нибудь писать так, как я считаю нужным. — И он твердо посмотрел в глаза Минаеву.

— Ого! И вы надеетесь, что это когда-нибудь случится? — задумчиво усмехнулся Минаев. Вынув из стаканчика толстый синий карандаш, он размашисто подписал бумагу.

Ольховский больше ни разу не обращался к Минаеву. Несколько раз Минаев встречал его в коридорах института. Ольховский проходил, угрюмо опустив голову, длинные руки его висели, словно чужие. Минаева тянуло остановить его, поговорить по душам, кое-что посоветовать, надо набраться терпения, вот скоро Минаев поедет на коллегия министерства, там будет случай кое с кем потолковать... Но он чувствовал, что Ольховский не поймет его, и это было обидно: Минаеву хотелось доказать, что он не виноват, что от него зависит немного.

Накануне отъезда на коллегия Минаева вызвали в горком. Он знал, что Локтев добивается увольнения Ольховского. В конце концов, кто такой Локтев? Всего лишь инструктор горкома. Какое он имеет право вмешиваться в мои дела? Если бы нужно было уволить Ольховского, я бы сам это сделал. С какой стати я должен потакать мелкому уязвленному самолюбию этого деятеля? Нет, хватит. Локтев мне не начальник, и не ему мною командовать. Другое дело, если бы секретарь горкома, а то инструктор! Вышел я из того возраста, товарищ Локтев, да и положение не то... Так он и скажет: и положение не то — более чем ясно. Он мысленно повторил последнюю фразу — многозначительно, с легкой усмешкой. Подъезжая к зданию горкома, он машинально провел рукой по гладко выбритому подбородку, поправил галстук и тут же спохватился, негодуя на себя за этот привычный жест. Довольно, пришла пора, когда он может позволить себе оставаться самим собой, он ничем не хуже других директоров. Особенно в этом случае он может, он должен вывести Локтева на чистую воду. Ступая по широкой лестнице горкома, идя по просторному длинному коридору, Минаев высоко поднимал голову, в чертах его грузного лица вместо привычной затаенности проступала жесткая решимость.

Он вышел из горкома через час. Начинался дождь. Мелкие капли покрыли рябью асфальт. Минаев долго стоял возле машины. Бесчисленные влажные крапинки вспыхивали на сером асфальте. Капли падали на летнее пальто Минаева, он ощущал плечами их легкую дробь.

— Садитесь, Владимир Пахомович, — сказал шофер. Минаев поднял голову, удивленно посмотрел на него.

— Вы поезжайте,— сказал он и захлопнул дверцу машины.

ЗИМ отъехал, место его стоянки четко отпечата-лось на асфальте. Минаев смотрел, как дождевые капли пятнали светлый сухой прямоугольник.

— Поезжайте,— повторил он, прислушиваясь к своему голосу.

Он пошел вперед. Куда бы он ни шел, это все равно считается вперед. Он мог идти к площади, мог свернуть на набережную. Единственное, что он не мог, это вернуться в горком. Что бы он себе ни говорил, как бы он себя ни убеждал... Редко выпадали в его жизни случаи, когда ему приходилось оглядываться на самого себя. Нет, не то: о себе он думал достаточно, он старался предусмотреть каждый свой поступок, контролировал свои слова, но думать о том, почему он делал так, а не иначе, ему было некогда. Начинается тягостная психология... Натренированная ловкость, с которой он и сейчас увлекал себя прочь от опасных размышлений, позабавила его. «А что произошло в горкоме?» — неожиданно спросил он себя. Локтев грубо и откровенно предложил перевести Ольховского на опытную станцию в Николаев. Слушая Локтева, он спрашивал себя, по какому праву этот угрюмый недоучка, с мертвенным, каким-то прошлогодним лицом, никогда ничего не создавший и не способный создать, сидит здесь и распоряжается судьбами таких людей, как Ольховский? Даже для вида не спросил про строевские двигатели, в чем тут суть проблемы. Он был твердо уверен, что Минаев сделает так, как хочет он, Локтев. Откуда взялась у него эта гнусная уверенность? В горкоме его называли Угрюмбурчеев и побаивались связываться с ним.

По реке густо шел последний лед. Местами река была вся белая, как замерзшая. Льдины напоззали на гранитные быки моста и мягко трескались, угловатые обломки, кружась, исчезали в пролетах. Перегибаясь через перила моста, Минаев смотрел вниз. Казалось, льдины стоят на месте, а движется мост. От черной воды тянуло холодом, искристые длинные кристаллы льда звенели, ломаясь о гранит, и, мерцая, уходили под воду. Сделав над собой усилие, Минаев оттолкнулся от перил. В груди у него закололо, и сразу стало жарко. Сняв шляпу, он рукавом вытер пот. Холодные капли дождя обжигали горячую кожу.

Он почувствовал себя старым и навсегда усталым. Он вдруг увидел себя со стороны — обрюзгший, лысый мужчина, сутулясь, пришаркивая, идет по мосту, стиснув в руке шляпу. Боже, как быстро он состарился! Когда же это случилось? Он, Володя Минаев, запевала школьного хора, секретарь факультетской ячейки... Ему вдруг стало страшно — неужели он уже старик?

С пугающей явственностью возник перед ним Володя Минаев, яркоглазый, с прыщавой цыплячьей шеей, таким, каким он пришел на «Сельхозмаш». Ты помнишь ту историю с подвеской мотора? Пожалуй, с этого началось? Он помнил. Начальник цеха сказал ему: «Тебе, Минаев, еще рано высовываться. Куда ты лезешь со своими силенками против главного конструктора? Он тебе все будущее закроет. Что ты есть? Мастер. Таких глотают, не разжевывая». Он помнил свое унижительное бессилие, когда главный конструктор, прихлебывая чай, выслушал его страстную речь и сказал, умышленно перевирая фамилию: «Послушайте, вы, Линяев, если вы сунетесь еще раз с этим абсурдом, я вас выкину с завода. Идите». Вместе с друзьями он еще пробовал сопротивляться, ходил, доказывал. Все было напрасно. Они могли убить на эту безнадежную борьбу три, пять... десять лет и ничего бы не добились. Их было трое. Сперва уволили с завода одного, потом другого. Очередь была за Минаевым. Тогда он сделал вид, что смирился. Он утешал себя: это временно. Надо пойти в обход, сперва добиться независимости, авторитета, а потом громить этих бюрократов. Стиснув зубы, он продвигался к своей цели. Его назначили заместителем начальника цеха. Он приучал себя терпеть и молчать. Во имя того дня, когда он сможет сделать то, что надо. Он поклялся себе — все стерпеть. Он поддакивал тупым невеждам. Он голосовал «за», когда совесть его требовала голосовать «против». Он говорил слова, которыми не верил. Он хвалил то, что надо было ругать. Когда становилось совсем тошно, он молчал. Молчание — самая удобная форма лжи. Оно умеет ладить с совестью, оно оставляет лукавое право хранить собственное мнение и, возможно, когда-то сказать его. Только не сейчас. Не в должности начальника цеха, и не начальником техотдела, и не главным инженером завода. И не на защите диссертации. Еще рано. Всякий раз было еще рано! А список его долгов рос. Жизнь рождала новые идеи, сталкивала с новыми препятствия-

ми. Сколько таких Ольховских осталось позади!.. Неустанно, как муравей, он возводил здание своего положения, стараясь сделать его еще крепче. Зачем? Чего он добился? Чем выше он забирался, тем меньше он оставался самим собой. Тем труднее было ему рискнуть. Что мешало ему? Почему другие могли?.. Почему Петрищев мог — его несправедливо наказывали, понижали, снимали, а он всегда шел напролом, своим путем и побеждал? Нет, ему, Минаеву, ничего не мешало, просто так ему было легче. Он считал, что так легче. И когда Локтев, помахивая копией его ответа на запрос горкома, упрекнул его в двоедушии — «пишешь одно, а говоришь другое, что ж прикажешь докладывать секретарю?», — он понял, что Локтеву нечего стесняться, он имеет право быть откровенным, и сейчас надо уступить, так легче.

Все то, что предлагал Локтев, было подло, насквозь подло, но Минаева поразило другое — Локтев, по крайней мере, говорил то, что хотел. Локтев и Ольховский. Все остальные люди, связанные с этим делом, — все они думали одно, а говорили другое. Все, начиная с самого Минаева и кончая его референтом. Каждый из них по своему лицемерил, лгал, и, вероятно, поэтому Локтеву можно было уже не лгать.

«Какой подлец! — с ненавистью думал он, глядя в пустые глаза Локтева. — Гнать его в шею из горкома! Не то что из горкома, из партии надо гнать таких. Злобное ничтожество. Ведь если его выгнать отсюда, его даже в продавцы не возьмут». Чем сильнее он ненавидел и презирал Локтева, тем спокойнее он отговаривал его, а когда Локтев стал настаивать и угрожать, он попросил отложить вопрос на несколько дней. Трезво оценив всю сумму неприятностей, которую способен причинить ему Локтев, он надеялся в Москве заручиться поддержкой.

— Только ты не тяни, — сказал Локтев, прощаясь. — Сам писал, что Ольховский — склочник. Надо очищать институт, оздоравливать атмосферу.

«Ах какая сволочь!» — подумал Минаев и крепко пожал руку Локтева.

В Москве, на коллегии, институту досталось за невыполнение плана, и, хотя в большинстве претензий виновато было само министерство, возражать не имело смысла, поскольку Минаева считали человеком новым, и все упреки списывались на ~~прежнее~~ руководство. Зато

благодаря этой тактике Минаеву удалось выпросить валютное оборудование. В этом щекотливом вопросе просьбу института поддержал академик Строев, и после этого Минаеву было неудобно заговаривать о деле Ольховского. Суматоха московской командировки оттеснила это дело, ставшее здесь, в Москве, каким-то маленьким, и всплыло в памяти оно только в поезде, когда Минаев остался один в купе полупустого спального вагона. Виноват, наверное, был дождь. Он начался незаметно, покрывая окно косыми мелкими блестками. Крохотные капли зигзагами пробирались вниз, вбирали в себя накрапы, сливались такими же каплями и рывками все быстрее скользили вниз. Вспомнив обещание, данное Локтеву, Минаев вздохнул — вероятно, он там рвет и мечет, ничего не поделаешь, придется переводить Ольховского в Николаев. Временно, пока улягутся страсти.

На фоне густой черноты ночи двойное зеркальное стекло отразило грузную фигуру в розовенькой полосатой пижаме, отечное лицо с папиросой в углу твердо сжатого рта и еще одну, более смутную фигуру, всю в блестках дождя. Папиросный дым, касаясь холодного стекла, стлался сизыми льнущими завитками. Сквозь них из черной глубины окна, там, за вагоном, на Минаева смотрел тот, молодой, в намокшей кепке, в потертом пиджачке студенческих времен. Струйки воды стекали по его бледным щекам, по тонкой цыплячьей шее.

«Что же ты, папаша, опять откладываешь, сколько можно, неужели ты совсем не личность?» — «А между прочим, для всех весьма серьезная личность. Я считаю с реальными обстоятельствами, легко требовать, когда внизу». — «Ты обещал поступать по-своему, когда назначат директором. Потом, когда укрепишься, а теперь...» — «Как будто директор — это бог. Я связан по рукам и ногам. Если бы я работал в министерстве, тогда я бы не зависел от Локтева, я мог бы...» — «Подумаешь Локтев, что тебе его угрозы, надо было пойти к секретарю горкома, в конце концов мог обратиться в ЦК, ты же был там». — «Я честно делал и делаю что могу. И с Ольховским тоже все обойдется, верну его». — «Не вернешь, да его уже и не будет, того Ольховского, будет Минаев, он превратится в Минаева, ты предаешь нас обоих... Как я мог поверить тебе?» — «Демагогия. Безответственная болтовня. Если я сейчас уступаю, так это только для того, чтобы иметь возможность под-

держат не одного Ольховского. На моих плечах большой институт, там есть десятки таких, как Ольховский, которых я могу защитить, поэтому я не имею права...»

И был еще третий Минаев, невидимый, который с любопытством слушал, как директор убедительно, степенно отражал наскоки молодого, фактами доказывая неизбежность случившегося, и вроде успокоил, пообещав выручить Ольховского, вернуть его, лишь только сойдутся обстоятельства. Был он вполне искренен, не ловчил, но тот, невидимый, третий, знал — обстоятельства нужным образом никогда не сойдутся, игре этой не виделось конца. Он всегда будет стремиться стать самим собой завтра. Однако третий этот, невидимый Минаев, не ввязывался в их спор, никого не уличал, он ничего не произносил, он-то знал, что вряд ли уже директору удастся когда-нибудь поступать так, как он хочет, и что этот невидимый Минаев и есть тот настоящий, про которого никому не суждено узнать. И то ладно, что есть и не погасло, значит, утешался он. Другие напрочь придавили это в себе. Бог знает, сколько в нем расщепилось разных Минаевых, и никак они не могли соединиться в одно.

Гибкие плывущие пряди дыма затуманивали мокрое лицо, там за стеклом оно уплывало в черноту ночи вместе с прошлым. Куда уходит прошлое? Единственное, что осталось, — это ощущение ожидания, вспоминалась не работа, а ожидания, которыми, оказывается, были залеплены все эти годы. Непрестанное ожидание — чего?.. Он усмехнулся и придавил папиросу.

Утром на вокзале Минаева встретил референт. Тщательно заматывая шарф, Минаев слушал институтские новости.

— Да, кстати, — спросил он, — Локтев из горкома не звонил?

— Звонил, дважды.

— То-то и оно, — сказал Минаев.

Они медленно двигались в толпе по мокрой платформе, мимо вагона, в котором приехал Минаев. Запыленные стекла его купе ничего не отражали, сквозь них в сумрачной глубине виднелась смятая постель, грязная пепельница, полная окурков.

ПЕРВЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ

Перед Смольным, у памятника Ленину, всегда стоят экскурсии. Школьники, туристы, иностранцы. Однажды я познакомился там с одним стариком. Он ходил в стороне, опираясь на палку, не слушая экскурсовода, и лицо его выражало смятение. Он знал Смольный в дни революции. Не было памятника Ленину. Горели костры, их дым мешался с синим дымом броневиков, грохочущих вот здесь, у лестницы Смольного. Он смотрел на цветники, клумбы, скамеечки и видел совсем не то, что видели все мы. Поэтому в его рассказах о том, как это было, я многого не понимал, какие-то детали, краски, все то, что для него было само собой разумеющимся. Среди его рассказов один почему-то запомнился особо. Забавная история? Но прошло несколько лет, а история эта не забывалась, и чем больше я вдумывался в нее, тем более знаменательной она казалась. У нее был один недостаток: она плохо уживалась с монументально-классической схемой революции, которая преподавалась нам из года в год.

Но не так давно, случайно в воспоминаниях А. М. Коллонтай я прочел об этом случае, и, хотя там было рассказано о нем скупее, без мотивировок, он предстал емко и абсолютно достоверно.

На третий день после взятия Зимнего Ленин поручил Коллонтай заняться соцобеспечением, или, как оно до того называлось, министерством государственного призрения. И тут же, утречком, к ней на квартиру явился мужичок — тулупчик, лапти, борода — с запиской от Ленина, где Ленин предлагал выдать подателю сего сколько причитается за лошадь.

Что за лошадь, какую лошадь? Мужичок обстоятельно рассказал: лошадь у него реквизировали на военные нужды еще при царе, перед самой Февральской револю-

цией. Обещали заплатить вознаграждение, но время шло, не платили, а в хозяйстве без лошади невозможно, и мужик отправился в Питер, два месяца обивал пороги всевозможных учреждений и присутствий Временного правительства — никакого толку. Прожился, на одном хлебе жил; так и с хлебом в Питере плохо стало. Гоняли его по всем правилам российской бюрократии из одного ведомства в другое, и вдруг революция, большевики, Ленин. Услышал он про новую власть и направился к самому главному, в Смольный, поднял Ленина ни свет ни заря и добился записочки и с записочкой этой на квартиру к Коллонтай.

Ему и в голову не приходило явиться самолично на квартиру к министру Временного правительства, а тем более добраться до царского министра. А тут решился к самому Председателю Совнаркома. Вот как решился, как произошел этот переворот в сознании, как он, по всей видимости, не зная толком программы большевиков и принципов новой государственной системы, тем не менее сразу почувствовал народную суть советской власти, составляет одно из поразительных свойств революции.

Для самой Коллонтай появление этого первого просителя было удивительным, но не было странным. Когда-то он должен был пожаловаться, а он пришел немедленно. Первым он был не только для Коллонтай, по всей видимости, он был первым и для Ленина. Еще по улицам Петрограда шли бои, красногвардейцы осаждали Павловское и Владимирское училища, обезоруживали юнкеров, засевших в Михайловском замке, отряды матросов освобождали телефонную станцию, почтамп; белогвардейские офицеры стреляли из дворца Кшесинской, и в эти часы к Ленину стучится невеста как пробравшийся к нему первый посетитель, не проситель, а требователь. Десятки раз мужичок повторял свой рассказ-жалобу перед чиновниками, секретарями, столоначальниками, отчаялся, изверился, убедился, что никому нет дела до его беды, что нет ни правды, ни веры словам, ни законам...

В этой маленькой истории мне вдруг увиделось многое, и я положил ее в основу киносценария. Некоторые отрывки из него я позволю себе здесь привести.

Накануне Ленин формировал правительство, писал декреты о мире, о земле, посылал отряды против Краснова, назначал людей. То были неотложные дела революции, только-только закладывались основы социалистического государства, и вдруг среди этих дел всенародной исторической важности — деньги за лошадь.

Но это было первое, самое первое, обращение гражданина нового государства к Ленину как руководителю новой, советской власти, ее первый потребитель, ее первый хозяин, первый, кому она могла помочь и должна была помочь. И Ленин тоже впервые ощутил себя работником для этого гражданина, его депутатом, его служащим. Для Ленина это было новое качество, никогда еще не выступал он в подобной роли. Он стоял перед этим мужичком, глава первого государства рабочих и крестьян, которое создано, оказывается, и для того, чтобы решить наконец эту просьбу о лошади. Отсюда она начинается, власть трудящихся, государство не для человека вообще, а для этого, с котомкой за плечами, в лаптях, откуда-то из Псковщины, голодного, злого, верящего в большевиков и еще не верящего. У него уже есть право поднять Ленина спозаранок: а что, как это и вправду наконец-то нашенское народное государство? Ленин обязан выслушать его просьбу, хотя надо вызывать путиловцев и дать им задание любыми средствами доставить орудия на позиции, надо ехать в штаб военного округа... Но в этой обязанности рождалось и неизвестное еще в спектре человеческих чувств чувство удовлетворения от того, что есть власть, которая может помочь, защитить трудового человека, вот этого, а за ним и других... Великие принципы декларации прав человека, споры о формах правления, теоретические работы о задачах социалистического государства впервые воплощались в этом житейском разговоре о лошади. События исторической важности большей частью состоят из простейших человеческих поступков.

И вся последующая история с ленинской запиской была такой же простой и в то же время наполненной глубоким смыслом.

Коллонтай была наркомом, но у нее не было ни средств, ни подчиненных, даже стола своего не было, седобородый швейцар в синей ливрее, стоя в подъезде министерства, попросту не пускал ее, несмотря на все мандаты, — приема посетителей нет. Тот самый швейцар, перед которым не раз топтался мужичок.

Коллонтай собиралась ехать выступать на митингах, в те дни ей казалось, что митинги были самым важным делом, молодая власть нуждалась в бойцах-защитниках, надо было разъяснять, агитировать... Но она уже была наркомом и перед ней стоял мужичок с ленинской запиской. Следовало выплатить ему деньги, для этого ни много ни мало следовало занять министерство, сломить саботаж чиновников, разобраться в порядках, организовать аппарат...

Парадная большого петербургского дома на Кирочной. Василий поднимается по лестнице, останавливается перед дверью, дергает звонок.

— Кто там? — слышится голос.

— Мне гражданина министра.

— Кого?

Дверь на цепочке приоткрывается, видно только что умытое лицо Коллонтай, через плечо полотенце.

— Хозяин спит еще? — спрашивает Василий.

— Что у вас?

— Записочка у меня, от Ленина.

— Давайте.

— Мне, барышня, самому бы передать, Коллонтай.

— Так это я и есть.

Она открывает дверь. Василий входит в переднюю.

— Здравствуйте... Мне велено вашему супругу, народному комиссару.

— Я — народный комиссар.

Шубин вежливо смеется, оценив шутку.

— Вам что, документы предъявить?

— Прощения прошу...

Коллонтай приносит документы.

Недоверчиво оглядывая Коллонтай в халате, Шубин читает документы, сверяет подпись.

— Сходится? — спрашивает Коллонтай.

Он обескураженно протягивает ей ленинскую записку.

Она читает дольше, чем нужно, понимая, что в этих трех строчках не только забота о Шубине, но и о ней самой — вот тебе наглядное дело, первое поручение, ты уже нарком, время не ждет, действуй, действуй... И улыбка ее, назначенная Шубину, переходит в озабоченность.

— Господи, я ж еще ничего не знаю.

— А чего тут знать, — говорит Василий. — Приказ от Ленина есть? Есть. Печать куда надо хлопните — и дело в шляпе. Тут я лошадь торгую, пока цена веселая.

Коллонтай одевается.

— А где она, печать-то, лежит — известно? — пряча усмешку, спрашивает она.

Но Василий не теряется.

— Если вы насчет адреса, то на Казанской, да я покажу, не сомневайтесь.

Они идут по утренней улице, странная пара: Коллонтай, в шляпке, модно одетая, в меховой горжетке с муфточкой, и Шубин, в зипуне, с котомкой, в драных сапогах. Переходят улицу — Коллонтай взяла его под руку. У сквера батарея — два орудия, заспанные солдаты.

— Ишь, лапоть, какую кралю зацепил!

— Не тушуйся, паря!

— Темнота, — говорит Василий и краснеет, опасливо поглядывая на Коллонтай и невольно, по-мужски, любясь ею.

Знакомый подъезд министерства. Знакомый швейцар. Здесь вроде ничто не изменилось.

— Здравствуйте, товарищ, — говорит Коллонтай.

— Здравия желаем, — настороженно отвечает швейцар.

Коллонтай хочет пройти, но он застывает у входа.

— А вам, извиняюсь, по какому делу?

— Ты что, не видишь? Комиссар она, — поясняет Шубин.

Но швейцар даже глазом не повел в его сторону. Тогда Коллонтай достает из муфты мандат.

— Не велено пускать, — говорит швейцар.

— Кого, меня?

— Посторонних не велено пускать.

— Кто же тут посторонние? Вам известно, что Временное правительство низложено, власть взял народ.

— Душевно сочувствую, да я человек подневольный. — Чугунно возвышается, заслоняя вход, словно принадлежность казенных дверей и запоров, и Коллонтай выглядит маленькой, хрупкой перед этим позолоченным долдоном.

В подъезде несколько чиновников с любопытством следят за этой сценой.

Василий шепчет:

— Александра Михайловна, ему надо красненькую, чтобы не лаял, они тут привыкли.

Коллонтай, еще несомая победной праздничностью революции, обращается к чиновникам:

— Товарищи, граждане, а вы с кем?.. Против кого вы идете?

Кое-кто отворачивается, уходит. Швейцар ухмыляется над ее ораторствованиями с высоты своих трех ступенек.

— Вы ж, мадам, из благородных. Чего встреваете, не дамское это дело. Шли бы себе без скандалу.

Смеются чиновники. Засмеялся швейцар, наслаждаясь превосходством своей силы. Кто-то, смелея, свистнул.

Было мгновение, когда глаза ее влажно блеснули, и Василий, пугаясь — лишь бы не разревелась, тут не то что баба, любой сраму не выдержит, — Василий замахал ленинской запиской, закричал:

— Гони их в шею! Чего оробела? Товарищ Ленин приказал? Исполни! Раз тебе права дадены!

Но, видно, он ошибся, спутал ее с другой женщиной, которая только что стояла здесь и исчезла. А эта не умела плакать. Вместо слез в глазах ее оказалось веселое презрение. Кто-кто, а она-то видела врагов посильнее и поопаснее.

Отступив на шаг, прицельно смерила она предстоящее ей, с этой минуты окончательно став народным комиссаром Республики.

— Каждому свой Зимний надо брать... — она колко оглядывает Василия. — Ну, что ж ты? Женщина вперед? А ты за мной? Где твоя винтовка, кавалер? На других надеешься? Ты кто такой?

— Я... известно кто... — оторопел Василий. — Крестьянин я.

— Вот именно. Ты теперь власть, твоя власть. Вот и бери ее.

И она уходит, беспощадно оставляя Шубина одного.

Он порывается за ней, потом кидается к подъезду, колотит в запертые двери. Они даже не вздрагивают. Они массивны и непрístupны, как стены. Они изукрашены резьбой. Умелые руки работали над ними.

В зале телеграфного агентства Григорий успокаивает Василия.

— Как-нибудь и швейцара твоего одолеем. А самовольно я не могу. Шутка — министерство занять. Что я — анархист? У нас, большевиков, порядок.

— Так женщиной она оказалась, — говорит Василий. — Не одолеть ей.

— Это Коллонтай-то? — смеется Григорий. — Будь спокоен.

— Она сама мне приказала власть брать.

— И брал бы. Содействовал. Ишь, дитяtko беспомощное. Недаром вас, таких-то, начальство все от зубов очищало: что это, мол, за спеленыши с зубами, — да и хрясь. Шубин ты Шубин, хоть бы вывезла тебя на дорогу твоя лошадь. Ладно, позвоню, выясню обстановку.

Он уходит в глубь аппаратной. Винтовка его осталась у столика, где сидит дежурный. Василий берет ее, прохаживается взад-вперед, в раздумье спускается вниз, выходит на улицу. Какая-то мысль ведет его. Толчками, слепо. Толпа у рекламных воззваний заставляет его остановиться, прислушаться.

— Большевики распускают Думу. Не так ли? — риторически обращается к нему некто бородастый, в распахнутой шубе.

— Чего пристали к солдатику?

— А против кого он поднял оружие?

— И хорошо, что поднял, — вмешивается подвыпивший длинноволосый. — Народ вам, господа, не хирург. Народ как полоснет ножичком по всей России!

— Послушайте, милейший, кто же будет воевать с немцами, если вы воюете со своими?

Василий устало, затравленно смотрит на величественную старуху, которая тычет в него пальцем, и вдруг, подняв винтовку, кричит:

— Довольно! Разойдись!

— Хулиган! — ничуть не испугавшись, говорит старуха.

Пробегают мальчишки, разбрасывая листовки.

— Воззвание съезда Советов!

Василий вместе со всеми гонится за листовками. Из-за угла навстречу цепью бегут юнкера. Василий замешкался, побежал было назад, к своим, ему стреляют вслед. Он останавливается. Кто-то схватил его сзади за котомку. Юнкер — совсем мальчик, очки сползли на

потный нос, в одной руке револьвер, в другой — котомка Шубина.

— Кто такой? Сдавайся!

Офицер командует ему, пробегая:

— Обыскать. Доставить.

Юнкер близоруко оглядывает Василия:

— Ты вообще-то за кого?

— Я-то? — Василий придурковато скребет затылок. — Я за себя. Мне свое получить...

— Большевик, значит. Ты арестован. Марш.

И Василий под револьвером бежит вместе с ним к агентству. Юнкера врываются на телеграф.

Молоденький юнкер, который задержал Василия, стреляет из револьвера во двор. Недоуменно встряхивает мешающую ему котомку.

— Здесь что?

— Сало там, ну еще...

— Ага, спекулянт.

— Ваше благородие. Это ж мое, из деревни привез.

— Все вы шпионы и грабители. — Юнкер, в одной руке держа мешок, в другой револьвер, вбегает в здание агентства.

В коридорах полная неразбериха, стреляют юнкера, мечутся чиновники, визжат барышни. Распахнутые двери с наклеенной бумажкой «Комиссар».

В глубине кабинета один из юнкеров с винтовкой наперевес кричит комиссару:

— Сдавайтесь. Сопротивление бесполезно.

Комиссар говорит по телефону. Зажимает ухо, зажмуривается, поворачивается спиной к винтовке, торопливо докрикивает:

— ...Да, да, захватили... юнкера... высылайте скорей...

Юнкер вырывает у него трубку.

В это время вбегают Василий и молоденький очкастый юнкер. Потные, запыхавшиеся, они оба кидаются к графину с водой.

— Арестовать... Заложником... — командует юнкер, но запекшиеся губы молоденького, в очках, не в силах оторваться от стакана. Василий и он пьют, и пьют, и пьют, лишь глазами участвуя в происходящем. Наконец Василий напился, потянул к себе котомку из рук юнкера.

— Ты что? Руки вверх! — удивленно приказывает юнкер и наставляет на Василия револьвер.

Василий, разозлившись, выбивает у него револьвер прикладом.

— А ну... давай сюда... ишь, манеру взяли чужое хватать.

Пользуясь суматохой, комиссар скрывается за дверь, тащит за собой Василия, в последнюю секунду Василий успевает схватить свою котомку, дверь захлопывается. Выстрел. Василий осматривает дыру в котомке.

— Я тебе поозорую,— грозитя он.

Комиссар увлекает его в темный коридор и дальше по витой лестничке.

Под аркой среди своих отдышались. Красногвардейцы устанавливают пулемет.

— Молодец, спасибо,— говорит комиссар.— Только зря ты у этого револьвер не отобрал. Вообще... стрелять надо было.

— Так ведь... мальчишка он,— оправдывается Василий.

И в это время пуля из окна настигает одного из пулеметчиков. Со стоном он кружится на месте, держится за плечо. Василий выглядывает из-за выступа, наверху за мутным блеском стекла он видит целящегося в него молоденького юнкера в очках.

За аркой скапливаются красногвардейцы. Василий пробирается к Леше и Григорию, которые раздают из ящика гранаты.

— Помешали, черти,— говорит Григорий.— Но завтра двигай в министерство. Знаешь, кто там орудует? Егоров наш.

— Иван Егорович? — спрашивает Алексей.

— Он самый. Звал меня. Я бы... — Григорий подмигивает Василию,— да видишь, работы подкинули.

Они стреляют, прикрываясь железной створкой ворот. И в них стреляют, пули звенят, барабанят по железу. Алексей подскакивает к Шубину.

— Тебе лишь бы пуп свой в землю врастить. Все себе, себе, а ты что людям? У-у, сквалыга, давай оружие,— он хватается за винтовку Василия, тот не отпускает ее. Они тянутся, не обращая внимания на свист пуль, и только окрик комиссара останавливает их.

— Прекратить! Давайте в обход.

Они перебегают к соседнему дому.

— Здесь! — кричит Григорий.

Василий ныряет к нему в парадную. Отсюда стреляют по окнам агентства.

По лестнице спускается старушка. Заслышав стрельбу, крестится.

— Сынок, что тут за пальба, никак немцы в Питер пришли?

— Нет, бабуся, революция это,— отвечает Григорий.

— Так была ж недавно одна.

— То, бабушка, была буржуазная революция, а нынче — пролетарская.

— Ох, сынок, кабы последняя...

Подтаскивают орудие. Наводят. Выстрел. Звенят стекла, сыплется штукатурка.

— Такой дом портят,— сокрушается Василий.

В одном из окон появляется белый флаг.

Пулеметная очередь уже из другого места, откуда-то сверху.

— Ложись! — командует комиссар.

Но Лешка, ругаясь, идет напрямик, к орудию.

— Хрена я согнусь. Это ж позор для революционера.

У орудия Алеша и Шубин. Видно, как они поворачивают ствол, наводят на купол Исаакия.

К ним подбегает Григорий.

— Вы что, рехнулись?

— Вроде бы оттуда стреляли.

Григорий сердито вертит ручкой, опуская ствол. Василий вошел во вкус и с сожалением следит за ним.

— Эх, жаль, больно прицел хороший,— азартно вздыхает Алеша.

Тот же министерский подъезд и тот же швейцар. По ступеням поднимается Коллонтай. Все то же самое, и все иначе — суетливо кланяясь, швейцар широко распахивает дверь. Позади Коллонтай работницы и несколько матросов.

— Виноват, не признал я вас прошлый раз,— оправдывается швейцар.

Один из матросов остается в вестибюле.

— Кончилась, папаша, твоя должность — держать и не пущать.

— Да я, милый, сам эксплуатируемый... Выходит, теперь вали кто хошь?

— Свобода! Точно, кто хошь!

В большом зале присутствия чиновники захлопывают ящики, закрывают шкафы. Этот вызывающий треск конторских орудий несется навстречу Коллонтай отовсюду. Чиновники, сперва высшие, а следом и остальные, встают и, обходя ее, покидают кабинеты.

По лестнице, все густея, стекает поток чиновного люда, а снизу вверх поднимаются сквозь толпу так называемые низшие служащие — курьеры, истопники, механики, счетоводы.

Молодой парень озорно свистит вслед уходящим.

— Скатертью дорога!

Его останавливает бритоголовый мужчина в брезентовой куртке.

— Чего веселишься?

— Наша взяла, товарищ Егоров. Наша власть! — И он несется в пустеющий зал. — Ур-ра!

В огромном министерском кабинете, среди бронзы канделябров, резных кресел, ковровых дорожек, собирались начальники департаментов, седоголовые сановники и молодые эмиссары Временного правительства вроде Велихова; перед лицом Коллонтай они сплотились воедино.

Коллонтай читает врученную ей резолюцию.

— Значит, саботаж?

— Мы не можем признать вашу власть законной.

— Но это не обязательно, достаточно, что ее признал народ.

— Народ! — Сановник распахивает дверь кабинета туда, в пустующие залы. — С вами остаются одни курьеры. Сто тысяч курьеров.

— Вандалы, — говорит один из чиновников. — Дикая орда варваров, способных только разрушить, посмотрим, как они без нас.

— Нет, это вы варвары, — говорит Коллонтай. — Мы не настаиваем, чтобы вы разделяли наши убеждения. Пожалуйста. Но вы обрекаете на лишения, на голод детей, сирот, больницы...

В зале Скобелев остервенело вываливает на пол картотеку, сотни карточек, расшвыривает их, топчет.

— Что вы... Не позволяю... Ах ты боже мой, да ведь тут приютский инвентарь, сироты безвинные, — причитает старенький делопроизводитель. Он ползает по полу, собирая карточки.

— Уйди! — хрипит Скобелев, пинает его ногами. Тогда, не выдержав, Василий отталкивает Скобелева, поднимает старика.

За письменным столом, в высоком кресле Велихова, восседает парень, в руках у него перо. Мимо проходит Егоров, усмехается.

— А дальше что?

— Подумаешь, — говорит парень. — Бумаги подписывать!

Одна из работниц, здоровенная, костистая, держит за сюртук маленького чиновника.

— От кого ты бежишь? За буржуями?

Матросу ехидно передает дела начальник отдела.

— Вот извольте, берите, господа насильники, посмотрим, как вы, вот вам протезные мастерские, вот колония прокаженных. — Матрос испуганно отшатывается, а чиновник складывает перед ним папки, дела, подшивки.

А перед Егоровым с металлическим звоном падают на стол связки ключей. И отовсюду скрежет закрываемых шкафов, замков.

Поодаль стоит Василий Шубин, хмурый, сникший.

Происходило то, что происходило в те дни со всеми министерствами. Профсоюзы, делегатское собрание, поддержка технических служащих, крупные чиновники сопротивляются, приходится убеждать их силой.

И каждое утро вместе с матросами и наркомом приходил этот мужичок с запиской Ленина помогать устанавливать, налаживать новую власть. Швейцар в синей ливрее уже не задерживал, понимая, что отныне вот такие проходят свободно, ибо это их власть и там, за барьерами, у сейфов, стоят такие же, как и он.

Трактир «Колокольчик». Из распахнутых дверей вместе с паром вырывается пьяная песня, хриплый вой граммофона.

— Вася! — завидев входящего Шубина, кричит ему дядя Федя.

Василий пробирается между столиков в угол, где за большим столом гуляют извозчики.

— Вася, земляк, садись!

— Дядя Федь, выдь на минутку.

Федор, приплясывая, выходит, целует Василия.

— Разнесчастный ты...

— Это почему? — оцетинился Василий. — Считай, денежки тут, — хлопает по пустому карману, хмурится, — заминка вышла, потому что порядок надо навести... но дело верное...

— Васенька, голубчик ты мой, не мучайся ты, ради Христа. Пей, гуляй, Россию пропиваем. Ты мне скажи, кого везти? Куда везти?.. — В распоясанной рубаше, пьяненький, он выглядит щуплым старикашкой с жидкой бороденкой, да еще нелепый цилиндр набекрень.

— Плакали, Вась, твои хлопоты, большевики свой счет начинают. С нуля. До основания разрушат...

— Напрасно вы сомневаетесь, дядя Федя. Я-то досконально... — И Василий заносчиво и горделиво умолкает.

— Знаешь ты много. Деревня. — Федор вглядывается в Василия. — Скажи на милость, какой стал, ровно царя за бороду схватил.

— Царя не царя, а с Лениным разговор имел.

Федор вытаращивает глаза, потом долго смеется, хлопая себя по бедрам.

— Тронулся ты, Вася, видать, в своих хлопотах.

— Тронулся? — Василий задет за живое. Победно оглядев всех, он достает записку Ленина, аккуратно расправляет ее, и записка ходит по рукам, медленно шевелятся губы, бороды, усы.

И вот уже Василий за столом, в красном углу, на него уважительно взирают извозчики.

— Да как же ты говорил с ним?

— Обыкновенно... Сидели на подоконнике и говорили. Про всякое.

— Ты выпей, Вась, выпей.

Орет граммофон, ползет чад, носятся половые.

— ...Жулики да богатые — вот враги, говорит.

— Это он правильно!

— Ну, а на шпиона немецкого похож он?

— На шпиона? — Василий задумывается. Он уже малость осовел. — Какой шпион, денег у него нет. Все они там без денег сидят.

Это нехитрое соображение убеждает.

— Сеять, говорит, надо. Ну, это я ему, конечно, советовал, — хвастливо, но соблюдая некоторую справедливость, сообщает Василий. — Разъяснил ему наше крестьянское положение...

— Все они обещают! — кричит вдруг с отчаянием оборванный возчик из ломовых. — На том свете! А на

этом? Мужичу один хрен, какая власть. Всякая власть на шее сидит да погоняет. Что моей кобыле: то ли сахар возить, то ли навоз — тяни себе знай да от слепня отмахивайся.

— Врешь! — Василий вскочил. — Я сам себе хозяин. Нынче такое распоряжение. А ежели какие буржуи отказываются помогать и бумаги топчут — пришьем!

— Не будет того, Вась. Не надейся.

— А насчет земли Ленин-то обещал?

— Землю каждому, безобидно, — с азартом разъясняет Василий. — Это мы обсудили. И насчет замирения решено.

— Вась, а если я пойду к нему? А? Я ему выскажу про наших. Погорельцы мы, а ссуду не дают.

— Неси еще четверть! — кричит Федор. — Упряжь пропивать будем. Явлюсь перед большевистские очи голеньким. Нужны вам — берите, пожалуйста. Раб божий Федор!

— Ты с чего, дядь Федя, растряхнулся?

— А-а, да ведь ты, Васенька, не ведаешь? И в мыслях у тебя нет, чего ты пьешь. А ты евонную гриву пропиваешь. Гриву-то помнишь, ленточки на масленую вплетали...

Василий смотрит на него, подозревая и боясь подозревать.

Но Федор тащит его во двор, туда, к конюшням, к распахнутой двери. Василий застывает на пороге. Трое мужчин, ловко орудуя топорами, ножами, тут же на полу свежую конскую тушу, у стены лежит отсеченная голова с белой метиной на лбу. Засунув руки в карманы, стоит, распоряжается тот самый мордатый парень, который несколько дней назад приставал к Федору.

Неожиданно Федор по-бабьи всхлипывает.

— Вот, Васенька, видишь... Прости меня... Бога потерял я. Не поверил... А что человек без веры — то же мясо. — Он опускается на колени, кладет голову на чурбан. — Рубите меня на котлетки.

Парень хохочет.

— С тебя постных щей не наваришь. Давай, дед, отсюда. Деньги получил, чего тебе еще?

Снова в трактире, стиснув голову, сидит Василий.

— Винтовки нет у меня, — бормочет. — Я б всех жуликов да секретарей-чиновников...

Поют песню пьяные извозчики.

— Что ж Ленин, деньги тебе обещал, а где они? — кричит кто-то Василию. — Видно, Ленин еще в силу не вошел. Думаешь, он жуликов переборет? Ни в жисть.

— Пей, Васька, и не мечтай зазря. Швейцар — он сильнее.

— Бабу послали...

— Нет, плохо дело их, коли баб сажают. Керенский, тот бабами защищался, а эти баб министрами ставят.

— Да рази им справиться с такой страной.

— Мужиков на власть ставить хотят.

— Да рази можно нас ставить? Тут такая арифметика — учителю не сосчитать. И я тебе скажу — мужика поставишь, еще хуже будет.

Сидит Василий, слушает.

— Вася, безлошадные мы с тобой... Вот у Матвея подстрелили вчера лошаденку.

Матвей лежит на столе, не то спит, не то рыдает.

— Значит, пропадать мне? — кричит Василий. — Не согласен!

— Пропадать, пропадать... — весело подхватывает Федор. — А что там, все обман, кругом обман...

Откуда-то появляется мордатый парень.

— Водку хлещете? За свои кровные? А в Зимнем подвалы вином полны-полнешеньки, мать их так. Айда, гужеды, царского хлебом.

И вот уже на ломовой телеге несутся, нахлестывая лошадь, пьяные извозчики, среди них Василий.

У Зимнего в сквере — толпы любопытных, красногвардейцы — охрана. Пробивая себе путь, подъезжает машина. Василий проталкивается к ней. «Кто там?» — «Комиссары». — «Поди, Ленин приехал».

В подъезд Зимнего проходят Луначарский, Бонч-Бруевич, Чудновский.

Увидев издали Бонч-Бруевича, Василий порывается к нему, умоляет матроса охраны:

— Братишка, пропусти. Христом-богом молю! Да ты не бойся, я от Ленина указание имею. — Он показывает записку Ленина. — Не исполняют его приказов... — Его страстная убежденность действует.

У входа в Зимний Алексей наклеивает на колонны, на ноги атлантов бумажку: «Охраняется пролетарской революцией!»

Василий, разминувшись с ним, проходит во дворец.

Группа дворцовых служителей в пышных ливреях. Покуривают самокрутки.

— Комиссаров не видали?

— Там они вроде, — показывают куда-то. Василий закуривает с ними.

— А Ленин с ними? — спрашивает кто-то.

— И чего они приехали?

— Видать, переселяться сюда будут.

— Брось!

— А где же им проживать? Новые министры.

— Комиссары.

— Прозвание другое, а правители всея Руси, как и было.

— Апартаменты выбирают.

— Врете вы все, холуи, — говорит со злостью Василий. — Я с Лениным самолично разговор имел. Старому не бывать.

Но теперь он идет по Зимнему уже в сомнении, задумчиво разглядывая царские портреты, — сколько их, всяких царей было, князей великих!

Вдали, сквозь раскрытые двери, Василий замечает, как какой-то мужчина в шляпе, опираясь, кладет в карман пресс-папье с письменного стола.

Под шелковым балдахином — кровать. Василий заглядывает туда, под балдахин, не может удержаться, садится, пробует мягкость перин, покачивается на пружинах, ложится, примериваясь.

— Вот тебе и царь, — хмельно бормочет он. — Ишь ты, как попросту с ним. — Он смотрит в угол на грозный лик Спасителя. — Может, эдак и господа попроверить можно. — Спаситель на иконе еще пуще хмурится. — А пускай его на небе сидит, — решает Василий. От вина его разморило. — Это сейчас не первой важности дело.

Полковник Ратиев показывает Луначарскому и остальным дворец — опустелый и тихий. Впервые его осматривают хозяева, способные по-новому оценить величественную архитектуру этих александровских, петровских, николаевских залов. Луначарский не скрывает радости и волнения от узнавания произведений искусства, ставших наконец собственностью народа. Его глаз знатока, человека подлинной культуры безошибочно выделяет в потоке роскоши вот эти гобелены, и роспись

плафонов, и мебель старинной работы, малахитовую, лазурную отделку стен, мраморные статуи.

В покоях последних Романовых Луначарский и Бонч-Бруевич, улыбаясь, переглядываются — безвкусица купеческих картин, пузатых комодов с гипсовыми статуэтками и кружевом салфеток... Апартаменты, где заседало Временное правительство. Роскошные залы загажены, заплеваны. Вырвана обивка кресел. Столы залиты чернилами. Хрустит под ногами стекло битых бутылок. Грязные тюфяки, ломаная мебель. Выбитые стекла, оббитая снарядом штукатурка, а за окнами — бледное небо. Нева, а во дворце — остывающая тишина, анфилады залов, уходящих в безвозвратное прошлое.

— Я протестовал перед Временным правительством, — говорит Ратиев. — Зимний дворец не крепость, в которой можно отсиживаться. Здесь государственное хранилище сокровищ искусства.

— Возмутительно, — говорит Луначарский, — мы потребовали, чтобы Временное правительство покинуло дворец. А они в ответ открыли огонь. Мы вынуждены были пойти на штурм, — он показывает на выбоину от снаряда. — Нужно срочно отремонтировать. Застеклить.

Столик, заставленный флаконами.

— Это от Керенского, — поясняет Ратиев, перехватив взгляд Луначарского.

— Изволили много душить, а душкá своего не было, — говорит часовой.

Бонч-Бруевич перед картиной, изображающей ратный подвиг русских солдат: ров, артиллеристы перетаскивают пушку, солдаты легли под колеса, чтобы легче перекатить орудие.

— Каковы? — говорит он Луначарскому.

Луначарский прищуривается.

— Как подвиг — прекрасно, но как написано... — Он пожимает плечами, берет Бонч-Бруевича и Чудновского под руки.

— Взгляните лучше сюда, вот где талантище...

Он показывает скульптуру.

— Роден.

Они смотрят. Что-то стихает в их лицах.

В это время у Луначарского что-то спрашивает проходившая мимо медсестра, красивая брюнетка в белоснежной косынке; Луначарский, смеясь, объясняет ей, ведет ее под руку.

Бонч-Бруевич со вздохом оторвался от Родена, оглядывается. Луначарский, возвращаясь, встречает улыбающуюся улыбку.

— Куда, куда вы смотрите? — восклицает Луначарский. — Как вы могли пройти мимо Серова?

— А вы куда смотрите? — говорит Бонч-Бруевич, перехватывая его взгляд вслед медсестре, еще видной в проходах дверей.

— Как обстоят дела с охраной? — спрашивает Луначарский у Ратиева.

— Я расставил у Эрмитажа надежных людей из гренадер.

— Товарищ Ленин приказал обеспечить охрану Петергофа, павловских дворцов, — говорит Бонч-Бруевич.

Луначарский сворачивает по темному коридорчику, выходит в зал, где стоит кровать под балдахином. Оттуда слышен храп. Там спит, свесив ноги, Василий. На какое-то мгновение Луначарский останавливается, нахмуясь, но блаженная физиономия Василия заставляет его усмехнуться.

Через два дня из кассы Соцобеса были выплачены деньги за лошадь — первая выдача советской власти.

Вероятно, в архивах можно разыскать имя, фамилию этого крестьянина, и, может быть, там же, среди денежных ведомостей, лежит как оправдательный документ ленинская записка, и весь этот рассказ подтвердится подлинными документами.

Но как бы там ни было, в этой истории есть, мне кажется, высшая достоверность — простота, ибо только так, такими самыми насущно-человеческими делами могла начаться советская власть.

ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ

I

Вернулся я из Кислиц расстроенный, сказал Андриану, что ужинать не пойду, ничего не хочу, а отправлюсь-ка я в дом Федора Михайловича Достоевского.

— Его там нет,— остроумно заметил Андриан.— Уже поздно, сейчас там никого нет, и вообще только сытый человек ценит одиночество.

Я знал его гостеприимство плюс уютное гостеприимство его жены, покой его просторной квартиры, знал, вздохнул и отказался. Я представлялся себе кротким и смиренным, но Андриан сказал:

— О, если бы люди могли видеть себя не только изнутри, но и снаружи! Иди, но помни, пожалуйста, что судьба каждого человека — это невыполненное обещание. Никому еще не удавалось сделать все, что он хотел или к чему был предназначен.

Из голубеньких глаз Андриана смотрел не сам Андриан, а какой-то другой человек, и этот человек, что бы там Андриан ни говорил, смотрел в эти щелки и посмеивался. Причем посмеивался он над собеседником и одновременно над самим Андрианом и как бы вместе с ним над чем-то еще. И от этого смысл слов Андриана двойлся, раздражал неуловимостью — не то сказано в шутку, а может, и всерьез.

По набережной Перерытицы я отправился к дому Достоевского. Мне хотелось побыть одному, хотелось посидеть именно у этого дома, одного из немногих, какие остались на белом свете от прежней моей детской жизни.

Итак, край моего детства был уничтожен. Детство мое погибло. Я-то думал, что оно живет там, в Кислицах, на голоногих тропках вдоль малой и путаной речушки с заводами, полными головастика, с висячими стрекозами, с коричневыми омутами, где взблескивает улей-

ка, что оно дожидается меня среди путей к лесобирже, заваленных толстым слоем серебристо-серой щепы.

Для Андриана дорога в Кислицы в сто двадцать километров показалась долгой. Пыльная, местами вязко-песчаная, местами вымощенная камнем еще во времена министра путей сообщения графа Клейнмихеля, а затем графов Бобринских, дорога эта ныряла в деревушки, названия которых отдавались толчком в сердце, — Хахили, Висючий Бор, Лазенки. Прочтешь — и вдруг услышишь, как где-то там, в заброшенных подземельях памяти, куда давно не спускался, где, казалось, все истлело, в ответ что-то шевельнется слабо, еле-еле вздохнет, подавая знак жизни.

От этого шевеления становится почему-то больно душе. О чем она, эта боль? И как уцелела память на эти места, за счет чего она там, под спудом, живет, ничем не питаемая память тех детских лет? Даже не память, потому что не помню начисто, как мы с отцом бывали здесь, но все же, значит, проезжали, тряслись на телеге по отцовским лесным делам, иначе бы не щемило от этих названий — Цеменка, Селицы, Беглово...

II

Я подумал о своем внуке. До сих пор я полагал, что наши игры и походы в лес, путешествия по болотам за жуками — все это с годами вовсе сотрется из памяти трех-четырёхлетнего ребенка. Ведь даже от шести-семи-летнего возраста у меня самого сохранились лишь отдельные картинки, неподвижные кадры без начала и конца. Так было у моих детей, я проверял, так, значит, будет и у внука. Так происходит со всеми поколениями. А жаль. Хотелось, чтобы в памяти внука сохранились наши грибные походы, первая поездка на велосипедах, сказки, которые я сочинял этому маленькому человеку. Чтобы веселая эта, счастливая пора вспоминалась в его взрослой жизни. И конечно, чтобы через это вспоминался и я. Ибо, как сказал Андриан: «Мы стремимся прежде всего остаться в памяти наших детей, тем более — внуков. Хочется таким образом продлить себя. Причем со всеми... Для них мы всегда сильные, мудрые, честные, мы все сумеем. Они не видят и не знают наших недостатков».

Но в том-то и хитрость природы, что в детской памяти она ничего этого не оставляет. Куда ж она все это деваает? Может, закладывает в подсознание, перерабатывает в тот фундамент натуры, то есть характер, который как раз до пяти лет и складывается? Я утешал себя тем, что первые годы жизни остаются в ребенке чем-то более важным, чем просто воспоминания о бабушках и дедушках. В будущей его жизни беспомнятны эти, вроде совсем забытые годы участвуют незримо, сказываются неожиданно — добротой, чуткостью к слову, к красоте. И наши походы останутся и откликнутся когда-нибудь вздохом перед чудом цветка, жалостью к больному псу.

Это было утешение скудное, но другого не было.

Первые годы жизни, казалось бы, бесследно стертые. У младенца в утробе, у того вообще нет своей памяти, он живет памятью матери, в нем — память природы, ее инстинкты, ее законы, он как бы часть неотделенной природы. Его рождение — это рождение «я». Появляется окружающий мир, и появляется свое, отдельное, никогда не бывшее ни с кем другим. С той минуты, как открываются глаза, как уши начинают слышать, как раздается крик, с того момента, как младенец ощущает грудь матери, вкус, запах ее молока, начинает складываться личность. Пока что все эти ощущения проваливаются куда-то в подсознание, наполняя его пустые соты. Потом, спустя время, в какой-то непонятный момент что-то начинает задерживаться в памяти, уже той памяти, которой мы можем пользоваться, перебирать, листать, как страницы старой книги. На первых же листах ее — картинки без подписи, без объяснения, еще вне сюжета.

Но вот тряская эта, пыльная дорога в Кислицы показала, что из того раннего что-то осталось — какие-то звуки, касания, названия деревень... Легкие прерывистые следы вели куда-то в самую рань, в пяти-четырехлетнюю рассветность. Где-то там пребывали — я это чувствовал — рассказы моего отца, наши с ним хождения к смолокурам, лесные ночевки... Если бы я знал, как устроена память, чтобы извлечь, вытащить из ее сундуков погребенное имущество! Там за семью печатями наверняка хранилось и как отец учил меня азбуке, и то, что он мне говорил, нашептывал, когда мы лежали с ним на печи под щекотной овчиной. Существует какой-то пустяк — звук, картинка, слово, — который мо-

жет стронуть с места, подтолкнуть — и память очнется. Сезам откроется.

Машина везла меня в страну моего детства, где все так и может произойти и одна за другой станут проступать забытые подробности...

Когда-то я пытался изучать проблемы памяти, убежденный, что с памятью связан секрет становления человеческой личности, что человеческое «я» не может существовать без памяти.

Теории памяти оказались слишком противоречивы. Механизм памяти и до сих пор малопонятен, плохо изучен.

Из кирпичиков памяти складывается индивидуальность. Обращение к памяти, к своему прошлому — это восстановление своего «я», проявление его. И чем дальше уходишь во мглу прошлого, туда, к детству, тем лучше ощущаешь себя. В этом смысле удивительный опыт над собою проделал Михаил Михайлович Зощенко в своих повестях «Перед восходом солнца» и «Повесть о разуме». Он работой воли, ума вызвал из своей детской памяти картины своего самого раннего детства, восстановил, извлек то, что обычно так и остается скрытым за горизонтом воспоминаний. Это была чрезвычайно поучительная работа. Осознавая свою собственную историю, человек понимает себя, свой характер, свою душу и других, значит, тоже понимает лучше.

Вот и сейчас на подъезде к околице припомнилось, что тут стояли ворота... Как-то они назывались, было какое-то здешнее словцо, я спросил у Андриана, но и он забыл. Поскотин перед деревней давно уж не было, ворот тоже. А я вспомнил нудную свою мальчишечью обязанность соскакать с телеги, бежать открывать те жердяные ворота на лыковых петлях, затем закладывать их деревянной щеколдой или подтыкать колом, догонять телегу, вскакать и то же самое повторять при выезде. Так всю дорогу, через все большие и малые деревни, опоясанные жердяной городьбой. Раньше, когда я был поменьше, открывали мальчишки, привлеченные колокольцем, и отец кидал им медяк.

Куда мы ехали? На лесосеку, к сплавщикам, к лычникам... Я то и дело вспоминаю себя на телеге, на саях, реже на рессорной бричке, на возу...

Андриан так и не вспомнил названия тех ворот.

— Наименования исчезают вместе с вещами, — рассуждал он. — Сколько их кануло из нашей жизни! Гу-

менка, заглядка, буржуйка. Что такое ренсковый погреб? А ведь у нас на улице, говорят, их было два!

Мы ехали и ворошили осевшие на дно памяти умершие слова. При виде желтеющего льняного поля я вспомнил — «околоколится», так говорили про лен. Высушенный, он брэнчит семенами в коричневой головке — колоколится.

— Белая смола, — произнес Андриан, а что это такое, белая смола, не пояснил.

Дорога была не в сто двадцать километров, а в целую жизнь. Меня отделяло от Кислиц несколько десятков лет, а ехал я сюда уже лет двенадцать. Не уследил, с чего началось, но стали сниться мне эти места. Настойчиво, тревожно. Потянуло. Несколько раз собирался. Отпугивало расстояние, оттягивали дела. Андриан тоже высмеивал.

— Поездка в родные места, — говорил он. — Неужели нет у тебя темы посвежее? Пусть об этом пишут литературные молодцы, которым больше нечего сказать. Они лелеют тоску по деревне, поскольку выбили себе шикарные городские квартиры и теперь вынуждены ездить на лифте и мыться в ванне. Бедняги, они приезжают в родимые места повздыхать! — Нарушая свою философскую невозмутимость, он материл этих литературных шулеров, этих лицедеев. — Ходят в сауну, но воспевают баню по-черному, с кваском, воспевают старух — носительниц трудолюбия и нравственности, а сами небось на уборочную не едут. И ты к ним пристраиваешься?

Год от году независимо от этих повестей меня тянуло в Кислицы. Мне упорно снился омут, один берег высокий, с которого мы ныряли, с которого отец меня впервые столкнул в воду и я выплыл, второй берег низкий, обрывистый, залив, поросший рогозой с черными бархатными шишками. Я просыпался, продолжая вспоминать жизнь разъезда, бедную и веселую, дощатую платформу, на которой за час до прихода вечернего скорого собирались и гуляли все местные: мастера с лесопилки, десятники с лесобиржи, станционные служащие, леспромхозовцы в галстуках, вышитых косоворотках, приходила из чайной высокая красивая буфетчица, стриженная, с челкой, и ее муж, бывший циркач, в шляпе с пером, с улыбкой клоуна и печальными глазами помешанного, он раздавал нам звездочки из красного постного сахара, которые сам готовил, при-

ходили какие-то девицы с парнями, мой отец с матерью, главный бухгалтер, толстый, в белом пиджаке из чесу-чи. Все чинно прогуливались по дощатому высокому перрону, мужчины курили, пользуясь мундштуками, из кармашков у них торчали карандаши с железными наконечниками, у отца был красно-синий карандаш с наконечником и зажимом. Женщины ходили в баретках. Каблуки звонко стучали по доскам, вечернее небо горело над головами, далеко-далеко блестели рельсы, рассекая темную стену леса. Все лузгали семечки, смеялись, пели. Обсуждали погоду, план заготовок, вывозку, погрузку. Потом проходил скорый. Поезд останавливался на минуту. Начальник разъезда отдавал жезл машинисту, из почтового вагона кидали мешок с письмами и газетами, паровоз пускал белый пар и рвался дальше. Редко кто сходил с поезда. Обычно двери вагонов оставались закрытыми. На разъезде нашем не было колокола, не было и торговли: не успели бы, да и нечем было торговать — разве земляничкой, семечками?

И все не спеша расходились по домам. Это было в те допотопные времена, когда не существовало телевизоров, радиоприемники стоили дорого и были редкостью, делали их со стеклянными лампами, а были и детекторные, людям приходилось общаться друг с другом, разговаривать, парни вели беседу с девушками — придумывали частушки, говорили всякие слова, вместо того чтобы включить электронику.

Поселок со всех сторон был окружен лесами. Когда поезд уходил, клочья дыма еще долго плавали меж деревьев, и запах паровозного дыма был запахом путешествий, дальних городов.

Вот какие идиллические картины проплывали передо мною в ночной тиши. Несмотря на Андриановы насмешки, мне мечталось приехать и пойти на речку, окунуться в тот коричневый омут. Я слышал, что в Кислицах многое изменилось. Слышал, что чайной, напротив которой мы жили, нет, что дом Петряковых сгорел еще перед войной. Были там в войну немцы или нет, я в точности не знал, линия фронта петляла, а Кислицы ни в каких сводках Информбюро не отражались.

Тянуло, тянуло — и вот нынче приспичило. Какое мне дело до писательской моды, до чужих повестей, смакования прошлого, до чьих-то удач и просчетов? У меня были своя речка, свой разъезд, и жизнь у меня

шла своя, единственная, коротенькая: если я не поеду в свое детство, никто другой его не посетит, никому, кроме меня, нет до него дела, даже самым близким людям было неинтересно слушать про этот разъезд. Андриан взялся меня провожать из Старой Руссы единственно по нашей дружбе. Я был рад, что он рядом, все же не так было боязно.

Родных у меня в Кислицах не было. Место это было одно из тех, где приходилось работать отцу, которого переводили время от времени из леспромхоза в леспромхоз: то в Новгородчину, то на Псковщину, то отправляли куда-то в Бийск, в Невьянск, в Вятку, затем опять под Кингисепп. Не знаю, почему так получалось. Был он человек счастливой мягкости и доброты, счастливой, потому что не страдал от своей мягкости, не считал ее слабостью. Всего, чего он добивался в спорах своих с начальниками, с настырными лесозаготовителями, он добивался добротой. Доброта была его слабостью и силой. Его старались не обижать. Может, скитания наши происходили из-за его покладистого характера? Дети мало что знают про работу своих отцов.

Леспромхозовцы связаны друг с другом. После войны вплоть до смерти отца к нам наезжали, останавливались лесовики, рассказывали новости, и Кислицы продолжали жить для меня в том же детском виде, хотя что-то и менялось. Боярцев — лесоруб — стал главным инженером, вырубка в Залучье пошла сплошняком, были и другие сведения, но в том-то и штука, что тогда это меня никак не интересовало.

Мы ехали, и я пытался вспомнить те давние новости.

Деревни, не обвязанные изгородами, расползались по зеленой земле, машины неслись сквозь них навывлет, придерживаемые лишь колдобинами тракторных следов.

Красноземные поля, красноземные косогоры сменялись бедным серым суглинком, позолоченным стерней.

В Лычкове я ничего не узнал. Лычково в мои годы было райцентром. Мы ходили туда пешком по шпалам. На откосах железной дороги росла земляника. Почему-то земляники тогда было много.

— И волос было много. И зубов,— сказал Андриан.— Цветы как пахли! А какие были высокие люди! И какое вкусное молоко!..

Теперь Лычково было просто поселком. Демянск, тот выставил на дороге горделивую надпись: «Основан в 1406 году». Был знаменитый демянский котел в эту

войну, из-за которого Демянск упоминался в книгах по истории войны. А у Лычкова ничего такого не было, хотя появилось оно тоже давным-давно. В нем ничего не сохранилось от минувших веков, от крепостного права, от аракчеевских поселений, даже от довоенных лет ничего не было. Что-то, конечно, осталось, но запрятано было слишком глубоко.

Я приготовился к тому, что и в Кислицах все должно измениться. Единственное, на что я надеялся, — на речку. Речка-то должна была остаться, значит, и омут остался, а может, и тропка к нему. Посидеть на том высоком бережку, ничего больше и не требуется. А там уж нахлынет, вспомнятся и отец, и друзья его, послышатся слова, воскреснут и другие знаки ушедшего; пусть одна часть минувшего фильма, но все же прокрутится перед глазами.

III

Не несколько домиков, а большой поселок стоял перед нами. Там было много магазинов, универсам, Дом культуры, асфальт — вот какими стали Кислицы. Все, все было неузнаваемое, не мое. Дома, нарядные, обшитые вагонкой, свежеекрашенные, стояли тесно, длинными улицами. Где была лесопилка, никто в точности не помнил. Одни показывали за железную дорогу, другие за шоссе. «И праха от нее не осталось», — как пояснил один местный. А местными считались те, кто приехал сюда после войны.

Большая контора леспромхоза была совсем новая. Но что-то в ней чувствовалось от прежних бараков и от всех прежних лесоконтор, какие были и сорок, и тридцать лет назад. Над крыльцом кумач, такой висел и при моем отце; стояла знакомо крашенная багровым фанерина с именами лучших и цифрами плана и голубая фанерина с пунктами обязательств. Кубы, заготовка, вывозка. Все узнавалось, несмотря на то что в кабинетах стучали электрические пишущие машинки, звонили телефоны и вместо щелканья деревянных костяшек счетов потрескивали арифмометры.

В коридоре витал привычный запах, составленный из запахов дегтя, сырых полов, подметенных вениками, запахов бумаг, бензина и здешнего леса. Все вместе это и было запахом отца.

Запахи неизменны. Есть запахи, которые не меняются из века в век, — запахи печей, дорог, хлеба. Повсюду пахнут одинаково столовые, общежития, во всем мире одинаково пахнут гостиницы, отели — и в Японии, и в Архангельске. То же и с людьми. Лесорубы на Сахалине пахли, как и здесь, в Кислицах, как и когда-то, когда отец приезжал из леса, а я сидел у него на коленях, уткнувшись ему в жилет.

И эти конторы, самые разные (сколько я их повидал!) — и маленькие конторы сплавщиков с керосиновыми лампами, и лесные, и районные, — хранили тот же запах: бумаг, железных ящиков, клея.

Память на запахи — особый раздел или аппарат памяти. Они помнятся десятилетиями — запахи тола, горелой брони, запахи шинели, госпиталя, не определенные никакими словами, таблицами, приборами. Запахи прошлого.

А ведь казалось бы — вместо лошадок, саврасых и чалых, ревели огромные трактора, выли бензопилы «Урал», всюду были рации, а в чистой просторной столовой высился заграничный автомат по изготовлению мороженого: никелированный куб, который, пробурчав, выдавливал из себя спиральный завиток бело-желтого пломбира. Таких роскошных автоматов не было еще ни в Москве, ни в Ленинграде. А местный Дом культуры! Стены его были разрисованы абстрактными панно. А в универсаме стояли лучшие коньяки, шампанское, токай, вермут и прочие вина виноградных стран. Кислицы вышли на передний край благополучия. Но это были не мои Кислицы.

Омута не было. Я бродил по улицам и переулкам, ничего не узнавая. Я прошел к вокзалу, чтобы искать от него, но и вокзал вызывал сомнения. Он стоял не с той стороны путей. Платформа была не деревянная, а асфальтированная. Здание было не то. Дороги были не те. Лесосклад не там. Я пошел вдоль ручья, вдоль какого-то усохшего вялого водотока, зашел в болотистый кривой лесок, там была зацветшая ряской не то промоинка, не то мочага, пахнувшая гнилью. Вернулся в поселок. В центре, у промтоварного магазина, раскинулась мутно-желтая запруда. Я постоял у нее, сличая и не соглашаясь с тем, что это и есть мой омут. Один из местных сказал, что послевоенные Кислицы, кажется,

сдвинуты немного в сторону, это можно уточнить. Как уточнить? И для чего мне надо было это уточнять? «Не знаете ли вы, куда делся омут, который был до войны?»

Я посмотрел на себя в зеркальное стекло витрины. Тоже не узнать — не тот, никаких следов того мальчишки.

Слева от входа в Дом культуры висела мраморная доска: «На этом рубеже 12 сентября 1941 года воины 202-й стрелковой дивизии остановили наступление немецко-фашистских войск».

— Да, — сказал Андриан, — только нам, знающим язык тех лет, понятно, что немцы вошли в Кислицы двенадцатого сентября сорок первого года. Дальше, видимо, их уже не пустили.

12 сентября... В этот день мы дрались на подступах к Пушкину, отходя к Александровке, а потом и в самый Пушкин, в парк, ко дворцу. Я запомнил эти дни с 1 по 17 сентября 1941 года, потому что тогда ранило полковника Лебединского и я остался в штабе за командира полка, поскольку никого из офицеров не было, и начальник политотдела дивизии Саша Михайлов сказал мне по телефону: «Побудь там за старшего, пока мы не подошлем кого-нибудь». Они никого не подослали. Почти сразу штаб дивизии отрезали, и я так и остался за старшего.

В эти самые часы здесь наши тоже отходили, оставляя Кислицы, мой дом, мой омут, мою платформу.

По другую сторону от входа на Доме культуры висела доска: «19 февраля 1943 года воины 202-й стрелковой дивизии освободили поселок Кислицы от немецко-фашистских захватчиков».

Вскоре я нашел старика, который утверждал, что он все помнит — и лесопилку, и отца, и даже меня. Он был в черной шелковой рубаше, на которой лежала белая борода. Он вспоминал медленно и ровно, сведения выползали из него, как телеграфная лента. Может, и я его знал, но вспомнить не мог — слишком велика была мутная толща времени. Встреча с ним ничему не помогла. Кислицы гибли, таяли и от его слов тоже. Омут мой исчезал. Теперь кругом него будут стоять дома, промтоварный магазин, будут идти ребята с завитками сливочного мороженого.

— Банальная история, — сказал Андриан. — Не случайно в процессе эволюции человек приобрел аппарат забывания. Нечего над ним насильничать. Забывание —

это здоровье памяти. Если память у тебя нездорова, надо лечить ее не поездкой в минувшее. О чем, собственно, ты скорбишь? Что Кислицы не остались такими же? Но они ведь стали лучше. Я никогда здесь не был, однако для нашей области это отличный благоустроенный поселок. Чего ты требуешь? Какие у тебя претензии? Не ради ж этого твоего посещения должны были оставить все как было? Тебе следует радоваться за свой паршивый разъезд — такой прогресс!

IV

Он прав, великий философ Андриан. Почему мне грустно? Почему мне плохо, если жителям этих залитых асфальтом Кислиц хорошо? Разве отец не обрадовался бы, увидев нынешние Кислицы? Почему, наконец, мне так приятны те несколько примет знакомого прошлого, что уцелели и тихо доживали среди нового быта? Это упругие мостки на улицах, мостки, которые заменяли панели. Дощатые, высокие — из-за осенней распутицы и весенней воды, что стоит здесь подолгу. С них такие же дощатые сходни во двор. Осталась и серая блестящая щепка вдоль узкоколейки, остался лес, запущенный, нечищенный, заваленный гнилыми жердями, однако узнаваемый по плотным березовым толпам среди осин, лип и особых здешних елей. Августовский его запах напомнил мне летние лесные дороги-лежневки, по которым вывозили лес с глубинных лесосек.

Мы садились на высокие вагонетки и катились на далекие делянки. Отец постоянно хитрил, торговался с заготовителями, подрядчиками, стараясь всучить им лесосеки подальше от железной дороги, чтобы рубить все же выборочно, а не сплошняком. Лесорубы за это тоже сердились на него, предприятия жаловались, особенно экспортные. Экспортлес — был такой толстый дядя в жилете с манишкой. Все были против отца, не пойму, как он держался.

Больше помнились не люди, а сама лежневка, ее разлохмаченные деревянные рельсы, чалые лошади, впряженные в вагонетки. Еще ручная дрезина, на которой мы неслись по главной магистрали — железной узкоколейке. И сами переводили стрелки...

А теперь я еду на «Волге». Куда ж я еду? Возвращаюсь из Кислиц? Но из каких? Или возвращаюсь в те уже не существующие Кислицы?

Что будет теперь с моим детским омутом? Сохранится ли он в памяти? Не заслонит ли его запруда с промтоварным магазином?

Если бы я попал в старые Кислицы, мне бы взгрустнулось, припечалилось. Затем ведь и ехал. А ведь как странно устроен человек. Прodelать такой путь, чтобы погрустить. И теперь досадовать оттого, что грусти не получилось.

Где-то в лесу стояли деревья, сохраненные отцом. Уже здоровенные деревья.

— Порублены, все они порублены,— сказал Андриан.— Не надейся. Ничего не осталось, рубят без пощады. Пока что лучший лесоруб важнее самого лучшего лесника. Все еще покоряем природу, побеждаем ее. Ты знаешь, я иногда ненавижу природу за ее бессилие и незащитность. Она сопротивляется самоубийством. Надеется на наше милосердие. А мы-то... Мальчишка-сопляк сидит на оранжевой громадине трактора и чувствует свое превосходство над лесом. Как же, все падает, трещит под ним. Его убедили, что он властвует над природой. Но ведь властвовать еще не значит понимать природу. Да и кто нам дал такое право — властвовать? По праву сильного, да? Какое же это право!

— А что такое понимать природу?

— Не знаешь? — Андриан покачал головой.— Понимать — значит сочувствовать.

— Кому, лягушке?

— Да, лягушке. И зяблику. И дереву. Ты думаешь, прогресс — это универсам? Прогресс к тому направлен, чтобы заполнить пропасть между природой и человеком. До сих пор мы пропасть создавали, теперь начинаем уничтожать ее, и это и есть начало прогресса. Понимать все живое, осознать наше родство со всем живым, с зябликом, с волком, с ольхой. Понимать — значит любить. В этом наше будущее. В этом, если хочешь, я вижу коммунистическую жизнь.

— Похоже на библейский рай.

— Примерно. Только не получим мы его в награду от господ бога, а придется устраивать самим.

На шоссе от свертыша донесся кислый запах мочевины. Выкопанные вдоль дороги ямы заполняла стоячая пенно-мутная вода. В ней мокли липы. Месяцами лежали они там на березовых плахах. Запах я узнал сразу. Мы остановились, и я спустился туда, где женщины снимали лыко с липовых стволов. Я смотрел, как они это делали, движения вспомнились, отгадывались, и я не заметил, как руки мои непроизвольно подхватили содранное лыко, ничего не объясняя, я понес лыко на подводу, чувствуя, что я уже когда-то это делал, вот так носил, кожа моя узнавала мыльную скользкость лычин, этого размокшего разодранного луба.

Когда-нибудь изобретут способы оживлять детские воспоминания. Присоединят электроды, включат поля — и в мозгу медленно, как на понтонах, начнут всплывать картины детства, голоса родных, их лица, слова, прикосновения. Я услышал бы, как пела мать, где-то здесь она ходила и пела. Голос у нее был сильный, чистый, помню, она упрекала отца: если б не его лесная жизнь, она могла стать певицей.

Способа этого еще нет. Надо самому каким-то образом стараться сдвинуть слежавшиеся пласты памяти, спуститься поглубже, в те годы, когда мы еще жили в Старой Руссе и мама была совсем молоденькой. Пожалуй, два или три места всего я и помню из всей скитальческой работы отца — Кислицы, Старую Руссу и, может, еще Рогавку. Видимо, там он работал подольше.

Река потекла вспять, холмы побежали вниз.

Обратная дорога не возбуждала воспоминаний.

Стоило ли ехать сюда, разрушать то небольшое, что каким-то чудом я сохранил, пронес сквозь годы, фронты и всю нынешнюю жизнь, которая никак, ничем, совсем ничем не связана была с этими местами?

...Зашел в лес. Там было тихо, жужжали, гудели мухи и еще какие-то насекомые. Березы не шелохнулись. Сперва как войдешь в лес — прохладно, а потом и тут своя духота настигает. Лесная жара не то что полевая. В поле потная, с пылью. Здесь же, в лесу, доходишь, как в духовке.

Кто-то окорил березку. Испод у нее гладко-бордовый, с шелковым блеском, она и в изувеченности своей прекрасна.

Это даже не лес, а роща, она как островок среди клеверных полей.

Красиво — холмы, поля, вдали синий-синий, там-то уж, конечно, прохладный лес. Красиво, а не волнует, не томит, как в молодости. Знаю, что это прекрасно, но знаю это больше памятью молодых, мучительных до слез любований. И за то спасибо. Слава богу, что страдал от этой непередаваемой красоты в молодости и теперь могу понимать и помнить разумом. Так с годами все, что было в сердце, переходит в ум. А ум этим не волнуется, он знает лишь, что это волнует.

VI

В Лазенках мы остановились у старого знакомого Андриана. Изба была полна детей. Хозяин нянчил младшего своего внука, седьмого. Мы сидели, пили молоко. Андриан так расспрашивал Василия Ивановича, что вскоре и я знал, что здесь, в этой деревне, Василий Иванович учителствует почти сорок лет. В сущности, он никуда отсюда не выезжал, кроме как на учебу в институт. В этой деревне, в этой школе, в этом доме прошла его жизнь. И дочери его тоже учителствуют.

Василий Иванович был худенький, застенчивый, и отвечал он больше мимикой, чем голосом. Невозможно было представить его на трибуне, в кабинете начальника, руководителем. Вот с детьми или в поле, на речке — тут он вписывался.

Когда-то мне казалось: чем больше я езжу, тем больше вижу; чем больше стран вижу, тем больше узнаю мир. Казалось, что путешествия обогащают ум, сердце, что новые города — это новые впечатления, новые мысли, что никогда не живешь так полно, как путешествуя.

Поначалу так и было. Преимущества жизни подвижной казались мне бесспорными. Я жалел людей, которые не были в Сибири, не видали Курилы. И они жалели себя и завидовали мне. Но сейчас, слушая Василия Ивановича, я думал о преимуществах его жизни. Мысль эта явилась не впервые. Я думал об этом в Японии, в Саду камней. Неподвижность тоже способ познания. Японец, сидящий в Саду камней, среди неподвижного, неизменного сада, погружается в глубины своей души, может ощутить ее. Смена впечатлений

происходит не только от меняющегося пейзажа. Неподвижность мира позволяет пристально взглянуть в него. Через камень можно увидеть горы, целые хребты.

В огороде Василий Иванович угостил нас яблоками. Яблоня стояла тяжелая, обвислая от урожая. Лето было засушливое, и яблоня, по словам Василия Ивановича, сдвинулась поближе к колодцу. Яблони двигаются чуть-чуть, но двигаются, и кусты смородины у него тоже двигались, корни их неизвестно как узнавали, где выкопана яма с компостом, и направлялись туда. Корни под землей рыщут...

Я завидовал его умению видеть эти незаметные движения. Он жил вглубь, а не вширь. В своей деревне он мог чувствовать всю страну, на огородных грядках ему открывалась Природа. В том, что окружало его, в этих нескольких сотках огорода, среди нескольких десятков школьников, содержалось, оказывается, все многообразие мира, бесконечно малое становилось бесконечно большим. Становилось не само по себе, а раскрывалось его трудом, его наблюдательностью. Он пробивал свою штольню к центру Земли. При такой сосредоточенной жизни человек ближе к себе и ко всему человечеству. Он меньше истребляет и больше дает. «Истребители» — это термин Андриана, непризнанного философа нашего времени.

— Мы, брат, не столько потребляем, сколько истребляем. Истребители жратвы, питья, промтоваров. Истребляем больше, чем нашему организму положено: ведь только человек, единственное существо в природе, страдает ожирением... Мы — истребители живого, природы, времени, часто безо всякого следа в смысле полезных результатов. Возьмем книги, ведь часто мы читаем их не для того, чтобы возбудить свою мысль, а для того, чтобы не думать, следовательно, истребляем и время, и саму книгу, да еще мысль. Отвлечься! Слыхал такое словечко? Ты, писатель, должен вдумываться в слова. От чего, спрашивается, отвлечься? От себя! От своих переживаний, мыслей! Будто уж так много у нас этих мыслей. Фактически только и делаем, что отвлекаемся. Мыслей давно нет, а все отвлекаемся. Боимся, как бы не начать думать. Одно слово — истребители...

Действительно, подумал я, мы как-то стараемся избегать переживаний — внутренних, идущих от недовольства собою, от тоски неведь по чему. Мы натренировались избавляться от них, считая это блажью, мутью,

результатом высокого давления, плохой погоды, усталости. Что угодно, только не томление души! Придавить ее каблуком, чтобы не дымила, ее вообще нет, не существует, а если есть, то лучше, чтоб ее не было...

VII

А если не искать утешения, думал я, не бежать тоски и мучений? Может, это оживит воспоминания? Человеку нужно все — и тоска, и страх, и скука. Вообще все, что есть в природе, все это нужно. И любые животные нужны, и гроза, и василек, и даже вечная мерзлота.

Отец показывал мне, как нужны лесу пни, старые трухлявые пни, где живут всякие жучки и букашки.

Понимал ли он лес? Не знаю, слишком мало я вникал в его жизнь. Но пользоваться им старался очень осторожно. Живицу, например, гнать, он считал, надо бережно, как корову доить. Но отношение у него было не к дереву, а к лесу целиком. Были леса, которые он любил, а были нелюбимые... Между прочим, почему-то любил он совершенно неделовую, нетоварную осину. Самое легкое дерево в наших лесах и самое дешевое, что и на дрова не шло. Зато делали из осины лучшую дранку, я помню, с каким трудом отец налаживал драночные станки в колхозе да еще хотел наладить рогожное производство из молодой осины.

Дранка, щепка, клепка... И сразу посыпались вразнобой отцовские слова: накат, баланс еловый, слипер, рейка, швырок, подтоварник, грядки. Слова означали разные сорта леса, никогда и нигде больше, ни по какому поводу я не слышал их, они сохранились как бы в том детском виде: баланс — обструганная, окоренная коротышка, розоватая, с нежно-пленочными остатками кожицы; пропс — вот этого не помню, зато помню горбыли, удобные для наших мальчишечьих построек, и рейки — длинные, ломкие, которыми мы сражались. Кряжи, шпалы, дрючки, капбалка. Эти удивительные слова, то красивые, то некрасивые, произносились на лесобирже, где отец ходил с деревянным метром в руке, а в лесу он был с рулеткой, и там были другие слова — живица, сеянцы, делянка, бонитет. Были волшебные слова, которыми он заставлял деревья расти быстрее или же лечил их; он шел и выстукивал и выслушивал

их на ходу, как врач, а иногда останавливался и слушал, как они дышат. Он по срезу рассказывал жизнь дерева, когда была сушь, когда угнетали соседи; казалось, он знал все, что творилось в этом лесу давно, еще до революции и до его рождения. А каким он был сам? О чем мечтал, чего добивался, что думал? Воспитывал меня, а как, каким образом? Ведь помню, что не бил и не задаривал. Что-то говорил, находил какие-то слова, больше же всего показывал работу. В лес брал, на лесосеки и дома работал, графил ведомости, вычислял прирост леса, кубатуру.

Вот линейку его помню, лиловые копирки, карандаши, резинку — незначачие эти мелочи, они зачем-то сохранились и пребывают во мне.

Внешнюю сторону жизни я запомнил лучше — не потому ли, что на нее больше внимания обращал? А состояние души, внутренний мир проходили как-то мимо меня, не вызывали интереса — почему?

Мальчик Алеша Пешков в «Детстве» Горького рассказывает о множестве людей, их десятки и десятки, и каждый запомнился ему и словечками и философией своей, всей натурой. Алеша с ребячьей точностью помнит красильные чаны и запахи краски, но это попутно. И у Толстого в «Детстве» главное тоже — духовное наполнение, образы людские во всех особенностях их внутреннего мира. Все это не сочиненное, а сохраненное. В моей же памяти осталось чисто внешнее. Люди различались главным образом внешне, служебно — один прораб, другой пильщик; говорили они на разные голоса, но одними и теми же словами, и, может, от этого казалось мне, что и в душе у этих людей все устроено одинаково и отец мой хотя и добрее остальных, но, наверное, с той же начинкой. Как в анатомическом атласе, который был у моей старшей сестры и который мне иногда позволяли смотреть. Там был изображен человек, его можно было раззять, отгибая сперва кожные покровы, тогда обнажались мышцы, потом отогнуть мышцы, открывался желудок, кишки, сердце, легкие. Все это хоть и бумажное, но было раскрашено, извивы кишок можно было приподнять, открыть сердце, почки... С трудом, неохотно, но я все же усвоил, что так, одинаково, устроен внутри каждый человек. Разнятся люди лишь ростом, походкой, цветом волос и

глаз, то есть снаружи. Почему-то люди не запоминались мне своими идеями, необычными дерзкими мыслями. Они слиплись в неразличимую массу, прикрытая разница увиделась куда позже.

Иногда мне кажется, что человек — как песочные часы. Природа ставит нас, чтобы отмерить какие-то миги истории. Сам я состою из тех же песчинок, которые тянутся через меня. Бывает — и с годами все чаще, — что я слышу этот шуршащий ток времени, уносящий мою жизнь, мое «я», ощущаю временное, быстро тающее свое состояние, краткость пребывания на земле.

Вообразите фильм, где вся жизнь от рождения до смерти прокручивается за сеанс. Полтора часа. Значительные, но краткие миги опускаются, остаются наиболее длительные, долгодействующие факторы: сон, работа. Фильм, подобный научно-популярным лентам о росте хлебного колоса или о превращении личинки.

Можно вообразить фильм с еще большим захватом времени, снятый несколькими — многими — поколениями операторов, скажем, о судьбе маленького русского городка: как появляются, ветшают и рушатся его дома, как городок растет, меняется, вокруг него тают и вновь появляются леса. Жизнь отдельных людей в этом масштабе вспыхивает и гаснет сигнальными огнями, смысл которых неясен, хотя может и обнаружиться при таком взгляде издалека.

Возьмите, к примеру, ту же Старую Руссу. Допустим, с X или XI веков. И представьте этот фильм. Как нападали на город то половцы, то литовцы да ливонцы, то свои соседние удельные князья. Город этот всегда был мал, малочисленны были его дружины, они защищали как могли и гибли под напором тысячных ратей пришельцев. Наводнения разоряли город, напала моровая язва, уничтожая всех подряд без различия звания и возраста, уцелевшие разбегались, так что город пустел на много лет и «там жили и плодились дикие звери». Доставалось городу от пожаров, от засухи. Голод обрушивался часто и страшно, выкашивая одним махом тысячи горожан. Посвист этой косы не различить в мелькании кадров, разве что увиделось бы на минуту голодное десятилетие с 1446 по 1456 год, когда люди питались чем попало, дичали, продавали себя в рабство.

Впрочем, историю той жизни мы знаем больше по войнам и всяческим катастрофам. Историки упоминали

о Руссе лишь попутно, в связи с историей Новгорода или московских походов и завоеваний. Сама по себе трудовая жизнь как бы утекала сквозь сита исторических летописей.

Разоренный, сожженный, выморочный город снова возрождался, начинал варить соль на своих соленых озерах, дубить, выделывать кожи, строить ладьи и корабли. И снова приходят воины, приходят литовские воеводы, польские, шведские, снова жгут, грабят, убивают. Русса оказывалась на пути то к Новгороду, то на пути врагов в Москву, она защищалась, она защищала. Войны, эпидемии и пожары воспринимались как бедствия стихийные, наиболее тяжелый след в народной душе оставляли события иные, покушавшиеся изменить естественный характер жизни, такие события, как устройство аракчеевских поселений. Зверское самодурство, насильственность, лицемерие, лживость вызвали в тридцатые годы прошлого века бунты, слепые и яростные.

Может, оттого Октябрь пришел в Старую Руссу так естественно и советская власть укрепилась сразу и прочно.

Однако если представить себе фильм в масштабе времени десять веков (тысяча лет) за полтора часа, то мы увидели бы не пожары, не войны, а упорный постоянный труд быстро сменяющихся поколений, которые строили все быстрее и ловчее дома, прокладывали дороги, делали машины, обставляли свою жизнь разумнее, спасая своих детей от голода и мора. Звон мечей заглушался непрерывным стуком молотков, топоров, цепов, скрипом колес. Неизменным оказывался труд. Он составлял основу жизни. Что бы ни происходило, а каменщик брался снова месить глину и разводить в яме известь.

Песчинка необычных часов была вечна. Человек тоже состоит из таких вечных частиц материи, в которых словно была заложена самой природой потребность труда и счастье труда. Казалось, частицы эти передаются из века в век, до нас они составляли других людей, и, может, поэтому иногда странное чувство охватывает нас: как будто все это было уже когда-то с нами, что-то похожее, какой-то древний опыт, то, что называют зовом предков или голосом крови.

Где находится память — неизвестно. Если она не сосредоточена в каком-то специальном органе памяти,

а разлита по всему мозгу, а может, и по всему организму, то, значит, каждый орган как бы помнит. Есть память у мышц, у ног, память у обоняния и вкуса. А может, есть память и у частиц? Не знаю, на каком уровне существует память, но ведь, может быть, и как память клеток или молекул, или атомов? Что, если наша память складывается из их памяти, наше «я» складывается из неповторимого сочетания их бесчисленных «я»?

Не торопясь я шел по набережной.

От Перерытицы исходило тепло перегретой воды. На крутых травянистых берегах редко стояли рыболовы, а чаще одевались и раздевались купальщики. Кто спешил окунуться по дороге с работы, кто, уже отдохнув, захватив полотенчику, выбирал местечко и не торопясь, со вкусом, входил в воду. Дневной тяжелый зной спал. Наступали блаженные в это жаркое лето вечерние часы, когда цветы раскрывались, оживала листва, люди показывались на улице. Из тени появлялись собаки, кошки, куры, всякая живность спешила насладиться короткими часами предзакатной свежести. Собаки бежали по тенистой аллее, тормозя для сбора информации у подножия каждой из старых лип, обмоченных многими поколениями дворняг.

Голые люди стояли посредине Перерытицы по пояс в коричневой воде, неподвижно, как белые статуи.

Все отдыхало. Замерло, словно задумалось о главном в своей жизни. Передышка после потной долгой дневной жары была наполнена покоем, такой легкостью воздуха, что собственная голова казалась воздушным шаром, легко плывущим в небе. Человек растворялся, чувствуя себя частью реки, земли, зелени. Ничего другого и не надо было, так мудры и полноценны были эти минуты. Чтобы их ощутить, не требовалось ни шезлонгов, ни красивых купальников, ни махровых халатов.

Набережная была полна утихшего солнца, теплого, как сено. Камни мостовой остывали. Косые лучи подпирали деревья, высвечивали сквозь окна дальние углы комнат.

Деревянные дома с мезонинами, с фальшивыми балкончиками (все послевоенной постройки) выглядели примерно так же, как и до войны. Здесь всегда стояли такие дома, одно- и двухэтажные, но нынче во дворах блестели «Жигули», мотоциклы, на крышах высились

телевизионные антенны. Но это не мешало мне, я вполне мог представить, что иду на довоенный курорт, где у эстрады сидит мама, слушая оркестр. Вознесенский собор уцелел, все так же величаво возвышаясь над излуциной реки. В городе, даже разрушенном так, как Старая Русса, все же сохраняются его прежние черты, особый дух, природная физиономия, которая складывается из расположения его площадей, вокзалов, набережных и еще каких-то неизвестных составляющих. Так было в Минске, Пскове, Ленинграде.

Дом, где мы жили, на улице Володарского, сгорел, сгорело и лесничество с большим запущенным садом, местом наших игр. Вся улица была разрушена. Осталось в целости на весь город несколько домов, всего четыре, как утверждает Георгий Иванович, в том числе и дом Достоевского.

Когда я приехал сюда в середине пятидесятых годов, я побывал у этого дома. Там помещалась школа и, кажется, библиотека. Пришел я вот так же под вечер, на лавке у дома сидели старухи. В платках, в кофтах со сборочками на груди. Кофты считались тогда старушечьими, а нынче такие же стали наимоднейшими. Старухи помнили Анну Григорьевну Достоевскую, рассказали мне, как она приезжала после смерти мужа, хлопотала вместе с местным священником Румянцевым насчет ремонта дома. Слушал я их вполуха. Я понимал, что рассказывают они что-то ценное, интересное, но, во-первых, дело это не мое, на то есть литературоведы, специалисты, они запишут, во-вторых, успеется. Две эти самые зловередные отговорки подводили меня много раз. Так я недоговорил с Андреем Платоновым, Куприным, Шульгиным — человеком, который знал Плеханова, Ленина, Мартова. Не записал своих встреч с Питиримом Сорокиным, Фадеевым, Сарьяном, Борисом Пастернаком, дядей Сашей — монтером Второй ГЭС. Успеется, думал я, когда-нибудь посидим, договорим, специально запишем.

У отца от Старой Руссы сохранилась хрустальная пирамидка. Внутри нее изображена была белая громада Воскресенского собора, река, розовеющее закатное небо — все это, выложенное перламутром, радужно переливалось, особенно если слегка повертеть пирамидку в руках. Изготовлена она была, кажется, к семисотпяти-

десятилетию города, несколько экземпляров, и каким-то чудом уцелела до наших дней, несмотря на войну, на наши семейные скитания и на мои мальчишеские руки, переломавшие бог знает сколько прекрасных вещей.

После смерти отца я поставил ее себе на стол и часто смотрел в эту хрустальную глубину. А потом однажды под наплывом непонятого ныне чувства подарил ее старорусскому музею. Его создавал тогда Георгий Иванович Смирнов, и вместе с этой пирамидкой я преподнес тоже отцовскую, хорошо сохранившуюся толстую книгу М. И. Полянского «Историко-статистический очерк г. Старой Руссы», изданную в 1889 году. Это уникальное и презанятое произведение — одно из чудес российской статистики, из нее можно узнать все: про скот, про дома, про эпидемии, про купцов, сектантов, какие улицы в городе были мощеными, когда какая вымощена, на какую ширину и длину, какие были лавки, чем торговали, как менялось число жителей по сословиям. Там есть история всех церквей, монастырей, есть общественная жизнь города. Колонки бесстрастных цифр прерываются иногда горькими размышлениями автора:

«Прочие периодические издания, считая вместе ежемесячные журналы и газеты, в течение 1884 года были получены в количестве 100 655 номеров, или немногим более 275 экземпляров в день. Цифра эта может быть довольно точным масштабом для составления понятия о современной жизни города. В городе живет 60 чиновников, 60 офицеров, до 40 духовных лиц и 15 учителей, таким образом, на 12-тысячное коренное население остается не более 100 экземпляров периодических изданий¹. Словом, город живет своими торговыми, желудочными, эротическими и всякими другими интересами, кроме умственных. Исключение представляет самая ничтожная часть населения.

Расходятся деньги на обстановку, мебель, на наряды, но расход на книги, журналы и газеты составляет совершенно случайную часть бюджета. Очевидно, что умственная пища для большей части жителей не более как дилетантизм и непозволительная роскошь. Книжного магазина в городе не имеется: необходимые для детей учебные книги продаются там же, где и скипидар».

¹ Полянский считает, что лица указанных сословий выписывали хотя бы по одному экземпляру журналов и газет на человека.

Я шел и вспоминал эту книгу, хрустальную пирамидку, вспоминал гостиный двор, которого уже нет, старорусских ребят на площади. Вспоминались потери. Есть дни потерь, так же как дни удач, дни обретений. Дни, когда прожитое открывается разом, с ошибками самыми нелепейшими, видно, как собственная жизнь двумя своими краями касается небытия, точно шаткий мосток между вечностью, что была до рождения, и той вечностью, что протянется после смерти. Выпадают неизвестно зачем дни такой удручающей видимости.

VIII

Окна в доме Достоевского были занавешены. На всякий случай я толкнул калитку. Лязгнув щеколдой, она отворилась. Я вошел в чисто подметенный дворик. Вдоль забора росли цветы. Дверь в музей была закрыта. Рядом я увидел другую дверь. Потянул, вошел в сени. В доме было тихо.

— Есть кто? — крикнул я.

Никто не ответил. Деревянная лестница вела на второй этаж. Там, наверху, висели написанные маслом портреты. Они изображали четырех братьев Карамазовых, Федора Павловича Карамазова и самого Достоевского. Наверху было светло от вечернего солнца. Что-то поскрипывало, потрескивало, дом устраивался, укладывался на ночь. Я не заметил, как на верхней площадке лестницы появился человек и тотчас, не всматриваясь в сумрак прихожей, а лишь убедясь, что я тут, уже тут, сверлящим голосом назвал меня по имени-отчеству и нетерпеливо позвал наверх, к себе.

Чудом было и то, что появился именно он, Георгий Иванович, может, единственный, кто был мне сейчас кстати, и то, что он не удивился моему появлению в неурочный час, да еще после двухлетнего отсутствия. Ни о чем меня не спрашивая, ничего не показывая, он с ходу стал доказывать мне, что религиозность Достоевского совсем особая, что ему удалось установить связи Достоевского с творчеством Данте, что вопрос вопросов — церковность Достоевского.

— Почему Христос ничего не ответил великому инквизитору, а поцеловал его? И заметьте — тихо поцеловал? А? Что этим хотел Достоевский сказать? А сколько мальчиков слушало речь Алеши? Не знаете.

Неудивительно, мне на это никто из специалистов не ответил. Циферку эту Достоевский упомянул вроде бы мимоходом, так, бросил словечко, только у него ничего не говорится зря, все имеет глубочайший смысл. Вникнуть надо! Да-с!

Мы сидели в комнате, где сто лет назад Федор Михайлович писал «Братьев Карамазовых». Пока, до реконструкции музея, в этом кабинете работал Георгий Иванович. От кабинета Достоевского не сохранилось здесь никаких предметов. Комната была большая, пустая, с маленьким стареньким письменным столом, с кушеткой. На стене висел портрет Михаила Михайловича Бахтина — любимца Георгия Ивановича, наилучшего литературоведа из всех писавших о Достоевском. Лежали старые книги, среди них Четьи Минеи — толстая книга с житиями святых. Я впервые видел ее, святые шли в ней в том порядке, в каком праздновали их память. Николин день, Петров день, Ильин день, Спас яблочный... После Ильина дня запрещали купаться, к Спасу собирали яблоки, везли в Руссу...

Георгий Иванович говорил быстро-быстро, словно опасаясь, что я его прерву или уйду, прикуривал от окурка следующую папиросу, бегал взад-вперед по пустой, уютной от солнца комнате. Иногда он поднимал правую руку и голос его взмывал:

— Нет, инквизитор — это соприкосновение миров! Он в Севилье сжигал еретиков. А Митеньку Карамазова судили в Скотопригоньевске!

Он наклонился ко мне, кричал, призывая имя архистратига Михаила против хулителей Федора Михайловича, тех, кто спекулирует на его имени, на его романах, кто уродует их в кинофильмах. Он клялся не допустить извратителей на порог этого дома.

— Не кровью пойдут мальчишки за Алешей обновлять мир, а совестью! — яростно спорил он с кем-то неизвестным мне. — Христос — это же не бог, это истина!

Голос его гремел, отдавался в объемах пустынного дома. Клубы дыма вырывались из его рта вместе с гневными и восторженными возгласами. Вельзевул, жилистый, коричнево-облупленный, он кипел, ярился от переполнявших его чувств. Мысль его прыгала, я не успевал следить за ней, лишь иногда ухватывал неожиданную логику, казалось бы, отрывочных фраз.

За время нашей разлуки он крепко поднаторел, оснастился не только в литературе о Достоевском, но

и в том, что у нас знают плохо, — в религиозной литературе. Он изучил множество апокрифов, сказаний, трудов по истории церкви, нужных для понимания взглядов Достоевского. Тут еще сошлось и то, что он как никто другой знал историю Старой Руссы, недаром он организовал в свое время и краеведческий музей, и музей истории старорусского курорта. Он показывал мне экспонаты нового, пока еще бедного музея Достоевского, где самым ценным экспонатом был этот дом, в котором Достоевский прожил семь лет, может, наиболее счастливых в своей жизни. За время житья в Петербурге Достоевский сменил около двадцати квартир. А сколько было квартир казенных — на каторге, в ссылке, в Петропавловской крепости. За границей тоже почему-то переезжал из отеля в отель, снимал комнаты, пансионаты. Вел жизнь скитальца. Нигде у него не было дома, дома оседло-постоянного, своего. Впервые в Старой Руссе он появился. Ему полюбился этот уездный городок, особый, со своей физиономией — с курортом, солеными озерами, со своей тишиной и бойкостью, один из самых живописных уездных городков России.

Все близлежащие улицы, переулки стали ныне тоже частью музея-мемориала. Георгий Иванович рассказывал о своих захватнических хлопотах и выкрикивал попреки в адрес московского музея, не желающего отдать принадлежавшие старорусскому дому экспонаты; гордился тем, что владеет архивом внука Достоевского, Андрея Федоровича. И еще кое-что имеет!

Я любовался его пылкостью. Роговые очки его горячо взблескивали, черные глаза пронизывали меня испытующе — не грешен ли я чем перед памятью Достоевского? Он не пощадил бы меня и нашу старую дружбу. Недавний инсульт нисколько не испугал его, а сделал еще бесстрашнее.

После сдержанно-расчетливых служащих с набором взвешенных фраз, уютно-дозволенных отдушин-хобби в виде охоты или рыбалки, после благоразумных литературоведов, считающих печатные работы и оплачиваемые листы, после огородников, любителей-садоводов, подписчиков на собрания сочинений, болельщиков футбола, туристов с роскошными цветными палатками, автомобилистов, городошников, он производил впечатление нездешнего и счастливого безумца. Я завидовал ему, его возвышенной страсти, которая не уживалась ни

с каким хобби. Жить ему осталось немного, как он считал, но, во всяком случае, он должен дожить до столетия со дня смерти Достоевского. Такой срок он поставил себе.

IX

Темнело, когда мы очутились на Дмитриевской улице. Дома у меня было несколько дореволюционных открыток с этой Дмитриевской. Ее почему-то любили снимать на почтовые открытки. Старой Руссе вообще повезло на открытки: черно-белые, цветные, их десятки, а может, и сотни — с видами курорта, пожарного депо, монастыря, Введенской церкви, площади, но больше всего Дмитриевской улицы.

Ничего примечательного в ней не было. Но Георгий Иванович показал мне на нее, как показывали в Лондоне на Пикадилли или Даунинг-стрит или в Нью-Йорке на Уолл-стрит. Эта улица была связана с действием романа «Братья Карамазовы». Он показал забор сада, через который лазила Лизавета, улицы, по которым бежал Митя в день убийства отца. Мы прошли по этому маршруту, оказывается точно указанному в романе, сделали петлю, какую сделал Митя, прежде чем перебежал по мосту речку Смердящую, или нынешнюю Малашку. Показал двухэтажный гайдебуровский дом, который тоже участвует в романе, и объяснил, почему он участвует в виде одноэтажного домишки. А здесь место, где сидел в засаде Митя Карамазов, высматривая Грушеньку, вот здесь и сама Грушенька, то есть Грушенька Меньшова, шла по набережной навстречу Достоевскому. Начальник же коммунального отдела товарищ Л. снес мостик через Малашку. Товарищу Л. было безразлично, какой из братьев Карамазовых и зачем бежал по этому мостику, тем более что все это выдумки писателя, хотя он и состоит классиком. Товарищ Л. был реалист: роман — это сочинение, следовательно, не факт, а фантазия. Если бы сам Достоевский или любой другой классик ценил этот мостик, бывал на нем, встречался со своими единомышленниками, что было бы подтверждено документами, тогда и спору нет, мостик стал бы исторической ценностью, поддерживался и охранялся. Без этого мостик как таковой не представляет

ныне пешеходной необходимости, и незачем из-за него поднимать шум.

Чем мог Георгий Иванович, директор едва народившегося музея, воздействовать на городского начальника? Бумаги, докладные? Писал. К ним притерпелись. В конце пути они попадали к Л. с надписями неуверенными, озадаченными: «Надо помочь», «Разберитесь», «Внести в план». У товарища Л. хватало и без этого мостика горящих точек. Он не был ни рутинером, ни мракобесом, наоборот, именно потому, что он пекся о городских нуждах, он не хотел тратить скудные коммунальные средства на эту непонятную ему работу, невыигрышную, ненастоящую...

Однако Георгий Иванович был не только директором, по совместительству он был еще и экскурсоводом, а эта совсем уже маленькая должность, оказалось, обладает некой возможностью: Георгий Иванович стал рассказывать группам, которые он водил по памятным местам Достоевского, что вот здесь был мостик, по которому бежал Митя Карамазов, к сожалению, мостик сломан товарищем Л., не желающим его восстановить... В каждой группе находились возмущенные, из них один-два доводили свое возмущение до дела — писали жалобы на товарища Л. Письма шли во все инстанции. Вскоре Л. взмолился: «За что ты меня позоришь перед людьми?» Мостик был восстановлен. При этом вполне возможно, что товарищ Л. так и не понял до конца смысла стараний Георгия Ивановича, ибо не так-то просто поверить в такую реальность жизни героев романа.

Несколько лет Георгий Иванович потратил, составляя карту происходящего в романе «Братья Карамазовы», разыскивая места, упомянутые в тексте, сличал и устанавливал, где кто жил, какой именно дом описан. Он располагал действие романа в городе тех лет, расшифровывал, выяснял по архивным источникам, уверенный, что все должно сойтись. С трудом нашел дом Катерины Ивановны на Большой улице, сорок лет он искал дом Хохлаковой, почти разыскал, то есть определил, какой из домов это был, поскольку домов этих давно нет, нашел его фотографию. Сколько он бился с Михайловской улицей: почему Достоевский назвал ее Михайловской, когда на самом-то деле речь шла о Пятницкой улице...

Стоили ли подобные розыски таких усилий? Разве так существенно, где когда-то стоял тот или иной дом?

Да ведь, по совести говоря, Старая Русса выбрана под место действия романа «Братья Карамазовы» случайно. Жил бы Достоевский в Боровичах, может, действие происходило бы в Боровичах. Мне трудно было судить о доказательности некоторых открытий Георгия Ивановича. Так, с точки зрения научной, история о том, почему Пятницкая была названа Достоевским Михайловской, показалась мне слабо подкрепленной. Но лично для меня вся эта кропотливейшая, вроде бы ничего не определяющая работа Георгия Ивановича совпала с тем, что делал в Ленинграде внук Достоевского Андрей Федорович Достоевский, определяя место действия романа «Преступление и наказание». Он водил меня в каморку Раскольников, показывал место, где Раскольников запрятал драгоценности, мы поднимались по узкой лестнице в участок к Порфирию Порфирьевичу. С тех пор я не раз показывал найденные им дома и приезжим друзьям, и ленинградцам и даже написал про это. Так что отчасти я был подготовлен, тем более что во всех книгах о Достоевском всегда говорилось про Старую Руссу как про место действия романа.

Владимирская церковь в Старой Руссе давно разрушена. На месте ее стоят жилые дома. Она была рубленой, деревянной, крестообразной в плане. Построена она была где-то в начале XVII века. Во всяком случае, в 1625 году она уже значилась как церковь Владимирской божьей матери, что у реки Порусьи. Стояла она до самой войны, Георгий Иванович ее помнит. От нее до дома штабс-капитана Снегирева должно было быть согласно роману триста шагов. По просьбе Георгия Ивановича я шел и считал шаги и верил и не верил, хотел, чтобы было триста, и не хотел. Уже стемнело. Свет падал из освещенных окон. Улица была без фонарей, исчезла трава, панель, улица состояла из шагов. Точно так же меня вел Андрей Федорович по Подъяческой улице в Ленинграде, и мы считали шаги от дома Раскольников до дома его жертвы — старухи процентщицы, их должно было быть семьсот пятьдесят. Странный это был писательский прием — точно вымерять расстояния, не вообще, а как бы решающие, когда из этих шагов складывается самый, может, najważнейший жизненный шаг героев. Вот сейчас навстречу мне мальчики на руках несли гроб Илюшечки...

Быстрый голос Георгия Ивановича доносился из тьмы, то взлетая, то куда-то теряясь, как будто он там отбивался от множества спорщиков. Беспорядочность его речи имела свой смысл — он свободно тащил десятилетия, мимолетное и вечное. Выдумки и реальность сплетались в тугую косу. Звездный свет вечности падал на мелкие подробности жизни, и от этого размеры и смысл вещей смешались. Время, казалось, ничего не могло поделать с человеческими страстями. Литература поселялась в здешних кварталах, дома обретали хозяев, которые на самом-то деле никогда в них не жили и не были занесены ни в какие списки и тем не менее были куда реальнее, чем те, давно умершие, исчезнувшие из памяти обыватели уездного городка.

«Наконец он разыскал в Озерной улице дом мешанки Калмыковой, ветхий домишко, перекосившийся, всего в три окна на улицу с грязным двором...» Там живет штабс-капитан Снегирев. Кто жил там в действительности, неизвестно, литературоведов не занимают фактические жильцы... И получалось, что спустя сто лет для нас реальными стали не те люди, что здесь жили, а те, что были рождены фантазией писателя, мы знаем о них куда больше, представляем во всех подробностях их быт. Придуманное стало явью, имеющей плоть, историю, адреса. Чего стоила одна только фраза, прозвучавшая сейчас над моим ухом: «Здесь стоял дом, где снимал квартиру штабс-капитан Снегирев».

Ровно триста шагов. Мы стояли на перекрестке. Сюда пришел Алеша с деньгами возместить бесчестие, причиненное его братом Митей.

Что же это такое — природа, реальность жизни, думал я, если гений может создать человека более реального, чем натуральный человек, вдохнуть в него жизнь, наделить его бессмертием? Да что там человека — целый мир может создать, потому что те же «Братья Карамазовы» — это целый мир, эпос России.

Сегодня утром Андриан говорил мне:

— Дай ученым задание — создать василек, обыкновенный цветочек василек. Пусть организуют для этого целый институт. Десять лет будут работать и не смогут создать. Миллиарды потратят и не то что цветок — лопух, крапиву не создадут. А художник напишет — и будет василек. Нет, брат, искусство сильнее науки!

Переулочек, где спала Лизавета, прямо в крапиве спала, в лопушнике, тоже имеется в полной сохранности, с той же крапивой и большими лопухами.

Однажды мэр города услышал на симпозиуме, как цитируют из романа описание этого переулочка: «По обе стороны переулочка шел плетень, за которым тянулись огороды прилежащих домов; переулочек же выходил на мостик через нашу вонючую и длинную лужу, которую у нас принято называть иногда речкой. У плетня, в крапиве и лопушнике, усмотрела наша компания спящую Лизавету». Такое описание переулочка, по мнению мэра, позорило город, и он распорядился немедленно привести переулочек в порядок, замостить, заасфальтировать и чтоб, в отличие от царского времени, — никаких лопухов! Желание его было естественнейшим, тем более что переулочек, можно сказать, исторический, но не менее естественным был и гнев Георгия Ивановича, грудью вставшего на защиту своих лопушечков. Надо отдать должное мэру: человек умный, он вскоре поднял руки вверх, уяснив, что переулочек этот ценен именно в таком неблагоустроенном, натуральном виде, что, между прочим, для психологии любого мэра принять не так-то легко.

Бурьян яростно рос по переулочку, поощряемый отныне городскими властями. Мне вдруг вспомнился Мельбурн, университет, преподаватели-слависты, наш разговор о Достоевском: они знали про Старую Руссу, изучали места действия, значит, и этот переулочек представляли, где, может, был зачат Смердяков. Вспомнились разговоры о Достоевском в университетах Стокгольма, Токио, Калифорнии. Всюду изучали Достоевского, как, может, никого из других писателей, во всем мире читали и читают про этот лопух вдоль плетня, пишут исследования про роман, исследования, в которых есть и про этот город, и про эти места. И будут еще долго после нас писать и предлагать свои толкования, решать загадки, поставленные романом. Я вдруг ощутил как бы всемирную историчность этого переулочка и набережной этой маленькой, нигде не обозначенной речки Перерытыцы. Места, известные всем читателям Достоевского. Не тем, что он жил тут, а прежде всего через героев романа. Отчасти я даже был смущен нахальством этой своей мысли, не так-то

легко было свыкнуться с тем, что кружение этих деревянных улочек, мостиков, скрипучих ворот, зацветших ряской канав, привычных мне с детства, пользуется славой подобно лондонской Бейкер-стрит, где жил Шерлок Холмс, или набережной Невы, где гулял Евгений Онегин. И мемориал этот единственный в своем роде, поразительный, как если бы, допустим, в Испании сохранились бы ветряная мельница, трактир и прочие места скитаний Дон Кихота.

Как будто ни война, ни время не были властны над этими местами, словно бы гений Достоевского охранил их, вызвал вновь из небытия. Они не в пример моим Кислицам существовали независимо от обстоятельств жизни. Конечно, это было не совсем так, я как бы вывел за скобки и энтузиазм Георгия Ивановича, и все, что делали горсовет и горком партии, чтобы восстановить этот мемориал. Но ведь и усилия этих людей были тоже воспламенены силою романов Достоевского, удивительным воздействием, какое оказывает его творчество на каждого, кто так или иначе соприкасается с ним.

Не раз я замечал странности этого влияния. Именно странности. Мы недолюбиваем это понятие, стараемся объяснить странное, растворить его научными реактивами, изгнать из обихода — примерно так, как в старину изгоняли бесов, — мы заменяем его «стечением обстоятельств», заклиная теорией вероятности, интуицией. Вместо «судьбы» мы говорим «случайность», «склонность». И тем не менее... Георгий Иванович родился ровно через сто лет после рождения Достоевского, в доме Гайдебуровых, напротив дома Достоевского. И в школе, где он преподавал историю, и на войне, командуя батареей, он мечтал заняться Достоевским. Всякий раз возникали то более срочные, то более нужные дела, но он настойчиво готовил себя, верил, что рано или поздно придет в дом Достоевского. Он как бы все примечал впрок для будущей работы. Так приметил он камень возле жилища Снегирева; оказывается, это не выдумка Достоевского, лежал здесь такой камень, с которого Алеша обратился с речью к мальчикам. Несколько лет назад еще лежал, так ведь подкопали и уволокли в порядке благоустройства, недоглядел; но ничего, он вызнал, куда именно свезли, и вскоре он вернет его на место. Ему нужен тот самый камень, никакой

другой. Если б это был не камень, а гора, он и гору вернул бы, вера его, убежденность действительно могут двигать горами.

XI

Где живут мои герои, в каких домах, на каких улицах? Мне никогда не приходило в голову подыскивать им точные адреса, поселять их в реальных квартирах, прослеживать маршруты их прогулок, находить в городе места их встреч. Разве что случайно, попутно выпадало упомянуть, допустим, Петропавловскую крепость или Литейный проспект.

У Достоевского же тщательность описания касается не только города, но и обстановки жилья, описание позволяет прямо-таки воссоздать ее в точности, как на рисунке, со всеми подробностями расположения и качества предметов. Вот, допустим, жилье того же штабс-капитана Снегирева:

«Алеша отворил тогда дверь и шагнул через порог. Он очутился в избе хотя и довольно просторной, но чрезвычайно загроможденной и людьми, и всяким домашним скарбом. Налево была большая русская печь. От печи к левому окну через всю комнату была протянута веревка, на которой было развешано разное тряпье. По обеим стенам налево и направо помещалось по кровати, покрытых вязаными одеялами. На одной из них, на левой, была воздвигнута горка из четырех ситцевых подушек, одна другой меньше. На другой же кровати, справа, виднелась лишь одна, очень маленькая подушечка. Далее в переднем углу было небольшое место, отгороженное занавеской или простыней, тоже перекинутою через веревку, протянутую поперек угла. За этой занавеской тоже примечалась сбоку устроенная на лавке и на приставленном к ней стуле постель. Простой деревянный четырехугольный мужицкий стол был отодвинут из переднего угла к срединному окошку. Все три окна, каждое в четыре мелкие, зеленые, заплесневевшие стекла, были очень тусклы и наглухо заперты, так что в комнате было довольно душно и не так светло. На столе стояла сковорода с остатками глазной яичницы, лежал недоеденный ломоть хлеба и сверх того находился полуштоф со слабыми остатками земных благ лишь на доньшке».

Согласно этому описанию можно изготовить макет, декорацию, план, картину. Больше ничего и не надо, все сведения имеются. Достоевский не часто прибегает к столь подробному изображению. Здесь оно подготовлено ходом событий, состоянием Алеши, его пристальный взгляд должен замечать и фиксировать все эти вещи, и, в свою очередь, то, что он видит — бедность, — многое определяет в его состоянии, действиях.

С бесстрашием фотообъектива отмечаются бытовые детали, казалось бы, заурядные для того времени, примелькавшиеся, незамечаемые: «...горка из четырех ситцевых подушек, одна другой меньше». Все равно что в нынешней квартире упомянуть электрический счетчик, стены, оклеенные бумажными обоями. В том-то и дело, что не совсем так. Достоевский производит тщательный отбор — и ситцевые подушки, и окна в четыре стекла нужны ему для социальной, для семейной характеристики. Перед нами бедность типичная, но и бедность индивидуальная — семьи отставного штабс-капитана. Полвека назад детали эти прочитывались, вероятно, иначе, чем нынешними читателями. Сегодня они обрели еще ценность историческую. И в нашем быту вещи меняются, они отмечают конкретное время, уровень жизни, среду, поколение, моду... Мы почему-то неохотно и редко изображаем предметность нашего бытия. Пренебрегаем описанием современных гастрономов, столовых, вида денег, посуды, обуви, мебели, тех же кроватей. Сегодняшние герои большей частью живут среди вещей обезличенных, едят за неким столом некий суп из некой тарелки, носят вообще спецовку, вешают ее в абстрактный шкаф, стоящий в абстрактной квартире. В русской литературе предметность описания была свойственна и Пушкину, и Гоголю, и Тургеневу. По «Евгению Онегину» можно представить, как одевались, что было модно, что вышло из моды, какие пили вина, какие книги читали в разных кругах общества, как выглядели альбомы уездных барышень, что за лошади были упряжные, верховые и как заряжали пистолеты:

...Гремит о шомпол молоток,
В граненый ствол уходят пули,
И щелкнул в первый раз курок,
Вот порох струйкой сероватой
На полку сыплется. Зубчатый,
Надежно ввинченный кремень
Взведен еще...

Или мельканье московских улиц перед глазами
Татьяны:

...вот уж по Тверской
Возок несется чрез ухабы,
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.

ХП

Я вспомнил улицу Пестеля, где мы жили, когда приезжали в Ленинград. Улица Пестеля, бывшая Пантелеймоновская, как спрашивали ее еще не привыкшие к переименованиям питерцы, замкнута двумя церквями, в начале Пантелеймоновской и в конце Спасо-Преображенским собором.

Магазин братьев Чешуриных — молочный магазин, выложенный белым кафелем, там в деревянных кадках стояла сметана разных сортов, творог, молоко в бидонах, масла, сыры. Сами братья-нэпманы орудовали в белых фартуках с черными блестящими нарукавниками. А на углу Литейного, там, где теперь кондитерская, была тоже кондитерская «Ландрин», уж не помню, частная или же кооперативная. В конце улицы, у Соляного, была булочная Филиппова. Утром я бежал туда за горячими булочками, мать посылала меня. Был еще какой-то магазин «Лора». Шли по Литейному трамвай с колбасой — резиновым шлангом на задней стенке (для пневматики, что ли?). Мы за него цеплялись и ехали бесплатно. «Колбасники!» — кричали нам кондукторы. Мостовые были вымощены деревянными шашками, тротуары — плитками, ворота на ночь запирались, парадные тоже, дежурные дворники сидели у ворот, а поздно ночью уходили в свои дворнички. У нас дворничка была в подворотне, туда был проведен звонок, дворники открывали, и отец давал за это двугривенный, а один раз у него мелочи не было и он дал дворнику бумажку, то ли рубль, то ли червонец, и стал извиняться перед ним.

У Спасского собора стояли пушки. На самом деле собор этот назывался Преображенский всей гвардии собор, но местные прихожане звали его Спасским собором. Вокруг собора на каменных фундаментах высились турецкие пушки — главная радость наших детских игр. Ни у кого не было таких роскошных игрушек. Двенадцать старинных орудий на лафетах, с ядрами. Ограда тоже была сделана из пушечных стволов и цепей, на которых было так удобно качаться. У каждого двора была своя пушка, обтертая нашими штанами до бронзового блеска. Какие там гремели сражения, битвы, какие полководцы там действовали!

В вербное воскресенье на площади перед церковью устраивалась ярмарка. Крутилась обитая черным бархатом карусель. Играла шарманка. Китайцы продавали скрипучки, веера, чертиков, тещины языки, «уйди-уйди» и «чемберленов». В других ларьках продавали пряники, длинные конфеты, обкрученные по спирали ленточками, моченые яблоки, конечно, семечки, причем разных сортов — семечки жареные, сырые, тыквенные, чищенные. Семечки — главное удовольствие всех сборищ конца двадцатых-тридцатых годов, бедствие клубов и кинотеатров. Полы, закиданные лузгой, наши непрестанно щелкающие, сплевывающие рты.

На лотках торговали маковками — асфальтового цвета ромбиками, сваренными в сахаре из мака, постным сахаром всех цветов, мягким, вкусным.

Куда-то они исчезли после войны, начисто исчезли все лакомства нашего детства, даже не проверишь теперь — действительно ли так это вкусно, как помнится?

А может, и хорошо, что не проверишь.

Громыхали по улице ломовые извозчики, под телегой моталось ведро, позади прикреплен номер. Ехали грузовики АМО, легковые машины «линкольн», пролетки, катились ручные тележки, шли татары-«халатники» с мешками, почему-то обязательно полосатыми, в них собирали тряпье, бутылки, кости, шли точильщицы со своими точилами из разных кругов, розовых и серых, шли стекольщики с ящичком поблескивающего зеленоватого стекла, трубочисты с черными щетками и ложками, пильщики дров — за кушаком топор, лудильщики...

Сколько их было, разного рода мастеровых! Маляры с кистями и ведерками, полотеры, измазанные коричневой своей мастикой, обойщики. Я застал уже самый

конец, раньше улица, наверное, была еще пестрее, но и то — как пестро, и разно, и красиво помнится уличная толпа 1926—1928 годов, когда еще царил ручной труд со всеми его невзгодами, низкой производительностью, но и с его искусностью.

Чистильщики сапог сидели на углах. Зимой они ваксили сапоги, ботинки, летом мазали белые парусиновые туфли разведенным мелом. Многие в городе зимой ходили в валенках. А по Неве мы катались на лыжах. Нева замерзала прочно и ровно, без торосов.

В нашем доме была часовая мастерская. За большим витринным стеклом сидели часовщики, вставив лупы в глаза. Помню лысоватые их головы, всегда склоненные над рассыпанными шестеренками, и рядом в портняжной склоненные головы женщин над швейными машинками: плиссе, гофре, закрутка...

На углу Моховой был закрытый распределитель «Красная звезда», были магазины ЛСПО, ЗРК, к магазинам прикреплялись, на заборной книжке ставился штамп магазина, и только там можно было «отовариваться». Все это были слова тех лет, не собранные ни в один словарь. Заборные книжки выдавали в конторах жактов по бумажкам, которые назывались несгибайками. За квартиру платили по так называемым жировкам — жиро-приказам.

В нашем доме доживали «бывшие». Наверху жила баронесса Шталь, ниже граф Татищев, ставший у нас управдомом. Когда его называли бывшим графом, он обижался: граф — это не должность, говорил он, а порода. Не может быть бывший доберман-пинчер. Он, кажется, был хорошим управдомом, он все знал, все подвалы, водопровод, чердаки.

Население было самое смешанное. Поселился веселый курчавый парень из чека, звали его Илья; жил директор фабрики чернильных приборов; жили две работницы папиросной фабрики. В большие квартиры подсеяли и подсеяли заводских. Квартиры становились коммунальными, шумными, но сохранялся еще старый уклад домовой жизни. По черной лестнице дворники таскали дрова вязанками. Платили с вязанки. По черному ходу выносили помойные ведра, ходили на чердак вешать белье, по черному в квартиры приходили цыганки гадать, появлялись печники, трубочисты, прачки... Да, ведь были прачки, одна жила у нас в доме, была во дворе прачечная, где мать сама стирала, а иног-

да отдавала прачке. Во дворе выбивали ковры, кололи дрова, обойщики потрошили матрацы, собирались квартироуполномоченные. Во двор приходили шарманщики, певцы, цыгане, скрипачи, а то и целые ансамбли — трио, квартеты. Жильцы высывались в окна, слушали представление, кидали завернутые в бумажку монеты. Мы бегали, подбирали, отдавали музыкантам. Какой-нибудь пятак завалится за поленницу, бросивший кричит из окна, показывает, мы носимся — кто скорей найдет. Двор был сложным организмом со своими странностями и правилами. Двор имел своих лидеров, свои компании. У нас главой была дворничиха Шура с сыном Степой, дочерью Аськой и множеством быстро сменяющихся мужей.

Во дворе была огромная, с чугунной крышкой на блоках, помойка. Она находилась в темной нише, там бегали крысы, рылись старьевщики. Я теперь плохо представляю себе, каким образом в ней умещались все отходы огромного дома, когда и как успевали ее опоражживать.

Мужчины ходили в желтых кожаных крагах, в калошах, а женщины в фетровых высоких ботиках или тоже в калошах с каблуками. Появились макинтоши. Все больше было велосипедистов. По улице ездили конные милиционеры в белых гимнастерках, а зимой — в шинелях с башлыками. Ездили похоронные дроги, белые, но были и черные, с резными колоннами, высокими колесами. Существовали керосиновые лавки, мы ходили туда с бидонами и брали отдельно в бутылочку бензин для разжигания примусов или денатурат.

Всю еду готовили главным образом на примусах. Плиту топили редко. На кухнях гудели примуса по три, четыре сразу. Примуса составили целую эпоху городского быта, это была целая отрасль, система, стиль.

Примуса взрывались, возникали пожары. Примус требовал наблюдения, чистки, была сеть мастерских по ремонту примусов. Были еще тихие керосинки, были духовые утюги, доживали самовары, их растапливали на черном ходу. Были угары от печей, от угаров спасались нашатырным спиртом. Вся эта бытовая техника ныне вспоминается с жалостью. Как трудно, мучительно приходилось нашим матерям, сколько сил требовалось, чтобы сготовить, истопить, постирать, выгладить!

Сколько разных предметов исчезло из нашей жизни! Одни разом, другие постепенно, вроде крынок, горшков

и прочих гончарных изделий. Не стало щипцов для завивки, стеклянных чернильниц, мужчин-почтальонов, вставочек, жестяных вывесок на магазинах. Перестали продавать землянику. Ее, первую летнюю ягоду, продавали стаканчиками на улицах, потом только на рынках, потом она вообще как-то исчезла.

Лошадям подвязывали к морде торбу с овсом, лошадь стояла и хрупала, время от времени встряхивая этой холщовой торбой.

Долго еще частными оставались на нашей улице парикмахерские — «Поль», «Борис», в одной из них красовался большой, раскрашенный фотопортрет Евы Бандровской-Турской, польской певицы, которая приезжала к нам на гастроли.

Появились торгсины. Это уже было на Литейном. Там был центр по сравнению с нашей улицей. Там царили букинисты и продавались коллекционные марки, там было кино, там ходила другая публика: студенты, инженеры, на некоторых еще были форменные фуражки с молоточками, там шли с портфелями, папками, там гоняли нищих.

По Литейному шли демонстрации, вывешивали флаги: на 21 января с черной каймой, на 18 марта, 7 ноября, 1 Мая — красные. В витринах выставляли портреты вождей, обвитые шелком и цветами. Карикатуры на империалистов. Над воротами вешали знаки Осоавиахима с пропеллером, знаки МОПРа, срывая старые жестянки страховых компаний.

Все эти приметы прошлого сейчас видятся куда лучше примет нынешней жизни, тоже ведь интереснейших и неповторимых. Мы их не замечаем, вернее, не обращаем на них внимания как на само собою разумеющееся, а ведь они тоже временны, и сроки их кратки.

ХIII

Митя Карамазов, схватив медный пестик, мчится к отцу, но, вместо того чтобы бежать напрямую, делает петлю:

«Он обежал большим крюком, через переулок, дом Федора Павловича, пробежал Дмитриевскую улицу, пробежал потом мостик и прямо попал в уединенный переулок на задах, пустой и необитаемый, отгороженный с одной стороны плетнем соседского огорода, а с дру-

гой — крепким высоким забором, обходившим кругом сада Федора Павловича».

Нам все равно, какую улицу пробежал Митя — Дмитриевскую или Петровскую, были ли эти улицы в Старой Руссе или автор придумал их. Вроде бы для нас ничего это не меняет. А вот для Достоевского, значит, нужда была, и настоятельная, в таком точном соответствии. Специально выбирал улицы, размещал, расставлял своих героев как режиссер, чтобы наглядно увидеть, как это было. Или же знакомые улицы, места бессознательно подвертывались ему в ходе повествования?..

Про «Преступление и наказание» я уже пробовал высказать, для чего понадобилась Достоевскому такая метода. И здесь, в Старой Руссе, про «Братьев Карамазовых» ничего нового я не придумал. Был, видимо, во всем этом реализм в высшем смысле, какой имеет в виду Достоевский, говоря о своей работе. Подлинность места действия, может, освобождала фантазию писателя, может, придавала ей опору действительной жизни. Как бы там ни было, топографическая точность описаний, пусть неведомая читателю, существует как подводная часть айсберга.

Мы шли мимо темных домов, чувствовалось, что они жилые, населенные. Тепло спящих людей каким-то образом доходило к нам. Так и у Достоевского — конкретность Старой Руссы действует на наше читательское сознание, вернее, подсознание.

Настоятельная потребность определенности окружающей обстановки, ее точности, жесткой привязки, то есть однозначности, сочетается у Достоевского как ни у кого другого с многозначностью поступков, характеров, идей его героев.

В каждом серьезном исследовании романы Достоевского понимаются по-своему. Существует немало толкований легенды о великом инквизиторе, и ни одно из них не стало исчерпывающим. Разно трактуют поведение каждого из братьев Карамазовых, образы Ивана, и Мити, и Смердякова, причины убийства Федора Павловича, самоубийство Смердякова, идею Алеши, его религиозность.

Действия героев часто необъяснимы, вызывают множество вопросов. Мы догадываемся, что толкает их на те или иные поступки, и в то же время не можем до конца быть уверены, что все обстоит именно так. Хотя,

казалось бы, сами герои предлагают нам объяснения правдоподобные, искренние, и все же мы им не всегда верим. В чем же тут дело? Откуда исходит эта поразительная, может, единственная в литературе множественность пониманий, этот постоянно ускользающий от нас смысл, эта загадочность авторского замысла, который многие годы еще будет открываться и открываться новыми своими сторонами? Знал ли сам Достоевский тайну своих героев? А что, как он, создатель, и сам не знал этой тайны? «Человек — это тайна», — неоднократно писал он и относился к человеку как к существу, которое нельзя измерить разумом и логикой, разложить на составные элементы. Он рассматривал своих героев отстраненно, пытался объяснить их поведение, анализировал, предлагал те или иные версии, пытался угадать мотивы, причины. Иногда ему удавалось подойти к истине, иногда и не получалось. Сами герои не могли помочь ему. Собственные их объяснения не сходились с их действиями, как это бывает у живых людей, даже мысли их не отражали до конца внутренних побуждений, того подсознательного, в чем человек не признается и себе. Но разве мы всегда способны уяснить неожиданные внутренние толчки, смены своих настроений? Человек и для себя бывает тайной.

Иван Карамазов во время разговора со Смердяковым поступает все время вопреки своим намерениям:

«...«Прочь, негодяй, какая я тебе компания, дурак!» — полетело было с языка его, но, к величайшему удивлению его, слетело с языка совсем другое:

— Что батюшка, спит или проснулся? — тихо и смиренно проговорил он, себе самому неожиданно, и вдруг, тоже совсем неожиданно, сел на скамейку».

«Припоминая потом, долго спустя, эту ночь, Иван Федорович с особенным отвращением вспоминал, как он вдруг, бывало, вставал с дивана и тихонько, как бы страшно боясь, чтобы не подглядели за ним, отворял двери, выходил на лестницу и слушал вниз, в нижние комнаты, как шевелился и похаживал там внизу Федор Павлович, слушал — подолгу, минут по пяти со странным каким-то любопытством, затаив дух, и с биением сердца, а для чего он все это проделывал, для чего слушал — конечно, и сам не знал».

Любопытно тут словечко «конечно». В том-то и дело, что на каждом шагу его герои ведут себя непред-

виденно, противоречиво. Собственное «я» для них непостижимо и чужое «я» также, хотя его-то они пытаются все время объяснить. И только автор, даже не автор, а тот неуловимый рассказчик, который ведет повествование в «Братьях Карамазовых», позволяет признаться себе в непостижимости иных моментов жизни героев. Вот, например, про внезапный уход Алеши из монастыря: «Тем не менее признаюсь откровенно, что самому мне очень было бы трудно теперь передать ясно точный смысл этой странной и неопределенной минуты в жизни столь излюбленного мною и столь еще юного героя моего рассказа».

Кто это говорит? Чьи это слова? Автор? Нет, автор не может так признаваться в своей беспомощности, это выглядело бы позой, претензией, похвальбой, а вот рассказчик, некое третье лицо, он может, через него-то автор как бы получает право показать непроницаемость чужого «я». Из романа в какой-то мере удаляется всезнающий наблюдатель, божественная персона автора, которому известны и мысли, и мотивы, и все связи между движениями души и тела героев, и все вихри, проходящие сквозь их сердца. Рассказчик освобождает автора, снимает с него ответственность, позволяет отойти в сторонку и увидеть этот мир с какого-то иного поворота.

XIV

Густая темная теплынь несла нас от фонаря к фонарю, мимо шумных компаний с гитарами, мимо безмолвных парочек и одиноких пьяных.

Старая Русса времен Достоевского, погруженная в провинциальную спячку, — город малограмотных мещан, имевших мало общего с теми людьми сложных и высоких страстей, каких изображал Достоевский. Город был для него местом действия, а не обителью его прототипов. Они не жители Старой Руссы прошлого века, лишенной умственной жизни, они во многом условны и говорят иначе, языком часто возвышенным, по своему развитию, образованию они выше современных им обитателей города. Взять хотя бы мальчишко-школьников, того же Колю Красоткина. Да автору и не нужно такое соответствие, у него иные задачи. Но об

этом достаточно написано специалистами, хотя бы М. М. Бахтиным.

О его блестящих исследованиях и говорил мне сейчас Георгий Иванович, выводя из них с запалом и категоричностью превосходство Достоевского над всеми писателями мира, разве только с Данте и Гомером сопоставлял его гений. Среди самых верных поклонников Достоевского я не встречал более восторженного и деятельного. В своей любви к Достоевскому он как бы обезличивал себя, не оставляя времени даже для публикации своих скромных работ, никак и ничем не утверждая себя, а все только своего Федора Михайловича, имея в виду только интересы его памяти, его славы, его мемориала.

Он занялся этим музеем, вроде бы воплощая свою мечту, проверяя себя как личность, и в этом, как и многие страстные натуры, дошел до отказа от себя, полностью растворяя себя в служении своему кумиру. Как это сочеталось в нем? Откуда он черпал свой пылающий энтузиазм и чем поддерживал его? В его воспаленной отзывчивости временами появлялась сверхчувствительность. Как будто он воспринимал неслышные обычному уху частоты. Я знал его давно, но только сейчас начал ощущать, сколько в нем непонятого. Так же как и в Андриане Савельеве, неустанном философе, который успел осмыслить все, кроме собственной жизни. Его ум не помогал ему, его размышлениям всегда что-то мешало превратиться в убеждения. Философия расплавляла его характер. Этим летом он отдал свой садовый домик малоизвестной женщине с больным ребенком, а сыну своему пожалел дать лодку на отпуск. Он каждым поступком противоречил себе, делал как бы себе наперекор. Я знал его и не понимал его. Да что Андриан — дочь моя, которая выросла у меня на глазах, у которой я знал каждую родинку, разве я знал, почему она сменила свои увлечения? Она была мне непонятнее, может, всех других людей. Я огляделся и обнаружил, что самые близкие мне люди часто таинственны в своих действиях и я не понимаю, что ими движет. Слово это «черные ящики»; я знаю только, что они говорят, что делают, но не знаю почему. А я сам для себя разве не бываю тоже «черным ящиком»? Почему, например, таким важным показался мне этот мемориал?

Город выделил целый район с набережной до Первомайского моста и несколькими улицами вокруг дома Достоевского, там все будет оставлено как есть. Восстановят старые фонари, тумбы. Никаких новшеств не будет. Даже бетонные столбы, какими хотели укрепить откосы набережной, и те решили заменить деревянными. Прошлое получит свою жилплощадь.

Почему меня вдруг так утешил этот мемориал, где все равно подлинного будет немного? При чему тут были мои Кислицы? Какое возмещение мне тут почувчалось? Ведь и связей никаких прямых не было, а отчего-то тоска и злость утихли.

У моста, в «Голубом Дунае», пиво кончилось, мужчины допивали дрянное «плодово-ягодное» — «бормотуху». Седой, хорошо выбритый мужчина с отвислыми щеками жадно посмотрел на меня. Он томился без собеседника. Он был из тех, кто любил пить под беседу.

— За ваше здоровье, — поднял он стакан. — Извиняюсь, вы, видно, приезжий? Насчет Достоевского? Раз вы с Георгием Ивановичем тут прощались, значит, не иначе как Достоевский. Я ведь живу поблизости от музея, у нас домик, вот мы и попали в мемориал. Гараж железный собирался ставить. Запрещают. Георгий Иванович. Мол, гараж нарушает картину. Асфальтировать улицу тоже не дают. Ровно крепостные мы... у этого писателя. Вы не подумайте, что жалуясь. Я человек грамотный. У меня сын майор. Я вот, извините, конечно, хочу вас спросить. Вы не подумайте, я к вам с полной симпатией. Это бывает, один человек не понравится, другой наоборот. Незнакомые, а откуда-то возникает. Если никаких данных нет, то откуда — это тоже вопрос. Но я не про это. Прочел я в целом роман «Братья Карамазовы». С точки зрения культурно-исторических ценностей города, поскольку тут живем, на месте происхождения, экскурсии мимо ходят, специально люди приезжают. Весь отпуск читал. В целом заверчено умно, выходит, все виноваты, все способствовали убийству отца. Чувствуете? Я, как отец, очень понимаю. Но это ладно, это, умеючи, можно, а вы другое скажите: вот черт Ивану говорит, что если в пространство подальше запустить топор, то он примется летать вокруг Земли в виде спутника. Так и написано: в виде спутника. Сто лет назад. Это я точно посмотрел дату. Какие, спрашивается, спутники были тогда? Откуда он это взял? И ведь обратите

внимание — запустить топор! Символ-то какой выбрал! Вы мне сошлетесь, что это черт говорит, мол, чертовщина, сказки. Но ведь черт тоже что-то обозначает. Я же понимаю. Нет, вы окиньте мыслью — появится спутник! Вы, извиняюсь, это место помните? Вот как вы можете это объяснить? Разве допустимо представить такое точное предсказание?

Он спрашивал громко, так что все смотрели на нас; торжествуя, он напирал на меня с какой-то неподвижностью во взгляде, как бы застряв на этой мысли и приходя во все большее возбуждение.

— Я все проверил, мало ли, думаю, подновили, взял нарочно издание, напечатанное еще до революции. Совпадает. Буква в букву. Как вы расцениваете? Вот я вас спрашиваю, каким образом ему стало известно про космические достижения? Ведь что же тогда получается? Может, ему еще что-нибудь известно?

— Конечно.

— То есть как это?

— Ничего удивительного, — сказал я. — Английский писатель Свифт написал про спутники Марса, а их открыли через сто пятьдесят лет. Это среди хороших писателей принято.

— Да что вы говорите! Что принято? — почти закричал он и с лязгом распустил «молнию» своей нейлоновой куртки. — Ведь это никто не разрешит. Это нарушение всех научных законов. Вы объясните.

— Пожалуйста. — Я наклонился к нему и сказал тихо: — Достоевский был заброшен к нам из будущего, из двухтысячного года.

Глаза его округлились, рот приоткрылся, отвислые щеки втянулись, порозовели, и я вдруг увидел мальчика с ворохом желтых волос, щербатым ртом, увидел Петьку-хромого, нашего коновода в Кислицах.

— Нет, дорогой товарищ, уж раз вы начали, вы нам растолкуйте: что значит заброшен, с какой целью заброшен? Такими вещами не шутят.

— Машина времени, — сказал я. — Слыхали? Уэллс, Жюль Верн про Луну предсказали. Пушкин — «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа». Откуда он знал? Писатели и поэты откуда-то знают, у них есть какая-то связь с будущим. Простите, не знаю вашего имени-отчества.

— Петр Сергеевич.

— Вы, Петр Сергеевич, совершенно справедливо заметили, что Достоевскому, вероятно, еще кое-что известно. Беда наша, что обнаружить это в его книгах мы пока не в состоянии. Не видим мы еще, не дожили...

Заглянув мне в глаза, он тоненько рассмеялся, опрокинул в рот остатки вина, сморщился.

— Предвидение у выдающихся классиков бывает. Но в пределах! Разве же такое расхождение с наукой разрешат? От этого в физике может расстройство получиться. Напрасно вы поддерживаете, с такими фактами далеко можно зайти, ой далеко. Я лично полагаю, что специалисты должны изучить это явление. Так оставлять нельзя. — Он ударил стаканом о прилавок, вот так-то, мол, и что-то еще сказал, но я не слышал, я разглядывал его со всех сторон. — Вы человек образованный, верно? Вот вы и навели бы специалистов изучить это явление. Потому что так оставлять нельзя.

Прихрамывая, он отправился к продавцу наполнить стакан. Вернулся он со стаканом и круглым маленьким узколицым человеком, похожим на ежа, назвавшимся Сашей Дмитриевым. Пиджак на нем был с толстыми ватными плечами, короткий, давно вышедший из моды, однако неношенный, из синего бостона, прочнейшего материала.

— Хочу вас спросить, — без предисловий обратился ко мне этот еж, — будут у нас со временем памятник Достоевскому ставить?

— Возможно.

— Так. А тогда следующий вопрос: за что? В чем его заслуга? Он ведь что хотел, то и писал. Что ему, так сказать, муза диктовала.

— Не хотите, так и не ставьте, — уклонился я.

— Вот говорят, прославил наш город, а нам что с этого? Я понимаю — полководец Суворов или, например, Жуков. Отечество спасали. А ставят все больше писателям, художникам. За какие заслуги? Они ж в свое удовольствие работали. — Он вежливо подождал, не возражу ли я, затем победно продолжал: — Вы спросите, что же я предлагаю? А например, увековечить Василия Ивановича, который набережную благоустроил. Или, например, был у нас главврач, добился, чтобы больницу расширили. Инфаркт на этом схлопотал. Вот ему бюст и надо ставить. А если Достоевскому, так ведь это мы себя прославляем, а не его.

Он пыхтел совсем как еж, я вспомнил, как мы ловили их. За омутом, по дороге к заболотью, жили целые селения ежей.

Я спросил Петра Сергеевича, жил ли он до войны в Кислицах. Оказалось, жил.

— Значит, вы лесников сын? — сказал он недоверчиво. Отца он помнил, а меня не признавал.

— Как же так, Петька? — спросил я. Он был у нас старший, был строг, отчаян, учил нас ложиться под поезд. Обидно было, что меня он начисто забыл.

— Это что, у вас стекло зажигательное было? — спросил он.

— Нет, это у Шурки Конюхова.

— А у тебя чего было?

Я пожал плечами:

— Ничего.

— Вот видишь, — сказал он.

Шурка был сын садовника. Зажигательным стеклом мы на всех стенах выжигали похабщину. А у меня ничего не было, и запомнить меня было трудно.

— У вас там свои есть? — спросил он, так и не взяв в толк, зачем это я ездил в Кислицы. Он слушал меня с подозрением.

— А как мы под поезд ложились, — тормозил я его.

— Ну и что? — насторожился он. Глупую ту игру вспомнил он неохотно: — Безобразничали, потому что присмотру не было.

Про омут он ничего сказать не мог, в Кислицах он после войны не был ни разу. А чего туда ездить, все свои переселились, кто в Новгород, кто в Питер, а больше сюда, в Руссу. Кто в Кислицы вернулся, те к пятидесятым годам растеклись, разбежались.

— Чего я там не видел, — сказал Петр Сергеевич неприязненно.

— Все-таки родные места.

— Кому родные, а кому постылые. Я оттуда еле вырвался. Сколько водки спойл, пока упросил. Лучшие годы там ухлопал. Кем? Бондарем. В городе я бы за это время ого... У меня ко всем наукам способности были. Да чего там говорить! — Он с отвращением посмотрел на чернильную жидкость в стакане.

— Брось ты, Петя, память надрывать, — сказал Дмитриев. — Им не понять. У них другое назначение. А нам, как поется, прошлого не жаль. Да и чего тебе жаловаться, дом у тебя дай боже, должность завидная.

— Должность... Она разве по человеку дается? А что́ я без должности? Есть у меня своя пружина или нет — вот в чем проблема! Куда я направлен, я и сам не знаю. Чего я хочу? Мы здесь живем — ни город, ни деревня. В городе все нацелено на подъем личности. А у нас тут сад и куры...

Он говорил рассудительно, так же, как говорил о Достоевском, до чего-то допытываясь и куда-то выводя свою мысль. Никак не докопаться в нем было до того Петьки-хромого.

— Все же странно, — протянул я.

— Что странно?

— Многое. Например, что под поездом лежали.

— Не понимаю, чего тут такого. Хулиганство. Вспоминать совестно.

Я улыбнулся ему, но он никак не принял этой улыбки.

Затаясь, мы лежали в траве недалеко от семафора. Маневровый паровозик толкал состав, сортируя платформы. Подкатывался хвостовой вагон тамбуром вперед, и тут надо было выскочить на пути, залечь между рельсами. Медленно, громыхая сцепкой, вагоны прокатывались над головой. Самое страшное было, когда наезжал паровоз. Издали обдавало дымным жаром. Запахи масла, горячего железа, угля — все это охватывало, вжимало в землю, в липкие, пропитанные дегтем, креозотом шпалы.

Машинисты ругались, грозили высыпать горящий шлак из топки.

— Между прочим, и Коля Красоткин ложился под поезд, — сказал я, — помните, наверное, раз вы «Братьев Карамазовых» читали?

— Красоткин? Николай? — Он выпил и, морщась, подождал, прислушиваясь к себе. Лиловый туман заволок его взгляд. — Гимназист? А как же, его на «вы» называли. Их всех, мальчишек, на «вы» называли, уважение оказывали. А меня, между прочим, начальство тыкает до сих пор.

Дмитриев расхохотался.

— Это тебе расположение выказывают. Или уважение, или расположение. Выбирай. Я лично считаю, что тебе расположение выгоднее.

— Ты мою выгоду не подсчитывай. Уважение, оно от моих трудов, а не от ихних настроений. Оно положено. Оно на твоих хаханьках да анекдотах не вырастет. Человек первым делом должен себя уважать. К себе на «вы» обращаться. Тогда все и остальное... Ты погоди, я про этого Красоткина хочу.— Он пробивался ко мне сквозь туман.— Значит, он тоже под поезд? Как же так?.. А ведь точно, на спор лег. Вспоминаю. Лег этот Красоткин. Это же полное соответствие нашим безобразиям. Аттракцион. Каким образом такая стыковка получается? — Взгляд его, и лицо, и вся фигура застыли.— Сошлось, да?

Сошлось, да не совсем. По-видимому, такая игра в наших местах тянулась давно и дотянулась до нашего детства. Может, и на других полустанках и разъездах этой дороги играли в ту же игру, не знаю, но у нас точно, и любопытно, что первую заметку о новом романе Достоевский начинает так: «Узнать, можно ли пролежать между рельсами под вагоном, когда он пройдет во весь карьер». Слышал он об этом озорстве, будучи в Старой Руссе или в других местах? Линия железной дороги была та же самая.

Туман в глазах Петра Сергеевича загорелся тихим сиреневым огнем.

— Если Достоевский про спутники знал, так он и про наше ребячество мог, это ему семечки. А что, если он про нас написал? — Сказав это, Петр Сергеевич сам застыл на какое-то мгновение, округлив рот.— Нас имел в виду? Указывал? Николай Красоткин и есть Петр Хохряков. Понимаете, какая тут мертвая петля, а?

— Во дает! — с восторгом болельщика подхватил Дмитриев.— Куда завернул! В экспонаты! К нему экскурсантов водить будут. Красоткин!

Но Петр Сергеевич досадливо отмахнулся, спеша за своей новой идеей, она волновала его все сильнее, щербатый рот его дышал винно и жарко.

— Может, и я... А что, ведь как складывается — одно к одному. То-то я эту книгу угрыз! Чувствовал! А между прочим, на этого Красоткина большие надежды возлагал сам Алеша Карамазов. Он хоть и религиозный, но для того времени передовой человек. О чем свидетельствует, что он от этого Красоткина и его товарищей потребовал торжественное обещание. И не просто так, дисциплинка и отметки. Совсем другой

подход. Вы, извиняюсь, как специалист, конечно, помните.

— Призывал их к доброте.

— Далеко не конкретно,— торжественно сказал он.— Разрешите, я вам наизусть передам.— Он скромно поднял глаза к низкому дощатому потолку с голой лампочкой и заговорил нараспев: — «Всегда помните эту минуту, когда были такими чистыми, добрыми, любящими». Вот он к чему призывал ребятишек.— Петр Сергеевич притянул меня за плечо, наклонился.— Помните! Так? Вы думаете, помнили они?

— Не знаю,— сказал я.

— Позабыли! Я-то не помню. Как же так? Почему? Из ранней своей жизни я мало чего помню. То есть помню, но не вспоминаю. Не желаю. Должен был бы согласно Достоевскому. У меня ведь тоже была такая минута. Обязательно. Каждый в детские годы имел... Почему ж я не помню такого момента? — настойчиво допытывался он и вдруг замер, задумавшись.

— Головы наши заняты. Текучка. План,— бормотал Дмитриев.— Все через сознательность происходит.

Петр же Сергеевич молчал, прикрыв глаза, и глубокие морщины вокруг его рта стали еще жестче.

Я ждал. Что-то затронул он во мне своими словами, но ухватить неоконченную мысль я никак не мог. В последнюю минуту она выскальзывала, кружила, беря своей близостью.

Дмитриев что-то шептал ему. Петр Сергеевич лениво засмеялся, стал отходить от него, подмигивая не то мне, не то кому-то за моей спиной.

— Чего там отмечать... Какой из него мальчик! Да и ты... Все вы ничего не помните.

Потом слышно было, как он там, у прилавка, похохатывая, сообщал:

— Про меня, оказывается, это написано. Достоевский описал, как я под поезд ложился! — Чувствовалось, что он ерничает.

Сходство того Петьки с Петром Сергеевичем исчезло. Да и не хотелось их совмещать. А может, и мне нынешнему тоже лучше существовать отдельно от моего детства, юности, от военной моей жизни? Все это были словно бы другие люди, которые жили когда-то, и только узкие шаткие мостки памяти соединяли их.

Я-то думал, что мы обнимемся, станем припоминать всякую милую всячину: как ловили уклею,

какой вкусный хлеб был и что лес стал не тот и снег не тот.

Маленький округлый Дмитриев подкатился ко мне, примиряюще взял под руку, разъяснил ситуацию. Нескладуха происходит оттого, что нечем отметить встречу, купить сейчас негде, вот Петя и злится. Пригласить к себе домой и не поставить как следует невозможно (о том, чтобы просто на чай пригласить, такое, конечно, в голову не приходило, и заикаться об этом было неприлично). Один шанс есть — попросить у буфетчицы бутылку белого. Но отношения тут сложные, им просить бесполезно, а вот мне, человеку приезжему, культурному, если под встречу с друзьями детства, она отпустит, ну, придется отблагодарить, как положено.

Так все и произошло, механизм сработал безупречно, разве что буфетчица несколько странно посмотрела на меня, не то с любопытством, не то со смешком.

Они нагнали меня на площади, сияющие, веселые. План у них был разработан, словно ритуал. Распить без отсрочки, в саду, и скамейка была определенная, в кустах, и тут же появилась, словно скатерть-самобранка, газетка, на ней луковичка, сморщенный огурчик и стаканчик бумажный.

— Бормотуха и есть бормотуха, — приговаривал Дмитриев. — Бормочешь от нее что ни попадя. Нет от нее полета. Вот белое — оно ум возбуждает. А еще лучше сухое. Я у грузин на стройке привык, расчухал. Виноградность, если в нее впиться, она веселит. Я думаю, что в старину русская медовуха тоже вверх по течению поднимала.

Восседая на скамейке, они оба преобразились. Стоило им сесть — и в них открылось домовитое веселье, появилась застольная учтивость.

— Вот ты считал, Петя, что вспомнить нечего, — мягко, со вкусом говорил Дмитриев. — А у меня, например, четыре почетных грамоты. Значок есть заслуженного строителя. Напоминание? Это тебе не полька-бабочка.

— Не уловил ты. — Петр Сергеевич вздохнул, покачал головой. — Как бы это выразить. Внутри, пока не говорю, все понятно, а передать — слов нет. — Он снял шляпу, обмахнулся ею. — Грамоту дают, понимаешь, за работу. Отмечают нас за хорошую работу. Это же другое дело. — Лицо его сморщилось, покраснело от напряжения. — Вот если бы мне отметили что-то такое... — Он

рукой изобразил нечто облачное. — Душевное достижение! Допустим, у меня была такая минута. Найди ее теперь — была и сплыла, сбилась с памяти начисто. То есть я хочу выяснить — почему?

— Законно. Давай копай.

— А потому что никто мне не ответил! — В голосе его пропал хмель, он возвысился, чистый и звонкий. — Не надо мне награды. Мне показали бы, чтобы я глаза на эту минуту свою протер. Увидел бы ее. Чтобы ее в рамочку выделили, я бы ее повесил перед собою.

Мысль его была та самая, какую я искал.

— Точно! — Я даже взмахнул кулаком. — Абсолютно точно. Именно подчеркнуть необходимо в детстве, фиксировать.

Дмитриев был счастлив.

— Хорошо сидим! Петр Хохряков у нас талант! Будь у него время, он бы и книги писал не хуже лауреатов.

— А мне что в рамку выделяли? — не отвлекаясь, продолжал Петр Сергеевич. — Страхи! Вот помню, как тетку судили за опоздание. Как за драку на празднике наших парней забрали. Мне родители одну сторону подчеркивали — того нельзя, это плохо, за это ремнем. И в школе тоже. Хоть бы разочек кто поднял, показал — вот какую ты доброту совершил.

— Согласен. Душе тоже поощрения и грамоты нужны, — с грустью и в то же время с восхищением согласился Дмитриев. — От ласки человек не портится.

Но Петр Сергеевич сморщился, замотал головой.

— Опять ты, Сашка, вбок отклоняешься. Не прошу я благодарностей. Ты мне в детстве покажи, что запомнить в себе самом. Не чужого мальчонку ставь в пример, а меня самого, понимаешь? А нас... да что нас, мы своих детей все так же страхом воспитываем.

Мы пили по очереди из бумажного стаканчика, загнули лучком, и трезвая отцовская печаль соединяла нас. Дмитриев пытался вспомнить что-либо выдающееся из своего детства. И все получалось либо драка, либо озорство.

— Отцы, — сказал я прочувствованно, — вот мы отцы, так? А в то же время мы сыновья. Сейчас у нас тот возраст наступает, когда оба эти чувства одинаково сильны... Но не в этом суть, — сказал я, чуть запутавшись. — Отцы наши мечтали про нас. И вот, допустим, твой отец увидел бы тебя сейчас. — Я повернулся

к Дмитриеву. — Как бы он оценил тебя? Таким он хотел тебя видеть?

Острое лицо Дмитриева заиграло было ухмылочкой и тут же помрачнело.

— Подумаешь, — сказал он и сплюнул. — Не в дипломе дело... Слушай, брось ты мораль наводить, — беззлобно отклонил он разговор. — У детей своя жизнь, у нас, например, своя.

— Между прочим, никакого это касательства к нашему разговору не имеет, — строго поддержал его Петр Сергеевич.

Почувствовав что-то или из упрямства, я заладил свое:

— Весьма даже имеет. Мы со своих детей спрашиваем, и отцы с нас могут... Взять, к примеру, твоего отца.

Но тут щербатый рот Петра Сергеевича оскалился, глаза неприятно похолодели.

— А вы не берите его, вы своим папашей занимайтесь... — Пе-еть! — предостерегающе сказал Дмитриев.

— Надоело! Чуть что — за отца хватаются. Надоели мне эти проверщики вот как!.. Я ответил сполна, на все анкеты, так нет... — Непонятная злость рвалась из него, кривила лицо. — С отца за сына так спросу нет, а вот сын за отца — это пожалуйста, сколько угодно. Нет уж, хватит...

Он передохнул. Дмитриев тотчас подсунул ему стаканчик, белое колечко луковицы, и Петр Сергеевич, по лошадиному мотнув головой, выпил и с усилием, не сразу, раздвинул губы в улыбочке:

— А вообще-то, фактически говоря, папаша был бы доволен. Он не рассчитывал... — Петр Сергеевич усмехнулся, и улыбочка его очистилась, стала как бы естественной. — Советская власть, если так считать, по-божески ко мне отнеслась. Со всей заботой. А действительно: мне зерно доверяли распределять по трем районам. Дочь у меня как-никак историю партии преподает. Это заработать надо. Конечно, всякое было. Сейчас больше по справедливости пошло. Незаметно, незаметно, а если по годам сравнить, так справедливость прибывает. И это тоже вопрос. Справедливости больше, а людишки худо работают. Каждый свои права изучает. Взять дисциплину...

В речи Алеши Карамазова были слова, на которые я раньше внимания не обращал, а теперь, после слов Петра Сергеевича, задумался над ними:

«Знайте же, что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома. Вам много говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть».

Он призывает мальчиков помнить вот эту минуту, когда они соединились в любви к Илюше, когда чувствовали себя хорошими. Потому что это воспоминание всегда будет помогать им, как бы жизнь не ожесточила, ни озлобила их. Алеша Карамазов считает, что одно такое воспоминание может удержать человека от дурного.

При этом Алеша ничего не требует, ничего не проповедует, значит, и спорить в этом смысле с ним не о чем, высмеивать его уверенность — сколько угодно, занятие соблазнительное для некоторых умов и легкое, поскольку Алеша пользуется тут выражениями беззащитно-высокими, торжественными, умиленными, все так, но совершает он при всем при этом великое с точки зрения педагогики дело — он душевную, возвышенную эту минуту н а з ы в а е т, очерчивает, выделяет, закрепляет в памяти, превращает для мальчиков в воспоминание. И не просто в воспоминание о чем-то приятном, а в нравственно сформулированное, определенное напоминание: вот каким ты был прекрасным...

— Не наворачиваешь ли ты тут? — Андриан подмигнул мне.— Совершил когда-то хорошее, похвалили тебя, с тех пор и тешишь себя: ах какой я был замечательный! И на этом основании все себе прощаешь.

Нет, не могло такое доброе воспоминание идти во вред, лучше было иметь его, чем перебирать в своем прошлом лишь запреты, стыд, раскаяние. То счастье и удовлетворение собой, о котором говорил Достоевский, оно обязывает душу. Оно возбуждает ощущение счастья от хорошего поступка во имя людей или отдельного человека, и это ощущение хочется повторить, оно придает силы, наполняет смыслом жизнь и именно о б я з ы в а е т д у ш у.

Для меня, человека несведущего в педагогике, это было открытием. И я стал проверять его, прикладывая к своей жизни и к жизни близких людей.

...Оказалось, что Андриан Савельич знал Петра Сергеевича. В маленьком районном городке все так или иначе знают друг друга. По словам Андриана, эти Хохряков с Дмитриевым «выставили меня на пол-литра» — и вся игра. Дмитриев просто ханурик, а Хохряков хоть и «делаш» и трепач, но человек занятный, с фантазиями и зигзагами. Я спросил про его отца. Андриан вспомнил не сразу, но вспомнил, поскольку когда-то работал следователем, а Хохряков привлекался по одному делу.

— Подробности я позабыл, но существо в том, что отца Хохрякова выслали по кулацкой линии, а он с эшелона сбежал, в лесу прятался. Потом ночью пришел к своим, стал уговаривать, чтобы сын, Петька, значит, сообщил на него. Петьке дороги откроются. Будущее ему обеспечивал. Все равно, решил он, к зиме объявляться надо. Однако мать не позволила, сказала: не дам душу ребенка портить. Хохряков меня донимал насчет души, вот, значит, она в чести осталась, оправдано ли это и есть ли душа, если человек не признает ее?.. Погоди, так это ведь в твоих Кислицах было?

Но я ничего про это не знал. Может, это даже при мне было, таким же августом, ночью, в соседнем доме.

— Возились потом мы с ним, когда весной музыкальную школу затопило, — вспоминал Андриан. — Это он с ребятами самочинно унес инструменты и пианино к себе в контору, заставил всем этим кабинет начальника...

Я тонул. На берегу стоял отец, сухонький, жилистый, белотелый, и смеялся. Он уговаривал меня вместе прыгнуть с обрыва, а потом поднял меня и швырнул в омут. Я не ожидал такого предательства, я кричал, захлебывался, колотил руками, ногами и плакал. Обида и злость ошпарили меня.

Страх прочно отпечатал омут в моей памяти. Закрыв глаза, я могу рассматривать его. По нынешней, взрослой мерке обрыв невысок, это травянистый уступ, крутость, подмытая снизу, скрепленная корнями полегшей ивы. Сам омут тоже шириной три-четыре хороших гребка, река отдыхала в этой размоине, берега тут чуть

расступились, особенно другой берег, низкий, глинистый.

Какой это был красивый округлый омут, в котором я тонул.

С конца июля, в межень, посреди омута возникали водовороты, появлялась вороночка, маленькая безобидная вдавлинка, она чуть двигалась, играла, вода вокруг нее была туго натянута. Зимой место это замерзало последним, покрывалось почему-то особо прозрачным льдом. Получалось ледяное окошко. Мы заглядывали туда, в подледную темь. Солнечными днями туда подплывали рыбины, спины их тускло проблескивали за толщей льда. Крики и наши постукивания не пугали рыб, они толпились, поглядывая на нас, может, думая, что у нас лето. Около омута был пляжик, песчаный сход, который мелко тянулся под воду. На этой шершавой мелкоте отец меня учил плавать долго и без успеха. Сам он плавал хорошо — саженками, лягушкой, обгоняя молодых. Речка была узкая, плыли они против течения далеко, до мельничной запруды.

...Я тонул. Я чувствовал, что отец не двинется с места. Все на берегу смеялись, наверное, я был нелеп с выпученными от ужаса глазами, отчаянно бьющий руками по воде. Если бы я действительно тонул, меня сразу бы вытащили, поэтому-то мой ужас и был смешон. А я ничего не соображал, я ненавидел их всех и больше всего отца, и бил по воде, задыхаясь, теряя голос. И тут вдруг я почувствовал, что плыву. Ощущение это было незнакомо, но я понял, что не касаюсь дна. Я плыву, плыву! Вода не тянула меня в свою коричневую глубину, а держала, поддерживала меня снизу, как до этого широкая отцовская ладонь.

Тело осознало это раньше разума, плавучесть появилась как бы толчком, вошла раз и навсегда, я ощутил ее как новое свое умение, даже не умение, а качество, неотъемлемое, как способность ходить. Потом годами я учился плавать стильно, на время, изучал в бассейне разные тонкости, но плавучесть, она пришла тогда, плотное тело воды стало дружеским и больше не внушало страха.

Когда я вылез, отец подхватил меня, всхлипывающего, на руки, прижал и сказал: «Молодец, теперь поплывешь». Руки его дрожали, он продолжал смеяться. Я понял, что смеялся он не надо мною, а от радости, он раньше меня увидел, что я плыву. Если б не

это, не веснушчатые дрожащие его руки, то ненависть, гнев, отвращение к предательству остались бы во мне травмой, и как знать, что вырастает из детских ран.

«Ничем я тебе больше не могу помочь, сынок», — сказал он. На самом деле он сказал это через несколько лет по другому поводу, но почему-то потом все это слилось, соединилось в тот день.

С тех пор, заплывая далеко в море, даже в волну, я не боялся воды. Любовь к плаванию выручила меня в войну на Лужской переправе, когда пришлось всю ночь провести в воде. Могли ранить, убить, но утонуть я не мог. Что-то отцовское было для меня в воде, в самые трудные минуты вода напоминала об этом словно отцовским прикосновением.

И помнится все это прежде всего потому, что отец определил этот момент моей жизни.

Почему он в других случаях не делал этого? Никто не учит родителей, как «работать» родителями. Самая ответственная из всех работ, а делает кто как может, руководствуясь лишь опасными советами любви.

Я, как Петр Сергеевич, вспоминал и не мог вспомнить взрослых, которые остановили бы меня и сказали: запомни, вот как хорошо ты сделал, какой ты был добрый и честный.

То, что было на омуте, никак не причислишь к таким нравственным воспоминаниям. Нет тут проявления моей доброты, любви. Действие это было практическое, и отец учил меня чисто деловому, нужному для жизни, как учат все отцы.

Однако в этом воспоминании есть какое-то тепло, нужное для души. Возможно, оттого, что я сумел сам увидеть отцовскую любовь к себе, которую он никогда не высказывал вслух. А может, тут совсем другое...

С годами из чужих случайных рассказов я узнавал об отце самое разное. Он предстал не только работающим и добрым, но и беспутным и шальным. Оказывается, был он и картежником, азартно резался в карты, гулял; потом вдруг развелся с первой женой, оставил ей все, а сам поехал за девушкой, в которую влюбился, повенчался с ней и увез ее с собою в лесничество. Был он в летах, а мать моя была девчонка, а оставлял он налаженную семью с детьми, в те времена все это было куда как не просто. Подробностей этой предыстории теперь уже не раскопать, иногда из обрывков полузабытых рассказов я складываю картины, домысливая пер-

вые, медовые, месяцы их новой жизни. Мать — тоненькая горожанка, модница, певунья, и отец — на двадцать лет старше ее, кряжистый, медвежастый, какое-то лесничество под Кингисеппом, покинутая помещичья усадьба, где они обосновались, дальние лесные дачи, банды зеленых, пожары, напуганные буржуи, которых привозили на заготовки дров для Питера, сплошной лесоповал для железных дорог, митинги, неразбериха лесного хозяйства тех лет, когда одни требовали национализации, другие — отдать леса народу, то бишь местному населению, самовольные порубки, начальники уездные, питерские, комбедовские, армейские; и они двое — молодожены, влюбленные, то верхами, то на санях по пустынным дорогам, вскачь...

Это все до меня, в ту непостижимую пору, когда меня еще не было, диковинная пора, чудная, вроде бы совсем чужая мне...

Мы никогда не ведаем, от какой любви мы рождаемся, какие слова, надежды витали над нашим зачатием.

Одна старая акушерка говорила мне, что почти всегда можно отличить младенца, рожденного по любви, от младенца нежеланного или зачатого случайно. Если человечество до сих пор развивается, творит, становится все же умнее, милосерднее, то это лишь за счет детей, рожденных по любви. Их большинство. Любовь, прежде всего любовь улучшает человеческий род.

XVI

Если бы не река, то заречная часть города выглядела бы заброшенной, печальной пустошью. Река придавала смысл этому пейзажу, она вселяла в него жизнь.

Река лежала как украшение города, свободно и даже горделиво, словно сознавая, что ею-то и создавалась физиономия Руссы. Небо погасло, одна река не спала, малейшее движение, рыбий всплеск — на все она чутко отзывалась. От полированной ее глади шел свет, не сильный, но единственный, уходящий далеко в поля по всей вихлявой речной длине.

Перед мостом река изгибалась, лениво-чувственно обнимая город; в сущности, этим изгибом, этим скрещением притоков, впадений и определялось, наверное, местоположение города. Сколько раз дымилось здесь пепелище, появлялись руины. Сколько раз город мог

исчезнуть, как исчезали другие порушенные города, но река заставляла город возрождаться на этом единственном месте, обозначенном сплетением вод.

Мне всегда казалось, что именно река возвращает этот город, она играла с ним, ластилась к новым его набережным, а иногда вдруг злилась, затопляла его, разливалась по улицам.

Туловище реки уходило в глубины земли, связанные с подземными озерами, соляными источниками, слепые корни реки расходились далеко по всей округе.

Река мало менялась. Она надежно хранила воспоминание о том, как на самодельных плоскодонках мыплыли до Взвада. Река сберегала и берега, и цвет, и запахи. То желтая, то бурая, она ширилась, становилась теплой, легкой. Обрывистые берега были приятно безлюдны. Над одичалой некошеной травой носились ласточки, порхали огромные бабочки.

Взвад издавна был деревней рыбаков. Когда мы с отцом заезжали сюда, здесь было сытно, домовито, а ныне стало и вовсе богато. Я ходил по Взваду, сравнивал его с Кислицами. Что значит неродное — чужая эта новизна не вызывала особых размышлений. Так и положено было: строиться, богатеть, ставить каменные дома, крытые бетонно-серым шифером.

Мыплыли иплыли по реке до старой насыпи, до островов, до утиных гнездовий. Река была отдельной страной, со своим населением: бакенщиками, инспекторами рыбнадзора, рыбаками. Люди на реке узнавали друг друга издали. Они отличались неторопливостью. Речные люди были мыслителями, наблюдателями. Даже Евгений Калистратов, давний мой приятель, человек кипучий, быстрый, на реке мечтательно стихал, задумывался, его тянуло на лирику и историю.

Каждый вечер он гулял на набережной со своей знаменитой охотничьей собакой, и я впадал в их прогулку. От всех известных мне людей Калистратов отличался талантом восхищения. Чем больше он жил, тем больше ценил красоту окружающего мира — перелеты птиц, осенний листопад, какую-нибудь козьявку, песчаный откос, закаты, своих учеников, новую дорогу... Окна его дома выходили на реку, и он не уставал каждодневно восторгаться ею.

— Смотри, смотри, — призывал он, — только посмотри на эти лодки!

Лодки лежали на розовом теле реки вдоль берега как ожерелье. Поля терялись в сумерках, густеющих по краям, и только река блестела прозрачно и сильно.

В присутствии Калистратова все как-то усиливалось — и вкус огурцов, и высота звезд, и люди виделись интереснее. Рыбы, которых мы с ним вылавливали, были всегда самые большие и самые вкусные. ПТУ, которым он руководил, было самым трудным и самым замечательным из всех училищ страны.

— Помнишь Бутыкина? — спросил Калистратов. — Здесь мы с ним распрощались.

Я вспомнил Бутыкина, директора МТС, маленького, с железными пальцами, которыми он отвинчивал гайки и вдавливал в доску гвозди. Рядом жила Лида, у нее были рыжие косы; когда она распускала их, рыжий золотистый плащ закрывал ее до колен, матово-белое лицо ее выглядывало, мерцая глазами, узкими как ивовый лист. Это не из прозы, а из стихов, бесконечных плохих стихов, которые я слагал о ней.

Много умерших моих друзей живет со мною. Некоторые навещают меня, вдруг появляются со своими словечками, привычками, что-то подсказывают. Других навещаю я сам. Подхожу к их домам, к тем перекресткам, где мы встречались. Они стоят там, поджидая меня годами. Вот сейчас лето, а мы с Лидой идем заснеженные, на бровях снег, изо рта пар, хохочем, к кому-то забегаем. С ними со всеми, и с Бутыкиным и с Юрой Константиновым, я молодею. Среди них нет подлецов. Подлецы умерли. А эти живы. Все хорошие, честные — живы. Чем лучше они, тем чаще мы встречаемся.

На набережной выросли дома, какие стоят по всей стране, — с паровым отоплением, большими окнами, в которых голубым светом горели телевизоры. Во дворах цвели клумбы и стояли качели. Все было как везде, и только река связывала, соединяла эту часть города со Старой Руссой, река была единственной в мире, неповторимой, как лицо человека.

Под тенью акации на скамейке сидел Андриан, поджидал меня. Я опустился рядом, вытянул ноги. В акации верещали воробьи. Сотни их слетались сюда каждый вечер и примерно с полчаса неистово вопили, обсуждая итоги дня. Затем разлетались, и акация стоя-

ла тихая, пустая, и долго еще темно-зеленые ее ветки дрожали в полном безветрии. Чего не хватало в городе, так это живности — шипения гусей, кряканья уток, цоканья копыт, всех звуков живого. До войны даже на новгородских улицах ходили козы, а в Руссе и тем более.

Андриан уверял меня, что вскоре в малых городах заведут животных. Люди понимают, что животные нужны человеку не только для еды — они помогают человеку быть человеком.

Зимой будут прибегать в городской парк к кормушкам зайцы, лоси, лисицы, весной на реке под мостом будут отдыхать дикие утки, по городу будут расхаживать журавли, ежи, барсуки, дикие козы.

Маленькие города ближе к природе, в них много неба, земли, в них камень не удручает, а радует. Они уютны, они соразмерны человеку. Такой город можно обойти ногами, добраться пешком в любой конец, в нем не испытываешь чувства ничтожности, заброшенности, которое появляется у человека среди бесчисленной толпы, текущей между железобетонных громад, уходящих вверх и вдаль.

Слушая его, я думал о том, что в маленьком городе легче быть философом. Наверное, и легче с т а т ь. Меньше всякого рода искушений, отвлечений. Мысли в голове, они заводятся от скуки, как говорил Андриан.

Мемориал Достоевского — это всего лишь несколько улочек и переулков, это участок с квадратный километр, окруженный быстро растущим городом с современными, известными в стране заводами, с новыми благоустроенными корпусами курорта. Это город со всеми его благами — с канализацией, водопроводом, газом, паровым отоплением. От сонного захолустья почти ничего не осталось, да и мемориал тоже, если судить строго, не схож с тем, что было при Достоевском.

Но прошлое хоть как-то можно здесь представить. Хотя бы довоенное, знакомое мне; оно еле слышной мелодией возникало в этих проулках.

...Каждый вечер с курорта неслась музыка. Приезжал оркестр Ленинградской филармонии, и летние вечера были пронизаны музыкой. Русса разделилась на

курорт и город. Курорт — это был парк, неторопливое кружение взрослых, шум фонтанов, купальни, а город — это рыночная площадь, базар, стук пролетов, редкие автомобили...

Центр — это каменные дома, а подалее, к Ильинской улице, двухэтажные деревянные. Но не деревенские, нет, это дома-дачи с парадными, башенками, балкончиками, изукрашенные, в тени деревьев, обязательно с садом, а в саду беседка.

Во времена нэпа открылись рестораны, знаменитый тогда ресторан «Вена» с цыганами, множество лавочек, магазинчиков, лотков, павильонов, а Андриан тогда вместе с Георгием Ивановичем бегали в школу до поздней осени босиком. В тридцатые годы заработал как следует литейно-механический завод в центре города, куда поступил отец Андриана.

Были бандиты-гастролеры из Ленинграда, и был их гроза — знаменитый на весь город милиционер Козловский.

А в домах были залы, крашенные дощатые полы, устланные тканями полосатыми половиками. Варили варенье в медных тазах, мололи ячменный кофе, зачитывались Пантелеймоном Романовым, Малашкиным, Мариенгофом. Пели граммофоны: Изабелла Юрьева, Козин, молодой Утесов. На вечеринках еще распевали «Кирпичики», «У самовара», «Караван», на демонстрациях пели «Все выше», «Смело, товарищи...», в клубе приезжие ленинградцы показывали модные танцы: вальс-бостон, румбу. Пионеры шагали по главным улицам под барабан, красный галстук был нашей заветной мечтой, а комсомольцы в юнгштурмовках, с ремнем через плечо казались недостижимо прекрасными. К дальним улицам тянули электроосвещение, стояли очереди за керосином, за калошами, за мылом.

Выносили на чердаки и в чуланы комплекты старых журналов, собрания сочинений Мельникова-Печерского, Шеллера-Михайлова, Загоскина, которые почему-то были чуть ли не во всех домах.

Приемники были редкостью, телефоны стояли только в учреждениях, в кино ходили нечасто. Что же делали по вечерам? Теперь это непонятно...

У гостиного двора Георгий Иванович, тогда мальчонка, торговал пирожками.

Среда, пятница, воскресенье — базарные дни. На площади визжат, орут поросята, кудахчут куры, всякая

птица, тут же телеги с мешками, возы с сеном, гончары со своими горшками, всякие разносолы, живая рыба. А рядом шелковые ряды, ювелирные магазины с зеркальными витринами, электрические лампы — роскошь того времени. Нищие, юродивые, беспризорики, богомолки-кликуши.

А за мостом райком комсомола, где Саша Сафонов вручал комсомольские билеты Андриану, а затем и Георгию Ивановичу Смирнову.

А напротив большой дом, где жил известный врач Дементьев, с белой вывеской на парадной. Особенно же чтили врача М. Глинку, маленького старичка с бородкой; когда он шел по улице, с ним раскланивались все...

— Вот это осталось до сих пор: здесь тебя знают все и ты всех, — сказал Андриан. — У вас там в Москве, в Ленинграде ты никого не знаешь на своей улице. И нет такого понятия — «с нашей улицы». Нет понятия «соседи». А у нас это сохраняется. Соседи, чистый воздух, тишина...

И он принялся описывать со вкусом и с вызовом преимущества провинциальной жизни, лишенной суеты, внимательной к движению времени и истории, чувствующей свою связь с прошлым. Ему, Андриану, ничего не стоило восстановить, например, свою связь с Федором Михайловичем Достоевским: его знакомый Иван Павлович Чикин, директор первого старорусского рабфака, старейший деятель народного образования, работал когда-то вместе с Марком Ивановичем Полянским, автором упомянутой книги о Старой Руссе, а М. И. Полянский молодым бывал в доме Достоевских, беседовал с Федором Михайловичем и впоследствии неоднократно виделся с Анной Григорьевной во времена приездов ее в Старую Руссу.

Война, казалось бы, уничтожила город начисто. Но стоило городу возродиться — и слои его истории начали отстаиваться, обозначаться. В больших городах история упрятана в музеи, отделена, выгорожена. Здесь же она — под фундаментом дома, в огородной земле, она всюду. Вся земля этого древнейшего русского города сложена из праха мостовых, домов, печей, погребов, она хранит берестяные грамоты, обломки мечей и горшков, стекла и камня, обрывки кож и знамен, останки особняков, соборов, кузниц, дозорных башен, шлагбаумов, солеварен, острогов, аракчеевских казарм.

Как быстро и прочно стирается жизнь целых поколений. А уж что и говорить про отдельного человека. Через десять, двадцать лет не узнать: какой он был, чем он жил? В чем же смысл этой жизни, если забвение смыкается над ушедшим, как вода? В чем был смысл всех хлопот отца насчет леса, его забот, его лесного отшельничества, его беспорядочной доброты?

Была ли у отца какая-то своя философия жизни? О чем думал он долгими одинокими вечерами, когда жил без нас? Сохранилось только несколько его писем тех лет. Скучал, беспокоился, справлялся... И мать, и мы тоже скучали по нему, но в Ленинграде все это скрадывалось, заглушалось городским шумом... А там, в тишине сугробов, вокруг чего витала его мысль? Я пытался вообразить — и не мог. Конечно, я знаю, что философия жизни занимает далеко не всех, но отец, вполне возможно, задумывался — во имя чего, зачем он живет, какова цель его стремлений и хлопот, что он оставит после себя?

Это были вековые, старомодные вопросы, и Андриан имел право высмеять меня, тем не менее он ответил сразу, словно заранее приготовился:

— Лес — вполне достойный смысл его жизни. Лес — это тебе не книжка.

— Но того леса нет, те леса давно порубили.

— Лес тот же самый. Откуда ж он взялся? Тот же биоценоз. Слышал? Чтобы лес на новом месте принялся, надо лет пятьсот. Так что лес хранителей своих долго помнит. Лес — вот его заказник!

— Заказник, заповедник, мемориал, — сказал я.

— Заповедник — заповедь... Сколько тебе известно заповедей?

— Чти отца и мать свою...

Слабые, робкие попытки отца приохотить меня к лесному делу... В то время модны были другие специальности, я перебирал самые, как мне казалось, нужные, перспективные: электротехника, автоматизация, гидростанции. Нас пленяли цифры, размах, термины: верхний бьеф, пиковые нагрузки, кавитация, разрывная мощность, сети и системы. Двести двадцать тысяч, пятьсот тысяч вольт! А мощности генераторов, а размеры турбин! Нам предстояло затопить сотни, тысячи квадратных километров земли под водохранилища, за-

топить деревни, леса, поселки, перенести их на новые места, мы меняли лик Земли, мы создавали моря, перегораживали реки тысячами, сотнями тысяч кубометров бетона. Готовы были расчистить просеки на сотни километров для линий передачи. Ажурные высоковольтные опоры казались нам красивей, чем сосны и березы. Рассчитывать опоры было сложно — анкерные опоры, несущие, переходные; деревья же были просты, однообразны и ничего не стоили. Реки надо было — покорить, обуздать, усмирить, запрячь. У реки, у леса был один-единственный смысл: служить человеку. Ни о каком другом смысле мы не догадывались, в расчет не брали. И наш седоголовый высокообразованный профессор, красавец и меломан, учил нас не принимать в расчет всю эту бесплатную природу, учитывать надо было лишь весенние паводки, всякие козни стихии. Мы, инженеры, — благодетели человечества, наше дело осветить мир, обеспечить его энергией. И мы это совершили, взрывая и кроша, превращая реки в тихие ленивые запруды. Иначе было нельзя. Неправильно было только то, что мы ничего не жалели... Печально, что никакого другого смысла не имел для нас лес, разве мог у него быть свой смысл, своя цель?

— У природы нет цели, она, подобно искусству, отличается целесообразностью без цели, — сказал Андриан. — Но неужели тебе не приходило в голову, что природа существует не для человека, что она сама создала человека?

Нынче ему все было ясно, а где он был тогда?

— Для чего ж она создала человека?

Андриан сладко потянулся, зевнул и отвечал, не задумываясь:

— Одно из трех: либо для того, чтобы увидеть себя через человека, сознание для природы — как зеркало, она с помощью человека любит свою красоту и гармонией, слушает себе гимны, наслаждается своим совершенством, изучает свои законы; либо второе — природа создала человека, чтобы остановить эволюцию: все, вершина, дальше идти некуда, человек — конец, всему делу венец; либо еще один вариант: сознание — это дряхлость природы, ее болезнь, может, способ самоубийства.

Больше всего он любил отвечать на вечные вопросы, всегда мучившие человечество. Откровения его проигрывали оттого, что он, стесняясь, произносил их не-

брежно, как давно известное, само собой разумеющееся. Когда-то он был большим деятелем. Карьера его шла быстро, он бежал вверх через ступеньку. А потом вдруг взял и ушел. Никто не знал, в чем дело. Говорили, что ушел сам, по своей воле, но это-то и вызывало удивление. Сам он объяснял туманно, выходило, что начальник его не терпел умников. У Андриана, конечно, хватало ума прикидываться бурбоном. Но, спрашивается, какой же толк в уме, если скрывать его? То он говорил, что карьера мешает размышлять, то, наконец, всерьез доказывал, что все дело в том, что он не умеет говорить по бумажке. Лицо его оставалось скорбным, а голубенькие глазки веселились.

— Послушай, а что ты хотел от своих Кислиц? — спросил Андриан.

— Хотел понять, как это все было.

— А ты сочиняй. Когда много знаешь, трудно сочинять.

— Послушай, ты, наверное, очень одинок, — сказал я, — ты такой умник.

— Что делать, — сказал Андриан. — Канту тоже было тоскливо. — Он задумался и вдруг спросил, подбрав: — Ты хочешь, чтобы все было как было?

Оказывается, все это очень просто делается, стоит попросить этого пожилого волшебника — и он по старой дружбе вернет в Кислицы дощатый перрон, чайную, визг пилы на лесопилке...

Хотел ли я этого?

Мир стал податлив, пластилиново-мягок. Можно было оживить старые фотографии. Можно было все вернуть. Бондарную мастерскую, горы клепки, вернуть старорусский базар с телегами, полными мелких сочных яблок — чулановки, табуны лошадей... И старую улицу Пестеля? Но зачем же я после войны прокладывал по этой улице кабели, ставил трансформаторы, зачем мы строили подстанции, давали мощности? Мы ведь хотели перестроить дома, осветить переулки, дворы, соорудить лифты, преобразить жизнь людей, чтобы хватило всем энергии, света, тепла, газа, чтобы без всяких лимитов, воровства, ограничений. И все же

я любил старую улицу Пестеля. В ней была своя душевность.

— Вот машина времени. Садись, — сказал Андриан. — Куда поедем? В какой год?

На шкале были помечены: 1800-й, 1825-й, 1837-й, 1890-й, 1914-й, 1917-й, 1929-й, 1940-й... А можно было и за красную черту, в 1985-й, 2000-й...

— Большинство пассажиров любят прошвырнуться в прошлое, — сказал Андриан. — Непонятный феномен. Особенно стремятся во времена Пушкина. Спросом пользуется также конец прошлого века.

Ночь жгуче почернела. Это была вспышка темноты. Все налилось крошечной тьмой, и оттуда, из теплой бездны, дохнуло приятным детским страхом. Там бесшумно скользили мохнатые хищники, кто-то притаился в засаде. В высокой траве за углом замерли приключения. Звезды приблизились, налитые спелым светом. Акация стала огромным деревом, на нее хотелось залезть, прыгать вниз, раскачиваться на скрученных ветвях, заглядывать в окна. Можно было свистеть, вопить во всю глотку, какое чудо была эта ночь, запахи трав, земли, тепло Андрианова плеча. А еще бóльшим чудом было, что я жив, до сих пор жив. Столько пуль летело в меня, столько снарядов. А сколько раз я болел и сколько смертельных недугов и разных вирусов подстерегало мои почки, кости, сосуды, ткани, все эти сложнейшие системы нейронов, гормонов, нервных импульсов, кровеносных органов. Разве не чудо, что сердце мое бьется, легкие расширяются? Я шевелил пальцами, чувствуя послушность каждой мышцы, вытягивая шею, я водил глазами, я облизывал губы, ощущая их вкус, от всего этого можно было получать наслаждение.

Я любовался мгновением. Оно, как драгоценность, сверкало отшлифованными гранями, переливалось алмазной чистотой.

Андриан сидел все в той же позе, как будто ничего не произошло. Детство не интересовало его. Там нечему было научиться, оно не содержало никакой информации. Детство — малограмотная пора, когда человек лишь учится мыслить и понимать, период подготовки. Андриан не признавал мудрости детства, способности чувствовать такое, что утрачено нами, чего никакие знания не могут возместить.

Детство вернулось на миг и погасло.

Но кое-что я успел увидеть в этой вспышке.

— Ты знаешь, отец оставил на земле не лес, а меня, — сказал я. — Лес — это в общем, поскольку от каждого остается его труд. А вот меня он действительно оставил после себя.

То, что родители продолжают в детях, в этом тоже не было никакого открытия, другое тут поразило меня — ощутимость этого родительского пребывания в нас.

Мне вспомнилось четверостишие Вознесенского:

С иными мирами связывая,
глядят глазами отцов
дети —
широкоглазые
перископы мертвецов.

Отец моими глазами рассматривал свои леса, реку, этот город. А я как бы его зрением видел Кислицы, новый леспромхоз, молодые березы. Поехал сюда я не только по любви к этому краю, но и уступая тем отцовским просьбам, которые я ощущал. Отец жил во мне. И интерес к прошлому вызвался, вероятно, им, его присутствием внутри меня, он продолжал существовать, и сказывалось это в необъяснимых наплывах тоски, в снах, а то и запоздалом стыде.

По разным поводам он пытался напомнить о себе, но как-то не захотелось прислушиваться к этим сигналам души. Это было не так трудно. Они гасли, не находя ответа. Думалось, что так и надо, что сила воли в том, чтобы не поддаваться ненужным томлениям, не обращать внимания на душевные тревоги. Андриан считал, что это полезно для душевного здоровья. Лучше, когда ничто неразумное не вмешивается в нашу жизнь. Не появляется непрошенная тоска, скука. Разве нормально, когда без видимой причины в разгар успеха, почета все вдруг опостылеет, потеряет цену?

Дорогой ты мой философ, а что, если это твое «душевное здоровье», душевная неуязвимость, — отсутствие души, атрофия ее?

— Что значит: отец оставил на земле тебя? — спросил Андриан. — Какой смысл стоит за этим? Ты же не занимаешься делами отца, не отвечаешь за него. Отец за сына отвечает. Он обязан сделать сына порядочным

человеком, трудовым, добрым. Это ответственность. А у сына есть перед отцом долг. Ясно? Как, например, у Гамлета. Долг помогать, не уронить имени, соблюдать честь.

Петр Сергеевич тоже говорил, что сын за отца не отвечает. Так ли это? А если ответственность эта не перед другими, а перед собой?

Я попробовал представить себе, что останется у детей и внуков от моего мира. Многое исчезнет навсегда. Вот они встретятся с внуками Калистратова и понятия не будут иметь, что деды их дружили, вместе охотились, рыбачили. Они будут стоять на этом берегу и знать не будут, что когда-то мы сидели здесь с Андрианом и говорили о них. А может, и отец мой сидел здесь с отцом того же Дмитриева.

— Станный вопрос пришел мне в голову, Андриан. Почему Достоевский назвал старого Карамазова Федором? Этого сластолюбца, распутника, мерзавца?

— Как-то не обращал на это внимания, — сказал Андриан. — Может, случайность?

— Наделить своим собственным именем подлеца — какая ж тут случайность? Любой человек охраняет свое имя от всего плохого. Представь себе, что ты описываешь некоего Андриана и представляешь его обжорой, болтуном, всезнайкой, рассказываешь, как он по любому поводу поучает, какое у него темное прошлое, какой он лентяй...

— Хватит, — сказал Андриан. — Невозможно представить. Все вышло бы фальшиво, надуманно. Если по Фрейду... нет, все равно...

Первые он не нашелся с ответом.

А вот Георгий Иванович, тот ухватился за этот вопрос со всем пылом и стал предлагать разные варианты, пока не утвердился на том, что имя свое Достоевский отдал Карамазову умышленно, в этом, если угодно, подвиг писателя, который принял вину за грехи отца своего на себя. И все это Георгий Иванович увязал с идеями философа Федорова, которым Достоевский в те времена увлекался. Принять вину отца на себя, на свое имя — для этого Федор Михайлович и поселил Федора Павловича Карамазова в свой старорусский дом.

— И это тоже не случайно, ничего случайного у Достоевского нет, — настаивал Георгий Иванович. — Всем чем мог хотел взять на себя вины отца. Совесть его

особо чувствительна, недаром Горький называл его нашей больной совестью.

— Значит, Достоевский чувствовал ответственность за отца?

— Еще как! Удивительного устройства была его душа!

Анриан слушал нас хмуро, потом сказал:

— Неужели лет через тридцать дети будут тоже вот так разглядывать... наши жизни? Выяснить всякие обстоятельства... Не нравится мне это. Судить нас они не имеют права!

— Ты же судишь, — сказал я.

Он разом насупился, потяжелел, зло засопел.

— Кого это я сужу? — И изготовился, как перед прыжком.

Я не ответил.

— Что ты знаешь? Чего ты суешься? Эта паршивая привычка копать. Мне, может, родители всю жизнь сбили, — он повернулся к Георгию Ивановичу, — я ведь хотел быть гуманитарием, на философский хотел, а они навалились: нужна профессия, нужна специальность! Ну что они понимали? Отцу лишь бы план гнать. Все на штурм! Вперед! Аврал! Для него человек — кто перевыполняет. А все антимионии он презирал. Он все это вытоптал во мне, высмеял. Перед всеми задразнил. Философ! Философия, говорил он, для бездельников, для захребетников. Выпьет и кричит, бывало, на всю улицу: вырастил, мол, паразита...

Пальцы его сжались в кулак. Прищурясь, он смотрел через меня насквозь, в те ненавистные дали, где ломалась его юность, где был самодур отец, который запустил его в постылый этот плано-экономический техникум как в машину, которая покатила, понесла...

— Лучшие годы ухлопал впустую, — сказал Анриан. — А ты будешь тут меня уличать!

— Не знаю, ох не знаю, — сказал я. — Родители, они тоже кое-что понимали. Разве мы ничего не понимаем, когда сейчас советуем своим детям?

— Тьфу, противно, как ты все переворачиваешь! — возмутился Анриан и ушел.

Отец и сын переливались в нем, сразу меняя все мировидение, два эти состояния не умели сосуществовать, одно начисто исключало другое. Сам Анриан не

замечал этого, не слышал, как тут же, переходя от отца к сыну, он говорил совершенно обратное, противореча себе.

Да, и мы были немногим лучше. Мы все начинаем понимать обиды наших родителей, ценить их терпение, вспоминать их бессловесное ожидание, когда сами становимся отцами. Проходя путь отцовства, мы замечаем следы и знаки, когда-то оставленные на этой дороге нашими отцами и дедами. К концу пути следов все больше... Родителей нет, и когда ничего уже нельзя исправить, мы начинаем понимать их. Зачем же нужна столь поздняя наука? Ее некому передать, раскаяние не в силах ничего изменить...

Таков закон природы, доказывал Андриан, закон мудрый, как все, что устроила природа. Но так ли она мудра, природа? И так ли она совершенна? Вот это позднее чувство к своим ушедшим родителям, когда они становятся нам ближе и понятней, чем наши взрослые дети, когда мы проходим, проживаем год за годом их чувства к нам, — было это предусмотрено природой?

Андриан прохаживался у гостиницы, поджидая меня. Он не извинился. Он никогда не извинялся, ибо считал, что нас ничто не может посорить.

— Знаешь, я вспомнил, как мать отговаривала меня. Совсем иначе, чем отец. Она боялась. Истории боялась. И философии. Ей казалось, что все это опасно. А объяснять мне она, наверное, не хотела. По-моему, она остерегалась заронить в мою душу сомнения. Интересно, как это было на самом деле? Да разве узнаешь...

— А может, и отец твой того же боялся? Может, они с матерью советовались между собою и все думали, как бы тебе сказать половчее, как бы на тебя подействовать? Может, отец стеснялся признаться в своих страхах, поэтому кричал, грозился?

— Может, может... — передразнил Андриан, но как-то неуверенно, удивленно, ожидая, не продолжу ли я.

И я продолжал, не жалея его, потому что кроме него я имел в виду и самого себя.

Выкроив несколько отгульных дней, отец приезжал в город повидать нас. Поезд приходил рано, отец поднимался по лестнице, стучал в стенку. Он тащил на

спине мешок, в руках корзины, бог знает какую тяжесть — бруснику, грибы, творог, деревянные миски, яблоки, ржаные кокорки. Долго сидел, не раздеваясь, потный, было жалко его, гостинцы казались ненужными.

Сколько упрасивали его переехать в город, он так и не мог решиться, уверял, что без леса ему нельзя.

Была тетя Даша, жесткая и резкая старуха, которая сажала меня с собою у печки и внушала, помахивая кочергой:

— Ты отца не мучай, ты расти пряменько, шагай в ногу со своими товарищами и не оглядывайся. Считай, что у тебя отец отсталый.

Отсталость родителей успокаивала и вроде бы все объясняла. И отцу тетя Даша говорила:

— Ты детям расти не мешай. У них своя жизнь. Не путай их своим дегтем и шишками.

Зеленые купы ив закрывали улицу, из окна дома Достоевского был виден чисто подметенный пустой дворик музея, заросший сад. Из окна все выглядело как когда-то, и все двигалось, было живым. Когда-нибудь люди смогут попадать в свое детство, возвращаться туда хоть ненадолго, хоть на несколько часов, чтобы у каждого детства был свой мемориал, где бы все было как было. Те же деревья, те же дома, речка, те же запахи трав, те же книги на полке.

Среди старых изданий «Братьев Карамазовых» я нашел у Георгия Ивановича затрепанный томик с иллюстрациями. Последняя картинка изображала Алешу Карамазова, окруженного мальчишками. Алеша стоял на камне и держал речь. Нарисован он был безлико, иконописным монашком. Впереди стоял Коля Красоткин, этот сразу напомнил мне Петра Сергеевича. Не похож был, но все равно напомнил. Один из мальчиков, с краю, тот похож был на моего отца, была в доме когда-то такая фотография — молоденький отец в форменной фуражке набекрень, курчавый, круглолицый. Старинная фотография на толстом картоне, четкая, коричневая, из тех, что вставляли в обтянутые бархатом тяжелые альбомы — они заменяли собой галереи, увешанные портретами предков-аристократов. Альбомы лежали на столиках. После войны фотографии вместе с альбомами незаметно и стыдливо исчезли. Почему-то

их заклеямили как приметы мещанства вместе с фикусами и комодами.

Верили этому, сколько раз ошибались и все же верили и с верой избавлялись от фикусов, от альбомов, от того, что связывало с прошлым, со своим происхождением.

...По датам, конечно, не сходилось, не мог отец быть среди тех мальчиков, не было его еще на свете, но какое это имело значение?

Мне приходили на ум и другие люди, которые умудрялись, несмотря на все удары жизни, оставаться человечными, стойкими в своей доброте. Больше, чем других, настигали их разочарования, обиды, несправедливости. И все же они не поддавались злобе, цинизму, унынию. Что помогало им, что поддерживало их дух? Что обязывало их душу сохранять доброту, когда казалось это так невыгодно, когда все было против? Я никогда до конца не мог разобраться в том, как это происходит. И вот теперь я стал думать, что, может, им помогало какое-то воспоминание, принесенное из детства? Может, они посещали свое детство и оно прибавляло им силы? Может, там хранятся наши запасы безошибочной любви, доброты, радости, веры в будущее?..

ЧУЖОЙ ДНЕВНИК

Летом 1982 года дела привели меня на несколько дней в Пензу. Жил я там в гостинице на берегу Суры. Однажды, под вечер, понадобилось мне разменять деньги для телефона-автомата. Спустился я к газетному киоску. Приличия ради решил купить какой-нибудь журнал. Почему-то я выбрал «Смену», которую никогда не читаю. И выбрал именно этот номер. Повезло. Ничего не выигрываю, ни в спортлото, ни по займам. Счастливый случай меня обходит. Все достается с трудом. А тут повезло, и крупно: вечером, когда стал перелистывать журнал, нашел в нем «Европейский дневник» Паустовского. В дневнике — про меня. Старые записи о нашем давнем путешествии вокруг Европы на теплоходе. Оказывается, Паустовский всю дорогу вел записи, краткие, сжатые до предела: обозначения событий, упоминания о разговорах, почти не расшифрованные. Спустя четверть века Галина Арбузова опубликовала их. Даже сквозь эти — наспех сделанные, рабочие, чисто служебные, для себя — записи рука художника, его глаз, его стиль ощущаются. Что отделанная повесть, что черновик — оба пишутся одним и тем же почерком. Здесь почерк, может, даже проступает лучше, натуральнее:

«На улице, на парапете, где растет какое-то сочное зеленое растение с большими волнистыми лапами, как у портулака. Оранжед. Жара. Значки рабочим и мороженщику. «Иса крем!» Полицейский выпрашивал у мороженщика значок».

«По склонам Этны бьют фонтаны дымков. Апельсиновые сады. Невероятная голубизна, отвесный берег в плюще, крепости — ноздреватые, старинные, губки в воде. Дельфины».

Много записей — односложных, малопонятных и вообще непонятных постороннему читателю. Для меня же

они как нажатые кнопки — вспыхивают, освещают полузабытые сцены, картины, краски. Что-то всплывает, не сразу, из глубины памяти, а что-то и не может уже всплыть, отзывается каким-то слабым колыханием, а всплыть не может.

Чужой дневник. В нем все чуть иначе. Краски чересчур яркие, тени гуще, свет падает слишком красиво. В Стамбуле Паустовский увидел джип с полицейскими, у меня же остались — дивной красоты турчанки. Нигде не встречал столько красивых женщин, как в Стамбуле.

Собственные воспоминания о той поездке задвигались, ожили. Они обретали новое измерение. Через Паустовского я узнавал себя, он записывал меня, что я делал, что я говорил. Я сравнивал его записи и свои воспоминания, разницу нашего видения, вкусов и влечений.

Я видел себя самого, в молочного цвета туфлях, которые мне одолжил Серега Орлов, и самого Серегу с рыжими лохмами, и Расула, черноволосого и почти стройного, изумленного... Я разглядывал свои воспоминания, как педагог рассматривает этюд ученика. Поправить надо здесь и там, я видел ошибки восторга, преувеличения, наши последующие судьбы, неоправданные надежды, которые не сбылись... Боже, как давно это было!

За окном затихала вечерняя Пенза, по ее зеленым крышам косо скользило закатное солнце. Мешанина многоэтажек и деревянных домов, укутанных в овечью зелень садов. Впервые я попал в этот чистый старый город, знакомых у меня тут почти не было, редкое состояние покоя, полного покоя, без ожиданий и обязательств, пришло, как штиль.

В другой вечер дневники Паустовского, может, и не затронули бы души столь глубоко, проскользнули бы по касательной.

Рейс начинался с Одессы. Мы приехали в Одессу. Паустовский показал мне свою Одессу. Корабль стоял в порту, теплоход «Победа», огромный, океанский лайнер, — он загружался, догружался, оформлялся, а мы бродили по городу. Дворы, завешанные бельем, лавочки, подъезды, где сидели старики и старухи и торговали длинными самодельными конфетами, пирогами, тапоч-

ками, яблоками. Дом, где когда-то помещалась газета «Моряк». Там Паустовский работал. Мальчишки-газетчики кричали: «Мрак! газета Мрак!»

Крикливая Бессарабка, неслыханной красоты и мощи базары, одесский говор, одесский юмор, кому это, как говорится, мешало? В то лето 1956 года Паустовский еще мог показать свою Одессу, еще на рынке тощий инвалид в тельняшке мог заставить купить велосипедный звонок, на который все будут заглядываться! Через двадцать лет, когда я захотел показать эту Одессу своим друзьям, я ее не нашел. Ее уже не было. С непонятной старательностью ее выскоблили, всю одесскость, одессизм, ее говор, ее шутки, ее обычаи... Ревнителю однообразия, они терпеть не могли одесскую литературу, давшую Ильфа, Петрова, Багрицкого, Бабеля, Катаева. Причислили к ним и Паустовского. Южнорусская школа в устах этих критиков стала чем-то подозрительным, чужеземным. Паустовский любил Одессу и никогда не скрывал этого, не отрекался от нее, хотя и не был одесситом. За это ему доставалось, и немало.

Итак, летом 1976 года, вспоминая покойного Паустовского, я бродил по Одессе, и это была другая Одесса. Было жарко. Я опустил к причалу, где когда-то стояла «Победа». Набережная и лестница смотрелись отсюда так же красиво, все стало чище, портовые краны выглядели внушительнее, цветов стало больше. Дома были свежеекрашены, играли фонтаны, в киосках открыто продавали жевательную резинку. Но прежней Одессы не стало. Имелся красивый морской город, областной центр, почему-то знаменитый, а почему — неизвестно. Люди говорили с чуть заметным южным акцентом, но примерно так же, как в Николаеве и Херсоне, и надписи всюду были правильные, никаких вольностей, и шутили так же, как всюду. Наконец-то этот город стал таким, как все другие города.

Мальчишки-газетчики Паустовского превратились в пожилых стариков, они сидели в застекленных киосках, продавали «Огонек», «Польшу» и зубную пасту.

Не помню, как я познакомился с Паустовским. Это было до поездки. Наверное, это не отпечаталось потому, что я знал его раньше, много раньше, чем увидел. В школе я зачитывался его книгами «Блистающие облака» и «Романтики». Барочная пышность языка и сладостный ритм фраз завораживали меня. Герои разговаривали так, что щемило сердце. От его описаний

деревья, облака, женщины, пение птиц, шелест страниц чувствовались свежее, становились загадочнее.

«Артур Рембо любил писать при краденой свече на полях книги со скабрёзными стихами в тесной каюте. Свеча была воткнута в бутылку. Рембо мечтал о том, чтобы омыть всю землю в пузырящемся сидре. Уайльд любил сверкающие лампы и камин, золотые, как цветок подсолнечника в его петлице в туманный и весенний лондонский день». Сейчас я пожимаю плечами, а в юности что-то слышал, и откликалось.

«Земля пахнет березовой корой, перепадают скромные дожди, и вся страна стоит как чаша, налитая золотым вином, синим небом, яркостью».

Война у него была такой же нестерпимо красивой.

«От канонады сотрясались старинные костелы. В домах плакали дети, металась женщины, на вокзале тревожно кричали паровозы, по белым карнизам зданий бегал красный свет факелов».

Автору было двадцать четыре года. Теперь так не пишут. Чтобы так писать, нужны чувствительность и неутомимое удивление перед таинством происходящего.

Жаль, что магия этих фраз для меня улетучилась, не действует так же, как не волнует уже шум танцплощадки, прикосновение женской руки... Красивость, пышность — слова из нынешних моих понятий. Какое право я имею считать, что вкус мой стал лучше, совершеннее? У меня нынче просто другой вкус, потому что я другой. Тому, семнадцатилетнему, нужны были Гюго, Грин, Светлов, Багрицкий, Тихонов, в них нуждалась душа. Так в детстве организм для роста требует кальция. Так больше всего хотелось мороженого и лимонада.

В «Романтиках» есть глава «Ночная встреча». Я знал ее наизусть. Я сказал об этом Паустовскому. Он хмыкнул: «Не вздумайте произносить ее вслух; это, наверно, приторно, как сахарин». Я никогда не перечитывал «Романтиков». Зачем? Зачем обесценивать те часы счастья и мечтаний, какие получил от этой книги в юности?

Паустовский совмещался со своими книгами легко, но неполно. В Одессе и потом на «Победе» открылось искусство устных его рассказов. Они были несхожи с его письменными. Два разных рассказчика. В устных начисто отсутствовала приподнятость. Когда он рассказывал хрипловатым своим, надтреснутым голосом, кру-

гом улыбались, посмеивались. В палубных его рассказах царил юмор, которого почти не было в книгах. Десятки смешных историй об Аркадии Гайдаре, о Фраермане, Багрицком, Бабеле и Булгакове. Законченные новеллы, вроде старинных итальянских «Фацетий». Записать их трудно, смешное исчезает, но все равно следовало записать их, я подозревал, что сам Константин Георгиевич их не записывает. Так и оказалось. Думал, что неудобно, даже бестактно записывать рассказы писателя. Все равно что заниматься плагиатом. Большая часть этих рассказов пропала. Мешало, что кроме меня кругом сидели и слушали Константина Георгиевича другие писатели. Они запишут. Другие запишут — это всегда успокаивало, избавляло от необходимости самому... И так всю дорогу. Хотелось жить, не хотелось отрывать от жизни хотя бы полчаса, чтобы записать прожитое. Один рассказ я почему-то запомнил лучше других. Как Аркадий Гайдар остановился в Москве перед гербом какого-то посольства, долго рассматривал его, потом стал допытываться у дежурного милиционера, что это за страна, чей герб. Милиционеру любопытство это показалось подозрительным, и, так как Гайдар настаивал, приехала машина и его забрали куда следует. Там выясняли его личность. Наконец выпустили. Но он не желал уходить, пока ему не скажут, что это за посольство.

Сам Паустовский не смеялся, а посмеивался, тихо, отстраненно, и над собою, и над Гайдаром, и отчасти над нами. Слушать его истории было захватывающе интересно, они отличались сюжетом и домашностью, уютom, рассчитанным на пять, шесть человек, не больше. В его юморе не было желчи. Это был юмор человека, умеющего видеть и отбирать смешное «из жизни». В книгах его этого мало, может, потому, что стиль открытого романтика отторгает хитрый, прищуренный смешок, это добродушное подтрунивание и откровенное веселье. Хотя обобщать не следует, рискованно обобщать, когда речь идет о настоящем писателе, он обязательно вылезет из правил. Сразу же вспомнился крохотный рассказик Паустовского «Случай с Диккенсом», «о прилипчивом писателе Диккенсе», рассказик, который весь состоит из маленьких и больших улыбок.

Сладостный озноб, лихорадка нашего отплытия, тающая вдали белая Одесса, первый наш выход в мир на огромном лайнере, первый раз в руках заграничный

паспорт, первые огни чужих маяков, ветер дальних земель... Впервые для нас, но к этой первости добавлялась еще всеобщая первость: таких круизов еще не было, первый рейс советских туристов вокруг Европы.

Паустовский не уходил с палубы. Болгария, шторм, вход в Босфор, Дарданеллы, Лесбос, желтеющий нагими каменными обрывами, серая земля масличных рощ, путаница и теснота рей, бронзово-зеленые пушки среди коричневых скал — все, все волновало его, приводило в восторг и трепет. Он бывал здесь не раз, давно, рассматривая в старых книгах эти берега, читая о них в лоциях, и вот наконец все это задвигалось, поплыло за бортом теплохода: косые паруса фелюг, раскрашенные прихотливыми красками крепостные стены... Он простаивал свою вахту, прихватывал следующую, переставивая всех нас. Мы — это поэт Сергей Орлов, писатели Леонид Николаевич Рахманов и Елена Иосифовна Катерли, критик Сергей Львович Цимбал, режиссер и художник Николай Павлович Акимов, и с нами, ленинградцами, был Расул Гамзатов. В том или ином сочетании мы стояли рядом с Паустовским. Теплоход имел несколько палуб, множество закоулков, глухих местечек между шлюпками, лебедками, но мы повсюду находили Паустовского и становились рядом. С ним больше можно было увидеть. От него исходил ненасытный интерес, от Паустовского мы заряжались. Молодой наш крепкий эгоизм ни с чем не желал считаться. Паустовский сам был виноват, он не умел отказывать в общении. Другие большие писатели, те бывают заняты своими мыслями, недоступны, погружены... Позже я бывал с Паустовским в Дубултах, в Доме творчества. Вечерами мы собирались у него в шведском домике у камина. Но и днем Паустовский принимал приглашение погулять, посидеть, поболтать. Казалось, ему нечего делать. Как-то я спросил его, почему он неплотно притворяет дверь к себе в комнату. Он виновато усмехнулся: «А может, кто зайдет?» Прекрасное настроение беспечности и незанятости окружало его... Между тем за месяц пребывания в Дубултах он написал больше, чем все мы: Юра Казаков, Эм. Миндлин, я, хотя мы сэкономили каждый час и работали в полную силу.

На теплоходе Паустовский чаще всего сидел в шезлонге, иногда дремал, не уходя с палубы. Каюта ему досталась плохая. Он пишет: «Каюта второго класса. Теснота. Койка как шкаф». Каюта его помещалась над

машинным отделением, в ней все дрожало, позвякивало, гудело. Мы не знали, кто, как распределял каюты и классы. Нам-то с Сергеем Орловым было все равно, где спать, мы могли уснуть хоть на самой турбине. Вскоре мы и устроились на палубе, ложились там вповалку на брезенте под зелеными звездами южного неба. А вот за Константина Георгиевича было обидно. В своей каюте он не высыпался, мы боялись, что путешествие для него будет испорчено. Сам он ничего не предпринимал. Он был из тех людей, которые могут хлопотать лишь за других. Меня отрядили пойти к начальнику круиза. Что такое круиз, я не знал, и никто не знал, и до сих пор не знает. Но начальника круиза я знал, хотя он показывался на люди редко и его мало кто видел. Он пребывал больше в разговорах, чем наяву, как всякий большой начальник. На теплоходе ехало четыреста пятьдесят туристов, мы были в открытом море, за границей, и он был всем — и властью, и законом, и судом, и высшей инстанцией. Над ним была только радиомачта. Это был красивый мужчина с презрительно-благодарной миной и пресыщенно-усталым голосом. Выслушав мою просьбу, он плавно изогнул шею, осмотрел меня сверху донизу, до моих молочных туфель: «Мне надо перевести первого замминистра в другую каюту, для жены зампреда нужен люкс, и сын ее тоже нуждается, а вы тут с Паустовским. Машинное отделение? Ничего страшного. Пусть выпьет на ночь коньячку. Писатели ведь принимают, а?» — и он лениво подмигнул мне. В тот круиз отправилось много важных людей. Например, один такой влиятельный деятель, все его знали, фамилия его постоянно упоминалась в газетах. Теперь он стал бывшим и с ним можно было постоять у борта и поговорить. Просто так. Он был без телефонов и без референтов и сам искал собеседников. Но вскоре оказалось, что говорить с ним не о чем. Он был скучный, всем недовольный. Когда я восхитился неистойвой синевой Эгейского моря, он хмуро заметил, что наше Черное море синее. С нами ехала известная певица, ехали Тарапулька и Штепсель, Родион Щедрин, много милых, заслуженно известных людей, так что Паустовского сперва не замечали. Он умел быть незаметным, это его устраивало. В Стамбуле нас встречали репортеры, вот тогда многие обратили внимание, что фотографируют не их, а маленького морщинистого человека. «Паустовский!» — заговорили на корабле. В Греции интерес

прессы к Паустовскому продолжался, в Неаполе его встречали с цветами. Это удивляло и раздражало некоторых. Начальник круиза забеспокоился. Он сказал мне укоризненно: «Что же вы не предупредили меня, что Паустовский известный писатель?» Тут же он перевел его в хорошую каюту. «Мы должны считаться с мнением иностранцев», — объяснил он. С нашим мнением он никогда не считался. Катерли, женщина крутая, резкая, прямо спросила его об этом. Он лениво изогнул брови: «Ваше мнение? Так оно же при вас и останется».

Неаполь. «Нарядность и уют улиц, которые как будто видел во сне», — записал Паустовский. А до этого: «Сказочный разворот Мессинского залива. Этна — огромный поднебесный вулкан. Синева». «Голубой небесный дым и тихое золото облаков. Древние страны человеческой мечты... Волнение до слез».

Невозможно перевести на бумагу прелесть тех картин, пряный воздух, тепло, чувства, что нахлынули на нас. «Волнение до слез» — это было внутри у каждого: и у Расула, и у Сережи Орлова, — но острее всех чувствовал Паустовский; нам не хватало выстраданности этого путешествия, долголетнего ожидания. Ныне, спустя десятилетия, я шарю в своей душе, разыскивая, что же осталось от той красоты, от того замирания, когда чужие миры впервые распахнулись перед нами? Вроде бы ничего не осталось. Если бы не дневник в журнале, я бы и не вспомнил то путешествие. Столько было после него поездок, столько стран, городов, что то, первовиденное, потеряло цену. Но вот дневник... Не потому ли так взволновал он, что путешествие наше неожиданно-негаданно стало историей?.. Нет, ничего там не случилось, все дело в том, что читается он как документ о другой эпохе, из минувшей жизни, с малоопытными ныне чувствами.

О нашем путешествии на «Победе» я никогда не писал. Оно осталось для себя, ушло внутрь, растворилось... Растворилось — и что? Что же от него осталось? Читая дневник, я вспоминал происхождение некоторых своих привычек, уроки, воспринятые от Паустовского. Так вспомнилось то, что произошло в Афинах.

У нас выпало несколько свободных часов после осмотра Акрополя, после музея, после обеда с концертом, с послом и тостами. Свободное от программы время. Главное — свободное от толпы своих, от поясне-

ний гида, вопросов, команд старост групп. Это были блаженные, святые, самые драгоценнейшие часы, когда мы могли чувствовать себя путешественниками. Затеяться чужестранцем в иностранной толпе. Неизвестная площадь за углом. Холодок страха — ты один, далеко на чужбине, никто не знает, куда ты пошел, куда свернул. Гангстеры, шпионы, разведка и прочая мура, которой тогда набита была моя голова. Я предложил Паустовскому проехать город на автобусе, потом вернуться пешком, сверяясь с планом. Паустовский отказался, сослался на усталость. Зной этого огромного дня истомил, с утра мы карабкались по сухому холму к Парфенону; камни, небо — все было раскалено, выжжено, залито беспощадным неподвижным солнцем.

Паустовский сказал, что лучше он посидит под зонтиком уличного кафе. Он и меня пригласил, но я, выпив с ним оранжад, оставил его в непрочной тени кафе и ринулся в мраморную духовку города, в центр, оттуда в деловые кварталы, потом в район особняков, в толпу, в бульвары. Что за той аркой? А там, в переулке? К тому же я еще фотографировал. На автобусе до парка и обратно. Судя по плану, я обегал почти весь центр. Успел осмотреть все помеченное цифрами на карте. Я выложился в этом марафоне до отказа, как настоящий стайер.

Поздно вечером мы вернулись в Пирей, на свой теплоход. Я был вымотан и доволен. Мы лежали на шезлонгах, и я рассказывал Константину Георгиевичу про Афины. То есть о том, сколько я исходил, обегал, о том, что я отщелкал три пленки, осмотрел почти все стоящее.

— А вы что успели? Где были? — спросил я.

— О, я так и просидел в этом кафе, — сказал Паустовский.

Было жаль его и было немного стыдно, что я, молодой, здоровый, расхвастался перед пожилым человеком, у которого не хватило сил носиться по городу. Он слушал меня внимательно, но как-то без обычного живого интереса.

Отплытие задерживалось. Вдали за пирсом сверкал люминесцентными лампами портовый кабак. Оттуда доносились музыка, шум. Там танцевали. Вышла рослая девка с тремя матросами. Двое были в беретах с помпонами, один в белой фуражке. Все трое стали драться, девица курила и ждала. Голубоватый, холод-

ный свет в темной жаркой ночи делал зрелище театральным. Завыла полицейская машина. Полицейские в желтых рубашках выскочили, схватили двоих. Третий сидел, взявшись за голову. Девка исчезла. Представление кончилось. Побольше терпения — и мы могли дожидаться следующего действия.

Пока мы шли к Италии, Паустовский время от времени рассказывал: сперва про парочку, которая сидела в афинском кафе за соседним столиком, он — китаец, она — молоденькая мулатка, потом про монахов-доминиканцев, про драку афинских мальчишек и продавца губок, про борзую и терьера, которые жили напротив кафе во дворе мраморного особняка. Конца и края не было его рассказам. Там, в кафе, к нему подседа старушка, американская туристка, она была из Ростова-на-Дону, вдова пароходовладельца, в Америке она помогала Михаилу Чехову, а дети ее учились у Питирима Сорокина. И официант тоже знал русский и вступил в разговор с ними, он служил когда-то в Афонском монастыре.

Спустя месяц, дома, я проявлял пленки. То, что это Афины, я узнал только по буквам на вывесках. Больше всего меня поразил один памятник. Несколько раз я его отснял, с разных точек, но я совершенно не помнил этого памятника, ни площади, на которой он стоял. Судя по фотографиям, он был из белого мрамора. Фотографии были как чужие, сделанные кем-то, в незнакомом месте.

Перелистывая путеводитель, я наконец нашел, что это памятник Байрону. Сам я этого памятника не видел, снимал, а не видел, все внимание ушло на выбор освещения, экспозиции. И с остальными снимками обстояло почти так же. На фотобумаге появлялись незнакомые мне места, ворота, витрины. Ничто не откликалось этим снимкам, никаких воспоминаний. Были Афины или не были? Скорее, что не были, все слилось в потную беготню. Афины у меня остались прежде всего из рассказов Паустовского. Случай этот заставил усвоить совсем не простую истину: как много можно увидеть на одном месте. Путешествие не сводится к поглощению пространства. Нам кажется, что мы больше узнаем двигаясь, но о чужой стране можно кое-что узнать, просидев несколько часов в уличном кафе.

Урок был нагляден, но применил я его не сразу. Долго еще было — побольше стран. А в стране — объез-

дить побольше городов. Побывать там и там. Количество. Верх брало хищное крикливое количество.

Спали мы на шлюпочной палубе, застланной толстой парусиной. Приволакивали из кают свои матрацы и подушки и ложились компаниями. Однажды с нами лег Константин Георгиевич. Ночью проходили Гибралтар. Паустовский нас разбудил. Его разбудил капитан. Белье было сырое. Близко была Африка, она дышала из черноты раскаленными берегами, и ветер временами доносил тропическую влажную духоту. «Чувствуете?!» — спрашивал Паустовский. Время от времени из рубки общую нашу постель медленно обшаривал прожектор. Паустовский показал нам огни Гибралтара, крепостные сооружения, освещенные слабым желтым светом, фигуры часовых. Сквозь темноту Гибралтар возникал как увиденный, обозначенный словами Паустовского. Глуховатый, чуть надтреснутый голос его обводил контуры, стертые туманом, сумерками, а то и невниманием нашим. И по сей день Гибралтар висит в памяти, как картина, вместе с той ночью, тихим ходом корабля мимо близких огней, что-то сигнализирующих...

В Ватикане мы встретили монаха-словака. У Паустовского в дневнике это обозначено тремя словами: «Монах, миссионер, эрудиция». А было так. Мы стояли на площади у собора Святого Петра после того, как папа сверху благословил толпу паломников. Люди начали расходиться. Нас изумляло их благоговейное, а то и восторженное чувство к старику, который показался в окне дворца. В те годы мы не могли понять религиозного состояния западного просвещенного человека здесь, в центре Европы. Католицизм был нам неведом. «Верующий» означало, как правило, «темный, малограмотный», это были одуроченные бабы, одинокие убогие старушки. Почему я говорю «мы»? Может, Паустовский, Рахманов, Катерли — люди старшего поколения — понимали религиозное чувство? Может быть, не знаю, но внешне разницы поколений здесь не чувствовалось. Епископов и кардиналов мы представляли себе главным образом из романов Стендаля, Дюма и из «Овода». Мы, во всяком случае я и Серега Орлов, да и Расул, мы были невежественны, самоуверенны и все же смущены величием соборов, их красотой, толпами молящихся, нас поражали одухотворенные лица монахов в уличной толпе, францисканцы в коричневых власяницах, подпоясанных белыми веревками, стертая от

поцелуев ступня мраморного святого Петра, которая торчала, как обломок кости. Люди уходили, на их место слетались голуби. Мы стояли втроем: Паустовский, Рахманов и я. Услышав русскую речь, к нам подошел монах. Получилось так, что он подошел ко мне. Мы фотографировались по очереди, в это время фотографировали меня. Паустовский и Рахманов возились поодаль с аппаратом, монах обратился ко мне на хорошем русском языке: не туристы ли мы из Советского Союза, газеты писали, что в нашей группе есть несколько писателей. Не здесь ли они?

Скорее всего, это был священник какого-то крупного сана, потому что, когда ветер отдувал полу его черной сутаны, она вспыхивала алым шелком подкладки.

Русская его чистая речь насторожила меня. И совпадение насторожило. Почему он обратился именно к нам, ко мне? А он улыбнулся, слабо так улыбнулся, своей удаче, счастливому случаю, который помог найти тех, кого надо, поскольку время не терпит, тяжело больна сестра русского поэта, имя которого нам должно быть известно, Вячеслава Иванова, она работала в библиотеке Ватикана. Иванов хотел передать свои архивы на родину. Об условиях нам может сообщить его сестра. Живет она тут, в Ватикане, в двух шагах, не соглашусь ли я зайти к ней?

Вот они, настигли нас те иезуиты, о которых столько предупреждали. Все, все было подозрительно, начиная с русского языка. Первое чувство, когда кто-то незнакомый заговаривал со мною на русском языке здесь, на Западе, была настороженность. Паустовский кивал мне, довольный тем, что возник такой любопытный кадр: я беседую с монахом. Они там, в десяти шагах, ни о чем не догадывались, и с моей стороны было бы бессовестно вмешивать их в эту опасную историю. Монах продолжал приглашать, не понимая, что мне мешает пойти с ним. У нас действительно оставалось еще около часа свободного времени. И что-то подкупало в открытом и печальном его лице. Я подумал: а вдруг все правда и надо бы пойти, — но тут же представил себе, как тяжелые ворота захлопнутся за нами, представил каменные подземелья Ватикана, лабиринты, стражу, темницы. Отчаянный, постыдный страх охватил меня. Кому я нужен в этом Ватикане, что с меня взять — об этом я не думал. Само собой полагалось, что каждый из нас — желанная добыча для иезуитов. Представить

только, что мне было уже за тридцать, я прошел всю войну, имел высшее образование, считался рискованым человеком... Помню отчетливо, как у меня промелькнуло: хорошо, что Паустовский фотографирует, монаха этого удастся разыскать, обнаружить.

Я залепетал о том, что если бы раньше, сейчас уже нет времени, мы должны уезжать. Монах вздохнул, извинился, предложив записать адрес сестры, может, наши представители спишутся с ней...

Этот свободный час ушел на хождение по прилегающим улочкам. В лавочках, вывернутых наружу, продавали сувенирно-ватиканскую белиберду. Вот мы ее и рассматривали. Жестяные распятия, блюдечки, висульки, рогульки, гляделки, четки, иконки... Я чувствовал себя отвратительно. На войне, под пулями, вроде бы не трусил, даже вызывался сам несколько раз в разведку. Паустовский с Рахмановым меня утешали тем, что архивом этим никого у нас не заинтересуешь...

До этого случая я посмеивался над нашими спутниками, над их замечаниями, вкусами. Кто-то из наших туристов в Сикстинской капелле задал вопрос, от которого привычный ко всему гид пошатнулся: сколько весит Сикстинская капелла? Спросил, занеся свой карандаш над своим блокнотиком, куда аккуратно записывал квадратные метры росписи, количество фигур, сколько лет потрачено. Для полноты сведений ему нужен был и вес капеллы, ничего смешного! Мне всегда любопытно, какова судьба этих блокнотиков? Вполне возможно, что они-то и отбивали всякую охоту записывать.

По дороге на Капри к нам на пароходике пристроились два старичка-неаполитанца. Старики слабенькими голосами запели «Прощай, Неаполь», «Скажите, девушки». Пели мило, мы похлопали, одарили их папиросами и значками. Папиросы вызвали удивление, в них видели жульническое — табак набит не полностью, до половины! Все было умилительно-приятно, под стать сладостному пейзажу с профилем Капри, как бы нарисованным детской рукой, пока старички не сообщили, что все неаполитанцы — хорошие певцы и хорошие любовники. Они сказали это «все» отчасти из скромности, отчасти же желая повеселить наших дам. За что и получили отпор. Две девицы из Свердловска, которые до того весело им подпевали, выпрямились и твердо

заявили неаполитанцам, что наши любовники лучше. Это звучало всерьез, как отпор, никто не посмел спросить, откуда это им известно. Старички притихли, не понимая, за что на них прикрикнули.

На теплоходе налачился быт, веселый корабельный быт с танцами, играми, знакомствами. Мешала только жара. Мы не вылезали из бассейна. Можно сказать и так — мы вылезали из бара, чтобы влезть в бассейн. Я осваивал в бассейне купленные в Италии лазурные ласты, маску и трубку. В те времена акваланговая оснастка выглядела диковинно. Я затратил на нее половину полученной валюты. Все меня бранили, кроме Паустовского, глаза его мечтательно туманились при виде амфибийных этих доспехов. Еще несколько лет среди купальщиков Финского залива, Коктебеля мое снаряжение вызывало зависть. Поначалу, как пишет Паустовский, я чуть не утонул, приучаясь нырять. Утонуть в бассейне я не мог, но вызывал страх у сидящих вокруг. Женщины сидели в купальниках, изнемогая от жары. Жара выгоняла их из наготовленных в поездку нарядов. Втуне пропадало искусство портных, модные платья с роскошными отделками. Остались просто женщины в купальниках, старые и молодые, ничем не украшенные... Мы уходили в бар, пили коньяк. Расул Гамзатов был неистощим на тосты и на байки, он мог пить много, не пьянея. Мы все могли тогда пить, несмотря на жару. Николай Павлович Акимов пристраивался сбоку и рисовал кого-нибудь. Некоторые портреты получались сразу. Меня он повел к себе в каюту и заставил специально позировать. Мой портрет не давался. Получалось нечто перекошенное, старообразное. Акимов злился на меня. Спустя двадцать лет в Союзе художников было открытие выставки картин Н. П. Акимова. Меня просили выступить на открытии. Я сказал, что мое поколение росло среди удивительных премьер акимовского театра. Про акимовские декорации, своеобразные, неожиданные, всегда узнаваемые. Настоящему таланту присуще быть узнаваемым, не похожим на других. Театральные афиши Акимова были уличной живописью Ленинграда. Потом я пошел по выставке, вспоминая юность, старые спектакли, на которые попадал, выпрашивая лишний билетик, узнавал портреты людей, которых давно нет, которые доживали при мне последние свои годы, а я-то думал, что они будут еще долго — Евгений Шварц, Юрий Тынянов,

Николай Симонов, Ирина Зарубина, Михаил Лозинский... Среди графики я увидел свой портрет. Один из тех неудачных набросков. Я не сразу узнал себя, таким я был там красивым и счастливым. Все же Акимов что-то схватил — нетерпение, взбудораженность того путешествия, когда я открывал для себя неведомые миры, то, что автомобили могут быть золотистые, карминовые, а не только черные, открывал Парфенон и оранжад, миллионеров, шлепающих босиком в Сорренто, и проституток, медленно едущих в открытых машинах, Лазурный грот и бананы. Я разглядывал рисунок, вспоминая, как я сидел у Николая Павловича, вспоминал его самого, острое лицо, едкий его язык, холодноватую иронию, которая и притягивала к себе, и отталкивала. Можно было порезаться. Слишком остро. Внешне Паустовский и Акимов были чем-то схожи. Небольшого роста, поджарые, смуглые, с индейским профилем. Но Паустовский не соответствовал своей внешности, он был мягок и терпелив, уютен и добр. В нем привлекала открытость, незащитность.

«...Розыгрыш Градина, радио мне от Симонова: „Прошу телеграфировать мнение французской общественности о последних стихах Грибачева“». На радиорубке я договорился с радистом. Он написал на бланке текст от имени Симонова. К. М. Симонов был тогда редактором «Литературной газеты». Обычно перед обедом объявляли на весь теплоход, кому есть радиogramмы. Паустовский спустился в зал ресторана, размахивая зеленым бланком. Лицо его пылало от возмущения. «Что за чушь! Что они там думают, что в Париже строят баррикады? С какой стати я должен заниматься этими стихами. Смешно выяснять такие вещи. Не для этого я еду в Париж. Пусть не рассчитывают!» Он долго не мог успокоиться. «Симонов пользуется моим отношением к нему. Но это чересчур». Он хотел послать ответ Симонову. Пришлось сознаться в розыгрыше. Я сделал это не без смущения. Шути, да знай меру. Все же это был Паустовский. Надо было считаться с разницей лет и положений. Итак, я повинился. Некоторое время Паустовский разглядывал меня молча, взгляд его колющий, металлический был не очень-то приятным, но вдруг он расхохотался. Непроизвольно. Хотел рассердиться, но, видно, представил себя, потрясающего зеленым бланком, и расхохотался.

Собственная доверчивость веселила его. Надо же быть таким болваном, таким легковерным дурнем. Тонкие морщинки смеха смяли, смягчили его лицо. Он был в полном восторге и думать не думал обижаться.

Вот тогда-то меня и озадачила его необидчивость и готовность первым смеяться над собой. От этого он нисколько не проигрывал, становился ближе и дороже. А что, если писателю, да и любому художнику, самоирония помогает? Паустовский умел смеяться над собой охотнее, чем над другими. Он относился к себе без всякого почтения, не заводил разговоров о себе, о своих книгах, рецензиях, успехах — этих пыльных клубах славы, которые иной сам же и поднимает. У нас перед глазами маячил пример в лице одного известного публициста. Все путешествие он говорил только о себе. Остальные темы были ему скучны. О чем бы ни шла речь — о вулканах, о Бискайском заливе, о врачах — через несколько минут все приходило к нему, к его особе. Самоуменьшение — он не понимал, что это такое. Но ведь было же. Мог же Чехов признаваться, что не понимает жизнь. Мог же он говорить Бунину: «Меня будут читать еще лет семь, не больше». Мог же наш великий историк С. М. Соловьев считать свою работу лишь расчисткой пути для тех, кто следом за ним должен написать историю России лучше него. Паустовский никогда всерьез не относился к своей писательской персоне и от этого только вырастал.

Как-то, живя в Дубултах, я отпечатал на машинке письмо, в котором работницы молочного завода в Майори приглашали дорогого писателя К. Г. Паустовского на свой вечер, посвященный Международному женскому дню. В затею были посвящены соседи по столу Эм. Миндлин и Юра Казаков. Получив это письмо, Константин Георгиевич стал уговаривать нас пойти вместе с ним. Мы согласились проводить его до клуба, где действительно должен был состояться вечер, висела афиша, из которой-то я и узнал про вечер. Мы проводили, но не ушли, остались ждать, готовясь к возвращению Паустовского. Миндлин несколько тревожился — бестактная шутка. Теперь и сам понимаю, а тогда отмахнулся — Паустовский на такие вещи не обижается. В ту весну в Дубултах мы с удовольствием разыгрывали друг друга, подшучивали, подсмеивались над со-

бою. Что мы есть — трава среди деревьев. Это сравнение мне тогда очень нравилось. А что касается того вечера в Майори, то мы еще долго топтались под окнами освещенного клуба. Было холодно. Лужи покрывались хрустким льдом. Гремела музыка. Паустовского мы не дождались. Наутро, щуря глаза в неясной усмешке, он жалел нас: зря мы не зашли, сперва при его появлении произошло некоторое замешательство, но потом все обрадовались, и он провел чудесный вечер, а мы?..

Третий урок состоялся в Париже, в Лувре. Встречи с Парижем Паустовский ждал многие годы. Может быть, с юности. Он должен был увидеть Париж. В поезде из Гавра в Париж он сказал: «Подумать только — я мог умереть и не увидеть Парижа!» Из всех городов Запада русского человека почему-то более всего влечет Париж. Спустя три года после нашего путешествия Паустовский описал первое это свидание с Парижем в своем очерке «Мимолетный Париж». Тогда этот очерк мне понравился. Сегодня он читается плохо. Проступили банальности, болтливость. Книги стареют, как люди, становятся многословными, повторяют вещи общеизвестные, притом многозначительным тоном. Однако некоторые страницы очерка вдруг трогают ненынешним чувством авторского восторга и умиления. Сентиментальность приторна, наивна, и все-таки она нужна человеку. Еще в первом прочтении меня удивляла память Паустовского, как много он увидел и запомнил, я был там же, смотрел то же самое и ничего этого не приметил. Целый рассказ у него про мальчика-лифтера, подробности нашего знакомства с Лидией Николаевной Дилекторской и ее сестрой, и то, как ехали к ней, в ее квартиру, и сама квартирка, увешанная картинами Матисса, и то, как мы ходили на Центральный рынок и что там было. Поразительно интересно, когда другой описывает то, что вместе видели, делали, пережили. Порою многое раздражает — и то было не так, и это. У Паустовского тоже не так, но у него не потому, что не так, а потому, что он больше увидел и домыслил. Увиденное для него лишь начало. Оно — завязка. В нашей маленькой гостинице в Париже он сделал весь ее персонал бывшими циркачами, стулья в ресторанчике расшатанными оттого, что на них делал стойки администратор — бывший акробат. Ничего подобного не было. Но могло быть, могло, потому что

наша хозяйка была циркачкой. Одна она, и этого достаточно.

Про Лувр в этом очерке почти ничего нет. И в «Европейском дневнике» две короткие строчки. О самом сокровенном, личном — он избегал писать. Оставлял для себя. Нельзя все для печати. Перед поездкой в Лувр Паустовский предложил нам троим — Рахманову, Орлову и мне — ограничиться минимумом. Не бегать с толпой экскурсантов из зала в зал, не пытаться осмотреть даже лучшее. Константин Георгиевич живо представил нам в подробностях: тысячи картин, и все знаменитые — Рембрандта и Веласкеса, школы всех веков, анфилады, переходы, этажи, разноязычные голоса гидов... «А мы посмотрим только Нику Самофракийскую, Венеру Милосскую и Джоконду. Проведем у каждой полчаса и уйдем».

К тому времени нас уже слегка подташнивало от музеев Греции, Италии, от мраморных скульптур, памятников, фресок, картин, гравюр, росписей. Все слиплось в сырой ком. План Паустовского понравился своей решительностью и простотой.

Ника, безголовая, безрукая, была непонятна. Фантазии моей не хватало представить ее в целости. Красота ее тела, что светилось сквозь каменные складки прозрачной туники, не действовала на меня без головы, без лица. Красоты одного тела оказалось мало. Скульптура передавала подвижность тела, воздушность ткани с искусством, непостижимым и поныне. Если древние умели такое, можно ли говорить о прогрессе в искусстве? Двигается ли искусство куда-нибудь? На галерный корабль такую фигуру ставили, на парусник — понятно, а на межпланетный она не пойдет, другую надо придумывать. Вот, примерно, куда меня завело, когда я разглядывал Нику. Чувств удивления и интереса надолго не хватило, зароились разные мысли. Мы продолжали стоять перед нею. Я украдкой взглянул на часы. Прошло пятнадцать минут. Не так-то просто истратить полчаса на одну вещь. Никогда я такого не делал. Смотреть, а чего в ней еще смотреть, все уже ясно. Изучать? Опять же — чего? Если бы я был искусствоведом... А уж переживать — тем более невозможно так долго. Непростое это оказалось дело. Куда легче двигаться, идти мимо разных полотен, гулять по музею, остановиться у какой-нибудь исторической сцены, полюбоваться красоткой, можно пейзажем.

Прочитаешь подпись «Тициан», ага, значит, надо еще раз взглянуть, заметить себе, вроде и в самом деле гениально.

Постояв еще немного, ради Паустовского, мы двинулись к Венере.

Как всякий, я навидался ее изображений. Теперь я стоял перед подлинником. Я знал, что должен волноваться. Кто только не стоял на этом месте, перед этим совершенным мрамором. Великие, известные, в сущности все просвещенные люди, что жили в Париже, и те, кто приезжал в Париж, все русские интеллигенты, все художники Европы, ее поэты, ученые, ее правители, — все считали необходимым являться сюда, к этой женщине. И вот теперь и я сподобился. И я смогу сказать, что видел Венеру Милосскую. Это было как вершина для альпиниста, отметка для получения разряда. Передо мною было воплощение женственности, общепризнанная мера красоты, гармонии, проверенная столетиями. Вспомнил очерк Глеба Успенского «Выпрямила». В самом деле, если бы можно было сосчитать, скольким людям помогла эта красота устоять, скольким вернула покой, силу, чувство любви к жизни, восхищения человеком?.. С Венерой, следовательно, разобрался, вникнул. А вот Джоконда...

Не хочу рассказывать о первом чувстве разочарования перед Джокондой, не это важно. О картине я писать не собираюсь, и о своих мыслях тоже. Что-то было вначале, а потом пропало. Никаких мыслей не стало, а был уход, я не заметил, как стал уходить в картину, погружаться в нее. И она уходила в меня. Так бывает, когда долго стоишь перед морем. Или лежишь, глядя в небо. За четверть века то чувство давно стерлось, осталось от него воспоминание того, как стоял я без мыслей, забыв о времени. Через несколько лет, снова будучи в Лувре, я к Джоконде не подошел и больше не подойду. Очнулся я, увидев, что Паустовский плачет, и показалось это естественным. Мы вышли из Лувра, ни на что более не взглянув. Устали. Сели на скамейку и долго сидели молча.

Выходило, что одна картина может дать больше, чем целая галерея, если эту картину удастся пережить. Выходило, что у картины можно простоять и полчаса, и больше. Одна картина, одна книга... Пусть не одна, пусть немного.

Недавно, будучи в Хельсинки, я увидел памятник Сибелиусу. Он стоит в парке. Я сел на скамейку и просидел перед ним долго, вволю. На скальном камне, на столбах подняты были трубы, пучок труб, нечто вроде органа. Трубы были разными, каждая повреждена по-своему — пробита как бы пулеметной очередью, разворочена, треснута, разрезана. Темный неясный смысл был в этих ранах, никак было не добраться до него. Орган пел. Ветер с озера исполнял свою музыку в исковерканных трубах. Звуки шли чистые, тихие. Сбоку, на гранитном отрубе поблескивал стальной барельеф Сибелиуса. Был он отлит из той же стали, что и трубы вознесенного над нами органа. Портрет Сибелиуса показался необязательным. Не все ли равно, какая внешность была у композитора. Важна была его музыка, где есть эти озера, камни, сосны бедной северной природы, скупые ее краски, финны, сидящие в парке на тяжелых деревянных скамьях. Музыка создает внутренний образ автора.

Дул ветер, а вода озера лежала неподвижно, как стальной лист. Давно я не вспоминал Паустовского, хотя жил, пользуясь кое-чем из его уроков, — и сидел в этом парке перед памятником потому, что когда-то стоял с ним в Лувре.

Читая скупые фразы «Европейского дневника», слишком скупые, так что теперь многого не раскрыть, не понять, я убеждался, что эта скупость уберегла дневник от старения. Дневник выгодно отличается от сделанных о поездке очерков. В нем идет непрерывная работа чувствования, стремление понять увиденное. В течение всего пути. «Вышли в Эгейское море. Лиловая шелковая вода. Шествие великих и древних островов. Лесбос. Колыбель человечества».

Замечали вы, что дневники вообще отличаются завидным долголетием?! Они не так быстро портятся. В них меньше литературщины, украшательства, крема. Дневник — он все же для себя. Даже лукавя и хитря и надеясь, что потомки станут вникать, все равно много тут «длясебятины», без расчета на читателя, без моды, без влияний. Паустовский записывал кратко, но аккуратно, почти ничего не упуская. Он вел записи, как судовой журнал. Прочитав дневник Паустовского, я стал спрашивать у всех, кто жив, у наследников тех, кто умер, — оказалось, никаких дневников или обстоя-

тельных записей не осталось. Так, отдельные заметки. Писателей было человек десять. Почему мы ничего не записывали? Почему мы не считали себя обязанными? Почему не было у нас профессиональной потребности? Один Паустовский чувствовал себя путешественником, открывателем, землепроходцем. Это сегодня поездкой во Францию никого не удивишь. В 1956 году Паустовский ехал в Европу, как к инопланетянам. Европейские следы Бабеля, Маяковского, Пастернака были занесены, перепаханы войной.

В очерке о Неаполе «Толпа на набережной» Паустовский ведет рассказ, будто он приехал в Неаполь сам по себе. Нас там нет. Все приключается с ним одним, одиноким путешественником. В поездке с нами он втайне совершал и другое путешествие — без нас. Как бы самостоятельно, без огромной толпы туристов с автобусами, старостами, перекличкой. Как бы сам останавливался в отелях, знакомился, попадал в истории, не торопясь наблюдал чужую жизнь. Он путешествовал больше, чем ездил. Его любимцем был Миклухо-Маклай — «человек, обязанный путешествиям силой и обаянием своей личности». Он любил вспоминать Пржевальского, Нансена, Лазарева, Дарвина.

Большей частью мы становимся писателями, когда садимся за письменный стол, когда «божественный глагол до слуха чуткого коснется». Паустовский пребывал писателем и не работая. Он жил по-писательски, вел себя по-писательски...

Однажды, когда мы с Паустовским стояли у борта, на дрожащем от зноя горизонте океана показался пароход. Медленно вырастал из обреза воды нам навстречу. Паустовский разглядывал его в бинокль, судя по очертаниям, сказал он, это французский торговый пароход «Аякс». Построен еще перед первой мировой войной для перевозки вин и фруктов. Первым капитаном на нем был потомок Бенигсена, Альберт Бенигсен. И дальше Паустовский рассказал удивительную историю про то, как «Аякс», застигнутый штормом, искал убежища на африканском берегу в маленькой закрытой бухте, где обозначено было какое-то подобие порта. Однако пирсы оказались почему-то пустыми, в поселке не было видно ни души. Зной и безлюдная тишина царили на берегу. Пароход причалил, подал несколько гудков, в ответ послышался рев. На дощатый пирс вышел лев, за ним другой. Львы подошли ближе к чугунным кнехтам, не

боясь ни парохода, ни людей, и ревели, но как-то странно — хрипло, прерывисто. За ними стали выходить львицы, молодые львы, львята, они заполнили весь пирс, берег. Они ложились и смотрели на пароход. Их набралось около сотни. Команда взялась за ружья, но Бенигсен не разрешил стрелять. Он внимательно разглядывал это невиданное скопление львов, затем приказал налить ведра воды, спустился с ними по сходням и поставил ведра перед львами. Его не тронули. Первый лев подошел, лизнул воду, потом стал не лакать, а втягивать ее. Они подходили один за другим. Бенигсен велел наполнить питьевой водой большой бак, что стоял на камбузе. Его снесли на берег и туда ведрами подливали воду. Львы толпились, как овцы. Они терлись боками о ноги матросов. Львам отдали почти весь запас пресной воды. Когда «Аякс» пришел в Пирей, в цистернах не оставалось ни литра воды, команде выдавали вино. В Сицилии Бенигсен узнал о страшной засухе, поразившей Алжир.

Пароход меж тем приблизился. Без бинокля можно было рассмотреть на нем флаг с голубым крестом. Это был новенький финский лесовоз. Он прошел от нас неподалеку, и я удержался, — господи, как я благодарен судьбе или как там оно называется, что удержало мою не знающую снисхождения литературную молодость от насмешки, от того, чтобы уличить, ткнуть пальцем. Я был слишком привержен реализму, я не знал, что делать с этой сентиментальной историей, придуманной на ходу, а может, переиначенной из какого-то его рассказа; не сразу я оценил прелесть сочинительства, игры воображения и выдумки. Что ему до этого финского лесовоза, он его не заметил, в упор не видел, его «Аякс» плыл всегда вдаль, по лезвию горизонта, флаг был неразличим. Не ближе к жизни, а подальше. Паустовский знал жизнь, знал неплохо, но ему надо было отдалиться, чтобы черты ее не резали глаза; поодаль она теряла ту обязательность, когда остается лишь обводить увиденное. Если ему удавалось найти нужную дистанцию, можно было дорисовать свое, воображаемое. Жизнь давала толчок. Чуть в сторону, вбок. Его влекло необычное. Он умел высматривать среди монотонных будней что-то несостоявшееся. Это был нелегкий труд, жизнь старалась обернуться деловой трезвостью, служебными заботами. Вблизи жизнь угнетала, не допускала отклонений.

В Неаполе мы попали на карнавал. Маски кружились, танцевали, пели. Длинная набережная переливалась огнями иллюминаций, огромные картины были сделаны из неоновых ламп. На них катились экипажи, кони перебирали ногами, кавалер опускался на колено перед дамой, распускались кусты роз, юноша целовал красотку, она взмахивала рукой, и огненные птицы поднимались в небо. А в толпе черт с горящими рогами поднимал маску, и под ней оказывалась хохочущая девчонка.

Паустовский восхищался вместе с нами, но что-то смущало его, как будто он попал в один из рассказов Александра Грина. Как бы это выразиться... Такие вещи несовместимы: реальность и романтика. Либо — либо, одно убивает другое: «...и тут же распятья, где горят, как кровь, вишневые лампочки». И тут же рядом из лампочек рекламное изображение нового телефонного аппарата.

Акимов сказал нам о Евгении Шварце, что первое действие в его пьесах превосходно, а второго нет, не знает, чем кончить. Наблюдение это показалось справедливым, но Паустовский промолчал. Он сочувствовал не Акимову, а Шварцу. Необходимость выстраивать сюжет его угнетала. В этом было что-то от заигрывания с читателем. Если бы можно было писать без сюжетов, как бы ни о чем. Ни о чем — это был для него идеал прозы. Интересное начало, оно у Шварца само по себе драгоценность.

Время от времени в романтике начинают нуждаться. Паустовского то покидают, то возвращаются к нему. У него свое отдельное место, его можно узнать сразу, по нескольким строчкам. Писать под него — несложно. Труднее воспринимать мир, как он, с удивлением и восторгом, увидеть окружающее блистающим и странным.

Под деликатностью милого доброго сочинителя между тем таилась твердость, бескомпромиссность и спокойное бесстрашие. Мы испытали это в Болгарии, в Варне — первой нашей за границе. Впервые мы ступили на чужую землю. Было воскресенье. Десять автобусов ожидали нас в порту. Нас повезли по достопримечательностям, потом отпустили гулять по главной улице Варны. Движение было закрыто, и мы двигались вместе с толпой курортников, горожан. Не помню, то ли Сергей Орлов уведомил кого-то из своих болгарских однокашников по Литературному институту, то ли случайно

повстречались в Варне. Помню лишь, как мы уселись в парке большой компанией. Молодые болгарские поэты, писатели, друзья Сереги. Ходили по рукам бутылки «Плиски», ракии. Читали стихи, нам пели болгарские песни. Были там, кажется, Джагаров, Блага Димитрова; очнулись мы, когда кто-то посмотрел на часы. Пять часов, то есть время отплытия «Победы». Мы бежали в порт, как, наверное, уже никогда после не бегали, за нами неслись болгары с бутылками. Белоснежная громада теплохода еще стояла на месте. Но трап был уже поднят. Туристы толпились на всех палубах и, когда мы показались, закричали: «Вот они!»

Запыхавшись, мы остановились перед уходящей ввысь стеной борта, крохотные, приниженные. Стальная, холодная, она неприступно нависла над нами. Некоторое время нас выдерживали, как бы не замечая, потом спустили веревочную лестницу. Болгары, видно, не очень-то понимали, что нас ждет, они считали, что все обошлось, теплоход не ушел, это главное, и совали нам в карманы бутылки. Лестница раскачивалась. Я плохо переношу высоту, а у Сереги рука с войны была изувечена, да и сноровки у нас не было. Мы взбирались с трудом. Как я теперь понимаю, мы вполне могли гробануться. В трезвом виде мы наверняка не осилили бы этой цирковой лестницы. Это было свинство, мы лезли и матерились, только злость помогла нам. Когда перевалились на борт, мы уже не чувствовали себя виноватыми. Шли сквозь строй, на нас смотрели с осуждением, были и со злорадством — сейчас вам, голубчики выдадут! — и с возмущением — что позволяют себе! У нас отобрали паспорта, велели привести себя в порядок и ждать вызова в такую-то каюту. Мы отправились в бар.

Теплоход стоял еще около часа. Нас хотели списать на берег. Паустовского вызвали к начальству и попросили как старейшего подписать от имени писателей просьбу отправить нас назад поездом за нарушение дисциплины. Паустовский благодушно развел руками: «Что случилось? Ничего не случилось. Подумаешь, делов,— сказал он.— Разве у нас воинская часть? У нас, по-моему, туристская поездка. Мы едем смотреть. Мальчишки засмотрелись».

Неизвестно, что он там еще говорил, но теплоход отчалил. После ужина нас позвали в такую-то каюту,

там сидели начальники, в центре плечистый атлет, расчесанный на пробор. Он коротко допросил нас: с кем мы выпивали, где, — затем постучал пальцем по столу, как бы давая сигнал, и нас стали воспитывать. Что мы из себя строим богему. Нам доверили, нас выделили, и в первом же порту мы подвели всех, это не просто нарушение, такие, как мы, способны... Ну ничего, даром нам не пройдет. Чем они только нам не грозили и здесь, и по приезде домой. Больше мы не сойдем, ни в одном порту нас не выпустят. Заграницы нам не видать. Будем куковать на теплоходе.

— Послушай, — сказал Серега тому атлету. — Ты где был на войне?

Был он, оказывается, в Москве, а потом в Куйбышеве.

— А мы на фронте были. Танкистами были, — пояснил Серега. — Чего ж ты нас пугаешь, дяденька?

Придя с войны, мы делили всех мужиков на фронтовых и тыловых. Никаких оправданий мы не признавали, все было просто. Своими были только те, кто стрелял. Поначалу мы брэнчали орденами, медалями, но нас быстро окоротили, здесь тоже награждали за дело. В моем КБ те, кто не пошел в ополчение, стали там, за Уралом, пока мы воевали, шишками. Послушать их, так они натерпелись больше нашего. И те, кто ошивался в штабах, редакциях, и химики, и ремонтники, и боепиты — у всех имелись заслуги, все были причастны. Может, и были, но мы перестали носить даже колодки. Единственное, что отличало фронтовых, — это нашивки за ранения, но их на пиджак не присобачишь. Так постепенно все размазалось не разбери-поймешь. День Победы и то нельзя было как следует отметить, поскольку он оставался рабочим днем. Это мы, конечно, перешагивали, День Победы был наш, с утра по проспектам катили тележки инвалидов, гремели костыли, по всем шалманам, забегаловкам, пивнухам пели, пили, гуляли. По-прежнему никто не выставялся своими наградами. Фронтовик узнавал фронтовика и без того, не отмерло еще чутье, нюх собачий на окопно-орудийно-танковую шатию. Вспоминали, узнавали, кто, где, как устроился. Многие — не очень. Фронтовик, ну и что с того, что фронтовик! Чего права качаешь?! Но выпадали моменты, когда фронтовое наше происхождение давало себя знать.

Часы, проведенные в Варне, были прекрасны, и пле-

вать мы хотели на все дальнейшие заграницы. Пропадите вы с вашей Европой, с выходом на берег, с вашими запретами. Чем плохо сидеть в баре, плыть по океану, смотреть на порты и причалы, да о чем речь, счастье, что мы вообще живы, войну прошли и с тех пор одиннадцать лет живем! Мы отправились на палубу и пели под руководством Сергея Орлова: «Всю Европу за три перекура...» Была такая солдатская песня последнего года войны. Море нам было по колено и черт не брат. Константин Георгиевич уверен был, что все обойдется. Все и обошлось. «Раз вас не волнует, то и у них интереса не будет», — примерно так говорил он. Мы угощали его ракией, он учил нас жить. «Данила, уходить от женщины нужно так, — говорил он мне, — чтобы не заставляя ее страдать». «А от жены, — продолжал он, — взяв с собою только машинку и рукопись, ничего более».

При всей своей мягкости и доброте он мог быть непреклонным. Когда «Известия» напечатали статью, где разносилась книга Паустовского «Далекие годы», Константин Георгиевич написал опровержение. Газета опровержения не напечатала, но вскоре главный редактор, человек по тем временам влиятельный, позвонил Паустовскому и принес извинения, поскольку «факты в статье не совсем подтвердились». Что-то в этом роде. Паустовский ответил ему сухо: «Вы оскорбляете публично, а извиняетесь лично. Я не принимаю ваших извинений». И повесил трубку.

«Олеандры — деревья. Слова Гранина о чужой красоте». Что за слова, не помню. Про себя не помню, может, умное что сказал, и пропало. Обидно. Хорошо было Гете, за ним Эккерман ходил, записывал. От этого ему, может, и думалось лучше, мысли появлялись. А тут в кои веки произнесешь и сам не запишешь, и другие не подберут. Раздумья, досаду, печаль вызвала эта запись. Потери, потери... Например, про ужин в стокгольмской ратуше: «Речь Акимова». Ничего не расшифровано. Смутно что-то нащупывается — была какая-то речь, резкая, парадоксальная, мы ее потом долго обсуждали, но, сколько ни тереблю память, ничего не вытрясти. Разве что появился Николай Павлович Акимов на площади перед ратушей. Черный берет придавал ему вид европейский, в уличной толпе он не выделялся ни в Италии, ни в Швеции, артистическая натура его и природная элегантность помогали. Мы же

сразу обращали на себя внимание. Прежде всего шириной брюк. Дома костюмы наши считались модными, здесь же на каждом шагу ощущали ширину штанин, они развевались, как черные паруса. Большею частью костюмы наши были черных и синих тонов. Кругом мужики сухонькие, в легоньких продуваемых костюмчиках, одеты, в сущности, кое-как, мы же — как чугунные, плечи — во, затянуты в галстуки, застегнуты на все пуговицы, брючины полощутся, и стараемся ходить толпой. Сами жались друг к дружке — то не стыд, что вместе. А с брюками куда деваться — в гостинице не сузишь. Женщины наши в своем обмундировании маялись еще пуще, они на моды чувствительнее. Нас узнавали повсюду. Безошибочно. В парижском метро к нам с Сергеем Орловым подошли двое, муж и жена, и сразу: «Здравствуйте!» Эмигранты. А мы ведь стояли молча. Казалось, ничем не выделяемся. В бобочках, без пиджаков, у Сереги борода рыжая, скорее похож на норвежского моряка. А они — здравствуйте!

Было в этом узнавании и приятное — неожиданные знакомства. В Сорренто окружили нас бывшие итальянские партизаны, показывали свои военные фотографии... Но много лет еще, когда брюки наши достигли общепринятой узости, плащи укоротились, исчезли шляпы зеленого велюра, нас каким-то образом продолжали узнавать. И в Японии, и в Финляндии, и в Сиднее. Только в последнее время это прекратилось. Может, потому, что мы перестали на это обращать внимание, и многие поняли, что можно пренебрегать модой.

Кое-чем мы и тогда пренебрегали. С трудом. Гипс вроде сняли, а суставы не могли сгибаться. Разрабатывать надо было.

«Гид, бывшая русская, старуха в перчатках, всем недовольная».

Сразу вспомнил ее усохшую плоскую фигуру, так и вижу эту стерву, всю от висючих кудряшек, словно из пакли, до высоких нитяных перчаток, забинтованную, запакованную... Водила она нас по Помпее, а в термы не пустила. Хотя положено было по программе. Нравственность нашу блюла — там, мол, неприличные картинки, похабщина никому не нужная. Ей, этой мымре, может, и ненужная, а нам в самый раз. Молодость наша, и без того обгрызанная войной, была урезана строгостью школьных запретов, институтских общежи-

тий, где армия комендантов всю энергию устремляла на то, чтобы никто ни с кем, никто ни к кому.

И вот здесь, в Помпее, за тысячи верст от родимых ханжей, старорежимная эта белогвардейка лишала нас нашей законной программы, называла порнографией картины, сделанные две тысячи лет назад. Почему порнография? Для древних это было высокое искусство любви, культ любви с богатством ее радостей... Мы защищали древних этих мужиков лучшими словами, для нее же они были заодно с нынешними итальянцами — распутники, провонявшие чесноком. Брезгливо поджав губы, она стояла на своем, непреклонно, исто-во. Конечно, мы сами пошли в термы. Наше, положенное — отдай! Отправились под шипенье туристских дам: «Что о вас подумают! Какие интересы вы демонстрируете!»

«Гаага... Одинаковые домики, букеты цветов, колючий кустарник. С Акимовым по сумрачной улице. Велосипедисты с собаками в корзинах. Собаки лают на встречных».

Если бы так просто, без комментариев записывать увиденное. Не вмешиваясь. Придерживая свои суждения. «Вереница нарядных машин. Золотой ресторан. Из Хемингуэя. Лакеи во фраках красивые, как Оскар Уайльд. Ужин без хлеба. Просьба хлеба вызвала смятение». Здесь лишнее: «Из Хемингуэя». Тем более что Хемингуэй терпеть не мог шикарных ресторанов. Остальное безукоризненно. И ведь так каждый из нас мог, по-своему, но так.

«Гранин купил фарфоровую мельницу, она играет «Ах, майн либер Августин!» Он обескуражен».

Интересно, чем это я был обескуражен? И вообще тут неточно. Мельница была деревянная. Мельница была прелестная, внутри у нее зажигалась лампочка, крылья вертелись, она в точности была похожа на ту мельницу у Дельфта, посреди багрово-золотистых полей левкоев, тюльпанов и роз. Мельница была дорогой. Опять над моей покупкой недоумевали. Впрочем, никто не был доволен — кофточки плохо сидели, цвет не тот, туфли жали. А у Паустовского, если на то пошло, вообще произошел казус.

В Амстердаме нас привезли в универмаг. На сорок пять минут. Универмаг был огромен. Центральный зал, как театр, высокий, с ярусами галерей. Я не успел подняться, я застрял в отделе игрушек, сувениров, среди

детских и взрослых развлечений. Неподалеку от меня, в этом же отделе, копались Елена Катерли и Паустовский. Как всегда, Паустовского тянуло к гербам городов и флагом. Катерли, кажется, уже что-то успела купить по делу, женщина в любых магазинах расторопна и быстро ориентируется. Паустовский же зарылся в автоматах, луках со стрелами, парусниках, бумерангах.

Мельница нравилась мне тем, что она была игрушкой для всех друзей. Я купил ее, не колеблясь. Продавщица показывала Паустовскому вертолет. Желто-зеленый. Тогда они назывались геликоптеры. Пружинный завод действовал долго, чуть ли не пять минут. Вертолет был прекрасен. Паустовский решил купить его. Для Алеши или для Гали. Скорее всего, для себя. Всегда мы выбираем игрушки, в которые бы играли сами. Я взглянул на часы, пора было выбираться к автобусу. Катерли уговаривала Паустовского не брать вертолет, он был слишком дорогой. «Что вы купили, Данила?» — спросил Паустовский. Я показал ему мельницу. Мы вынули ее из коробки, она заиграла. «Видите!» — торжествующе сказал он Катерли и заплатил в кассу. Продавщица хотела упаковать геликоптер, но в последнюю минуту Паустовский решил проверить его полет. Мы отошли, завели его, винт завертелся, набирая обороты, и Паустовский подбросил игрушку вверх. Машина медленно стала набирать высоту. Жужжа, она поднималась все выше, запрокинув головы, мы зачарованно следили за желто-зеленой птичкой. Мы еще не осознали, что произошло. Издали нас окликнул староста, нас ждали. Вертолет неторопливо плыл где-то на высоте второго яруса, потом, так же не торопясь, почему-то стал удаляться в глубь галереи. «Воздушное течение», — удивленно сказал Паустовский и помахал ему вслед. Я порывался бежать наверх, искать вертолет, но Паустовский взял меня под руку и повел к автобусам. Продавщица что-то кричала нам вслед. Возможно, она просила подождать, а может, она хотела позвонить наверх, она не знала, что мы должны уезжать. Паустовский и ей помахал рукой.

В автобусе Паустовский сидел молча, глядя куда-то поверх голов, мечтательная улыбка не покидала его лица. Мы с Катерли хохотали. Почему-то никто из нас не испытывал ни сожаления от потери, ни сочувствия. Каким-то образом нам передалось ощущение Паустовского, и происшествие это превратилось в сказочную

веселую историю. Она летела над нами до Северного моря, где на бакенах звенели колокола...

То был тоже урок, один из самых трудных уроков. До конца так и не усвоенный, имелся еще какой-то секрет, который я так и не постиг. Нет-нет да я и огорчаюсь, теряя какие-то вещи, упуская из рук возможности, они улетают; а я досажую на себя и не умею видеть в этом волшебную игру судьбы.

Мельница сохранилась. И дочь, а затем внук ее почему-то пощадили. Правда, лампочка не горит, ключ утерян, заводить ее нельзя, краска стерлась, но если пальцем вертеть крылья, то кое-как, хрипя, дребезжа, она выводит: «Ах, майн либер Августин». Никто, кроме меня, этой мелодии не различает.

1982

Путешествия

НАД НАМИ КОЛОКОЛ

Когда человек приезжает из Франции, его не спрашивают:

— Ну как там Эйфелева башня? Стоит?

Про любую границу задают вполне осмысленные вопросы. Но попробуйте приехать из Австралии. Каждый, кто встречает вас, будь он даже лучший друг, задает один и тот же вопрос:

— Ну как там кенгуру? Видел? Прыгают?

Любой разговор начинается с вопроса о кенгуру. Ни образование, ни возраст, ни должность роли тут не играют. В дальнейшем человек может проявить широту своих интересов, но первый вопрос неизменен. Наиболее чуткие люди, заметив мой тоскливый взгляд, смущаются, и все-таки удержаться от этого вопроса не в силах. Кое-кто пытался извернуться, быть оригинальным. Лучше всех это удалось одному физику, известному своим острым умом и своеобразностью мышления.

— Небось, замучили, все спрашивают про кенгуру?— сказал он.

— Точно угадал,— обрадовался я.

— Пошляки. Ну и что ты им отвечаешь?— И глаза его загорелись.

Можно подумать, что кенгуру у нас более популярны, чем в Австралии. В то же время сведения о кенгуру самые противоречивые, во всяком случае, интерес к кенгуру выше среднего уровня знаний о них. Женщин почему-то особенно волнует сумка, в которой кенгуру носит детеныша: какой формы сумка, на молнии ли она, в моде ли сейчас такие сумки?

Я настолько привык начинать свой рассказ об Австралии с кенгуру, что по-иному уже не умею. Рухнула моя надежда начать свои путевые записки как-то необычно, свежо — например, описать полет над океаном,

улыбки стюардесс, спасательные жилеты, огни городов под крылом самолета, едко высмеять деление внутри самолета на классы и заклеить буржуев из первого класса...

Разумеется, и этого я не упущу, но начну с той минуты, с того жаркого февральского дня в заповеднике под Мельбурном, когда что-то огромное, сероватое перемахнуло почти над нашими головами поперек всей аллеи, через кусты и обочины. От неожиданности я вздрогнул, и Джон Моррисон засмеялся.

— Кенгуру, — сказал он.

И тотчас вслед за Джоном засмеялся кто-то наверху, высоко в зелени эвкалипта. Этот тип наверху хохотал все громче, призывая полюбоваться на приезжего невежду. Я обиделся. Джон утешающе взял меня под руку.

— Кукабарра, — сказал он.

Кукабарре стало совсем смешно, она сорвалась и полетела, превратившись в довольно невзрачную птицу.

На шум из-за деревьев вышел эму. Он зашагал прямо к нам, балетно переставляя свои стройные ноги. Плоский черный глаз его взирал на нас с высоты по меньшей мере правительственной. Эму остановился передо мной, и мне захотелось оправдаться перед ним, извиниться и обещать исправиться. Он был совсем не такой, как у Брема, и не такой, как в нашем зоосаде, он был с австралийского герба, олицетворение закона. Напевая государственный гимн, он проводил нас до калитки. Внутрь загородки он не пошел, поскольку там нас приветствовала кенгуру, тоже с герба. Их двое на гербе Австралии — эму и кенгуру. Вместо львов, орлов и прочих хищников.

Довольно большая компания кенгуру окружила нас. Никаких глупых вопросов они не задавали. Они оглядывали, обнюхивали, этого им было достаточно. Рослая мамаша любезно показала нам некоторые обычаи. Она вытряхнула из сумки детеныша, вывернула сумку и ловко стала чистить ее передними лапками, коротенькими, как детские ручки. Малыш запрыгал ко мне, ткнулся мордой в колени. Я наклонился, погладил его, взрослые кенгуру спокойно следили за мной, полные доверия. Я осторожно бродил среди них, касаясь их шелковистого серого меха. Они были неистощимо доверчивы, от их веры в человека становилось совестно.

Мамаша закончила чистку своей сумки, и малыш прыгнул туда, закинув себя, как мяч в баскетбольную корзину. Ноги его и хвост торчали из сумки, затем он перевернулся, высунул свою мордашу. И вдруг я почувствовал себя в Австралии. Я убедился, что это правда, я действительно нахожусь в этой стране. Аэродромы, взлеты, посадки, кварталы Сиднея, потоки автомашин, цветы, объятия, вспышки блицев — все, что беспорядочно сваливалось за последние дни в какую-то неразобранную грудку, было, оказывается, ожиданием. Мы уже побывали в Сиднее, в Канберре, снова в Сиднее, но я все еще плохо верил в подлинность происходящего. Сидней, разумеется, был подлинный, а вот я находился по отношению к нему в каком-то ином измерении. Там, в городах, тайное сомнение не исчезало.

— Послушайте, кенгуру, — сказал я, — значит, все это правда?

— Наконец-то, — сказал старый кенгуру и отпрыгнул в сторону, чтобы я мог сфотографировать его.

Джон стоял поодаль под банксией, я сфотографировал и его. Я фотографировал какаду, черных лебедей, лирохвостов, летучих белок, опоссумов, медвежастых вомбатов, смешную серенькую птичку, которую звали палач. Они все тут жили на свободе, почти естественной своей жизнью, так, как они жили тысячелетия до прихода белого человека. В заповеднике белый человек вел себя так, как должен был вести себя, если бы он был разумным существом. Он не хотел стрелять, гнаться, не дергал никого за хвост, не тыкал в морду сигаретой, не кидал в опоссумов камнями. Странная мысль занимала меня: может быть, есть смысл создавать побольше таких заповедников для воспитания людей. В заповедники привозят людей, и животные их там воспитывают, делают их людьми.

Фауна Австралии самой природой приспособлена для воспитательной работы. Здесь нет хищников. Единственный хищник — динго, и то его считают одичалой домашней собакой, некогда привезенной сюда аборигенами.

Стоит увидеть блаженно-добрейшую физиономию коала, и становится ясно, что такие наивные, доверчивые чудачки могли появиться лишь в стране, не знающей хищников. Коала — маленький медвежонок, величиной с подушку, не больше. Целыми днями он висит на деревьях. Поест листьев эвкалипта и дремлет. Он пре-

зирает суету, всяческие стремления и поиски. Он всем доволен, лишь бы его не беспокоили, он величайший эпикуреец. Другие страны его не интересуют, и он добился своего: ни в одном зоосаде мира коала не бывает, поскольку он может питаться лишь определенным видом эвкалиптовых листьев.

Заповедник — это кусок буша. А буш — это австралийский лес.

— Австралия — не Сидней, не Мельбурн и даже не фермы, — внушал нам Алан Маршалл. — Наша страна — это прежде всего буш, и пока вы не побываете в буше, вы ничего не поймете.

И он отправил Джона Моррисона с нами в буш.

Еще в Москве мне попалась книга рассказов Моррисона. Он пишет предельно точно и серьезно. Его рассказы запоминаются. Это, конечно, необязательно, чтобы рассказы запоминались, это всего лишь свойство таланта. Писатель часто и не ставит себе такой задачи, получается это само по себе в результате действия каких-то мало еще выясненных составляющих. Тем не менее я предпочитаю рассказы, которые запоминаются и остаются со мной.

Я знал, что Джон Моррисон работает садовником. Я знал, что за рубежом редкие писатели могут прожить на литературные заработки. Но было грустно, что писатель такого таланта, как Джон Моррисон, вынужден работать садовником, в то время как писатели куда меньшего калибра могут нанимать себе садовников...

Когда в доме Алана Маршалла я познакомился с Моррисоном, не было никакого садовника, обиженного судьбой, несправедливостью, постылой работой. Был обаятельный, скромный, умудренный жизнью известный писатель Джон Моррисон. Он расспрашивал о новинках советской литературы, о своих московских знакомых, он был мягок, деликатен, даже несколько изыскан. Только здесь, в буше, он стал другим: походка сделалась упругой, руки большими, тяжелыми. Он все видел, все замечал — самые малые травы, легкие запахи, птиц, затаившихся в кустах. Он давно научился пользоваться льготами своей трудной жизни. Это был завидный дар — превращать тяготы в преимущество.

Мы долго ходили по заповеднику, болтали с маленькими попугайчиками, раскрашенными с неистощимой выдумкой. Палитра природы поражала любое воображе-

ние. ~~Бесчисленные~~ Бесчисленные, самые, казалось бы, невероятные сочетания цветов отличались безукоризненным вкусом.

Почему-то природа никогда не бывает безвкусной в подборе красок. Из тысяч попугаев — какаду, лори, какапо и еще бог знает скольких видов — мы не нашли ни одного, которого можно было бы высмеять: «разодет как попугай». Ничего не повторялось, и все было красиво.

В застекленном бассейне ныряли утконосы, бродили красавцы лирохвосты, пробегали безобидные и поэтому страшные на вид огромные ящерицы — игуаны, ползали австралийские черепахи, толкались неповоротливые вомбаты... И среди всего этого доброго, забавного племени Джон был как пастырь, как Ной на своем ковчеге.

Притомясь, мы уселись в тени на скамейку, закурили.

— Послушай,— сказал Джон.

Сверху раздался звук колокола. Чистый и звонкий. Ему откликнулся другой, потом третий. В вышине перезванивались колокола. Частые удары неслись с вершин эвкалиптов, как будто на зеленых колокольнях невидимые звонари вызванивали торжественное и радостное. Что-то мне это напоминало, как будто со мной уже было такое.

— Это такая птица,— говорит Джон,— птица-колокол. Панпан-панелла,— пропел он, подражая.

Кукабарра с ее смехом не так удивила меня, как этот колокол. Чего только не изготавливает природа в своих мастерских! Я позавидовал Джону, его близости к этому миру. Мир природы, мир птиц, цветов, животных, деревьев по-прежнему еще выигрывал перед миром физики, миром лабораторий, машин, приборов. Не очень правильным было это противопоставление, и все же я невольно занимался им и завидовал Джону. Вот тогда-то Джон Моррисон — садовник, Джон Моррисон — бывший докер и Джон Моррисон — писатель воссоединились для меня в одно.

И, кроме того, я завидовал Джону, что он мог показать мне чудеса своей родины не в тесных вонючих клетках зоопарка, а в этом солнечном просторном естестве.

Мне тоже хотелось бы показывать гостям природу моего Севера, не такую броскую, яркую, но не менее милую. Лес, где бесстрашно бегали бы ежи, и зайцы,

и белки и летали бы утки, журавли, бродили бы лоси, куковали кукушки, пели соловьи, и чтобы в реке возились бобры и выдры, а наверху стучали дятлы, а весной токовали глухари...

Но мне негде показывать. Пригородных заповедников у нас нет, а пригородные леса наши давно опустели.

Заповедников-парков нет еще ни под Ленинградом, ни под Москвой. Гости гостями, но, может, еще больше пригородные заповедники нужны нам самим. Ни ботанический сад, ни зоологический не заменяют естественности заповедника.

В чужой стране всегда сравниваешь. Путешествуя, мы невольно отбирали лучшее из незнакомых нам обычаев и быта народа — может быть, что-то пригодится. Немало вещей нас огорчало, а порой и возмущало, и мы старались говорить об этом прямо там же. Наши друзья не обижались — они чувствовали искренность и то, что мы были честны. Мы смотрели страну непредвзято, мы радовались всему хорошему, не скрывали своего восхищения, мы судили об этой стране, доверяя себе и им, людям, которые многие годы борются за правду о своей родине.

Птичьи колокола звонили, и вдруг, глядя на счастливое лицо Джона, я вспомнил Ростов-Ярославский, ветреный осенний день, когда мы стояли на звоннице под колоколами. Пятнадцать колоколов, начиная от огромного, язык которого одному человеку не раскачать. Ефим Дорош рассказывал, как восстанавливали этот удивительный, единственный инструмент, с его знаменитыми, полузабытыми звонами, этот своего рода орган, рассчитанный на тысячные толпы слушателей. Я вспомнил, как тогда любовался самим Дорошем и его влюбленностью в Ростовский кремль.

Вместо того чтобы глядеть во все стороны, записывать, запоминать, я предавался мыслям о Дороше и ростовских колоколах, как будто у меня были не часы, а годы жизни в Австралии. Хуже всего, что я не желал ничего записывать. Потом я часто расплачиваюсь за это, но невозможно наслаждаться и записывать свое наслаждение. Неприятно даже думать, что подсматриваешь тут ради того, чтобы переложить эту красоту во фразы, главы и авторские листы... Я хотел быть честным к этому дню. Может быть, когда-нибудь он сам по себе всплывет в памяти так же свежо, как тот день в Ростове.

Мы продолжали сидеть на скамейке, и всякое зверье подходило осматривать нас. Джон относился к этому вполне серьезно, как будто он представлял меня на приеме. Мы не смотрели на часы, не думали о напряженном расписании наших встреч, визитов, осмотров. Мы освобождались от мучительной болезни путешественников — скорей увидеть еще одну площадь, еще один памятник, чего-нибудь не упустить, еще с кем-нибудь познакомиться. И вот сейчас, мысленно повторяя проделанный путь, я благодарен Джону за его мудрую медлительность. Около восьми тысяч километров пролетели и проехали мы внутри континента, осмотрели шесть городов, побережья, горы, проселки, фермы, мы видели много и многое узнали, но если мы что-то почувствовали, поняли, то происходило это в немногие неторопливые часы, когда мы переставали путешествовать. Так было в заповеднике под Мельбурном — мы сидели на скамейке с Джоном Моррисоном, курили и слушали птицу-колокол.

ПО ПОРЯДКУ

Путешествие, если рассказывать по порядку, началось с того, что я поехал на Васильевский остров, в Музей антропологии и этнографии Академии наук. Последний раз я был в этом музее, когда меня заинтересовали индейцы, скальпы, Фенимор Купер.

На дверях музея, конечно, висело: «Выходной день». Действовал неумолимый закон, согласно которому вы подходите к остановке как раз тогда, когда отходит нужный вам автобус, бутерброд падает маслом вниз, а дождь — когда вы без плаща и посреди площади. «Приходите завтра», — сказал вахтер. Но у меня не было завтра: вечером я уезжал в Москву. А оттуда в Австралию. Я все отложил на последний день. И музей. В глубине души я не верил. В любую минуту Австралия могла сорваться. У такой дальней поездки есть масса возможностей сорваться. Где-то, кто-то, что-то... Визы, посольства, валюта, разрешения, международная обстановка, внутренняя обстановка...

С зарубежной поездкой нужно обращаться умело. Лучше всего относиться к ней свысока. Ее не следует ждать, и ни в коем случае к ней нельзя готовиться, читать книги или смотреть карту. Она любит, когда ее

бранят, когда от нее отмахиваются: зачем эта поездка, не нужна она, не до нее сейчас, отрывает от работы, путает планы. Опытный путешественник — тот вообще помалкивает, на вопросы неохотно бурчит: выдумали какую-то Австралию, шут ее знает, где она, жили мы без Австралии и хлопот не знали.

Любезный и чуткий от скуки вахтер сообщил, что кроме музея тут есть институт того же названия. Я позвонил из проходной.

Длинная, заставленная книжными шкафами комната была отделом Австралии. Ничего особенного я не увидел в этой комнате. В глубине ее сидели два научных сотрудника в пиджаках и брюках и пили чай с соевыми батончиками. Я подозрительно огляделся и попросил рассказать мне про Австралию.

Некоторое время они деликатно пытались выяснить, что именно меня интересует: история, промышленность, искусство, фауна. Я никогда не подозревал, что все эти штуки есть в Австралии. Перед размахом моего невежества они быстро скисли. Позже я узнал, что в своих научных спорах они отличались твердостью и строгостью, но тут они вели себя беспомощно. На них жалко было смотреть. С виноватым видом они показывали книги, десятки, сотни книг, справочники, альбомы, оттиски своих научных работ. Хуже нет иметь дело со специалистами. Я им прямо сказал:

— Не стану я ничего читать. Не надейтесь. Лучше уж я поеду так. Непосредственно. Как Джеймс Кук. — Тут я спохватился и добавил: — Если я вообще поеду, потому что некогда мне ездить.

Они улыбнулись как-то опечаленно. Никто из них, оказалось, в Австралии не был. Всю жизнь они изучали Австралию издали, как астрономы. Они знали про Австралию все. Ее краски, ее людей, запахи, легенды, песни, живопись. Точность их знаний я мог оценить, лишь вернувшись из Австралии. Я пришел в институт рассказать о поездке и не заметил, как стал слушать их рассказы.

А в тот первый раз Владимир Рафаилович повел меня в музей. В пустом полутемном зале сидели за стеклом пыльные аборигены среди своих бумерангов, топоров и копьеметалок. Коллекции были составлены Миклухо-Маклаем и затем А. Яценко. С тех пор как шестьдесят лет назад Австралию посетил Яценко, особых пополнений музей не получал. Экспедиций не по-

сылают. Владимир Рафаилович — один из тех наших австраловедов, которые изучают аборигенскую жизнь во всех подробностях; его можно пустить к аборигенам, и никто не отличил бы его от любого обитателя аборигена. Но, сидя на Васильевском острове, Миклухо-Маклаем не станешь. Слушая его, я чувствовал, что он готов хоть на плоту, как Тур Хейердал, добираться до своей Австралии. Сколько возможных Миклухо-Маклаев, энтузиастов, мужественных, самоотверженных, несостоявшихся путешественников вынуждено проводить свою жизнь в таких комнатах, заставленных книжными шкафами.

— Дались вам эти аборигены! — говорил я, ища слова утешения. — Первобытная нация. Что они могут дать нашему веку?

В глазах Владимира Рафаиловича появилась древняя тоска этнографа от древнего людского невежества.

— Раса! — устало поправил он. — Раса, а не нация. Целая человеческая раса. Одна из четырех рас. Они самое первобытное общество из оставшихся на земле. Поймите, как это важно для науки. — И он безнадежно махнул рукой.

Я вышел на набережную, получив первое свое австралийское расстройство.

Лед на Неве лежал еще крепкий. Лыжники возле университета садились в автобус. Легкий снег медленно кружился, не падая, а поднимаясь вверх. Навстречу мне шел Лева Игнатов.

— Откуда, куда? — спросил он.

Он не дослушал меня. Недоверие — не то слово. Он воспринял новость как глуповатую шутку.

— Какая Австралия? Неостроумно. Сорок градусов жары и купание? Не существует. — Он поднял воротник. — Австралия? Понятия не имею. Это что-то вроде Атлантиды. Ты видал когда-нибудь человека, который был в Австралии? То-то. Старик, очнись, мы ж с тобой не школьники. Австралия! Антиподы! Люди, которые ходят вверх ногами! Мистика. Неужели ты до сих пор веришь? Тебе надо проветриться; махнем лучше в Кавголово на лыжах?

Его румяная морозная физиономия выражала такую уверенность, что моя Австралия растаяла, показалась выдумкой, и такой она оставалась долго, пока мы не ступили на раскаленные плиты сиднейского аэродрома.

МЫ

В путевых очерках принято писать не «я», а «мы». Мы не будем нарушать обычая. «Мы» — признак скромности. «Мы» — не такая ответственность. «Мы» — более типично, когда «мы» ездим, «мы» ходим, «мы» — так оно спокойнее. Конечно, тут есть свои сложности. «Мы увидели», «мы сказали» — еще куда ни шло, а вот попробуйте — «мы чихнули», «мы подумали», «мы хлопнули дверью».

Мы действительно были «мы». Нас было двое. Вся наша делегация — Оксана Кругерская, консультант Союза писателей, специалист по английской и австралийской литературе, и я.

Наше «мы сказали» — тоже правда. Сперва говорил я по-русски, а потом Оксана то же самое изображала по-английски. Под конец путешествия я еле поспевал за ней, я ей только мешал.

Ночной аэропорт Тегерана был пуст. На стенах светились цветные диапозитивы иранских мечетей. Стоянка длилась час, и весь час мы стояли перед витриной и разглядывали иранские миниатюры на слоновой кости, эмали.

Так они и запоминались — аэропорты с роскошными волнующими названиями: Калькутта, Карачи, Сингапур — по узорчатым дамасским клинкам, кашемировым шалям, по пухлым фигуркам будд, серебряным браслетам, сафьяновым алым туфелькам с золотым тиснением.

Самолет летел наискосок к рассвету, мы поглядывали на карты, проверяя очертания материков, земля кружилась далеко внизу, словно подвешенная в авоське меридианов и параллелей. Горизонт опустился, открылась вся земля, со всеми ее секретами и выпуклостями, она была и вправду круглой, и горы выглядели измятыми, и послушно извивались реки. Как на школьной физической карте, планета состояла только из моря и суши, лесов и пустынь — первородная планета, еще без границ, без вокзалов.

В Сингапуре мы задохнулись. Там была парилка. Тело, одежда — все сразу стало мокрым. Мы еле добрались до аэровокзала. Под его стеклянным колпаком, надрываясь, нагоняли кондиционированный воздух «эркондишен».

— САС! САС!

Пассажирам САС выдавали за счет авиакомпании джус.

В другом углу конкуренты кричали:

— Эр-Индия!

Там давали кофе.

Сингапур был перекрестком. Десятки авиакомпаний переманивали к себе пассажиров, угощая, развлекаая, обещая. Круглые сутки здесь торговали фотоаппаратами, транзисторами, магнитофонами. Для авиапассажиров японские, английские, американские, голландские изделия продавались без пошлины.

Мужчины молча разглядывали маленькие плоские японские телевизоры и совсем крохотные магнитофоны. Женщины обступали парфюмерию, а дети и мы сидели на корточках перед электроигрушками.

Игрушечные самолеты, жужжа, бегали по полу, загорались сигнальные огни, самолет останавливался, разворачивался, умолкал, вдруг опять двигался, действия его были неожиданны. Навстречу ему ползли танки. Башни их поворачивались, пушки стреляли. Тут же ходили слоны, прыгали обезьяны. Роскошные лимузины и старинные паровозы, старинные автомобили и мощные локомотивы, вертолеты, ракеты — в такие игрушки взрослые хотели играть больше, чем дети.

Самолет поднялся над Сингапуром, и возник город, огни его реклам. Через несколько минут он съезжился, и сам стал игрушечным, и затерялся среди островов и тускло поблескивающего выпуклого океана.

От Москвы земля была в снегу, черно-белая, как на фотографии. Краски проступали несмело, серо-зеленые, затем появились коричневые пустыни Пакистана, соленые озера — высохшие, грязновато-молочные, без блеска. И какие-то красные. Ярко-красные озера. Таких я никогда не видел. Опять пустыни. Бескрайние пространства. А в пыльном Карачи теснились тысячи бездомных, лишенных работы, они превращались в нищих, попрошаек, жизни уходили впустую... На высоте девяти тысяч метров мыслишь иначе. Не видно государств, границ, и земля становится единой.

Самолет пересек экватор. Нам вручили на память об этом событии удостоверение, подписанное командиром корабля, — пеструю грамоту, разрисованную всякими тропическими животными. Вместо купания напоили джусом. Итак, мы на другой половине земного шара. Мы вверх ногами. Мы антиподы.

Посадок больше не будет, следовательно, все пассажиры летят в Австралию. Среди них есть коренные антиподы. Я прошелся по самолету, пробуя, каково быть антиподом. Вроде ничего, вроде нормально, как будто я всю жизнь ходил вверх ногами. Тут я вспомнил, что, в сущности, человеческий глаз видит все предметы перевернутыми, а уже наш мозг восстанавливает их нормальное положение. Дело в привычке. И с нами, наверное, происходило что-то похожее.

Внизу ползли островки, черно-зеленые островки Малайзии, эскадры больших и малых островов. Где-то там плыли корабли Магеллана, Кука, Лаперуза, Крузенштерна, Лазарева, Коцебу. Гравюра в затрепанной книге детства: гибель капитана Кука. Туземцы с копьями убивают на берегу храброго капитана. На каком-то из этих островов погиб Магеллан, погиб Лаперуз. И все же, несмотря на все тяготы и неприятности, это отличная профессия — первооткрыватель. Они вкладывают свой талант и жизнь в наиболее устойчивое дело. Открыл ты Тихий океан или открыл Новую Зеландию — и никто этого отнять уже не сможет. Бессмертие обеспечено. Слава полностью расцветает примерно лет через сто, но зато далее не меняется. Она не зависит ни от какой конъюнктуры, от новых открытий. Стоят тебе памятники — их не сносят, упоминают тебя в путеводителях — не вычеркивают, не пересматривают. Поколения гидов восхищенно твердят о тебе одно и то же, что бы ни творилось в мире.

Слава первооткрывателей никогда не стареет. Стройная бронзовая фигурка Крузенштерна на берегу Невы, в старинном мундире с эполетами, с годами становится романтичней. Рядом с огромными лайнерами, атомным ледоколом, дерриками судостроителей он не кажется ни старомодным, ни наивным. Они все обладают этим удивительным свойством: памятник Джеймсу Куку в Сиднее и памятник Колумбу на Кубе, памятник Нансену, памятники тем, кто искал неведомые земли, кому удалось дойти, увидеть то, что еще никто не знал.

«Будьте, пожалуйста, первооткрывателями! Если вы ищете, куда вложить отпущенную вам смелость, силу, положенную вам славу, — вкладывайте их в первооткрывательство. Надежно! Гарантировано!» — вот что следовало бы вывесить на трансконтинентальных линиях, в аэропортах, в самолетах.

ТЕРРА ИНКОГНИТА

Рассвет набегал на закат, солнце оказывалось то слева, то справа, время спуталось — может быть, мы летели вторые сутки, может быть — неделю, часы то и дело приходилось переводить, завтраки, ужины, ленчи — все смешалось. Одна лишь усталость отсчитывала истинное время.

Превосходный голландский мореход Абель Тасман, чтобы открыть свою Тасманию, плыл к ней три месяца. Команда питалась сухарями и солониной. Это было в 1642 году. Большинство великих открытий шестнадцатого — семнадцатого веков было сделано на сухарях и солонине. Консервов не существовало и витаминодраже также. Из каждых четырех матросов трое болели цингой. Кук первый взял с собой сушеные фрукты, чтобы как-то спастись от цинги. А мы устали, утомились в мягких креслах. Перед едой нам приносили замороженные душистые салфетки, пропитанные лосьоном, чтобы вытереть руки, лицо.

И тем не менее немножко, чуть-чуть мы тоже чувствовали себя первооткрывателями.

В Аэрофлоте девушки, бывалые, с глазами зеркальными, никогда не видящими, при слове «Австралия» все-таки подняли головы, и что-то нездешнее оживило их лица.

На этой исхоженной планете, оказывается, еще остались дальние страны. Километры пути тут ни при чем. США уже не дальняя, и Куба не дальняя. А, например, Тибет или Турция еще дальние, загадочные. И Австралия.

Terra australis incognita — неведомая южная земля. Она появилась как гипотеза еще в древности — некий огромный материк в Южном полушарии, должный уравновешивать северный материк. Одна за другой снаряжались экспедиции в поисках австралийской земли. Искали ее где-то южнее настоящей Австралии. В те времена об Антарктиде не было известно ничего, ни один корабль не заходил дальше мыса Горн. Сбиваясь с пути, некоторые корабли приставали к Австралии. Но так как на ней надписи не было, то называли ее по-всякому: «Великой Явой», «Новой Голландией», «Новым Южным Уэльсом».

Австралию открывали мучительно долго. Перипетии ее открытия могли бы многому научить, если бы люди

желали учиться. Это поучительная страница в Истории человеческих заблуждений.

Начинают эту страницу античные географы во втором веке нашей эры. Птолемей, автор многих великих заблуждений, считал, что на юг от Индийского океана должен существовать огромный массив суши. Со свойственной ему самоуверенностью он изобразил ее на своей карте. Документ есть документ, и полторы тысячи лет таинственный материк послушно наносили на карту под названием «Еще неведомая Южная Земля».

Одна за другой экспедиции голландцев, англичан, испанцев, французов бороздили Тихий океан, разыскивая Южную Землю. Попутно открывали острова, архипелаги. Южной Земли не было. Не находили. А между тем миф обрастал новыми подробностями. Географы вычислили площадь южного материка, он получился равным всем цивилизованным странам Северного полушария — 180 миллионов квадратных километров (то есть в 22 раза больше нынешней Австралии и в 12 раз больше Антарктиды).

Шло время, была открыта Америка, рухнула птолемеевская система мира, погасли костры инквизиции, Галилей отказался от физики Аристотеля, Ньютон создал новую механику, представления о Вселенной расширились в тысячи раз, а легенда о неведомой Южной Земли здравствовала и процветала. Заблуждение становилось мифом. Миф обзавелся теорией — солидной теорией равновесия: материковые массы Северного и Южного полушарий должны находиться в равновесии.

Человечество давно сбросило астрологический колпак, алхимики переучились на химиков, вместо «электрической жидкости» появились первые серьезные теории электричества, и, несмотря на все это, всерьез обсуждалась работа географов, которые считали, сколько людей должно проживать на искомом южном материке — не меньше 50 миллионов! Путешественники мечтали с ними встретиться... Смешно?

Совсем недавно мы сами мечтали встретиться с марсианами, строителями марсианских каналов. Тоже смешно? Кто знает, сколько еще мифов и заблуждений окружает нас сегодня, сколькими мифами мы пользуемся. Что станет смешным для наших потомков? Боюсь, что им даже не слишком интересно будет читать о наших ошибках. Так же как и нас не слишком волнует путаница с открытием южного материка.

Если бы мы научились распознавать свои собственные мифы и заблуждения, если бы мы изучали Историю Великих Заблуждений, если бы, наконец, кто-нибудь занимался этой Историей... Но историки предпочитают историю открытий истории удач и успехов познания. Заблуждения, когда они становятся заблуждениями, кажутся слишком нелепыми, непонятно, как люди могли так подолгу жить с ними и верить в них.

Та экспедиция Джеймса Кука, которая установила истинные очертания Австралии, отправлялась не за этим, она искала пресловутый южный материк, так что некоторым образом легенда о южном материке помогла открытию Австралии. В мифах бывает и нечто прогрессивное, часто именно ради них пускались в путь, под них выделялись всякие фонды и средства. Я вспоминаю мифы нашего времени:

Снежный человек.

Сигналы из Вселенной.

Тунгусский метеорит.

Каналы Марса.

Телепатия.

Атлантида.

...Разочарования ничему меня не научили, каждый раз я неохотно расставался с обещанным чудом — ну если и не чудом, то, во всяком случае, с тайной. Приятно было надеяться, что есть в нашем мире что-то таинственно-необъяснимое, загадки, рожденные не в лабораториях.

Австралия терпеливо ждала, и когда люди убедились, что никакой другой Южной Земли нет, она утвердила наконец свое имя.

С тех пор, за какие-нибудь полтора-два с лишним лет, Австралия сделала блестящую карьеру. Она стала частью света, одной из пяти, сочинила свой гимн, вошла во все школьные программы географии, статистические справочники, развела овец, автомобили, коттеджи. Но все равно что-то осталось в ней от мифа, от ее предка — легенды о неведомом, таинственном материке.

Под крылом самолета плыли ее красноватые земли.

«...Плотность населения Австралии примерно один человек на квадратный километр».

Как он встретит нас, этот человек, на своем квадратном километре и что он за человек?

Из статистического справочника, преподнесенного мне ленинградскими австраловедами, человек этот по-

являлся, окруженный пятнадцатью приходившимися на него овцами. На душу его приходилось сто килограммов мяса в год, триста килограммов стали, три грамма золота украшали его душу и много разных цветных металлов.

Я слепил из этих данных австралийца, затем стал воображать себе Австралию, и нас в этой Австралии, и наши приключения, а потом я представил, как через три-четыре недели мы будем лететь обратно и со мной будет уже увиденная Австралия. Совпадут ли они, увиденная и воображенная, и какая из них будет лучше? Вспомню ли я нынешнюю? Будет такой же самолет, те же салфетки и кресла, а мы станем другими. Вспомню ли я нынешнее чувство, с каким я подлетаю к этой земле, а если вспомню, то как отнесусь к нему, к моему волнению и ожиданиям?

ИНТЕРВЬЮ

Обычное демисезонное пальто повисло на руке не-лепой толстенной шубой. Пока оформляли паспорта, мы потели, задыхались, со страхом ожидали, что станет с нами, когда мы выйдем из аэровокзала на улицу. Встречающих в таможенный зал не пускали. А мы понятия не имели, встречает ли нас кто-нибудь. Посольство в Канберре, а тут, в Сиднее, ни консульства, никого из советских людей.

— В крайнем случае позвоним в Союз писателей, — сказал я Оксане.

Лишь спустя неделю я оценил наивность своего утешения.

Последний чиновник хлопнул последней печатью, и мы вышли в общий зал.

Мы в Австралии. Я собирался ощутить торжественность этой минуты, но тут все завертелось быстро-быстро, как на старой киноленте. Букеты, объятия, улыбки, имена, имена:

— Мона Бренд.

— Лен Фокс.

— Джон Хейсс. — И еще, еще.

«Как долетели?», «Устали?», «Хотите кофе?», «Где багаж?».

— Мери Аронс.

— Терри Рэни.

Мы целовали, нас целовали, я не успел разобраться, кто из них Джон, а кто Мери, вдруг нас куда-то потащили, скорей, скорей, и мы оказались в маленькой комнатке, странно пустой комнатке с диванчиком, нас толкнули на этот диванчик, зажглись юпитеры, на нас покатались сверкающие циклопы телевизионных аппаратов, зажужжала кинокамера, завспыхивали блицы, вокруг нас не осталось никого из тех, кто обнимал, целовал, а появились какие-то молодые люди с блокнотами, с микрофонами, они зажали нас со всех сторон, в маленькую комнатку было не пропихнуться, стало еще жарче, уже совсем жарко.

— Есть ли в СССР свобода печати? — громко спросила меня Оксана. — Зачем вы приехали в Австралию?

Я смотрел на нее с ужасом. Только что она была здоровой. С неподвижной беззаботной улыбкой она продолжала:

— С кем вы собираетесь тут встретиться? — И, не меняя голоса, она сказала: — Пресс-конференция, — и крепко взяла меня за руку, мешая вскочить, бежать.

— Какая пресс-конференция? Зачем? Не хочу! Пустите меня!

Первое, что пришло мне в голову, — это схватить штатив киноаппарата и, вертя его над головой, пробиваться к выходу.

Я не хотел никакой пресс-конференции, я хотел пить, я хотел курить, хотел вытереть пот, я был грязный, небритый, я хотел под душ, я мечтал отделаться от своего пальто. Я был готов к чему угодно, только не к пресс-конференции.

«Советский писатель в Австралии!

В ответ на вопросы он опустил на четвереньки, укусил нашего корреспондента, рыча, выбежал из аэропорта и скрылся в соседней пустыне...»

— Товарищи, учтите, возможны всякие провокации, реакционные круги этой страны могут встретить вас враждебно...

— Ты слушай меня, я человек опытный, я эту буржуазную журналистику как свои пять. Они любят, когда им отвечают быстро, остроумно. Что-нибудь такое находчивое. И оригинальное. Чтобы вынести в заголо-

вок. Например: «Остановись, мгновенье, — ты прекрасно» или: «Собака лает — ветер носит». Действуй в таком роде.

— Буржуазные журналисты — они могут приписать тебе что угодно. Говорил ты, не говорил — это их не остановит, потом ходи доказывай.

Со всех сторон нависли занесенные шариковые ручки.

Господи, как я ненавижу этих журналистов — чистых, выбритых, в легких рубашках.

— Зачем мы приехали? Не для того, чтобы потеть на пресс-конференциях. Прodelать шесть тысяч километров, чтобы рассказывать вам про Достоевского?

Я огрызался, накидывался на них — ничего не получалось. Они не обиделись и не ушли. Они весело строчили в своих блокнотах, как будто им нравился мой тон.

— Печатаете ли вы несоциалистических реалистов?

— Богатые ли вы люди?

— А можете вы сами напечатать свой роман?

— Что сейчас делает Пастернак?

Пастернак? Сверкнули блицы, фиксируя мои вылупленные от изумления глаза. Я невесело рассмеялся. Каждый из них умел стенографировать, у них были отличные портативные магнитофончики и превосходные фотоаппараты, они были оснащены по последнему слову журналистской техники, — но до чего ж они мало знали, до чего ж нелепы были приготовленные вопросы! Я смеялся над собой и над ними. Я увидел, что передо мной сидят замороженные газетные работяги, мало знающие, мало читающие.

— Кто вам нравится из современных западных писателей?

— Хемингуэй, — сказал я, — Колдуэлл. — Я вспомнил одного нашего критика и в пику ему добавил: — Кафка.

— Кто?

— Кафка, — повторила Оксана.

И по их физиономиям я понял, что никакого Кафку они не знают, первый раз слышат. С таким же успехом я бы мог назвать им Овидия, Бронислава Кежуна, Вольфа Мессинга. Они ни черта не знали — ни западной, ни советской литературы, не знали, что Пастернак умер, а потом выяснилось, что они и своей, австралийской литературы не знали. Журналистка одной из центральных газет Австралии приехала к Катарине При-

чард взять у нее интервью по каким-то вопросам женского движения. Она спросила: «Говорят, что вы пишете романы? Вы писательница?»

Мы часто недооцениваем широты собственных знаний, своего образования. Нам все кажется, что они знают больше. Мы и не представляем, как много мы изучили за последние годы.

Еще сыпались вопросы, а радио уже объявило посадку на Канберру, и нас в том же темпе потащили на поле, и бобслей раскручивался в обратном порядке, пока мы не очутились в воздухе. И тут мы обнаружили, что дотошные журналисты украли у нас встречу с Австралией. Мы с Оксаной пытались выяснить друг у друга, что мы наговорили. Осталось ощущение бедлама, суматохи, мельтешни. Нет, быть первооткрывателем тоже нелегко.

Итак, туземцы с фотоаппаратами вместо копий отбили первую попытку высадиться в Австралии, мы вынуждены были подняться в воздух.

Мы задумались над судьбой нашей поездки. Плата за экзотику оказывалась слишком высокой.

В дальнейшем мы, конечно, как-то приспособились. К славе тоже можно приноровиться, тем более что слава была не наша. Это был интерес к советской культуре, к советским писателям, которые тут бывали редко. В конце концов, мы ехали сюда работать. Пресс-конференции были тоже работой. Встречи, приемы, выступления по радио, телевидению, доклады, визиты — обычная работа всех подобных делегаций. Из-за этого много интересного мы не успели посмотреть. Из-за этого уставали, надоедало говорить одно и то же, но я все-таки рад, что у нас было дело, а не туристская поездка. Мы жили. Мы ошибались, попадали впросак, что-то нам не удавалось, зато что-то мы смогли рассказать и сделать — завоевать друзей, разоблачить ложь... Мы были участниками, а не только зрителями.

— А что ты видел в Австралии?

Я начинал перечислять и вдруг убеждался, что все это я мог узнать, не уезжая из дома. Почему-то никому не приходило в голову спросить: «А что вы делали там?» — хотя больше всего хотелось рассказать, что делали и что сделали. Потому что это наше, об этом нигде не прочтешь, кроме как в нашем коротеньком служебном отчете, который подшивается к денежному отчету для бухгалтерии.

СТОЛИЦА

Такой странной столицы я еще не видал и вряд ли увижу. Канберра — дитя многолетней распри Сиднея и Мельбурна. Каждый из двух крупнейших городов страны хотел стать столицей. Ожесточенные споры долго мешали самоуправляющимся штатам создать федерацию. Наконец в 1901 году договорились — «ни нам, ни вам» — сделать столицу где-то между обоими городами. Двенадцать лет выбирали место. Еще двенадцать лет кричали, чесали затылок, пока начали строить столицу на пустынном пастбище, окруженном холмами. Строили неохотно, еще лет сорок, и так и не выстроили. И сейчас строят. Бенгт Даниельссон, спутник Хейердала, путешествовал в 1955 году по Австралии. Он написал интересную книгу «Бумеранг», где едко высмеял Канберру — скучнейшую деревню, потерянный город, единственную в мире столицу, где чиновники по дороге со службы могут собирать грибы и стрелять кроликов с балкона.

Все правильно. Однако за последние десять лет Канберра изменилась. Группы коттеджей, раскиданные, по словам Даниельссона, на грязном пустыре, оказались теперь на берегу искусственного озера. Водная гладь объединила разрозненные поселки, оживила долину. Вода часто создает физиономию города. Немыслимо представить себе Ленинград без набережных, мостов, каналов. Попробуйте тот же Сидней отодвинуть от залива. Канберра построена далеко от океана; пока не было озера, она выглядела, наверное, безобразно. Сейчас у нее появилось что-то свое. Еще не характер — приметы. Деревенская скука осталась. Еще нет центра города, нет толпы, вечернего Бродвея, нет огней рекламы, кабаре, театров. Приходится придумывать развлечения самим. Скучающие чиновники привезли акулу, пустили ее в озеро. Поднялась паника, но то ли от пресной воды, то ли от канберрской скуки акула издохла.

Чем еще можно заняться? Канберра живет в коттеджах. Она не признает квартир, общих домов, только коттеджи. И занимаются коттеджами.

Коттеджи-щеголи, коттеджи-пижоны, стилиаги, снобы, аристократы, коттеджи-хвастуны, коттеджи-завистники. Все они современные, каменные: красный кирпич, белый кирпич, пестрый кирпич. Вокруг коттед-

жа садик. Мой садик примыкает к твоему садику. У тебя клумбы, а у меня алые кусты, у тебя фикусы, а у меня араукарии, и я еще посажу всякие ботанические тропики. На траве-мураве целый день крутится поливалка. У тебя шланг розовый, тогда у меня бирюзовый. Водяные хвосты радужно переливаются на солнце. С улицы смотреть — красотища. И смотрится хорошо: никаких заборов, никаких оград тут нет. Но на улице пусто. Один беленький шпиц сидит на веранде. Красные глаза его налиты умопомрачающей скукой. Лаять не на кого. И не предвидится. Выморочные пространства асфальта лишены человеческой плоти. Крашеное железо проносится с вонью и скоростью, бессмысленной для погони. Пешехода в Канберре нет. Ему и тротуаров не выстроено. Автомобиль и автобус — единственные движущиеся существа. Тротуарная площадь сожрана обильными дорогами, по которым можно добраться в любое учреждение. Ровно в полдень из министерств, из Пентагона — есть тут свой Пентагончик, — обгоняя друг друга, несутся машины. Ленч. Разбегаются по извилам асфальтов, до коттеджей. Через час так же стекаются, несутся обратно и стройно скапливаются на площадях перед светлыми государственными параллелепипедами. Небесному наблюдателю бегающие авто кажутся единственными жителями столицы. Настоявшись на площади, они расползаются по своим коттеджам, забираются в гаражи, откуда выбегают утречком помытые и запроваленные для дальнейшего движения к государственным стоянкам.

Мы дважды прилетали в Канберру. Большинство пассажиров — чиновники с портфелями; в свою столицу чиновник летит без радости, он совсем не похож на оживленного чиновника, летящего из столицы.

Канберра в некотором смысле идеальная столица: туда не рвутся командированные, в отелях всегда есть номера. Периферийные граждане, из самой глухомани, и те не мечтают переехать в столицу. Только отъявленные карьеристы, чтобы сделать государственную карьеру, готовы поступиться многими радостями жизни. Карьерист оставляет их в Сиднее, в Мельбурне. Или продвигаться, или развлекаться.

На университетском обеде в честь нашей делегации профессор Менинг Кларк познакомил нас с писателями и литераторами Канберры, с ее Союзом писателей — «Феллоушип». Мы привыкли, что слова «Союз писате-

лей» связаны с каким-то клубом, помещением, где есть кабинеты, письменные столы, телефоны. «Феллоушип» ничего этого не имеет. Однажды, когда мы сидели дома у секретаря «Феллоушип» — Линден Роуз, она вытащила папку — все хозяйство писательской организации. В папке помещались канцелярия, отдел кадров, отчетность, бухгалтерия, переписка. Та же папка фигурирует в «Феллоушип» каждого из семи штатов. Руководит австралийским союзом по очереди в течение года организация одного из штатов. Сейчас обязанности председателя исполнял «Феллоушип» Тасмании. Нам ни разу не удалось позаседать в кабинетах, с графинами и секретаршами. Не было протоколов и стенограмм. Все дела решались в кафе, на обедах, со стаканом пива в руках.

Дэвид Кемпбелл читал стихи. У него были огромные руки фермера. Когда он взмахивал ими, пламя свечей колебалось и тени шатались. Мы обедали при свечах. На деревянном непокрытом столе, в деревянном зале. Это была первая встреча с нами, и все держались немного настороже, избегали трудных вопросов. А стоит только начать избегать, как любая тема становится опасной. Менинг Кларк обеспокоенно поглядывал в нашу сторону. Ему очень хотелось, чтобы нам здесь понравилось. И другие тоже старались. Рядом со мной сидел Гарри. Он преподавал в университете славистику.

— Можно мне помочь вам смотреть Канберру? — сказал он по-русски.

— А вы не заняты?

— Я освобожусь, — он как-то робко запнулся. — Если вам, конечно, не помешаю, у вас свои планы.

— Чудесно, — сказал я.

— Я бы заехал за вами, если это возможно.

Он нерешительно оговаривался, готовый в любую минуту отступить, словно опасаясь чего-то. По одной его обмолвке я вдруг понял, что он боится поставить нас в неудобное положение, — он не знал, можно ли нам оставаться наедине с ним, бывать в частных домах, заходить в пивные и общаться с неизвестными лицами. Имеем ли мы вообще право действовать, не согласовав с кем-то. Может быть, нам положен специальный провожатый.

Я чуть было не обиделся, но разве он был в этом виноват?

Кемпбелл читал стихи так, как читают хорошие поэты, — слушая самого себя. Даже не зная языка, всегда можно определить на слух, чего стоят стихи. В хороших стихах много музыки. Один австралийский поэт прочел свой перевод Пушкина, и я по ритму узнал «Чудное мгновенье» — такой это был отличный перевод.

Официант налил мне немного вина для пробы. Он стоял, ожидая, и все за столом смотрели, как я пробую. Вино было отличное, но я помотал головой, чтобы достигнуть репутации знатока. Официант вернулся с другой бутылкой. Я задумчиво почмокал, это была изрядная кислятина, я не выдержал — сморщился, кто-то улыбнулся, я тоже улыбнулся, и все засмеялись, за столом стало просто и весело, и начались австралийские тосты, которые короче тостов всех других пьющих народов.

Прежде чем гулять по Канберре, мы отправились в посольство получить свои паспорта.

— А зачем вам паспорта? — спросил консул.

— Странно, — сказали мы, — как же мы можем без документа в чужой стране?

Нам даже диким показался его вопрос и улыбка его.

— Не беспокойтесь, — сказал он, — не нужны вам никакие паспорта. Никто их у вас не спросит.

— Ну, Канберра, допустим, но ведь мы поедем дальше по стране.

— И там они вам не пригодятся. Поедете без паспортов, так спокойнее. Не потеряете. Они тут все живут беспаспортные.

Мы осторожно проверили у Гарри — он не имел паспорта.

— Как же вы живете без паспорта?

Он удивился:

— А для чего он мне?

— Ну как же, — мы тоже удивились, — а если приезжаете в гостиницу?

— И что?

— А как вас зарегистрировать?

— Запишут фамилию, и вся регистрация.

— А откуда они узнают фамилию?

— Я скажу.

Мы опять удивились и задумались:

— А для полиции? Если вы нарушите.

Гарри еще больше удивился:

— Зачем тогда паспорт, меня и без него приговорят к штрафу.

Мы удивились еще больше. Мы никак не могли представить себе жизнь без паспорта, а он никак не мог представить себе, зачем человеку может понадобиться паспорт.

Откровенно говоря, уезжая из Канберры, мы без документов чувствовали себя неуютно. Ни в одном из городов Австралии нет ни советских консульств, никаких представителей, кто же удостоверит нашу личность? Нам почему-то обязательно хотелось, чтобы нас могли сверить с документом, как будто личности наши главным образом находились в паспортах.

Мы объехали значительную часть страны, с нами происходили разные приключения, и ни разу никто у нас не спросил паспорта. Он нам просто не понадобился.

В каждой стране свое понимание порядка. Например, в Карачи, когда мы остановились там на несколько дней, мы должны были заполнить анкету, какая и не снилась нашим отделам кадров в самые отчаянные времена. Это была самая доскональная анкета в моей жизни. Там были такие вопросы:

«Почему вы уехали из той страны, из которой вы уехали?»

«Что вы хотите купить в нашей стране?»

«Девичья фамилия матери вашей матери?»

«Что вы делали сегодня, вчера, позавчера?»

Хотел бы я знать, кто был изобретателем этой анкеты. Кто вообще изобрел анкету, личное дело, паспорт. Как дошли они до этих вещей, были ли у них трудности и как им помогала общественность.

Уезжая из Канберры, мы уговаривали Юрия Яснева, корреспондента «Правды», поехать с нами по стране. Он настоящий журналист, общительный, с крепкой хваткой и безошибочными вопросами, работага — словом, идеальный спутник, да к тому же знающий страну. Но Яснев только вздохнул. Несмотря на вольную беспаспортную жизнь, он не имел права выехать из Канберры. О разрешении надо заранее хлопотать в австралийских министерствах.

Он провожал нас на самолет. По дороге он произнес речь о Канберре. Я слушал его и радовался. Казалось бы, что человеку надо — у него комфортабельный коттедж, машина, библиотека, — и вот, оказывается, грош этому цена, если нет возможности свободно заниматься

своим журналистским делом — ездить, знакомиться с людьми... Я давно не слышал такой сильной речи, жаль, что ее нельзя тут привести. Ее невозможно даже процитировать. Но, честное слово, это была великая речь, выстраданная и продуманная тоскливыми канберскими вечерами.

СИДНЕЙ

Мы летели из Канберры в Сидней поздно вечером. Стюардессы в салоне погасили свет, чтобы лучше был виден город. Таков обычай. В самолете, кроме нас, все были австралийцы, и все равно они оторвались от своих банок с пивом и прильнули к окнам. Сидней вползал под крыло огромный, как Млечный Путь, со своими созвездиями и галактиками. С одной стороны огни резко обрывались чернотой залива, а с другой им не было конца, они распылялись хвостом кометы, теряясь в ночи. На реактивной высоте, откуда все кажется крохотным, Сидней оставался большим, чересчур большим, непонятно большим. Сверху разобраться в этом было нельзя. И когда в другой раз мы подлетали к Сиднею днем, красный черепичный прибой его крыш поражал размерами. С земли Сидней выглядит иначе. Он низкорослый, состоящий из двухэтажных коттеджей, и лишь центр несколько выше. Город как бы сплюснен, раскатан, как блин. Он беспорядочно составлен из тех же коттеджей, прослоенных неизменными садиками. Поэтому город разросся невероятно. Расстояния в двадцать-тридцать километров от дома до работы считаются здесь обычными. Сложность такой жизни стала нарастать в последние годы. Город хочет расти в высоту. Словно фонтаны из бетона и стекла, прорываются вверх высотные дома. В прорывах еще нет системы. Они беспорядочны, как гейзеры. Рядом с новыми громадами коттеджи становятся милым прошлым. В деловых кварталах солидные, облицованные мрамором банки, офисы, построенные каких-нибудь сорок-пятьдесят лет назад, выглядят старообразно. Процесс старения происходит ускоренно, Сидней обзаводится своей стариной, появляется старый Сидней. Загадочная штука эта старина. Почему-то старинный дом всегда считается красивым. Мне никогда не попадалось, чтобы храм, допустим тринадцатого-четырнадцатого века, был уродлив. Он обяза-

тельно — великолепный, изумительный, гармоничный. Как будто тогда не существовало бездарных архитекторов. Никому не приходит в голову, что Колизей был когда-то новостройкой и древние римляне поносили последними словами этот стадион за модерновость, или излишества, или подражательство — смотря по тому, какая тогда была установка.

Но пока что в Сиднее нет настоящей музейной старины, и этим он мил и отличается от всех других великих городов мира. Никаких раскопок, храмов, фресок, старых костелов, исторических мест. Поэтому Сидней не имеет перечня обязательных памятников для осмотра. В Сиднее я впервые избавился от страха что-то упустить, чего-то не увидеть. В Сиднее можно не толкаться по музеям, Сидней свободен от процессий туристов, листающих путеводители, гидов с микрофонами, от исторических ценностей, восторгов, императоров, классиков и цитат. В Сиднее надо просто бродить по улицам, магазинам, сидеть в баре, знакомиться.

Человек городской, питерский, я сразу признал Сидней своим. Это город, что называется с головы до пят; на его улицах, в порту среди докеров, в кварталах Вула-Мулла мы чувствовали себя свободно, мы подпевали его песенкам, смеялись шуткам. Сидней стал нашей слабостью. Мы принимали его пусть поверхностно, пусть некритично, но таким мы увидели его, таким он остался в памяти. Наконец, именно такой Сидней показывали нам наши друзья-сиднейцы, пожизненно и яростно влюбленные в свой город.

Рядом с нашим отелем строился дом. Площадка была огорожена глухим забором, в заборе были пропилены квадратные окошечки. Я долго не мог понять их назначения. Иногда прохожие совали туда головы. Однажды я просил у Моны Бренд, в чем тут дело.

— Видишь ли, сиднейцы ужасно любопытны. Раз есть забор, они обязательно хотят выяснить, что за забором. Кроме того, сиднейцы любят вмешиваться, подавать советы, поэтому для удобства сделали окошки. И надпись видишь: «Для советчиков».

Сидней — это целая страна, еще мало изученная. Мы как-то шли с Моной и совершенно случайно обнаружили метро. Мона, которая обожает свой город, обрадовалась чрезвычайно. Она не могла скрыть удивления, когда мы спустились вниз и поехали на подземке. Открытие нисколько не смутило ее — никто не может

похвастаться, что знает Сидней. Мы ехали однажды с Терри в машине, и я, заметив посреди площади конную статую, попробовал выяснить у Терри, кому это. Надо было видеть физиономию Терри, когда он, притормозив машину, с глубоким интересом оглядел памятник. Еще некоторое время он ехал задумавшись, потом уверенно сказал:

— Я полагаю, что это какой-то король.

Ручаюсь, что он видел этот памятник впервые. Он слишком хорошо знал свой город, чтобы его могли интересовать детали. Он не знал, кому памятник, но зато он знал каждого газетчика, бармена, хозяев магазинчиков — кажется, он знал всех сиднейцев. Впрочем, когда я присмотрелся, оказалось, что вообще все в Сиднее знакомы между собой. Чтобы вступить в разговор, не нужно никакого предлога. Разговор начинают с середины, как загадочные друзья. Я стоял днем на Кинг-Кроссе и фотографировал. Мужчина, несший на голове ящик, остановился и сказал:

— Чего ты тут нашел, приятель? Только зря пленку изводишь. Здесь лучше вечером снимать. Господи, сразу видно, что приезжий. Откуда? Ого, из Москвы! А я, между прочим, из Шотландии. Коплю деньги, хочу туда съездить, я ведь мальчишкой из дому уехал. Что ни говори, все же родина. Согласен?

— Конечно,— сказал я.

— Послушай, ты мне нужен — посоветоваться. Может быть, мне лучше в Москву поехать? Посуди сам, чего я дома не видел? А про вас столько болтают, и все разное. Надо самому разобраться. Согласен?

— Тоже правильно.

— Опять ты соглашаешься. Черт возьми, это же серьезное дело, я четыре года коплю. Пока у меня нет детей, надо ездить. Потом не сдвинешься. Надо бы толком обсудить, да некогда мне. Прошу тебя, перестань пленку тратить! Приходи сюда вечером, упрямая твоя голова, тогда убедишься, кто прав.

И зашагал дальше, придерживая ящик на голове.

Обычная наша сдержанность бросалась здесь в глаза, выглядела нелюдимостью. Мне хотелось научиться вот так же, с ходу, открываться людям, не требуя взамен ничего, и не бояться того, что покажешься бесцеремонным, или назойливым, или смешным,— ничего не бояться.

В Сиднее любят сочинять песенки, дерзкие и насмешливые, критикуя городские власти.

Лично нам они не причинили никаких неприятностей, но все равно нам было приятно чувствовать себя вместе со всеми — бунтовщиками, непокорными, вольнолюбивыми сиднейцами.

Поют о здании оперы, которое строится бог знает сколько лет, о сиднейских девушках, о пивных, о железной дороге, о домах Вула-Мулла.

Власти задумали снести старый рабочий квартал Вула-Мулла и построить там какие-то казенные здания. Домишки немедленно ощетинились, украсились язвительными надписями. Каждый дом — это эпиграмма в адрес властей. Огромные буквы вьются между окон, изгибаются над дверью: «Пожалуйста, мы уедем отсюда в ваш особняк, господин министр!» Предместье подняло войну с властями: «Не желаем!», «Не уедем!», «Плевали мы на ваши постановления!», «Только троньте нас, проклятые спекулянты!»

Если что-то исходит сверху, от властей, это уже плохо. Сиднейцы терпеть не могут всякие предписания и распоряжения. Подчиняться и м? Ни за что! Раз это делают о ни, значит, сиднеец против.

Женщина с мокрыми, красными от стирки руками вышла на крыльцо и сказала нам вызывающе:

— Да, дух каторжников! А мы не стыдимся своих предков. Буржуи — те стыдятся. А мы гордимся. Сюда ссылали бунтовщиков, а не воришек.

Насчет бунтовщиков — не знаю, но ссылали сюда главным образом бродяг — разоренных ремесленников, согнанных с земли английских крестьян, осужденных за бродяжничество.

Дух каторжников... Забылось, что и впрямь еще каких-нибудь полтора-два столетия назад этот город начинался как место поселения ссыльных.

В 1788 году английские корабли высадили первую партию ссыльных. На лесистом берегу будущего Сиднея 850 человек начали строить жилища и каменный дом губернатору новой колонии. В одной из старых книг я нашел описание Сиднея 1826 года, с его нравами и разделением на ссыльных «отпущенников», то есть уже освобожденных, и ссыльных, продолжавших отбывать свой срок, на свободных колонистов, на правительственных чиновников.

Уже тогда город показался Дюмон-Дюрвилю, капитану французского флота, совершенно европейским — «где корабли, магазины, укрепления, улицы напоминают Англию».

Уже тогда — «большая часть домов разбросана, разделена дворами, огородами, и поэтому Сидней занимает обширное пространство. Строения почти все в один и два этажа. Улицы прямые, с приличной шириной...».

Поразительно, до чего неискореним оказался этот изначальный характер города. Сидней относится к тем счастливым городам, которые рождаются с готовым характером, и десятилетия, столетия ничего поделать с ним не могут. Таковы Ленинград, и Одесса, и Севастополь, и Веймар, самые разные города, — они словно подчиняются законам природы для живых существ: как родился голубоглазым, так на всю жизнь.

Конечно, за полтора века Сидней разжирел, отстроился, приукрасился. Роскошные универмаги его не уступают американским. Появились парки, фонтаны; уличные кафе уставлены старинными белыми креслами — как в Париже, стилизованные деревянные домики-магазины в центре — как в Шотландии, и тем не менее его всегда можно будет узнать, отличить от всех других городов.

Его глубокий голубоватый залив с цветными парусами, катерами и акулами. Огромные пляжи и маленькие пляжи-купальни, огороженные сетками от тех же акул; его большущий порт, мускулистые докеры с их тяжелой походкой и неторопливыми движениями. Печальный пустой центр Сиднея в воскресные дни. Его ритм — в Сиднее нам всегда было некогда, там мы двигались быстрее. Сидней — там чаще смеешься и громче говоришь, там понимают с полуслова, там готовы подшучивать над чем угодно, там все кончается смехом или забастовкой...

Описывать перечисляя — приятное занятие. Мне всегда нравились перечисления: припасы, инструменты, животные, трофеи. Беда в том, что перечисление — слишком легкий способ изложения. Он хорош для записной книжки, не больше.

Сидней можно перечислять по-всякому, у каждого свой перечень. И даже из моего перечня для человека, знающего Сидней, возникает совсем иной город. Впечатление находится между строками перечня. Я увез свой Сидней, совсем другой, чем Оксана, и не похожий

на Сидней Терри Рэни. Мой Сидней — всего лишь впечатление. Ни на что большее я не претендую.

Впечатление хорошо тем, что это неуязвимая штука. Я могу написать: «Сидней мне показался самым живым и энергичным городом Австралии» — и ничего не возразишь. Показался, и все тут. Но попробуй я написать, что Сидней — самый живой и энергичный город, тут меня уличат и опротестуют, и пропала моя дружба с мельбурнцами.

Или, например: «Мне нравится, как ходят девушки по улицам — в коротеньких шортах, босиком».

Ну и что, скажу я редактору, разве я пропагандирую? Я ведь говорю, что это мне нравится, я обнаруживаю лишь собственную безнравственность.

И кроме того, это будет правдой — у меня гораздо больше впечатлений, чем сведений. Я не хочу утверждать, что впечатления — более ценная вещь. Вряд ли. Они слишком субъективны, они зависят от настроения, предрассудков. Я хотел бы описать Сидней беспристрастно и обстоятельно, как умели делать путешественники девятнадцатого века. Читая книгу Дюмон-Дюрвиля, я наслаждался подробностями обстановки, костюмов, описаниями зданий и умением видеть издали, в пространстве и во времени. «Не заботясь о будущем, колонисты уничтожили леса, окружавшие город, и поэтому вид его печален и открыт. Несколько лет, как насаждают европейские деревья, но они растут тихо и часто изнемогают на здешней горячей и дикой почве».

Путешественник в те времена старался описать все, что может составить картину той жизни, так, чтобы потомки и через сто и через двести лет могли представить ее наглядно. Он уважал свой век, считал его значительным, ценным для истории, кроме того, он чувствовал лично себя как бы ответственным перед будущим. Сейчас это качество в значительной мере утрачено. Мне не приходит в голову описывать общий вид Сиднея, из какого камня там строят дома, есть ли там трамвай, как устроены магазины. Мне кажется, что все это уже описано другими, и сами сиднейцы это опишут лучше, а кроме того, есть кино, фотографии, газеты, они зафиксированы, они дополняют. А они, между прочим, и не фиксируют.

В роскошных фотоальбомах о Сиднее — парадные архитектурные ансамбли, знаменитый Сиднейский

Мост, центральные улицы, ботанический сад. Но зато там нет домишек Вула-Мулла, нет крохотных садиков, дымных пивных, китайских рестораничков, нет субботней торопливой толпы в универмагах, когда цены снижаются на шиллинг, нет того, что составляет быт города. Точно так же, как и в наших фотоальбомах не увидишь базара, тесно заставленной коммунальной кухни, старых дворов с дровяными клетками, очереди у филармонии, очереди за луком — никаких очередей, любые очереди считаются чем-то зазорным и недопустимым.

Не типично, не отражает, — может быть, оно и так, но тем более, раз это уходит в прошлое, оно должно сохраниться в документах, описаниях, фотоальбомах: вот как мы жили, и так жили и этак, по-разному жили. Попробуйте сегодня рассказать о годах первых пятилеток. Где, в какой Истории есть фотографии очередей за хлебом, карточек, торгсинов, но ведь это тоже было бытом. Даже из газет того времени ничего не вычитаешь об ордерах на рубашку.

Иногда мы не пишем об этом только потому, что нам кажется, будто все это и так знают. Путешественник обладает совсем иным виденьем. Вот почему одно из лучших описаний Сиднея сделал француз Дюмон-Дюрвиль. А Англию так прекрасно описал Карел Чапек.

— Вы будете писать о Сиднее? — спросили нас журналисты.

— Обязательно, — сказал я. — Наверное, мне не избежать клюквы и всяких ошибок, наверное, многое будет наивным, но, может быть, там будет и что-то интересное — Сидней, каким он видится человеку другой, совсем другой страны.

— А о чем конкретно вы напишете?

— О Кинг-Кроссе, о стомпе, о докерах...

— А про наш мост? Обязательно напишите про наш мост. Что это будет за рассказ о Сиднее, если там не будет моста.

— Ладно, — сказал я. — И про мост. Но боюсь, что из этого ничего хорошего не получится.

У первого впечатления свои законы. Ему отпущено точное время — еще немного, и оно скиснет, свернется, дальше начинается знание, неполное, куцее, от которого одно расстройство.

Нас пригласили в сиднейский Новый театр. Через

слабо освещенный подъезд мы поднялись в фойе — бедное, никак не обставленное, зрительный зал напоминал сарай, лампы свисали с голых стропил, освещая плохо побеленные кирпичные стены. Шла пьеса местного автора — чуть под брехтовскую «Трехгрошовую оперу», про гангстеров, трусливых и жалких. Играли хорошо, а нам казалось, что играют превосходно. Мы хлопали изо всех сил, и дешевые стулья пронзительно скрипели под нами. На тесной сцене вздрагивали фанерные декорации, и они казались нам трогательными. Объяснялось все просто: мы знали, что театр построен рабочими Сиднея, на их деньги, делали сцену и это фойе коммунисты и их друзья. Артисты труппы играют бесплатно, театр существует на энтузиазме. Плата за билеты еле покрывает расходы по аренде помещения. Все остальное — декорации, костюмы — делает сама труппа.

На третьем, четвертом спектакле убогие декорации нас бы уже не растрогали, мы заметили бы неровный состав участников, и скрип стульев мешал бы нам, но я не знаю, было бы ли это большей истиной, чем наше первое впечатление.

МОСТ

1

Был прекрасный летний вечер, когда рейсовый самолет компании ТАА совершил посадку в сиднейском аэропорту. В толпе австралийцев выделялись небритый хмурый господин с невысокой черноволосой женщиной. Легкий акцент выдавал в ней иностранку. Господин не обладал никаким акцентом, поскольку он не говорил по-английски. Полицейский, стоявший на площади, не обнаружил ничего подозрительного в этой группе встречающих, которые приветливо похлопывали иностранцев и несли их сумки. Иностранцы устало улыбались. Перед нами открыли дверцы новенького красного «холдейна».

— В отель! — зачем-то громко сказал огромного роста мужчина, и глаза его загадочно блеснули.

Машина рванулась и помчалась к Сиднею.

Темнота скрывала лица спутников. Ничем не выдавая себя, они расспрашивали о полете, искусно ведя непринужденный разговор. Иностранный господин устало отвечал, а иностранная женщина, чью бдительность усыпила иностранная веселость, беспечно смеялась.

— Отель! — сказал кто-то.

Слово это иностранец понимал. Запекшиеся губы его дрогнули в слабой мечтательной улыбке.

— Слава богу, наконец-то, — сказал он.

Ответом ему был зловещий смех. Машина, не замедляя хода, мчалась дальше.

— Куда вы? Остановитесь! — воскликнул он.

— Как бы не так, — процедил огромный мужчина.

— Что это значит? — крикнул иностранец.

— А то, что отель мы проехали, — последовал хладнокровный ответ.

— Куда же вы нас везете? — в ужасе воскликнула иностранная женщина.

С переднего сиденья к ним обернулась местная женщина. Во тьме белело ее прекрасное лицо, но сейчас оно было холодно и жестоко.

— К мосту.

— Какой мост, не нужен мне мост, я хочу в постель! — С этими словами иностранец пытался выпрыгнуть из машины, на него навалились, последовала короткая борьба, и он затих.

Напрасно иностранная женщина молила о пощаде — похитители были неумолимы, куда девалась их недавняя любезность!

На перекрестке машина остановилась, пережидая сигнал. Иностранцы закричали что-то среднее между русским «караул» и «help out». В соседних, рядом стоявших машинах люди оборачивались, подмигивая друг другу.

— А, иностранцы! К мосту везут, сердешных? Смотри, пихаются. Держи его шибче. Ишь дикарь, убежать хотел. Утописты.

— Слушайте, слушайте, — сказала еще недавно прекрасная местная женщина, — слушайте, что говорит народ. Смиритесь. Таков закон. Лучше смотрите, о чужеземцы, вот он — наш Великий Мост!

Ужасная бледность покрыла лица иностранцев. Машина двигалась в стальном коридоре конструкции. Несчастные потеряли счет времени. Где-то внизу сверкала начищенная до глянца вода залива. На другом берегу машина повернула обратно.

Хозяева молитвенными голосами принялись исполнять славу своему мосту. Стало ясно, что пленников будут продолжать возить по мосту, пока они не сдадутся.

Мужество покинуло иностранцев. Глухими голосами они поклялись, что:

1) Сиднейский Мост самый висячий и при этом самый длинный и красивый мост в мире;

2) мельбурнцы клеветают, называя его вешалкой, у них мост самый дрянной из всех мостов;

3) Великий Сиднейский Мост необходимо еще будет осмотреть днем, на рассвете, на закате и при солнечном затмении;

4) в течение всей оставшейся жизни иностранцы, где бы они ни были, обязуются хвалить Мост, рассказывать про Мост, описывать Мост;

5) они видели своими глазами, что Мост имеет два трамвайных пути, два железнодорожных, проезжую часть в шесть рядов автомашин, обзорную вышку и сетку для самоубийц;

6) все вышеизложенное заявлено совершенно добровольно, по глубокому внутреннему убеждению.

После этого пленников заставили несколько раз воскликнуть: «Спасибо, что нас сюда привезли!», «Страшно подумать, если б мы его не увидели», «Какое счастье иметь такой Мост!»

Если в этой истории что и преувеличено, то самая малость. Я понимаю, что у каждого города есть своя слабость, но хуже всего, когда это мост, да еще такой длинный. Пока по нему идешь, забываешь, зачем ты отправился на тот берег. Построив мост, Сидней залез в долги, с каждой проезжающей машины взимают шиллинг, и неизвестно, когда это кончится. Мост постоянно красят. Пока доберутся до конца, начало уже облупилось. У парней, которые висят в люльках с кистями,

были счастливые, спокойные физиономии. Работа им обеспечена пожизненно.

Как-то под вечер, блуждая по Сиднею, мы вышли к заливу. Набережных в Сиднее нет. Город повернулся спиной к воде. Берег был застроен угрюмыми пакагаузами. Вдали мы увидели мост. Он был удивителен. Он поднимался над заливом, как глубокий вздох. В глубоком облаке света он парил среди грязноватых скучных берегов. Дуга его вздувалась стальным бичепсом. Он был бы еще краше, если б им не заставляли любоваться. Красоту лучше открывать самому. Но тут же я вспомнил, как сам вожу по Ленинграду гостей и заставляю их любоваться Невой, дворцами и требую похвал. Зачем мне это нужно? До чего ж мы все одинаковы! Это не бог весть какое открытие обрадовало меня, я находил в нем даже что-то замечательное: за столько тысяч километров люди подвержены тем же слабостям, так же наивны и тщеславны. Очень приятно. Ничто так не сближает, как слабости. Хитрость в том, чтобы искать их не у других, а у себя. Честно признаваться в них — вот что оказывается почему-то самым сложным.

КИНГ-КРОСС

1

«Он нетипичен для нашего города,— объяснили нам,— нельзя судить о Сиднее по этому проклятому Кинг-Кроссу».

Кинг-Кросса почти стыдились, о нем избегали писать, не любили говорить. Нас просили не ходить на Кинг-Кросс, не советовали — не то чтоб там было что-то такое, просто не стоит тратить время.

Иногда вечером мы проезжали Кинг-Кросс. Там было много народа и много света. Казалось, что-то происходит на этой улице. Гуляние? А может, кино-съемки? Чем-то отличался ее густой, тягучий людской поток от обычных прохожих. Меня всегда привлекали двери с надписью: «Посторонним вход воспрещен». Мало того, что я неисправимо любопытен, я еще терпеть не могу запретов. Наверное, Лен Фокс страдал той же болезнью — он подмигнул нам, и при первом удобном случае мы отправились на Кинг-Кросс.

Мы двигались не торопясь в плотной толпе, разглядывая встречных, и встречные разглядывали нас. Это не было ленивым любопытством театральных фойе. Что-то связывало толпу. Она не гуляла, она была чем-то занята.

Сама улица скрывалась за ослепительным светом. Освещение было настолько пронзительным, что создало ощущение события. Как ночная игра на стадионе. Как праздничная иллюминация. Дома были плотно начинены всевозможными кабаре и рестораничками. Узкие спуски в подвальчики пылали щитами с цветными фото стриптизов. Сквозь открытые двери баров блестели стойки, миксеры и прочая аппаратура для коктейлей. Подмигивал русский ресторан «Балалайка». За стеклами кафе в зеленоватом свете, как в аквариуме, скользили пары. А были сидящие неподвижно над рюмкой, неестественные, как манекены.

В небе мчались, плясали слова реклам, вспыхивали вывески ревю, над ними светились обнаженные груди девиц всех мастей, прозрачные прекрасные груди, и длинные голые ноги. Перед ними кружились, толпились пятнадцатилетние юнцы и постарше, причудливо разнаряженные, в алых рубахах, в черных трико, бородатые, в больших черных очках, мелькали какие-то типы с покрашенными губами.

На углу стояло нечто диковинное — существо с красивой золотистой косой и золотистыми усами. Я подошел ближе. Коса была натуральная, пышная, усы тоже натуральные, только закрученные. Остальное составляли черная рубашка, черные джинсы, внутри которых разместился здоровенный парень. Его толстая заплетенная коса лежала на плече. Он обнимался с коротко остриженной девушкой. Тут я стал замечать, что он не одинок: как на старинном маскараде, мимо двигались и другие парни с буклями, женскими прическами. Парни шли с отличными девушками, стриженными по мужски: волосы их были раскрашены в розовое, голубое, зеленоватое. Проститутки совершенно терялись в этой толпе. Шныряли продавцы чего-то, шептались в подъездах о чем-то, кто-то зачарованно столбенел у витрин, кругом пили, курили, и все это колыхалось, мельтешило, как облако вечерней мошкары. Музыка ресторанов, транзисторов, радиол складывалась в общее завывание. В теплоте вечера плыли запахи бензина

и косметики. Все было насыщено блеском глаз, жаждой каких-то встреч, приключений, ожиданием необычного.

По мостовой так же слитно двигалась толпа машин.

На перекрестке, огибаемый потоками авто, стоял полицейский. Толпа скапливалась у перехода, ожидая сигнала. Кто-то поторопил полицейского, и тот нахмурился. С другого угла крикнули:

— Душечка, тебе там не скучно?

Полицейский рассвирепел, и это подзадорило шутников. Выкрики полетели в него с обеих сторон. Видно было, как челюсти его сжались, он стоял недоступный, защищенный идущими машинами, олицетворение власти, и не пускал толпу. Ему хватило бы машин, чтобы держать нас часами. Перекресток вопил, народу прибывало, теперь полицейский усмехался, он наглядно показывал могущество диктатуры.

Наконец кому-то удалось его рассмешить, полицейский поднял руку, машины остановились, все закричали «ура!» и бросились на мостовую на другую сторону улицы в погоне за чем-то.

Я тоже спешил и оглядывался — мне все время казалось, что где-то рядом что-то произошло, а может, именно сейчас происходит — впереди, за спиной, в переулке за углом.

Кинг-Кросс существует не для увеселения туристов, это не парижская площадь Пигаль. Кинг-Кросс сам для себя. Чьи-то подведенные глаза следят из-за стекла. Старуха, свесясь из окна, часами завороченно смотрит на безостановочное кружение.

Город давно опустел, заперся в коттеджах, уткнулся в пухлые, по пятьдесят страниц, газеты, в телевизоры, и остался только Кинг-Кросс, единственный, что хоть как-то утоляет жажду общения.

Время от времени нам попадалась пара — босая девушка и парень в деревянных сандалетах. На груди у него висел транзистор. Они шли обнявшись, слушали музыку и глазели по сторонам. Между собой они не говорили. Лица их были безмятежно довольны. Транзистор и Кинг-Кросс освобождали их от необходимости развлекать друг друга.

Я представил себе, как они встречаются здесь по вечерам и гуляют, часами не обмениваясь ни словом. Иногда идут в кино — там тоже не нужно говорить. У телевизора тоже сидят молча. Вряд ли они приступа-

ли к разговорам в постели. Им незачем утруждать себя искать тему разговора, нужные слова, интонации.

На Кинг-Кроссе разговаривать некогда — боишься что-то пропустить — и думать некогда. Мелькание лиц, реклам, вывесок. И ведь вроде бы живешь, бурно, ярко, в длинной возбужденной толпе, — они-то ведь недаром здесь, что-то, значит, происходит, должно происходить. Живешь всю — глазами, ногами, что-то жуешь, пьешь, куришь. Участвует все, кроме головы. Как будто ее нет. Она не нужна. Очень удобно, а главное — современно. Можно ни о чем не думать. Глотаешь пустоту. Великолепно оформленную пустоту.

2

В центре Кинг-Кросса сверкала большущая вывеска «Стомп». Я посмотрел на Оксану. Она не знала, что это значит. Лен засмеялся и успокоил ее. Ни в одном из английских словарей еще не было этого слова.

— Зашли? — подмигнул он.

И мы зашли.

Потолок, стены огромного дансинга терялись где-то в синеватой мгле. На высокой эстраде, сбоку, работало четверо парней. Они играли почти непрерывно. Рубашки их потемнели от пота. Подменяя друг друга, они выбегали к микрофону и яростно выкрикивали — слов не было, один ритм, хриплый, укачивающий ритм. Внизу сотни людей танцевали. Танец назывался «стомп». Такого танца я еще не видал. Танцевали как будто парами, но это не были пары. Каждый танцевал сам по себе. Танцующие топтались, покачиваясь из стороны в сторону на расстоянии нескольких шагов друг от друга, топтались, и больше ничего, иногда они теряли партнера в толпе и не искали его, возможно, они и не замечали его отсутствия. Танец одиноких, им не нужен был партнер. Каждый танцевал сам для себя, полузакрыв глаза, уйдя в полузабытье. Большинство составляли подростки пятнадцати-семнадцати лет. Девочки скидывали туфли, некоторые были в брюках, в шортах, не существовало никаких ограничений. И при этом танец был лишен всякого секса, в нем не чувствовалось ничего эротического, ничего волнующего. Пожалуй, эта бесполость больше всего меня огорчала. Наши ханжи — и те бы растерялись. Никакого смысла я не видел в та-

ком танце, скорее он походил на какой-то религиозный обряд. Стомп почти не требовал умения, не было пар, выделявшихся искусством. Волнообразно и одинаково они раскачивались в такт набегающему ритму. Порой из толпы выходили, садились за столиками рядом с нами, и я видел, как постепенно лица их освобождались от стомпа, начинали улыбаться, становились разными лицами обычных мальчиков и девочек. Они пили лимонад, пиво и даже ухаживали друг за другом. А на синтетической подстилке однообразно колыхались лишенные примет тела.

— Ну и танец, — сказал Лен. — Ни прижать, ни обнять. В чем тут смысл?

Лен тоже впервые попал сюда. Дези пожалала плечами:

— А они и не ищут смысла.

— Чего ж они ищут?

Дези прищурилась:

— Может быть, они хотят потерять себя?

Дези была артистка. Она сама иногда ходила сюда потанцевать и знала этих ребят. «В наши годы, — сказала ей одна из девочек, — в ваши годы танцевали буги-вуги и рок, а мы танцуем стомп, у нас свои танцы».

Имея двадцать три года, Дези была снисходительна.

— Видите, у них все свое, — сказала она. — Они не желают ничего нашего. Парни будут ходить с косами, девочки будут делать зеленые брови, лишь бы не так, как старшие.

Похоже было, что в чем-то она права. На эстраде по-прежнему надрывались, хрипели четверо парней, они явно подражали битлзам. Настоящие битлзы, те ребята из Ливерпуля, вряд ли представляли себе, что вырастет из их славы.

Внизу так же топтались с одинаково отрешенными лицами, полузакрытыми глазами, почти не двигаясь с места. Танцевали только стомп, все время стомп.

Слова Дези не выходили у меня из головы. Потерять себя — но зачем? Она не могла мне это объяснить. А может быть, я не мог понять ее? Лен тоже не все понимал.

— Как же так, — сказал я Лену. — Ты коренной сиднеец, к тому же ученый, они росли у тебя на глазах... Лен развел руками, а потом рассвирепел.

— У себя ты все можешь объяснить?

Мы вышли из дансинга на Кинг-Кросс.

Сидя на панели, какой-то сумасшедший поэт продавал свои книжки и, завывая, нараспев читал стихи. Ночь выжимала из города диковинных типов. Какое-то отребье выпадало из ночи, как осадок; они кружились и кружились, как мусор в центре воронки.

3

На дверях белого домика висел картон: «Коммуна Ван Гога». По лестнице поднимался босой, разлохмаченный парень.

— Привет. Как поживаешь? — окликнули мы его, принаравливаясь к манерам истых австралийцев.

Нижняя комната была пуста, там висели картины. В верхней стояли койки и тоже висели картины.

Вскоре комната наполнилась парнями и девушками. Я знал долька Дениса — отличного молодого австралийского поэта. Кроме него пришли художники-абстракционисты не из этой коммуны, артисты, какой-то веснушчатый миляга, которого все звали Космос, он писал и работал грузчиком, какой-то молодой юрист. Они рассаживались вокруг нас на полу, на кроватях с таким видом: ну посмотрим на это представление, что нам покажут советские коммунисты, которых привел сюда австралийский коммунист, готовься, ребята, к агитации. Сейчас нас начнут вербовать.

А нам некогда было их агитировать, нам хотелось узнать про их коммуну, про молодую живопись Австралии. Я стал их спрашивать и сам не заметил, как начал отвечать, — они закидали меня вопросами про заработки художников, про выставки, а потом про МХАТ, про Брехта, про разводы и свадьбы. Повторилась обычная история, всякий раз я попадался на эту удочку. На любом приеме, встрече австралийцы ловко, как в серфинге, после двух-трех минут серьезного разговора — больше они не выдерживали — соскальзывали в шутку, анекдот и сами начинали меня расспрашивать, и дальше я уже не мог выбраться из-под вороха их вопросов. Но тут я заупряился.

— Какого черта, — сказал я. — Кто к кому приехал? Кто из нас гость?

В самом деле, когда к нам приезжают иностранцы, они нас расспрашивают, когда мы приезжаем за границу — опять нас расспрашивают.

— Ладно! Сдаемся! — Они подняли руки вверх.

И я потребовал, чтобы они выложили мне свое мнение про стомп и Кинг-Кросс.

Я и сам толком не мог им объяснить свои сомнения. Но мне претило пользоваться шаблонными схемами, которые валяются под рукой. Обличать Кинг-Кросс было проще простого. Сами сиднейцы не рвались защищать его. О нем говорили неохотно: «квартал богемы», «злачное место», «контрасты большого города».

— Нет, — сказал я. — И что-то еще там есть.

— Что?

— Не знаю, я не понял. Наверное, я что-то пропустил.

Они переглянулись, заулыбались:

— Это всем так кажется.

«Может быть, в этом-то и все дело», — подумал я, но не спросил, потому что они в это время говорили про стомп.

— А что можно предложить этим ребятам взамен стомпа? — говорили они. — Религию? Наживу, бизнес? Они бунтуют против обывательщины. Бунт — ничего другого у них нет. Бунт без особых идей. Всякие идеи, поиски смысла жизни, идеалы изуродованы ложью, об этом не хочется и думать. У них примерно такие рассуждения: лгите друг другу без нас. Мы не участвуем в ваших играх. Изменить в этом мире ничего нельзя. Мы ничего знать не хотим, мы не протестуем, не переживаем. Мы ни при чем, нас нет, мы танцуем, оставьте нас в покое.

Перед отъездом, утром, я отправился на Кинг-Кросс. Я никак не мог его найти. Пройдя несколько кварталов, я повернул назад, ничего не понимая.

Зеленщик развешивал над прилавком связки ананасов.

— Это и есть Кинг-Кросс, — сказал он мне.

Но это не был Кинг-Кросс. Ни кабаре, ни стриптизов, ни ревю — была самая обыкновенная, невзрачная улица с низенькими облезлыми домами. Стояла очередь на автобус из добропорядочных клерков. Шли хозяйки с сумками, шел старенький патер, в кафе бойскауты пили оранжад, под тенью маркиз инвалид листал газету. Напрасно я вглядывался в лица деловитых прохожих. Они прикидывались, что они не те. Они делали наивные глаза, никто ничего не помнил, и знать они не знали, их ни в чем нельзя было уличить. «Пол-

тора шиллинга лучшие огурцы», «Рубашка — одиннадцать шиллингов. Пожалуйста, рубашка «dripdry» — ее не нужно гладить. Она не изменится, быстро высохнет...».

И никаких других обещаний.

Случайно наверху, над крышами домов, я различил железные каркасы ночной рекламы. Они чернели навывлет, как рентгеновский снимок. Единственная улика. Но куда же делось все остальное, весь блистающий вечерний мир? Куда девались те парни и девушки и где эта манящая суতোлка огней? Куда исчез Кинг-Кросс? Существует ли он? Был ли тот первый вечер и потом еще и еще?

В полдень мы улетели, поэтому больше ничего достоверного о Кинг-Кроссе я выяснить не мог.

ПЕСНИ

Мы вышли на улицу после театра. Было половина двенадцатого ночи. Нам не хотелось домой, в гостиницу.

— А куда у вас, в Москве, можно пойти в это время? — спросил Джон Хейсс. В тоне его не было никакого подвоха. Он спросил это совершенно простоудушно, из любопытства.

Клем, который бывал в Москве, хмыкнул и стал раскуривать сигару. Мери тоже бывала в Москве, но она не курила и, улыбаясь, ждала, что мы скажем.

— Дорогой Джон, — сказал я, — приезжайте к нам, и вы не пожалеете.

— Какой блестящий ответ! — сказал Клем. — Как много ты узнал, Джон.

— Конечно, у нас нет стриптизов и всяких ночных кабаре... — начал я.

— Не расстраивайся, — сказала Мери, — и не обращай внимания на них, на этих диких австралийцев.

— Ладно, — сказал Клем, — так и быть, в следующий раз, когда приедем в Москву, может быть, ты действительно сможешь нас куда-нибудь свезти в двенадцать ночи. А сейчас поехали, и никаких вопросов.

Темный дом имел еще более темный вход. Мы ощупью двигались через какой-то зал с перевернутыми стульями, узкий коридор, мимо конторки, где сидели несколько парней. Клем о чем-то пошептался с ними,

хлопнул одного из них по плечу, и тот повел нас дальше по каким-то переходам, потом вниз по крутой темной лестничке. Мы спускались и спускались, пока не очутились в слабо освещенном подвале. На полу сидели и лежали парни и девушки. Их было человек сорок. Курили, пили пиво, джус. Мы с трудом нашли себе место недалеко от маленькой сцены. Дощатый помост не имел ни занавеса, ни задника. Мы сели на пол, спутницы наши сбросили туфли, как и все остальные женщины, и легли рядом. Это был самый обыкновенный подвал с худо выбеленными кирпичными стенами. И никаких украшений. Все выглядело подчеркнуто просто, вызывая просто.

Парень, который провожал нас, вышел на помост и объявил второе отделение. Его встретили аплодисментами. Он сел на стул, взял гитару и запел. Первая его песня не произвела на меня впечатления. Он пел почти без всякого выражения, рассеянно, словно думая о чем-то другом, как напевают про себя, когда никто не слышит. У него был красивый голос, но он не хотел им пользоваться. Потом он запел смешную песенку о девушках Брисбена, слушатели смеялись дружно, громко, ритмично, смех звучал как припев. До сих пор вызывающая убогость подвала и эти голоногие девушки и парни, потягивающие пиво, воспринимались мною как манерность, эстетство навыворот. Но они хорошо смеялись. А потом они перестали смеяться, когда Кивен Путч — так звали этого парня — запел, жестко спрашивая: что же вы сделали с миром? И это тоже было здорово, что они вот так вдруг замолчали.

Он спрашивал не их; скорее он вместе с ними спрашивал других. Песни были жесткие, одна жестче другой. Ничто не менялось в ленивых позах разлегшихся парней и девушек. Никто не вскакивал, не сжимал кулаки. Но что-то происходило. Еле заметно изменились лица. Стало чуть тише.

Я попробую приблизительно передать текст одной из песен:

Вы, хозяева войн,
Вы, кто покупает пушки,
Кто продает самолеты и бомбы
И кто прячется за спинами
рабочих,
Кто прячется в офисах
за столами,
Я хочу, чтоб вас знали.

Вы, которые сами никогда
 ничего не создали,
 Вы играете с моим миром,
 как с игрушкой.
 А потом вы поворачиваетесь
 и убегаете,
 Когда пушки начинают
 стрелять.
 Вы, как всегда, лжете
 и обманываете,
 Как будто мировую войну может
 кто-то выиграть,
 И хотите, чтоб я поверил в это.
 Я вижу вас насквозь —
 Ваши мозги за черепными
 коробками,
 Вашу кровь как сточную воду.
 Вы прячетесь в ваших особняках
 и ждете,
 Чтоб наша смерть принесла
 вам
 Побольше прибыли.
 Вы родили самый ужасный страх —
 Страх рожать детей.
 Вы угрожаете моему ребенку,
 Еще не рожденному.
 Вы скажете, что я молод,
 Но я знаю, что даже Христос
 Не простил бы того, что
 делаете вы.
 Никакие деньги, никакие пожертвования
 Не могут купить вам
 прощения,
 Когда смерть придет к вам.
 Я надеюсь, что вы погибнете,
 и скоро,
 Я пойду за вашим гробом
 И буду следить, как вас уложат
 в могилу,
 И буду стоять, пока не увижу,
 Что вас зарыли.

Это грубый подстрочник. В оригинале это отличные стихи, песня с четкой мелодией. Больше всего я жалел, что у меня нет с собой магнитофона, чтобы потом можно было снова услышать этот вечер в подвале. Тогда вы могли бы понять, чем он отличается от любого нашего концерта.

У нас пропагандируют песни о мире, их поощряют, издаются песенники, выпускаются пластинки. У нас они исполняются повсюду, порой слишком часто. Для Кивена Путча его песни — личный протест, их никто не поощряет, не пропагандирует, они не приносят дохода.

Они звучат из подвалов, наперекор власть имущим, речам премьера, всему тому, что зовется государственной пропагандой.

Он пел песни о забастовке стригалей, о Джоне, вернувшемся с войны: «Где твои ноги, Джонни, ты уже не танцуешь...»

Здесь песни борьбы за мир и звучат иначе, чем у нас. Они воспринимаются как поступок. В них слышен вызов, дерзость, они борются с приевшимися песенками, день и ночь журчавшими по радио, телевизору, из сотен тысяч транзисторов, со всех эстрад кабаре, дансингов, на всевозможных шоу и ревю.

И аплодисменты тут были другие.

Концерт кончился, мы вышли на улицу, подождали Кивена. На улице он выглядел обыкновенным парнем, никак не скажешь: это певец. Сколько раз я наблюдал превращение, которое происходит с артистом: только что он блистал на сцене, недосягаемый, ни на кого не похожий, и вот он на улице, неотличимый от усталых прохожих.

Нас познакомили. Мы стояли, улыбались, хвалили песни, опять улыбались.

Было жаль расставаться, тем более что расставаться приходилось навсегда. В Австралии каждая встреча была единственной, каждое прощание — навсегда.

Кивен устал — в этот вечер состоялось два выступления. Был час ночи, и все же, нарушая все правила приличия, мы не хотели расставаться, у нас было такое чувство, что вечер не кончен. Надо доверять своему чувству — оказалось, что и у остальных такое чувство, все обрадовались, и Кивен обрадовался, и даже наш чинный Джон Хейсс обрадовался.

— Поехали, — сказал Кивен.

Мы не стали его спрашивать куда. Мы кружили за ним по пустым улицам Сиднея. Остановились у низкого темного коттеджа. Кивен постучал в окно, зажегся свет, замелькали тени, Кивен исчез, потом появился, мы пошли за ним.

Молодая женщина сворачивала матрас, на полу ее муж, огромный, о котором нельзя было сказать, чего в нем больше — высоты или худобы, натягивал на себя рубаху. Ясно, что мы их разбудили. Они принимали нас мужественно, с тем гостеприимством, какое могут оказать очень хорошие люди, которых подняли с постели.

Парень протянул нам руку:

— Дейлин Эфлин.

Рука у него была огромная. У него все было огромное: рубаха, голос, черты лица, улыбка. Он был певец, так же как и Кивен. Жена его достала из шкафа все, какие были, бутылки с остатками вина, потом мы вместе с хозяевами принялись варить кофе, потом начались песни. Дейлин пел ирландские песни, песни пастухов, песни протеста. Это были песни против воинской повинности, против военщины, песни студентов, не желающих идти в армию. Когда Дейлин уставал, его сменял Кивен. Они пели разно, их нельзя было сравнивать и решать, кто лучше. Голос Дейлина был для площадей — медленный, мощный голос, который ничто не могло заглушить. Вдруг он запел наши советские песни. Мы пробовали подпевать ему, но где-то в середине оставляли его одного, поскольку оказалось, что ни одной песни мы не знаем до конца.

Джон Хейсс, как самый старший среди нас, сидел на единственном стуле. Джону было много за шестьдесят, и мы боялись его переутомить. Но он разошелся. Было три часа ночи, а он и не думал о сне. Он сидел сияющий и удивленный. За последние два дня его удивление нарастало. Он менялся у нас на глазах. Поначалу это был вполне респектабельный господин, который любезно сопровождал нас, как президент «Феллоушип» писателей Сиднея, он поехал с нами на собачьи бега, на которых он никогда не бывал, он вместе с нами впервые посетил Новый театр, потом этот подвал и теперь Дейлина. Он вдруг открыл для себя Сидней, о котором он и не подозревал, хоть прожил тут всю жизнь.

Кивен Путч, Дейлин, Рольф — в Сиднее появляется все больше таких певцов, выступающих во всяких рабочих клубах, кафе, подвальчиках. Иногда они сами сочиняют песни, перекладывают на музыку стихи австралийских поэтов.

В Перте мы познакомились с певцом Джозефом Джоном. Он подошел к нам на собрании писателей и подарил несколько своих пластинок. Посреди разговора Джозеф вдруг встал и запел во весь голос. Без аккомпанеента. Ни с того ни с сего. От полноты чувства. Вскоре мы привыкли к тому, что он может петь в любой обстановке, по первой просьбе и без всякой просьбы. Он пел за рулем в машине, он пел у себя дома и ночью в парке. Он пел песню в память Альберта Наматжиры, песни строителей, золотоискателей, песни солдат.

— Это ведь не совсем мои песни,— говорил он,— я пою то, что подслушал у костров, на дорогах страны.

Он был охотником, шофером, каменщиком, дорожником и всегда — певцом. Его очень интересовало, есть ли у нас что-то похожее. Я вспомнил Окуджаву, Городницкого, Матвееву, Высоцкого, я сам не ожидал, сколько их набиралось, а скольких я не знал, только слышал песни где-то у лесных костров, под гитару, в субботних электричках. Я вспомнил свой разговор с одним очень известным, очень благополучным, очень круглым поэтом. С какой яростью он поносил эту бесприютную песню.

— Да,— вздохнул я,— конечно, есть...

Джозеф не понял моего вздоха. Ну и бог с ним. Врать я не хотел, и правду говорить я тоже не хотел.

«ОДНОРУКИЙ БАНДИТ»

Джон Хейсс пригласил нас в свой клуб — пообедать. Представления о клубах у меня были случайные.

Я знал, что клубов в Австралии много, что они совсем не похожи на наши клубы.

Последнее подтвердилось немедленно, у входа в клуб,— меня не пускали без галстука.

— Ага, что я говорил,— сказал я, хотя ничего такого я не говорил.

Джон Хейсс виновато улыбнулся: дурацкое правило, но ничего не поделаешь — слишком уважаемый клуб.

Посредством улыбки Джон Хейсс мог выразить что угодно. Там, где другим нужен монолог, ему достаточно было улыбнуться, при этом его улыбка всегда оставалась доброй и деликатной. Имея такую улыбку, Джон не нуждался в переводчике. Я понимал его свободно. Будучи президентом «Феллоушип» писателей Сиднея, Джон Хейсс выходил на трибуну и улыбался, это заменяло вступительную речь. Допустим, я и преувеличиваю, но самую малость.

Итак, Джон Хейсс улыбнулся, а я развел руками. Галстука у меня не было. И в отеле, в чемодане, у меня не было галстука. Даже дома, в Ленинграде, у меня не было галстука. Так же как Джон провел свою жизнь в галстук, так я провел ее без галстука.

Мне жаль было огорчать Джона, кроме того, мне хотелось посмотреть австралийский клуб, мы подумывали, не пойти ли нам купить галстук, но в это время портье сказал:

— Минуточку! — и вытащил из ящика связку галстуков.

Я плохо разбираюсь в галстуках, но я надеюсь, что таких страшных галстуков еще никто не носил. Совершенно одинаковые, вяло-рыжие, они не подходили ни к какому костюму, они как возмездие за мою не любовь к галстукам.

Я сунул голову в петлю, портье затянул ее на моей шее и подмигнул:

— Не горюй, веревочная петля — хуже!

Это меня утешило. Правила были соблюдены, мы могли войти в клуб.

Он занимал два этажа. В бильярдной джентльмены играли в бильярд, в читальне читали, в баре пили.

Клуб назывался клубом любителей-автомобилистов. Джон не был любителем и не имел автомобиля. Оказывается, это ничего не значило, Джон вступил в клуб потому, что ему нравился клубный ресторан. Впрочем, любителей-автомобилистов тоже принимали в этот клуб. Для вступления нужно получить рекомендации членов клуба и заплатить взносы. Кроме этого клуба Джон — член еще двух клубов, так же чем-то удобных ему.

Есть клубы рыбаков, журналистов, холостяков, спортивные клубы, женские. Нет ничего легче, как организовать новый клуб. Любой клуб — любителей бифштексов, любителей детективных романов, клуб глухих, клуб сторонников солнечных часов...

Приятней всего создавать клуб в знак протеста против старого руководства клуба, против казначея, против всякого руководства. Это всегда находит поддержку. Австралиец терпеть не может руководства — будь это председатель клуба, полицейский, министр, профсоюзный вождь, — власть не бывает хорошей. Во всяком случае, поддерживать ее он не намерен, что бы она там ни делала. Попробуйте создать клуб по указанию сверху. Навязанное отвергается яростно, как насилие. Ни в одном клубе, ни в одном общественном заведении я не видел портретов главы правительства, министров, английского генерал-губернатора. Почтение к властям — признак дурного тона. Портреты английской королевы скорее привычка, чем любовь к монархии.

В ресторане у Джона Хейсса был свой любимый столик, официанты знали его привычки, его меню; пока мы обедали, его несколько раз вызывали к телефону — было известно, что с двенадцати до двух он находится здесь.

И этот клуб, и другие, в которых мы бывали, — довольно демократичные организации, они пользуются популярностью во всех слоях населения, можно посидеть в компании приятных тебе людей, встретиться с друзьями, член клуба имеет право пригласить гостей.

Рядом с рестораном помещалась небольшая комната, где стояли автоматы для игры в покер. Вечером мы ужинали в другом клубе, там тоже была такая комната.

Разумеется, я не мог удержаться и сыграл в покер с автоматом. Процедура была проста: я опустил в щель шиллинг, затем потянул рукоять на себя и отпустил. Завертелись диски с цифрами, замигали лампочки — жж-жж... и ничего. В зависимости от того, как совпадут цифры, можно выиграть фунт, десять фунтов, двадцать. Это по условиям, так сказать — теоретически. Я сыграл еще и еще. Казалось, что стоит немножко иначе дернуть рукоятку — и выиграешь. Не совпадает вроде чуть-чуть, всякий раз чуть-чуть...

Во время ужина то и дело кто-либо из нашей компании вскакивал и бежал в эту комнату сыграть с «одноруким бандитом» — такое прозвище у автоматов.

Прозвали их так не даром. Цены в клубных ресторанах дешевле, чем в обычных. Члены клуба получают скидку за счет прибыли от этих самых покер-автоматов. Но позвольте, ведь играют на них те же члены клубов? Совершенно верно, на первый взгляд это нелепость, на самом же деле — точный психологический расчет. Посетитель обычно рассуждает так: я сэкономлю на обеде три шиллинга, почему бы на них не сыграть. Играет, и снова играет, и проигрывает куда больше трех шиллингов. Никто не заставляет играть, можно просто съесть свой дешевый обед, но в том-то и дело, что большинство играет.

Нам объяснили механику этого хитрого расчета, объяснили, что львиная доля прибыли идет в карманы владельцев автоматов, — объясняли, возмущались и, посмеиваясь над собой, уходили к автоматам.

Тут действовал тот же психологический трюк, что и в магазинах. В витринах цены выглядят так: «7 фунтов 19 шиллингов 11 пенсов». Неважно, что с восьми

фунтов вы получите сдачу всего один пенс, цена выглядит все же семь фунтов, а не восемь. И это действует не только на туристов, но и на самих коренных, тертых австралийцев. Большой медный пенс много весит во всех смыслах.

Я обратил внимание, что перед покер-автоматами сидят люди; они не играли, они наблюдали, как играют другие. Иногда они что-то записывали и следили внимательно, словно занимались научной работой. Они искали секрет автоматов. Что надо сделать, чтобы выиграть? Однажды такой способ был найден. Нам рассказали эту историю.

Несколько парней, потратив года полтора, научились поворачивать рукоять, получая выигрышную комбинацию цифр. Чуть на себя и обратно до еле слышного щелчка первого колесика, снова на себя и обратно, пока щелкает второе, и т. д. Они принялись посещать один клуб за другим. Выдаивали десятки, а то и сотни фунтов из автоматов за вечер. Над владельцами игровых машин нависла угроза разорения. Этих «доильщиков» выследили. Закрыли им доступ в клубы. Они уехали в Мельбурн. Там повторилась та же история. «Доильщики» переезжали из города в город, за ними слали фотографии, агентов. Владельцы автоматов объединились. «Доильщики» улетели в США.

Дело в том, что покер-автоматы — предмет национального экспорта Австралии. Ее, так сказать, вклад в технику развлечений. Австралийские автоматы установлены во многих странах. Охота за «доильщиками» перекинулась за океан. Надо было спасти репутацию игровых автоматов. Сложность заключалась в том, что все автоматы, установленные в разных странах, изготавливались по единой схеме. Окруженные со всех сторон, «доильщики» выдвинули условия капитуляции. Они сложат оружие за определенную сумму. Иначе они опубликуют свой способ для всеобщего пользования. То ли сумма была велика, то ли гарантии сомнительны, но сделка не состоялась, владельцы решили переделать все автоматы. Расписанная газетами история воодушевила многих игроков, и вот уже несколько лет они сидят перед новыми автоматами — ищут, изучают, исследуют.

Мысленно я пожелал им удачи. Что это такое, в самом деле? Стоит людям найти возможность собраться, общаться — глядишь, уже тут как тут: пристраивается паразит, извлекающий из этого деньги. И ведь нашлись

инженеры, конструкторы, которые сидели, придумывали, рассчитывали, начинали автоматы счетными устройствами, блокировкой, новейшей автоматикой, теми же узлами, которые применяются в счетных машинах.

«Однорукий бандит» не нападал из-за угла, не приставал к прохожим, он преспокойно расположился в отведенной ему комнате. Люди сами покорно приходили к нему и отдавали ему деньги. Они знали, что он бандит, грабитель, и все-таки шли. Не столько факт грабежа меня возмущал, сколько способ. Я почувствовал, как его рукоять зацепила и вытягивает из меня игрока, — где-то в подвалах моей натуры, оказывается, дремала эта порочная слабость — игрок, которому дай волю, и он вырастет, завладеет... Я наблюдал за окружающими, мне казалось, что и они побаиваются в себе того же. Вероятно, кто-нибудь из них возразит: «С чего вы взяли? Много ли вы видели, чтобы судить о нас, пускаться в рассуждения о нашей жизни? Подумаешь, покер-автоматы, не это типично».

Но я и не настаиваю на типичности. И если я говорю о каком-то австралийце вообще, то он состоит всего-навсего из двух-трех десятков австралийцев, с которыми я успел близко познакомиться.

Однако я давно заметил, что человек хуже всего представляет, каким он выглядит со стороны. Например, я сам не знаю, что у меня за физиономия, когда я спорю, волнуясь, размышляю. Я никогда не видел себя в такие минуты. В зеркале я вижу не себя, а человека, который рассматривает меня. Как-то один писатель вывел меня в своем рассказе. Обстоятельства были изложены точно, и тем не менее мне и в голову не пришло, что я читаю о самом себе. Ничего плохого там не было, но я не имел к этому субъекту никакого отношения и не желал иметь. А все кругом смеялись и показывали на меня пальцем...

А иногда бывает обратное. Ко мне явился научный сотрудник одного из институтов и заявил, что его профессор возмущен тем, что я вывел его в романе. Я никогда и в глаза не видел этого профессора и понятия о нем не имел, а он узнал себя, вплоть до внешнего вида и привычек.

«Однорукий бандит» не давал мне покоя. Впервые предо мною была машина полностью враждебная, которую никак нельзя было приспособить, приладить для общества, в котором я жил. Техника бесклассова — это

я знал твердо, но тут я споткнулся. Он был замыслен как бандит, он был сконструирован как бандит, он не мог быть не чем иным, как бандитом, поэтому он подлежал уничтожению вместе с силами, породившими его.

Пивные — тоже клубы, только без «одноруких бандитов», без членства, без галстуков. Пивные, или, как их называют, паб, почти всюду одинаковые. Стены выложены белым кафелем, цементный пол, длинная стойка, высокие стаканы. Большой частью пьют стоя, расхаживают со стаканами в руке от одной компании к другой. Австралийский паб — это не какая-нибудь забегаловка, выпил и отправился восвояси. Есть еще, конечно, женщины, которые считают, что если купить мужчине несколько бутылок пива, то он может и не ходить в клуб. Им не понять, что паб незаменим. Паб не похож на немецкие пивные, на чешские пивные, в которых есть своя прелесть, не похож он и на наши пивные, в которых тоже могла бы быть прелесть, если б их было больше.

Мы зашли с Гарри в паб, и через несколько минут все знали, что я из Ленинграда, прилетел вчера, уеду в субботу, воевал танкистом. Тут же я поспорил с двумя каменщиками насчет самолетов и дирижаблей, сыграл с кем-то в кости, мясник пригласил меня на день рождения дочери, Гарри организовал дискуссию о социализме, тем временем седенький клерк рассказал мне, как спастись от акул, а я ему — как кататься на лыжах. В пабе нет незнакомых. Представляться друг другу некогда. Тут нет профессоров, студентов, скваттеров, докеров, министров. Главный тот, у кого есть в запасе интересная история, кто умеет рассказывать, у кого громче голос. За каких-то двадцать минут мы с Гарри выпили шесть огромных стаканов пива. Подобная скорость возможна лишь в пабе. По количеству выпитого пива на душу населения Австралия занимает третье место в мире. Однако душа эта потребляет, пожалуй, самое крепкое пиво. Если литры помножить на градусы, то Австралия может поспорить с чехами. Вопрос этот сейчас живо обсуждается, и делается все, чтобы страна добилась первенства. Мы тоже пытались помочь австралийцам и сразу ощутили всю сложность их положения. Конечно, по сравнению, допустим, с чехами австралийцам куда хуже. Чех — он может пить свое пиво не торопясь. Чеха никто не понукает, сиди себе у Томаша, у Калеха хоть за полночь. В Австралии пить труднее.

Работа кончается в пять, пивные закрываются в шесть. Таково требование женщин. За какой-нибудь час попробуй догнать чеха. В таких условиях и третье место чудо. Обидно все-таки, что статистика не учитывает обстоятельств. Итак, с пяти до шести мужчины пьют и говорят. Прежде всего обсуждаются предстоящие скачки, бега, спортивные новости, профсоюзные дела, рассказываются всевозможные истории, немного политики, анекдоты.

Женщины в пивные не ходят — не принято. Поэтому в течение этого часа мужчины испытывают блаженное чувство полной свободы. Никаких замечаний, ограничений, осуждающих взглядов и заботы о здоровье. В одном углу поют, у стойки играют в кости. Молчать некогда. Надо успеть наговориться и выпить.

Ровно в шесть часов пивные краны закрываются. Требование австралийских женщин удовлетворено законом. Хочешь не хочешь, приходится идти домой. Напиться никто не успел, но самолюбие удовлетворено, и обе половины рода человеческого довольны. Один час в день свободы и независимости — тоже немало, почти достаточно, чтобы почувствовать себя мужчиной.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Небо проснулось все так же безнадежно чистым, ни облачка на стерильной голубизне. К полудню оно вылиняет, солнце расплавится на его поверхности, как масло на сковородке. Утро для нас — это прежде всего прохлада, спасительные тени домов, сухая кожа.

Из нашего гостиничного закоулка мы вышли на главную улицу Аделаиды и ничего не поняли. Мы посмотрели на часы, сверили время — восемь часов. Все правильно. Все как обычно. Что же случилось, почему на улице ни души? Те же сплошные линии магазинов под сплошным козырьком, те же сплошные линии авто вдоль тротуара, и пусто. Шаги звучали гулко в неестественной тишине. Один квартал, второй — ни одного встречного, только манекены следят за нами из глубины витрин. Бары закрыты, кафе закрыты. Окна домов закрыты жалюзи. Город пуст, но как пуст — в самую глухую ночь он не бывал таким пустынным.

Мы свернули на площадь. Перед костелом никого, большая, залитая солнцем площадь пуста. Я вышел на

середину площади и закричал. Может быть, где-нибудь откроется окно, люди придут на помощь или хотя бы полюбопытствуют. Может, появится полицейский.

— Люди, где вы? Что случилось?

Оголенный, покинутый город напоминал об атомной войне, о вымершей планете. Наглядное пособие в борьбе за мир — жаль, что нет зрителей. Город был как уцелевшая Помпея, как музей. Внезапно все лишилось смысла, нелепыми стали крикливые плакаты о распродаже, роскошные универмаги Давида, универмаги Вулворта и какого-то Джона Мартенса — они были так же не нужны, как маленькая лавочка Стюарта. Смешно было видеть объявления, запрещающие «парковаться», аккуратный белый пунктир на площади, автоматы и даже собор. Смысл слетел с улиц, оставляя груды затейливо уложенного раскрашенного кирпича, скелет суматошной, нелепой и милой Истории, которая называлась двадцатым веком. Улыбаясь, можно разглядывать ее издали, как ту же Помпею. В каком это было веке — в первом? До нашей эры или после? Мы очутились на таком расстоянии, что легко могли ошибиться — двадцатый век, восемнадцатый — какая разница. Просто давным-давно. Забавно они жили в этом давным-давно.

Воображение наше разыгрывалось вместе с аппетитом. Мы хотели есть. Голод связывает любое прошлое с любым будущим, это такое чувство, которое действительно в любую эру. Мы присели на ступеньки закрытого бара и начали выращивать свой голод. Нужно было довести его до тех размеров, когда он станет сильнее предрассудков и позволит взломать бар.

Неизвестно откуда перед нами появился Джон Брей. Он нежно прижимал к груди банки с пивом. Джон Брей нам понравился с первой минуты, но сейчас он был лучшим человеком в Аделаиде.

— Что случилось? — спросил я. — Где население? Где трудящиеся, где буржуазия?

— Воскресенье! — сказал Джон Брей.

Поэтому он так легко нашел нас, единственных людей в каменной пустыне.

— Воскресенье, — повторил Джон. — Торжество одиночества и заброшенности. Посреди города можно умереть от голода, можно от жажды. От чего вам угодно? Никто никого не смеет беспокоить. Большинство самоубийств происходит по воскресеньям.

— Где же все люди?

— Те, кто не кончает с собой, уезжают на пляж, сидят у телевизора, копаются в садике. А как у вас?

— У нас все иначе, — сказал я. — У нас улицы полны народа. Мы ходим в гости, устраиваем коллективные вылазки за город и коллективно едем за грибами.

Джон открыл несколько банок, и мы стали пить пиво.

— Я нарушил закон, — сказал он. — Купил в воскресенье пиво.

Джон был известный адвокат, и у меня не было оснований ему не верить.

Все дело в обычаях, рассуждал я, но почему такие разные обычаи?

Я вспомнил воскресное утро в Польше, переполненные костелы, вечернее гулянье на старой площади в Кракове, воскресную главную улицу Варны, отданную гуляющим, воскресные итальянские карусели, кукольников, танцы. И вот, пожалуйста, австралийцы, такие общительные, простые, веселые люди, зачем-то заперлись в своих домах. Закрыты театры, кино, кабаре. Ни выпить, ни потанцевать, никакого культурного досуга.

— Раз в неделю человеку следует остаться наедине с собой, — сказал Джон. — Очень полезно. Собирайтесь, мы едем на пикник.

Он не видел в этом никакого противоречия. Самое естественное для него было поступать необычно. Он и сам был весь необычен. Он был похож на гризли или на Фальстафа. Выбрать окончательно не могу, потому что ни того, ни другого я не видел. Ходил он переваливаясь, громадные волосатые руки его были всегда растопырены. Брюки свисали, темные пятна пота выступали на рубашке, и при этом он каким-то образом сохранял утонченное изящество. Есть такие люди, у которых изящество никак не связано с их внешним видом: выпирает брюхо, растрепаны седые волосы, потный, пыхтящий — и все ему идет, все равно он аристократ.

Кроме того, он был поэт и адвокат. В его конторе висел диплом королевского адвоката — из этой бумаги следовало, что он особо важный адвокат, заслуженный. Он позволял себе не считаться ни с кем и брался за безнадежные дела, бесплатно вел процессы бедняков и аборигенов, ему позволялось то, что нельзя было другим. Никто бы не удивился, если бы увидел Джона навеселе и в расхристанном виде. А вот, например,

Флекс — тот не имел права появляться без галстука. Каждому было положено свое.

Машина мчалась сквозь безлюдную Аделаиду, некогда шумную, говорливую, занятую в будни куплей-продажей, американским боевиком — «Клеопатрой», приездом английского дюка...

— Одиночество — дефицитная штука в наше время, — говорил Джон. — Людям некогда заниматься собой. Годами не успевают добраться до себя. Раньше книги заставляли человека думать, теперь читают для того, чтобы не думать.

Поля, низкорослые рощи, лиловые и красные холмы вздымались и опадали. Цвели высокие алые банксии, и пропадало ощущение пустынности, мир наполнялся красками, запахами. Хорошо, что для природы не существовало воскресенья, — отсутствие людей несколько не портило ее.

На шоссе становилось оживленно. Мы нагоняли одну за другой машины. На их крышах блестели привязанные серфинги — легкие доски с килем, сделанные из серебристого пенопласта.

Стоя на таких досках, австралийцы скользят вниз с высокой волны, так же как мы на лыжах. Только вместо снежной горы — водяная, вместо двух лыж — одна доска, вместо свитера — трусики. Вместо мороза — февральская жара, солнце движется наоборот, справа налево, на севере теплей, чем на юге, мохнатые звери высиживают яйца, деревья меняют не листья, а кору — все шиворот-навыворот, страна наоборот, как говорится в одном стихотворении Галины Усовой. Она занимается переводами австралийской поэзии, Австралия — ее страсть. Кто собирает марки, кто ходит на футбол, кто в филармонию, а Галя Усова любит Австралию (хобби площадью почти восемь миллионов километров), любит так, что даже пишет стихами:

Австралия — страна наоборот.
Она располагается под нами.
Там, очевидно, ходят вверх ногами,
Там наизнанку вывернутый год.
Там расцветают в октябре сады,
Там в январе, а не в июле лето,
Там протекают реки без воды
(Они в пустыне пропадают где-то).
Там в зарослях следы бескрылых птиц,
Там кошкам в пищу достаются змеи,
Рождаются зверята из яиц,
И там собаки лаять не умеют.

Деревья сами лезут из коры,
Там кролики страшней, чем наводнение,
Спасает юг от северной жары,
Столица не имеет населенья.
Австралия — страна наоборот.
Ее исток — на лондонском причале:
Для хищников дорогу расчищали
Изгнанники и каторжный народ.
Австралия — страна наоборот.

...Мы пронеслись сквозь пустынные городки, и я думал о том, что так никогда и не увижу их многолюдными. Воскресенье. Господь бог решил в воскресенье отдохнуть, уже были созданы земля, и небо, и Австралия с акулами, он почил от трудов своих, но все же что он делал в этот первый выходной день? Как он отдыхал? Это была такая же загадка, как и то, что творилось за прикрытыми жалюзи коттеджей.

Машину вел Флекс. Первое, что он сообщил нам, встретив в аэропорту, — это то, что у него новая машина. Уже потом он сказал, что у него вышла новая книга, что жена выздоровела и что они переехали в другой дом. Все это были новости второго порядка. Флекс наслаждался новой машиной.

— Вы не боитесь быстрой езды? — спросил он.

Я посмотрел на спидометр. Стрелки подходили к последнему делению, к цифре 100.

— Прекрасно, — сказал я.

Он благодарно улыбнулся, и стрелка уперлась в 100. Поселки мелькали со свистом. Крыши сливались в одну крышу, окна в одно окно. Только благодаря массе Джона Брея наша машина не взлетала в воздух. Я наклонился к спидометру. Под цифрой 100 была вторая цифра — 160. Так я понял раз и навсегда, чем отличаются мили от километров. Но было уже поздно. В таких случаях лучше не смотреть на дорогу. Тем более что Флекс тоже не часто смотрел на нее. Он рассказывал о своей школе — он там директорствует, потом он стал объяснять философские стихи Джона. Я старался не отвечать, чтобы прекратить разговор. Получалось еще хуже. Флекс поворачивался ко мне, обеспокоенный молчанием. Он начисто забывал о дороге, выясняя мое настроение. Когда я отвечал, Флекс успокаивался и продолжал, размахивая руками, цитировать стихи. Он не мог читать стихи и держаться за руль. У каждого своя манера читать стихи. Я не встречал ни одного австралийца-водителя, который бы умел разговаривать,

смотря при этом на дорогу. Одни считают долгом вежливости смотреть на тебя, когда ты говоришь. Другие поворачиваются к собеседнику, когда он слушает их объяснения. Видите ли, их интересует реакция. Молчаливые водители мне не попадались.

Мы остановились заправиться. У бензоколонки стояло несколько машин, набитых детьми, корзинами со снедью, надувными матрасами. Все это напоминало эвакуацию. Парни в голубых униформах окутали нашу машину шлангами: заливали бензин, масло, добавляли сжатого воздуха в шины. Как ни быстро они орудовали, машина еще быстрее раскалялась. Остановка на таком пекле — гибель. Машина превращается в духовку. Мы корчились в ней, как грешники. С какой нежностью вспоминаются из этого ада слякоть, туман, насморк и прочая ленинградская благодать. Что произошло с нашим чахлым, гриппозным солнышком на этой половине земного шара? Никакое оно не солнышко — это насос, который разъяренно выкачивает из тебя пот. Вкуснейшие ананасовые джусы, и апельсиновые джусы, и ледяное виски с содовой, пиво, кофе — все перегоняется в липкий соленый пот. Потеет вся страна. Никто не борется за место под солнцем. Полезная площадь страны исчисляется в такие часы количеством тени на одного человека. Качественной, густой тени не найти, тень жиденькая, в тени градусов сто. Наш Цельсий гуманней ихнего Фаренгейта. Я пробую умножить Фаренгейта на мили... В этой жаре мысли мои, не успевая созреть, усыхают, от них остаются наиболее крепкие прилагательные. Подумать только, что за все время я не видел здесь ни одного серьезного облака. Куда девается то огромное количество воды, которое ежесекундно испаряется из населения?

Машина все еще стоит. Выйти нельзя, потому что потом не сядешь. Сиденье накаляется так, что думаешь: вот-вот сгорят штаны и все остальное.

Австралийцы тоже мучаются, но они умеют сохранять при этом хорошее настроение. Флекс предложил опускаться в такие дни Австралию в океан хотя бы на полминуты. Пошипит, но все же охладится.

Джон вскрыл банку, и, глядя, как они с Флексом, обливаясь потом, пили пиво и рассказывали анекдоты, я подумал, что это великий народ. Потом я вспомнил, что у нас сейчас на перроне Финляндского вокзала замерзший Лева Игнатов со своими лыжниками ест

эскимо и вафельные стаканчики с мороженым, и обрадовался тому, что мы тоже великий народ. Но, признаюсь, была такая жара, что я не мог доказывать, что мы более великий народ.

Так же как у нас инженеры ищут, как бы защитить здание от мороза, здесь инженеры защищают от тепла. Крыши снабжают асбестовыми прокладками, комнаты — фенами, аппаратами «эркондишен». Пока что это помогает. Пока что, ибо Солнце с годами увеличивается в размерах, излучение возрастает, температура Земли неуклонно повышается, дело идет к тому, что океаны начнут кипеть и жара разрушит всю существующую жизнь. Я мрачно вспомнил предсказания астрономов, пока мы не двинулись в путь. Машина набрала скорость. Ветер выдул зной, и я подумал, что некоторое время у нас в запасе имеется, поскольку все это случится через два миллиарда лет.

С главного шоссе — на узкую асфальтированную дорогу, с дороги — на проселок, и мы на ферме Роджера Макнайта. Здесь состоится пикник. Подъехала еще машина с семьей Лофусов, выгружают корзины с припасами, бутылки вина, пива. Женщины надевают фартуки, мужчины разжигают костер.

Роджер — поэт. Фермер-поэт. Или поэт-фермер. В Канберре мы познакомились с Кемпбеллом. Он хороший поэт и тоже фермер. Белл Дэвидсон — известный прозаик и тоже фермер. Поэтов, которые могли бы жить на литературный заработок, в Австралии, кажется, вообще нет.

Костер разводили во дворе фермы со всеми предосторожностями. Обычно пикник устраивают в глубине буша — австралийский пикник имеет свои правила и традиции. Но нынче костер в буше зажигать нельзя. Третий месяц не было дождя. С холма, на котором стояла ферма, были далеко видны сухие поля, лесистые склоны. Темная зелень буша выглядела настороженной. Сейчас достаточно малейшей искры, чтобы буш запылал. Эвкалипты всех видов, испаряющие эфирные масла, вспыхивают мгновенно, как бензин. Окрестности затаились, словно в ожидании беды. На ферме Роджера все было готово на случай пожара. Спасать дома, строения бесполезно — огонь распространяется с колоссальной скоростью. Спасаться

можно только самим, на машине. Пожары — бедствие страны. Страх перед пожаром живет в душе каждого австралийца. Европейцам это трудно понять. Однажды мы сидели в прокуренном зале ресторана в Канберре, когда посреди разговора Фернберг обеспокоенно принюхался. «Пожар», — сказал он. Мы вышли на балкон. Вечерняя Канберра спокойно блистала огнями. Я добросовестно принюхивался и ничего не чувствовал.

— Буш горит, — определил Фернберг. — Далеко. — И показал на восток.

Беседа наша расстроилась. Я не понимал тогда, почему Фернберга, преподавателя университета, журналиста, так беспокоит далекий пожар. Кто-то сказал мне, что Фернберг — фермер. Но это была лишь часть объяснения. Запах гари для австралийца, наверное, то же самое, что для ленинградца, пережившего блокаду, вой сирены.

И когда Роджер вел нас по своим полям, мы шли, как по складу горючего, — следили друг за другом, чтобы никто не курил. А в остальном все было прекрасно и свободно.

Роджер оказался превосходным парнем.

Во-первых:

он был солдатом. В эту войну он воевал с японцами. К солдатам у меня отношение особое, они пользуются у меня решающими льготами, поскольку солдат понимает то, чего никто другой не поймет. Сколько бы лет ни прошло, солдатское несмываемо, оно как татуировка.

Во-вторых:

он был поэтом. Хорошим поэтом. И не спешил печататься. Ему важно было написать и прочесть друзьям. Плевал он на публикации. Он не желал тратить время, ездить в город и ходить по редакциям. Ему интересней было стоять в поле и слушать, как растет трава. Жена застала его, когда он разговаривал с травой. Он читал стихи траве.

Природа лучше понимает, когда с ней говорят стихами:

Спустился я
 к нагроможденьям скал,
Чтоб словом тронуть их, —
 а сам шагал
По костякам нечетным
 жизни той,
Которую сожгли соль и прибой.

В третьих:

он был фермером. После войны он надеялся чего-то добиться. У него были хорошие руки, хорошая голова. Через несколько лет городской жизни оказалось, что он ничего не приобрел, кроме разочарований. Роджер загнал свой скарб и с женой забрался в эту глушь. Он взял в кредит участок земли — сплошной буш, взял в кредит машины и принялся за работу. Он начинал с ничего. Они с женой вбили столб и на дощечке написали название фермы: «Дошли до ручки». Все поле, пастбище для коров расчищено, огорожено этими руками. Сложнее всего было обеспечить стадо водой. На участке имелось несколько ручьев. Роджер построил плотины, сделал запруды. Добуриться к воде здесь невозможно. Для фермы воду собирали в период дождей в огромные цистерны-танки.

Три серебристые цистерны стояли у дома — хранилище жизни семьи.

Роджер до сих пор в долгах, но он не унывает. Он работает на себя, ему интересно что-то придумывать, строить.

Сухая трава хрустела под нашими ногами. Пыль стлалась по полю. Пустыня это была, а не поле. Повсюду мертво лежали перекаленные желтые пустоши, и желтого-то в них не осталось, а была бесцветность праха, и травы не осталось, а был ее хрупкий остов. Что тут делать коровам?

Роджер сорвал пучок, потер в ладонях. Посыпалась сухая труха.

— Вы думаете, она мертва? — Роджер протянул ладонь, там лежали черные горошины.

На вкус они были сладковатые, напоминали клевер.

Могучие коровы сочувственно разглядывали наши физиономии, принимая нас за еще одно стадо, которое хозяин куда-то гонит.

Коров было семьдесят. Роджер обслуживал их сам, никаких работников. Ему помогали собака и после школы одиннадцатилетний сын. Жена занималась домом и варила сыр.

— Я бы мог держать еще столько же коров, — сказал Роджер, — но тогда не останется времени писать стихи.

Сынишка сидел за рулем трактора. За трактором катился прицеп с сеном, заботливо укрытым брезентом. Мы разлеглись на брезенте и поехали мимо плотин, проволочных изгородей, загонов, через мостики, над

мутно-желтыми запрудами. Коровы спускались к воде, пили, заходили по брюхо, спасаясь от зноя. Ошалелая лайка с восторгом носилась вокруг, вспугивая птиц. Роджер стоял, широко расставив ноги на тряском прицепе, и показывал, и читал стихи. Сено пахло сеном и еще детством, с годами прибавляется этот запах, счастливый запах детства.

Тень оврага накрыла нас сырой свежестью. Это был единственный невырубленный участок, явно бесполезный, убыточный, окутанный лианами, наполненный птичьими песнями. Роджер не трогал его ради ребят и орхидей. Лепестки их змейно выгибались в зеленоватом настое прохлады.

— Да здравствует поэзия! — кричал Флекс.

Мясо к нашему возвращению поджарилось. Оно томилось на железной сетке над беспламенным жаром углей эвкалипта. Сладкий дым эвкалипта курился на дворе фермы, уставленной дощатыми столами с вином, пивом, салатами. Запах эвкалипта — это запах Австралии.

— Когда австралиец скучает на чужбине, — сказал Роджер, — друзья посылают ему листок эвкалипта. В утешение. В память о родине.

Австралийский пикник состоит из питья, из песен, жареной баранины, фруктов, внезапной тишины, безотчетных прыжков, желания всех обнять, лазить по деревьям. Австралийцы не происходят от обезьян. Они происходят от кенгуру и коала — мохнатых добряков с круглыми детскими глазами. Пикник — бунт против сервиса. Долой крахмальные конусы салфеток, долой подогретые тарелки, холодильники, платные стоянки, автоматы!..

Жена Роджера разносила сыры, изготовленные ею. Сыры были прекрасны. Жена Флекса сильным голосом пела прекрасные песни докеров, пастухов, золотоискателей, свободных людей, у которых все их имущество — одеяло за плечами да умелые руки.

На низких яблонях блестели стеклянные нити — защита от птиц, и в этом наряде яблони были прекрасны.

Я поднял тост за Австралию, и все сочли этот тост прекрасным, такие это были прекрасные люди.

Никто из них ни одним словом, ни намеком не дал почувствовать, что весь этот пикник был организован ради нас. Я представлял, как заранее оборудовался для

поездки по полям прицепа, — не будь нас, никому бы не пришло в голову ездить по полям; как готовились столы и тюки с сеном. Никто не предписывал этим заниматься, это было нечто большее, чем гостеприимство. Никто из них не бывал в нашей стране. Они не были коммунистами. Они не знали нас как писателей. Они ведь ничем не были нам обязаны. И меньше всех Роджер. Уж он-то, вынужденный считать каждый шиллинг, чего ради он тратился, готовился, что ему были мы?

Я слушал, как Роджер умножал двадцать литров молока от каждой коровы на семьдесят и делил на количество акров. Он не стеснялся считать, он вынужден был считать, иначе ему было не прожить. Беспечный поэт уживался в нем с расчетливым хозяином. Мужчины сочувственно помогали ему вычислять невыгодность мясного хозяйства. Огород держать тоже невыгодно. Час работы на огороде дает меньше, чем час работы с коровами.

— Надеюсь, в будущем, — говорил Роджер, — мы создадим кооператив с соседними фермами и избавимся от посредников, сами будем продавать.

— Да здравствует независимость! — кричал Флекс.

Поспел чай. Роджер раскручивал на веревке закопченный котелок с чаем. Он хотел показать нам всю процедуру приготовления австралийского чая, крепчайшего, черноту которого обычно забеливают молоком, чтобы было не так страшно. Он хотел, чтобы этот день запомнился всем нам. Он принадлежал к счастливейшему типу людей, которые умеют делать «сегодня» главным днем жизни.

Но, может быть, действительно этот день значил для него так же много, как и для меня. Я посмотрел на его открытое лицо. Он встретил мой взгляд и, поняв, сказал:

— Хорошо, что вы приехали. Я запомню этот день.

В его глазах я увидел недосказанное, то, что люди не умеют выразить словами. Я тоже не могу это передать. Мы тут были ни при чем. Он принимал у себя на ферме нашу страну. Сколько за свою жизнь прочел он о ней всякой всячины, небылиц и напраслин, сколько было у него сомнений, разочарований. В конце концов, что мы сделали для него? И все же он принимал нас по высшему разряду любви и дружбы.

Вот о чем я размышлял. О том, что мы не знаем, как мы выгладим со стороны, что мы значим для людей, казалось бы никак не связанных с нами, живущих где-

то на другой половине земного шара, на маленькой ферме в штате Южная Австралия. Что бы там ни было, мы нужны, нужны каждому думающему человеку. Речь шла о самой сути, о сущности моей страны, о конечном смысле ее, который сохранялся для Роджера среди всех подлинных и приписанных нам грехов.

Мы возвращались под вечер. Машина ехала прямо в закат. Земля светилась золотом. Холмы стали сиренывыми, как на картинах Наматжиры. Мы возвращались другой дорогой. Кругом лежали разомлелые поля, диковатые долины, заросшие мульгой, и снова поля, окрашенные чистыми красками — желтой, красной и зеленой. Белые колонны эвкалиптов уходили под небо. Некоторые из них цвели неистово-алыми цветами. Закат был громадный, под стать этим огромным полям.

Такую щедрость пространства я видел только у нас. Краски у нас были другие, природа другая, но что-то родственное было в здешнем приволье. Просторы земли отзывались в людях — свободолобием, душевным размахом, независимостью.

Нас мало что связывало в истории, мы плохо знали друг друга, но в чем-то мы были схожи, даже близки.

— Что произвело на вас наибольшее впечатление в Австралии? — спросили меня в Сиднее.

— Ферма, — сказал я. — Роджер Макнайт, ферма, весь тот день.

— Почему?

Я развел руками. Я не сумел объяснить журналистам закат, взгляд Роджера, вкус клевера. Может быть, если б они приехали к нам, они бы поняли...

К. С. ПРИЧАРД

В Канберре, в посольстве, нас ждало письмо Катарины Причард. Она просила составить маршрут так, чтобы побывать у нее. Не будь этого письма, мы все равно бы заехали к ней. Нелепо было приехать в Австралию и не повидаться с Причард. По письму чувствовалось, как она ждала нас. И пока мы ехали к ней на машине из Перта, я думал о том, как трудно нам будет оправдать ее ожидание. Нас вез писатель Берт Виккерс. Он беспокоился: последнее время Причард болела и подолгу не вставала с постели. Ее болезнь волновала всех писателей штата. Даже писатели крайне правого толка спра-

шивали нас: «Вы были у Катарины, как она себя чувствует?»

Они считали ее противником, порицали ее партию и тем не менее по-своему любили Причард и гордились ею.

Она встретила нас на террасе своего старого дома. Она стояла в белом платье, держась за темную от времени балясину, седая голова ее была такой же белоснежной, как и платье. Издали ее стройная фигура казалась совсем юной.

Мы шли к ней по аллее, а потом побежали.

На портретах она выглядела куда старше. Я обнял ее и расцеловал, не успев подумать, прилично ли так обращаться с классиком, которого видишь впервые в жизни, да еще с заграничным классиком, да еще с женщиной.

В свои восемьдесят лет она прежде всего была женщина. Она чуть накрасила губы, припудрилась, глаза ее блестели. Оксана звала ее Катя, а я от почтения Катериной. Ее невозможно было звать миссис Причард.

Большой дом ее, ветхий, скрипучий, стоял неподалеку от шоссе, в заросшем саду. Мы расположились на террасе, увитой виноградом.

— Рассказывайте,— потребовала Причард.— Про Москву, Ленинград, про себя...

Она приготовилась слушать нас, как будто мы должны были привезти какие-то откровения. Она нарушала все обычаи поведения классиков. Я привык к тому, что классики и те, кто считает себя классиками, любят говорить сами, они вещают истины, роняют ценные мысли, чтобы слушатели почтительно заносили их изречения в записные книжки и публиковали в мемуарах. Причард самым легкомысленным образом нарушала традицию.

— Катарина! — взмолились мы, пытаюсь призвать ее к порядку.

Она рассмеялась и принялась расспрашивать меня о моей работе. Она не давала опомниться; если ее что-то интересовало, бесполезно было противиться. Оказывается, перед нашим приездом она раздобыла английское издание одной из моих книг, прочла — это будучи больной! — и теперь выпытывала подробности, выясняла места, которые не поняла, рассказывала свои впечатления. Я был огорашен. Я не привык к такому вниманию. Оно вызывает во мне глупое умиление. Разумеет-

ся, я понимал, что Катарина прочла бы книгу любого другого писателя, приехавшего вместо меня. Она принадлежала к натурам, для которых максимум внимания к людям проявляется естественно, в любых обстоятельствах, это норма их жизни. Она считает, что иначе и быть не может. Ей неловко и странно слышать какие-то слова благодарности по поводу такого поведения.

Однажды я попросил академика Смирнова принять меня. Договорились, что я приеду к нему на дачу к двенадцати часам. Счастье мое, что я случайно подошел к его даче вовремя. Владимир Иванович уже стоял на шоссе, ожидая меня. Вышел навстречу. Опять, скажете, умиление нормальными вещами? Но я думал тогда: почему никому из людей моего поколения и младше меня не придет в голову выйти к назначенному времени навстречу гостю? Мы будем гостеприимны и радушны, но нам и не догадаться, что можно еще и так выразить свое внимание к человеку. Сколько раз мы упускаем подобные возможности.

После пустоватой, веселой болтовни на приемах и коктейлях было приятно сидеть на этой старой террасе и говорить о серьезных вещах. Мы соскучились по серьезному разговору. Никто уже не внимал друг другу, мы спорили, бесцеремонно прерывали друг друга, шумели, радовались одинаковости каких-то сомнений.

— Мне трудно разбираться в современной науке, — жаловалась Катарина, — но я стараюсь понять, что же в конце концов может дать наука литературе. Сама я пишу о других временах, у каждого писателя есть свое время, в мое время здесь по дороге еще ездили на лошадях и в нашем саду бегали опоссумы и ползали змеи. Змея заползала сюда на веранду, и я поила ее молоком. Наверное, и в прошлое можно поехать на автомобиле, но я слишком стара, чтобы писать иначе. Однако я любопытна. Мне очень хочется понять, куда развивается литература.

В ней соединялись хрупкость и твердость, как в алмазе. На стенах висели старинные фотографии. Там Катарина была юной, в широкополой шляпе, на лошади, там все были юные — молодые люди в офицерских кепи, девушки со стеками, охотники в крагах. Катарину я узнавал сразу. Она была самой красивой. Конечно, сравнивать юность со старостью всегда грустно. Иногда это вызывает уныние, но тут у меня было совсем иное чувство. Я втайне восхищался и завидовал такой му-

жественной старости. Это редко бывает — столь пренебрежительное невнимание к своему возрасту: она с ним не считалась.

Еще не выезжая из Перта, мы заметили, как Берт таинственно и осторожно укладывает какие-то свертки в багажник. Оказывается, что это обед. Он сам приготовил его, чтобы не затруднять Катарину, живущую очень скромно и одиноко.

Поэтому обед показался всем особенно вкусным, мы ели и пили, и Катарина пила не отставая, потом мы варили кофе и смотрели на новые книги Причард, и Оксана переводила ей письма из России. Удивительно, сколько писем шлют ей советские читатели. Мать из Новосибирска жаловалась ей на сына. Причард советовала ей проявлять терпение. Я опускаю подробности их переписки. Лишь хочу сказать о письме, которое пришло к Причард спустя четыре года. Мать писала, что Причард была права и советы ее помогли, сын женился, взял женщину с ребенком, любит ее и ребенка, стал прекрасным человеком... Причард не знает русского языка, и всякое письмо от нас причиняет ей массу хлопот, но она не хочет отказываться от переписки, — никто не пишет ей так много, как советский читатель.

Я уже знал, что в Австралии писатели живут бедно. В этой богатейшей стране творческая интеллигенция — наиболее скромно оплачиваемая часть населения, среди них писатели, пожалуй, самая бедствующая профессия. Объяснили нам это тем, что раскупаются главным образом книги американских, английских авторов. Соревноваться с английской и американской литературой трудно, еще труднее конкурировать с английскими, американскими издательствами. Тиражи австралийских книг мизерны, цены высокие, гонорары ничтожны.

Однако я никак не предполагал, что хотя бы в какой-то мере это приложимо к К. С. Причард. Разумеется, ее издают и в Европе, и, может быть, там ее ценят и знают лучше, чем на родине. Австралия в глубине души не верит, что у нее есть своя собственная, сильная литература. То ли не верит, то ли ее убеждают в этом. Во всяком случае, у нас Катарина Сусанна Причард известна больше, чем у себя, ни в каких школьных программах Австралии ее нет, — слишком «красная». Вообще от писателей в Австралии масса неприятностей. Большинство из них «красные». Премьер-министра од-

нажды в парламенте спросили: «Почему правительство выдает поощрительные премии исключительно левым писателям?» «А что делать, — сказал он, — как нам быть, если у нас нет других выдающихся писателей, большинство из них либо коммунисты, либо близкие к ним».

Мы перебирали с Причард имена, среди которых были самые разные таланты — и Джуда Уотен, и Алан Маршалл, и Димфна Кьюсак, и Патрик Уайт.

Она сияла от гордости, от заслуженного хозяйского чувства старейшины этого цеха. Она была похожа сейчас на свои юные портреты, она была совсем молодая. Только дом был старый и сад.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАЯЦ

В австралийских клубах играют в механический покер. Люди играют с автоматами. Автоматы играют с людьми.

За два шиллинга автомат честно отпускает вожделенную порцию азарта. За один шиллинг в баре можно пострелять. Автоматический тир. Винтовка вделана в автомат-ящик, в глубине ящика перед прорезью прицела появляются, пробегают фигурки, кружки, цифры. Все как в настоящем тире, только винтовку не надо заряжать, и нет никаких патронов, и выстрела нет, и приклад не отдает в плечо. Автомат избавляет от всяких ощущений. Подлинность не нужна. Прицеливайтесь, нажимаете крючок, что-то гудит, мигает, и выскакивает результат — цифры точные и бесстрастные. Есть автоматы-бильярды, автоматы-скачки, автоматы-футболы. Повсюду блестят никелированные щели, куда можно опустить монету и получить порцию развлечения — сугубо личного, собственного, консервированного, готового к употреблению. Два шага от стойки бара — и перед вами разинуто много щелей. От скучающих посетителей ничего не требуется. Они нажимают кнопку и стоят, потребляя удобное автоматическое удовольствие.

Научные фантасты описывают пугающий мир кибернетических машин. Роботы захватывают власть над человеком. Разумно-бесчувственные машины становятся хозяевами. В кибернетически организованной жизни не остается места для человека. Тысячи рассказов,

романов, исполненных тревоги о будущем человечества, порождены научными спорами вокруг кибернетики: где предел ее возможностей? Может ли машина мыслить, заменить, превзойти человеческий мозг? Что, если удастся построить машины, наделенные бóльшим могуществом, чем человек, и способностью проводить свою линию поведения, да еще воспроизводить самих себя, да еще самосовершенствоваться и т. п. Пишут, читают и спорят, уверенные, что речь идет о будущем, отдаленном от нас по крайней мере несколькими поколениями. Но вот я смотрю, как эти австралийские парни покорно опускают монету в щель очередного автомата и как автомат начинает их развлекать, и мне кажется, что, пока мы спорим, автоматы потихоньку делают свое дело. Незаметно они все же овладевают миром. Они уже сегодня захватили какие-то области жизни, власть их уже велика и с каждым днем разрастается все больше под видом таких безобидных, таких веселых, симпатично подмигивающих машинок.

В Западной Европе их еще больше, но вряд ли где еще существует такая мощная индустрия азарта, как в Австралии. Бега, скачки, собачьи бега здесь не просто увлечение, не только популярный спорт. Они, скорее, отрасль промышленности, умело, по последнему слову психотехники и рекламы, эксплуатирующие национальные особенности характера. Австралиец всегда был азартен, австралиец был игроком, австралиец любил скачки, любил лошадей. Вероятно, это идет от предков-золотоискателей, со времен золотой лихорадки прошлого века.

За последние годы искусно раздуваемый азарт стал массовой болезнью. Не эпидемией, а хронической болезнью страны. Играют все, во всяком случае все интересуются скачками, следят за скачками. Многие превратились в скакоманов, бегоманов. Игра отнимает все свободное время, нервы, деньги. Как наркоманы, они должны постоянно поддерживать себя переживаниями «четвероногой лотереи». Их болезнь кормит сотни, тысячи людей — явных букмекеров, тайных букмекеров, кассиров тотализаторов, тренеров, конюхов, жокеев, скаковые конюшни, ипподромы...

Поначалу всеобщее увлечение скачками казалось мне забавным. Идешь по городу — там тотализатор, тут и вот еще. Внизу в отеле разговор о скачках, в пабе изучают таблицу скачек, за ленчем клерки спорят о ло-

шадях, повсюду заняты скачками. Телевизионные передачи о скачках самые популярные. Проводятся народные конкурсы: надо ответить, какой масти лошадь выиграла семь лет назад на скачках в Дарвине. В Сиднейском музее на почетном месте стоит чучело величайшего легендарного скакуна Фар Лапа. Биография Фар Лапа, покушение на Фар Лапа, мученическая смерть священного Фар Лапа известны каждому школьнику так же, как жизнь Наполеона или Джеймса Кука. 67 000 фунтов — сумма максимальных ставок на Фар Лапа. 1926—1932-й — годы его славной жизни. Единственный в мире конный памятник без всадника.

Накануне скачек мы зашли в один из городских тотализаторов. Работало несколько касс. К окошкам стояли очереди. Принимали ставки. Перед таблицами толкались игроки, выбирая, на кого поставить. Кое-кто открыто обсуждал шансы фаворитов, другие прислушивались, что-то шептали про себя, прикидывали. Я решительно выбрал Голубую Стрелу — это вызвало немедленное размышление знатоков. Мы получили квитанции, и окружающий мир несколько изменился. Кругом себя я видел только игроков, я узнавал их безошибочно, по рассеянному блеску глаз, по нетерпению и надежде. После полудня я услышал ход скачек. Радио работало на полную мощность в такси, и в магазинах, и в отеле. Куда бы мы ни приходили, везде раздавался захлебывающийся голос комментатора.

На ипподром здесь не стремятся так, как у нас на футбол. Участие в скачках происходит издали, как бы отстраненно. Зрелище скачек занимает гораздо меньше, чем результат. Я понятия не имел, как выглядит моя Голубая Стрела, я лишь узнавал, что на первом этапе она была третьей, затем четвертой и так четвертой и кончила.

Вечером мы отправились на собачьи бега.

У входа на стадион продавали газету. Выходит такая специальная десятистраничная иллюстрированная собачья газета. Скамьи трибун были почти пустые. Толпы кишели перед помостами букмекеров. Происходило именно кишение. Беспорядочное, безостановочное нервное движение, лишенное направленности. На деревянных подмостках, вроде ярмарочных, потные букмекеры зазывали, выкрикивали номера забегов, ставки, принимали ставки. Система ставок была сложная, с десятками манящих возможностей. Один за другим мы

обходили эти вопящие, хриплые, полные ажиотажа тотализаторы. Кроме них был еще общий крупный тотализатор. Огромное световое табло возвышалось в ночном небе над скопищем людей. Там скользили неоновые диаграммы, вспыхивали какие-то клетки, выскакивали цифры, там шла игра на фунты. Шептали что-то на ухо подпольные букмекеры. Кричало радио, прожекторные лучи трудно пробивали синий дым тысяч сигарет.

Гонг возвестил начало очередного забега. Владельцы вывели собак. Трибуны почему-то на сравнительно большом расстоянии от беговой дорожки — она где-то в глубине, отделенная сетками. Некоторые любопытные уходят на трибуны, но не садятся, а встают ногами на скамейки, большинство же не обращает внимания на начало бегов — по-прежнему толпятся у касс и возле букмекеров. Выстрел. Собак спускают со сворки. Чучело зайца ускоряет ход, мчится по утопленному рельсу, собаки, подвывая, устремляются за ним. Распластанные тела их красиво вытягиваются, становятся длинными, они летят, как залп ракет. Зрители кричат, скорее по привычке, без особой страсти, кричат, прислушиваясь к диктору, который орет за них. Диктор изображает их переживания, волнения, он нанятый болельщик. Искусство комментатора состоит в быстроте и непрерывности сообщений. Напряжение в его голосе с каждым метром дистанции нарастает. «Ставлю Лондон против булыжника, — кричит он, — что эта собака...» Слова произносятся все быстрее. Он беснуется, переходит на крик, вопль...

Стилю спортивного радиорепортажа подражают в самых неожиданных местах. Я наблюдал, как в Мельбурне молоденький продавец магазина мужских товаров рекламировал распродажу (распродажа — тоже психологический трюк, широко применяемый в торговле): он держал микрофон и сыпал туда слова с такой скоростью, что репродуктор на улице успевал выговаривать только часть. Не то что восклицательный знак, запятую невозможно было вставить между его фразами. Текст тут никакой роли не играл, важен был тон — тон надвигающейся катастрофы: еще минута-другая — и не останется ни одного галстука, ни одной пары трусов, остаток вашей жизни будет испорчен оттого, что вы упустили такую распродажу, единственный шанс... И так безостановочно, час за часом, при этом одновре-

менно кланяться и улыбаться входящим покупателям, свободной рукой показывать разложенные товары, свободным глазом косить на улицу. Только глухие могли спокойно проходить мимо.

Однако вернемся к нашим собакам. Подвывая, они несутся за скользящим чучелом зайца. Рядом со мной притопывает медноволосая девица с двумя совершенно одинаковыми близнецами. Все трое, лениво покричав, прикладываются к банкам пива. Они блестят повсюду, эти пивные банки из золотистой жести, — в руках, под ногами. Пивные жестянки валяются на улицах, вдоль дорог, вокруг бензоколонок, в парках. Кажется, что скоро весь континент будет завален этой золотистой жостью и коричневыми пивными бутылками.

Второй круг!.. Финиш! Фотоэлемент срабатывает, судьи утверждают результат, радио оповещает, номер победителя вспыхивает на табло, летят на землю разорванные талоны проигравших, кто-то бежит получать выигрыш, остальные делают новые ставки. Дрожащих от возбуждения собак уводят. Комментатор отдыхает, букмекеры повышают голоса, чучело электрического зайца медленно скользит по пустой дорожке. Забег продолжается какие-нибудь три-четыре минуты. Через несколько минут — следующий. Помчатся другие собаки, истошно завопит радио, запрокинутся пивные жестянки, а впереди будет скользить недосыгаемый электрический заяц.

Скорость зайца регулируется так, что никогда гончая не сможет догнать, схватить его... не сможет убедиться, что это лишь чучело.

И никто не смеется. Улыбка — редкость, она гаснет в плотной, непрестанно нагнетаемой атмосфере азарта. Кругом меня были лица, измотанные безостановочной погоней за случаем. Страсть, которая никогда не удовлетворяется. Выигрыш не освобождает, а затягивает. Жажда впечатлений остается неутоленной.

Заяц скользит всегда где-то впереди.

Что там впереди — деньги, удача, впечатления? За чем гонятся? Кого хотят настигнуть? Все силы ума, изощренная хитрость, опыт, расчеты — ради попытки выиграть. Выиграть — что?

Взамен подлинной жизни, взамен музыки, спорта, природы — впереди скользит электрическое чучело. За ним собаки, за ними люди, за ними букмекеры, за ними, наверное, еще кто-то, не знаю.

Последний забег. Трибуны пустеют. Охрипшие букмекеры бредут к своим машинам. Гаснет табло. Блестят на асфальте жестянки, бутылки, все засыпано рваными, скомканными талонами, целлофаном сигаретных пачек. Сторож снимает чучело электрического зайца...

АВТОМОБИЛИ И ПЕШЕХОДЫ

Разумеется, автомобилей больше. К счастью, те, которые без водителя, стоят на месте. Пока что они сами по себе не двигаются. Они заполняют стоянки, они тянутся вдоль всех тротуаров, ими забиты шоссе, пустыри, они повсюду.

Но и люди не двигаются без машин.

Машина в Австралии нечто вроде голландского велосипеда. Ходящих ногами голландцев я не встречал, голландца я видел только на велосипеде. Голландское дитя делает не первый шаг, а первый оборот педалью и вырастает, не слезая с велосипеда. Все же дети рождаются не с велосипедными колесами, а по-прежнему с ручками, ножками, и если такого голландского младенца вовремя увезти в другую страну, из него вырастет нормальный пешеход. В самой Голландии пешеходы давно вывелись, они бывают только привозные, в виде туристов.

В Австралии с пешеходами положение не менее бедственное. Пешеход вымирает. В некоторых городах еще сохранились тротуары. По ним идут к машине или из машины. На большее не решаются.

Казалось бы, простая вещь — перейти на другую сторону улицы. Оказывается, это поступок, требующий времени, и мужества, и серьезных причин. Так просто, за здорово живешь, на другую сторону улицы не ходят. Машины едут одна за другой без зазора, часами, неделями, годами. А так как количество машин с каждым часом в Австралии увеличивается, то стоять на тротуаре и ждать не имеет смысла — скорее можно попасть на другую сторону улицы, сделав кругосветное путешествие.

Для нас переходы были особенно сложной операцией. Дело в том, что движение тут левостороннее. А когда я ступал на мостовую, голова моя, согласно многолетней привычке, автоматически поворачивалась налево, и так как слева ни одна машина не угрожала —

все они мчались от меня, — то ноги мои, также автоматически, несли меня вперед, пока справа не раздавались визг тормозов, крики и всякая непереводаемая игра слов. Тут я вспоминал, что я в Австралии и надо глядеть наоборот, не влево, а вправо, я поворачивался вправо, но так как это было на середине улицы, где все менялось, то повторялось то же самое. Машины странным образом ехали на меня оттуда, куда я и не собирался смотреть. Пока меня тащили из-под колес, я вырабатывал условный рефлекс — теперь, прежде чем сойти на мостовую, я надолго задумывался. Рефлексы боролись во мне. Сперва по привычке я начинал поворачиваться влево, опомнившись, я быстро поворачивался вправо, затем на всякий случай — опять влево и, снова вспомнив, вправо. На середине улицы надо было перестраиваться: теперь следовало смотреть в другую сторону, наоборот по отношению к тому, как я привык, то есть к тому влево, которое стало вправо, а теперь становится влево, а так как здесь все наоборот, а на половине мостовой наоборот снова переворачивается наоборот по отношению к тому наоборот, которое было наоборот... Голова у меня кружилась, я опустил на четвереньки и кусал правый бампер левой машины.

Когда я вернулся в Москву, некоторое время меня считали больным — переходя улицу, я дергался во все стороны. Шея у меня долго болела, я закрывал глаза и просил прохожих: «Помогите, братцы!»

Ездить на автомобиле, например по Мельбурну, трудно, но еще труднее поставить машину — «припарковаться». Когда я спросил у Гордона о проблемах, стоящих перед страной, он заявил, что одна из важнейших проблем — это паркование машин.

— Некоторые думают, — вежливо сказал он, изучая мою улыбочку, — что парковаться — значит найти свободное местечко и поставить машину.

Мы подъехали к ресторану, где происходил очередной прием. Там места для машины не нашлось. Мы медленно двигались вдоль поребрика, плотно заставленного машинами, проехали один квартал, второй, впереди показалась свободная полоса, но там возвышалась надпись: «No parking», мы свернули на соседнюю улицу, там вообще было запрещено парковаться, мы свернули на следующую и снова поехали вдоль линии машин, мы ехали долго и молча, вдруг Гордон тормознул и дал задний ход — он увидел в зеркальце, как позади

одна из машин отделилась от тротуара. Реакция его была мгновенной. К свободному месту рванулись еще какие-то машины. Гордон, рискуя, перед самым их носом втиснулся к обочине, и они, сердито скрипнув тормозами, поплелись дальше. У машины торчал столбик с автоматом-счетчиком. Гордон опустил в автомат шиллинг. Автомат затикал, разрешая стоянку на сорок минут, затем надо снова опускать монету, иначе выскочит какой-то флажок и полиция оштрафует водителя на солидную сумму.

Теперь нам как-то надо было добраться до ресторана. Мы отъехали от него километра на два.

— Придется взять такси, — сказал Гордон.

Мы отправились ловить такси. Нам повезло — через десять минут мы нашли такси и поехали в ресторан.

— Хочу быть богатым, — мечтательно сказал Гордон, — я бы продал машину и ездил на такси.

В ресторане, когда все расселись за столом, Гордон тоскливо взглянул на немислимой красоты салат и сандвичи, взглянул на часы и вышел — его звал счетчик. В течение вечера Гордон появлялся на несколько минут и снова исчезал, и другие тоже время от времени исчезали, спеша к своим стоянкам, над которыми стучали счетчики.

От чего порой зависит цивилизация — Цицерон прерывает свою речь и бежит к счетчику. Ферми не может закончить эксперимент, больной убегает от врача, детектив от преступника...

А тем временем Австралия мчится на своих машинах к благословенному расцвету, где будет еще больше машин. Сидя в машине, смотрят кино, на машине едут по магазинам, на машине едут к своей машине.

Несомненно, машина, как установили социологи, формирует национальный характер.

1. Рискуя сломать голову, австралиец мчится домой со скоростью сто двадцать — сто пятьдесят километров и идет стричь свой газон. Таким образом, наличие машин способствует уходу за газонами.

2. Поскольку общая длина машин больше, чем длина австралийских тротуаров, то архитекторы решают, каким образом сделать тротуары длиннее улиц. Машина способствует созданию национальной архитектуры.

3. После длительного заточения в машине австралиец жаждет общения, последних достижений культуры,

поэтому, выйдя из машины, он немедленно вступает в разговор, втискивается в пивную или бар.

4. Привыкнув держать руль в руках, австралиец вне машины хватается за лопату, книгу, ракетку или перо, он что-то должен держать в руках — некоторые считают, что поэтому в Австралии так много хороших писателей и спортсменов.

5. Рабочий, купив подержанную машину, имеет возможность чинить ее каждое воскресенье, что помогает сохранить трудовой ритм.

Накрепко привязанные к машине Гордона, плелись мы по тесной мельбурнской улице со скоростью каких-нибудь девяносто километров. Вдруг мимо нас с ревом проскочила машина, битком набитая парнями и девушками. И тотчас с другого бока, нагоняя, выскочила вторая машина. Они неслись сквозь запруженную улицу. Машины шарахались от них, они срезали углы, проскакивали под носом огромных двухэтажных бусов.

— Что случилось? Что такое? — закричали мы.

— Гонки. Просто ребятишки устроили гонки, — сообщил Гордон.

Правила гонок, по его словам, несложные: выигрывает тот, кто, не разбившись, быстрее доберется до центра. Иногда добираются. А кто первый разбился, тот, значит, проиграл.

Однажды в Аделаиде Ненси Катор и ее муж предложили поехать посмотреть автомобильные кладбища. Ночные улицы давно опустели. Дома спали, прикрыв свои жалюзи. Мы подъезжали к пустырям. Они единственные были ярко освещены в полутемном городе. Там тесно, бок о бок, стояли подержанные машины. Они не слишком изношены, чтобы идти под пресс, они просто старые, устарелые. Их было много, и на лобовом стекле каждой машины краской цена — очень дешево, в рассрочку, на любых условиях, только купите. Начищенные круглые фары смотрели на нас с безнадежной пристальностью. Синие, желтые, черные, белые, широкие, узкие, приземистые, с крутыми умными лбами стекол — безмолвные шеренги их вызывали чувство обреченности.

Недаром Ненси называла эти парки кладбищами.

Накопленный гнев против машин боролся с жалостью. Конечно, я вспомнил о нашей нехватке машин, о наших заезженных насмерть работягах. Я вспомнил пыльные улицы Карачи — верблюдов, запряженных

в телеги, маленьких ишаков с непосильным грузом. Одно дело читать в газете о бессмыслицах нашего мира, а другое — увидеть их своими глазами.

Под утро мне приснился кошмарный сон: все страны были запружены машинами, земли уже не было видно, люди ехали на машинах по крышам машин, а потом я попал в фантастический город с широкими тротуарами, с цокотом копыт, с лицами людей, не отделенных от меня ветровыми стеклами и не привязанных ремнями к своим машинам.

Но и во сне я понимал, что это наивная беспочвенная фантазия.

До сих пор я знал лишь, как плохо, когда мало машин. Я знал мечты о сносных дорогах, о резине, о запчастях. Красные колонки заправочных станций умиляли меня, я хотел, чтобы их было больше, чтоб они встречались чаще, мне и в голову не приходило, что получается от избытка автомашин. От переизбытка, от пере-пере-пере, — какой становится жизнь, когда машины уже некуда девать, а они прибывают и прибывают, громоздятся, невозможно остановить их появление, и невозможно понять, к чему это все приведет, и о будущем уже не мечтается, о нем не хочется думать.

ПРО АБОРИГЕНОВ

1

Вернувшись из Австралии, я пошел в Музей антропологии и этнографии, что у нас на Васильевском острове, и вволю налюбовался аборигенами. Они сидели за стеклом, в самом своем натуральном виде, и добывали трением огонь.

— Похож? — спросили меня сотрудники музея.

Тот, что с бородой, был похож на Льва Толстого. Только грифельного цвета.

— При чем тут Толстой? — сказали сотрудники. — На живого аборигена похож?

Он был действительно похож на фотографии, которые нам дарили, на снимки в брошюрах, которые нам тоже дарили, — брошюрках о положении аборигенов, о проблеме аборигенов.

— При чем тут брошюры? — сказали сотрудники. — Вы были у аборигенов?

В том-то и дело, что я не был у аборигенов и не видел, как они живут.

Я вспомнил свои предотъездные мечты — пойти по Австралии, встретить аборигенов, посидеть с ними у костра, поговорить по душам о всяких колонизаторах, пошвырять бумеранг. Что касается бумерангов, нам их тоже дарили. Полированные, в виде настольного украшения бумеранги, щетку в виде бумеранга. Вообще в Австралии можно запросто увидеться с кем угодно. Например, на одном из приемов мы разговорились с каким-то седоусым джентльменом, а потом выяснилось, что он лорд и к тому же мэр Мельбурна. Он обрадовался, узнав, откуда мы, и попросил нас во что бы то ни стало передать привет своим знакомым — министру Громыко и министру Фурцевой. Трудно даже себе представить, насколько демократична эта страна. Лорда там легче встретить, чем какого-нибудь аборигена.

Лорды в Австралии не перевелись, а вот с аборигенами хуже. Пока никаких лордов не было, в Австралии жило около трехсот тысяч аборигенов. Сейчас их осталось примерно тысяч сорок.

В 1879 году Миклухо-Маклай писал из Сиднея:

«В Северной Австралии, где туземцы еще довольно многочисленны, в возмездие за убитую лошадь или корову белые колонисты собираются партиями на охоту за людьми и убивают сколько удастся черных...»

Убивать перестали, когда скваттерам понадобились дешевые пастухи и объездчики овцеводческих станций.

Ныне аборигенами занимается великое множество всевозможных комитетов защиты прав аборигенов, фондов помощи аборигенам, ассоциации, лиги. Ученые собирают фольклор аборигенов, этнографы изучают быт, в каждом университете — отделения антропологов, исследующих аборигенов, резервациями аборигенов ведают государственные чиновники, аборигенами занимаются социологи, журналисты, учителя, миссионеры лютеранской церкви, миссионеры-сектанты, миссионеры-католики, комиссионеры по продаже сувениров. Положение аборигенов обсуждается в дискуссионных клубах, в газетах, в парламенте, выпускаются специальные бюллетени, брошюры, книги.

Как только мы приехали в Канберру, нас повели

смотреть фильмы о жизни аборигенов в резервациях. Мы увидели, как юные аборигены утром чистят зубы, играют в мяч, какие они веселые и как они выступают на фестивале.

И было непонятно, почему же существует какая-то проблема аборигенов.

Честно говоря, и для меня перед отъездом из Австралии все, что касается аборигенов, было просто. Проблема аборигенов — это выдумка буржуазных идеологов, которым надо оправдать политику порабощения, дискриминации, эксплуатации. Никаких проблем не существует. Аборигенов надо освободить — и вся проблема.

Дома все чужеземные проблемы решаются легко, капиталистическая система как на ладони, нет ничего легче, как ее разоблачить.

Но проблема аборигенов, конечно, существует, доказывали нам австралийские друзья, вопрос лишь — какая.

Каждый определял ее иначе, по-своему, но большинство сходилось на том, что существующее положение аборигенов в резервациях — нетерпимо. Я убеждался, что у каждого уважающего себя австралийца есть собственное решение проблемы аборигенов.

В начале девятнадцатого века белые колонизаторы, захватывая для овечьих пастбищ охотничьи территории аборигенов, энергично уничтожали их, оттесняли в глубь материка, в пустыню. Племена аборигенов всегда жили охотой и собирательством растений, они находились, по выражению этнографов, «накануне земледелия», домашних животных не держали, жили рыболовством, собирали ягоды диких растений. Вскоре участки, богатые дичью, животными, лесами, земли, где тысячелетиями жили предки аборигенов, были захвачены белыми. Уцелевших аборигенов загоняли в резервации — пусть потихоньку домирают. В резервациях миссионеры взялись их обращать в новую веру. Детей отрывали от родителей и добились своего: оторвали от старой веры, заодно оторвали их от своей древней культуры, обычаев, от языка. В резервациях, в чуждой обстановке оседлости, среди сколоченных из ящиков лачуг, они утратили искусство охоты, собирательства, врачевания, накопленный поколениями опыт. Изъятые из своей культуры, не получив взамен культуры белых, они оказались среди развалин, на перепутье.

Правительство под давлением прогрессивной общественности учредило нечто вроде государственной опеки с целью ассимиляции аборигенов. Но кроме политики ассимиляции есть сторонники так называемой интеграции. Передовая интеллигенция страны сходится в своих требованиях дать полные гражданские права аборигенам. Доказывает, что аборигены вовсе не низшая раса, у них своя этика, свое мировоззрение, им надо лишь дать возможность приспособиться к европейской цивилизации. Но как? Я попробовал записывать ответы разных людей, с которыми я разговаривал:

— Надо организовать сельскохозяйственные кооперативы аборигенов!

— Ничего подобного, нужно выделить удобные для них автономные области, и пусть они там вернуться к естественному для них образу жизни. Это может их спасти.

— А кто нам дал право решать их судьбу? Надо дать им возможность самим выбрать.

— Их может спасти только жестокое насильственное приучение к производству, к машинам, к современному труду фермеру. Иждивенчество в резервациях их губит.

— А есть ли вообще выход? Народ не в состоянии перескочить сразу из первобытного общества в современное.

— Представляете, что будет с аборигенами, если им дать сейчас все права белого человека?

И так далее, и так далее. Лично я не успел встретить и двух австралийцев, полностью согласных между собой.

Мы хотели составить хоть какое-то собственное суждение.

В Перте мы попросили разрешения посетить резервацию. Любую резервацию, пусть показательную.

Безнадежная затея, предупреждали нас. Но мы не хотели уклоняться. Пусть откажут — интересно, как откажут.

Отказ был упакован довольно изящно. Культура упаковки в Австралии стоит высоко. Любую безделушку вам уложат в специальный красочный конверт, приклеят слип... Рубашку, например, мне подали в жестком целлофановом футляре. На обратной стороне футляра была рельефная цветная карта страны. Ради такого

футляра можно купить любую рубашку. Я завернул футляр в рубашку, я вынимал футляр в торжественных случаях — вот какой это был футляр.

Примерно в таком же роскошном футляре правительственный чиновник передал нам отказ:

— Вы передовые социалистические люди, и мы надеемся, что вы поймете нас лучше, чем английская писательница. Она специально приехала писать про аборигенов. Как будто у нас мало литературы выходит. Мы не нашли с ней общего языка и не пустили ее. Посудите сами: мы считаем аборигенов полноправными гражданами, мы воспитываем в них чувство достоинства. Разве мы можем превратить резервации в зверинец для любопытных? Вот если аборигены вас пригласят, тогда пожалуйста.

Как социалистические люди, мы хорошо поняли его. Не то что англичанка. Аборигены нас почему-то не пригласили. И сами не пришли, хотя мы очень хотели увидеться. И в университеты они не ходят, и в клубы, и в бары, поскольку это, очевидно, тоже не зверинцы для любопытных. Они предпочитают голодать, и болеть, и умирать в своих резервациях как полноправные граждане этой прекрасной, богатой, передовой страны.

Почти в каждом доме, где мы бывали, так или иначе присутствуют аборигены. О них не хотят забывать, интеллигенты Австралии не стараются уйти от этой мучительной для них проблемы.

Я вспоминаю стены квартиры миссис Линден Роуз, увешанные большими фотографиями аборигенов. Она много путешествовала по Северной Австралии с племенами аборигенов.

У Клемма Кристиенса мы видели собрание картин художников-аборигенов.

У профессора Клареса — его библиотеку по истории аборигенов.

И наконец, библиотеку Алана Маршалла о мифах и легендах аборигенов, чудесные книги об аборигенах, написанные Аланом, снятые им копии рисунков чуринг — священных камней; он подарил нам эти рисунки.

Бумеранги, копья, плетеные сумки, трубы, священные палочки, наконечники — что-нибудь да обязательно было в каждом доме.

В публичной библиотеке Аделаиды директор прежде

всего выложил перед нами несколько толстенных томов: отчеты экспедиций научных сотрудников — музыка аборигенов, легенды, обряды.

Интерес к искусству аборигенов не мода. Через это часто выражается чувство ответственности и вины за судьбу аборигенов. Подчеркивается уважение к народу и его древней культуре.

Культура белых австралийцев ищет свое национальное своеобразие, искусство еще формируется как самостоятельное, изучение искусства аборигенов, насчитывающего тысячелетние традиции, обогащает австралийское искусство. Лучшие писатели и художники Австралии давно уже связали свое творчество с защитой аборигенов. Из года в год романы, рассказы Причард, Маршалла, Веккерса, Дьюрак, Моррисона воспитывали общественное мнение, искореняли предрассудки. Литература боролась, литература работала. Она способствовала появлению литературы самих аборигенов. Мы познакомились с первым поэтом-аборигеном Кэт Уокер. Ее сборник стихов на английском языке пользовался успехом. Кэт рассказывала нам о переизданиях ее книги в других странах. Худенькая, спортивного вида женщина, в строгом английском костюме, она не вызывала никакого удивления, я наблюдал за ней с гордостью и с трудом удержался от восторженных умилений, а удержался потому, что вспомнил рассказ про прием в честь Наматжиры, где один восторженный дурень воскликнул, обращаясь к художнику: «Вы самый белый человек из всех, кого я знал!» Как будто это комплимент, как будто нам дано право мерить собою другие народы.

Может быть, с точки зрения аборигенов наша цивилизация кажется нелепой. Их племенной строй без рабства, без эксплуатации близок к первобытному коммунизму, им непонятно и смешно, зачем белые люди работают друг на друга, почему одни богатые, другие бедные, зачем нужно богатство, лишние вещи, зачем работать, если в магазинах столько еды, и есть жилье, и есть рубашка. Все имущество самих аборигенов умещается в сумке женщины. Они свободны от вещей и денег. Им непонятна наша жизнь, но они не считают нас низшей расой, хотя, как заметил Лундквист, дикари живут на Западе.

В 1836 году, покидая Австралию, капитан французского королевского флота Дюмон-Дюрвиль писал:

«...Повсюду, где только ни появлялись поселенцы высшего образования, непременно уничтожались перед ним первобытные дикие жители. Все колонизации оканчивались истреблением первобытных туземцев, и Австралии, как Америке и Африке, не избежать подобной участи. Около Сиднея дикие племена видимо убывают, и такая убыль доведет их до конечного истребления... Через два столетия Австралия будет Европою Южного полушария, и тогда, может быть, тщетно искать в ней жителей первобытных; следы их останутся только в наших книгах...»

Двух столетий не прошло. Предупреждение французского капитана еще остается в силе.

Но я вспоминаю людей, с которыми я встречался в Австралии. Таких людей не было во времена капитана Дюмон-Дюрвиля. Они не филантропы, не миссионеры, они понимают, что, защищая аборигенов, они защищают Австралию. Они знают, чего они хотят, они еще не всегда знают, как это сделать, но это уже другой вопрос. Кроме них есть еще и сами аборигены, которые все активнее включаются в социальную борьбу. Наверное, окончательное решение проблемы при нынешней системе невозможно, но и ждать сложа руки тоже нельзя. И еще одну вещь я понял для себя: что со стороны не всегда виднее. Мы уезжали, полные доверия к нашим друзьям. Конечно, история может сложиться и не в их пользу; может быть, они не успеют победить в своей борьбе. Но они будут не виноваты, они сделают все, что могут.

2

С утра Берт Виккерс повез нас наносить визиты разным крупным писателям. Процедура была такова: мы преподносили сувениры, получали сувениры, книги с автографами, выпивали чашку кофе, осматривали сад и прощались. Больше всех мне было жаль Оксану. Голос ее хрипел, как заигранная пластинка: сколько вы будете в Австралии, куда еще поедете, понравился ли вам Перт, жарко ли вам у нас?

Ответив на эти вопросы, мы следовали к следующему крупному писателю. Берт был убежден, что каждый визит укрепляет австрало-советские отноше-

ния. Мы обвиняли его в погоне за количеством, в показухе, в очковтирательстве. Но он был неумолим. Австрало-советские отношения были ему дороже наших отношений.

Так мы добрались до Мери Дьюрак, популярной поэтессы Западной Австралии. У Мери сидела ее сестра — художница Элизабет Дьюрак, потом пришли их дочери, сыновья. Мы сидели в белой стильной гостиной, пили кофе, говорили. Берт поглядывал на часы, Оксана переводила, а я размышлял о том, что Мери Дьюрак наверняка интересный человек, но так она и останется для меня изящной светской дамой с веером в руках, не больше, — десятиминутный визит делает всех одинаковыми. То ли дело у нас: приходишь в гости, так уж часов на пять, есть где развернуться — и людей посмотреть, и себя показать.

— Наверное, вам в нашей стране жарко? — перевела Оксана.

— Да, — одурело сказал я. — Перт — очень красивый город.

Мы поднялись, чтобы откланяться. И тут Элизабет Дьюрак пригласила нас к себе в мастерскую. Она жила в соседнем квартале. Берт извинился, поскольку нам надо было ехать к следующему крупному писателю. Я тоже извинился, представив себе ее салонные картинки. Она выглядела изысканной дамочкой и должна была писать милые картинки «поп-арт». Кроме «поп-арт» есть и «под-арт», наиболее живучее из всех направлений: под Ренуара, под Матисса, под Шагала, под искусство, под моду. Под стать этой белой гостиной с модной мебелью под старину. Но тут я взглянул на ее руки. Это всегда любопытно: руки художников, хирургов, пианистов. У нее были усталые большие руки ткачихи или обмотчицы. Такие руки я видел на заводских конвейерах, руки-кормильцы.

Мне захотелось увидеть ее картины.

Мы с трудом упросили Берта. Мы пробыли в мастерской Элизабет Дьюрак всего полчаса. Теперь, когда Австралия вновь стала далекой, недостижимой, я чувствую, как мало мне этих тридцати минут. Надо было взбунтоваться, сесть в ее мастерской и поработать. Заснять картины, сделать записи. Если б я писал единственный рассказ об Австралии, это был бы рассказ о картинах Элизабет Дьюрак.

Там были изображены дети аборигенов. Изглодан-

ные голодом, болезненные, на тоненьких подгибающихся ногах, они стояли, взявшись за руки, напоминая мне чем-то детей блокадной ленинградской зимы. Только вместо снега, заледенелых тротуаров кругом была желтая, выжженная, грязная пустыня. Я никогда не видел такой пустыни — замусоренной банками, отбросами. В огромных глазах каждого ребенка повторялся один и тот же вопрос: что нас ждет? Они стояли на пороге небытия. Еще немного, и они исчезнут, их не станет. Есть ли у них будущее? Вот их отцы и матери. Когда-то сильные, красивые люди, они теперь бесцельно бродят, точно призраки, среди шалашей из мешковины и ящиков. Они-то наверняка лишены будущего. Заблудившийся народ. Остывшие существа, которых аккуратно подкармливают. А вот их везут на грузовике в пустыню — для «моциона». А вот аборигены сидят, безнадежно уставившись в пространство. Так проходит их жизнь. Невозможно представить себе, что это те люди, которые были ловкими охотниками, умели выслеживать кенгуру, подкрадываться по совершенно открытой равнине, метать без промаха копье, неутомимые бегуны, способные часами, сутками преследовать стада, взбираться по голым стволам эвкалиптов за опоссумами.

Обугленные зноем краски на картинах Элизабет Дьюрак напоминали рисунки аборигенов, красноватую кору эвкалиптов, и от этого достоверность усиливалась. Дети, «закцивилизованные» миссионерами, маленькие истощенные озлобленные старички. Успеют ли спасти их будущее? Матери, которые не знают, зачем они растят своих детей...

Осознавала ли сама Элизабет Дьюрак силу своих картин? Не знаю. Скорее всего, она была пленником пережитого. Она жила на ферме у брата, где работали аборигены, она бывала в резервациях. Не в тех резервациях, которые мы видели в кино. Но я подумал, что, если б даже нас пустили в эти резервации, мы не сумели бы открыть для себя той трагедии народа, которая предстала в ее картинах. Снова и снова я убеждался, какой силы гражданственности может достигать талант живописца. Не хотелось вникать в технику, в приемы; стоило появиться такому озабоченному болью, несправедливостью, протестом, требующему ответа искусству — и всякие споры о новаторстве, о форме отодвигались...

Оставался мучительный вопрос, поставленный художником.

Что будет с этим народом? Как спасти его?

Вот о чем спрашивали ее картины.

Они требовали поступка. Их надо было отпечатать в тысячах репродукциях, развесить в уютных коттеджах, в роскошных офисах, чтобы испортить настроение этой жирной стране.

...Я был несправедлив. Ведь я уже знал многих австралийцев, которые самоотверженно боролись с дискриминацией аборигенов, которые немало сделали для защиты этого народа. Я был несправедлив, но, глядя на эти картины, я и не хотел быть справедливым.

Старенький автомобиль Берта мчался, нагоняя упущенное время. Мы опаздывали на очередной визит. Кремовые, терракотовые, оливковые коттеджи млели под солнцем среди цветущих роз, и синих норфолкских елей, и сигаретных деревьев, где так удачно сочетается красное с серовато-пепельным.

Нас плавно обходили длинные блестящие лимузины. В садах крутились поливалки. Вот улочка, стилизованная под старую Англию времен Шекспира. Обратите внимание на свинцовые переплеты узких окон, граненые фонари, узорчатые кованые решетки. А часы с драконом! А крохотные лавочки! Очень милая улочка. А ресторан в Кингс-парке! А какой вид на город открывается, если смотреть с памятника жертвам войны! Не хотите ли кофе? Понравился ли вам Перт? Наверное, вас замучила жара?

3

В сущности, это был магазин художественных изделий, магазин изделий аборигенов. Можно было назвать его салоном, но он назывался галереей. Хозяином был Рекс Баттерби. Известный австралийский художник, один из двух учителей великого художника-аборигена Альберта Наматжиры. В первых залах были выставлены изделия аборигенов. Человеческие фигурки, вырезанные из коры, расписные бумеранги, щиты, копьеметалки, корзины, всякая утварь, инструменты. Висели картины, сделанные на коричневой коре эвкалипта. Это была самая что ни на есть самобытная живопись абори-

генов. Ничего общего с европейскими акварелями Наматжиры и его последователей.

Картины были двух сортов, они разделялись на манеры, или два способа видения. Первый — где животные изображались как бы в плане. Там были крокодилы, черепахи, змеи, то есть те животные, которые лучше просматриваются сверху. Вторая группа картин — животные, которых в плане изобразить нельзя: эму, кенгуру, опоссумы, — их рисовали нормально, сбоку. Но при этом они были прозрачные! С внутренностями — желудок, спинной хребет, кишки. Как в анатомическом атласе. С той разницей, что кенгуру не чувствовали себя препарированными, они прыгали и радовались жизни вместе со всеми своими кишками. Так называемое рентгеновское искусство. Казалось бы — натурализм. Ничего подобного, наоборот, тут была поэзия детского восприятия мира. Дети ведь тоже рисуют не только то, что они видят, но и то, что знают. Художник-абориген не отделяет видимое от известного ему. Раз они знают, что должно быть внутри, они и рисуют. Любопытно, что и фантастические, придуманные животные тоже имеют свою анатомию. Только изображения человека не рентгеновское. Человек не предмет охоты.

«А может быть, они хотят выразить этим другое, — подумал я, — может быть, они хотят сказать, что никто не знает, что за зверь человек, что у него там, внутри?»

Орнамент, окружающий животных, иногда что-то обозначает.

На картине, которую мне подарили, крокодил, оказывается, пересекает тропу воинов. По рисунку на полоске-тропе можно определить, где находится эта тропа и воины какого племени ходят по ней.

Своеобразное искусство аборигенов оказало влияние на австралийскую живопись. Некоторые мотивы используются художниками — особенно я почувствовал это в мастерской Элизабет Дьюрак.

Галерея была бы совсем хороша, если бы у каждой картины, у каждой фигурки не висели этикетки с ценой. Для меня всегда было загадкой, как определяют стоимость картины. Ясно, например, что невозможно назначить цену Рембрандту. Ну а Наматжире?

Его картины висели в последнем зале. Там были картины его братьев, племянников и несколько картин самого Наматжиры. Я слышал об этом художнике еще года три назад. Я знал историю Наматжиры — как он

мальчиком вызвался быть погонщиком у художников Баттерби и Гарднера и взамен просил научить его рисовать. Как они учили его во время путешествия по пустыне и как потом он сам стал писать красками, приобрел известность и вскоре стал художником с мировым именем. Он получил звание академика живописи, права гражданства, но это ему не помогло. То, что простили бы белому, не прощали аборигену: он нарушил закон, и его вернули в резервацию. Он умер в 1959 году.

В картинной галерее Сиднея я первым делом стал искать Наматжиру. Других австралийских художников я тогда не знал. Наматжиры не было. В Мельбурне повторилась та же история. Ни одной картины Наматжиры в экспозиции не оказалось. Мне говорили, что это случайность, многие австралийцы удивлялись: не может быть. Невероятно, но это факт, и я еще раз подтверждаю, что в феврале 1965 года в картинных галереях Сиднея и Мельбурна полотна Наматжиры выставлены не были.

Впервые я увидел подлинного Наматжиру в Аделаиде, в галерее Рекса Баттерби. Увидел и в первую минуту разочаровался.

Красивенькие, чистенькие акварельки — идиллические пейзажи, очень аккуратно, тонко прорисованные пейзажи. Но у больших художников есть такая повадка: они не любят раскрываться сразу, они требуют времени и внимания. С ними надо повозиться.

Вглядываясь, я узнавал то, что прежде соскальзывало, не задевая воображения. Наматжира показал мне поэзию австралийских степей, какие удивительные краски имеют горы, мимо которых я проезжал, — сиреневые, рыжие, огненно-красные. Он часто изображал на переднем плане эвкалипты. И я вдруг понял странное чувство, которое вызывали их светлые стволы перед наступлением темноты. Привидения, они напоминали привидения — Наматжира точно уловил этот образ. Фотографически достоверные фигуры эвкалиптов у него представляли фантастически-призрачными, что-то человечески-трагическое заключалось в изгибах гладко-белых ветвей. Очертания их создавали характеры, вызывая мысли о людских судьбах.

Было ли это в замысле художника? Не знаю. Вроде бы он ни в чем не отступал от подлинности пейзажа, нельзя было уловить малейшую подгонку, условность.

Пейзаж был точен и в то же время вызывал определенные чувства. В нем присутствовала незримая добавка личности художника, и этого было достаточно.

Мы удивлялись: как же так получилось — ведь все это мы видели и не замечали этой красоты.

В глазах Рекса Баттерби мы, очевидно, выдержали экзамен, в награду он вынес откуда-то собственного, непродажного Наматжиру — несколько первоклассных картин, грустных, долины в лилово-серых тонах и лиловато-серые горы, запыленные кусты, пересохшие русла.

Родственники Наматжиры, сыновья его продолжают рисовать в манере отца, картины их пользуются спросом, сам Рекс считает некоторых из них не менее талантливыми, чем Наматжира, их работы висели тут же в зале, но для меня они были примечательны прежде всего доказательством художественной одаренности аборигенов. Никаких училищ, академий — они увидели, как рисует Наматжира, увидели, что за картины платят деньги, и немалые, — а чем мы хуже? — и начали рисовать. И выяснилось, что не так уж хуже, их сейчас пятнадцать-двадцать художников из племени аранда.

Наш интерес к Наматжире и то, что о нем знают в Советском Союзе, возбудили множество разговоров. В университете Аделаиды после нашего выступления Ненси Катор подвела нас к высокому слепому человеку. Он протянул руку:

— Виктор Холл.

Он приехал издалека только для того, чтобы подарить нам свою монографию о Наматжире. Длинные пальцы его тронули мои плечи, голову — ему хотелось как-то почувствовать...

— Какие они? — спросил он жену. — Как они выглядят, эти русские, которым интересен Наматжира?

Это была самая трогательная и трудная из всех наших встреч в Австралии. Виктор Холл был художником. На войне его ранило, он стал терять зрение и в 1959 году полностью ослеп. Он не мог писать картин, он стал писать о художниках. Его книга о Наматжире — одна из лучших. Он знал Наматжиру хорошо — полжизни Холл провел среди племени аранда. Я смотрел, как он надписывал книгу четко и уверенно между строк заголовка. Он помнил краски на картинах Наматжиры и встречи с ним.

Мы хотели расспросить Холла о нем самом, но Ненси шепнула нам, что нельзя их задерживать, — было поздно, а им предстояло долго добираться домой.

ГОЛЫЙ ЧЕЛОВЕК

Камни из-под ног, колючая трава, тропка, заборчики, освещенные окна висят в черноте, огни справа, огни слева. Впереди меня колышется большая волосатая спина Джона Брея. Белизна ее светит сквозь волосы и ночь. Где-то перед ним сбегает вниз Ненси. Смех ее прыгает по камням, отскакивает от невидимых стен невидимых домов. И вдруг впереди огромная теплая темнота. Она еле слышно дышит. Затаилась или спит. Это океан. Я скидываю полотенце и сандалии в общую кучу. Тонкий песок пляжа хранит дневную жару. Я подхожу к океану, трогаю его ногой, вступаю, иду. Я вхожу в него по пояс. Отличный этот Индийский океан. Джон Брей погружается в него, как корабль со стапелей. К нам бежит Ненси. Вода вокруг ее тела светится. Я загребая рукой, и у меня вода начинает вспыхивать, там что-то разбудилось, переблескивается. Мы плывем, оставляя за собой светящийся след. Мы забираемся в океан, касаемся крошечной дали его, где острова, бури, теплоходы, кораблекрушения, акулы. Ненси объясняет, что ночью акул у берега нет, они уходят спать, разве что какая-нибудь загулявшая... Лица Ненси не видно. И у Джона не видно лица. Мы как в черных масках. Поэтому говорим что взбредет в голову. Ненси хочет показать мне Южный Крест. Я с трудом понимаю ее. Она не умеет говорить медленно. Она не может повторять одно и то же. Вероятно, речь ее выглядит так:

— Смотри сюда, вон он, Южный Крест. О господи, да не там, видишь — Центавр, так вот Крест — часть созвездия. Прямо над тобой. Крест, ну Христа распяли. Евангелие. Смешно, как ты мог подумать, конечно, я атеистка. Левее Млечного Пути. Молоко, понимаешь? Дорога, понимаешь? Автомобиль. Да никуда мы не поедem. Джон, я замучилась с ним.

Джон ткнул своей ручищей в небо, прямо в середине Южного Креста, и я увидел наверху четыре звездочки. Ничего особенного в них не было. Звездочки, каких тысячи. Просто им повезло в смысле расположения.

Вот про них и насочиняли, сотни лет сочиняют стихи и песни.

Я перевернулся на спину, и весь небосвод со всеми созвездиями заколыхался надо мной. Я плыл среди них, между Скорпионом, Стрельцом, Павлином, мне вспомнилась школьная карта в нашем кабинете астрономии и прекрасные слова: Орион, Козерог, Водолей, Змееносец. Они все были где-то здесь, под рукой, их надо было лишь соединить линиями, нарисовать Козерога и Водолея. Фантазия первых астрономов — они были просто пастухи, это я тоже помнил из школы, — фантазия их сохранялась тысячелетия. Они сочиняли на небе звездами — самым стойким из всех материалов, какие я знаю.

Время исчезло. Наше земное маленькое время затерялось в пространстве Вселенной. Только океан мог что-то уследить в жизни звезд. Часы внутри меня остановились. Тиканье их умолкло. Тело мое плыло и плыло в этой теплой невесомости, пока я не увидел даль огней на берегу. Куда мне возвращаться — я понятия не имел. И пока я добирался к берегу, я уже знал, что потерял Ненси и Джона. Я шел по пляжу, кричал и прислушивался. Никто не отвечал. Я не представлял себе, в какой стороне дом Ненси, как искать его. Я был один на берегу Австралии, голый человек, приплывший из океана. А может, это была не Австралия?

Песок не хранил следов. Он тянулся одинаковый, без примет. Я ненавижу песок, покорность песка, равнодушные песка, его беспамятность, его мертвость. Нет ничего мертвее песка. Он не способен ни к чему, кроме уничтожения. Песок — это смерть, это враг всякой жизни.

Дорога слабо светилась меж холмов. Я уходил от берега. Длинные сараи тянулись вдоль обочины. Потом сад. Потом коттеджи. Там горели торшеры, были окна, где голубовато пульсировали телеэкраны. Был ли это тот самый поселок или другой — огни тянулись вдоль всего побережья. Редкие прохожие — они не оглядывались на меня, не удивлялись. За низкой оградой горели костры. Мужчины и женщины бродили, грелись, чинили полосатые паруса. Многие были, так же как и я, в одних трусах, в купальниках. Я толкнул калитку и вошел во двор — никто не обращал на меня внимания. Я ничем не отличался от них. Я протянул руки к костру — можно было подумать, что здесь пристанище для тех, кто вышел из моря. Мне хотелось думать, что сюда приходят люди из океана, голые, заблудившиеся люди.

Я грелся вместе со всеми, слушал их песни, я мог бы лечь тут спать на циновке. Пока я молчал, я был неотличим. Смуглые девушки сидели на корточках у огня. Раскачиваясь, они тихо пели. Бородатый парень сыпал чай в котелок. Над пламенем, вертясь, пролетел бумеранг. Двое мальчиков танцевали вокруг ошалелого от света и шума кролика. Девушка с белой доской серфинга на плече улыбалась. Она осмотрелась, с кем бы поделиться своей улыбкой, встретила мой взгляд и подарила улыбку мне. Это был прекрасный подарок. Мне как раз сейчас не хватало улыбки, и я с ней пошел в темноту.

Я поднимался по каменным ступеням, вырубленным в скале, мимо перевернутых смоленых шлюпок, развешенных сетей, мимо бочек, грузовиков, мачт с высокими красными огнями. Шоссе жирно блестело гибкой лентой. Неоновые буквы освещали бензостанцию. Кудрявый золотой баран горел над ней. Голый, я шел по шоссе. Неоновые отсветы тонули в темной глубине асфальта. Машины обгоняли меня. Мокрые следы тянулись за мной. Они быстро исчезали, высыхали. Я отпрыгнул в темноту на обочину. В машине ехала женщина. Она видела несколько следов босых ног перед собою. Следы начинались посреди шоссе и обрывались. Несколько следов. Как будто кто-то спустился сверху, прошелся по шоссе и опять взлетел. Машина проехала. Мне было обидно, что никого не заинтересовала странность. Никто не хотел удивляться одинокому следу на асфальте. Я стоял под эвкалиптом и смотрел на этот последний высыхающий след. Представлял себе огромный пустынный пляж, океан, солнце и посреди отмели на плотном песке тяжело вдавленный один след одной босой ноги. Необъяснимость этого пугала.

Я почувствовал себя легким и совсем свободным. Как будто жизнь начиналась сначала, с ничего, как будто я только что родился и все мои чувства воспринимали окружающее в новинку. Не было ни памяти, ни тревоги, я еще ничего не знал, я еще не был ни в каких других путешествиях, у меня еще нет биографии.

Память не мешала, прошлого не существовало, а вместе с ним исчезли все заботы, планы, расписания, напряженная готовность ко всяким вопросам, страх, что не успею записать, запомнить имена, даты, всевозможные истории, куда ходили, что делали... Все это стало ерундой-ерундистикой, сгинуло.

Положение мое было настолько нелепым и безнадежным, что не стоило ни о чем беспокоиться. Если бы я заблудился нормально, то есть имея деньги, документы, одетый, то, конечно, я бы пытался куда-то звонить, что-то выяснять, подумал бы о ночлеге. Но на мне были только мокрые трусы. И что я мог сказать прохожим на своем ужасном английском языке? Все это я соображаю теперь, а тогда я даже не размышлял на эту тему.

Где-то на берегу затерялся дом Ненси с окнами на море, с большим холлом, вместо стола там стойка, наподобие бара, в холле остались все, кто не пошел купаться, они сидели в креслах, пили кофе, трепались, ожидая нас. Может, искали, волновались. И это меня тоже не трогало. Оно перестало иметь ко мне отношение. Оно отделилось от меня; вернее, я отделился от всего, что со мной было до сих пор, осталось лишь то, что со мной, — вот эти ноги, руки и мотивчик, который я высвистывал. Никаких должностей, положения, только то, что я умею. Сейчас я не понимаю, как же я не испугался. Я пытаюсь как-то оправдать себя и понять то счастливое состояние. Я шлепал по шоссе, наслаждаясь прохладой, и свистел и пританцовывал. Кто-то древний высвободился из моей оболочки, распрямился в своем натуральном естестве и, торжествуя, убегал от всего нажитого. В темноте белели эвкалипты, светлые, оголенные стволы их, причудливо перекрученные, появлялись как призраки. Процессия их следовала за мной вдоль шоссе, заламывая руки, кланяясь, изгибаясь узловатыми туловищами. Ветви со вздутыми бицепсами тянулись к небу.

Южный Крест горел надо мной — единственное знакомое мне созвездие. Я все видел и чувствовал: запахи, спутанные ночью краски, легкие звуки, я жил наибольшей полнотой ощущений, какая была у меня в детстве, с готовностью принимать все окружающее, удивляться красоте и странностям мира. Это было начисто забытое состояние.

Просто жизнь, в чистом виде, без примеси цели.

Давным-давно я разучился так жить. Гулять я ходил, чтобы проветриться. Ездил — за впечатлениями. Смотрел то, что мне надо было увидеть или узнать. Я отвык просто пойти в лес, как в детстве, мне нужна была какая-то цель — собирать грибы, охотиться или пройти сколько-то километров. А было время, когда

я мог бродить часами, воображать, смотреть, не стараясь ничего запомнить, записать, чтобы потом использовать. Я ходил по лесу и чувствовал себя путешественником, заблудившимся в какой-то неведомой стране. Я пробирался к капиталистам и готовил там революцию, собирал отчаянных, как Овод, смельчаков.

Никому не было дела до моего детства, его никто не посещал, с годами оно заросло, как запущенный сад.

У ярко освещенной бензоколонки перед шикарным «мерседесом» стояли трое мужчин и маленькая женщина в очках. В их громком разговоре я услышал слова: гангстер... играть... шок... При виде меня они стихли, и я продолжал свистеть. Насвистывая, я прошел сквозь их молчание и вдруг почувствовал, что они опасаются меня. Это было забавно. Я никого не боялся. Я был свободен от всего — и от страха. У меня нечего было взять. У меня были все преимущества бедности, абсолютной нищеты. Я не обладал ничем, поэтому мог претендовать на все. Я был опасен. Я чувствовал заманчивую потребность восстания.

Шоссе разветвлялось. Издали я увидел перекресток и огромную рекламу кока-колы. Единственное, чего мне не хотелось, — это выбрать дорогу. Впервые я тогда подумал о том, что меня ожидает, что будущее мое зависит от выбора, пойду я направо или налево. Это еще не были отчетливые мысли, это было самое начало их, предчувствие, тишина, как перед дождем.

Под пыльным щитом стояли две фигуры. Женщина и мужчина. Они о чем-то шумно спорили. Мужчина оглянулся в мою сторону:

— Хэлло, — и помахал мне рукой.

Это был Джон Брей. И рядом с ним Ненси.

Джон кинул мне купальное полотенце:

— Бр-р, где ты ходил так долго? Пошли, пошли.

Ненси побежала вперед, мы за ней, она на ходу еще что-то доказывала Джону, и он отвечал ей.

В холле пили кофе, и, когда я вошел, мне сказали:

— Бери сосиски. Вот твоя порция. Не остыли?

— Вроде нет, — сказал я.

Сосиски действительно были еще горячие.

БЕЛАЯ НОЧЬ

Большей частью путешественник берется за перо оттого, что ему не дают выговориться. Он не находит слушателей. Древнее искусство слушать почти утрачено. Хороший слушатель сейчас редкость, на-расхват.

По возвращении приходят друзья-товарищи, вроде бы специально приходят узнать, как съездил, что за Австралия, и уже через десять минут каждый ждет не дождется, чтобы прервать тебя своими новостями. А прощаясь, жалуются: плохо, мол, рассказал, слова из него не выжмешь. Всем некогда, ходишь-ходишь со своей Австралией, через две недели от тебя уже отмахиваются: знаем, слышали, сколько можно.

Австралия, как таковая, тут, конечно, ни при чем, у Колумба были такие же неприятности с Америкой.

«А, Христофор! Где пропал? Говорят, открывал эту самую... Ну что там новенького? А у нас, слышал про папу Александра? Анекдот!»

Так ему и не дали рассказать, поэтому до сих пор историкам приходится возиться со всякими неясностями.

Писать путевые заметки нелегко, но еще труднее их кончить.

Надо бы рассказать еще о том, как мы с Джоном Моррисоном посетили школу: Джон опасался, что нас, советских людей, не пустят, а нас приняли с удовольствием, повели в класс, мы разговаривали с ребятами о литературе, и это было очень интересно.

Я хотел бы написать отдельный рассказ о радиорепортере, как он приходил брать интервью; у него был список довольно пошлых вопросов, и мы почувствовали, что ему все это неприятно, потом мы разговорились, и он оказался отличным парнем и тихонько подсказывал нам хлесткие ответы, и мы вместе с ним занимались коммунистической пропагандой на всю железку.

Надо бы написать о встрече с социологами и о встрече на кафедре русской литературы в Мельбурнском университете, вообще о русских в Австралии, и еще о наших друзьях, детском писателе Винченце Сервенте, который занимается природой Австралии так же, как у нас занимался Бианки, о руководителе Нового театра Мери Аронс, о Робин и ее семье. Может быть, это было бы интереснее того, о чем я написал. Записки — второе

путешествие, тут сам выбираешь маршрут и события, но никогда не знаешь, правильно ли ты выбрал.

Когда я писал эти записки и рылся в блокнотах, мне попался заложённый среди всяких австралийских бумажек и открыток длинный, странного цвета волос. Он был розовато-рыжий, толстый и жесткий, похожий на струну.

Не сразу я сообразил, что это — Алан, его штучки. И я вспомнил его последний приезд в Ленинград. Мы отправились в гости к Юрию Герману. Он любил Алана Маршалла и его превосходную, такую мужественную и такую жизнеликуюющую книжку «Я учусь прыгать через лужи».

Алан пел песни и рассказывал свои неистощимые истории про опоссумов, динго и детей. И опоссумы, и попугаи, и динго в его рассказах тоже были детьми. Большой ребенок — есть такое снисходительное выражение. К Алану оно не подходило. У Алана была ребячья искренность, ребячья доверчивость и преданность друзьям и ребячье понимание дружбы. Не Алан был большой ребенок, а мы рядом с ними были слишком взрослые. И, глядя на него, мы чувствовали всякие свои грустные потери возраста, хотя он был старше нас. Юрий Павлович Герман точно заметил, что повесть Маршалла ребята принимают не как книжку, написанную для детей, а как написанную их сверстником. Рассказывая, Алан часто вспоминал отца, как отец воспитывал и лепил характер сына. Все мы с годами начинаем лучше понимать своих родителей. Они уходят, а мы становимся к ним ближе, лучше разбираемся в их поступках. Запоздало признаем их советы и свои прошлые глупости. Отец Алана не был никакой знаменитостью, он был фермером и хорошим, умным отцом. Он давно умер, но Алан остается сыном. Он уже и сам отец, а сын в нем не исчезает. Слушая его, мы невольно завидовали и думали, как бедны люди, которые стараются поскорее отдалиться от своего детства. Когда-нибудь им захочется вернуться, но там уже ничего не останется, кроме смутных случайных обрывков. Отец Алана, дед, его предки существуют, пока он ходит по земле. Они в нем как кольца внутри ствола.

В тот день у Юрия Германа мы совершенно позабыли, что Алану не очень-то можно было пить, мы пили с ним на равных. Общаясь с ним, не верилось, что Алан — калека, с детства у него ноги парализованы, он

ходит на костылях и так далее. Мы обнаружили это, встав из-за стола: оказалось, что Алан некрепко держится на своих подпорках. Рискованно, да и трудно было спускаться ему по узкой, крутой лестнице. Но он сразу нашел выход. Он забрался к нам на плечи, обхватил за шею, и мы понесли его. Он сидел наверху, легонький, маленький, и пел, и мы тоже подпевали ему. Мы чувствовали себя мальчишками. Все было как в детстве, когда мы катались друг на друге. Так мы прошли через двор, через лужи, к машине, и нам не хотелось спускать его — такая это была славная игра.

Мне захотелось что-то подарить Алану на память о Ленинграде. Всякие альбомы и матрешки — все это у него уже было. Мы ехали в машине, болтали, а я мучился, поскольку проблема подарков — одна из труднейших для меня.

— Послушай,— вдруг сказал Алан,— не можешь ли ты сделать мне подарок? Самый для меня дорогой подарок.

— Ты телепат,— сказал я.— Ты парапсихолог.

— Не ругайся. И не радуйся. Это не простой подарок, приготовься.— Он сделал таинственное лицо.— Мне нужны волосы мамонта!

Жаль, что я не видел своей физиономии в эту минуту. Наверное, это было редкое зрелище. Более редкое, чем мамонт.

— Пожалуйста, не переживай,— сказал он.— У вас в Ленинграде полно мамонтов. Я узнавал. Они в Зоологическом музее.

Одного я помнил. С детства. Наверное, он до сих пор стоит там. Но никаких знакомств и связей по линии мамонтов я не имел и не знал, с чего надо начинать в таких случаях. Да и в каких «таких случаях»? Есть ли еще такие случаи? Но выяснилось, что есть. И немало. В Зоомузее мне объяснили, что спрос на эти мамонтовые волосы велик. Есть специальная наука, которая изучает волосы животных, и, значит, есть ученые, аспиранты, лаборанты, кафедры, препараты — все, что полагается. Всем им нужны были волосы мамонта. Но Алану нужны были эти волосы не для науки. Алан хотел написать книжку про свое путешествие, книжку для детей и чтобы там было про мамонтов.

— А когда ко мне будут приставать глупые наши репортеры, что я привез из Советского Союза, я им скажу, что волосы мамонта. И покажу. Привез для того,

чтобы подарить австралийским ребятам. Такую штуку эти типы обязательно напечатают. И отцепятся от меня с разными ихними замыслами. А ребятам нашим я буду дарить волосы мамонта. Им это будет интересно после моей книжки. У нас ведь не было мамонтов.

Все это я как можно серьезнее изложил сотрудникам музея.

— Хм,— сказали сотрудники,— мамонтов мало, а детей в Австралии... И что это даст для науки... И вообще это странно...

Я молчал. Но затея Алана постепенно размягчала их музейные сердца. Что-то озорное, полузабытое проступало на лицах. Индейцы, охотники за скальпами, Дерсу-Узала и прочие радости мальчишеской жизни.

Мамонт был осторожно ошипан. Мне выдали пучок этих самых мамонтовых волос, и я преподнес его Алану.

Он был счастлив.

— Господи, ты представляешь? — сказал он. — Неужели они такие и бродили — розовато-рыжие!

Я представил себе, как розовато-рыжие мамонты бродят по его саду. В саду стоял маленький по-русски сарайчик, где работал Алан. Там царил страшный, веселый беспорядок, на стенках висели рисунки детей, его читателей. Они иллюстрировали его книги, изображали самого Алана. Они рисовали ему то, что считали нужным для пополнения его знаний. Воспитывали, образовывали, наставляли.

Алан жил под Мельбурном, в местечке Эльтом. Мы приехали к нему поздно вечером, и в первое утро я проснулся от птичьего крика. В саду вертелась поливалка. Под радужными хвостами воды кувыркались птахи. На столике у моей кровати лежала пачка сигарет, спички. Вероятно, Алану этого показалось мало. Чем-то сразу ему еще хотелось выразить свое внимание. И рядом с сигаретами он положил книжку «Московский Кремль». Наверное, подаренную кем-то в Москве. Разыскал ее среди своих книжных завалов. Архангельский собор. Царь-пушка. Грановитая палата.

Это было наивно и немного смешно, но это было одно из самых чистых и трогательных выражений любви, которые я получил в своей жизни.

То утро в Эльтоме как-то соединилось для меня с ленинградским вечером, когда мы после Зоологического музея поехали в Петергоф.

Играли фонтаны. Гремела музыка. Толпы гуляющих тесно заполняли все аллеи и площадки. Я никак не мог показать Алану перспективу «Большого каскада». Мы не могли пробиться к «Зонтику». Алан не огорчился. Его мало занимали серебристые цистерны кваса, и очереди за квасом, и мальчишки-удильщики, что стояли на камнях посреди дремотно-белесой вечерней воды залива. Я не успел заметить, как он очутился посреди студенческой компании танцующих под гитару. Костыли не мешали ему, и незнание русского языка тоже. И сам он тоже никому не мешал, привлекая всех силой своего удивления. Я не понимал, чему он удивляется. Было пыльно, со всех сторон толкались, шумели, пели песни. Все шло как обычно, как всегда бывает на птергофских гуляньях в белые ночи. Алан сиял. Его восхищали папиросы, тубетейки, эскимо, с восторгом он оглядывался на матросов, на десятиклассниц в белых фартуках, на стариков с медалями.

— *White night, white night*,— твердил он изумленно и показывал мне на гладкую даль залива, слитую с таким же гладким и белым небом.

Он недоумевал, даже презирал меня за то, что я не удивляюсь, не вижу чуда этой ночи, этой толпы, этих улиц.

А мне лицо самого Алана говорило в эту минуту больше, чем высокое, знакомое с детства небо: я вдруг сообразил, почему ему так хочется написать про нас, про этих ребят, а мне — про Австралию. И что мы не можем с ним поменяться. У меня тоже была своя Австралия, какой не было даже у него, пусть самая малая ее часть, пусть всего лишь первое впечатление...

ВСТРЕЧА В АББАТСТВЕ

Это было первое мое утро в Лондоне и в Англии. Выйдя из гостиницы, я пересек улицу и очутился в Гайд-парке. Мелкий туман лежал в зеленых лощинах. На траве валялись шезлонги. Парк был пуст. Не очень-то мне хотелось топтать траву, к тому же она была мокрая, но раз уж я попал в Англию, я обязан был ходить по газонам. Во всех путеводителях, во всех путевых очерках говорилось о том, что в Англии ходят по газонам. Я вступил на газон. На всякий случай оглянулся. Для верности я остановился, подождал — никто не засвистел. Трава была скользкой, ноги у меня скоро отсырели, я с удовольствием вернулся бы на асфальт аллеи, но теперь боялся, как бы меня не шугнули обратно, что-то ведь должно быть запрещено. Либо по аллеям, либо по траве. И надписей никаких не было, и правил, как пользоваться парком. А в путевых очерках, даже в самых лучших, например у Сергея Образцова, тоже избегали сообщать насчет аллей.

На повороте конной дорожки я подождал. Прошла минута. Никто не появлялся. Я удивился. Я точно знал, что должно быть здесь по утрам. Я даже начал сердиться. В это время из-за деревьев вылетели опоздавшие всадники; подъезжая ко мне, они притворились, что ничего не случилось. Я недовольно покачал головой, но все же успокоился. На ухоженных лошадках сидели ухоженные джентльмены и леди с хлыстиками. Как и полагалось по всем путеводителям и опять-таки по путевым очеркам, утром на лошадях совершались прогулки по Гайд-парку. Все оказалось на своих местах. И мраморные арки, и жирные дрозды, и тонкие лебеди на прудах. Я шел, как завхоз, проводящий инвентаризацию, и вскоре печаль, похожая на этот мелкий туман, охватила меня. Я перестал понимать, зачем я сюда

приехал. Чтобы проверить, все ли на месте? Кажется, впервые в жизни я потерял вкус к путешествию. И это в первое утро, то особое, всегда удивительное для меня прекрасное первое утро в новой стране!

Светило солнце, потеплело, зелень пахла свежестью, утро делало вид, что оно не виновато.

«Что тебе еще нужно? — спросил я себя. — Какого черта? Ты ведь любил эту страну, ты столько читал о ней, смотрел ее во всяких фильмах, тебе она нравилась, тебе нравились ее люди, ее замечательные люди, такие, как Свифт, и Резерфорд, и Фарадей, и Бернс, и Максвелл, и Киплинг, и Конан Дойл, да мало ли! Что ж ты морочишь себе голову?»

Слова мои были неопровержимы, убедительны, логичны. Тем не менее они не помогли. Что-то испортилось. Я шел и думал о том, что когда-то люди путешествовали, чтобы открывать новые земли, новые народы, обычаи, природу, — словом, открывать.

А нынче? Я вспомнил ежегодные тучные стада туристов, которые топчутся по всем храмам, замкам, музеям с путеводителями в руках, всех этих немецких и американских старух, всех отпускников, увешанных фотоаппаратами и кинокамерами, что-то отмечающих крестиками и птичками, туристские автобусы с микрофонами и удобными креслами, из которых неохота вылезать.

А зачем вылезать? И вообще, зачем ехать, когда все это можно увидеть дома, в цветном кино, и на открытках, и в телевизоре, и в роскошных альбомах? Стоило ли ехать в Лондон на футбольное первенство, когда, сидя под Ленинградом, мы отлично видели на экране все подробности, лучше, чем на стадионе!

Я шел по Гайд-парку и мысленно перебирал все, что нам предстоит осмотреть. Когда-то я жадно читал путевые очерки об Англии. Я читал их в разное время, но сейчас они слились неразлично. Никто ни у кого не списывал — наверное, авторы и не читали друг друга, и тем не менее каждый неукоснительно повторял один и тот же набор английских впечатлений. За сотню лет установился обязательный перечень для всякого пишущего об Англии.

Если бы я собирался писать еще одни путевые заметки, то не имело, конечно, смысла ехать в Англию; вместо того чтобы болтаться по стране, можно было в это же время преспокойно писать о ней, сидя дома.

Для этого достаточно было взять несколько подобных очерков, все равно каких, можно старых, времен Марка Твена или Чапека, можно поновее — вплоть до Сергея Образцова или даже Утченко, и вывести нечто среднее. Бояться тут нечего, ошибки не будет: Англия тем и хороша, что в ней ничего не меняется. По крайней мере для путешественника: он может приехать на десять лет позже, на двести раньше и написать свои впечатления об Англии двадцатого века или двухтысячного года — получится примерно одно и то же. Учтешь лишь мелкие подробности, например насчет транспорта... И то ничего существенного тут не произошло. Вот, например, как Чапек описывает движение на лондонских улицах двадцатых годов нашего века: «Бесконечной, непрерывной лентой тянулись в четыре ряда всевозможные автобусы, пытящие, облепленные роем людей, как стадо рвущихся в атаку мастодонтов, рокочущие автомобили, грузовики, паровые машины, велосипедисты, летящая свора автомобилей, бегущие люди, машины скорой помощи...» Вычеркнуть паровые машины — и все будет точно. По-прежнему несется бог весть куда то же стадо, так же ошеломляя, подавляя размерами, количеством, безостановочностью, все так же испытываешь нечто катастрофическое от размеров Лондона, от этого скопища людей. Все так же путешественник начинает чувствовать себя ничтожной бактерией...

Я попробовал забраться еще дальше в прошлое, куда-нибудь в девятнадцатый век: «Узкие, извилистые улицы сплошь залиты живым потоком. Омнибусы, кареты, кебы, огромные фургоны с кладью тянутся беспрерывной нитью... Лавируя между мордами лошадей и между колесами экипажей, пользуясь заминкой, перебегают пешеходы с одной стороны улицы на другую. На тротуарах тоже сплошной поток пешеходов. Все как будто высечены по одному образцу: все в черных сюртуках и цилиндрах, все одинаково выбриты, и у всех на лице застыло одинаково деловое выражение...» Это написано было в 1890-х годах Дионео.

И так же ощущал Лондон в 1840-х годах Фридрих Энгельс. Снова «...с трудом пробиваюсь сквозь толпы людей, бесконечные вереницы экипажей и повозок...». Кстати говоря, отличное описание Лондона. И опять уже тогда оказывается, что «...в самой уличной толкотне есть что-то отвратительное, что-то противное природе человека». Слишком много людей. Все они одинаковы

и все бесконечно разобщены: «...как будто между нами нет ничего общего, как будто им и дела нет друг до друга, и только в одном установилось безмолвное соглашение, что идущий по тротуару должен придерживаться правой стороны».

И в восемнадцатом веке, и, наверное, в семнадцатом Лондон производил на приезжих то же самое впечатление. Можно подумать, что город этот сразу появился переполненный, тесный, с незатихающим уличным движением, и с тех пор, не останавливаясь, столетиями мчатся куда-то люди, катятся колеса, повозки сменяются кебами, кебы лимузинами, омнибусы автобусами, велосипеды мотороллерами, но дух города не меняется.

Первое ощущение от города было — громадность. И города-то я еще толком не видел. Я вышел из отеля и пошел по Санкт-Петербургской улице. Тихая, составленная из трех-четырёхэтажных домов, вроде бы совсем провинциальная, и прохожих мало, и движение редкое, и тем не менее было явственно ощущение невероятных размеров этого города. Оно возникло необъяснимо, как чей-то взгляд в затылок. Ни в каком другом большом городе не было этого постоянного ощущения присутствия миллионов людей.

Разумеется, и это мое ощущение не было моим. Все путешественники писали то же самое. Любое мое чувство и наблюдение было уже описано. Лондон состоял из цитат. Соборы, ленч, туманы, парки, клерки, Сити, каминь — все было в кавычках. Из одних кавычек я попадал в другие. Я был обречен на плагиат.

У плагиата свои правила. Лучше всего списывать не с одной книги, а с многих. Выводить среднее. Избегать афоризмов и дат. Если списывается больше одной страницы, то на всякий случай следует добавить что-то вроде: «Говорят, что...» или «Считается, что...»

Достаточно прочесть несколько очерков, зарисовок, путевых впечатлений и т. п., и станет ясно, что нет ничего легче, как описать Лондон.

Всякое более или менее добросовестное описание включает следующее:

1. Туманы. Фог и смог, копать на стенах, черно-белая графика домов, левостороннее движение, двухэтажные автобусы, потоки машин, длинные улицы одинаковых домов, по-разному раскрашенных; скверное метро.

2. Смена караула у Букингемского дворца. Королевские гвардейцы в малиновых мундирах и высоких мохнатых шапках. Играет оркестр, бьют барабаны, выкрикиваются команды, толпы туристов облепили памятник королеве Виктории, втиснули головы и фотоаппараты сквозь прутья решетки — смотрят этот бесплатный ежедневный оперный спектакль.

3. Площадка ораторов Гайд-парка. Маленькие и большие толпы зевак вокруг кричащих, охрипших политиканов или проповедников. Комедия демократии.

4. Музеи. Британский музей. Национальная галерея. Музей восковых фигур. Картины прекрасные, экспозиция плохая, музеев слишком много, от количества экспонатов кружится голова. Дается описание Мадонны Леонардо, обязательно Тернера и еще двух-трех художников по выбору. Музей восковых фигур подвергается осмеянию.

5. В Тауэре бродят вороны. Приводятся соответствующие легенды об этих воронах. Мрачная летопись преступлений, убийств, несчастные маленькие Эдуарды, задушенные где-то под лестницей.

6. Английские традиции — камин, мешок с шерстью, на котором восседает спикер, пивные — пабы, королева, рождественская индейка, лондонские клерки в котелках, с черными зонтиками, ресторанчик Шерлока Холмса. И вывод: что дают традиции рядовому англичанину? Ничего не дают.

7. Вестминстерское аббатство, Сити, рекламные огни Пикадилли, подозрительные кабачки Сохо, аристократические кварталы Вест-Энда, контрасты.

8. Встречи с лондонцами... Тут тоже особой фантазии не требуется: любые встречи, независимо от того, были они или нет, должны сводиться к тому, чтобы доказать, что англичане, и лондонцы в частности, вовсе не чопорны, не холодны, им доступно чувство юмора, они даже смеются, — словом, они никак не соответствуют традиционному образу молчаливых, замкнутых англичан.

Любопытно, с какой настойчивостью в каждой книге убеждают, что англичане вовсе не похожи на англичан. Кто первым вывел этот традиционный образ англичанина, на который англичанин не похож, выяснить не удалось. Ссылок никто не приводит, однако все опровергают, опровержение длится много лет, и не следует

обходить это правило. Приемы используются проверенные, безопасные:

«Напротив меня сидел сухопарый англичанин с гитарой. Мы разговорились...»

«Молоденькая высокая англичанка, узнав, откуда мы, сказала...»

«Шофер такси оказался славным малым, он рассказал мне...»

Какими бы ни были встречи, приятными, неприятными, они приводят к неизбежному выводу — глубоко интимному, выношенному, который вырывается непроизвольно: «...и все же, если меня спросят, что мне больше всего понравилось в Англии, я должен признаться: талантливый, трудолюбивый английский народ».

Восемь этих глав про Лондон как минимум обязательны в каждом очерке. Регламентированные наборы существуют и для Эдинбурга, и для Стратфорда, и для прочих мест. Никаких добавочных приключений нынешним путешественникам не полагается.

Книга получится ничуть не хуже других книг, странно, что никто до сих пор не догадывался заняться этим.

Но я не собирался писать про Англию.

— Правильно, — сказал мне сухопарый англичанин с гитарой, — невозможно написать что-либо новое на материале столь короткого пребывания в стране.

— Между прочим, ерунда, — ответил я. — Можно написать про один день своей жизни огромную книгу. Еще Лев Толстой пытался написать такую книгу, ваш Джойс написал такую книгу, лучшую свою книгу. День — это даже слишком много; наверное, можно написать про несколько часов, самых обычных, заурядных часов своей жизни, а уж путешествия — тем более.

Однако выяснилось, что жизни-то нет. Вместо жизни имелась расписанная вперед по часам программа всех действий и перемещений: я мог знать, где и когда я буду, что увижу, что буду делать. Самого меня как личности не существовало, от меня ничего не требовалось, гид вкладывал в меня необходимые сведения, на очередную достопримечательность выдавались апробированные, заготовленные впечатления. Не нужно было думать, действовать, надо было лишь быть в составе, быть как все, не отставать, не высовываться. А говорят, были времена, когда путешествие было открытием не-

известного, путешественники переживали приключения, опасности.

«Что же мне делать, — подумал я, — как стать путешественником в этой стране, которую никто не открывал, которая открывала других? Как выбраться из этого заколдованного круга чужих впечатлений, сведений, описаний?»

Я ничего не мог придумать. Я вернулся в отель, потому что я должен был туда вернуться, я сел в автобус, потому что пора было садиться. Мы ехали, останавливались, вылезали, снова садились. В репродукторе звучал голос гида. За стеклом проплывали улицы, витрины, достопримечательности, все это было хорошо поставленной широкоформатной цветной кинокартиной, объемной, стереозвуковой, сделанной в новой документальной манере, — поток жизни. Потом мы пообедали и снова ехали, шли по залам музеев, потом ужинали и опять ходили. Тауэр был такой, как на фотографиях, картины были такие же, как в монографиях. На Темзе стояла «Дискавери» капитана Скотта и дальше мост Ватерлоо и Парламент.

Постепенно я втягивался в странную легкость такого существования, мнимого, призрачного и весьма удобного, поскольку не нужно было ни о чем думать, ни о чем заботиться, ничего искать, мне указывали, куда смотреть, что тут красивого, я убеждался, что все стоит на своих местах, что это и есть тот самый, а это всемирно известный... жил глазами, ушами, ногами. На стритах пахло бензином, в парках — каштанами; вороны Тауэра каркали, негры в котелках, помахивая портфелями, спешили на службу. Я был доволен: Лондон был построен в точном соответствии с путеводителями, очерками и кинокартинами.

На площадке ораторов Гайд-парка по воскресеньям добросовестно несли свою службу ораторы. И речи их были те же самые, что и всегда. Какой-то индус проповедовал гипноз. Студент все так же настаивал на необходимости реформы образования. Как и сто лет назад, ходил седоусый джентльмен с плакатом, возвещающим конец света. Индус требовал свободу Ирландии. Старушка поразительно сильным голосом читала библейские тексты. Бородатый пророк призывал всех вернуться в Израиль. Тут же хор из трех человек исполнял псалмы. Скрипач пиликал подле одной из трибун. Яростно спорили два толстяка — один на трибуне, дру-

гой в толпе — об экономике Египта. Больше всего слушателей окружало оратора, осуждающего агрессию во Вьетнаме. Носились крикливые фашиствующие поклонники Мосли, бородатые, в красных рубахах, но, несмотря на свою молодость, они казались ветхими, какая-то гальванизированная архаика.

Большой Бен стоял на месте. Резиденция премьер-министра оставалась на Даунинг-стрит, 10. Королевские гвардейцы действительно носили высокие мохнатые шапки и алые мундиры. В девятнадцать часов началась церемония смены караула. Три тысячи туристов сделали тридцать шесть тысяч снимков, не считая сотен метров отснятой киноплёнки.

В кабачках Сохо шли стриптизы. Зазывалы стояли у маленьких входов, ведущих в подвальчики. Проститутки выстроились в соседнем переулке возле машин, поигрывая ключиками. Автобусы с туристами всех стран подъезжали к собору святого Павла, к Тамплю, к Парламенту. Мы покупали с ними одни и те же открытки и сувениры, пока наши гиды на всех языках рассказывали одни и те же истории.

Меня начала устраивать такая жизнь. Во всяком случае, это было удобно. Вечером мы возвращались в номер и смотрели телевизор. Там показывали фильмы с убийствами, мотогонками, потом реклама шампуня для волос, снова пальба, а в двенадцать ночи исполнялся гимн, показывали несколько кадров хроники с королевой, и мы ложились спать.

Иногда мне снились коровы на зеленом лугу в красных мундирах королевских гвардейцев. Веселые, бездумные сны смотрелись как продолжение телевизионных программ. Мы жили в волшебном стерильном королевстве, лишённом всяких мучительных проблем. Стоит ли чего-то добиваться, искать, спорить, за вас думают другие, ваше дело — соблюдать программу, и все будет о'кей! Дни скатывались в минувшее, точно по графику, легко и безмятежно, не оставляя ни разочарования, ни чувства утраты, ничего не оставляя. И если бы не случай в Вестминстерском аббатстве...

Строго говоря, нельзя назвать это ни случаем, ни происшествием. Я шел вместе со всеми вслед за экскурсоводом, разглядывая витражи, распятия, надгробия знаменитых кардиналов, полководцев. Вдруг, бывает же так, какой-то толчок изнутри, я посмотрел под ноги и увидел маленькую, затоптанную тысячами ног плиту

с полустертой надписью: «Михаил Фарадей». Еле виднелся ее светлый мрамор среди каменных плит пола.

Я забыл об экскурсии, о других великих, которые, как мне было известно, находились в боковых притворках, я остановился и застыл, сперва без мыслей и чувств, а потом что-то во мне мучительно дрогнуло, и я почувствовал самого себя. «Душа моя очнулась» — так говорили когда-то, и хорошо говорили.

Михаил Фарадей был одним из героев моего детства. Я прочел книгу о том, как он мальчиком работал подмастерьем в переплетной мастерской и по ночам сидел над растрепанными томами, которые приносили переплетать заказчики. Жизнь его начиналась трудно и далеко от славы и науки, она казалась доступной и не требовала для подражания ничего, кроме увлеченности и бедности. Я тогда тоже хотел стать великим ученым. В детстве достижимо все — можно стать силачом, летчиком, красиво умереть, переплыть океан. Герои менялись. Гаврош, Спартак, Овод, Монте-Кристо, Чкалов, среди них Фарадей был самым скромным. Он не умел стрелять. Вообще неизвестно, мог ли он драться, давать сдачи. Время от времени я жертвовал своей ученой карьерой ради Днепрогэса, борьбы с врагами народа и полета на полюс, но Фарадей почему-то не покидал меня. Он появлялся где-то на уроках физики и химии. Незаметно и преданно сопровождал он меня и в студенческие годы. Я все еще думал, что могу добиться всего, чего захочу. Я путал увлеченность с талантом. Тем более что у Фарадея все выглядело как нельзя просто. Он не отпугивал математикой, формулами. Опыты его делались самыми элементарными средствами. Лишь в аспирантуре я начал кое-что понимать в простой, с виду монотонной жизни этого человека.

Фарадею был тридцать один год, когда он записал в своей книжке: «Превратить магнетизм в электричество». Так записывают себе задания в перекидном календаре. В карман сюртука он положил медную спираль и железный брусок. С тех пор он носил их постоянно, то и дело вынимая, принимаясь по-всякому вертеть в руках. Куда бы он ни шел, что бы ни делал, всегда с ним были спираль и брусок. Брусок был магнитом, спираль — проводником. Одновременно с ним во Франции над этой проблемой думали Ампер и Араго. Спустя три года Ампер отступился, он решил, что электрический ток посредством магнита получить не-

возможно. Фарадей упорно продолжал вертеть в руках свою спиральку и брусок. Он занимался светом, электрохимией и магнетизмом и неотступно размышлял над своей главной задачей. Конечно, он не знал, насколько она окажется главной среди всех его открытий, его не занимали практические результаты: революция в энергетике, электростанции, генераторы, двигатели — все, к чему приведет его открытие. У него было лишь ощущение связи двух явлений, один из секретов природы, который он хотел разгадать: спираль и брусок. Шли годы, усилия его ни к чему не приводили. А впрочем, неверно, он постоянно получал результаты, неважно, что отрицательные, важно, что он что-то узнавал, — это процесс познания, счастливый уже сам по себе. Спустя десять лет он получил и тот самый результат, тот знаменитый, конечный, исторический, который осветил весь его путь светом славы и успеха. За несколько дней он провел опыты, и открытие его отлилось в наиболее совершенную, может быть, идеальную форму. Через полвека другой великий физик, Максвелл, писал: «...самые опытные физики не смогли избежать ошибок, когда они пытались описать открытия Фарадея и проверенные им явления более научным языком, чем сделал сам Фарадей. Уже прошло полвека со времен Фарадеева открытия, и безмерно умножились как способы его практического использования, так и значение их для жизни. И в этой практике ни разу не обнаружилось ни малейшего противоречия или исключения из тех законов, какие установил Фарадей. Больше того, та первоначальная форма этих законов, какую придал им Фарадей, остается до нынешнего дня единственной...»

Среди поучительных, анекдотических, хрестоматийных историй великих открытий открытие Фарадея антилегендарно. Не падало яблоко, не прыгала крышка чайника. Случай не приходил на помощь. Не было озарений, счастливых стечений обстоятельств. Порода, которую он долбил, была слишком крепка, ему пришлось пройти весь путь без льгот и нечаянных находок. Десять лет он отбирал вариант за вариантом. Гениальность его состояла не из школьного терпения и трудолюбия. Он умел изобретать все новые комбинации, задавать все новые вопросы. Воображение его было неистощимо. Так Иоганн Бах возводил свои фуги, извлекая неисчерпаемые вариации из одной темы. Так Хемингуэй в романе «Прощай, оружие!» тридцать семь

раз переписывал последнюю страницу. Тридцать семь раз — какой поучительный пример для молодых писателей! Вот вам, милые, образец добросовестности и высокой требовательности к своей работе!

Но даже когда я стал немолодым писателем, мне при всем желании не удавалось больше шести-восьми раз переписывать незадавшуюся страницу. Я переставал видеть, что там плохо. Зато я понял, что такое большой талант. Тот же Хемингуэй мог написать с ходу, без помарок совершенную вещь, но нужен был великий талант Хемингуэя, чтобы тридцать семь раз найти, что переделывать, увидеть заново, иначе, лучше.

Фарадей не ослеплял гениальностью. Гением можно восхищаться, ему нельзя подражать. Почти полностью потеряв память, Фарадей продолжал исследование. Память для экспериментатора — то же, что слух для композитора. Это было так же мучительно, как глухота Бетховена. Трагедия сближает великих людей с человечеством. Мужество Фарадея стало для меня одним из примеров. Прошло столько лет, и время не повлияло на оценку его жизни. В ней ничего не превращалось в заблуждение, не становилось наивным. Я знал, что он похоронен в Вестминстерском аббатстве рядом с Ньютоном, и действительно, рядом лежала большая плита — Исаак Ньютон, и за ней опять маленький камень — В. Томсон. Тут же лежали плиты с именами Максвелла, Ч. Дарвина, Вильяма Гершеля и сына его, также знаменитого астронома, Джона Гершеля.

В биографиях великих ученых для меня наиболее волнующим и таинственным было выявление личности, как они находили себя. Они еще не знали, что им суждено, и я, переживая, следил, как они сбивались, плутали, нащупывая свое призвание. С тревогой следил я за Вильямом Гершелем, когда отец зачислил его в полк музыкантом-гобоистом. Как Гершель через несколько лет дезертировал, бежал в Англию, стал там учителем музыки, как он от теории музыки перешел к математике, от нее к оптике и, наконец, нашел свою астрономию.

На памятнике Ньютону были строчки: «Да поздравят себя смертные, что существовало такое и столь великое украшение рода человеческого».

Я был тот самый смертный. Я почувствовал, как много значили для меня примеры этих жизней. Они действительно украшали человеческий род, это было точно сказано, и ценность этих украшений не меняли

ни мода, ни вкусы, ни наша запоздалая мудрость. Они помогали нам оставаться язычниками, не сводить нашу веру к единому, единственному божеству, одному великому, непогрешимому, мудрейшему, тому, кто мог решить любую проблему философии, конструкции стрелкового оружия и сбора хлопка.

Мои боги не имели ни власти, ни прав... Но сейчас я не собирался сравнивать, я слишком был занят ощущением встречи. Могила пробудила во мне древнее, не истребленное никаким воспитанием чувство: хотелось опуститься на колени, прикоснуться рукой к этим плитам. Постоять, мысленно общаясь с теми, кто лежал здесь.

...Разбитый автобус трясся по бульжнику шоссе. Сквозь дрему я услышал голос кондукторши: «Пушкинские Горы». Не успев понять, что я делаю, я выскочил на остановке, оглянулся. Был вечер, осенний, ветреный. Автобус ушел. Мне надо было ехать еще далеко, в совхоз, но я пошел в гостиницу и обрадовался, что там нашлась свободная койка. У меня не было в Пушкинских Горах знакомых и не было никаких дел. Я перекусил в чайной и лег спать. Посреди ночи что-то меня разбудило. По лунному сводчатому потолку метались тени ветвей. В нескольких шагах от меня, в монастырском дворе, лежал Пушкин. Вдруг это соседство, его присутствие ощутилось как неповторимое событие. Я встал, оделся, вышел в монастырский двор и поднялся по шумным от палях, сухих листьев ступеням к церкви. При свете луны я нашел белый камень. Долго сидел перед могилой, среди ночных шорохов и треска падающих листьев. Из таких встреч и складывается жизнь человека. Где-то, к концу пути, выявляется, что было их совсем немного, может, несколько часов или, если повезет, дней. И события-то никакого не было, а ведь запомнились навсегда со всеми красками и зябкостью эта ветреная ночь у могильного камня, крик петухов, как блестела луна на траве, темная громада церкви, монастырские стены, счастливое чувство связи времен, того, что связывало меня с Пушкиным, и того, что будет и после меня, с кем-то затерянным в будущем, — эта река времени, что шла сквозь меня, — я отчетливо ощутил ее мирный, устрашающий и благотворный ход.

И вот сейчас я вспомнил ту ночь в Святогорском монастыре. Сколько раз видел я на картинах этот монастырь и могилу Пушкина, так же как и фотографии надгробия Ньютона, — ну и что из того? Никакие знания и сведения не могли заменить моего присутствия и дать этих минут. Эффект личного присутствия — так называют его психологи.

Разноязычный гул поднимался к сводам аббатства. Шли экскурсии, туристы бродили, выискивая знакомые памятники, надгробия, капеллы. В боковых притворах горели свечи, священники справляли службу. Толпы туристов окружали надгробные статуи Марии Стюарт и Елизаветы. На скамьях молящиеся. Лица их были отрешенны, сосредоточенны. Они не обращали внимания на суету у могил Шелли, Байрона, Киплинга, на гидов, показывающих могилу Неизвестного солдата. И я тоже не хотел никуда идти, ничего смотреть. Я стоял у дорогих мне камней и думал о том, что никогда уже не стану ученым, что моя мечта о науке не сбылась. Ничего не осталось ни от детства, ни от юности, от победных, веселых надежд, ничего, кроме горьковатой любви к этим великим именам. Но и за это я был благодарен им, и за то, что вот сейчас они заставили меня думать о том, правильно ли я жил. Когда-то паломники шли к святым местам приобщиться, исполниться благодати, и это было не так уж глупо.

С вышины под сводами собора падали, скрещиваясь, широкие лучи света.

— Пошли, — сказал мне кто-то из наших. — Пора.

— Сейчас.

Я еще постоял, прощаясь. Какая-то группа туристов подошла к гробнице Ньютона.

— А, Ньютон! О, Ньютон! — И они расположились фотографироваться так, чтобы видны были доска, надпись и они сами. Фотограф встал на полустертую плиту Михаила Фарадея.

У выхода служка продавал божественные брошюры. Он вскинул глаза на меня — что вам угодно? — я улыбнулся ему, он понял, что ничего мне не надо, я просто увидел его самого. Наверное, ни разу за день никто не посмотрел на него. Он несмело улыбнулся.

На площади светило солнце. Где-то над ним горели невидимые двойные звезды Гершеля. Земля двигалась по законам Ньютона, свет — по уравнениям Максвелла, а на Бейкер-стрит сидел у камина, попыхивая трубкой,

Шерлок Холмс, и неподалеку от него жил Диккенс, и вдруг стал вспоминать одного за другим — Уэллса, Резерфорда, таинственного чудака лорда Кэвендиша, Бернарда Шоу, Алана Силлитоу, как мы сидели с ним в Ленинграде и пили пиво, английского летчика в 1944 году на фронте в Восточной Пруссии, Льюиса Кэрролла и Джона Бернала... Я и не представлял, сколько у меня здесь знакомых. Как это мне раньше не приходило в голову! Я мог иметь свою Англию, нигде не списанную, ни с кем не совпадающую.

Меня ждали в автобусе. Кажется, я сел в автобус. Теперь это не имело значения. Я не слушал гида, я смотрел на громаду Вестминстера, грустно было уезжать отсюда. Я выпал из заведенного распорядка. Отныне я не был обеспечен проверенными маршрутами и бесплатными чувствами. Так ехать было труднее, рискованней, но изменить что-либо было поздно.

ПИКАДИЛЛИ

«Пикадилли» я прежде всего воспринимал как кинотеатр. До войны был такой кинотеатр в Ленинграде, недалеко от нашей школы. Пока проветривали зал, мы пробирались со двора по черной лестнице. Если не было свободных мест, мы садились в проходе, подложив под себя наши портфельчики. Кругом пахло жареными семечками и галошами. В «Пикадилли» я впервые увидел «Снайпера» и «Путевку в жизнь». Кинотеатр «Пикадилли» было детство, чернильницы-невыливайки, игры в орлянку. Много позже я узнал, что в Лондоне тоже есть Пикадилли, а в риме — Колизей, но для меня это прежде всего были кинотеатры.

— Вы были на Пикадилли?

— Мы пойдем на Пикадилли.

— На Пикадилли нужно идти вечером.

— Ночью!

— Пикадилли — это то же самое, что площадь Пигаль в Париже.

Мы пришли туда под вечер. Пикадилли оказалась маленькой, тесной круглой площадью. В середине стоял огороженный памятник Эросу. Бог любви был сделан из алюминия. За низкой металлической решеткой на ступеньках памятника сидели и лежали битники. Их было десятка два-три. У всех, конечно, были длинные, до

плеч и ниже, волосы. Стояли теплые сентябрьские дни, и некоторые были босиком. Одеты они были по-разному. Пиджаки на голое тело. Белые рубашки навывпуск. Рваные парусиновые брюки. Соломенный колпак. Полосатая арестантская куртка. Подведенные синью глаза — не то парень, не то девушка. Пришел парень в старом солдатском мундире и трусиках. Компания в синих балахонах лениво пела под гитару. Поодаль на тротуарах топтались туристы и разглядывали битников. Прохожие тоже задерживали шаг, посматривая туда, за решетку.

Я не заметил прохода в ограде, мне показалось, что битников просто содержат там ради туристов: главное украшение Пикадилли, зоопарк на площади. К ним и впрямь никто не решался войти. Они уныло бродили по своей арене, подставляя себя под взгляды любопытных.

Но тут мы обнаружили проход и, набравшись духу, пересекли площадь. Никто из битников на нас не кинулся. Они не кусались и не рычали. Трое, среди которых, по некоторым слабым признакам, была одна девушка, расстелив газету, закусывали: бутылка молока, галеты и сыр. Мы прислонились к ограде, привыкая и давая им тоже свыкнуться с нашим присутствием. Мы курили, рассеянно поглядывая по сторонам. Было невежливо уставиться вплотную на этих ребят. Хотя, судя по всему, они привыкли к тому, что на них смотрят. Проходили минуты, и чем дальше я наблюдал за ними, тем непонятней для меня становилось их поведение. Вначале казалось, что они чего-то ждут. Но никто из них ни разу не посмотрел на часы, не проявил нетерпения. Они не отдыхали, не трепались, не задевали прохожих, не глазели по сторонам. Они вообще ничего не делали. Двигались они замедленно и бесцельно; подошло некое бесполое существо в грязном халате, его встретили улыбками, похлопали по плечу, никаких возгласов, расспросов. Появились двое завитых мальчиков с покрашенными губами, в туго обтянутых штанах. С этими по крайней мере было все ясно.

Больше всего меня заинтересовала одна парочка. Он сидел на ступеньках неподвижно и молча. Девушка, стоя на коленях, расчесывала ему волосы. Она занималась этим со всей серьезностью. Бледное, довольно красивое лицо парня скорбно застыло. Он не замечал ни ее, ни окружающих, взгляд его был устремлен в абстрактную бесконечность. Блестящие длинные волосы

были давно уже идеально расчесаны, они гладко спадали на его худые плечи, напоминая царевича Алексея, а девушка все пропускала их через гребень. Движения ее были монотонны, она наклонялась то с одного бока, то с другого и все водила гребнем и оглаживала его волосы рукой. Я тщательно старался понять, что же должно это означать; она, конечно, не причесывала, она изображала причесывание, не понятно для кого. Это не было игрой в куклы и не было спектаклем. Они не искали зрителей, не старались привлечь к себе внимание. И другие битники принимали их действия как нечто естественное. Наконец девушка устала, села рядом со своим дружкой.

Тем временем стемнело. На площади толчками разгоралась реклама. Изогнутые, бегущие, верткие росчерки всех цветов. Затейливо пульсировала реклама сигарет, реклама каких-то средств, каких-то снадобий и, разумеется, реклама кока-колы. Вспыхнули огромные часы с маятником, реклама «Дейли экспресс», реклама «Макс Фактор», реклама нового кинофильма. Площадь съежилась, высокие огни стиснули ее, заслонили здания. Реклама громоздилась на рекламу, слишком цветастые и яркие, и к тому же еще на крохотном пространстве. Как плохие декорации, как безвкусное изображение капиталистического города. Впадающие на площадь улицы выглядели вполне пристойно: широкие, с истинно роскошными витринами, освещенные ярко, но без назойливости. На Пикадилли же Лондон слегка пародировал себя. Все было так, как в самых халтурных очерках. Он горел, как штамп, как клеймо стандартного представления о капитализме.

В такт огням площадь засуежилась. Ярмарочная эта мельтешня была чужой, не свойственной городу, в ней слышалась одышка. Значит, это и были прославленные огни Пикадилли. Помню, как я был разочарован и обижен. Уж Лондон-то мог расщедриться на что-либо пограндиозней. От центра имперской столицы пахло жареными семечками и галошами. Пожалуй, в «Пикадилли» моего детства киношный капитализм выглядел внушительней, ярче, сказочней.

К нам в загородку, с некоторой опаской, держась кучно, зашли американцы. Они стали обозревать битников, снимать их, осторожно заговаривали с ними. Двое полицейских на всякий случай подошли поближе.

Девушка, отдохнув, снова принялась меланхолично расчесывать шевелюру своего друга, он сидел так же безучастно. Цветные отсветы огней скользили по его застылому лицу. Загадочная бессмысленность этих действий томила меня. Что-то ведь должен был означать этот нелепый ритуал. Битник в трусах расстелил матрасик и улегся спать на ступеньках. Появились еще несколько странников с тьюфячками, кажется французы. Была там еще гречанка в сандалиях, несколько итальянцев. Похоже, что под алюминиевым Эросом скрещивались транзиты международных битников. Они иногда охотно отвечали американцам, иногда отмалчивались, но без злости, и это тоже путало. Спутники мои давно покинули меня, а я все не мог оторваться от девушки, расчесывающей волосы. Я искал какого-то объяснения. Мне нужен был смысл, я не мог примириться с абсурдом. Но именно абсурдность притягивала, заставляла ждать.

— Родители? — сказала существо в халате. — Родители все равно что полиция — это правительство, это власть.

Они нравились ему, чужие формулы, придуманные, в сущности, теми же родителями, взрослыми знатоками молодежных проблем. Если б я сам мог что-то понять в этой картинке без конца и начала!

«Нет, Лондон — это не битники, — отчаявшись, утешил я себя. — И не огни Пикадилли. И даже не Оксфорд-стрит. Так же как Ленинград — это не мальчики на углу Невского и Литейного и не кафе «Север». Нет, Лондон — это совсем другое. Да, — доказывал я, — Лондон — это не кабачки Сохо, и не Тауэр, и не Гайд-парк». Я перечислил почти все, что видел, и мне стало легче.

Я шел мимо раскрытых дверей всевозможных ресторанов — на столах горели свечи, двигались официанты в чалмах, официанты в ковбойских костюмах. На стеклах лучились искусно сделанные следы пуль. Рестораны китайские, итальянские, мексиканские, а между ними бары — спортивные, охотничьи, бары художников, бары матросские. Нет, это еще не Лондон, повторял я себе. И вообще весь район Пикадилли и Сохо — нетипично и нехарактерно, решил я для простоты.

Крики вечерних газетчиков затихали позади, исчезали прохожие, исчезали нищие, пиликающие на скрипках.

Я уходил в пустынные улицы. Под белым, холодным светом огромных витрин изредка стояли люди. За стеклами тоже стояли люди. Прекрасно одетые мужчины и женщины. В декорированной глубине витрин разыгрывались целые сцены. Манекены сидели, лежали, обнимались. Они шли с зонтиками, накинув полосатые плащи; падал снег, и они кутались в меха; стояла старинная, стильная мебель, и они были в вечерних туалетах: сиреневые тона, золотистые тона, черно-белые. Лаковый блеск туфель, сотни разных моделей, тысячи туфель любых цветов и фасонов.

Безлюдье обнажало богатство и обилие витрин. Нельзя было представить себе, что все это можно поглотить, надеть, примерить, употребить. Слишком много всего. Некогда было выбрать, невозможно остановиться, следующая витрина тащила к себе, и не было им конца. Уже не успеть о чем-то подумать, что-то почувствовать, насладиться, надо было спешить дальше вдоль строя витрин, смотреть еще, еще... Бесконечный коридор слепящих витрин заглатывал. Это был тоже абсурд. Где-то под алюминиевым Эросом девушка в драной тельняшке водила гребнем. Круги абсурда словно расходились по ночному городу. Сделав усилие, я круто свернул куда-то к району Кенсингтона.

Спускался туман. Жидковатый мелкий туманчик, совсем непохожий на знаменитые лондонские туманы. Вообще с туманами в Лондоне стало туго, это был единственный туман, который достался на мою долю. Светили желтые фонари. На этих улицах отсутствовали магазины, здесь стояли четные дома, было пусто, тихо, изредка проносились желтоглазые машины.

Все дома были одинаковы. Я видел уже немало таких улиц, составленных из примерно одинаковых домов, порой неразделенных, вплотную сомкнутых в один дом длиной в километр или больше, через каждые три окна — подъезд с колоннами, и по другой стороне улицы тянется тот же зеркально отраженный дом. Но тут я увидел ее иначе. Чем-то она меня привлекла, что-то тревожило меня в этом монотонном, усыпляющем повторе. Я свернул на другую улицу. Она состояла из похожих трехэтажных белых домов с круглыми балкончиками над парадными. Масляная краска колонн влажно блестела. Жирный блеск дробился далеко, теряясь в тумане. На ступеньках стояли пустые молочные бутылки. Где две, где одна. Да еще разными были ярко

начищенные молотки-ручки на дверях. И сами двери иногда различались. И цветы на окнах.

За одним окном светился голубой экран телевизора. Сквозь щель занавесок виден был мужчина в кресле с газетой и рядом, на скамеечке, женщина с распущенными волосами. Снизу, сбоку шел теплый, розовый свет. Я вытянул шею, заглянул — там горел камин, вернее, не горел, а светился раскаленными электрическими спиралями. Через несколько домов — снова розовый свет, в высоком кресле сидел мужчина и рядом женщина, на большом экране телевизора шла та же программа.

Мы встретились глазами с женщиной, и я узнал ее. Несколько лет я разыскивал ее. Повсюду — в поездах, в театрах, в разных компаниях. Спустя минуту тихонько стукнула дверь, я не оборачивался, я шел вперед, она нагнала меня. На ней был широкий берет, полосатый модный плащ, поднятый воротник скрывал ее лицо. Мы быстро удалялись от ее дома.

Нет ничего лучше рассказа, который еще не написан. Пока рассказ не написан, он кажется великолепным и значительным. У каждого писателя остается много вещей, которые он не успевает написать. Я долго откладывал рассказ про нее, потому что не мог найти город, где это произошло. История не давала мне покоя своей обыденностью. Эта женщина была замужем и полюбила другого. Уходила она к нему нелегко. Развод для нее оказался сложнейшей затеей (особенно в Англии), да и, кроме того, всегда нелегко уходить от человека, который виноват лишь в том, что его больше не любят. В любых странах это нелегко. Но она сумела все преодолеть и переехала к тому, другому. Прошел год. Однажды туманным вечером она возвращалась домой. У подъезда она остановилась в сомнении. В тумане дом показался ей точно таким же, как и тот, где она жила с первым мужем. Белый дом с балкончиком. И две пустые бутылки для молочника. И свет телевизора в окне. Она вошла. В передней стоял такой же зонтик с бамбуковой ручкой, какой был в ее прежней жизни, и висел тот же плащ-болонья и черный котелок. Муж сидел в кресле, развернутая газета скрывала его лицо. Газета была той же самой, горел такой же электрокамин.

Ей показалось, что она никуда не переезжала. Может быть, она ошиблась домом? Я взял ее под руку, мы стали заглядывать в чужие окна. Вначале она про-

тивилась. Она была воспитана в строгих правилах английской деликатности и никогда не интересовалась своими соседями. Я уже отведал эти правила. Возле нашего отеля была маленькая старинная пивная. Там встречались одни и те же люди. Мы заходили туда, незнакомцы, иностранцы, однако никто не докучал нас любопытными взглядами и тем более расспросами. Это не было невниманием или равнодушием. Это была именно деликатность — прекрасный английский обычай, благодаря которому мы чувствовали себя свободно и просто.

— Вот мой дом, — сказала она. Но я не остановился, и мы миновали еще несколько домов.

— И этот, — сказала она тише.

У такого же камина, в таком же кресле снова сидел ее муж и рядом она сама. Сцена повторялась, как в зеркальном коридоре, бесконечный ряд отражений сопровождал нас. Всюду появлялось одно и то же. Ничего не менялось. Был ли смысл уходить от одного к другому? Все мужья сидели с газетами, следили за скачками, ставили на ту же лошадь, смотрели ту же программу, произносили те же фразы. Они не видели друг друга и не знали, что, одновременно встав с постели, включают ту же бритву «Филлипс», съедают овсяную кашку, выпивают чай с молоком, целуют ее и садятся в свои кресла. Каждый из них гордился своей независимостью. А где же был тот, что стоял между зеркалами и чьи движения они повторяли? Его не было, он давно ушел, исчез.

Мы остановились. Глаза ее стали большими, блестящими, в их глубине я вдруг увидел женщину, с которой я расстался давно, — может быть, вечер был такой же серый, а может, все женщины в такие минуты похожи. Я знал о ней все. И про эту я знал все, поскольку она была из моего рассказа. Единственное, чего я не знал, — как ей быть. Я никогда не задумывался над этим. Меня занимала сама ситуация, положение, в котором она очутилась. Но теперь я слишком многое вспомнил, я сам очутился в своем рассказе и не знал, что посоветовать, как помочь ей. Оказалось, что рассказ не имеет конца. Она ждала, я молчал. Тогда она улыбнулась неожиданно спокойной улыбкой красавицы с журнальной обложки. Стоит ли огорчаться? Если все так одинаково живут, то, может, так и надо. Чего искать? И где искать?

Она попрощалась и ушла.

Навстречу мне выползали все те же дома той же Кингс-роуд, а может, Интон-сквер, а может, и еще какой другой улицы. Им не было конца, этим прелестным, таким уютным, таким крашеным, начищенным, удобным, продуманным, стриженным. Как будто я прожил здесь целую жизнь, трудолюбивую, свободолюбивую, добропорядочную. «Работать — значит молиться», «Достойный всяческого уважения», «Не будь первым, чтобы испытать новое, а также последним, чтобы отбросить старое», «Англия ожидает, что каждый исполнит свой долг», «Мой дом — моя крепость». А какую другую жизнь я, спрашивается, хотел? Полезная, честная... Но, представив ее, в этом зеркальном повторе я ощутил желание взбунтоваться. Лишь бы как-то выскочить из шеренги этих благостных казарм. Как угодно, но я другой, я отдельно! Нацепить на себя дурацкий колпак с бубенчиками, повесить на шею череп, дохлую кошку!

Из-за угла, помахивая зонтиком, вышел низенький господин в клетчатом пальто и золотых очках.

— Послушайте, — сказал я. — Сыграемте на все это. — И я показал на всю улицу и на весь Челси и вынул шиллинг. Вместо орла там были львы и вместо решки — Елизавета.

Господин выбрал решку.

Я подкинул монету. Выпала решка. Я кинул снова. Снова решка. Я кидал ее по-всякому, и все равно она падала решкой вверх. Господин в очках несколько не удивился. Он вежливо поднял котелок:

— Sorry!

В полночь я вышел на какую-то площадь, маленькую, круглую, окруженную кольцом все тех же одинаковых домов. Будь у меня тюфячок, я был растянулся на нем посреди площади. На какую-то минуту я позавидовал битникам. Конечно, я бы мог лечь и так, но мне жалко было новенького костюма. И потом в гостинице у меня был номер с телевизором и периной.

Утром я принял душ, побрился бритвой «Филлипс» и, расчесываясь перед зеркалом, вспомнил ту парочку на Пикадилли и уличающе усмехнулся. «Битники — это не способ борьбы, не выход, битники никак не отражают социальных устремлений английской молодежи». Все опять стало просто и понятно, как овсяная кашка, которая ждала меня внизу в ресторане.

СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ

День был воскресный, никаких развлечений не полагалось, потому я так обрадовался, увидев оживленные сборища вдоль ограды Грин-парка. На железных прутьях висели картины. Яркие холсты тянулись по всей решетке Грин-парка и дальше переходили на решетки Гайд-парка. Я спрыгнул с автобуса и пошел по этой уличной галерее. Нечто подобное я видел в старых кварталах Варшавы, там тоже по воскресеньям молодые художники выставляют свои картины на крепостной стене. Но здесь были совсем иные масштабы, здесь художники развесили тысячи картин, холст за холстом висели вплотную в несколько рядов, стояли на тротуаре километрами, это было какое-то столпотворение живописи.

Втайне, в глубине души, я надеялся: сейчас, мол, я увижу самый что ни на есть модерн, бунтарей, которых нигде не принимают, не признанную в салонах живопись, подпольные таланты.

На железных оградах были и впрямь представлены все модные направления. Тут были абстракционисты, сюрреалисты, супрематисты, поп-арт, ташисты, неодадаисты...

Выбирай любое, под Марке, под Шагала, под Сальвадора Дали, Миро... Желаете рисунки, гравюры, акварели? Цены умеренные. От десятка шиллингов до двух десятков фунтов. На каждой картине цена. Тут же пребывали продавцы, они же и творцы. Молодые бородачи, и старые длинноволосые мэтры, и разбитные зывалы, и пожилые, усталые женщины, похожие на домохозяйек.

Один торговал ночным Лондоном разных размеров, но одинаково синим с одинаково желтыми кругами света. У другого преобладали пейзажи с оранжевыми кустиками. У третьего — голые девицы, шагающие по улицам с сумочками в руках. Романтическая пустыня с караванами. Композиция из старых газет, наклеенных на холст вперемешку с цветным тряпьем.

Попадались вещи любопытные, для меня непривычные. Например, прикрепленные к грубой ткани плоские модели старых автомобилей. Сделанные из медного листа, сваренные, они представляли нечто вроде барельефа, но, конечно, это был не барельеф. Наверное, такая техника имела специальное название. Профили

старых, давно забытых первых «рено», «оппелей», «бьюиков», «фордов» — еще похожие на экипажи, с высокими колесами, высокими кузовами. К искусству картины эти имели косвенное отношение, тут больше значило мастерство, технология. Сами очертания, детали старых машин были приятны. Наивность первых моделей приобрела, оказывается, какую-то эстетическую ценность. Во всяком случае, эти изделия были по своему красивы.

Сидя на складных стульях, художники-портретисты, не теряя даром времени, рисовали желающих. Попозировав каких-нибудь полчаса, вы могли получить свой портрет, сделанный красками или карандашом. Портретисты пользовались успехом. Любопытные завороженно следили за их лихой работой. Кроме портретов наибольший успех имели аляповатые, ярко написанные букеты, идиллические замки с лебедями, томные красотики, гуляющие в неких аркадиях, кошечки, собачки.

Толпились перед пейзажами с румяными пастушками, парочками, плывущими в чем-то вроде венецианских гондол. Картины эти были той же школы, что продавались у нас на ленинградской барахолке в пятидесятые годы, пошлость того же размаха и мастерства.

И сейчас еще кое-где в провинции на базарах наши отечественные халтурщики не уступают лондонским. Они с успехом могли бы привозить сюда свои произведения и зарабатывать нашей стране валюту. Пошлость, очевидно, явление международное, а может, и космическое. Но если по качеству наши базары могли конкурировать с этой лондонской продукцией, то по количеству мы безнадежно отстали. Размах тут был гигантский.

Я шагал и шагал, не было конца этой мазне. Лишь изредка мелькало что-то подлинное, еще не затоптанное в этой рыночной давке. Среди этой процессии бездарностей оно особенно радовало глаз.

Однажды меня остановила серия картин с голыми девицами. На каждой в разных, грубо вызывающих позах была изображена голая женщина. Лежала, раскинув длинные ноги. Стояла, поддерживая руками свои большие груди, улыбалась и так и этак. Прическа пышная, прическа гладкая, волосы распущенные. Не сразу я понял, что на всех картинах одна и та же натурщица. Мастерство было в сплошной чувственности, которая вплотную приближалась к порнографии, однако не переходила в нее. Смотря картину за картиной, я вдруг

увидел между ними ее живую, она стояла, прислонясь к решетке, низенькая, грудастая, в кожаном коротком пальто, большие губы ее были так же полураскрыты, и глаза смеялись, подтверждая. Я смутился, как будто высмотрел что-то недозволенное. Тем более что рядышком сидел, листая газету, сам художник — муж ее либо дружок, молодой парень в толстом свитере и плисовых штанах. Однако почему я должен был смущаться, если они не смущаются? С какой стати!

Рядом со мной остановились двое пожилых англичан. Они, прищурясь, оглядывали, сравнивали живую и ту, на картинах. Натурщица чуть запрокинула голову, заулыбалась, поглаживая себя по грудям, обтянутым черной кожей. Да, сходство с натурой было безупречное, единственное чего не хватало — этикетки с ценой. Даже на англичан цинизм этого соседства произвел впечатление, и они купили одну из картин.

Наиболее невыносимым оказался здешний абстракт. Никогда абстракт не вызывал во мне такого протеста, как этот дешевый, изготовленный уличными шарлатанами на любой вкус или на любую безвкусицу. Уж лучше были кошечки, цветочки, замки, собачки — по крайней мере без притворства, по-своему честная пошлость. В абстрактных же полотнах — а их было не счесть — выдавалась за передовое, модернистское искусство откровенная, бесстыдная поделка. Расчет был простой — на дурака. Дурак ведь как считает? Абстрактное — это то, что непонятно. В абстракте дуракам не отличить, где кончается талант и начинается спекуляция. Рыночный абстракт готовился по коммерческому закону — невежд в искусстве всегда больше, чем знатоков, писать выгодно для невежд, для тех, кто покупает такие картины под цвет обоев, под желание быть на уровне, чтобы все, как у «образованных», у «богатых». А раз так, вали кто во что горазд. Изощрялись, как бы поразить воображение. Впрочем, и не очень-то изощрялись. Накладывались краски хорошо разложившегося трупа. Разнообразие цвета и формы помойки. Меня считали кретином — вот какое чувство у меня было, — легковерным лопухом, который должен принимать их за непризнанных гениев: завтра или через год, через десять лет это фруктовое полотно будет стоить тысячу фунтов. Было же так с Миро, и Модильяни, и с Ван Гогом.

Другие и не собирались притворяться. А чем их мазня отличается от того же Миро? Или Поллака? Или

прочих знаменитостей? Докажите! И все они одинаково презирали простаков, которые покупали их картины.

Некоторые с обезоруживающей усмешкой развесили рядышком свои беспомощные пейзажи, и супермодный абстракт, и полотна с пришитыми спичечными коробками, пуговицами, заляпанными выдавленной из тубиков краской. Что угодно для души.

Было время, когда абстрактная живопись меня привлекала. Я находил в ней свободу домысла, фантазии, ту вольность чувств и настроений, какой мне не хватало в традиционной живописи. Симпатия к абстрактным картинам поддерживалась и чувством протеста — я не желал, чтобы мне в живописи разрешали любить то и не любить это. Рассматривая картины абстракционистов в заграничных музеях, я не обнаруживал в этих мазках, знаках, пятнах пропаганды. Многие оставило меня равнодушным, какие-то вещи мне нравились, возбуждали воображение неожиданностью сочетаний, были просто красивые, а было и совсем непонятное.

Прошло несколько лет, страсти остыли, и тут у меня произошла собственная размолвка с абстракционизмом.

Случилось это в Австралии. Как и положено впервые приехавшему в незнакомую страну, я добросовестно посещал картинные галереи Сиднея, Мельбурна, Аделаиды. Мне хотелось с помощью художников лучше увидеть и понять эту страну. Уловить дух ее полей, пустынь, увидеть ее людей — первых поселенцев, скваттеров, пастухов, почувствовать быт, характеры, историю, культуру. Мне хотелось получить примерно то же представление о стране и ее искусстве, какое получает чужестранец в Третьяковке, в Русском музее. Не тут-то было. Большую часть экспозиции занимали абстрактные картины. Такие, как висят в музеях Парижа, Роттердама, Стокгольма. Ничего национального в этих австралийских подтеках и кляксах я не мог высмотреть. Где-то в запасниках хранились картины старых мастеров Австралии, но для них не осталось места. Вот когда я ощутил иссушающую бесчеловечность абстракционизма. В нем было ничто. Пустота, которую никакая моя фантазия и воображение не могли заполнить.

Я представил себе полную победу абстракционистов, залы музеев мира, увешанные этими цветными пятнами. И ничего другого. Мир, разбитый на осколки, потерявший человека, смысл, связь. Я разозлился.

Нет, не согласен, сказал я, хватит! Сколько можно!

Второй, а может, третий километр брел я вдоль уличной лондонской картинной барахолки. Плохие художники есть в каждой стране, но я не представлял себе, что их может быть так много. Ноги у меня гудели. Ничто так не утомляет, как посредственность. Да, это была свобода, захваченная ремесленниками. Парад поддельщиков, приспособленцев, а то и просто пачкунов. И происходил он тут же, вблизи Национальной галереи, неподалеку от Тэйт-галереи — великолепных музеев мирового класса.

Конечно, были там и способные художники, которые вынуждены зарабатывать на хлеб у решеток Гайд-парка. Для них благо, что существует такой воскресный торг. Я говорю о самом общем впечатлении. Бездарности, когда они вместе, могут заслонить любой талант. Уже не хочется ничего смотреть. Не веришь, что появилась хорошая кинокартина, что в этом сборнике может быть хорошее стихотворение.

Мне вспомнилась и наша одна давняя выставка — пустынные залы, огромные полотна с одинаково радостными колхозницами, сталеварами, гидростроителями, фрезеровщиками, детьми, и все красивые, все могучие, все на фоне, целеустремленные, счастливые. В книге отзывов я прочел такую запись: «Нам очень понравилась выставка. В залах культурно, никто не толкает, спасибо администрации. Экскурсия слепых».

— Рабиш, — произнес кто-то.

— Рабиш, — повторили в другом месте.

По-английски это означает «халтура». Оказывается, и англичане нуждались в таком понятии. Во времена Даля «халтура» толковалась как даровая еда, пожива. К живописи его не применяли. В живописи тогда было, очевидно, проще: или умеешь рисовать, или не умеешь. Талант был недосыгаем для имитации. По крайней мере так сейчас кажется. Бездарности даровую еду добывали другими способами.

В музее Глазго Миша А. остановил меня перед круглой картиной Филиппо Липпи. Смотреть картины с Мишей было всегда интересно. Как бы я ни любил живопись, никогда я не сумею видеть ее так, как видит художник.

— Ты замечаешь, — Миша показал на плащ Мадонны, — вот тут Липпи передумал, сначала он давал синий, а потом голубой. А какие мазочки! Еле-еле. То-

ленькой кистью! — Восхищаясь, он повторял движения Липпи. — Посмотри, завитками, завитками.

Он сиял. Одно из самых поучительных зрелищ — мастер, который рассматривает работу другого мастера. Встречаясь, они свободно перешагивают столетия. Мастерство — как он делал, как он сумел — вот что они умеют высмотреть друг у друга.

У некоторых картин Миша вынимал блокнот и начинал срисовывать. Наспех, карандашиком. Зачем? Внизу можно купить красочные репродукции. Нет, оказывается, это не заменяет. Ему надо было рукой почувствовать, потрогать каждую линию. И кроме того, рисуя, иначе запоминаешь.

Мы стояли с ним перед пейзажами Сальватора Розы, и он рассказывал когда-то слышанную им легенду.

Замечательный итальянский художник Сальватор Роза, в молодости странствуя, попал в руки разбойников, сдружился с ними и стал чуть ли не их предводителем. Однажды они остановили на дороге экипаж, выволокли оттуда красноликого толстяка в расшитом мундире. Пассажир яростно отбивался, угрожая именем эрцгерцога. Сальватор Роза спросил его, кто он такой.

«Я художник, — сказал толстяк. — Я Рубенс!»

«Вы Рубенс? Великий Рубенс?» — Сальватор Роза снял шляпу и опустил перед фламандцем на колени.

Как бы там ни было на самом деле, легенда была хороша. Так могло быть, перед Рубенсом можно было опуститься на колени. Прекрасно, когда живут художники, перед которыми можно склониться.

В зеленой полутьме блестел ручей, нависали темно-зеленые купы деревьев, вечер спускался на горы Калабрии. По лесной дороге, опустив голову, ехал всадник. Со всей явственностью я представил на фоне этого диковатого пейзажа Сальватора Розу, его самого после встречи с Рубенсом.

А потом, в Лондоне, мы ходили по залам Тэйт-галереи и смотрели современное искусство, ультрасовременное. Натянутые на тонких, невидимых нитях зеркальца двигались, перекидывая цветные лучи света. Висели, чуть колышась, легкие черные прутья. Смещаясь, они пересекались, создавая прихотливый рисунок. В большом ящике крутились пестрые осколки, напоминая калейдоскоп. Кружились соединенные с электромоторчиком рваные металлические поверхности. На стене висела некая ребристая поверхность, и, стоя пе-

ред ней, надо было чуть шевелить головой — тогда полосы хаотически налезали друг на друга. Сооружения эти не имели никакого отношения к живописи. То были остроумные игрушки, производящие механические, оптические и прочие эффекты. Они не требовали умения рисовать, пользоваться кистью. Требовались воображение и выдумка техников или дизайнеров. По-своему они были красивы, но такой красотой обладают модели кристаллов, длинных молекул, печатные схемы транзисторов, биологические препараты.

В соседнем зале, среди картин десятых — двадцатых годов, мне издали бросились в глаза несколько маленьких картин. Что-то было в них отдельное, несхожее с остальными картинами. Я подошел ближе. Русский солдат в белой рубахе сидел на белом коне. Синий фон делал картину чем-то похожей на лубок, но это не лубок, все было просто, ярко и доверчиво, как на детском рисунке. Дальше висела «Прачечная», затем «Осень», «Весна»; Михаил Ларионов, прочел я, и на других — Наталья Гончарова.

Фамилии эти я слышал давно, попадалось мне несколько фотографий этих картин, но сами картины я увидел впервые, вот здесь, в Лондоне. Несколько лет назад, также за границей, я впервые увидел картины Шагала, Малевича, Лисицкого.

Одна из лучших галерей мира считала украшением своей коллекции Наталью Гончарову и Михаила Ларионова, и я, естественно, испытывал гордость, и в то же время чувство это было отравлено. Почему, спрашивается, я должен любоваться картинами многих наших русских художников в зарубежных музеях, а не у себя дома? Я представил себе выставленное в этих залах наше молодое искусство первых лет революции, во всем его разнообразии — Татлина, Филонова, Кончаловского, Фалька, Кузнецова, Штернберга, Шагала, Кандинского, Григорьева — их поиски, находки, открытия, представил себе, как сразу сместились бы все оценки. Миру открылось бы, как много создало великолепного наше молодое искусство, стало бы ясно, что все лучшее начиналось уже тогда и было смелее, талантливей, интересней. Всякие американцы и прочие шведы ходили бы по этим залам, ахали и завидовали.

Я мог себе это представить, вспоминая, как ахали мы сами, когда впервые после многих лет открылась выставка Петрова-Водкина.

Картины вытащили из запасников, и они постепенно приходили в себя. Один старик-реставратор сказал мне, что краски портятся в темноте, без света. Но еще больше картины портятся оттого, что на них не смотрят человеческие глаза. От взглядов картина молодеет, она держится. Я сам замечал нечто похожее в запасниках, где самые лучшие картины пожухли, поблекли, покрылись каким-то сероватым налетом забвения.

Однако люди стареют быстрее. Многие мои сверстники так и не успели увидеть Петрова-Водкина и не увидят других художников Революции, которых когда-нибудь извлекут из запасников, освободят и вернут в залы музеев.

В просветах между картинами зеленела трава Гайд-парка, там ходили люди, счастливые и беззаботные, свободные от проблем живописи. Мир разделился на две части — по ту сторону решетки и по эту. Я хотел быть по ту сторону.

Я вошел в Гайд-парк. Великое множество картин обернулось ко мне чистой изнанкой холстов. Светло-серые, коричневые прямоугольники прильнули к решеткам, глядя на кусты, на деревья — извечные и прекрасные изделия природы.

В глубине парка, на какой-то лужайке, я бросился на траву, вытянул усталые ноги и с наслаждением усталился на серо-голубое небо, пустое, легкое, без единого мазка облаков.

Покой медленно нисходил на меня. Я помирился с Гайд-парком. Он предстал передо мной заповедником естества и подлинности.

Живописцы остались за решеткой. Не играла музыка. Не было никаких аттракционов, качелей, тиров, буфетов, танцевальных площадок, каруселей, читален, а были только лужайки, трава, пруды, ничто не мешало их видеть, и от этого они казались натуральней, красивей, и люди тут были натуральней. Люди лежали, сидели на траве, скинув обувь, свободные от жажды развлечений и уличной тесноты. Несколько квадратных километров природы посреди города.

Меня окликнула знакомая из нашей группы. Она тоже устала и села рядом на шезлонг. Я предложил ей снять туфли, но она постеснялась. Это была славная женщина, веселая, милая, начитанная, но тут ей что-то мешало. Я лежал, закинув ногу на ногу в одних носках. Она ничего не сказала мне, однако я чувствовал, что ей

не нравится моя вольность. Она дала понять это мне через несколько минут, указав на лежащую неподалеку парочку, — кажется, они обнимались и целовались. Никто на них не глядел, и я тоже избегал смотреть в их сторону.

— Все же так нельзя. Здесь общественное место, — сказала она.

— А почему это вам мешает? — спросил я, веселясь, потому что я не желал вести серьезных разговоров.

— Нет, нет, не смейтесь, вы же не станете целоваться на виду у всех?

— Смотря с кем.

— Перестаньте, — попросила она, морщась. — Неужели вас не коробит?.. — Она показала на парочку.

— А я не смотрю. И вам не советую. Если вы будете указывать на них пальцем, вас может оштрафовать полицейский.

— Вы серьезно?

— Недавно одного туриста оштрафовали.

— Значит, тут и закон на их стороне? Ну разве это не позор? Вот вам и нравы.

Я сел, обхватив колени руками, мне хотелось видеть ее лицо.

— А где, по-вашему, можно целоваться? В парадном — это как, более нравственно?

Она мило покраснела.

— Во всяком случае...

— Так вот, с парадными, если вы обратили внимание, в Англии туго. То есть парадных много, но они все закрыты. Они в большинстве личного пользования. Частная опять же собственность.

— Но с какой стати я должна терпеть это зрелище в парке? Меня это оскорбляет. Если рассуждать так, как вы, то все можно. Что же тогда, по-вашему, распущенность?

— Хорошо, — сказал я. — Допусим, мне тоже неприятно. Но почему наши с вами вкусы должны служить нормами нравственности?

— Вы забываете про детей! Какой пример для детей?

— Дети должны гулять с родителями.

— Слава богу, что у вас нет власти, а то бы вы и у нас разрешили, и без того у нас хулиганят.

— Ага! — сказал я. — Попались! У нас не разрешают, а хулиганство есть. Может быть, эти вещи и не связаны, а может, и вообще все совсем наоборот.

— То есть? — Но тут она с досадой махнула рукой: — Вас не переспоришь. Я знаю, вам самому не нравится, но вы хотите выглядеть современным. Как же, Запад! Небось и этот подзаборный абстракт вы не осуждаете.

— Вот и не угадали!

— Ага!

— И все же запрещать не стоит,— сказал я совершенно честно.

— Но ведь есть же вещи...

— Наверное,— сказал я,— наверное есть. Впрочем, кое-что лучше попробовать самому. Вот, например, помните, как ругали жевательную резинку? А я купил двадцать пачек. Прекрасная штука. Вместо сигарет. Отвыкаю курить.

— Это не пример.

Я надел туфли, встал. Мы пошли. Пройдя несколько шагов, я остановился, обнял и поцеловал ее.

— Это тоже не пример,— жалобно сказала она.

ЗАГОВОРЩИКИ

У Эдинбургского замка стоял шотландский стрелок в клетчатой юбке. Перед ним стоял я, погруженный в тупое и упорное раздумье. Поверх юбки стрелка на самом, можно сказать, срамном месте, висел большой белый кошелек. У всех часовых висели такие кошельки, и перед каждым часовым я застывал, мучимый загадкой, для чего нужен солдату ридикуль. Это звучало как неотвязный мотив: «Зачем солдату ридикуль?.. Зачем солдату ридикуль?..»

Туристская Шотландия состоит прежде всего из замков, клетчатых пледов и Марии Стюарт. Ничего плохого в этом нет. Каждая страна, каждая местность должна иметь свой экзотический стандарт. Например, Псков славится снетками. Наверное, ни в одном ресторане мира нельзя получить снетки, тарелку сушеных снетков, щи со снетками, а в Пскове можно, и это хорошо, так же как хороша наша деревенская баня с березовыми вениками, половики, вышитые полотенца, так же как шотландская клетчатая юбка, клетчатые ковры, цветная клетка, которой расчерчена вся Шотландия, ее отели, переплеты книг,— все здесь клетчатое.

— Зачем солдату ридикюль?

— Сразу видно, вы никогда не носили юбки,— сказал мне солдат.— Карманов-то нет!

Это было так просто, что я покраснел. Казалось бы, элементарная задача перевоплощения — представить себя в юбке, и сразу должно стать ясно. Зачем женщине ридикюль, затем и солдату ридикюль. А еще писатель! Всю жизнь меня угнетает неисчерпаемость того, что должен уметь писатель, знать писатель, видеть писатель. Проклятая профессия! И все равно где-нибудь тебе воткнут: а еще писатель!

...Но больше всего в этой туристской Шотландии было Марии Стюарт.

Трудно представить себе, сколько эта женщина успела создать памятных мест. Такое впечатление, что она специально работала по заказу туристских компаний, торопясь из замка в замок, чтобы посидеть в заточении, устроить заговор, убийство, взрыв, покушение, побег. Не просто нагромождение событий, не просто жизнь, а сюжет, построенный по лучшим правилам детектива или по образцу лучших детективов. Как угодно.

Вот шкатулка с уличающими письмами, вот любимые вышивки. Здесь жили ее кошки, отсюда выволокли секретаря королевы Риччио, здесь его убили, тут было пятно крови, там его похоронили.

Девушка-гид, стройная, как ранняя готика, до сих пор, то есть четыреста лет, взволнована до слез судьбой Риччио. Ее волнение передается нам. Бедный Риччио! Подумать только, мы-то о нем и знать не знали. Мы охотно расстроились, мы ахали и вздыхали, чтобы наверстать упущенное, мы принялись записывать драгоценные подробности, задавать вопросы, уточнять, переживали, толпились, разглядывая кресло, за которым прятался Риччио, четырехсотлетние несмываемые пятна крови на деревянном полу. Пятьдесят шесть ударов кинжалом нанесли ему. Кто-то подсчитывал. Опечаленные глаза наши устремляются к портрету Риччио — впрочем, выясняется, что это не Риччио, а Дарнлей — муж Марии, который убил бедного Риччио, а его, в свою очередь, убила бедная Мария.

Долго еще этот Риччио преследовал нас, как призрак появляясь среди улочек Эдинбурга, где-то в горах, в часовнях. Но наконец и он отстал, уступив место новым мужьям Марии и ее сопернице Елизавете. Католики

резали протестантов, протестанты казнили католиков. А вот баня, где Мария купалась в молоке, и еще замок, где кто-то и что-то с этой Марией...

Поколения гидов кормятся похождениями королевы, поколения туристов увозят торопливо исписанные блокноты. Без этой изукрашенной романистами, драматургами истории Марии Стюарт замки смотрелись бы хуже, и турист не стал бы карабкаться в гору и по крутым лестничкам: турист хочет переживаний.

Лично я переживал всюю. Мне приятно было верить в эти рассказы. Я люблю быть обманутым, когда обман ничего не преследует, кроме удовольствия. Какое мне дело, справедливы ли эти предания, анекдоты о великих людях, подлинны ли ветхие кресла и гусиные перья? Если спектакль хорошо поставлен, то стоит ли портить себе впечатление? Можно, конечно, усомниться, скепсис — вещь полезная, только не здесь; ведь как оно было на самом деле, мы все равно не узнаем. Хуже другое: никак не удастся попасть на экскурсию, которую будут водить через четыреста лет. О чем там будет рассказывать такая же девушка-гид, какие анекдоты и легенды, какой сюжет она выстроит из событий нашего времени?

Юбочка на ней была — последний крик: четыре пальца выше колен. Сразу видно, что эта девушка знала все, о чем я лишь мог догадываться.

— Четыреста лет, подумаешь! — сказала она. — Я уверена, что наша фирма уже подготовилась.

Мы улыбнулись друг другу, но я подумал: кто знает, а что, если в сейфах этой предусмотрительной фирмы уже лежат инструкции, методички, отпечатанные тексты и путеводители по Шотландии шестидесятых — семидесятых годов, по историческим местам нашей жизни?

Замки Шотландии прекрасны и сами по себе. Кованный узор ворот, темный камень, зацветший зеленым мхом, а посреди двора газон с травой не просто зеленой, сотни лет ее надо было подстригать, чтобы накопилась такая нерастраченная ярость зелени.

Замки поддерживаются в идеальном порядке. Идут и идут экскурсии, замки работают на полный ход — тяжелая индустрия туристской промышленности.

С каждым замком подозрения мои насчет Марии Стюарт росли. Слишком уж аккуратно сохранилось все, любые мелочи, связанные с злоключениями королевы,

кроме разве что ее любимых кошек. Как будто все было известно наперед, за четыре века приготовились к нашему приходу. Покойница слыла крупнейшим мастером по части заговоров, интриг. Несколько столетий трудились историки, пока распутали этот клубок козней. Однако крупнейший из заговоров Марии остался нераскрытым — это ее тайный сговор с туристскими фирмами.

Англия прелестна тем, что снабдила каждый свой городок знаменитым замком и не менее знаменитым собором, построенным, конечно, в середине века и еще раньше — шедевр ранней (поздней, периода расцвета, периода упадка...) готики (барроко, ампира, «украшенной» готики, «перпендикулярной» готики). Каждый собор имеет, конечно, замечательные образцы скульптуры. Имеются, также обязательно, лучшие, редчайшие, единственные в своем роде, уникальные росписи, залы, картины.

Кроме того, полагается на любой городок несколько памятников и легенд. Распределялись (а вдруг и до сих пор распределяются?) они демократично, так, чтобы поровну, каждому городку по знаменитому человеку. Правда, знаменитостей на всех не хватает, приходится делить, у одних знаменитый родился, у других умер. При этом о потомках заботились, то есть о нас: памятные места раскидывались не где попало, а располагали по удобному маршруту, чтобы не сворачивать и не делать крюков, — так они выстраиваются один за другим, и все в центре — здесь родился Конан Дойл, здесь жил художник Генри Ребери, здесь умер Джеймс Симпсон, который применял хлороформ, затем следует дом Белла — изобретателя телефона, дом, где женился еще один корифей, и дом, где один основатель основал...

Соборы и впрямь хороши, и замки красивы. Мы проезжали мимо них с чувством облегчения и грусти. Не помню уж где, в каком-то дворцовом павильончике я увидел отличный автопортрет Рембрандта. Я увидел его случайно и разозлился. Легче было бы, если б в павильоне висели плохие картины. Я представил, сколько мы не успели увидеть прекрасных картин. Но спрашивается: какое количество картин может обозреть нормальный турист? Тысячу? Две? А скульптур? А реликвий? Замков? Соборов? Мы давно отупели. Мы вяло брели сквозь музейные залы, и однажды я заметил, что

мы одурело разглядывали группу шведских туристов. Кажется, мы спутали их с роденовскими «Гражданами города Кале».

Профессиональное заболевание путешественника называется «как бы чего не упустить». Начинается оно с музейной лихорадки: взгляд мутнеет, зрачки бегают, шея вытягивается, движения делаются судорожными и безостановочными, уже некогда разглядывать картины, запоминать, любоваться, важно успеть обежать все залы, все этажи, знаешь, что в голове каша, немислимый клубок из мрамора, дат, полотен, но остановиться невозможно, скорость нарастает, еще галерея, еще фрески, еще шедевры. Наступает отвращение, изжога...

- Какая изжога? Где изжога?
- Почему нам не показали изжогу?
- Какого века?
- Нет, это памятник.
- Кому памятник?
- Изобретателю изжоги памятник...

Мне бы вовремя остановиться, вспомнить ужасную участь своего друга. Когда-то, приехав в Ленинград на один день, он решил зараз осмотреть Эрмитаж и Русский музей. Вернулся он под вечер, бледный, голова тряслась, воспаленные глаза опасно блестели. Он повалился на диван и с нехорошей улыбкой стал оглядывать стены моей комнаты.

— Черт возьми, вот этот зал не успел! — забормотал он. — Так я и думал, от импрессионистов надо было подняться сюда, там была лестница в египетских гробницах, где лежали бурлаки, сделанные из гобеленов, представляешь, такие голубые, и с ними Степан Разин, плывут на этих лоджиях Рафаэля. Ну, конечно, впереди блудный сын, а направо бытовые сцены из жизни камей и мумий, и особенно неравный брак этой коричневой балерины с Леонардо, которого снимают с креста во время войны двенадцатого года, а кругом знамена, знамена, сам Петр вытачивал их на станках голландской школы, во всяком случае, о них писал Александр Пушкин, про саркофаг Александра Невского, чистое серебро, хотя с Левитаном никакого сравнения, но, может, это было в последний день Помпеи? Всего не упомнишь, зато столы, выложенные мозаикой, — как перед глазами, там выложено что-то из золотой кладовой, где голова у меня стала с малахитовую вазу, на великом полот-

не этого симпатичного испанца с фамилией, как у мальчика, вынимающего занозу у этого старика, что ухмыляется...

Больше года ему пришлось приводить себя в порядок. Я сочувствовал, веселился и думал, что уж я-то буду умнее.

ВОСКОВЫЕ ФИГУРЫ

В зале было темно, скрытый свет падал откуда-то сбоку на овальный стол, за которым сидело семь джентльменов. Лица их были хорошо освещены, они смотрели на меня осуждающе, почти недовольно, очевидно, я прервал их разговор. Вильсона я сразу узнал по портретам и осторожно кивнул ему. Он не ответил. Справа от него сидел министр внутренних дел, и остальные господа были тоже министры. Передо мной находился английский кабинет министров.

Я поздоровался. Они не ответили.

Никакого опыта по общению с министрами у меня не было. И никаких полномочий я не имел. Но и упускать случай тоже не следовало.

— Ну что, — осведомленно сказал я, — не сходятся концы с концами, а? — Тут я бил наверняка. — Недовольство-то растет? — И это тоже было безошибочно.

Министры сокрушенно молчали.

— То-то же. — Я воодушевился, но в это время подошел служитель в сизой униформе с золотыми пуговицами и подал мне каталог музея восковых фигур мадам Тюссо.

Я неохотно вернулся к действительности, испытал при этом разочарование, печаль, изумление и восхищение мастерством изготовления этих восковых министров. Жизнь улетучилась от них, осталась искусная работа имитаторов. Даже пушок на щеках имелся, костюмы были помяты, как поношенные, глаза блестели по-разному, отлично сделаны были эти министры. Можно было обратиться к ним с любым запросом, уличить, разнести в пух и прах, высказать им прямо в глаза — и все это за шесть шиллингов.

Следующие фигуры не производили уже такого впечатления. Привыкая, я различал подкрашенный воск лиц, приклеенные парики.

«Музей мадам Тюссо позволяет увидеть ваших героев — Черчилля или Кеннеди, Иоанна XXIII или Ганди, Чаплина или Брэдмена...»

«Мы воссоздали исторические сцены: смерть Нельсона, маленькие принцы в Тауэре...»

Пройдя несколько шагов, я очутился в кругу королевской семьи. Принцессы и герцоги стояли передо мной. Наконец-то я увиделся с королем Норвегии, и королевой Голландии, и королевой Дании, их супругами. Они улыбались мне, я — им. Ах какое общество окружало меня, какие породистые старушки и старички, увешанные орденами, лентами, последние короли Европы! Даже грустно становилось при мысли, что может наступить время, когда ни одного короля не останется на земле.

Сэр Уинстон Черчилль сидел отдельно от этой аристократичной компании, с палитрой в руках, соломенная шляпа сдвинута набекрень. Он писал маслом картину. Перед ним стоял мольберт, на полотне пестрело несколько мазков, замысел картины был неясен. Физиономия его излучала благодушие человека, ушедшего от дел. Я обрадовался, встретив его. Обнаруживая тут кого-либо из знакомых, испытываешь особое чувство, даже если это Макдональд или Эттли. Из памяти выплывали черты, известные по карикатурам, по чучелам, которые несли на демонстрациях. Ответ Чемберлену! Что-то про Керзона. Тут все было сделано с полной достоверностью: точный рост, размер обуви, точный костюм тех лет, более того — из гардероба покойного. Фирма мадам Тюссо сохранит все особенности вашего облика, цвет глаз, форму рук, осанку, брови, только постарайтесь добиться славы. Становитесь полководцем, кинозвездой, папой римским, убийцей, лишь бы достаточно знаменитым.

А вот и Ллойд Джордж. И все же почему-то больше помнилось первомайское чучело, плывущее мимо трибуны Дворцовой площади.

Нельсон мирно стоял рядом с Наполеоном. Кальвин и Лютер. Герберт Уэллс и Шоу. София Лорен и Элизабет Тэйлор. Маршал Тито, Фидель Кастро, Хо Ши Мин. Группа артистов. Группа кардиналов. Чемпионы мира — прославленные спортсмены Джо Дэвис, Кассиус Клей, Сонни Листон. Космонавты. Битлз. Американские президенты. Писатели. И опять короли. Больше всего было королей и королев: Георги, Эдуарды,

Ричарды, Генрихи, Екатерины, Вильямы, Чарлзы. Третьи, Четвертые, Седьмые... Величественные осанки, позы и лица. Какие лица! Ни украшения, ни костюмы не могли скрыть этой «смеси глупости, невежества, похоти, сплина и злобы». Так выразился о них отсутствующий здесь (может, за то и отсутствующий) Джонатан Свифт.

Среди английского королевского дома у меня было несколько знакомых по хроникам Шекспира.

Разумеется, никто из них — ни Ричарды, ни Генрихи — не представляли себе, что они могут уцелеть благодаря пьесам какого-то актера, стать всего лишь сюжетом, поводом для представлений и разных поучительных историй.

«Те свергнуты с престола, те убиты на войне, других посещали души убитых ими, другие отравлены женами, а эти зарезаны во сне. Все умерщвлены. В короне живет смерть. Старая шутиха, она позволяет на минуту разыгрывать короткую сцену царствования, вселять страх, наполнять взор самоуверенностью, будто это тело, служащее опытом жизни,— металл непроницаемый, и наконец, обольстив, приходит, прокалывает крошечной булавкой стены его крепости — и прощай, король!..»

Короли слабоумные, короли — распутники, эпиплеттики, профессиональные палачи, садисты, прелюбодей — кого только тут не было! Номер 299 смотрел на меня тупыми, оловянными глазами. Я сверился с каталогом. Это был Георг III. Кое-что я знал о нем. Главным образом то, что, будучи сумасшедшим, он ухитрился процарствовать пятьдесят с лишним лет. Иногда бывали перерывы: на короля надевали смирительную рубашку. Но под мантией она выглядела незаметно. Легче всего скрывать сумасшедшего на троне.

— Вы писатель? — спросил меня Георг. — Я любил вашу братию. Вообще всякое искусство. Поддерживал. Поощрял. Специальный орден учредил — Минервы. Вот, например, наградил Бити.

— Кого?

— Бити. Поэт. Неужели не слышали? Странно. Я ж его больше всех награждал. А Уэст? Видели его полотна?

— Нет, — сказал я. — Первый раз слышу.

Король задумался.

— Непонятно. Я же объявил его первым художником Англии. А кого ж вы видели из моего периода?

— Простите, ваше величество, вы когда... в некотором роде отдали душу?

— Ежели полностью, то в тысяча восемьсот двадцатом году, — обиженно сказал король. — А в тысяча восемьсот одиннадцатом я окончательно того... Может, и не заметили бы, да я к тому же ослеп, ну и отстранили.

— Ага, ясно. Но в те годы работали замечательные художники. Мне известны такие, как Блейк, Реберн, Констебль, ну и, конечно, Тернер.

— Какие ж они замечательные, — сказал король. — Среди них ведь ни одного кавалера ордена.

— А что касается поэтов, так ведь вы жили во времена великих поэтов — Вордсворт, Колридж, Китс...

— Что значит — я жил! — язвительно поправил меня король. — Это они жили в мое царствование.

И он отпустил меня довольно холодно.

Королева Виктория восседала в кресле, рыхлая, одутловатая, совсем домашняя, вылепленная такой, какой до сих пор ее почитают в Англии. По-видимому, англичанам она больше всего нравится за то, что первая по-настоящему перестала ими управлять. Культ ее стал складываться, когда она отстранилась от всяких дел. Благодарные подданные принялись связывать ее имя с любыми вещами: армия королевы, почта королевы, погода королевы, флот королевы...

И так и этак приглядывался я к ней, ища черты прославленной мудрости. Что-то ведь должно было быть! Но видел я лишь любящую поест, хитроватую, хлопотливую, довольную собой мамашу многочисленного семейства.

— Я и есть та самая «добрая старая Англия», — заявляла она. — И формула «царствует, но не управляет» — это тоже мое. Мое открытие, во всяком случае, я внедрила.

Кто знает, может, в этой обыденности и заключался весь секрет, думал я, подданные иногда мечтают о заурядных правителях, надоедают им «яркие личности» — вожди, тираны и завоеватели.

Многое зависело, конечно, и от мастеров фирмы. У них тоже была своя задача — вылепить так, чтобы посетителям нравилось. А для этого облики королей

и прочих исторических деятелей не должны были расходиться со школьной историей, с картинами, памятными с детства, с фильмами, телепередачами.

Приятно, когда происходит узнавание, даже не совпадение, а именно узнавание.

Короли и королевы стояли на выбор, для любых сказок — с печальным или веселым концом.

Во всех путевых записках принято бранить музей мадам Тюссо. Каждый автор доказывает, что восковые фигуры отвратительны, не имеют никакого отношения к искусству, полумертвецы, натурализм, посещение музея — напрасная потеря времени... Поскольку авторы единомысленны, то приходится подчиняться. Мы привыкли, что все решается большинством голосов. Поэтому я тоже на всякий случай возмущался. Многие специально ходят во всякие заведения, чтобы повозмущаться. Например, ходят на стриптиз, чтобы возмущаться. И в подозрительные кабаре. И я понимаю их. Пока сам не увидишь, и возмущение какое-то не такое получается, нет того запала.

Однако время от времени я забывал про свое возмущение, потому что сама по себе коллекция этих восковых знаменитостей являла любопытную картину вкусов английского, да и не только английского, обывателя. Передо мной была биржа уличной славы. Курс чьих-то акций падал — и фигура удалялась. Звезды экрана гасли, премьеры уходили в отставку, кабинеты сменялись — изготавливали новых министров, паноптикум обновлялся.

По-настоящему я возмутился своим собственным возмущением, лишь обнаружив, что среди примерно четырехсот с лишним фигур не было ни одного ученого: ни Ньютона и Максвелла, ни Роберта Оуэна и Бертрана Рассела. Но тут же я спросил себя: так ли уж мне необходимо видеть воскового, раскрашенного Максвелла?.. -

Поглощенный мыслями о причудах славы, я вышел на светлую лестничную площадку и... остолбенел.

Перед нашим приездом в Лондоне произошло шумевшее преступление: были убиты трое полицейских. Двоих убийц поймали, фотографии третьего, некоего Робертса, главаря банды, были расклеены повсюду с описанием примет. За розыск его обещалась награда в тысячу фунтов. Фотография Робертса приклеивалась нам в метро, на стенах домов.

На лестничной скамейке, подняв воротник плаща, сидел Робертс и читал газету.

«Тысяча фунтов в кармане!» — вот что подумал я, прежде чем что-либо заподозрить. Аршинные заголовки на первых страницах: «Советский гражданин обставил Скотланд-ярд!», «Бдительность Москвы — Робертс схвачен!», «Схватка в музее мадам Тюссо», «Удача или метод?», «Английское правительство награждает...». Мои фотографии, фотографии Робертса и английской королевы. Моя фигура в музее...

Слава была так близка. Если б она не оказалась восковой... Счастье еще, что я не схватил этого Робертса за руку и не повредил доходную шутку музея мадам Тюссо.

Обескураженный, я робко обошел «камеры ужасов», где изображались величайшие преступления и преступники — всевозможные убийцы, отравители, грабители. Там был и Людовик XVI на гильотине, Мария Антуанетта, Человек в железной маске, Мервуд на виселице, Марат в кровавой ванне. Убийцы уныло сидели на электрических стульях и в газовых камерах. Было темно, холодно и скучно. В соседнем зале щелкали автоматы. Механические крикеты, скачки, стрельбы. Десятки автоматов, развлекающих, играющих. Они тоже казались знаменитостями какого-то автовека, продолжением музея мадам Тюссо, так сказать, в будущем. Знаменитые роботы и киберы.

Недавно на одном совещании я встретил знакомого. Оно поздоровался медлительно и величаво. Некоторое время я приглядывался к нему, пытаюсь сообразить, почему он так переменялся. И вдруг понял. Когда-то известный физик, он давно исчез, осталась лишь копия, предназначенная для обозрения и славы. Я вспомнил музей мадам Тюссо и начал замечать и другие такие же восковые персоны. Они сидели на этом совещании совсем как живые, но было в них нечто общее, тайная печать воскового величия, отделяющая их от живых людей. Костюм, ботинки, волосы — все было подлинное, точно по размеру. Фигуры двигались, произносили слова, некоторые даже здоровались, и узнать, что это копии, было не так-то просто.

ТРИНАДЦАТЬ СТУПЕНЕК

Побывав в Лондоне, лучше понимаешь Диккенса.

Можно было бы начать наоборот: прочитав Диккенса, лучше понимаешь Лондон.

Собственно, так оно и было.

Вот он, Блекфрайерс, где работал на складе Давид Копперфильд, а тут была долговая тюрьма Маршалси, а здесь Флит-стрит, Сити, суд, юридические конторы, стряпчие, дело «Бардл против Пиквика»...

Радость узнавания, странный, поразительный процесс соединения запечатленных с детства образов с этими непроницаемыми господами в котелках, в полосатых брюках, входящими в старые дома. «Домби и сын», «Приключения Оливера Твиста», «Холодный дом», «Лавка древностей» — все ожило, задвигалось. Как будто я знал многое про этих людей и знал, что происходит там, в этих офисах, знал этих желчных крючкотворов, этих усталых, бледных женщин. Где-то в толпе, в вагоне подземки слышишь смех Тэпли, идет чопорный господин, похожий на Домби, можно уличающе подмигнуть болтливому Джинглю, увидеть Урию Хипа. Существует целый диккенсовский Лондон, населенный сотнями его героев, с трущобами, торговыми фирмами, судейскими стряпчими, чиновниками, точными адресами, по этому городу устраиваются экскурсии, он живет внутри Лондона, не смешиваясь с Лондоном Голсуорси или Конан Дойла, так же как Петербург Достоевского существует рядом с пушкинским, блоковским.

Диккенс описывает Лондон с точностью справочника. Ничего придуманного или вымышленного. Он не стесняется точно назвать улицы. В его книгах окраины, пристани, тюрьмы, богатые кварталы имеют не только адрес, они изображены со всеми деталями, они списаны.

После Лондона стоит перечитать Диккенса. Появляется множество деталей, тонкостей, до этого неуловимых. Впрочем, это относится ко всей английской литературе. Я взял роман Айрис Мэрдок «Под сетью» и на первых же страницах заулыбался:

«Кто мог вдохновить ее на такие туалеты? Я медленно обошел вокруг нее, внимательно приглядываясь.

— По-твоему, я что, памятник Альберту? — сказала Магдален.

— Ну что ты, с такими-то глазами!»

Раньше такая фраза ничего у меня не могла бы вызвать. Вместо «Альберту» могло бы стоять «Нельсону», «Джеймсу Куку» — все равно. Теперь же, рассмотревшись на памятники принцу-консорту, я невольно улыбнулся.

Все это вещи известные, тривиальные: побывав на Кавказе, лучше понимаешь многое у Лермонтова, побывав на Украине, иначе читаешь Шевченко, и так далее. Однако есть тут один секрет. Общеизвестные истины и есть наиболее любопытные истины, и часто они вовсе не истины, а бывшие сложности, от которых отступились.

Лучше всего я это почувствовал на примере Достоевского.

Однажды вместе с внуком Достоевского, Андреем Федоровичем Достоевским, мы обошли места, связанные с романом «Преступление и наказание». С нами был мой товарищ, чешский писатель, литературовед, специалист по Достоевскому, — Франтишек К. Поход фактически был затеян ради него. Я коренной ленинградец, я люблю Достоевского, я, разумеется, считал, что мне-то все известно, а если какого адреса я и не знаю, то особого значения это не имеет, такие подробности нужны разве что для исследователя литературы. Итак, отправились мы, руководимые Андреем Федоровичем, человеком самим по себе весьма примечательным. Инженер, фронтовик, он, выйдя на пенсию, целиком посвятил себя делам своего великого деда. Впервые я столкнулся с ним в хлопотах по созданию в Ленинграде памятной квартиры-музея Достоевского и с тех пор не раз убеждался в его доскональном знании малейших обстоятельств, связанных с петербургской жизнью Достоевского. И вот сейчас, когда мы вышли на проспект Майорова, Андрей Федорович начал рассказывать, где и что было в те годы, то есть сто лет назад, — увеселительные заведения, трактиры, распивочные — здесь и на соседних улицах. Он видел район глазами современников Достоевского, в подробностях зная историю почти каждого дома. Слушать его было весьма интересно, как и всякого историка-специалиста, до той минуты, когда он вдруг, показав на дом, сказал: «Тут были ворота, а во дворе находился камень, под которым Раскольников спрятал драгоценности, взятые у старухи». Сказал он это с полной убежденностью, и, поймав

наше недоумение, открыл заложенную страницу романа «Преступление и наказание», и прочел нам:

«...Выходя с В-го проспекта на площадь, он вдруг увидел налево вход во двор, обставленный совершенно глухими стенами. Справа, тотчас же по входе в ворота, далеко во двор тянулась глухая небеленая стена соседнего четырехэтажного дома...»

И далее подробное описание уединенного места, где лежал большой неотесанный камень...

Дом был перестроен, но Андрей Федорович поднимал в архивах старые чертежи, по ним все сходилось, все точно соответствовало. И все же, признаюсь, я не поверил, я решил, что это — совпадение, какая-то случайность, не больше.

Мы свернули вправо от улицы Пржевальского, и Андрей Федорович привел нас к дому № 19, заявив, что здесь жил Раскольников. И дом, и двор имели, как нарочно, ужасный вид, во дворе была грязь, валялись мусорные баки, тряпье, какие-то старые ломаные стулья. По стоптанным каменным ступеням мы поднялись на узкую темную лестницу с полукруглыми проемами и по ней наверх, до каморки Раскольникова.

«Каморка его приходилась под самую кровлей высокого пятиэтажного дома... Квартирная же хозяйка его, у которой он нанимал эту каморку... помещались одною лестницей ниже... и каждый раз, при выходе на улицу, ему непременно надо было проходить мимо хозяйкиной кухни, почти всегда настежь отворенной на лестницу».

Была каморка, туда вели тринадцать ступенек, как и было сказано в романе, и была лестница мимо квартиры с кухней, именно кухня окном выходила прямо на площадку.

Но, может, другие лестницы в доме так же были расположены? Нет, из всех лестниц она наиболее соответствовала описанию, и нигде не было кухни с окном. Ну хорошо, допустим даже, что так, но играет ли это какую-то роль в романе, стоит ли этому придавать значение? В том-то и штука, что расположение имело важное значение, и прежде всего для Раскольникова. Действия его были связаны с этой кухней, там он рассмотрел топор, нужный ему для убийства. Однако, сойдя с лестницы, увидел, что Настасья на кухне и, следовательно, топора взять нельзя. Вдруг начали действовать те мелочи, которыми он пренебрегал, считал их

ничтожными перед силою воли и главных идей своих, а вот они-то и ожили, и он был поражен.

Андрей Федорович читал, и мы повторяли все движения Раскольниковова, спускались вниз, во двор, под ворота, где Раскольников стоял бесцельно, униженный и раздавленный, пока вдруг не увидел в каморке дворницкой топор. И дворницкая была с двумя ступеньками вниз (двумя! — точно так и было), мы заглянули туда, в сырую темноту, там помещалась заброшенная кладовка. Затем мы вышли и направились к дому старухи процентщицы.

«Идти ему было немного: он даже знал, сколько шагов от ворот его дома — ровно семьсот тридцать».

Постепенно проникаясь ощущениями Раскольниковова, мы тоже считали шаги, с некоторым замиранием сердца подошли к «преогромнейшему дому, выходящему одною стеной на канаву, а другою в В-ю улицу». Дом, на счастье, сохранился в том же виде, окрашенный какой-то безобразной грязно-розовой краской. «Входящие и выходящие так и шмыгали под обоими воротами и на обоих дворах дома». Во дворе множество одинаковых окон со всех сторон неприятно следило за нами. По узкой темной лестнице, где сохранились на перилах обтертые шары желтой меди, мы поднялись на четвертый этаж до квартиры старухи процентщицы и остановились перед дверью. Как раз на лестнице мы никого не встретили. Чувство перевоплощения было полное, до нервной дрожи в руках. Больше я не сомневался. И дальше, когда Андрей Федорович повел нас к полицейской конторе, расположение которой он так же точно установил по архивам, и оно убедительно совмещалось с описанием в романе: новый дом, ворота, направо лестница, узенькая, крутая. И неподалеку дом, где жили Мармеладовы, — «дом Козеля, немца». И лавку галантерейную, и трактир...

На улице с развороченным булыжником тихо прогуливалась сухонькая старушонка, держа собачку. Старушка была в черной кружевной пелеринке, собачка в нейлоновом жилетике. На углу старики на ящике играли в шахматы. К ним подошли двое подвыпивших. Сняв соломенные шляпы, они спросили: «Как вы относитесь к тем, кто вышел из тюрьмы?»

Вода в канале Грибоедова стояла зеленоватая, грязная. На Сенной, то есть на площади Мира, возле бывшей гауптвахты, где сидел Достоевский, шла ярко

раскрашенная женщина. Она посмотрела на нас глазами Сонечки... Чушь, сказал я себе, ерунда собачья, просто мы в таком настроении и видим соответственно такому настроению.

Но другое, другое мучило меня, куда более серьезное: зачем нужна была Достоевскому подобная точность? Ведь не было же никакого Раскольникова. А его каморка, а тринадцать ступенек, ведущие в нее? Они-то есть. Выходит, Достоевский бывал здесь, во всех этих местах, выбрал именно эту лестницу и эту каморку для своего героя, затем выбрал дом и квартиру старухи. Высмотрел, проделал весь путь Расколькова, и не раз, так что отсчитал шаги и ступени. Следовательно, он полностью на месте разыграл для себя всю сцену и остальные сцены с точностью полицейского протокола, он действовал, как следователь. Нет, даже не так, потому что следователь идет по следам состоявшегося преступления, а Достоевский сперва совершал его в обличье Расколькова, более того, он перед этим должен был определить всю топографию, поселить своих героев. Но зачем, спрашивается, ему необходима была такая точность, все эти адреса, разве не мог он сочинить, придумать, представить каморку с вымышленной лестницей, сочинить подробности, сочинить дом и квартиру старухи? Вроде бы легче и быстрее. Однако ни Андрей Федорович, ни Франтишек не могли ответить мне. И кажется, никто из литературоведов, которые занимались Достоевским, а их немало, не отвечал на это, а может, они обходили эту удивительную особенность Достоевского, а может, и другое, может, Андрей Федорович впервые подробно показал реальность описаний в романе — то, на что другие не обращали особого внимания. Во всяком случае, для нас с Франтишком это было открытием.

Нечто похожее чувствуется у Диккенса. Подспудная точность описаний, доходящая до фактических адресов. Разумеется, я не мог этого проверить, может, на сей счет имеются английские исследования. Но суть даже не в этом. «Чтобы понять поэта, надо побывать на его родине», — говорил Гете. Разве мог бы чех Франтишек К. ощутить в полной мере Достоевского, если бы не исходил он с нами все эти лестницы и дворы, и сам я, вроде бы коренной ленинградец, проникшись Достоевским, вдруг увидел то, чего раньше не замечал, то, что как-то заслонялось новым, привычным Ленинградом,

с его автомашинами, новыми домами, витринами, асфальтом. Так было и в Лондоне: Диккенс помогал мне узнавать Лондон, и Лондон помогал мне понять Диккенса.

И все же не до конца. Обязательно существуют какие-то подробности, непостижимые для иностранца. Сколько бы я ни изучал Англию и Диккенса, всегда остается некий неделимый остаток, оттенки, недоступные пониманию, и не только оттенки, а может, и нечто более серьезное.

В те минуты, когда мы стояли в подворотне перед дворницкой, откуда из-под лавки блеснул топор, и читали, как Раскольников, до этого раздавленный, униженный неудачей, воспрянул, бросился на топор, вытащил его из-под лавки, сунул под пальто, прикрепив к петле, я заметил, что случай этот, увиденный и пережитый нами, так сказать, на месте происшествия, произвел особо сильное впечатление на Франтишека. Случайность показалась ему странной, несколько многозначительной. Я не сразу понял, откуда происходит разница наших восприятий, лишь в Лондоне мне вдруг прояснилось. Топор не принимался Франтишеком как предмет обыденный, распространенный, необходимейший в городской жизни тех лет. Да и не только тех лет. Для меня то, что топор стоял в дворницкой,— дело естественное. Печное отопление существовало до последних лет в большинстве ленинградских домов. Во дворах высились поленницы. С детства я привык пилить дрова, колоть, таскать их вязанками домой. Топор имелся в каждой квартире и, само собой, у дворников. В Праге же всегда топили углем, брикетами, как и в Лондоне и в других городах. Для Франтишека топор в дворницкой — случайность, может, роковое стечение обстоятельств, в каком-то роде игра судьбы. И хотя Франтишек жил в Москве, учился, знает нашу жизнь, невозможно требовать от него, чтобы он понимал топор, как понимает его русский человек. Конечно, стоит вдуматься — и разность пониманий исчезает, ничего тут мудреного нет, но вся хитрость в том, чтобы обнаружить подобный «топор». Часто и представить себе трудно, какая вещь может не дойти до чужеземца. Согласен, что пример мой не столь уж существен, наверное, имеются и более серьезные. Выявить их можно лишь нечаянно. Ни в каких комментариях такие вещи не предусмотрись. Все это ко мне пришло позже, а тогда, в под-

воротне, другая невероятная мысль томила меня: достоверность адресов, расположения, до каких пор простиралась она у Достоевского, что, как и топор, он увидел здесь, в дворницкой, под лавкой; не Раскольникову, а ему он блеснул, ему, когда он шел здесь, представляя Раскольникова... Но тут, я чувствую, начинается столь зыбкое, таинственное, тайное тайных, область недозволенного, чего не следует касаться... Только теперь я начинал постигать, как много скрывается за такими вроде бы очевидными ходовыми понятиями, как Петербург Достоевского или Лондон Диккенса.

ДВА МОСТА

Витиевато кружили улочки, стиснутые грубо тесаным камнем домов, мелькали частые белые переплеты окон, вывески с гербами и коронами, старинные, сплющенные с боков, узенькие дома, кованые фонари, медные молотки на дубовых дверях, и вдруг на каком-то повороте машина вырвалась в распахнутый низкий речной простор, где лежали зеленые поймы, было много солнца, неба, ленивая ширь воды, и через всю эту поблескивающую даль висели два огромных моста. Они тянулись параллельно довольно близко друг от друга. Их разделяло всего восемьдесят лет. Старый железнодорожный мост был совсем не старый: восемьдесят лет — ерундовый возраст для такой махины. И старым-то его стали называть совсем недавно, когда рядом построили новый мост. Без этого соседства несколько лет назад и в голову не могло прийти, что он устарел. Мы вышли из машины. Два моста — два разных века с их разными понятиями красоты, технического могущества, с различием их возможностей.

Я попробовал представить, как тут было, когда старый мост стоял один. Я повернулся к новому мосту спиной. Из воды поднимались высокие и мощные, как башни, каменные быки. На них лежали тысячетонные стальные фермы. Вишнево окрашенные конструкции застыли железными волнами. Сплетения бесчисленных балок, раскосов, укосин протянулись над водой на три километра. Я вспоминал пухлые учебники сопромата, тоску однообразных эпюр, таблицы, остервенелые пересчеты в поисках ошибок.

Когда-то это был знаменитейший мост, кажется, первый мост консольно-балочной системы; он приводился в пример во всех атласах, схема его висела в нашей лаборатории: «Фортский мост в Шотландии. Триумф техники XIX века». Да, это был прекрасный, могучий мост. До сих пор он производил впечатление своей силой.

И все же он был испорчен; как бы я ни подстегивал свое воображение, он был испорчен сравнением, я уже успел увидеть новый мост и ничего не мог поделать, я невольно сопоставлял их.

Легкий, светлый новый мост висел на тонких трубах, которые казались нитями, он был паутинно натянут над блеском воды, вместо мощности в нем была невесомость; он поражал не сложностью, а простотой. Инженерная мысль, расчеты, формулы — все было спрятано, сведено в минимум линий, и те казались лишь рисунком.

Не могло быть моста проще, изящней, чем новый мост. Плавный выгиб его выглядел законченным совершенством. Мост красовался, как абсолют. Он доказывал всем, что он абсолют, идеальное решение. Никак я не мог представить себе лучшего сооружения.

— Нет, так не бывает, — упрямо сказал я. — Знаем мы эти штучки! Пройдет несколько лет, и этот мост тоже станет неуклюжим.

— В чем именно? Что устареет? Конкретно: какие узлы вам не нравятся? Что вы могли бы предложить взамен?

Я честно пытался найти будущие изъяны, я пытался придумать нечто лучшее и не мог.

По старому мосту шел поезд. Старый мост гулко смеялся.

И с ним некогда было то же самое. И он когда-то казался совершенством.

Восемьдесят лет назад Шотландия не имела автомобилей, радио, кино, электровозов. В те годы появился первый телефон. Я видел его в музее в Глазго. Телефон Белла в большом деревянном футляре с рупором. Рядом стоял фонограф 1878 года с валиком и иглой. Стояли модели первых колесных пароходов 1840 года. Приятность была в том, что это не вообще первые, а первые, какие появились в Глазго. Они составляли историю города вместе с архитектурой, памятниками, картина-

ми. По ним было видно, с какой скоростью поспевал Глазго за передовой техникой.

Мне вспомнились наши первые «эмки» и первые ЗИСы. Тогда формы их восхищали нас. А теперь рядом с новым «Москвичом» они выглядят нелепо. По новому мосту мчался низкий белый «ягуар» последнего выпуска. Очертания его останутся такими же и через двадцать лет, и тем не менее он превратился в допотопное чудовище. Но суть в том, что сейчас я бессилён представить его некрасивым и смешным. Вещи живут по своим законам эволюции. Их вид изменяется внезапно, скачком, происходит нечто похожее на мутации. Радиоприемник превращается в маленький транзистор. Старые радиоприемники оказываются беспомощными и наивными, как вымершие ящерицы. Вместо керосинки появляется газовая плита. Аэроплан превращается в реактивный самолет. А потом, с годами, происходит еще одно превращение. Пренебрежение и усмешки наши исчезают, и рождается трогательное чувство. Я помню, как в Берлине видел гонки старинных автомобилей. На высоких лакированных экипажах клочкотали, тряслись первые моторы с медными радиаторами. Шоферы в котелках и крагах нажимали резиновые груши клапсонов. Это было и смешно, и красиво. Вдруг в них открылась прелесть старины. Высокие колеса со спицами, фары с керосиновыми лампами. В Стратфорде на площади стояли старинные экипажи, запряженные лошадьми. Кучера в цилиндрах сидели на высоких козлах с длинными бичами в руках. Лакированные дверцы карет были изукрашены старинными гербами графства Варвик. Туристы садились в кареты и ехали по набережной Эйвона, по тихим улочкам Стратфорда, мимо шекспировских домов и старых парков.

Рядом с замками, дилижансами, каминами — со всей освоенной поэтической стариной — век техники выставляет свою старину, и она, еще недавно безобразная, оказывается трогательной. Первые граммофоны, паровозы, воздушные шары, электромоторы успели, оказывается, отдалиться от нынешнего человека, как мушкеты и шарманки.

Старый мост помогал выявить красоту нового моста. Я смотрел на них и думал, как правильно, что старина в Англии не запрятана в музей. Что ею пользуются, она сохраняется в быту. Сохраняются старые пивные, в них дубовые бочки, высокие кружки, деревянные скамьи.

Висят на магазинах старые железные вывески. В университетской столовой Оксфорда стоят древние деревянные столы, на них старинные лампы. Столетиями сохраняются названия лавочек, отелей, улиц. Я толком не могу объяснить, почему это так приятно. Как была Оксфорд-стрит при Диккенсе, так она и осталась, и так и будет. И Московская улица, и Хиргфорд-роуд. Англичане считают, что если вчера тут была кондитерская, то и завтра тут должна быть кондитерская, а не парикмахерская и бензоколонка. Любовь к старине не только мода и репутация фирмы, это уважение к своей истории. И есть еще что-то, кроме этого. Я все время сравнивал, испытывал зависть и грусть. Мне вспоминается Новгород моего детства, яблочный спас, глиняные свистульки, которыми торговали на базарах, веселая суета ярмарок, карусели, сооруженные на площадях, старые новгородские чайные... Наверное, тогда уже настоящих чайных не было, и я знал их больше по описаниям и по фильмам. Но в старой лондонской пивной близ Квинсвей мне захотелось, чтобы у нас в Ленинграде были тоже русские трактиры; чтобы в углу стояла фисгармония, и официанты ходили в русских рубашках, и можно было бы петь песни, пить чай из самовара; и чтобы на стенах висели русские лубки; и чтобы все это было без кокетства, с уважением и любовью к старине; чтобы можно было проехаться на извозчике; и чтобы квас продавали не из железных цистерн. Ведь звучит столетиями полуденный выстрел с кронверка Петропавловской крепости. Это традиция Ленинграда, его отличие, его история.

Кроме старой существует и новая история. Мне захотелось увидеть на наших улицах (или хотя бы в городских музеях, в автоклубах) первые советские автомобили, чтобы иногда они проезжали, пыхтя и грохоча, и на них сидели шоферы в кожанках, перчатки с раструбами, а Седьмого ноября чтобы стояли в карауле не солдаты, а красноармейцы в буденновских шлемах, балтийские матросы в бушлатах...

На родине Бернса, рядом с домом, где он жил, по саду ходил шотландец в старинном костюме и играл на волынке. Разумеется, делалось это ради туристов, но все равно это было красиво, приятно и для туристов, и для англичан, и для жителей города Эр. Старина необходима современному человеку не только ради украшения жизни. Она возбуждает особую любовь к родине, она

противоядие от всеобщей стандартизации, в ней есть еще какой-то необходимый нравственный витамин.

Дубовые панели оксфордской столовой увешаны портретами всех знаменитых выпускников университета. В часовнях колледжей хранятся длинные списки студентов, погибших в первой и второй мировых войнах. Такие списки повсюду. Лежат толстые тома, где страница за страницей, сотни страниц заполнены именами павших в боях — дата смерти, фронт.

В Эдинбургском замке висит мраморная доска с именами всех комендантов замка, начиная с 1177 года по нынешний. Любопытства ради я подсчитал, сколько их сменилось, — шестьдесят. Почти за восемьсот лет. Вполне удовлетворительная текучесть кадров.

В маленьком уличном баре Глазго висел портрет усатого господина. Я спросил, кто это. Бармен с укором посмотрел на меня: да это же мистер Стенгон! Я решил идти напролом: а кто такой мистер Стенгон? Господи, да это же основатель нашего бара, он основал его в 1897 году! Никогда еще я не чувствовал себя таким невеждой. Тесная, заплеванная комнатка бара выглядела после этого иначе. Жизнь мистера Стенгона не прошла даром. Поколения любителей виски и пива имеют возможность каждый вечер поминать добром предприимчивого мистера Стенгона. Кто вспомнит о нас через каких-нибудь пятьдесят лет, меланхолично размышляя, а этот мистер Стенгон будет все так же славен в своем квартале, если, конечно, санитарный врач не прикроет эту забегаловку.

На Принцесс-стрит в Эдинбурге стоят деревянные скамейки с памятными дощечками на спинках — поставлена в честь такого-то учителя, в память такого-то врача или на средства мисс такой-то. Вдоль улицы памятники, а у памятников — скамейки, тоже памятник, самый полезный из всех видов памятников.

Традиции — национальное богатство Англии. Поскольку экспортировать их нельзя, то запас их не то что золотой запас — запас традиций не тает. Правда, от кое-чего англичане стараются отделаться, — от ярдов, миль, футов, галлонов, пинт перейти на метрическую систему, перейти на правостороннее движение, на новую денежную систему, однако практики отмены традиций пока нет, и кажется, ее не очень-то хотят приобретать.

К традициям приспособляются. В Оксфорде правило: в девять часов вечера студенты должны быть

в колледже. Ворота запираются во всех тридцати одном колледже. Если студент приходит после двенадцати часов ночи, его штрафуют. Но тут же в студенческих газетах печатаются советы и инструкции, как проникать в колледжи после полуночи.

В мае университеты на неделю отдаются во власть студентам. Карнавалы, песни, розыгрыши; полиция не вмешивается, каждый колледж изощряется в выдумках. Ночью разобрали машину профессора, перетащили части на площадку башни и там собрали ее. Похитили Бертрана Рассела. Сорок девушек втиснулись в будку телефонного автомата, установив мировой рекорд! Переоделлись полицейскими...

Мне вспомнилось, как мы ходили из колледжа в колледж и наш гид, хрупкая, засушенная до прозрачности старушка, сообщала про большой университетский колокол, который единственный раз в истории не отзвонил вечером свои сто один удар — во время войны, когда Англия ожидала гитлеровского вторжения; рассказывала про Льюиса Кэрролла, который учился здесь, и про картину Эль Греко, которую подарил кто-то из бывших учеников, — всяческие забавные правила и обычаи, которые отличают каждый колледж: там нельзя носить бороду, там длина мантии столько-то сантиметров — масса вроде бы нелепых традиций, и ими гордятся, их поддерживают.

— Безобразие, — возмутилась Зоя Семеновна, — всей этой чепухой только отвлекают внимание!

— Но ведь они несерьезно относятся к этому, — сказал я. — Игра. Так веселее учиться.

— Не выгораживайте! — строго сказала Зоя Семеновна. — И эта старушка, слышите, как она замазывает социальную сторону!

Зоя Семеновна жаждала политических схваток. По дороге в Англию она волновалась, готовясь к провокациям, каверзным вопросам; она была убеждена, что придется отстаивать, раскрывать подноготную, давать отпор. Но проходили дни, противник почему-то не обращал на нее внимания, уклонялся. Зоя Семеновна изнывала от неистраченной активности. Высокая, с сильным голосом, она могла бы заткнуть за пояс всех ораторов Гайд-парка. Однако трудность состояла в том, что здесь, на «месте происшествия», капитализм выглядел куда сложнее, чем дома, разоблачить его было труднее, все запуталось, сплелось: кроме капитализма существовал

еще народ с национальным своеобразным укладом жизни, в котором было много прелести, существовал характер англичанина — честный, независимый, прямой, существовали традиции, украшающие жизнь.

...Трава, упругая, зеленая до оскомины, делала все, чтобы успокоить нас; толстые черные дрозды гуляли рядом с нами, веря в наше дружелюбие.

Над рекой Ферт-оф-Форд висели два моста. Каждый из них был по-своему красив. Но как бы они ни были красивы, они были всего лишь мосты, а под ними блестела река, расстилались зеленые луга Шотландии, легкие синеватые холмы, и изменчивая, непрочная красота их казалась более вечной, чем железо и бетон...

2

На Трафальгарской площади вокруг колонны Нельсона стояли четыре памятника, вернее, установлены три, постамент же четвертого был еще никем не занят. Днем, как всегда, сквер полон народа, дети забирались на лежащих бронзовых львов, туристы щелкали и жужжали своими камерами.

Улучив удобную минуту, я влез на пустой пьедестал. Никто не обратил на это внимания. Полицейский, который прогуливался вокруг, несколько раз покосился из-под своей каски, но поскольку я не нарушал правил, не укладывался спать, а стоял себе совершенно смиренненько, он успокоился.

Проходили часы. Руки на моей груди скрестились, правая нога чуть подалась вперед, и постепенно я перестал чем-либо отличаться от других памятников. Очень легко и просто стать типичным, рядовым английским памятником. Все они удивительно похожи друг на друга, как будто делались одним скульптором, с одного и того же натурщика. Стоит спустить их на землю, всунуть им в руку зонтик, и они станут неотличимы, подобно толпам лондонских клерков. Можно и наоборот: считать их клерками, взобравшимися на пьедесталы. Нигде еще я не видел столько памятников, как в Англии. Весь остров уставлен памятниками. Каждый из них в отдельности был бы вполне приемлем, но все вместе они угнетали количеством и однообразием. Империя щедро награждала памятниками своих полководцев, адмиралов, героев бесчисленных сражений, каждое из которых выглядело историческим и решаю-

щим. Отливали в бронзу фигуры тех, кто завоевывал Британию новые колонии, открывал земли, усмирял восстания, тех, кто свергал королей. Блистательные министры, мудрейшие дипломаты, любимые короли и любимцы королей — диву даешься, как много, оказывается, было их, этих вершителей судеб народов, спасителей, избавителей, защитников, благодетелей!

Королева Виктория оставила города металлом и мрамором, изображающим ее обожаемого супруга Альберта. Города, в свою очередь, воздвигали памятники обожаемой королеве.

Ночью, когда прохожие исчезают, появляются памятники. Бронзово-мраморная знать толпится на площадях, на перекрестках, вдоль бульваров, все свободные места заняты ими. Конные статуи, колонны, обелиски, памятники писателям, королевским гвардейцам, знаменитым пожарам, морской пехоте, верным собачкам, изобретателям, врачам, подводникам, торговым морякам. Шотландцы, те, например, по любому поводу ставили памятники Вальтеру Скотту. По количеству памятников это, наверное, самый монументальный писатель.

Первыми ко мне привыкли голуби. Они стали пачкать меня так же, как и фельдмаршала Эблока и генерала Непира. Внизу папы и мамы покупали детям баночки с жареным зерном, дети кормили с рук голубей. Поклевав, голуби садились на нас. Поскольку адмирал Нельсон стоял выше всех на своей колонне, он был и чище всех, зато он чувствовал себя там, наверху, одиноко.

Вскоре подле меня начали фотографироваться туристы. Группе дотошных немцев почему-то надо было выяснить, кого я изображаю. Они листали путеводители, бегали к Непиру, к Генриху IV, сличали нас с фотографиями — очевидно, там было указано, что четвертый пьедестал пустой, но который из них пустой, теперь определить было непросто. Одни решили, что путеводитель устарел, другие доказывали, что я генерал Непир, а Непир — Эвлок, пока они окончательно не запутались. Они попробовали обратиться к старенькой леди, которая с внуками кормила голубей. Леди надела очки и принялась обозревать нас. Короткое любопытство оживило ее потухшие глаза. Особенно ей понравился Генрих VI, меня она оглядела без интереса. Даже на пьедестале я ничего собой не представлял. Взор ее, вероятно, за всю жизнь не поднимался выше бронзовых львов Трафальгар-сквера. Она, конечно, знала, что кто-

то там стоит наверху, но кто именно — это ее не интересовало: слишком много памятников. Сам генерал Эвлок не очень-то знал, за что его сюда поставили, то есть когда-то он знал — за поход против афганцев, поход в Персию, усмирение сипаев, однако нынче признаваться в этом было неловко, и генерал стыдливо пожимал своими металлическими плечами. Я тоже не мог ему объяснить, кому я памятник. Жизнь моя, разумеется, не заслуживала никаких долговременных сооружений. Правда, генерал утешил меня: биография — дело историков, они ее выправят, подгонят, оснастят изречениями, анекдотами, примечаниями, и жизнь моя станет красивой, поучительной, прекрасной легендой, очищенной от неугодных фактов. Когда-то, во времена Возрождения, все было еще проще: кондотьер Коллеоне поставил себе памятник за собственные денежки, любой богатый человек мог заказать себе памятник — на коне, без коня... В те времена требовалось лишь, чтобы памятник был произведением искусства. Важно было, не кто изображен, а кто изобразил. Имя ваятеля, его талант — вот что ценилось; фактически оставался памятник скульптору.

О подобных вещах, о превратностях славы и размышлял я с тех пор, как стал памятником. Торопиться было некуда, торопились люди. Лондонская толпа деловая. С деловым видом мамыши катят свои малыпосты, ведут на вожжах малышей, деловито мисс и миссис выводят на прогулки всевозможных пород собак, озабоченно бегут причудливо остриженные шпицы. Собак тьма. Они, впрочем, единственные, кто удостоивает вниманием все памятники. Люди спешат, и тем не менее даже в часы «пик» лондонская толпа отличается учтивостью, спокойствием. Улица в Лондоне существует не для гуляния. Хотя... Неподалеку от меня однажды остановилась парочка. Они остановились посреди площади, вдруг застыли, обнявшись, глаза их закрылись, губы слились, и все остановилось. То есть ничего не остановилось: поток людей огибал их, люди шли, договаривались, спорили, покупали, прощались, но все это происходило совсем в ином времени и измерении. Не время течет, а мы идем в нем, — они же никуда не шли, они были счастливы, и время для них не существовало, оно кончилось; это была та вечность, по сравнению с которой мое медленное бронзовое время стало мигом. Ждать конца этого поцелуя было бессмысленно. Я тихо

сошел с пьедестала. И опять-таки никто не обратил на это внимания. Четвертый пьедестал снова остался вакантным.

3

Пылал камин. Я сидел вытянув ноги, смотрел в огонь, курил сигарету и потягивал виски. Я отдыхал и воображал себя англичанином. Виски называлось «Георг IV». На этикетке был нарисован румяный красавец Георг.

Я взял бутылку и стал рассматривать порочное лицо короля.

— Ну как виски? — спросил старший Маклистер.

— Прекрасно, — сказал я. — Крепкая штука.

Зоя Семеновна незаметно толкнула меня в бок.

— Неудобно, — прошептала она. — Подумают, что мы дикари, первый раз видим виски.

— Но я действительно никогда не пил такого виски.

— Все равно не надо этого показывать.

— Послушайте, Гарри, — сказал я громко, — вы пили когда-нибудь хлебный квас? Эва, переведите, пожалуйста, — хлебный квас.

— Нет, — сказал Маклистер. — Что это за штука?

— А брагу вы пили? А самогон? Вот видите, дорогая Зоя Семеновна, и тем не менее он культурный человек. Почему я должен знать про это виски, если он не знает про квас?

— Роджер, — сказал Маклистер сыну, — сыграй что-нибудь гостям.

Роджер обрадовался, принес флейту. Его приятель вытасил скрипку. Я думал, что они хоть для виду поломаются, им все же было по семнадцать лет; по всем правилам они с ходу принялись играть всякие пьесы и песни, и все гости стали петь, и конечно, «Подмосковные вечера», «Стеньку Разина», «Широка страна моя родная». Они знали слова наших песен, мы же, как водится, давно позабыли. В перерывах говорили о музыке, о детях, о рыбной ловле, о Фолкнере, о телевидении, о Джоне Бернале, об автомашинах, обо всем, о чем могут говорить в гостях в Москве, в Ленинграде, в Новгороде. Поразительно, сколько, оказывается, существовало таких общих тем. Мы одинаково ругали телевизионные программы. Наши дети были, конечно, легкомысленней нас, совсем другое поколение. Джон Бернал

был великий ученый, он предвидел социологию науки; Фолкнера читать трудно, а старинная музыка хороша.

— Вы заметьте, как они нас принимают,— сказала мне Зоя Семеновна,— кофе, напитки, печенье, бутерброды — и все. Не то что у нас. Обязательно наставят полный стол еды.

— И хорошо, что полный стол,— сказал я. — У каждого свои порядки, так и должно быть.

Она посмотрела на меня с глубокой жалостью. Я чувствовал, что она стыдится перед нашими хозяевами за меня и всячески доказывает за нас обоих, что все эти виски и сэндвичи нам не в диковинку, никакого кваса у нас нет, а если и есть, то от наших предков, которых мы тоже осуждаем за квасной патриотизм, и вообще мы — это вовсе не мы, потому что не могут англичане уважать самовар, валенки, моченую бруснику, они могут уважать только спутники и лазеры. В то же время она восторгалась и дымным английским камином, и крохотным жалким садиком и не смела поморщиться от непривычного невкусного английского чая с молоком и от жесткой системы умывальников без смесителей, где мыться можно либо кипятком, либо ледяной водой. Не то чтобы она убежденно преклонялась перед английским — все это происходило, разумеется, бессознательно, и самоотрицание ее было бессознательным, и какое-либо преклонение она, разумеется, не признавала. Когда же мы оставались без англичан, она исполнялась высокомерия и всячески отвергала уклад их жизни, опять же не в силу убеждения, не потому, что ей и впрямь не нравилось, а скорее из жажды самоутверждения.

Когда мы возвращались от Маклистеров, она спрашивала меня, что особенного я успел заметить, так сказать, характерного для быта и нравов английской семьи. Она полагала, что я, как писатель, обязан быть проникательным, наблюдательным и прочее. Однако, к стыду моему, никаких наблюдений у меня не оказалось. Весь вечер я проболтал с Маклистером — старшим. «О чем же?» — спросила Зоя Семеновна. Тут я окончательно сконфузился. Маклистер работал мастером на радиозаводе, и обсуждали мы с ним будущее транзисторов и радиоприемников.

— Это вы могли обсудить и в Ленинграде, стоило ли для этого ехать в Англию,— сказала Зоя Семеновна.

Она была права, но я утешался тем, что Маклистер

еще показал мне звонок, который он сам сделал: молоточек бил не по чашке, а по длинным бронзовым трубкам — звук получался мелодичный, протяжный. Маклистер объяснил мне, как подобрать трубки и как их подвешивать. Кроме звонка он сделал кухонный стол, переоборудовал мойку. До этого я был у Олдриджа, и Джеймс тоже с гордостью показывал мне мебель, которую он смастерил. Многие англичане вместо пресловутого хобби увлекаются ремеслами — красят, клеят, плотничают внутри своих крепостей.

По мере того как дом Маклистеров отдалялся, мне приходили на ум всевозможные вопросы, которые следовало бы задать в тот вечер, выяснить взгляды, отношения, понимание, множество разных вопросов, которые бы я мог осветить, привести, и у меня получилась бы полная картина жизни простой английской семьи. Вместо этого я сидел перед камином и пил виски. Но, странное дело, удовольствие от этого вечера не проходило. И было сильнее всяких сожалений. Осталось чувство душевного равноправия, никакого потока информации я не получил, а просто подружился с Маклистером. До сих пор вспоминается мое блаженное состояние покоя и полной свободы от всяких обязанностей. Скромная, тесная крепость Маклистеров, которую мы взяли с такой легкостью, гарнизон этой крепости, соседи из ближних крепостей, которые пришли повидаться с советскими людьми, тощие мальчишеские койки, любовно приготовленные крохотные сэндвичи... Мы познакомились с Маклистерами случайно, на каком-то приеме, и он пригласил нас в гости, приехал за нами. Чего ради? Зачем ему этот прием, расходы, хлопоты? Сколько бы я ни встречался с подобным гостеприимством на чужбине, я не могу привыкнуть к этому и воспринимать как должное. Я не знаю, как англичане принимают незнакомых французов, итальянцев, датчан. Мне кажется, что мы были для Маклистеров не просто чужеземцы, мы были советские. Что вкладывают они в это понятие? Наверно, там есть и любопытство, и опасение, и несогласие, но если все это сложить или вычесть, в итоге остается некое чувство, особое, не то чтобы любовь, я боюсь быть самоуверенным, мы нужны — вот что я ощутил, чем-то нужны, без нас уже нельзя, земля не может снова стать плоской.

Перед отъездом из Глазго к нам пришел журналист местной газеты. Он был любезен и недоверчив. Он

спросил, как мне понравился Глазго. Я сказал, что не понравился: черный, унылый, некрасивый. Журналист вдруг обрадовался. Ему тоже не нравился Глазго. Мы заказали кофе и долго с удовольствием поносили Глазго и хвалили Эдинбург.

Журналист снял темные очки, усталые глаза его смотрели умно и весело.

— А вы знаете, это хорошо, что вы увидели грязные дома, тесноту, копоть.

Сперва я не понял, почему это хорошо. И лишь потом, сидя в самолете, я вспомнил, как мы ходили по Ленинграду с одним писателем из Западной Германии. Это был хороший, честный писатель. Он хотел увидеть все как есть, мы заходили с ним в убогие старые дворянские дворы-колодцы, в коммунальные квартиры, мы пили пиво, плохое наше пиво в уличных ларьках. Он побывал в шикарных ресторанах и в скверных столовых. Он ездил в нашем отличном метро и в переполненных утренних трамваях. Не очень-то приятно было показывать ему все как есть. Кое-кто упрекал нас за это. И мы сами видели, что уехал он огорченным. Спустя год он приехал второй раз, потом третий. Он сказал мне, что полюбил нашу страну, потому что видел не только хорошее, но и плохое. Видел движение жизни, ее меняющийся облик, со всеми невзгодами, трудностями, преодолениями.

Любовь к стране возникает путано, загадочно, как всякая любовь. Неожиданно прорастают какие-то странные мелочи. Я шел по Лондону и вдруг развеселился, поняв, как англичане разрешили проблему зонтика. Сумеете ли вы назвать другую проблему, которая ежедневно возникала бы перед каждым горожанином с такой неразрешимой гамлетовской неотступностью? Брать или не брать? И утром и вечером человек задумывается над зонтиком. Развитие метеослужбы только осложняет положение. Мало взглянуть на небо, надо еще прослушать сводку и вывести распределение вероятностей. Англичане первые нашли выход — простой, как все великое. Они превратили зонты в постоянную принадлежность туалета. Таковую же обязательную и бесполезную, как галстук или усы. Небо может оставаться ясным, без единственного облачка, может наступить засуха — все равно англичанин берет зонтик,

ничто уже не заставит англичанина оказаться без зонтика. Зонтик не зависит от погоды. Он не зависит от небес, он сам по себе — тросточка, палка, стек, завернутые в материю, — считайте как хотите; оказаться без зонтика невозможно — все равно что выйти без рубашки.

Первое, что заявила наша переводчица, знакомясь, — что она не англичанка, а шотландка. При всей своей мягкости и доброте, в этом она была непреклонна. Шотландцы считают, что Англия — это часть Шотландии, и не самая лучшая, а парни в ночном лондонском метро рассказывали мне, что в Ла-Манше непогода, суда во Францию не ходят и бедный материк отрезан от Англии. Может, сутки, может, несколько суток Европа останется на произвол судьбы, как-то она проживет. Они брэнчали на гитаре. Вагоны мчались под Лондоном, грязные старенькие вагоны старой скверной подземки с лифтами вместо эскалаторов, медленными лифтами, куда приходится стоять в долгой очереди, бежать по темным узким переходам. Я пересмеивался с этими незнакомыми бородатыми парнями, я давно проехал свою станцию и чувствовал, что ни черта я не понимаю в этих англичанах, которые из небольшого острова сделали большое государство, где Англия — часть Лондона, окраина Лондона, как они сказали, а Европа — часть Англии, и не самая лучшая...

— Что вам все же больше всего понравилось в нашей стране? — допытывался журналист.

Я сознавал, что он должен что-то написать. Я хотел помочь ему и не мог. И в Лондоне мне задавали тот же вопрос, и в Ленинграде, и всякий раз я беспомощно мялся. Вместо того чтобы вспомнить, что же мне понравилось, я думал о том, как много я не успел увидеть, особенно в Лондоне. Я хотел побродить рано утром по улочкам Сити, постоять у Биржи, у Парламента, толкаться на рынке, пойти в Музей науки, проехаться по Темзе. Теперь-то я понимаю, что, в сущности, Лондона я по-настоящему не видел, не знаю. Мне хотелось снова приехать сюда и пожить хотя бы несколько дней, не торопясь, иногда скучать, и чтобы быть не туристом, а иметь дело. Наверное, и тогда я не смогу ответить журналисту: Лондон снова останется слишком большим, неуловимым, но, может быть, это и значит, что он понравился.

НОЧЬЮ В ЗАМКЕ

Однажды темной зимней ночью...

Давным-давно я мечтал начать с такой фразы. Однажды темной зимней ночью во дворе замка...

И однажды, и замок — все это не придумано, а действительно было со мною, когда я жил в старом-престаром замке, над воротами которого был высечен каменный герб и год — 1326-й!

Замок стоял на лесистой горе, настоящий замок с башнями, переходами, толстыми стенами. Он мог вполне сниматься в кино или быть музеем. Но это был скромный замок, он был доволен уже тем, что сохранился и пережил многих своих сверстников.

Итак, однажды ночью я проснулся от какого-то длинного шелестящего звука. Потом наступила тишина. Я лежал с открытыми глазами, прислушиваясь. На стене, обшитой досками, висел старинный портрет молодой женщины. Ее называли Вдовой. Она была одной из владелиц замка лет триста назад. Судя по глазам и улыбке, это была довольно заводная бабенка. У нас с ней установились неплохие отношения. Но сейчас ее улыбка показалась мне подозрительной. И звук, который повторился, непонятный шелестящий звук посреди ночи. Он донесся со двора. Я подошел к окну. Маленький двор замка был пуст. Граненый фонарь с угловой башни высвечивал темные плиты и глухие корявые стены с узенькими окошками. Я без особой надежды смотрел на чистенький двор — право, такой старый замок мог бы порадовать каким-нибудь привидением или приключением. Мне стало немного грустно оттого, что я ни черта не боялся, даже ночью в таком замке.

Когда я приехал сюда и с трудом отворил кованые, тяжелые ворота и мне стали показывать каменные эскарпы и гласисы, я почувствовал в своей вежливой

улыбке привкус военной снисходительности — я-то знал, как дырjавились такие стены от стопятидесяти-миллиметрового.

Я оделся и вышел во двор. Чистенькое немецкое небо было аккуратно прибито обойными шляпками звезд. Все обитатели замка спали, и птицы еще спали, был тот час в конце ночи, когда все всюду спят. Я чувствовал себя единственным бодрствующим. Я ждал, зачем-то подстерегая тот звук. И вдруг я перестал понимать, зачем я здесь. Зачем я один, ночью, посреди Германии стою безоружный, вроде бы свободный, не в плену? Я в Германии и не на танке? Что скажут в полку? Что скажут мои ребята, мой экипаж? Если бы они увидели меня сейчас, они меня бы заподозрили и стали бы допрашивать. А как бы я мог объяснить им? Почему я не стреляю? Чего я тут ищущу? Спокойно сплю, сижу в пивных, здороваюсь, смеюсь...

Я вдруг удивился своей жизни, своей судьбе. Давно уже во мне не просыпался тот, который умел видеть меня со стороны и безмерно удивляться тому, что творится со мной. Я очень любил его, потому что с его появлением жизнь становилась чудом. И то, что я уцелел на войне, и после войны, и до сих пор живу, и кое-как здоров и могу видеть звезды,— все, все это было чудом. Плохо было то, что являлся он ко мне редко, все реже...

Больше всего мы размышляли о будущем — на фронте. Мы всячески рассматривали будущее. Мы рассуждали о том, какими храбрыми мы станем после войны, какие мы наведем порядки, как нам будет все нипочем, как мы придем в Германию. То, что мы сюда придем, мы точно знали, еще сидя под Пушкином, в мелких, каменно замороженных окопах. Часть, которую мы сменили, закопалась кое-как, так что местами ползать в окопе надо было на карачках, чтобы не подстрелили. А углубиться мы не могли — земля промерзла. Мы материли их крест в крест, штык не брал эту землю. В землянке ходить можно было только согнувшись в три погибели. Несколько месяцев ходили лишь согнувшись. Мы разучились стоять в полный рост. Нам негде было выпрямиться, кроме как на нарах. Мы не знали, удастся ли отстоять Ленинград, мы знали лишь, что мы придем в Германию.

А про то, как мы будем дальше жить с немцами, не думали. И наверное, не только мы. Лишь сейчас челове-

чество начинает учиться размышлять о будущем. Осваивать это искусство или науку — не знаю, как следует это называть. Наверное, все же науку. Прогнозы погоды — наука? История — наука? Будущее станут изучать, рассчитывать «с точностью до...». Институты футурологии. Лаборатории, где будущее разглядывают в телескопы и микроскопы, опускают его в пробирку, капают на него кислотой, нюхают. Нет, не годится, попробуем иначе. «Доктор футурологических наук, посмотрите мою руку, что меня ждет здесь, найду ли я...»

Снова тот же звук, уже рядом, я быстро обернулся на него и поймал — это соскальзывал талый снег с крыши. Пласты снега скользили по аспидно-черному шиферу, что-то прищептывая, вздыхая. Я подумал, что так же скользил снег по этим черепицам и двести, и триста лет назад, и тот же шелестящий звук будил гостей замка в такие же теплые мартовские ночи, и были те же звезды, и двор этот был тот, та же башня, тот же слоистый черный камень. Может быть, и я тот же, во всяком случае я сейчас видел и чувствовал так же, как тот, кто стоял здесь триста и четыреста лет назад. Чем я сейчас отличался от него? Знаниями? Да, я знал не о восковых свечах, не о масляных лампах, а об электричестве, вместо меча я знал автомат, просто у меня были другие знания, а в остальном мы в эту минуту были схожи.

Две с лишним тысячи лет назад уже жил Архимед, а затем Платон, а тысячу лет назад жил Авиценна, а четыреста лет назад — Ньютон. Неподалеку от этого замка был Наумбургский собор и в нем статуи, сделанные неизвестным мастером в XIII веке. Имя мастера не сохранилось, а имя женщины, которую он лепил, сохранилось. Ее звали Ута. Она придерживает сползающий плащ, рука ее закрывает воротником часть лица знакомым жестом, как это делала одна женщина, которую я знал. Только плащ у нее был нейлоновый, и стояла она у стоянки такси. Мы прощались, и поэтому она казалась мне такой прекрасной, и такой осталась в памяти. И лицо Уты было той же красоты и нежности, которую может выразить либо поэзия, либо фотография, ничем другим, даже музыкой, не рассказать про ее лицо. И я, знающий про электротехнику, и про кибернетику, и про то, что Вселенная наша расширяется, я стоял в холодном соборе, замирая от восторга, чувствуя

себя счастливым и ничтожным перед этой красотой, точно так же, как четыреста или пятьсот лет назад.

И картины Дюрера тоже были для меня гениальными, как и для его современников, и его иллюстрации к поэме Себастьяна Бранта «Корабль дураков», и сама поэма:

Душеспасительные книжки
Пекут у нас теперь в излишке,
Но, несмотря на их число,
Не уменьшилось в людях зло...

«Корабль дураков» все еще плывет, какая разница, паруса на нем или газовые турбины...

Прекрасная Ута сидела у прялки в яблочном зале замка, ожидая своего Эккехарда, а может, и не ожидая, просто смотрела на лесистые горы, и проезжие рыцари и паломники любовались ее удивительной красотой. В зале горел камин. Туман скрывал маленькие городки, лежащие внизу, только острия соборов поднимались над молочным разливом тумана. Какой сейчас век? Как мне узнать, какой век? Это было не так-то просто, мы с этим замком словно заблудились в столетиях. Мы перемещались по оси времени вверх-вниз, скользили, как на лифте, по этажам истории — XV, XVII, XIX... и ничего не менялось ни в замке, ни в горах, и даже в маленьком, лежащем внизу Лойтенберге. И все время на меня смотрело прекрасное лицо Уты и улыбалась скуластая, озорная ее сестра Реглинда, но сердце мое сжималось от страха, я боялся, что кто-нибудь из моих ребят или я сам бабахнем по этому собору и Ута разлетится в пыль. Потому что тогда, в сорок четвертом, никакая Ута на меня бы не подействовала. Я видел, как они разрушали пушкинские дворцы, обстреливали Эрмитаж.

ШКОЛЬНЫЕ УРОКИ

С трудом отворив тяжелые ворота, я вышел из замка. Светало. По каменной старой дороге я начал спускаться вниз, время от времени оглядывался на замок, который становился все неприступнее, похожим на плохую декорацию. Я шел вдоль классического немецкого ручья, мимо классических гор, по которым ходили немецкие студенты, Шуберт, Тиль Уленшпигель, мейстерзингеры, мимо лесов, в которых невоз-

можно заблудиться, где стоят кормушки для птиц, где в самых глухих местах висят стрелки с надписями и стоят беседки.

. светлеет,
Недалеко до утра,
Громче шум ручьев и елей,
Просыщается гора.

Это из Гейне. И вообще весь этот пейзаж — и туман, и лес, и ели, и замок — все описано уже у Гейне, в его «Путевых картинах», так описано, что нет смысла что-либо еще писать на эту тему.

«Путевые картины» мне кажутся идеалом прозы — в них свобода, о которой всегда мечтаешь, — свобода от сюжета, от хронологии, от географии. Эта проза свободней, чем стихи. О чем она? В том-то и секрет ее, что она ускользает от подобного вопроса. Обо всем, но не пресловутый поток сознания, а скорее поток жизни, поэзии, размышлений, фантазии; поступки и воспоминания, описания и исповедь.

Если бы я сумел написать такую свободную прозу — не втиснуть ни в какие рамки сюжета, и композиции, и темы, но в том-то и беда моя, и не только моя, что мы всегда слишком хорошо знаем, заранее знаем, о чем мы пишем.

Гейне открылся мне, как это ни странно, на школьных уроках немецкого языка. Обычно школьный немецкий прочно отвращает от языка; и без того немецкий, с его путаницей глаголов — они сплетаются в немыслимый клубок, — с его кошмарной грамматикой, внушает ужас любому здоровому человеку. Но у Марии Генриховны был свой метод: она заставляла нас учить стихи. Когда я читал стихи, язык преображался, в нем появлялась музыка, я не искал ударений, слова выговаривались сами. Больше всего мы любили слушать, как читала Мария Генриховна. Рыхлая старушка с маленьким красным, переходящим в лиловое носиком, она менялась, читая Гейне. Мудрая добрая улыбка выявляла из ее морщин ту, молоденькую девушку... Это бывает редко, чаще встречаются лица молодых, по которым можно представить, какими они станут в старости.

Мария Генриховна была первым немцем, которого я знал. А следующим был пленный унтер. Шофер. Мы взяли его в конце июля сорок первого года. Меня позвали, чтобы я помог переводить. Он был молодой, высокий, белокурый, из-под расстегнутого мундира

у него выглядывала белоснежная рубашка, сапоги у него сверкали, и раструбы кожаных перчаток торчали из-под ремня. Мы были с ним одногодки. Он стоял передо мной расставив ноги, чуть покачиваясь, глядя куда-то поверх наших голов, на верхушки деревьев. Я стал спрашивать его, он медленно, сощурился, опустил взгляд на меня, усмехнулся и оглядел меня сверху донизу так, что мне стало стыдно — я почувствовал свои обмотки, драные ботинки БУ с веревочными шнурками, мою грязную гимнастерку, а главное, мои бутылки с горючей жидкостью, и старую винтовку, и гранаты РГ — чепуховые гранаты, от которых не было никакого толку, мой брезентовый подсумок, а проще — торбу с патронами. Я до сих пор помню возникшее под его взглядом ощущение тяжести этой торбы и своей неуклюжести, каким я был несолдатом и каким он был солдатом.

Да, любому была видна разница, он был солдат, а мы ополченцы в неумело свернутых скатках, мы все выглядели какой-то толпой.

Это был июль, шел первый месяц войны. Мы еще не успели как следует прийти в себя, ненависть наша еще была смутной, невыношенной. Я разглядывал этого парня скорее с любопытством, чем со злобой. И когда я начал складывать по-немецки фразу, я сразу вспомнил свой класс, Вадима, который всегда подсказывал мне, Марию Генриховну.

Он был шофер, то есть рабочий класс, пролетарий. Я немедленно сказал ему хорошо выученную по-немецки фразу: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Со всех сторон мне подсказывали про социализм, классовую солидарность, ребята по слогам втолковывали немцу: Маркс, Энгельс, Тельман, Клара Цеткин, Либкнехт, даже Бетховена называли. От этих имен мы смягчились и были готовы к прощению, к братанию. Мы недавно видели сцены братания в звуковом фильме «Снайпер». Согласно фильму и учебникам обществоведения, и нынешний немец, наверное, должен бы покраснеть, опустить свои светлые ресницы и сказать с чувством примерно следующее: «Буржуазия, то есть гитлеровская клика, направила меня на моих братьев по классу. Надо повернуть штык, то есть автомат, против собственных эксплуататоров» — что-то в этом роде.

Нас этому учили. Мы верили, что пролетариат Германии не станет воевать со Страной Советов. Мы честно

пытались пробудить классовое сознание этого первого нашего немца.

Но он не опускал своих светлых ресниц и не краснел, он недоуменно похлопал своими светлыми ресницами и наконец, поняв, о чем идет речь, рассмеялся и сказал:

— Вы будете уничтожены.

— То есть как это?

— Все. Все, кто не подчинится.

На него закричали. Кто-то сунул ему под нос кукиш. Но он и глазом не повел.

— Таков приказ фюрера, — сказал он.

Он нисколько не испугался, он смотрел на нас без интереса, как на покойников. Потом он замолчал, вынул сигареты, закурил и, когда я стал задавать ему еще какие-то вопросы, молча выпустил дым мне в лицо.

Я тогда еще не курил, я закашлялся, он засмеялся, может быть, со стороны это и было смешно, так же как смешны были наши слова к нему.

Очень хотелось ударить его. Мы все были заводские, и по воскресеньям где-нибудь за Красеньким или в Шереметьевском парке у нас бывали драки, тут же все стояли, и никто не мог его ударить. Мы еще на что-то надеялись. Может быть, мы плохие агитаторы, не нашли путь к его сердцу. А может быть, он социально темный, одураченный нацистской пропагандой. Главным нашим чувством в те дни было чувство обиды, оскорбления. Мы не соединяли немцев с фашистами и с теми солдатами, которые вторглись в нашу страну.

РАЗНАЯ ВОЙНА

А через полгода я лежал под Пушкином и смотрел в оптику за немецким дотом, утром оттуда выходили солдаты, и я надеялся подстрелить хотя бы одного-двух, прежде чем меня засекут. Единственное тогда, что мы могли, — это охотиться, терпеливо ждать, пока в ложбине покажется сизая шинель. Убей его! Нужно было неподвижно лежать целый день, лишь с вечерней темнотой я мог уползти к своим. Весь день, коченея и обмораживаясь, я прятался в снежной траншее ради того, чтобы убить немца. Где была тогда прекрасная Ута?

Мы шли по Марсову полю с Клеммом Кристиенсом и его приятелем. Я познакомился с Клеммом в Мель-

бурне, а теперь он приехал в Ленинград. На Марсовом поле росла картошка, то есть сейчас там росли цветы, а я рассказываю им про картошку. Как в Летнем саду росла картошка. А вокруг Медного всадника — капуста. Тогда, летом сорок второго года, повсюду в Ленинграде, в парках, в скверах, росли картошка, лук и капуста. Австралийцы ахали, качали головами, и тогда приятель Кристенса сказал:

— Не понимаю, почему вы не сдались, зачем было обрекать жителей на голодную смерть? Столько людей погибло. И город разрушили. Какой в этом смысл?

Я впервые слышал такое. Наверное, слишком явно перекопилось мое лицо, потому что приятель Кристенса отступил. Клемм крепко взял меня под руку.

— Он не воевал,— сказал Клемм.

Его приятель был смущен, простодушие его было вполне искренне, он недоумевал, с чего это я так рассвирепел. И даже Клемм, человек умный, тоже не все понимал, и я подумал, что оттуда, из Австралии, им до сих пор трудно постигнуть дух нашей войны с немцами. Им не объяснить, что уже к октябрю сорок первого года мы понимали, что если немцы возьмут Ленинград, то город будет уничтожен. И все жители будут уничтожены. Тогда мы еще не знали приказа Гитлера о разрушении Ленинграда, от города не должно было остаться ни одного дома — поле, покрытое щебнем и золой, которое зарастет лесом. Приказ штаба фюрера от 7 октября 1941 года, подписанный Иодлем: капитуляции Ленинграда не принимать, беженцев из города гнать обратно огнем, бомбардировками и артиллерийским обстрелом сровнять город с землей.

Документ этот нам не был известен, но мы уже чувствовали, что такое фашизм.

А беженцев из города не было.

Наша дивизия отступала, оставляя деревни, названия их не отмечены в сводках Информбюро — Танина Гора, Самокражи, Уторгошь. И справа и слева заливало немецкой солдатчиной — Кингисепп, Луга, Псков. А в газетных сводках появлялись города моего детства — Новгород, Старая Русса, а между ними были тоже мои деревни и полустанки — Кневицы, Замошье. Помню, как я вздрогнул, услышав по радио: Лычково,— значит, и оно тоже. Ничего не оставалось. Никакой России, моей России, которую я знал, в которой я жил. Только Ленинград, один Ленинград, и еще Москва, где

я был несколько раз. И вокруг Ленинграда уже не было ни Петергофа, ни Гатчины, ни Павловска.

Ленинград был мой дом, и дальше я никуда не хотел уходить, даже если бы мог, — вот в чем дело, приятель Клемма.

Австралийцы, с которыми я встречался в Австралии, — славные ребята. Там в каждом городе есть военные музеи и мемориалы. Красивые торжественные здания, очень хорошо сделанные, с памятниками, с именами погибших солдат, с приспущенными знаменами. Такое впечатление, что Австралия весьма воинственная держава, как будто история ее полна войн.

Белл Дэвидсон воевал в эту войну, кажется с японцами. Мы сидели с ним у Алана Маршалла и толковали о войне.

Белл Дэвидсон сказал:

— Война — скучное занятие. Нигде мне не было так скучно, как на войне. Мы дошли от безделья и скуки. Я удивлялся. Может, то была другая война?

Если бы Дэвидсон понимал по-русски, я бы просто выматюгался. Бывают случаи, когда самое милое дело — выругаться.

— Нет, нам не было скучно, — терпеливо сказал я, — видите ли, дорогой Белл, мы воевали с фашистами, и на своей земле. Они заняли наши города, нашу землю.

Прошло каких-то двадцать лет после войны, и приходилось рассказывать про такие вещи.

Алан Маршалл, тот выругался. Алан совсем не воевал, но зато он был в Советском Союзе и в Германии, и для него понятие «скучная война» звучало кощунством.

Зачем спустя двадцать лет где-то в Австралии мы, писатели, — ни один из нас не пишет о войне, — говорили об этой старой войне, спорили, ссорились? Я не хотел о ней вспоминать, меня куда больше интересовала Австралия, интересовал Белл Дэвидсон — превосходный писатель и наш друг, один из любимых моих писателей Алан Маршалл, его дом, хозяйки его дома — две яростно добрые женщины, — сестры Алана, его сад, поразительная судьба Алана, детские рисунки, развешанные в его кабинете, да мало ли что. А в Пакистане на кой черт мне нужны были разговоры о немцах, о гитлеровцах, в этом таинственном для меня городе Карачи, где по улицам между роскошными машинами бредут верблюды, запряженные в телегу, где мчатся

авторикши с колясками, разукрашенными мишурой, стеклярусом, как некогда наши карусели. В зеленом саду отеля бесшумно скользили стройные сарацинки в белых и розовых сари, официанты несли большие блюда — бхуджи и медные кувшины — лота, так звучно называли их. Мне хотелось узнать о кастах, о нищих, о Упанишадах, о борьбе с чумой. Вместо этого мы говорили о войне с Германией.

Я не начинал этого разговора, я избегал его, но всякий раз он возникал сам по себе.

Однажды мне показалось, что этих разговоров скопилось слишком много, лучший способ отделаться от них — написать что-либо, например очерк. Но почему-то очерк не получился. После войны я четыре раза приезжал в ГДР и всякий раз, возвращаясь, хотел написать о своей поездке. Не путевые картины, а о том, как бывший солдат приехал в Германию. Не бог весть как оригинально, и чем дальше, тем более избитой становилась эта тема. Я начинал и бросал где-то на половине. А казалось бы, чего проще — советский солдат среди тех, кто стрелял в него и в кого стрелял он и промахнулся. Встречи промахнувшихся.

Мне было бы легче, если б я мог считать приятеля Клемма Кристенса сукиным сыном. И если б я мог в чем-то заподозрить Белла Дэвидсона. И того редактора газеты в Карачи, который на приеме стал доказывать, что мы не имеем права запрещать фашистскую литературу у себя. Если мы свободная страна, чего мы боимся издать «Майн кампф» Гитлера и всякие записки фашистов?

Они знали про нашу войну главным образом из книг Александра Верта, которые переведены на многие языки. Я читал Верта, это честные книги, он провел все годы войны у нас, английским корреспондентом, он знает многое из того, что я, например, не знал, но он и не знает многое из того, что мы все знали, вернее — чувствовали. Верт хорошо поработал, и книги его хорошо работают. Но неужели мы сами не могли написать о своей войне? Историю ее — не академическую много томную, которую пишут военные специалисты и историки. А историю душевной нашей жизни в годы войны — как мы жили, как мы воевали, что думали, что чувствовали, как менялись мы и наши чувства. Наше чувство к Родине, наше понимание ответственности за судьбу мира, как менялось наше отношение к не-

мцам. Ведь оно было разным в первый месяц, потом осенью, потом зимой сорок первого, и другим после Сталинграда, и другим после Курска. И когда мы вошли в Германию.

В 1966 году одна знакомая двадцатилетняя девушка, случайно прочитав военные статьи Эренбурга, была возмущена — как так можно писать о немцах:

«Немцы не люди... отныне слово «немец» для нас самое страшное проклятие... Нельзя стерпеть немцев. Нельзя стерпеть этих олухов с рыбьими глазами, которые презрительно фыркают на все русское...»

— Как не стыдно!

— Кому не стыдно?

— Как ему не стыдно! Как не стыдно перед немцами. Так обзывать народ, нацию.

Она говорила это в 1966 году. А Эренбург писал в 1942 году, в августе, когда немцы шли на Сталинград, наступали на Северном Кавказе. Я помню, как нужны нам были статьи Эренбурга, ненависть была нашим подспорьем, а иначе чем было еще выстоять. Мы не могли позволить себе роскошь разделить немцев на фашистов и просто мобилизованных солдат, шинели на них были одинаковые и автоматы. Это потом, в сорок четвертом, сорок пятом, стали подправлять, корректировать, разъяснять, и то мы не очень-то хотели вникать. А тогда было так. Были стихи Симонова «Убей его!» и стихи Суркова, статьи Толстого, Шолохова, Гроссмана — никогда литература так не действовала на меня ни до, ни после. Самые великие произведения классиков не помогли мне так, как эти не бог весть какие стихи и очерки. Сейчас это могут еще подтвердить бывшие солдаты и солдатки, с годами это смогут объяснить лишь литературоведы.

Ах, неужели сегодня кому-то наши чувства могут показаться заблуждением? Да, представьте себе, дорогой папаша. Неужели эта девушка, толковая, искренняя, выслушав все, скажет:

— И все же так нельзя было...

У нас было много ошибок в ходе войны, больших и малых, генералы пишут воспоминания и пересматривают ход операций. Под Харьковом, под Берлином. Но есть вещи, которые не следует пересматривать. Бесмысленно. Ненависть не может выбирать выражения, быть предусмотрительной, дальновидной и политической.

Томас Манн пишет в одном из писем, что сделка с дьяволом, легенда о Фаусте, — легенда, типичная для немецкого народа; типично желание вступить в такую сделку, и тут не может идти речь об обмане: дьявол обманул — на то он и дьявол. Фауст знал, что он имеет дело с рогатым, а не с ряженым, Фауст шел на все.

Ах какой это был прекрасный, чистый лес. На повороте дороги между старыми елями открылся румяный Лойтенберг, весь сразу, с его площадью, где блесстел тощий фонтан, с узенькими улочками, кузницей, старым-престарым разрисованным домом семнадцатого века, знаменитым тем, что он единственный спасся от старого-престарого пожара; с прекрасными его кондитерскими и одиннадцатью его пивными, которые мне предстояло обойти. Больше всего меня восхищало, что на две с половиной тысячи жителей есть одиннадцать пивных. Может быть, в одной из них я найду его... Ровный слой пены лежал на пиве, живописней и аккуратней, чем снег на рыжей листве дубов. Я спускался с горы легкий, и, если бы у меня не было памяти, я был бы сейчас полностью счастлив. Иногда я досаую оттого, что забываю свои ощущения, чьи-то слова и даже целые события из своей драгоценной жизни. Большой же частью память мешает мне, многого я не хочу помнить, воспоминания мешают видеть мне вещи такими, какие они есть. Тени, которые отбрасывают вещи, стали слишком длинные. Память надо чистить, как ящики письменного стола. Вместо того чтобы, подпрыгивая и напевая, спускаясь вниз, любуясь этим ухоженным, воински одновозрастным лесом, я вдруг остановился и стал вспоминать другой лес, совсем непохожий польский лес, там, где была ставка Гитлера — «Волчье логово».

КНОПКА

Бункера были взорваны и за двадцать лет заросли березняками и лозой. Подальше был старый лес, мрачноватый, глухой, с густым подлеском, таким, наверное, он был и во времена рейха — маскировал главную ставку.

Когда советские войска вступили в Восточную Пруссию и стали приближаться к Чернику, тогда ставка была взорвана.

Чудовищные нагромождения серых железобетонных глыб — вот что осталось от главной ставки тысячелетнего рейха, от всей его ставки. Обломки взорванных сооружений, обломки с трех-, пятиэтажные дома, это всего лишь обломки, силой взрыва их раскидало, нашвыряло, вывернуло из земли, создав пейзаж фантастический, угрюмый, напоминающий следы какого-то мирового катаклизма, какой-то нездешней катастрофы. Никогда я не видел подобных развалин, развалины Берлина и Дрездена не производили такого впечатления. Там были остатки человеческих жилищ, каких-то зданий, оставались понятные каркасы с оконными проемами, с перекрытиями, лестничными маршами. Тут же ничего человекообразного — рваные массивы сплошного бетона, перекореженные прутья арматуры и опять треснувшие скалы железобетона. Вершины их уходили ввысь — отвесные стены, на которых видна геометрия швов и кое-где узкие проемы входов, ведущих вниз. Сами помещения ставки находились глубоко внизу, уходили в землю на несколько этажей, может на пять, может на шесть, сейчас это неизвестно. Это был целый подземный город, сложная система бункеров, с лифтами, кабинетами, залами заседаний, кухнями, спальнями — бункер Геринга, бункер Гитлера, бункер штаба, бункер Кейтеля, еще чьи-то бункера. До сих пор с историей главной ставки связано множество легенд, тайн. Имеющиеся сведения скудны и часто противоречивы. Судя по некоторым данным, проектные работы начались чуть ли не с 1934 года, а в 1936-м здесь «организация Тодт» приступила к строительству. Знаменитые «работники Фрица Тодта», «команды Тодта», строители Атлантического вала. Нам рассказали, что проектировали сооружения ставки итальянские инженеры, они же создали рецепт этого, особой прочности, бетона, рецепт, до сих пор неизвестный. Итальянцев наградили и отправили самолетом в Рим, но в Альпах самолет разбился, и ни одного из тех, кто проектировал и первоначально руководил строительством, в живых не осталось. Все как в худших детективах. Озера, окружающие ставку, были использованы для системы затопления. В случае необходимости взрыв должен был уничтожить входы в бункеры и затопить нижние этажи всех без исключения сооружений. Это и было сделано. Пока попытки как-то проникнуть в бункеры, спуститься вниз не увенчались успехом. Ни с помощью аквалангистов,

ни подрывников, ни саперов. Самое для меня примечательное было не в этом. А заключалось оно в том, что, значит, уже в тридцатых годах, пусть в конце тридцатых, ставка располагалась с расчетом на Восток, то есть на войну с Польшей и СССР.

Тейер де Шарден пишет по поводу эволюции: «Ничто в мире не может вдруг объявить в конце, после ряда совершаемых эволюцией переходов, если оно незаметно не присутствовало в начале».

Еще в генах фашизма была запрограммирована война с нами. Это существовало в том наборе хромосом, из которого развивался фашизм. Предопределено заранее его природой.

И тут я услышал факт, пожалуй, еще более знаменательный. Историк, который показывал нам место, где было совершено покушение на Гитлера 21 июля 1944 года, — как Гитлер вышел из своего бункера и прошел в летний домик, как фон Штауффенберг пронес свой портфель с миной, — вдруг случайно обмолвился про дежурного офицера и пульт. Оказывается, с самого начала, с момента постройки «Волчьего логова», существовали дистанционный пульт и дежурный офицер, обязанный по приказу нажать кнопку, чтобы взорвать ставку. Представляете, с конца тридцатых годов он сидел у кнопки, этот офицер. Немецкие армии занимали Польшу, Чехословакию, Европу, перешли советскую границу, заняли Украину, подошли к Москве, а офицер сидел у кнопки. Под всеми этими бункерами, под всеми помещениями штабов, под планом «Барбаросса», под Герингом, Кейтелем, Гиммлером, Гитлером была заложена взрывчатка. И они знали, что есть кнопка и перед ней дежурный офицер. Снаряды падали на Невском, дымили печи Освенцима, Гитлер прогуливался под Винницей, в Крыму проектировался новый курорт для воинов рейха, а дежурство офицера у кнопки не прекращалось.

Обычно изучают, исследуют психологию Фауста, его трагедию, психологию Вагнера, Маргариты, но редко кого занимает психология Мефистофеля.

Дежурный офицер дождался, он нажал свою кнопку, заряды сработали, и вот я брожу среди железобетонных скал — развалин тысячелетнего рейха. Он, этот рейх, был рассчитан на тысячу лет, и тем не менее была кнопка. Ген кнопки, ген страха, неуверенности тоже входил в набор хромосом. Впрочем, понятие гена было

крамольным. Врожденные качества не признавались. Возможно, надеялись на «влияние среды».

Бетон растрескался, из трещин растут березки, кусты, за двадцать лет природа славно поработала, корни делают свое дело, лучший бетон «Тодткоманд» не может устоять перед вульгарной травой. Неподалеку от бункеров ресторанчик, сюда приезжают автобусы экскурсантов, велосипедисты парочками, посмотрев, потрогав, поахав, разбредаются и гуляют, лазают по развалинам, больше не вспоминая о прошлом.

Обстоятельства сложились так, что я приехал сюда прямо из Германии, из Бухенвальда. Наверное, поэтому меня так обрадовала эта польская парочка, гуляющая среди бункеров Гитлера и Гиммлера. Девушка в голубеньких шортах прыгала по-козьи через расщелины железобетонных хребтов, хохотала. Историк выгонял мальчишек из развалин. «Безобразия, — говорил он, — чем вы занимаетесь, это вам не уборная!» Конечно, он был прав, но я бы тоже с удовольствием помочился на ставку тысячелетнего рейха. Не мешало бы иметь такое местечко на нашей планете, кроме всех музеев типа Майданека, Бухенвальда и прочих, где люди могли бы не только проклинать фашизм, но и помочиться на него.

Борьба с фашизмом была, может быть, первой в истории человечества всемирной заботой — заботой, объединившей народы обоих полушарий. С тех пор планета наша стала куда меньше и продолжает уменьшаться, и всемирных общих забот становится все больше.

Бруно Апитц поднялся на ступени памятника, начал произносить речь и заплакал. Он не хотел плакать, он готовился сказать какие-то очень важные слова, потому что стояли писатели из разных стран — Пабло Неруда, Сароян, Джанни Родари, Астуриас.

Триста, а может быть, четыреста писателей. Они впервые были в Бухенвальде. А Бруно Апитц был узником Бухенвальда. Он написал роман — «Голый среди волков». Ему ничего не надо было сочинять. Он сам прятал мальчика от капо. Иссеченное морщинами, сухое лицо Бруно Апитца мало чем отличалось от бронзовых лиц узников на памятнике.

Мы ехали из Веймара. Вдоль всей дороги цвели яблони. Никогда еще я не видел Германию такой нарядно-белой. Рядом со мной сидел американский писатель. Мы говорили с ним о книгах, которые нравились нам обоим. В автобусе были американские, английские

и итальянские писатели. Они шутили и веселились, это были славные люди, и погода была отличная, и за окнами было красиво. У них было хорошее настроение потому, что они не представляли, что их ждет впереди. А я был в Бухенвальде пять лет назад. Когда по телевизору вечером показывают спортивные новости, какой-нибудь футбольный матч и я про результат уже слышал, его уже передали, то странно смотреть, как на трибунах кричат, комментатор нервничает, строит прогнозы, а ты сидишь как господь бог, которому все известно, и смотришь на эту людскую суету.

Приехали в Бухенвальд, выгрузились из автобуса, и я наблюдал, как постепенно, толчками, менялись выражения лиц.

Как и пять лет назад, на пустом плацу лагеря было ветрено. Ходили группы экскурсантов, было много школьников. У печей, холодных печей, где лежала холодная зола, я встретил писателя Иржи Гаека. Он с силой приглаживал свои короткие волосы, такая у него привычка.

— Я все думаю, — сказал он мне. — Сплю и думаю, бедная моя голова. — Он, морщась, следил за школьниками. — Скажи, нужно ли это показывать детям?

Откуда я знал. Может, нужно. А как иначе внушить им ужас, и отвращение, и ненависть?

— А может, такая доза слишком велика? — сказал Иржи.

К нам подошли югославы. Они все воевали партизанами, они пережили всякое, и сейчас они вели себя как солдаты, спокойно, запоминаяще оглядывая лагерь.

— Мы тоже могли попасть сюда, — сказал кто-то из них.

Так и я тоже мог попасть в Бухенвальд. Это никогда мне и в голову не приходило. Мне стало жарко — вспомнился бой под Таниной Горой, когда наскочил на немцев, и потом — как мы шли из окружения.

За эти годы ничего не выросло на плацу. Голый, пустынный, может, его специально сохраняли таким. Но в Освенциме тоже почти ничего не росло, и под Пулковом, где мы сидели в окопах, там до сих пор плохо росли кусты. Слишком много металла там было в земле. Накануне отъезда я ходил по тем местам со своим комбатом. Мы разыскивали старые, заросшие землянки. Я сказал, что еду в Германию. Комбат пожал плечами.

— Я бы не мог с ними... — сказал он. — Я все понимаю, но я не могу...

Вечером мы праздновали День Победы, то был совсем особенный праздник двадцатилетия победы, после 1945 года еще не было такого. На набережной молодежь качала ветеранов. Все были хмельные, а пьяных не было, солдаты надели ордена, и на солдат смотрели с восхищением, так же как двадцать лет назад. Я снова чувствовал себя победителем, а главное, я опять был солдатом. И я узнавал солдат среди этих постаревших мужчин в пиджаках и пальто. Именно солдат, мне не нужны были интенданты, и журналисты, и прочие вполне заслуженные деятели. Солдат можно было узнать по орденам Славы, по гвардейским значкам, иногда по ранениям и еще по тому солдатскому, что остается до конца дней. В первые годы после войны это было проще — мы донашивали фронтовые шинели, мы еще носили нашивки за ранения.

Мы вспоминали, как год назад, Девятого мая, в ресторане к нам подошел седой человек со стаканом вина.

— Солдаты? — спросил он. — Вы меня, конечно, извините, но такой день. Стал я сегодня надевать ордена, дочь говорит: папа, зачем ты это делаешь, это не модно, теперь не принято. И я снял. И вы тоже, я вижу, сидите без орденов. Не надели? А чего нам стыдиться? За кого мы стыдимся? Вы меня, конечно, извините. — Он отошел, не чокнувшись.

А через год восьмого мая я поехал в магазин Венторга купить новые ленточки к своим орденам. На Невском стояла длинная очередь. Продвигалась она медленно. У прилавка мужчины писали на бумажках списки медалей и орденов. Перечни городов России и столиц Европы.

Через несколько дней я уезжал в ГДР, и на душе у меня была путаница.

По каменным ступеням мы спускались с горы Бухенвальда на Аллею Наций. В каменных чашах горел огонь. Черный дым стлался над гранитными обелисками. Олесь Гончар и я несли венок. Делегации всех стран растянулись в длинную процессию. Каждая делегация возлагала венок к обелиску своей страны, в память соотечественников — жертв фашизма. Мы шли мимо камней с надписями: Венгрия, Голландия, Польша, Франция, Чехословакия. Тут была почти вся Евро-

па. Одна за другой из общей колонны отделялись делегации. Смоляное факельное пламя плескалось на холодном ветру. Горький копотный дым напоминал о печах Освенцима. Мы положили венок на каменную плиту. Я подумал о моем школьном друге — Вадиме. Он пропал без вести в первые месяцы войны. Я подумал о нем мельком, потому что я не люблю думать о нем как о мертвом. До сих пор Вадим не может стать мертвецом.

Мимо прошли австралийские писатели — они несли цветы. Они не знали, куда положить их. Австралия не имела на Аллее своего обелиска. Шли чехи, румыны, итальянцы, австрийцы, американцы, канадцы, японцы... Здесь были писатели многих стран, многие из них сидели в тюрьмах, книги их запрещали, сжигали, были писатели, знающие фашистов по фильмам, — о чем они думали, что вспоминали они в эти минуты?

Первая история про венок. Снаружи здание отеля не имело окон. Стены представляли собой сплошной орнамент, сквозное каменное кружево. Отель возвышался огромный и легкий. «Удачное сочетание современного стиля с национальными традициями» — так писали в путеводителе. Отель был одним из тех, которые изображают на буклетах, а на карте городских достопримечательностей помечают кружком с цифрой. Его называли «американский» отель. Нищих сюда не подпускали. Они кружили у нашего отеля. Я уже знал их в лицо. Кроме них у нашего подъезда постоянно вертелись менялы, сутенеры, липкие молодчики, которые предлагали опиум, мальчиков, адреса игорных домов.

У американского отеля было пусто. К длинному подъезду подкатывали длинные машины. Навстречу выходили швейцары. Их было всего два, не больше, они брали багаж и исчезали.

Здания без окон всегда таинственны. Кто знал, что через несколько часов нам придется побывать внутри. В случайности и была прелесть нашей здешней жизни. И в эту страну мы попали случайно. Судьба одарила нас приключением, чистым приключением — редчайшей вещью в наше время — жестких программ и точных расписаний. Я впервые видел Восток. У меня не было никаких заданий, целей, и я не пытался ничего выбрать, ни во что не вмешивался, стараясь не помешать неожиданностям. С утра мы бродили по базарам. Мастера в крохотных ярко освещенных лавочках ткали шелка, чеканили серебряные блюда. На низких скамеечках

сидели женщины, перед ними разворачивали рулоны огненных шелков, золотое шитье. Глаза женщин сверкали в прорезях чадры. Невеста протягивала руку с алыми ногтями. Продавец делал неуловимое движение, и тугой браслет плотно охватывал тонкое запястье. Дешевенький транзистор наигрывал хали-гали. Старинные медные кувшины дребезжали. По тротуарам ползали прокаженные. Дымились жаровни уличных кондитеров. У ограды дворца стояла кровать, на ней лежал больной старик, его осматривал знахарь, мы перешагивали через спящих, они лежали на тротуарах, целые семьи жили на улицах, с ребятишками, с кострами домашних очагов. По мостовой мчались длинные блестящие «мерседесы», они останавливались перед красным огнем светофора рядом с верблюдом, запряженным в телегу. Мы жевали бетель и сплевывали красную слюну. Дымя и брэнча, шли по рельсам дизельные трамваи. Город поражал запахами, яркостью, фантастическими сочетаниями.

Контрасты были слишком обнажены. Нищету не прятали, роскошь не маскировалась. Это был Восток, безнадежно для меня непонятный, иной мир. Недоступный моим социальным страстям и познаниям. Здесь действовала другая система измерения, я не знал ее и мог лишь наблюдать, без обобщений и выводов. Окружающее смотрелось как видовой фильм, отличный фильм, объемный, цветной, панорамный фильм о загадочной стране.

Медленно двигаться сквозь этот плотный желтый зной, смотреть и записывать все, что попадалось на глаза. Больше я ничего не мог и не хотел. Тщательно и точно описывать краски, запахи, выражения лиц, собственные чувства, так, как это умел делать Бунин. Десятки страниц можно было заполнить описанием базаров, уличной толпы, нищих, мечетей с минаретами, оборудованными громкоговорителями. Писать про это было бы интересно и, наверное, читать тоже. Потому что интерес писателя всегда передается. Там были бы одни факты и еще впечатления. Только материал, все остальное пусть домысливает читатель.

Под вечер к нам пришел мистер Д. Мы сидели у меня в номере и болтали. Мистер Д. курил тонкую сигару. Гибкий стебель дыма тянулся к вентилятору. И сам мистер Д. был как этот стебель, с ловкостью фокусника он уклонялся от какой-либо политики, экономики, ста-

тистики, истории. Стоило коснуться чего-либо серьезно — и он сворачивал на шутку, из всего нашего разговора нельзя было запомнить ни слова. Единственное, что я запомнил, это его улыбку. Улыбка мистера Д. не имела никакого отношения к разговору, она занималась своим делом — она изображала радость по поводу нашего приезда, демонстрировала гостеприимство, устанавливала отношения коллег, особые отношения писательской братии — еретиков, скептиков, бунтовщиков, понимающих друг друга в любой стране.

Когда мы вышли на улицу, никто из нищих и этих липких молодчиков не подошел к нам. А между тем я бы не отличил мистера Д. от европейца. В темном дакроновом костюме, змейка-галстук, смуглый, с блестящими крылышками пробора он вполне походил на итальянца, грека, испанца. И тем не менее впервые мы свободно прошли к стоянке машин, и все наши знакомые старухи, калеки, слепая раскрашенная девица и шагу не сделали в нашу сторону. Непонятно, как удалось это мистеру Д., он не позволил себе ни одного предупреждающего жеста, ни одного взгляда, он разговаривал с нами и улыбался.

Сперва мы поехали с ним в клуб, а оттуда — в американский отель. Внутри отеля было прохладно. Свежий кондиционированный воздух продувал все это огромное здание. Мы прошли в бар, заказали виски. Мы бросали в стаканы лед, подливали содовую, и мистер Д., улыбаясь, увлеченно говорил ни о чем. Он и сам ни о чем не расспрашивал, ни разу он не спросил о нашей стране, о нас — казалось, его ничто не интересует. Обольстительная улыбка его без устали порхала меж нами. Мне вдруг захотелось поймать ее, спрятать, чтобы увидеть его самого. Может, подействовало виски, но я плюнул на все правила этикета. «Нет, вы мне ответьте», — резко сказал я. В конце концов, я должен был что-то узнать про эту страну. Или хотя бы про мистера Д. Какие-то его симпатии, антипатии, что-то подлинное, ну в чем-то, не знаю — дети, женщины, поэзия, американцы, пьянство, — все, что угодно, так чтобы вспыхнули его ласково-скользкие глаза, чтобы стукнуть по столу, разругаться или хлопнуть друг друга по рукам, обняться.

Казалось, я загнал его в угол, но в последнюю минуту он выскользнул. Он лениво играл со мной, оставляя все более любезные улыбки, — не человек, а само оли-

цветворение радушия и дружбы, которой не существовало. Всякий раз я словно проскакивал по касательной к миру его интересов. Чем дальше, тем сильнее я ощущал свою непричастность к происходящему. Как будто я и впрямь был всего лишь зрителем, и меня окружал стереозэкран, и мистер Д. двигался на экране, а я сидел в зале, а мог и не сидеть, неизвестно вообще, существовал я или же меня не было.

— Восток есть Восток,— со злостью сказал я.

Мистер Д. учтиво засмеялся.

— Вам надо поехать в Лахор,— сказал он.— Там вы увидите настоящий Восток.

И он стал расписывать Лахор, соблазняя нас примерно так же, как мы соблазняем наших иностранных гостей стариной Новгорода или красотами Ленинграда. Я сказал об этом, и тут вдруг мистер Д. спросил, не из Ленинграда ли я.

Впервые он задал мне вопрос.

— Я был там,— сказал он и перестал улыбаться. Без улыбки он выглядел усталым.

— Вам понра...— машинально начал я и запнулся. В последний момент я успел тормознуть. Меня остановило его лицо. Я не подозревал, что у него может быть такое лицо — хмурое, подсушенное лицо моторикши. «О да,— ответил бы он,— мне понравился Ленинград», и я бы спросил его про Эрмитаж и про набережные, и он восторгался бы и хвалил и потом предложил выпить за Ленинград и исчез бы за своей улыбкой.

Но я удержался. Мистер Д. ждал. Что-то подсказало мне не торопиться. Мы молча допили виски. Мистер Д. пригласил осмотреть отель.

В холле, у фонтана, прохлаждались жилистые англичанки. Было много разных кафе, ресторанчиков, играла музыка, бродили пьяные американцы. Мы поднялись в лифте, обитом тисненой красной кожей, на самый верх, в ресторан «Луна». Там горели ароматные свечи, посетители сидели на подушках, молоденькие официанты кланялись мистеру Д. Мы вышли на балкон, в душную ночь. Внизу горел, переливался цветными огнями город. По-прежнему шел какой-то незначущий разговор, но мистер Д. стал рассеян, что-то беспокоило его. А я как ни в чем не бывало любовался ночной панорамой. Темнота скрыла лачуги, навесы базаров, крытые ржавой жестью уличные мастерские, нищету,

лохмотья, грязь, груды отбросов, оставив лишь огни фонарей, свет окон, извивы реклам, подсветку дворцов; в этой лживой тьме все огни выглядели прекрасными: и тусклое пламя уличных жаровен, и ночники бездомных поселенцев, и фары моторикш, и неоны казино. Этим городом можно было восхищаться только ночью, мистер Д. удачно выбрал момент.

Он ответил мне вежливо-безразличным смешком, я ни о чем не спрашивал, но он ждал, я ощутил напряжение вдруг возникшего поединка. Теперь я существовал для него. В чем тут дело; я еще не понимал. Темнота скрывала его лицо.

— Эти официанты, они студенты нашего университета. Прирабатывают, — сказал он.

— Да? — вежливо удивился я.

Мы помолчали.

— Ваш город для меня тоже загадка, — неожиданно сказал он. — Хотя я немало изъездил.

В Ленинграде на него наибольшее впечатление произвело Пискаревское кладбище, где лежат жертвы блокады. Свыше шестисот тысяч ленинградцев, погибших от голода и обстрелов, дневник школьницы, выставленный там, фотографии заснеженного города, девятьсот дней блокады — как мог город перенести подобное, какие силы помогли ему выстоять? Разумеется, мистер Д. и до поездки читал и знал о героизме ленинградцев, но, когда он увидел своими глазами, он перестал понимать. Вернувшись домой, он ничего не сумел объяснить друзьям.

— У вас ведь не было религии, которая делала людей фанатиками? — спрашивал он. — Фанатики, они способны на любые страдания, мы на Востоке это хорошо знаем. Горожан не собирали на молитвы, не укрепляли их дух никакими религиозными обрядами. Как же они могли продержаться?

Ночь помогла ему, да и мне: если б он заметил мою усмешку, мы снова бы стали чужеземцами, живущими в разных, бесконечно далеких мирах. Да и вправду ли я был усмехаться? Сейчас меня занимало не столько его незнание, сколько то, что имелось, оказывается, в этой жизни событие, соединяющее нас. Наверное, было не только Пискаревское кладбище, но именно оно помогло нам.

— Шестьсот тысяч, ведь это целый народ, — сказал мистер Д. — Древние Афины имели население всего

двести пятьдесят тысяч. Для меня ленинградцы — это государство, добровольно избравшее смерть.

— Почему? — сказал я. — Мы не были самоубийцами.

Я попробовал ему объяснить, как это было.

— Представляю себе, как вы должны ненавидеть немцев, — сказал он.

Мне хотелось ответить ему совершенно честно, и я понял, как это сложно.

«Нельзя отождествлять немцев с фашистами. Мы ненавидим фашизм. Народ не может быть плохим, немецкий народ дал миру...» — и далее в том же роде. Но тут же я раньше него задавал вопрос: «Но кто же, если не народ, отвечает за фашизм?» И тогда начинался старый, безвыходный спор.

Ненавижу я до сих пор?

Не могу простить?

Не могу забыть?

«Простим, но не забудем» — так написано было на одном из французских памятников.

Я задумался и пропустил начало его рассказа. Мистер Д. рассказывал, как с какой-то делегацией он приехал на Пискаревское кладбище. Ему выпала честь возложить венок к подножию памятника. В группе были немцы, один из них обратился к мистеру Д. с просьбой дать им венок, они хотят возложить венок на этом кладбище.

— Не сразу я решился на это, — рассказывал мистер Д. — Но я подумал, что немцам это нужнее, чем нам. Я передал венок немцу. Вы знаете, там надо пройти всю главную аллею до памятника. Немец, очевидно, понимал, что это будет нелегкий путь. Мы шли мимо насыпей — могил. Мы смотрели на могилы и на него. Он сам подставил себя под наши мысли. Это был мужественный человек.

— Не знаю, — сказал я.

— Войдите в его положение, как еще он мог выразить свое отношение?

— Позвольте, я расскажу вам другую историю.

Вторая история. Услыхал я ее в Берлине, от моего друга Отто Г. Он тоже в составе какой-то немецкой делегации приехал в Ленинград, и они тоже посетили Пискаревское кладбище и взяли с собой цветы. Все происходило так же, с одной лишь разницей — Отто Г. не пошел на кладбище. Он остался у входа ждать

своих спутников. А между тем он имел, наверное, большее право, чем все остальные, идти по этому кладбищу и возложить цветы у памятника. Он старый коммунист, в годы фашизма сидел в концлагере, он один из тельмановской гвардии. Почему он не пошел? Не мог, сказал он мне. Не мог, хотя, казалось бы, лично его совесть была чиста. Он не мог — вы это понимаете?

— Да, — подумав, сказал мистер Д. — Может, следует предпочесть вашего немца.

Я смотрел на ночной город и ничего не видел.

— Черт возьми, мы все испортили, — довольно грубо сказал я, но мистер Д. не обиделся.

Не было смысла дальше стоять здесь. Мы спустились в бар и еще выпили. Кажется, мистер Д. больше не улыбался, но теперь это меня не занимало. Меня вообще больше ничего не занимало ни в этом отеле, ни в этом городе. Я отказался поехать в Лахор. Войдя к себе в номер, я включил вентилятор и включил эркондишен. Постель была влажной. Я лежал и думал о том, что вряд ли мне когда-либо еще выпадет случай увидеть Лахор, его сказочные мавзолеи, караван-сарай, пагоды, дворец Великого Могола, через некоторое время я, наверное, пожалею и не смогу объяснить, почему я отказался туда поехать.

И мистер Д. тоже больше не настаивал, не уговаривал. Когда мы прощались, он вдруг похлопал меня по плечу, я похлопал его, это была хорошая минута, одна из тех минут, когда люди становятся совершенно близкими.

...И третья. Утром Девятого мая я поехал на Пискаревское кладбище. Мне хотелось побродить там в одиночестве. Никак я не ожидал, что там окажется столько народу. Непрерывно подъезжали переполненные автобусы, такси, инвалидные коляски. Огромное поле было полно людей. Происходило какое-то стихийное, никем не организованное шествие. Собственно, и шествия-то не было. Присмотревшись, я заметил, что люди шли к памятнику, шли, поглядывая на низкие широкие могильные насыпи, еще не обсохшие от растаявшего снега, доходили до памятника, возвращались и уезжали. Каждый был сам по себе, и не было никакого ритуала, ни березок, какие завивают на троицу, ни кутьи, и цветов еще в городе не было, редко у кого в руках были сниклые букетики подснежников. Дул холодный ветер, и многие торопились, нельзя понять, что заставило их

добираться сюда со всех концов города. Инвалиды, пожилые люди, старушки, но много и молодежи. Некоторые клали на пожухлую старую траву могил конфеты. Почему конфеты — может, потому, что не было цветов?

Я почувствовал, что мне тоже хочется как-то выразить свои чувства погибшим. Может быть, в этом было что-то языческое — не знаю. Я пошарил в карманах, ничего у меня не оказалось, кроме пачки сигарет, я положил ее на дерновый откос, у каменной плиты «1942». Сигареты «Кронштадтские», неважные сигареты, но я вспомнил, что мы курили тогда, зимой сорок второго.

И эта карамель, если б они могли иметь эту карамель... Меня окликнули. Я с трудом узнал Максимова. Мы служили с ним несколько месяцев в одной дивизии. Он шел вместе с женой, она держала срезанную герань. Мы свернули в сторону, к одной из крайних насыпей. Они положили цветок, и мы постояли все трое. Максимов сказал, что в блокаду у них умерла девочка, единственный их ребенок, жена повезла ее на санках хоронить и не довезла, свалилась. Жenu подобрали, отправили в стационар, а где похоронили девочку, они не знают, может быть, на Пискаревском. С тех пор они приходят сюда, они выбрали себе эту насыпь, эту братскую могилу.

Спустя несколько месяцев в Доме дружбы был какой-то вечер встречи с зарубежными гостями. В фойе я увидел Максимова. Он беседовал с немцами; когда я подошел, он обрадовался, познакомил меня с ними — однополчанин — и подмигнул им добродушно, без всякого подвоха, он угощал их сигаретами, рассказывал про свой цех — он работал на «Скороходе», немцы показывали свои ботинки, а он свои, все смеялись, Максимов громче всех. Потом пошли в зал слушать концерт.

— Интересно, что делает с нами время, — сказал я, — глупее оно нас делает или мудрее — или всего-навсего делает другими?..

— Послушай, — сказал мне Максимов. — А чем они виноваты? Что ж нам, опять душить друг друга? — Он вытянул свои огромные руки, и я вспомнил, как он тащил застрявшую в грязи пушку.

В маленьком садовом домике Гете у конторки стояла специальная подставка, обитая белой кожей, нечто вроде седла. Гете писал стоя — очевидно, он устал подолгу стоять и сделал себе это сооружение, он закидывал на него ногу и так, полусидя-полустоя, продолжал работать.

— Попробуйте, — предложил мне директор музея.

Я попробовал, получилось удобно. И конторка была мне по росту. Можно было начать писать. Например, «Фауста».

Вы снова здесь, изменчивые тени,
Меня тревожившие с давних пор,
Найдется ль наконец вам воплощенье...

И дальше, удивительные и странные строки:

Я слезы лью, и тает лед во мне,
Насущное отходит вдаль, а давность,
Приблизившись, приобретает явность.

Какое мне дело, что «Фауст» уже написан. Я бы начал его снова, теми же словами, просто переписывал бы, и мне казалось бы, что я тоже причастен к сочинению, это я сочинил, не полностью я, но и я тоже, это про меня, про мою давность, которая ожила, зашевелилась, тревожа меня.

За окном блестел зеленый сад. Тепло исходило от солнечного навощенного паркета.

СТАРЫЕ ДОСКИ КУПАЛЬНИ

Человек, которого я искал, бомбил Ленинград. Рассказывали, что он командовал авиаполком или авиадивизией. Почему-то мне казалось, этого достаточно, чтобы я узнал его сам, прежде чем нас познакомят. Встречу на улице и узнаю. Определю. Городишко-то был крохотный, игрушечный, вырванный из старых немецких сказок, из рекламных проспектов, за два часа его можно было обойти от окраинной кузницы до туристского пансионата. В таком городке трудно было не встретиться. К полудню многие прохожие уже приметились. Я мысленно проверял каждого встречного. Должна была остаться выправка кадрового военного, следы былой власти, положения, конечно, виноватость, раскаяние или затаенность. Какая-то печать «бывше-

го». Правда, я знал только наших бывших. Я привык узнавать их среди стариков, что заполняли скамеечки Михайловского сада. Старики сидели компаниями, листали газеты, играли в шашки, некоторые дремали на солнышке. Старики были разные, ухоженные и одинокие, крепкие и больные. Следы перенесенных инфарктов сквозили в их замедленных движениях. Инсультные руки с глянцевиной кожей сведенных пальцев, багровые лица, вздутые вены — в старости люди становятся куда более разными. Они как проявленные, закрепленные, высушенные снимки, где уже ничего нельзя подретушировать. Былые заслуги, стройки, обиды, увлечения, война, привычка стоять у станка или сидеть за столом — все было видно. Их биографии проступали неудержимо, как вечерние краски заката. Особенно меня занимали бывшие — бывшие шефы, зубры, эти брыластые львы, которых когда-то шепотом звали «наш», «сам», «хозяин». Что-то в них почти всегда оставалось — важность, осторожность, задерганность бессонных ночей, непроницаемость, покровительственная грубоватость. Они умели значительно молчать. Морщины их привычно складывались в жесткую недоверчивость. Другие же, наоборот, сделались говорливы, беспечны, лица их разгладились в неожиданной приветливости.

...Кузнец подковывал тяжелого немецкого першерона. Лошадь понятиливо косилась на своего возчика, который сидел на скамеечке, попыхивая короткой трубкой. Мальчик вышел из булочной с корзинкой, полной рогаликов, и зачарованно остановился перед наковальной. От рогаликов курился ароматный пар. Лошадь деликатно повела ноздрями. Кузнец что-то сказал, и мальчик и возчик засмеялись. Это была милая сценка, умилительная, и добрая, и приятно старинная, и было нехорошо с моей стороны, когда я вдруг подумал: а чем занимались этот кузнец и этот возчик во время войны? Я ничего не мог поделаться с собой — всякий раз, встречаясь с немцем старшего возраста, я мысленно спрашивал: а что он делал тогда, в те годы?

Кем он был тогда, этот лойтенбергский возчик, которому сейчас за пятьдесят? И этот хромой кузнец? Кто подстрелил ему ногу? И чей сын этот мальчик?

Яд этих вопросов отравлял меня. Какое мне дело до биографии отца этого мальчика! При чем тут мальчик? Он сам по себе. Мало ли что делал мой прадед. Понятия

не имею, кем был мой прадед — может, бандит, палач. Где кончается прошлое — вчера? отец? дед?

После того митинга в Бухенвальде мы гуляли с Вернером фон Т. по Веймару. Вернер приехал из Западной Германии. Он читал нам свои стихи. Он скорее походил на боксера, чем на поэта, но стихи были интересные, веселые, он вскрикивал, присвистывал по-птичьи, круглая курносая физиономия его раскраснелась. Ни с того ни с сего я вдруг спросил, кто был его отец. Еще неутихший смех плескался в глазах Вернера, когда он отчетливо перечислял: нацист, лейтенант СС-ваффен, погиб под Сталинградом.

Симпатичность его сразу исчезла, то есть для меня она исчезла, я увидел его арийскую белокурость, крепкий подбородок и этот неуместный смешок. Он почувствовал, как во мне все оцетинилось. Пересилив себя, я сказал, снимая возникшую неловкость, что, конечно, сын не отвечает за отца.

Он медленно повел головой:

— Нет, отвечает.

Он рассказал мне про группу «Искупление». Дети бывших нацистов, эсэсовцев создали в Западном Берлине такую группу, члены ее уезжали в Норвегию, Югославию, в страны, разрушенные, разоренные фашистами, и бесплатно год-полтора работали на стройках. Их было всего несколько сот — юношей и девушек, но они были, и они-то и считали себя настоящими детьми.

Я заставил себя подумать о том, что фашизм и немцы — вещи разные. Фашизм нельзя считать чисто немецким явлением. Фашизм — явление не национальное, а социальное. Мысль давно известная, об этом писали у нас еще во время войны, но понадобились годы, чтобы я сам подумал об этом, и затем годы, наверное, еще нужны, чтобы она стала моим убеждением.

Есть люди, для которых она вовсе не так уж очевидна. Люди и местности. Мне вспомнились всякие местечки в Польше и в Чехословакии и город моего детства Старая Русса. Такой же старинный, маленький городок, с такими же тихими улочками, прохожими, знающими друг друга. С той лишь разницей, что почти ничего не осталось в нем от довоенного города. Все было сожжено и разрушено, кажется, лишь четыре дома уцелело. Я приехал туда через двадцать лет после войны, мы ходили со старым моим знакомцем — учителем истории, и он показывал мне то, чего уже не было. Место,

где стоял гостиный двор, пропахший сыромятной кожей, рыбой, мелкими яблоками «чулановкой». Порубленный немцами курортный парк, разрушенные церкви. Из моего детства сохранилась лишь купальня на соленом озере. Темно-зеленая вода и скрипучие старые доски. Вновь отстроенный город казался чужим. Мы шли по улице Володарского, учитель рассказывал, как здесь вдоль улицы немцы повесили семьдесят человек.

— А ты защищаешь немцев, — сказал он. — Нигде фашизм не принимал такие чудовищные формы, как в Германии. Думаешь, это случайно? Вспомни прусскую военщину восемнадцатого века.

Я не мог вспомнить прусскую военщину восемнадцатого века, и тогда он мне цитировал кого-то: «Отсутствие нравственных идеалов делает их готовыми орудиями для исполнения любых приказаний. Они никогда не размышляют, насколько справедливы эти приказания». Так писали о пруссаках в 1756 году.

— Откуда ты все это поднабрал? — спрашивал я.

— Из немецких книг. Это же писали сами немцы про свою немецкую реакцию.

— Подожди, при чем здесь немецкий характер и немецкий народ? Если писать историю нашей, русской реакции, тоже можно подобрать будь здоров.

— Ничего подобного, поверь, что нигде, например, не было такого произвола и невежества цензуры, как в Германии. Я специально занимался...

Мы вошли в щербатый, разоренный курортный парк. Сохранился большой фонтан. Он шумел под стеклянным колпаком. Стояли незнакомые светлые корпуса санатория. По аллеям гуляли больные, на головах у них были сложенные из газет шапочки. Плеск воды покрывал голоса, пахло железом, солью, сероводородом, поначалу неприятно, а потом что-то очнулось во мне, и по этому запаху, как по следу, я стал искать свое детство.

— Подожди, — сказал я учителю, — не показывай мне дороги, я сам найду.

— Хорошо... Так вот, еще в начале девятнадцатого века прусская цензура, представляешь, превратила Мора в шиллеровских «Разбойниках» в дядю...

Я знал, что надо миновать площадку и музыкальную раковину, где раньше играл духовой оркестр и на скамьях сидели горожане. В бостоновых костюмах с широкими галстуками и значками Осавиахима

и МОПРа. Еще были значки ОДН — общества «Долой неграмотность», ОДР — общества «Друг радио» и старомодные значки — «Смычки города с деревней».

Ни раковины, ни оркестра, ни площадки — ничего не осталось. Пересохлые колеи ободранной земли цеплялись за ноги. Я свернул направо, где-то там должны были быть купальни на тех зеленых озерах.

— ...Если в романе цензор встречал выражение: «У нее была белая пышная грудь», то он заменял: «Спереди она была хорошо сложена». Представляешь? Были запрещены сочинения лучших историков Европы — Тьера, Макиавелли, Гиббона. Даже у латинских и греческих классиков вычеркивали все, где упоминалась республика...

Путаясь, но самую малость, я нашел купальни. Направо — женская, налево — мужская, так и осталось. Я сразу узнал огороженный квадрат купальни, с трех сторон навесы, а с четвертой надводный забор, выходящий в озеро. На солнечной стороне мы разделись и сели на пружинистые теплые доски настила, спустив ноги в воду. Пятки мои ощущали скользкую мохнатость свай, крепкая соленость воды впивалась в кожу. Прошое просыпалось толчками. Я узнал эти доски. И дранку навеса — тот же памятный с детства особый темно-серый блеск, какой бывает у старого серебра. Где-то тут мы взбирались на крышу навеса и ныряли в соседнюю женскую купальню под вскрики девчонок. Под водой выплывали в озеро...

— ...Немецкий народ был разделен на шпионов и обвиняемых. То же происходило у них и в литературе. Положение в литературе, оно весьма показательно. Вся литература разделялась на надзирателей и надзираемых. Сыщики, доносчики. Сикофанты. Честный журналист, писатель нигде не мог выступить против сикофантов. Даже защищаться от их клеветы не мог...

Я закрыл глаза, и мне вспомнилось, как отец учил меня плавать в этой купальне. Как мы сидели с ним здесь последний раз, когда мне было уже семнадцать лет. Белое сухонькое тело отца, коричневая загорелая шея, до кистей коричневые руки, точно в перчатках. При его лесничьей работе курортная эта купальня была для него роскошью, да и Старая Русса после лесных барачков, смолокурен, делянок с бело-желтыми штабелями баланса, какого-то пропса, лесосплавных барж с плотами, гонками, — этот город был для него праздником,

и он нахваливал мне эту купальню, плотную зеленую воду, на которой можно было лежать, красоту и знаменитость здешних мест. Я слушал его вполуха, так же как сейчас учителя. Мне было скучно и непонятно, чего тут хорошего. Восторги отца казались мне наивными.

И вот сейчас отца моего давно уже нет в живых, а я сижу здесь и так же щурюсь на этот хвойный блеск воды, теперь уже зная цену неторопливости и этих пристальных минут. Мне показалось, что отец чувствовал или знал, что когда-нибудь это случится со мной, я приеду сюда. Как будто он забросил то наше прощальное купание в мое будущее и теперь я нашел... Кто знает, может, и он думал тогда о своем отце, о том, как он не понимал его, о своей жестокой отчужденности. Мне представилась цепь, уходящая в прошлое и в будущее, дети, которые возвращаются к отцам слишком поздно, так происходит всегда, и бесполезно предупреждать детей, и торопить их, и требовать, я тоже был в этой цепи и сыном, и отцом, и прадедом, может, и меня коснется это позднее постижение моего правнука, так же как и я сейчас коснулся своего деда, которого я никогда не видал.

— ...А реакция подкупала, развращала, кастрировала лучшие таланты Германии. И они, представляешь, чтобы не оставаться узниками, становились тюремщиками, побрякивали своими ключами. Кого объявляли лучшими патриотами — тех, кто заботился лишь о себе, о своей семье, тех, кто переставал быть гражданином...

Я подумал о Вернере фон Т. и его отце, о нарушенной связи поколений. И еще полнее ощутил счастье этих минут. Пусть поздно, но близость своего отца... Мое понимание его. Что-то сокровенное передавалось, доходило ко мне от этих теплых старых досок... Мне стало жаль Вернера. Дело, за которое погиб его отец, оказалось позорным, преступным, нить была порвана, позади у Вернера была пустота, он не был звеном, он был обрывок.

— ...Нигде «благонамеренные» не были в таком почете, как в Германии...

— Подожди, но было и другое,— сказал я.— Была революция, Либкнехт, Тельман, юнгштурм, Рот фронт, немецкая компартия. Разве мы не гордились немецкими коммунистами? Мы пели песни Эйслера, ты помнишь

Эрнста Буша? Всегда оставалась Германия Томаса Манна и Брехта, и сегодня...

— Ну да, конечно, две Германии, так удобно и просто. А вот не получается.— Он постучал себя по заросшей седым волосом груди.— Внутри у меня никак не разделить. Логически — пожалуйста, я себе доказывал: фашисты виноваты, немцы ни при чем. Поскольку фашизм уничтожен, то все претензии списаны. Ан нет, что-то такое осталось. Я по своей учительской привычке и так и этак выяснял — что именно. Почему осталось. Думаю, ведь не зря осталось. По-твоему, полезно полное отпущение грехов? Должны немцы чувствовать себя виноватыми? Да, да, народ. Некоторые ведь как считают — народ ни в чем не может быть виноват, народ, мол, всегда прав. Извините. Виноваты, перед другими народами виноваты. И пусть отвечают. Чтобы впредь не допускали. Другие народы должны тоже знать — есть ответственность. Существует. Вот именно ответственность каждого народа перед всеми остальными народами...

Но тут мне пришли на ум мои разговоры с молодыми немцами о том, до каких пор нужно напоминать о фашизме, сколько можно виноватить, от постоянных попреков появляется чувство неполноценности, оно мешает душевному оздоровлению народа, я вспомнил их споры и рассуждения о гарантиях и опасностях.

— Ага, им не нравится,— обрадовался учитель.— Страдают, и очень прекрасно. Стрдание — исцеляющее чувство. Да, да, через страдание к добру...— Он вдруг удивленно замолчал, хлопнул себя по голому колену.— Надо же, Федор Михайлович Достоевский это же самое писал, и где, здесь же, в Старой Руссе, может, вот здесь, в купальне, сидел и про это думал...

Меня заразило это удивление. Прошло почти сто лет. То же солнце, такие же поросшие зеленью ступеньки под той же водой, и опять те же мысли и чувства способны мучить людей. И как сто лет назад, мы спорим о том же... Прекрасно, что дух человеческий не привязан ко времени, он сильнее времени, он больше, чем время, земля вращается, а мы можем обгонять ее и возвращаться назад. Не важно, что время движется только в одну сторону и нет обратного пути от смерти к рождению.

...А Лойнтенберг стоял чистенький, целехонький, в красных колпаках черепичных крыш, аккуратный

старичок со всеми своими ратушами, кирками, фонтанчиками, особнячками... Учитель имел право на злость, но имел ли он право на несправедливость?

Шестая по счету пивная, куда я зашел, помещалась под ратушей. Благодушный пивной хмель укачивал меня. Шестой стакан пива появился передо мной, на этот раз пиво было черное. В каждой пивной было свое фирменное пиво, свои завсегдатаи, у них были свои столики, вновь входящий стучал по столу в знак общего приветствия, хозяин приносил ему, не спрашивая, стакан его пива — подогретого, холодного, пива с водкой, пива с вином.

Я сел у окна, чтобы видеть площадь. Играла старенькая радиола. На стенах висели потемневшие гравюры и выведенные готическим шрифтом изречения местных трактирщиков.

Землю нашу украшают женщины и вино.
Мужчины знают это давно.
Поэтому они не хотят умирать,
Чтобы радости эти не покидать.

— Вы ждете кого-то? — любезно спросил кельнер. — Автобус из Зальфельда придет через полчаса.

Голова его была протерта до лысины, когда-то прямоугольные плечи обвисли. Линялые глаза смотрели на меня, словно узнавая. А почему бы нет. Может, он был среди тех пленных, что прокладывали в Ленинграде кабели. Почти год после войны я работал с ними. А может, на фронте, под Кенигсбергом. Или в госпитале. Может, он приезжал в Ленинград после войны. Может, в Прибалтике, когда мы окружили егерский батальон. В Берлине в пятьдесят шестом году... Поразительно, сколько у нас оказалось возможностей встретиться. Неизвестные нам нити связывали наши судьбы. Мир был перемешан, взболтан. Все мы уже когда-то встречались. Чьи глаза смотрели на меня из подвала, когда танки, грохоча, ползли по затихшим немецким городкам, а мы стояли в открытых люках?..

Однорукий толстяк за соседним столиком приветливо подмигнул мне.

Не торопись, когда пьешь, —
Это тебе не игра.
Кто пьет обдуманно,
Тот выпьет много.

Мудрость веселых трактирщиков. Дубовые бочки с медными кранами. Поля с косыми шестами, обвитыми

хмелем... Взболтать перед употреблением. Взболтали. А дальше?

— Здравствуйте! — по-русски уверенно.

Он застиг меня врасплох. Я поднялся, крепко держась за спинку стула. Пивная пошла в пике, воздух стал плотным. Не стоило спрашивать, как он нашел меня, и он ведь не стал бы спрашивать, если б я увидел его первый.

— Садитесь.

Ему было за пятьдесят, но он сохранил спортивную форму без лишнего жира, крепкий, приземистый, способный вполне постоять за себя. Я ощутил тяжесть своих кулаков и тяжесть окружающих вещей — вес железного стула, пластмассовую пустоту столешницы, твердость его большой челюсти.

Он предпочитал говорить сам, не ожидая моих вопросов. Во-первых, он не был нацистом. Он был солдатом, профессиональный солдат. Кончив академию Генерального штаба, он начал летчиком. Первая его война была над Францией, затем Норвегия и затем небо России. А во-вторых, он любил, да, любил свою профессию летчика.

(Ах, ты любил, сука, — я ударил его в челюсть, прямой справа по всем правилам бокса, так что он полетел на мокрый кафель. Занес стул над головой. А ну давайте, подходите вы все...)

— Пожалуйста, еще пару пива, — сказал я.

— Вы курите? Прошу...

Он щелкнул зажигалкой. У него было хорошо управляемое лицо, привычное к тому, что за ним наблюдают, оценивают каждое движение.

В Прибалтике его впервые подбили. Он сумел кое-как посадить свою тяжелую машину. Они сняли пулемет и стали пробираться к своим. Приключения его напоминали наши военные очерки про отважных пилотов, подбитых за линией фронта. Как он вел свой экипаж через ночные леса, как отсиживался днем в придорожных кустах... Захваченная автомашина, на ней лихой просок по шоссе... До чего же это было знакомо. Ведь и у меня были две недели в болотных лесах, когда мы выбирались к своим, и даже захваченная автомашина с мешками сахара. Мы ели сахар и чернику, мы перебежали в сумерках шоссе...

События располагались с мнимой симметричностью. Ось симметрии проткнула годы и легла между нами

через этот столик, мы сидели друг против друга с одинаковыми стаканами черного пива.

В сентябре мы оставили Пушкин, а Макса Л. отправили из Прибалтики под Ленинград. Он отличился при бомбежке Таллина и Балтийского флота и получил эскадрилью. Его эскадрилья почти ежедневно бомбила Ленинград, бомбила заводы, батареи, порт, мосты. Когда началась блокада, он бомбил водопроводную станцию.

Он рассказывал о порядке полетов, о нахождении цели, системе связи.

— Зенитная оборона у вас была слабая.

Как легко он укладывался в портрет, заготовленный мною. А может, наоборот — портрет мой сейчас подгонялся под него? Особенно профиль. Меньше всего изменяется профиль. Его профиль сохранял четкость прямых линий, можно было представить, как это эффектно выглядело в военном мундире четверть века назад, когда блестели кресты, ордена, нашивки молодого, преуспевающего, такого удачливого аса.

(Я вынул пистолет — все же ты попался, стервятник. Пристрелю я тебя без всякого суда, с наслаждением, во имя всех моих погибших ребят.)

— Мне кажется, что наши зенитчики не виноваты, — сказал я. — Они не могли организовать оборону на подходах, фронт был слишком близко к городу.

— Если бы вы имели локаторы, можно было подымать истребители заранее.

Было что-то странное в нашем спокойствии, как будто шел разбор учения. Пистолет — да, когда-то я бы не торопясь навел пистолет. Я отчетливо помнил свою фронтную мечту...

На Ленинградском фронте Макс Л. стал командиром полка, летом сорок второго его перебросили на курское направление, и вскоре он получил дивизию. По-видимому, он действительно был боевым командиром, он добился разрешения лично участвовать в боевых вылетах. Фактически всю войну он провел в воздухе, вплоть до того дня, когда самолет его взорвался. Причина взрыва была непонятна, зенитки не стреляли, взрыв раздался неожиданно, беспричинно, машина стала разваливаться. Ему удалось выпрыгнуть, он спустился на парашюте и попал в плен.

Рассказ его, отработанный почти до обыденности, был тем не менее лишен малейших оправданий. За столько лет Макс Л. мог бы создать систему самозащи-

ты, найти какие-то смягчения. Но он не оправдывал себя. И не было в нем бравады. И не было осуждения. Да, существовал Макс Л., летчик, командир, имеющий столько-то боевых вылетов, активный участник бомбежек и разрушений Ленинграда, и был другой Макс Л., который, не отрекаясь от себя, работал сейчас в ГДР и тоже активно и добросовестно делал свое дело.

Какие отношения имелись между этими двумя людьми — он не рассказывал. Он добровольно выбрал из двух Германий — демократическую, сам по себе этот выбор означал отказ от прошлого. Но что значит отказ — забвение? пересмотр? Можно ли забыть свое прошлое, когда оно составляет большую часть жизни? С чем же он остался? Да и как можно отказаться от своего прошлого, как это происходит — запереть его, никогда самому не возвращаться к нему, отнести его к кому-то другому? И что взамен? Значит, то был не я, то был другой. Но «я», оно же складывается из памяти. Индивидуальность — это память. Как же ладить с тем, бывшим Максом Л.?

Но ведь и со мной творилось сейчас нечто подобное. Оказывается, давно уже я слушал Макса Л., спокойно прихлебывая пиво, улыбался, вспоминая, как мы стреляли бронебойными в их самолеты. Он пролетал над нашими окопами, и мы с Сеней стреляли по всем правилам, с упреждениями и поправками, мечтая попасть в какое-то незащищенное местечко, чтобы был черный дым, кувыркание, взрыв... Сейчас мы посмеивались вместе с Максом Л. над такой вероятностью, ничтожной и несбыточной, как чудо...

Никакой ненависти я не чувствовал к этому человеку. Куда же она девалась — выношенная, вмерзлая навечно? Проклятия, которые мы слали вслед его самолетам. Где-то там в городе были сирены, мы их не слышали, к нам доходили лишь звуки разрывов, мерзлая земля слабо вздрагивала в наших окопах.

Почему я так благодушно спокоен? Ну как я мог так измениться, ведь и сейчас разумом я отчетливо представлял себе распластанный под крылом самолета Макса Л. мой город, занесенные снегом кварталы, расчетливое кружение его над целью.

К тому времени немцы оставили попытки взять город штурмом, решено было выморить его голодом, затем разрушить, перемолоть в щебенку, превратить в пустырь, заваленный кирпичом, камнем. Развалины

набережных, искореженные узоры решеток, обломки кариатид, руины мостов. Пустые острова, которым предписано снова зарости лесом. «По низким, топким берегам чернеют избы здесь и там...» Не позволено никаких изб, лишь топкие, низкие берега. А мы? А нам запланировано умереть с голода. Судьба наша была решена в ставке фюрера, штабные офицеры подсчитали сроки, составили графики, выделили необходимое количество бомб, взрывчатки, горючего, орденов.

Под утро я пришел к Феде Сазонову в боевое охранение. Рассветало, мы выползли с ним по снежному ходу поближе к немцам. На нас были белые халаты, белые каски, единственная наша снайперская винтовка тоже была выкрашена белым. Мы были как гипсовые статуи в парках. Через час я увидел в оптику, как вышел из блиндажа немец, потянулся, в руках у него блеснул термос. Я хотел передвинуть винтовку Сазонову, он прошипел: стреляй-сам. Я навел перекрестие на термос, нажал крючок. И тотчас там раздался крик, немец завертелся...

Хрипела старенькая радиолоа. Эрнст Буш пел песни Ганса Эйлера. На площади школьники выпрыгивали из автобуса. В руках у них сверкали длинные цветные открытки с видами Зальфельдских пещер, и лица их еще пылали отсветами подземных сталактитовых замков.

Я сбился, потерял ход своих мыслей. Я заблудился среди воспоминаний. Зачем мне понадобился тот немец с термосом?.. И вообще... Я смотрел на Макса Л. и не мог понять, для чего я так долго, упорно разыскивал его. История моих поисков сама по себе увлекала, как детектив. Отличный жанр, читаешь, и нельзя оторваться до самого конца. Главное было найти. Больше всего мы ненавидели лётчиков, бомбивших город. Мне казалось, что если я его найду... А между прочим, нашел-то меня он. Я ему тоже зачем-то был нужен. Как в большинстве детективов, конец разочаровывал. Мы сидели почти скучая, занятый каждый собой, я выжимал из себя вопросы: а потом, а дальше? А дальше в лагере он вскоре вступил в Союз свободной Германии, многие немецкие офицеры и генералы осуждали его — еще бы, потомственный военный, внук знаменитого немецкого генерала, он в какой-то мере символизировал кастовое офицерство. Вернувшись в Берлин, он долго разыскивал свою семью, жену, детей, они скитались на западе по разрушенной Германии...

Во мне не было злорадства, наоборот, я заметил, что я сочувствую злоключениям его семьи, я понимаю их, потому что сам пережил похожее после войны. Но ведь сравнивать было кощунством, им-то всем так и надо было, они-то заслужили, и не того еще заслужили, и, зная это, я все же жалел и сочувствовал. И тут же поражался своему превращению.

— А совсем недавно прочел я воспоминания одного из ваших партизан.— Макс Л. предвкушающе улыбнулся.— Они действовали как раз на Курском направлении, они подкладывали мины на аэродромах. Оказывается, они и в мой самолет запрятали мину с часовым механизмом.— Он беззлобно, даже как-то торжествующе рассмеялся.— Выяснилось!

И я тоже засмеялся, радуясь за наших партизан. Мы смеялись с ним одинаково, с чем-то сходными чувствами. Я имел право так смеяться, но он-то...

— Знаете что,— он помолчал,— я собираюсь, то есть я хотел бы,— он опять помолчал,— приехать в Ленинград.

Мне бы возмутиться, вскочить: да как вы смеете, да как у вас совести хватает, будь вы просто рядовой солдат, но вы же командовали, приказывали, других заставляли. Вы что ж полагаете — мы совсем беспмятные? Наглость-то какова, в Ленинград...

Вместо этого я ободряюще подхватил:

— А что, правильно, приезжайте,— и готов был доказывать, что ему необходимо приехать, и убеждать его, наперекор себе и совершенно искренне, именно потому что наперекор.

Он все еще сомневался.

— Я хотел не один... Я думал сына взять. Младшего.— Подавленная тревога была в его голосе.

— Обязательно берите.

Ось симметрии хрустнула и надломилась: я поменял нас местами. Если б они победили, смогли бы мы сидеть так и стал бы он меня приглашать в Берлин? Нет, ничего не получилось. И я не стал бы ему рассказывать о себе, ни я и никто из моих ребят, даже если б мы остались в живых.

Поздно вечером по витой песчаной дороге я поднимался к замку. Пивной дух кружил над моей головой, вовлекая в свое вращение, но я не поддавался. Огни замка подмигивали сверху, мешаясь среди созвездий. Князья, герцоги, оруженосцы обгоняли меня, но я не

обижался, я знал их феодальную ограниченность, и вся их историческая обреченность была мне досконально известна. Государства и цивилизации сменялись по причинам, установленным в школьных учебниках, а вот мое личное прошлое не поддавалось никаким законам. Ни черта я не мог разобраться в нем. Все некогда, все откладываешь на потом, на когда-нибудь, хотя потом ты уже не тот, пройдет еще несколько лет, и этот вечер, пивная под ратушей, встреча с Максом Л. и мой разговор, мое поведение станут еще необъяснимей. Если бы выйти из времени. Выйти и постоять в сторонке.

Так я и сделал.

Оказалось проще простого. На замшелом камне сидел Фауст в черной судейской мантии, и Вагнер в роговых очках, доцент Вагнер, радушный, милейший господин, готовый помочь мне, тем более что все так просто и легко выяснить.

— Зачем я его приглашал? — спросил я. — Что мне нужно? Простить его? А может, я хочу его возненавидеть.

— За что?

— Нет, ты скажи, имею я право ненавидеть его?

— Как человека, как личность — пожалуйста.

— Но почему ему не стыдно?

— Тебе нужно, чтобы он стал другим? Или тебе нужно, чтобы он все время каялся, страдал?

Вагнер растолковал мне:

— Чувство постоянной виноватости порождает, в свою очередь, неполноценность, а, как известно, неполноценность народа и есть то, на чем настаивал фашизм, объявляя некоторые народы неполноценными. Таким образом, твой друг учитель невольно, я бы сказал — неосознанно, играет на руку...

— погоди, я не о том, я хочу о себе, я себя хочу понять, — сказал я. — Мне надо найти самого себя, я желаю знать, где я, а где время. Где и когда я заблуждался, что было истиной. Что было правильным в прошлом, а что нет.

— Мой друг, — сказал Фауст, — прошедшее постичь не так легко.

Его и смысл, и дух настолько не забыты —
Как в книге за семью печатями сокрыты.
То, что для нас на беглый взгляд
Дух времени — увы! — не что иное,
Как отражение века временное
В лице писателя: его лишь дух и склад...

— Это для меня слишком сложно,— сказал я,— выходит, я толком не могу узнать свое время.

— Все можно узнать,— сказал Вагнер.— Иначе бы я не мог получить свое ученое звание.

— погоди,— сказал я.— Ты придержишься текста.

— Хорошо.— Вагнер откинул руку.

А мир? А дух людей, их сердце?

Без сомнения. Всяк хочет что-нибудь узнать на этот счет.

Фауст кивнул и сказал:

Да, но что значит знать?

Вот в чем все затруднение!

Кто верным именем младенца наречет?..

Я ошеломленно повторил его последнюю фразу. Действительно, назовут ее Мотя, а она никакая не Мотя, она — Надежда.

— Да,— сказал я, с трудом собирая свои мысли,— пусть я не знаю истину, но что я могу, так это не скрывать своих чувств, ошибок, размышлений. Рассказать все, что происходило со мной, историю моих отношений... Я был такой и был другой. А как надо на самом деле — не знаю. Вот если бы вы видели ту девочку в Дрездене.

— Сейчас,— сказал Фауст.

И мы очутились в Дрездене, в том зале, куда я забрел случайно. Заброшенный, безлюдный зал, какие бывают в знаменитых галереях, зал без прославленных полотен, там, кажется, была выставлена современная живопись. На бархатном диванчике очень прямо сидела полная красивая женщина. Руки ее лежали на коленях, взгляд был устремлен к портрету на стене. У ног ее стояла новенькая синяя авиасумка с маркой голландской компании «KLM». Портрет изображал девочку — голодную, синюшную, с огромными испуганными глазами. Она очень прямо сидела на желтеньком стуле, на голове ее торчал нелепый, почти клоунский колпак, худенькие костлявые руки лежали на коленях. Я обернулся, и сходство портрета с женщиной на диванчике поразило меня. Какое-то движение света, поворот случайно выдали ее. «Портрет дочери. 1945 год», — написано было на латунной дощечке. Мимо шли посетители, обводя на ходу глазами развешанные картины, иногда задерживаясь у портрета девочки. Никто не догадывался, что это она, живая, сидит на бархатном

диванчике. Разрушенный в одну ночь Дрезден, сплошные руины, зимние ночи в этих развалинах — какая жизнь разделяла портрет и эту женщину: смерть отца, эмиграция, чужбина. Спустя двадцать лет она, туристкой приехав на родину, зашла в галерею и увидела свой детский портрет.

— С чего ты взял, откуда тебе известно? — сказал Вагнер.

Я не слушал его. Я представлял: портрет попался ей на глаза случайно, она не сразу вспомнила, когда отец рисовал ее. Неужели это она? Она сидит, ища в памяти подробностей, ей слышны замечания проходящих, она вдруг понимает, что они говорят о ней, то есть об этой девочке, и после ее отъезда, изо дня в день, годами, кто-то в этом зале будет замедлять шаг, толкать спутника — посмотри на эту девочку, — они всегда будут заглядывать ей в глаза, где всегда будет война, страх, бомбежки, ужасная февральская ночь 1945 года в Дрездене.

Руины были расчищены, дворцы Цвингера восстановлены, светлые многоэтажные дома поднялись над Дрезденом... Отчего же грусть моя не проходит и образ этой женщины не дает мне покоя? Я же не виноват перед ней, нисколько, наоборот, так почему же я ищу какие-то слова утешения или оправдания? Почему, черт возьми, мне, мне так тошно?.. Я-то при чем?

— Ты абсолютно ни при чем, — подтвердил Вагнер. Фауст молчал. Надвинутая шляпа скрывала его лицо.

НАС БЫЛО ЧЕТВЕРО

В начале осени Макс Л. приехал в Ленинград. Мы гуляли с ним по городу как старые знакомые. Под золотом спилей кружились первые желтые листья. Вечерняя заря алела в конце Кировского проспекта. Когда-то улица так и называлась улицей Красных Зорь. Голубые минареты мечети вытянулись над серым камнем домов. Ленинград блистал во всей красе. Скупые его краски ожили, с моста открылся простор Невы, размах новых домов, отремонтированный чистый гранит набережных.

Мы пересекли пятнистые желтеющие сумерки Летнего сада с его белыми телами богинь и пошли дальше через мостики, мимо старых церквей и старых домов,

где снимал квартиру Пушкин и где жил Маршак, где была моя школа, где жили Даргомыжский и Ира Галл, в которую мы все были влюблены. Любой дом здесь был для меня отмечен невидимыми мемориальными досками, легендами, датами, я знал все проходные дворы, магазинчики, трансформаторные будки. Я знал эти дома разрушенными, вернее, не эти, а те, какие стояли до войны, потом их развороченные, обнаженные внутренности. Восстановленные, заново отстроенные дома успели постареть, местами облупиться. Невозможно было представить, как выглядел город сразу после блокады. Макс Л. послушно смотрел на церковь, чистенькую, свежепокрашенную, куда в сорок третьем свозили трупы, на витрины, тогда заваленные мешками, — вздыхал, но я чувствовал: он не в силах вообразить себе все это. Мне почудилось даже, что он словно бы разочарован... Порой мне самому не хватало наглядности пережитого. Чтобы он мог увидеть развалины, оценить сделанное и понять, какой город он разрушал. Но я не хотел укорять его.

И не хотел ничего смягчать.

И не хотел, чтобы он чувствовал себя стесненно и виновато.

Не хотел прикидываться радушным, всепрощающим хозяином.

Мы шли по Суворовскому проспекту, широкому, чистому, весело веснушчатому от крапа палой листвы, и рядом шел я, среди сугробов. Горел разбитый госпиталь, из окон выкидывали матрасы, на них выбрасывали раненых, по проспекту девушки вели аэростат заграждения. Покачиваясь, он плыл, окутанный сетями, девушки, отдыхая, висели на веревках, медленно перебирая ногами. Лица их в ранних сумерках были прозрачно-серые.

Сбоку у Макса Л. болтался фотоаппарат, а у меня противогазная сумка, и в ней сухари — мой паек, который я нес на Таврическую, в старую петербургскую квартиру с темной большой передней, уставленной высокими шкафами для гербариев, и с угловой комнаткой, где жила девушка, так похожая на прекрасную Уту.

Мы с Максом Л. шли по тротуару, но я-то, я шел по узкой тропке на мостовой, потому что панель была завалена оледенелыми кучами мусора. Навстречу мне женщина тащила сани. На них лежал человек, привязанный веревкой. Голова его ватно подрагивала. Так

возили тогда трупы умерших от голоду, зрелище было обычное. Я посторонился. Санки поравнялись со мной, я увидел сверкающую белую бороду и ярко-румяные щеки, немыслимые в том блокадном голоде. Глаза старичка радостно блестели из-под белых бровей. От фантастичности этого зрелища я почувствовал слабость.

— Что это?

Женщина остановилась, передохнула.

— Дед-мороз.

У нее не было сил улыбнуться. Где-то неподалеку устраивали елку для ребятишек, театральный мастер изготовил большого деда-мороза, и она тащит его уже несколько часов. В это время взвыли сирены воздушной тревоги, захлопали зенитки, и сразу над нами все громче загудело темнеющее небо, зашарили прожекторы. Макс Л. летел бомбить водопроводную станцию, в квартале отсюда. Мы стали с женщиной и дедом-морозом в ближнюю подворотню. Воздух завыл нарастающим воплем. Арка над нами пошатнулась. Посыпались стекла. Штукатурка упала на лицо деду-морозу, и стеклянный глаз его звякнул и разбился.

— Вы промахнулись,— сказал я Максу Л.— Вы попали в деда-мороза и в этот дом.

Новенький, блистающий цельными широкими окнами дом выглядел выше и стройнее, чем тот. С центральным отоплением, с лифтом. Только в подъезде не было цветных витражей с рыцарем. И на втором этаже ничего не осталось от той квартиры с гербариями. О ней никто и не помнил, кроме меня. Макс Л. сфотографировал этот дом.

— Как ее звали? — спросил он.

Я пожал плечами.

— Ута. Вы помните прекрасную Уту в Наумбургском соборе?

Макс Л. неопределенно кивнул.

— Мою мать убило в соборе,— сказал он.— Брухтвейнский собор, в Баварии. Вам не приходилось там бывать?

— Нет,— сказал я.

В клубе «Ленгорвода» шел фильм «Берегись автомобиля» с участием Смоктуновского. Сквозь кусты виднелись корпуса насосных, водоочистных и прочих сооружений. Я показал Максу Л. старую водонапорную башню, в которую он никак не мог попасть.

Где-то в Таврическом саду упал сбитый немецкий

самолет, но где именно, я уже позабыл. На площадке пацаны гоняли мяч. Молодые мамыши катили никелированные мальпосты, будущие мамыши шептались на скамейках с будущими отцами. Макс Л. щелкал аппаратом.

— Та женщина погибла? — спросил он.

— Нет... Она сошла с ума.

Рядом с Максом Л. шел полковник-летчик в кожаной меховой куртке, под ней кресты за Францию, Норвегию, Ленинград и прочие заслуги. Впервые я увидел их совсем недавно, в лавочке, в Сан-Франциско. Полный комплект их лежал под стеклом, а на полках — генеральские фуражки, каски со свастикой, фашистские мундиры. Хозяин уговаривал нас купить, — эти реликвии дорожают быстрее других.

Листья старых лип кружились над нами. Когда-то здесь стоял танцапавильон, и мы ходили с ней танцевать.

Лейтенант в полушубке, с махоркой в кармане, брезгливо разглядывал меня, нынешнего, гуляющего как ни в чем не бывало с нынешним Максом Л., обоих нас, в летних костюмчиках, в одинаковых нейлоновых рубашечках, этакие благообразные отцы семейств, любезный хозяин и его милый гость по линии «Интуриста».

...Жаль, что вы не увидите белых ночей, о, белые ночи — это чудо, у нас не бывает белых ночей, да, да, Достоевский, у вас увлекаются Достоевским, завтра фонтаны Петергофа работают, основал Петр, вода уже холодная, выпить пива, у вас мало пивных, пивная далеко, у вас много читают, обратите внимание — это музей Суворова, русские церкви имеют прекрасную архитектуру, по воскресеньям все на лыжах, в метро читают, у нас нет зимы, у нас есть зима...

Полковник Макс Л. от этой болтовни хватался за пистолет; я, в полушубке, сжимал свой лейтенантский наган. Позор, предательство, измена открывались перед нами. Двое на двое, мы с нынешним Максом Л. против нас тогдашних. Тогдашние-то между собой смертельные враги. И нас они не признают. Я пытался образумить лейтенанта. Но я гордился им. Мы все трое ненавидели чванливого, тупого, надутого пивом и прусской спесью полковника-летчика. Каждый был против каждого. В этом четырехугольнике все перепуталось. Четырехугольник не был равносторонним, не был равноправным, черт знает, какой он получался перекошенный.

— Посмотрите отсюда на Таврический дворец.

Мне приятно было, что Макс Л. нравился

Ленинград. Я хотел, чтобы он полюбил этот город, так же как я любил шумный веселый Лейпциг, и Веймар, и маленький Ильменау, затерянный в горах Тюрингии, с его студентами, рыночной площадью, домиком Гете.

Я все еще не понимал, зачем Макс Л. так настойчиво выискивает следы войны. Чего он добивается? Воронки были давно засыпаны, пустыри застроены, надписи об обстреле закрашены, осталась лишь одна на Невском — и та воспроизведена заново. Блокада экспонировалась в музее. Макс Л. мог гулять вполне спокойно, не опасаясь напоминаний.

Что я мог ему еще показать? Кладбище? Одиноких женщин? Инвалидов? Война и блокада доживали скрыто, среди старух, оставшихся без детей. В наследственных болезнях.

И даже под землей...

До сих пор мне слышатся тревожные ночные звонки в диспетчерской. Аварийная машина мчалась к подстанции. Вылетел кабель. Его пробивало где-то под землей. Вскрывали асфальт, копали траншеи, разыскивая место пробоя. Обычно то была муфта, смонтированная еще в блокаду, после обстрелов, вставки, которыми латали поврежденные кабели. От бомб и снарядов, даже упавших поодаль, изоляция трескалась, рано или поздно эти кабели пробивались. Сквозь ничтожные волосяные трещины влага не спеша, годами ползла к жилам, и наконец раздражался пробой. А то начинал оседать грунт бывших воронок. Земля тянула за собой кабели, муфты не выдерживали. Весной, когда почва оттаивала, аварии вспыхивали, подобно эпидемии. Тщетно мы пытались предусмотреть, предотвратить их. Следы блокады проступали неукоснительно. Для нас, кабельщиков, обстрел продолжался, разрывы неслышно раздавались под землей.

То же происходило и с людьми, с их артериями и сердечными мышцами. Что я мог показать Макс Л.? А именно эта бесследность войны его волновала. Как будто ему не хватало вещественных доказательств своей вины.

Он пробовал сам доискаться.

— Я знаю, что осталось. Недоверие. Вот даже вы, сознайтесь, вы не до конца верите мне?

Честно говоря, он застал меня врасплох.

— Вы разве что-нибудь чувствуете?

— Да, вы стараетесь обходить... Вы не даете волю... Вы умалчиваете... Вы щадите...

В чем-то он был прав. Верил ли я ему? Я вглядывался в себя, в самую глубь, в изначальность чувств, туда, где возникает приязнь или такая же внезапная и необъяснимая неприязнь. Туда, где в смутных глубинах души решалось: это друг, а это просто знакомый. Грустное и нежное лицо Лотты Вассер появилось передо мной. Ее глуховатый, протяжный голос. Мюллер — похожий на развороченный муравейник, наши резкие, наотмашь, споры. Уж с ним-то я не стеснялся. А Хеди, смешливая, громкая, а ребята-биологи из Дрездена? А Лиза и ее муж и наши долгие прогулки по старому Берлину? А Лео? А Роберт?..

У меня и мысли не возникало — верю ли я им. Они не были для меня немцами. Просто друзья, которых я люблю. Такие же, как Реваз Маргиани, Кайсын Кулиев, Мустай Карим. Когда она появляется, эта самая национальность? В каких случаях?

С Анной Зегерс, с Эрнстом Бушем я мог говорить так откровенно, как не стал бы с иными моими московскими знакомыми. Однако именно через них я полюбил Германию — вот, пожалуй, в чем они были немцами. Через них я кое-что уразумел в трагедии немецкого народа. Через них, через Кёппена, Дитера Нолля. Фашизм мне был известен лишь снаружи, они же раскрывали его изнутри. Настоящий антифашизм куда серьезнее и труднее, чем просто ненависть к фашизму.

Но было и другое. Недаром Макс Л. что-то почувствовал. Была та парочка, немец со своей подружкой в Дубровнике.

Мы сидели в погребке, Женя читала свои стихи, и тогда этот парень включил транзистор. Включил не музыку, а какую-то немецкую передачу, специально, назло. Мы посмотрели на него, еще не понимая. Он закинул ногу на ногу и засмеялся. Женя замолчала.

— Читай, — сказали мы.

Немец усмехнулся и увеличил громкость. Радио орало в пустом погребке, лающий голос зазвучал вдруг как тогда, в сороковые. Он ликовал, этот парень, красивый, сочный, голубоглазый, со своей умело раскрашенной подружкой, похожей на Реглинду, ту, что стоит рядом с Утой.

Будь на их месте французы, русские, югославы, мы бы сочли это за обычное хулиганство. Поругались, вы-

ставили бы их, но тут злость поднялась такая жгучая, непереносимая. Я почувствовал в этой выходке именно фашистское, ненавистное гитлеровское, особый умысел. Не знаю, был ли на самом деле умысел, но я воспринял как умысел, потому что передо мной был немец. И когда Иво с трудом вытащил нас из погребка и мы поднимались по узким ступенчатым улицам Дубровника, нами стали замечаться прежде всего немцы. Бодрые, краснощекие, сентиментальные западные старушки, толстозадые парни в шортах, писклявые девицы. Все в них вызывало неприязнь — их крикливость, самоуверенность, бесцеремонность. Они вели себя как хозяева, как будто ничего не было, как будто не мужья этих одуванчиков расстреливали здесь партизан и не их отцы, не их дяди, как будто они ни при чем. Как будто не их приятели, туристы из ФРГ, устроили пикник и отплясывали между могил, распевая свой шлягер.

...Удалить бы их из беломраморного Дубровника и повесить надпись: «Немцам въезд воспрещен». Но тут с крепостной стены открылось море, большое, синее. Голова моя охладилась.

«Господи, так ведь это же и есть расизм, — подумал я, — когда считаешь, что человек плох, потому что он немец. Какое я право имею? Оказывается, сидело во мне это самое, застряло, как осколок с войны. Парень тот — фашист, хулиган, подонок, кто угодно, но при чем тут немцы?» — твердил я себе.

— Терпеть их не могу, — сказала Женя. — Знаю, что нехорошо, гадко, и ничего не могу поделать.

Чем же мы лучше тогда каких-нибудь черносотенцев, американских расистов, думал я, так же нельзя себя распускать. И как могло то низменное, стыдное чувство быть таким сильным? И почему раскаянье не мучает меня, то есть разумом я понимаю, что нехорошо, что надо уничтожить это в себе, но ведь не мучаюсь, не страдаю.

Ох как это соблазнительно — возненавидеть другую нацию, особенно когда есть личные, такие уважительные причины. Необязательно ненавидеть, можно презирать, брезгливо морщиться, можно не доверять, вежливо улыбаться, обходя щекотливые вопросы...

А девица того немца была похожа на Реглинду, младшую сестру Уты. И моя девушка была похожа на Уту. У меня не осталось ее фотографий, поэтому я купил в Наумбургском соборе фотографию Уты. Прекрас-

ная Ута и ее младшая сестра Реглинда работы неизвестного мастера тринадцатого века.

Длинные руки Макса Л. помогали его скудному русскому языку, множество жестов, каждым пальцем отдельно, — ему необходимо было что-то ухватить, извлечь, отделить.

Улики... Он искал улики. Его обескураживало, что к ним отнеслись пренебрежительно. Суду не хватало улик. Странная пьеса разыгрывалась передо мной.

Мы сидели в переполненном зале. На сцене под деревянным распятием расположились присяжные и судья в парике. Подсудимый яростно запирался. Поначалу пьеса казалась похожей на другие пьесы и фильмы. Защитник доказывал, что подсудимый всего лишь солдат, который исполнял чужие приказания. Прокурор умело расправлялся с этой знаменитой формужой. Он искусно отделял солдата от командира, приказ от выбора: внутри приказа для командира всегда есть выбор. Свидетели читали документы, показывали фотографии. Непонятно, откуда взялись фотографии; судья по камзолам и шпагам, действие происходило в давние времена. Двенадцать присяжных походили на двенадцать наумбургских фигур, среди них были Ута, и ее супруг, маркграф Тюрингский Эккехард, и печальный Герман. Посредине сидел судья, узколицый, чем-то напоминающий Гете.

Постепенно виновность подсудимого выяснялась. Преступление изобиловало подробностями столь гнусными, что кое-кто в зале не выдержал, уходил. Защитник был удручен. Подсудимый слушал речь прокурора с ужасом, так же как и весь зал. И когда судья предоставил ему последнее слово, он растерянно оглянулся, как будто речь шла о ком-то другом. Позади стояли только стражники.

— Значит, это был я, — сказал подсудимый.

С каким-то самозабвением он признался во всем, единственное, чем он оправдывался, это непониманием, он не понимал, что творил. Неподвижное костяное лицо судьи впервые дрогнуло, нарушая все правила, он спросил: понимает ли теперь подсудимый, как это было и почему он так делал? Подсудимый покачал головой: и теперь он не понимает. Все встали, суд удалился на совещание.

Прошел час, другой, суд не возвращался. Публика стала расходиться. Когда подсудимый поднял голову,

в зале осталось совсем мало народу, и конвоиров уже не было. Пришел сторож и начал гасить свечи. Подсудимый спросил, где же суд. Сторож не знал. Тогда подсудимый вскочил, вышел из-за барьера, его не остановили, он двинулся к комнате, куда удалился суд, постучал, никто не ответил. Он распахнул дверь. Комната была пуста. Приговора не будет. Как же так, он оправдан? Но он знает, что оправдать его невозможно. Он ищет судью; он требует наказания. Они не имеют права нарушать закон, по закону ему положено наказание. Какое бы ни было наказание — оно расчтет, оно возможность расквитаться. Но в том-то и мучение, что расквитаться нельзя, приговора нет... Вина установлена, доказана, и нет приговора.

— Как вам понравилась пьеса? — спросил Макс Л.

— Притча. Причем сомнительная. Раз нет наказания, это, значит, безнаказанность?

— Совсем наоборот, из-за этого в глазах людей он всегда остается преступником, ему нельзя доверять, поскольку он не искупил...

— Послушайте, нам-то с вами зачем разыгрывать пьесу? — сказал я. — У меня нет права вам не доверять. Вы могли бы давно перейти на Запад, если б хотели. Нет, я вам верю хотя бы оттого, что вас это все мучает.

— При чем тут Запад? — с силой сказал Макс Л. — Разве можно все мерить переходом на Запад? Как будто там, в ФРГ, нет честных людей.

— Для вас этот переход был бы отступлением.

— Я не о том. Я про недоверие. Ведь если нам не доверяют, значит, нас отталкивают. А куда, к чему отталкивают — об этом вы задумывались? И как бы вы ни уверяли меня, мне всегда будет казаться... Да и как я могу требовать, вы, если бы и захотели, не сможете простить...

Рука его на мгновение застыла, вцепившись в воздух, и что-то отозвалось во мне, словно я прикоснулся к тому, что годами тлело в душе этого человека, нечто такое наболелое, что и выразить, тем более передать другим людям не представлялось никакой возможности.

Трудно нам было; как бы мы ни старались с ним, вряд ли сумеем мы до конца преодолеть то, что стоит между нами, так это и останется при нас, с тем мы, наверное, и уйдем из жизни.

В полвосьмого, как и договорились, у пруда мы встретились с Леной и Костей, которым я с утра по-

ручил Вилли, младшего сына Макса Л. Они показывали Вилли город. У них, пятнадцатилетних, был свой город, где блокада и война были отнесены к истории, вместе со взятием Зимнего, «Авророй», Пушкином, Ломоносовом. В их городе был Эрмитаж, «Комета» на подводных крыльях, стадион Кирова, Костина гитара, кафе «Север», зоосад, где Лена выхаживала зебру, новая линия метро, — кто его знает, что еще там было.

Мы зашли в буфет, заказали сосиски, чай с лимоном и две рюмки водки. Лена поинтересовалась, как мы проводили время.

ПОРТРЕТ УТЫ

— А что смотреть на Таврической? — удивилась она, и быстрые воробьиные глаза ее на скуластом лице округлились, совсем как у покойного ее отца.

Ей было два года, когда он умер, она не помнила ни его костылей, ни военных песен, ни его обожженных рук.

— На Таврической улице... — Я медлил, соображая, как бы почестнее выйти из положения.

И тут Макс Л., черт бы побрал его искренность, сказал:

— Я бомбил этот район во время войны.

Почему-то они, все трое, посмотрели не на него, а на меня. Как будто моя физиономия могла им разъяснить услышанное, как будто я должен им подсказать, Вилли — и тот смотрел с напряженным ожиданием. А что подсказать? Не хватало еще, чтобы они меня спросили: «Как это могло произойти?» — «Что „это“?» — «Ну вообще — фашизм, и война, и Гитлер, и Освенцим». Они обожали подобные вопросы. Впрочем, когда они их не задавали, было еще хуже.

Если б я мог из своей путаной истории отношений с Максом Л. и с другими немцами, из истории, где были промахи, заблуждения, предрассудки, вывести какую-то формулу. Надежную и общую, пригодную для той жизни, в которой им предстоит жить рядом с неграми, корейцами, китайцами, американцами, в мире, перемешанном куда гуще, чем наш, где фашистское будет без свастики, коричневое прикинется голубым, Освенцим станет такой же древней историей, как Тауэр или казематы Петропавловской крепости.

В огромных залах музея Освенцима за стеклами лежали гора помазков, гора очков, гора протезов, высокая гора обуви. Меня удивил одинаково серовато-пыльный цвет обуви — этих тапочек, туфель, штиблет, сандалий. Краски исчезли. Я сообразил, что прошло почти четверть века, кожа истлевает. Гора волос тоже поблекла, волосы превращаются в тлен, скоро придется все тут заменять декорацией, фотографиями.

Если б я мог вывести формулу такую, чтобы Освенцим не превращался в музей. Чтобы все эти экспонаты, камеры, печи оставались угрозой.

Но вместо формулы мои размышления оканчивались новыми вопросами.

Макс Л. поднял рюмку. Голос его звучал сухо:

— Я полагаю, что отныне мы с вами будем бороться с фашизмом.

Я чувствовал, как ему мешает мысль о том, что ему не верят, слова его становились еще казенней.

— История не должна повториться. — Он взглянул на меня, запнулся. — И также ради Уты...

Он сказал это тихо, бесцветно. Мы чокнулись.

— Какой Уты? — спросила Лена.

Я достал из бумажника фотографию.

— Знаю, это в Наумбургском соборе, — сказал Вилли. — Нас туда возили.

Интересно, что Вилли был заодно с ними, ничто не изменилось в их отношениях, и потом, когда они шли впереди нас по улице, держась за руки, в стеганых куртках, с одинаково заросшими затылками, меня удивляло и радовало, что они никак не выделяли Вилли. Они перебивали друг друга, мешая немецкие, русские, английские слова, смеясь оговоркам, иногда чуть озабоченно оглядываясь на нас, может быть чувствуя, как мы завидуем их свободе.

Мы шли по Таврической. В сером камне домов возникали черты Уты, ее прекрасное лицо. Я подумал, что наумбургский мастер никогда не видел ни маркграфини Уты, ни ее супруга Эккехарда, ни Реглинды. Они жили задолго до него. Тогда не существовало ни фотографий, ни портретов. Какой она была на самом деле, Ута? Может быть, он изобразил женщину, которую любил. Поэтому она так похожа на мою Уту. Мы вместе с ним любили одну женщину...

НЕОЖИДАННОЕ УТРО

СОВСЕМ О ДРУГОМ

Из десятков тысяч маленьких островов Капри удалось, что называется, выбиться в люди. Он известен, как, скажем, остров Святой Елены или Васильевский. Он сделал себе карьеру прежде всего на воде. География учит, что островом называется часть суши, окруженная со всех сторон водой. Но Капри сумел опровергнуть эту геоаксиому, Капри окружен вовсе не водой, а скорее всего, это напоминает густо разведенную синьку. Женщины на Капри синят белье, полоская его прямо в море. При этом Капри старается показать, что он нисколько не зависит от моря. Он, как только мог, вздыбился, поднялся над водой неприступными отвесными обрывами. С великим трудом удалось выскрести из него узенькую полоску для пристани и пляжа. Прибрежные дома — это продолжение скал, и хозяевам трудно объяснить, почему они красят только верхнюю часть фасада. Здесь самоубийцы могут прыгать даже с первого этажа. В брюхе у Капри расположился знаменитый Лазурный грот. Огромная пещера, описанная, рассказанная поколениями восторженных туристов. Ничего более красивого и пошлого в своей жизни я не видел. Поэтому я так высоко оценил мужество Аси: она вытащила блокнот и стала описывать Лазурный грот, под своды которого въехала наша лодка. Я следил, как бегала по бумаге ее рука с шариковой ручкой, и косился по сторонам, сверяя запись с пейзажем: «Вершина и края пещеры теряются во мраке. Единственное слабое освещение дает вода волшебной голубизны. Свет тут призрачный. Как будто где-то там, в глубине воды, спрятаны лампы. Но вода светится не только изнутри. Я набрала ее в пригоршню, и капли, падая с рук, тоже светились. Они падали, как бирюзовые камешки. Лазурное сияние лилось с весел нашей лодки и пропадало

вблизи от нее. Синеватый мрак сгущался во тьму. Мы плывем туда, и вместе с нами, вернее под нами, перемещается лазурное сияние. На освещенной снизу воде видна черная тень нашей лодки. В гроте тихо, мягкий плотный воздух глушит все звуки. Мы переговариваемся шепотом, потрясенные этим чудом природы. Рядом со мной сидел Д. Г., глаза его сияли...»

Я скромно отвернулся. Кроме моих глаз, все остальное было правильно. А может, и мои глаза тоже, поскольку я их не видел. В том-то и ужас, что Ася была точна, и не ее вина, что вся эта красота, попадая на бумагу, исторгается в виде восторженных восклицаний наших спутников, превращалась в стопроцентную неразведенную пошлость.

Итак, отведя свои сияющие глаза, я обратил их на нашего лодочника, который, разумеется, был старым морщинистым итальянцем — под стать этому гроту, он то и дело подымал весла так, чтобы с них падала бирюза, и тут я заметил в глазах лодочника скучищу, тоску прямо-таки безвыходную, граничащую с отвращением. И вдруг я понял его и посочувствовал. Изо дня в день, годами он вынужден был выслушивать одинаково умиленные возгласы туристов, наблюдать одинаково сияющее выражение их глаз и любоваться вместе с ними этим сладостным гротом. Это все равно что питаться одним вареньем. Такая красота не только невыразима, но и невозможна для ежедневного потребления. Она — слишком. Она роскошна до безвкусицы. Поэтому, когда в грот въехала одна из наших лодок и какой-то затейник пронзительным голосом закричал: «А ну-ка споем!» — и, фальшивя, затянул «Раскинулось море широко», мне как-то стало легче. Своды грота, отражая его и без того пронзительный голос, почему-то усиливали лишь его фальшь. Ася возмущенно фыркнула, она потребовала, чтобы мы прекратили эту пошлость, это кощунство. Мы подъехали к затейнику. Возле него столпились и другие лодки. Затейник был цыплячевеселый паренек, который, очевидно, иначе, чем через пение, не умел выражать свой восторг. Несмотря на это, большинство сходилось на том, что его надо утопить. Однако портить воды Лазурного грота запрещалось, и решено было исполнить приговор позже. Красота грота размягчила сердца, и вскоре многие были готовы помиловать затейника. Вернувшись на пристань в прелестную бухту Марина-Гранде, мы застали на берегу

толпу лодочников-каприйцев. Затейник наш стоял на камне и самозабвенно заставлял их разучивать песню «Санта Лючия». Его утопили тут же на глазах местных жителей. Еще долго со дна залива поднимались пузыри — очевидно, и под водой он продолжал петь.

Ася была довольна и записала в своем блокноте: «Чарующая красота Капри требует культуры восприятия. Конечно, красота эта нам чужда, но мы должны учиться понимать ее. Меня возмутил случай с З., когда он запел в гроте, но зато как отрадно было видеть общее негодование наших людей. Это о многом говорит».

Такова была эпитафия на бедного затейника.

Вскоре после путешествия Ася выпустила книжку своих впечатлений, названную скромно «С блокнотом вокруг Европы». Кроме Аси у нас было еще несколько журналистов, и каждый из них вел записи и публиковал их. Таким образом, наше путешествие было описано многократно, в различных изданиях и вариантах массовыми тиражами, с иллюстрациями и без. Недавно я встретил Асю в Москве и попросил у нее разрешения привести некоторые описания из ее книжки. Она спросила зачем. Я сказал, что решил написать про нашу поездку. Ася посмотрела на меня с сожалением — через столько лет, кому это интересно, да еще после ее книжки и других книжек, и кроме того — Италия, Франция, никто в наше время не пишет про такие страны.

— Италия, Франция,— сказала она,— нашли экзотику. Нашли, чем удивить. Да все уже побывали там.

— Как все?— удивился я.

— Ну конечно, все.

— А если и все, что с того?

— Так о чем же вы будете писать? Они же всё это видели, всё знают. Что вы им можете сообщить, какие сведения? Какой новый поток информации получают они? Нет, послушайте моего совета: сейчас в этом жанре котируются записки совсем о других странах. Читатель вырос, его интересуют Гренландия, Мексика. — Она озабоченно вздохнула: — Да, не так-то много стран остается. Такие, например, как Цейлон, на худой конец Норвегия. Впрочем, про Европу уже не читается. Например, я уезжаю в Японию — и то не уверена. А вы про Италию. Это все равно что про Болгарию. Уверяю вас.

Поэтому она разрешила мне использовать ее книжку. Описание Лазурного грота было там напечатано так, как она записывала, почти ничего ей не пришлось

правиль — вот что значит сила впечатления, недаром Ася всегда советовала мне записывать тут же, на ходу, ничего не откладывая. И действительно, оказалось, я начисто забыл многие важные сведения и факты, касающиеся того же Капри.

— Но знаете, дорогая Ася, — сказал я, прощаясь с ней, — меня интересует лишь то, что осталось в моей памяти. Что остается спустя много лет? Не воспоминания, а именно образ Капри и образ Неаполя и Афин и вас.

— Увы, — она погрузилась, — я весила тогда пятьдесят семь кило.

...Так что же осталось? Остались городок, расположенный в седловине скалы, составляющей остров, и извилистое шоссе, по которому мы туда долго добирались. Казалось, если выпрямить это шоссе, его хватит на всю Италию. Остался центр города — маленькая площадь, превращенная в кафе, плотно заставленное столиками; неубывающая пестрая разноязычная толпа кипит в этом каменном горшке, едят выловленную внизу, в море, рыбу, запивают капринским винцом. Туристы со всех концов земли; рядом с нами папа, мама, дочка — англичане, все трое в трусиках, но у мамы с дочкой есть еще нечто вроде бюстгальтера, на плечах болтаются небесно-голубые ласты, маски. Фешенебельность Капри заключается в тщательно сохраняемой простонародности этого местечка. Родовые аристократы и безродные миллионеры бродят в трусиках, как и последний лаццарони. Оборванцы сидят на ступеньках старой часовни рядом с американскими стилистами, создавая игривую, щеко-чущую нервы иллюзию полнейшего рая, где все равноправны, всех одинаково ласкает солнце и нет шикарного авто и драгоценностей.

Вся эта толпа и эта площадь запомнились мне потому, что я долго не мог выбраться отсюда. У меня было дело, я был единственный из всех туристов, у кого было настоящее серьезнейшее дело на этом острове. Состояло оно в том, что туфли мои жали ужаснейшим образом. В России эти туфли прикинулись вполне подходящими, модными, с узким носиком, но стоило переехать границу — и они начали становиться все теснее. Где-то в Греции я дошел до того, что надрезал их лезвием бритвы, в самых, казалось, тесных местах. Это не помогло. Тесность передвинулась к носу, стало ясно, что нужны радикальные меры, — кое-кто предлагал мне вообще от-

резать всю верхнюю часть, оставить подошву, может быть, это поможет. В Греции, в которой все есть, подходящих туфель не оказалось, то есть, наверное, они были, но когда мы с Асей и другими сердобольными моими спутницами вышли из обувного магазина, в руках у меня оказалась почему-то коробка с женскими туфлями, купленными, как они потом объяснили, для моей жены. Позже я пытался понять, как это произошло, и ничего не мог уяснить. Между тем мучения мои усиливались. Плохо, что я не мог прихрамывать на какую-либо ногу, потому как обе туфли жали с одинаковой силой. Дошло до того, что я заявил капитану, что в Италии я на берег не сойду, останусь на пароходе. Это было, оказывается, грубым нарушением правил. Я не имел права оставаться на пароходе, так же как не имел права оставаться в Италии, и не мог пойти босиком по Италии.

Вот какое у меня было дело на Капри. Вот почему я с такой ненавистью пробирался через толпы босых миллионеров, туда, в тесные улочки, шумные, полутемные, напоминающие коридоры учреждения перед обеденным перерывом. Вплотную, друг за другом, тянулись лавочки, вывернутые наружу со своими товарами, так что внутрь лавочки заглядывать не имело смысла. Все, что есть примечательного, развешано на витринах, щитах, стоит на лотках. Главным образом это сувениры. Сувениры состоят из открыток, шкатулок, обклеенных ракушками, бутылок вина, кошельков, ножичков, папок — обычного курортного барахла, но вместо надписи «Привет из Сочи» тут «Привет из Капри». Любой предмет может быть превращен в сувенир, стоит сделать на нем такую надпись.

Миновав сувенирное буйство, я нашел наконец обувную лавчонку, где страдающий от кризиса хозяин вместе с женой, братом, тещей и четырьмя детьми доказал, что человеку с моим вкусом следует приобрести сандалеты, сделанные по фасону тех сандалет, в каких расхаживал по Капри римский император Тиберий, который в свое время поселился здесь в силу своей мрачности и подозрительности и предавался утонченному разврату. Боже, какие это были очаровательные сандалеты, они были такие большие, что я мог внутри них передвигаться в любом направлении — впоследствии я во время работы, задумавшись, шагал из конца в конец этих сандалет. Ничто так не влияет на самочув-

ствие человека, как обувь. Она определяет его отношения с миром и взгляды на действительность. Просторная обувь делает нас терпимыми и благодушными. Понятно, что в таких сандалетах Тиберий мог предаваться чему угодно.

Когда я вышел из лавочки, мир стал еще прекраснее, я увидел, как много вокруг красивых женщин, какие они загорелые, какие у них огромные итальянские глаза, и туристы тоже стали симпатичными. Свои ненавистные изрезанные туфли я незаметно поставил возле одной из сувенирных лавочек и вернулся на площадь. Сандалеты мои щелкали по горячей мостовой, я пританцовывал и пел «Раскинулось море широко». Любопытно, что последующий час, проведенный в блаженном состоянии, ничем не запечатлелся в памяти. Я обнаруживаю себя лишь под руку с каким-то огромным белокурым шведом, мы озабоченно разыскивали башню с часами. Швед держал путеводитель, где отмечал птичками осмотренные достопримечательности. Ему удалось найти все, кроме башни с часами. Естественно, что он нервничал, не мог же он вернуться к себе в Швецию без этой башни, и я прекрасно понимал его, потому что хуже нет недосчитаться какой-нибудь достопримечательности, вроде как план не выполнен, недодали положенного, нету завершенности, может, в этой башне как раз и было то самое, и ведь, главное, могут спросить: «А видели вы?..» — «Нет, не видел». — «Да как же вы не видели!» — и пойдет, и пойдет, и окажется, что и море, и Лазурный грот, и площади — все, все насмарку, все ничто без этой распроклятой башни.

Но если мне везет, так остановить это невозможно. Раздался бой часов, я прислушался, поднял голову и обнаружил, что мы стоим под башней, часы на ней отбивают соответствующее капринское время, которое отличается от всех иных времен своей быстротечностью. Швед обрадованно поставил последнюю птичку-галочку, мы похлопали друг друга по плечу, и я увидел, что среди сувениров, которыми было увешано тело моего шведа, — среди соломенных шляп, плетеных фляжек, коробочек, медальонов, розовых раковин, — из сумки его торчали мои туфли со свежей надписью «Привет из Капри». Шведу было приятно мое изумление, поскольку он считал свою покупку крупной удачей, таких туфель больше нет, особенно ему нравились их фанта-

стические вырезы, надрезы — «типично местный орнамент», как он выразился.

Возвращались мы на старинном парходике, два итальянских старичка пели неаполитанские песни, все выглядело как в нехитрых рекламных фильмах: ярко-голубое небо («Как они добиваются такого цвета?»), райский остров, поднимающийся из ультрамариновой воды («А вот нарисовать такой — не поверят»), расстояние счищало излишнюю красоту, оставались скалы, отмели, каменные уступы домов, рыбацьи шхуны, солнце, белая пена прибоя да некоторая грусть, легкая, в самый раз, и я почему-то подумал: хорошо, что Ленин видел это, хорошо, что в нелегкой суровой его эмигрантской жизни были такие же часы отрешенного любования и восторга чудом Капри, такое же небо, такой же парходик, теплый йодистый воздух... Снять бы цветной фильм, где были бы молодой Ленин и Горький, и они купались бы в этой синей воде, хохотали, брызгались, и рыбаки на пристани понятия бы еще не имели, что это Ленин, а просто с удовольствием смотрели бы на этих двух русских, крепких, веселых, которые плывут в этой сини по-волжски, саженками...

Капри таял, отдалялся и становился строкой некоего путеводителя, строкой, помеченной птичкой. Кто мог знать, что через много лет ни с того ни с сего он вынырнет из забвения и я с интересом стану разглядывать — что же осталось в моей памяти.

НЕОЖИДАННОЕ УТРО

Почему мы не издаем путеводителей? Тысячи наших туристов путешествуют по всем странам мира. Им нужны путеводители. Хороший путеводитель экономит время, заменяет сразу и гида, и переводчика. Почему мы не имеем путеводителей с иллюстрациями, с очерками по архитектуре, промышленности, истории?

Будь у меня путеводитель по Варнемюнде, я бы знал, куда отправиться этим утром. Но у меня не было путеводителя, и я шел куда глаза глядят. Стояла кирха, а я понятия не имел, что это — образец ранней готики или, наоборот, совсем поздней. Проходил я мимо всяких домов, и может, в одном из них жил какой-нибудь знаменитый немец и надо было остановиться и рассматривать этот дом. И вообще вполне возможно, что я сво-

рачивал совсем не туда и мог не видеть каких-либо примечательных исторических мест.

Солнце высвечивало черепицу и плоские окна узких каменных домиков. И улицы были тоже узкие, с тротуарами на одного человека. По мостовой пять женщин катили огромные коляски, в каждой сидело по пять малышей. Процессия двигалась с писком, скрипом. Это если совершали утреннюю прогулку.

Каждый поворот и перекресток таил неожиданности. Я старался угадать, что откроется передо мной за углом. На низкой тележке перед магазином лежал убитый олень. Из магазина вышел мясник. Он ущипнул мохнатую тушу, взял оленя за рога и потащил в магазин.

На улицах хозяйки с кошелками. Открываются двери, звенят привязанные к ним колокольчики. У дверей магазинов черные грифельные доски. Женщины останавливаются, читают магазинные новости — что привезли, почем.

Влево вела косая, ничем не примечательная, горбатая улочка.

Она поднималась в гору, и на ее близком горизонте, совсем рядом, колыхалась верхушка мачты. Это было удивительно, как будто улица плыла.

Я свернул туда. И с каждым шагом мачта вырастала, рядом с нею показались кончики реи, и они тоже поднимались навстречу. И еще мачты, и еще. По стеклам, по серому камню стен заструился зыбкий блеск; еще шаг, последний шаг — и передо мной распахнулись сияющие глаза реки. И вправо, и влево вдоль каменной набережной десятки, а может, сотни парусников. Лес мачт. Как у нас где-нибудь на Карельском перешейке среди корабельных сосен. Большие и малые баркасы, и шаланды, и двухмачтовые шхуны, и крохотные тендера. Старинные, черносмолевые и новенькие, блистающие полированным деревом и медью поручней.

Хлопали сходни. Рыбаки сносили на берег тяжелые сети, полные шевелящейся рыбы. Видно, флотилия только что вернулась с моря. Я спустился к причалу. Двое мужчин — в них безошибочно можно было определить отца и сына — и молодая женщина выпутывали из сетей рыбу и кидали ее в корзину. Все трое были в высоких резиновых сапогах и клеенчатых блестящих куртках. Двигались они устало и медленно, как и должно было после удачного лова. С тяжелым плеском падали плоские камбалы и лезвия сельдей, треска, крупная

салака. Старуха с мальчиком подошли к перилам, поздравили старшего с возвращением. Мальчик не мигая смотрел на рыбаков. Глаза его и раскрытые пересохшие губы выражали жгучую зависть. Рыба сверкала в воздухе и плюхалась в корзину. Причалил катер рыбзавода, и я помог втащить корзину на катер. С баркаса принесли новые сети, полные рыбы, а пустые сети развесили на перилах. И это делали всюду. Солнце просвечивало розовые нити капрона, и вскоре вся набережная была задрапирована тонким поблескивающим розовым кружевом. Как будто начинался какой-то удивительный праздник. А с баркасов все несли сети, от набережной отваливали тяжело груженные катера и шли к рыбозаводу, взблескивала летящая рыба, искрилось все это свежее, прохладное утро.

Несмотря на крупные ячей сетей, попадалась невесть как затесавшаяся молодежь. Старый рыбак заботливо выбрасывал живую мелочь в реку. При этом он что-то бурчал под нос, словно выговаривал этой непутевой, трепыхавшейся салаке.

Потом невестка и сын прибирали на баркасе, а мы со стариком закурили. Он стоял, широко расставив ноги, чешуя серебристо сверкала на его руке. На рассвете в море их немного потрепало. Одну сеть чуть не утеряти. Попалась красная камбала. Мы поговорили насчет цвета камбалы, насчет желтых, и бурых, и пятнистых камбал с черными плавниками. На мое счастье, старик говорил медленно, скажет слово и помолчит, иначе бы мне его не понять. Но вообще я давно убедился, что достаточно знать двести, триста слов — и можно говорить на любую тему, если, конечно, люди хотят понять друг друга.

Через час мне надо было уезжать. Я бы мог еще успеть обойти хотя бы часть Варнемюнде. Но мне не хотелось уходить с набережной. В других городах я всегда беспокоился, как бы не пропустить что-нибудь важное. Мне всегда казалось: а вдруг где-то рядом в это время происходят более интересные вещи и я чего-то не увижу.

Так было со мной в Ростоке, и в Лейпциге, и еще в десятке городов, которые мы проезжали, а еще раньше в Афинах, и в Пирее, и в Гавре. Но тут я никуда не торопился.

Самое важное происходило здесь, на набережной.

Мы беседовали о ловле камбалы, рыбак стоял, расставив ноги так, как будто он стоял в самом центре Варнемюнде, а может, и всей республики, а кругом происходил праздник, посвященный ему: светилась набережная, завешанная розовыми неводами, рыжие громады корабельных корпусов темнели вдали на верфи, на них горели созвездия сварщиков.

Я видел разные праздники, но это был тоже праздник, и, может быть, еще более праздничный потому, что он совершался без музыки, без флагов, праздник по ощущению. Такие праздники приходят внезапно, как подарок, без даты и без повода, просто чистое холодное утро, тяжесть в руках и короткий разговор с незнакомыми людьми, которых потом часто вспоминаешь.

А потом мы распрощались, и рыбаки пошли домой. Прилипшая чешуя сверкала на их куртках, как кольчуга. Они шли усталые, медленно переставляя ноги, и мне вспоминались наши рыбаки на Ильмене.

Я смотрел вслед рыбакам с завистью — они уже заработали и это утро, и весь предстоящий день.

В гостинице переводчица спросила меня, где я был. «На набережной? Но что ж там интересного? Вы не видели центра города, и нового ресторана, и ратуши». Она перечислила много мест, которых я не видел.

Согласно расписанию надо было уезжать, и она горевала, что мне не удалось осмотреть Варнемюнде.

«Если бы у вас был путеводитель...» — сказала она.

И вот тогда я подумал о путеводителях. Да, это, наверное, весьма полезная штука, но все ж где-то в тексте там хорошо бы оставить две-три чистые страницы. «Вы выходите рано утром...» — и дальше белые листы, ничего, неизвестность. А дальше опять, пожалуйста, — осмотры памятников, и музеев, и история, и перспективы.

МОГИЛА БАХА

Утром я пришел в церковь святого Фомы посмотреть на могилу Баха. В соборе не было ни души. Играл орган, наверное, органист репетировал.

Собор был огромный, я ходил по притворам, там лежали могильные камни священников, епископов, князей, герцогов. Могила Баха оказалась почти посре-

дине собора, совсем отдельно. Ее перенесли сюда недавно. Лежала чугунная доска с надписью: «Иоганн Себастьян Бах. 1685—1750».

Часть этого маленького тире, в котором заключена вся трагическая жизнь Баха, занимала служба в соборе. Двадцать семь лет, изо дня в день, он приходил сюда и играл на органе.

На могиле лежал маленький букетик свежих гвоздик. Когда Бах был жив, все эти герцоги и епископы не ставили его ни в грош: подумаешь, какой-то жалкий органист, без орденов и званий, с пустым кошельком. И когда он умер, тоже еще десятки лет никто не вспоминал о нем. И все эти знатные особы были уверены, что они-то и есть исторические личности, слава и гордость страны. А теперь никто не помнит о них, и нужно рыться черт знает в каких архивах, чтобы узнать, кто из них что делал.

Я сел на скамейку рядом с могилой, чтобы послушать орган. Я подумал о том, как странно, что поколения за поколениями эти сиятельные ничтожества сходили в могилы, так ничего и не поняв, и если бы они сейчас ожили, то были бы поражены, что никто о них ничего не помнит, зато все в мире знают имя этого нищего музыканта, который лежит здесь среди них, и все приходят в эту церковь ради него.

Но вся штука в том, что они никогда не узнают об этом, и всю свою жизнь они прожили, уверенные в своем величии.

Меня разбирала досада, и было смешно и грустно, потому что такое творилось не с одним Бахом и, наоборот, повторяется и сейчас.

Трубы органа гремели, перекликались, повторяя без конца одну и ту же простейшую тему и всякий раз находя в ней что-то другое, более глубокое. Уже вроде извлечено все, но нет, там есть еще, и вот еще новое, и так, пока не убеждаешься в неисчерпаемости этой самой простоты. Таков человек, такова жизнь, такова материя с уходящей невесть куда сложностью ее элементарных частиц.

Как никто другой, Бах современен: возможно, он один из наиболее передовых композиторов нашего времени, его музыка словно обнажает сущность вещей, и чувств, и сегодняшних размышлений. В ней звучат неустанные поиски человека, идущего в глубь Вселенной, туда, где он прикасается к первоосновам жизни,

чтобы (в который раз!) оказалось, что это всего лишь граница нового бескрайнего мира.

Какие бы ни строить догадки, все же остается тайной — каким образом этот старый немецкий музыкант, работавший двести с лишним лет назад, открывает нам сегодняшний день, как он не только пережил, но и опередил стольких гениальных композиторов двух веков? В чем секрет долголетия и молодости его музыки? Почему одно произведение искусства живет годы, другое — столетия? Талант? Гениальность? Но ведь сами по себе это всего лишь слова, обозначения, они ничего не могут объяснить.

Может быть, и не надо стараться объяснить и узнать. Не так-то уж много осталось у человека секретов.

Вскоре я перестал философствовать, я просто слушал.

Баха надо, конечно, исполнять на органе, а орган надо слушать в соборе. У нас в Филармонии тоже есть орган, но там это не то. Мне трудно объяснить, в чем тут дело. Может быть, тут какой-то секрет акустики. В соборе весь воздух дрожал, звучало все здание, вибрировали стены, могильные плиты, звуки органа пронизывали меня, я ощущал их физически — кожей, сердцем, — казалось, мое тело, весь я состою из этой музыки.

Справедливо, что могила музыканта была тут же, перед его органом. В пустом соборе музыка исполнялась словно специально для него одного.

Когда музыка смолкла, я обернулся и посмотрел на органиста. Там, наверху, где когда-то сидел Бах, спиной ко мне сидела девушка. Удивленный, я стоял и смотрел на нее. Она взглянула в зеркало, висевшее над ее головой, улыбнулась и кивнула мне. Я тоже улыбнулся и неохотно вышел на улицу.

ХЕМИНГУЭЙ

...И в этом местечке тоже никто не знал, где его дом. Тогда мы зашли в придорожный бар.

— О, как же, он часто бывал у нас, — сказал бармен. — Видите, как у нас весело. Он предпочитал махиту. Хотите попробовать?

Раскрасневшиеся парни пели какую-то старую испанскую песню и притоптывали ногами, стараясь пере-

кричать радиолу. В толстых стаканах плавали зеленые листки махиты. От парней пахло рыбой. Кто-то играл на губной гармошке.

Когда я представил себе, что еще недавно он сидел здесь, среди этого бедлама, и пел вместе с рыбаками и хлопал их по плечам и они тоже хлопали его по плечу, то бар показался мне особенным. Но, слушая, как бармен ничего толком не может рассказать, я понял, что все это вранье и никогда он здесь не бывал, просто его имя используют для рекламы, и сразу этот бар стал обычным грязным и шумным баром, каких десятки в окрестностях Гаваны.

Пока наши выясняли дорогу, я забавлялся этой игрой: бар становился то особенным, то обычным, как будто что-то менялось в нем.

Затем мы еще час плутали по соседним поселкам, пока нашли тот, где он жил.

На деревянных, грубо окрашенных воротах еще висела белая доска. По-английски и по-испански было написано: «Визиты без предварительной договоренности с хозяином запрещены».

А договариваться уже было не с кем. Ворота были закрыты, и повсюду тянулся забор из колючей проволоки, совершенно необычный здесь забор, напоминающий ограждения на переднем крае.

Сквозь проволоку можно было видеть пустынную аллею, зеленый холм вдаль и на нем белый трехэтажный дом под красной крышей.

Так и не достучавшись, мы отправились искать другой вход. Станный это был поселок. Рядом с этой виллой стояли лачуги, сколоченные из досок. Задняя сторона участка примыкала к поместью сбежавшего американского миллионера — теперь там разместилась школа политработников, — а вдоль шоссе стояли скромные каменные коттеджи, окруженные крохотными садиками, и трудно было понять, почему он выбрал именно это, ничем не примечательное, местечко и прожил тут больше десяти лет.

В одном из дворишков женщина развешивала белье. Мы спросили, не знает ли она, как иначе пройти к дому Хемингуэя.

— Как вы сказали, чей дом? — спросила она.

— Хе-мин-гуэя.

Это была уже немолодая женщина с добрыми глазами.

— Эрнеста Хемингуэя,— повторили мы.— Ну, знаете, писатель, знаменитый писатель.

Видно было, что она искренне хотела бы помочь нам.

— Не знаю,— смущенно сказала она.

— Господи, ну он еще написал тут «Старик и море»,— сказал кто-то.

— Он лауреат Нобелевской премии,— сказал еще кто-то.

Она молчала.

Тогда мы стали показывать ей в сторону его дома — трехэтажный, на холме.

— А-а, так, значит, это тот сеньор, который недавно умер,— сказала она и вздохнула.

Пока ходили за сторожем, нас окружили мальчишки. Их набралось человек десять, они бесцеремонно допытывались, откуда мы приехали и зачем. Они тоже понятия не имели, что это за Хемингуэй.

— Погодите, не тот ли старик, который жил в этом доме?— сообразил наконец старший из них, ему было лет двенадцать.

— Какой старик?— удивились мы.

— А впрочем,— сказали мы,— он был с седой бородой.

— Ну конечно,— сказали мальчишки.— Папа! Его-то мы знали. Его все хорошо знали.

И только один, самый маленький, сказал:

— А я так первый раз слышу.

Молодой кубинский поэт Л. рассказал нам, как он познакомился с Хемингуэем в кабачке «Медео».

«Медео» — писательский, артистический кабачок в старой Гаване. Надо пройти по коридорчику сквозь уличный бар, и тогда попадешь в три маленькие комнаты. Там тесно, бедновато, голые столики, и все-таки уютней и свободней, чем во многих стилизованных барах и кабачках. Стены густо завешаны фотографиями поэтов, писателей, артистов, побывавших здесь. Кого тут только не найдешь! Гильен, Неруда, Леон, Карпантье, десятки знакомых и сотни незнакомых лиц — молодые поэты, и критики, и художники со всех стран Латинской Америки, и европейские писатели — Сартр, Саган и наш Сергей Смирнов, и Павлычко, и Гулям...

Каждый, кто приезжает в Гавану, приходит сюда, а каждый, кто приходит, должен оставить здесь что-то на память, и поэтому между фотографиями висят всевозможные сувениры — веера, открытки, сомбреро,

значки, трости, а кто-то оставил даже ботинок. И всюду росписи, и чьи-то стихи, и рисунки.

Так вот, зайдя с приятелем в «Медео», Л. увидел за столиком Хемингуэя, который что-то писал.

Они подошли к нему, представились и сказали, что давно мечтали с ним познакомиться. Хемингуэй не поднял головы и продолжал писать. Они опять начали свое. Тогда он вскочил и заорал: какого черта они считают возможным лезть со своим знакомством к человеку, который работает, занят и знать никого не хочет!

Приятель Л. вспыхнул и тоже закричал: «Кто вы такой, чтобы так кричать на нас?»

Хемингуэй, недолго думая, сделал выпад левой, и парень полетел на пол.

Когда Л. привел приятеля в чувство, подошел хозяин и сказал, что сеньор Хемингуэй приглашает их к своему столику.

Они просидели с Хемингуэем несколько часов, а потом он сказал: «Вы славные ребята, приезжайте ко мне домой в субботу».

С тех пор они подружились и стали бывать у Хемингуэя.

Мне было интересно о Хемингуэе все: и что в спальне у него среди немногих книг постоянно лежало несколько томов Чехова, и что он плавал с аквалангом.

Но среди разных рассказов меня поразили два крайних мнения, высказанных людьми, хорошо знавшими его. Оба эти человека — патриоты Кубы, настоящие революционеры и наши большие друзья.

Первый сказал:

— Не спрашивайте меня о Хемингуэе. Я не хочу слышать о нем. В тяжелое для Кубы время, когда Америка порвала с нами отношения и объявила блокаду, он покинул Кубу и нигде и никогда не выступал в защиту революции, хотя уж кто-кто, а он отлично знал, что такое кубинская революция.

Второй сказал:

— Хемингуэя надо принимать таким, какой он есть. В самое тяжелое время он ни разу не выступил против кубинской революции, он был близок к нам, и мы не должны отдавать его врагам.

У каждого из них свой Хемингуэй, каждый видел в нем то, что хотел, и каждый был прав.

ЦЕРКОВЬ В ОВЕРЕ

Машина въезжала все глубже в это неохотное, сырое утро. За потным стеклом показывались, как бы подрагивая с озноба, заспанные поселки, ранние, подозрительно бойкие городки и тут же бесследно таяли в сером тумане. Ничего не оставалось от них — ни мыслей, ни чувств, я знал, что никогда не вспомню ни этой дороги, ни этого утра, ни того, что рассказывает мне Пьер. Я сам был сейчас вроде этого стекла, все соскальзывало мимо, а внутри было холодно и прозрачно. Прошел час, как мы выехали из Парижа. Давно уже Пьер мечтал об этой поездке, ему хотелось доставить мне удовольствие, и вот наконец он сумел вырваться, мы едем. А меня нет. Меня нет в этой машине, и я не остался в Париже, я понятия не имею, куда я потерялся. Последнее время со мной случается эта пропажа. Я вдруг обнаруживаю, что меня нет, я перестаю существовать, переселяюсь, что ли... Душа моя улетучилась, а тело восседало рядом с Пьером, нормально функционировало по всем законам биохимии.

Мы въехали в Овер, городок, прославленный тем, что здесь умер Ван Гог. Движение замедлилось: главная улица, бульвар, липы — как будто в кинобудке упало напряжение, — площадь перед мэрией, стоянка, ресторан, официанты в малиновых сюртуках накрывали столики малиново-клетчатыми бумажными скатертями. Судя по физиономиям официантов, цены тут были не для таких голодранцев, как Ван Гог. Неподалеку стояла ветхая гостиница, где жил перед смертью сам Ван Гог два с лишним месяца. Он платил за номер три с половиной франка в сутки — самый дешевый номер, дешевле не бывает...

Пьер рассказывал, я слушал и заставлял себя разглядывать, потому что все-таки Ван Гог — любимый художник передовой интеллигенции, не самой передовой, потому что самая передовая уже его отлюбила и нынче любит Шагала или кого-то там еще. А поскольку я все еще любил Ван Гога, я запоминающе осматривался кругом, но внутри у меня ничего не отзывалось, и я понимал, что все это я сразу забуду. Ничего не останется — и слава богу.

Признаюсь, мне изрядно поднадоели великие художники, великие ученые, великие писатели, их изречения, их письменные столы, их зверская работоспособ-

ность, их пронумерованные письма, обнаруженные черновики, спорные места их биографии, их трогательные привычки.

Я чувствовал, что у меня наступает изжога от чужих биографий.

Последнее время я только и делал, что занимался XVIII веком и XIX веком — Василием Петровым, Яблочковым, Якоби и прочими прекрасными, замечательными людьми. А ведь была еще и моя собственная биография, моя война, блокада, тот последний бой под Кенигсбергом, разрушенные подстанции, которые мы восстанавливали, теперь даже трудно понять, как мы это сумели... Была жизнь моих сверстников. Я наспех записывал фразы, выражения, сюжеты будущих рассказов и романов. Их хватило бы уже на несколько книг, а они все прибывали. Давно уже я собирался съездить в Кислицы, полустанок моего детства, в Иркутск к Леше Богуну, с которым мы придумали регулятор напряжения. А в Костроме жила Алла... Все было некогда, и я не замечал, как быстро мое прошлое тоже становится историей. Если б я мог остановить жизнь, собственную свою жизнь — не считаясь с моей работой, она по-прежнему выкидывала номера, — и хоть как-то разобраться. Закрыться бы от всего. Свою-то биографию и то, что творилось кругом, я же знал лучше, чем жизнь Василия Петрова. На кой мне нужен этот Овер. Листки моего календаря опадали слишком быстро. Ощущение беспредельности кончилось. В такое зябкое утро я чувствовал, как невелика моя оставшаяся жизнь.

— Ван Гогу нравилось это местечко, — сказал Пьер. — Здесь он лучше чувствовал фиолетовый цвет. Для него это было страшно важно. Каждый цвет волновал его больше, чем меня семейные дела.

— Прелестное местечко, — сказал я, — как хорошо, что я наконец увижу все это.

По грубо мощенной дороге мы поднялись в гору. На вершине стояла каменная церковь. Не слишком старое, скучное, серое сооружение. Сквозь голые ветки деревьев проглядывался Овер. Он лежал внизу тихий, выкрашенный сочными вангоговскими красками, только с фиолетовым было неважно, не хватало фиолетового, не учли, винно-красного сколько угодно, были какие-то белые колонны, какая-то геральдика — вот, пожалуй, и все, что я запомнил, и то благодаря Пьеру. Можно сказать, он меня просто носом тыкал во все красоты

ландшафта, особенно же он старался насчет церкви. Таинственно выкатывая свои близорукие глаза, он спрашивал, узнаю ли я ее. Я понимал, что мое «нет» обрадует его. Если я кого и мог узнать в этом городишке, то меньше всего эту церковь. Судя по всему, она безвыходно простояла тут со дня постройки. Когда я пожал плечами, Пьер действительно обрадовался, как-то чересчур обрадовался. Он заставил меня обойти ее кругом, потом выбрал какую-то точку справа от входа, чтобы я видел башню и стрельчатые окна.

Возможно, эта церковь являлась каким-нибудь шедевром. Когда мне говорят, что вот это здание — шедевр, тогда начинаю видеть, что тут что-то есть, я вникаю и могу увидеть пропорции и всякие капители, контрфорсы и апсиды. Или мне надо, чтобы сказали, что это никакой не шедевр, а совсем наоборот. А если самостоятельно, можно и не угадать. Неуклюжая эта, вроде бы ничем не примечательная церковь, может, имеет такую капитель, что я сейчас ахну — лучшая в западном мире капитель, нежная и грустная капитель, которая заменит мне... и поймет меня... Я расскажу ей про ту женщину, как мы расстались, как она уходила все дальше, до сих пор я не могу понять, что же произошло. Перед отъездом сюда я узнал, что она умерла в Ташкенте. Смешно было винить себя в этом. Но что-то мучило меня, не давало покоя. Двигаясь от ее смерти назад в тот год, мне казалось, что я что-то мог остановить. Хотя что бы я ни делал, от каждого моего слова, поступка становилось лишь хуже...

— Какой это век? — на всякий случай спросил я.

Пьер поднял свои крохотные брови.

— Понятия не имею.

Я бродил по стоптанной прошлогодней траве вокруг серокаменных стен, ничем не украшенных, и с тоской ждал этой капители, чтобы наконец обрадовать Пьера.

— Неужели ты не вспоминаешь? — еще раз спросил он.

Две молодые монашки прошли мимо нас, опустив модно суженные глаза. Из города тянуло дымком, запахом свежей рыбы, местной промышленности — множество разных метких деталей, которые так необходимы прозаику, которых было столько кругом, в деревьях, людях, в этом влажном песке, бледно синеем небе, мятых пачках «Кента».

— Церковь в Овере! — со значением произнес Пьер. Что-то слабо шевельнулось во мне.

— Церковь в Овере! — повторил он настойчиво. — Она же висела у тебя дома. Вот эта...

Он наслаждался моей растерянностью. Он извлек откуда-то открытку, дешевенькую открытку — репродукцию картины Ван Гога. Такая же, только большая, репродукция висела в Москве, в том доме, где мы жили несколько лет назад, она висела, кажется, над приемником. Когда мы ложились, свет лампы падал на нее, и, даже погасив свет, мы продолжали некоторое время еще видеть ее. Пока мы шептались, кобальтовые окна церкви медленно гасли, это были длинные, счастливые минуты, потом я сразу засыпал, уткнувшись в теплый угол между ее затылком и плечом, всегда с досадой оттого, что засыпаю и сон разлучает нас. Странно они сцепились в памяти — эти минуты, прикосновение ее тела, наш смех и эта картина, пластмассовый белый колпак лампы, неизвестная нам церковь; краски там были переданы лучше, чем на этой открытке, отчетливо проступали мазки, крупные, выпуклые, особенно небо — яростно синее, дрожащее от волнистых следов кисти. Сама же церковь... Но даже теперь я не мог узнать в этой церкви ту, что была на нашей картине. Я держал перед собой открытку, сличая ее с натурой.

Контуры, расположение частей, вот это окно, вход, проемы, крыша и даже трава — все сходилось. Но, во-первых, не совпадали краски. На картине окна синие, как небо, кусок крыши огненно-красный. Настоящие же окна не были такими. Крыша не была такой. И никогда не могла быть такой красной. Но не только краски — сами стены преобразились на полотне, — серый, стесанный до безразличия камень ожил, задвигался. Выпирали стропила, углы, обозначались сухожилия постройки, остов ее словно напрягся. Какая-то сила скручивала, давила, а здание противилось, упиралось в землю...

В натуре ничего этого не было. Росла трава, нормальная травка-муравка, она хлестала зелеными волнами, были дорожки, те же, что и при Ван Гоге, только вместо коровьих лепешек валялись обертки жевательных резинок, сигаретный целлофан, и дорожки вовсе не растекались желтыми потоками. Не было никакой нервной дрожи в земле, и в камне. Я стоял на том самом месте, где рисовал церковь Ван Гог, и ничего такого не видел. Откуда он это взял?

...На месте той картины потом висела, кажется, тарелка или фото. Теперь не вспомнить, все реже и реже я бывал в той комнате.

Церковь качнулась, изогнулись карнизы, я ощутил усилия камня, краски вспыхнули... Нет, это было не мое собственное — на какое-то мгновение Ван Гог сдвинул окружающие меня предметы. Все заострилось, слишком яркими стали цвета, мучительная гримаса вдруг исказила сонные черты этого мира.

Окрестность вздрогнула, как от далекого подземного толчка. Эпицентр отстоял на восемьдесят лет назад.

Секрет таланта, оказывается, весьма прост. Ничего особенного. Надо лишь немного иначе увидеть мир. Ван Гог стоял на этом же месте и нарисовал эту церковь за несколько часов. Он не придумывал, не сочинял, не наворачивал никаких ужасов, он видел ее иначе, чем все мы, обыкновенные люди. Вот и все. Как будто глаз его под другим углом преломлял и рассеивал световые лучи. Он сумел встревожить скучную грудку сложенного камня, извлечь из этой церкви красоту, нервную, воспаленную, передать чувство, которое было в нем самом, окружало его, как пламя окружает фитиль.

Он жил внутри этого пламени неистовых красок и линий, наслаждаясь им нестерпимо и мучаясь им тоже нестерпимо. Даже в Овере, этой степенной, тихой провинциальной дыре, он видел все слишком: слишком клокочущим, слишком прекрасным, трагичным. За свое виденье он платил тоже слишком-слишком дорого — припадками, кошмарами, безумием. Он знал, что его душевная болезнь прогрессирует, и торопился. Нищета преследовала его, преследовала все сильнее, и от нее он бежал все туда же — в работу.

«Г-н Рей говорит, что я ем слишком мало и нерегулярно, поддерживая себя только алкоголем и кофе. Допустим, что он прав. Но бесспорно и то, что я не достиг бы той яркости желтого цвета, которой добился прошлым летом, если бы чересчур берег себя».

Видите, как делается яркий желтый цвет. Вот чем, оказывается, крашена эта желтая дорожка.

Поразительно, как он описывает свою картину «Ночное кафе в Арле»:

«Комната кроваво-красная и глухо-желтая с зеленым бильярдным столом посредине; четыре лимонно-

желтые лампы, излучающие оранжевый и зеленый. Всюду столкновения и контраст наиболее далеких друг от друга красного и зеленого; в фигурах бродяг, заснувших в пустой печальной комнате, — фиолетового и синего. Кроваво-красный и желто-зеленый цвет бильярдного стола контрастирует, например, с нежно-зеленым цветом прилавка, на котором стоит букет роз. Белая куртка бодрствующего хозяина превращается в этом жерле ада в лимонно-желтую и светится бледно-зеленым».

Только художник может так рассказать картину.

Плата за картины была непосильна. Он расплачивался кусками своего мозга за наше наслаждение, за миллионы, которые будут давать на мировых аукционах, продавая его картины, за музеи, которые будут гордиться, обладая хотя бы одним полотном Ван Гога. За бесчисленные монографии, альбомы, репродукции, копии, за этот раздобревший на туристах Овер.

В письме, которое было при нем в день самоубийства, совсем не предсмертном, довольно обычном, деловом, неоконченном письме к брату есть фраза: «Что ж, я заплатил жизнью за свою работу, и она стоила мне половины рассудка...»

Я все смотрел на эту церковь. Господи, да если б мне понадобилось просто описать ее и все кругом, я бы слова не мог выжать. Церковь, ну каменная, ну серая, высокая... Я вспоминал некоторые картины Ван Гога — два драных башмака, плетеный стул, кусты, — казалось, ему все равно что рисовать. Я понял: важно, кто рисует. Тогда и башмаки кричат, и эта церковь будоражит душу.

Если бы мне предложили — сменяемся, махнемся? Пожертвуй чем-то, поступишь и взамен увидишь мир иным, его скрытые от всех черты, я бы не раздумывал... Согласен! Берите с меня что хотите, ничего не пожалею. И вот сейчас, когда я перед этой скучной церковью снова подумал об этом, я понял, что вру. Что значит увидеть мир по-иному? Это ведь и себя увидеть в нем иначе. На самом-то деле я боялся, избегал увидеть прежнюю свою жизнь по-иному. Наши отношения рухнули, потому что я сам убил, изуродовал их, не осталось тех минут, ничего не осталось, но долго еще тянулась какая-то мнимая жизнь. Я улыбался, она улыбалась. Как ты себя чувствуешь? Не беспокойся, нормально.

Приходили гости, уходили гости. Было так мило, так весело. А завтра в кино, а послезавтра на концерт. Сколько это могло продолжаться? Не нужно об этом думать. И говорить. Не будем выяснять отношений. Давай не будем. Ну как хочешь. Я рад был, что можно прикидываться. Все время делал вид. Для кого-то. Хотел кого-то обмануть...

Пьер взял меня под руку, повел вдоль глухой стены кладбища. Сквозь нейлон куртки ко мне доходило тепло его руки. Вряд ли он догадывался о том, что творилось со мной, но неумышленный жест его был как осторожное участие, которое позволяло оставаться наедине со своими мыслями.

За калиткой в стене открылось старое кладбище, тесно уставленное мрамором, полированными надгробиями, памятниками. Сразу налево, у самой стены, лежали две темные одинаковые плиты: Винцент Ван Гог и брат его Теодор Ван Гог. Несколько свежих букетов на могиле Винцента и пучок синих маргариток на могиле Тео. Я мысленно поблагодарил того, кто положил их. Это была справедливая дань беззаветной трудной любви и самоотверженности Теодора. Мне вспомнились отчаянные многолетние усилия Теодора продать картины брата, все жертвы, которые он приносил, — я вспоминал эту историю по роману Ирвинга Стоуна «Жажда жизни», и сразу вспомнился сам Стоун, спортивный, быстрый, щедро улыбчивый, его крепкие руки на руле машины, ловко сидящий серый костюм, короткий седой ежик над молодым загорелым лицом; его дом в Лос-Анджелесе...

День был не чета нынешнему — горячий, в слепящем блеске магнолий, пальм, гигантских цветов и океана. Стоун жил в пригороде, на холмах, в наиболее респектабельном районе города. Особняки голливудских звезд и местных миллионеров изощрялись друг перед другом вкусом лучших архитекторов. Сады не окружали, а как бы декольтировали дома, тут все было высшего качества: решетки, отделка, цветной камень, черные стекла, газоны и небо над каждым домом. В глубине двух-трехместных гаражей лоснились мощные «кадиллаки», «мустанги», «роллс-ройсы». Чистейший воздух благоухал от запахов лаванды и высокооктанового бензина. Асфальтовые дороги сливались и расходились

лись по зыби холмов, и мы покачивались на них, словно листали рекламные проспекты американской показухи. Образцово-показательный поселок для инопланетных делегаций. Полюбуйтесь, господа, какой у нас на земле рай. Актриса Мери Пикфорд, писатель Рэй Бредбери. А вот и дом писателя Стоуна. В саду, это уж как положено, купальный бассейн с морской водой, просторный, выложенный голубым камнем, подсвеченный. Внутри дома в больших затененных холлах неслышно работали эркондишен. Мы помешивали лед в длинных стаканах, доливали виски, тоник, джин; бродили в электрической прохладе, осматривали картины и всякие подробности жизни нашего хозяина. В сущности, никаких возражений у меня не было, хорошо живут, правильно живут, так и следует жить каждому человеку в конце XX века. Пора бы. Никаких претензий лично к Стоуну я не имел. Он был работник. На полках стояли книги, написанные им, — романы о Джеке Лондоне, о Микеланджело, издания и переиздания его романов о Ван Гоге, вышедшие чуть ли не на всех языках. Дорогие, с безукоризненными репродукциями картин; массовые, дешевые, в глянцевых мягких обложках; карманные издания; подарочные издания и еще другие, менее знаменитые его романы.

Дом его примостился на краю холма, упираясь в овраг длинными металлическими колоннами, так что рабочий кабинет Стоуна нависал над обрывом. В больших окнах кабинета были только небо и высота. Это когда сидишь за столом. А если подойти к окнам, то виден был океан, холмы, укрытые зеленой овчиной, крыши — такие же разные, как и коттеджи. Перед небесным окном они охорашивались, сверкая алюминием, мрамором, гнутым стеклом, керамикой, сверху открывались стриженные лужайки, теннисные корты, цветники, синие бассейны самых причудливых форм и всякие прочие места личного пользования соседей Стоуна, таких же, как он, людей успеха. Судьба каждого являла, очевидно, пример удачи — пожалуйста, выбирайте любую стезю и не смущайтесь, талант, конечно, желателен, но это не самое главное.

Вид отсюда напоминал детскую игру «вверх-вниз». Кто-то кидал кости, и фишки продвигались. Одни вдруг взлетели на эти же холмы, другие отбрасывали вниз или пропускали ход. Их было миллионы, неудачных вариантов, доставшихся в этой лотерее всем остальным.

Угол кабинета занимало высокое сооружение, нечто вроде каталога — стойка больших металлических ящиков. В них помещалась картотека. Ящики бесшумно выдвигались, скользя на колесиках. Внутри ящиков так же бесшумно и легко скользили по направляющим планки с подвешенными папками, удобнейшее устройство, где Стоун размещал собранный материал: записи, фотокопии документов, снимки. Например, дела по Ван Гогу: история его картин, отношения с Гогеном, болезнь, финансовые дела, Ван Гог в Париже, в Арле, Гааге, сумасшедшие дома, неудачная любовь к дочери квартирной хозяйки — любой период, вся жизнь Ван Гога, все его страдания, все его страсти — полное досье. В одну минуту Ирвинг мог отыскать нужные сведения по Ван Гогу — даты, сумма долгов, краски, письма за какой угодно год. Пожалуйста:

«Я заметил, что в результате недоедания у меня пропал аппетит, когда я получил от тебя деньги, я не мог есть — не варил желудок...»

«Сейчас я очень сильно похудел, одежда моя совершенно обтрепалась и пр.»

«У меня полный упадок сил, а я еще усугубил его чрезмерным курением, которому предавался главным образом потому, что, куря, не так сильно чувствуешь пустоту в желудке».

«Я здоров, но непременно свалюсь, если не начну лучше питаться и на несколько дней не брошу писать».

Нет денег, чтобы нанять натурщиков. Нет денег на краски.

«...Если меня будут держать взаперти и не дадут мне работать, я едва ли выздоровею, кроме того, за меня придется ежемесячно платить 100 франков, а сумасшедшие иногда живут долго».

Раздел о бедности занимал наибольшее место, куда больше, чем раздел любви или раздел критики. Стоун ездил по Франции, Голландии по следам Ван Гога, он проделал значительную работу, и он имел право гордиться своей картотекой. Были там, наверное, и данные про эту церковь, кладбище, и про сам Овер, тот июльский Овер 1890 года, никому не известное местечко, по которому везли умирающего, тоже никому не известного, полусумасшедшего художника, который, опять-таки неизвестно почему, выстрелил себе в грудь. Неудачно

выстрелил, всю жизнь он был неудачником, и еще промучился два дня, пока отдал богу душу.

Вместо машинки на столе стоял диктофон. Ирвинг раскладывал материалы и надиктовывал очередную главу, в соседней комнате работала секретарь, диктофон повторял текст Стоуна, она спечатывала, давала машинопись автору, он правил, она перепечатывала начисто и пересылала издателю. Ирвинг умел работать. Экономно. Четко. Не без гордости показывал он свое продуманное, так рационально организованное по последнему слову техники писательское хозяйство.

Кресло — нажать кнопку, и выдвигаются подлокотники. Специальная лампа...

Удобно, никаких черновиков, переписываний, рабочее время использовалось максимально. Разумеется, бывали срывы, все же творчество — где-то затрет, забуксует, но большей частью система работала методично, ровно скользя по направляющим, как карточки в этом завидно оборудованном кабинете.

...Маленькое белое солнце проступало на полированной могильной плите Ван Гога.

Странная, нелепая жизнь голодного художника принесла неплохие доходы. Роскошная машина Стоуна везла нас вдоль Калифорнийского побережья. Кондиционированный холодок обдувал наши лица. На выставке, куда мы приехали, продавали великолепные альбомы Ван Гога, отдельные репродукции; и в Нью-Йорке, в Музее нового искусства, и в Париже — всюду продавали Ван Гога, веркоровские репродукции, дорогие, очень дорогие, были и совсем дешевые, в рамках и без, цветные диапозитивы, слайды, письма Ван Гога, книги о Ван Гоге, роман Стоуна.

Трагедия художника позволила построить, наверное, не одну виллу. Меньше всего можно в чем-то упрекнуть Стоуна, он написал добротную нужную книгу, он получил то, что заработал, и те, кто наживаются на Ван Гоге, их тоже, по сути, не в чем упрекнуть, никто из них не виноват в том, что при жизни Ван Гога удалось продать всего лишь одну картину. Одну-единственную из многих сотен купил какой-то чужак.

Преобычная история, поднадоевшая, почти литературный штамп. Сколько раз она повторялась со времен Рембрандта — великий непризнанный художник поми-

рает в нищете и безвестности, а затем картины его нарасхват, любая — целое состояние, ему воздвигают памятники, он становится гордостью нации, и судьба его служит сюжетом поучительных романов, фильмов, спектаклей, чем трагичней, тем лучше. Монтичелли, Модильяни, Филонов, Татлин... Можно подумать, что так и положено.

Недавно умер один московский биолог. Человек двадцать провожали его гроб на кладбище. Из них не больше половины представляли, кем станет для будущей науки покойный. Несколько раз я бывал у него. Он жил одиноко, в давно не ремонтируемой, тесно заставленной комнате. Раздвинув бумаги на его огромном неприбранном столе, мы устраивали чаепитие, и он, посмеиваясь, рассказывал о своей фантастической жизни. Он сидел передо мной, тощий, седенький, веселый; длинная морщинистая шея его торчала из затрепанной рубашки с отстегнутым воротничком, и я понимал, но все равно не мог свыкнуться с тем, что через несколько лет эти минуты, и то, что он рассказывает, и вся обстановка обретут историческую ценность. Никто не виноват в том, что он не был признан при жизни. Время для его идей еще не пришло. Но они уже надвигаются, эти годы. Начали обсуждать его работы, выясняют, что он имел в виду, утверждая то-то и то-то, разыскивают в архивах его заметки, кое-кто подальновидней начинает писать диссертации в развитие его идей, скоро издадут избранное, затем собрание сочинений, в учебниках появится его портрет.

— А вот наши с тобой жизни вряд ли кого-нибудь заинтересуют, — сказал я.

Пьер непонимающе похлопал глазами.

— И хорошо. Мы слава богу, не великие люди.

— Не в этом дело, — сказал я со злостью. — Лет через сто выбрал бы ты для своей книги героем некоего Пьера Д. или меня? Лично мне моя жизнь была бы мало любопытна. Бесконфликтный персонаж.

Доброе рыхлое лицо Пьера покраснело. Он был честный и совсем неплохой драматург. Но он имел большую семью; чтобы заработать, ему приходилось переводить что попало, пробавляться обзорами, посредственными детективами.

Мы вышли с кладбища, спустились вниз, как бы пройдя сквозь картины «Церковь в Овере», «Вид на Овер», и другие картины, которых я не знал.

В городском саду на низком плоском пьедестале стоял памятник Ван Гогу. Казалось, тощие голенастые ноги художника ступают прямо по мокрой траве. Странно выглядела его несоразмерно вытянутая фигура — слишком длинная шея, слишком длинное лицо, слишком большие руки, худущий, напряженный, спешащий. Сдвинутая на макушку мятая шляпа, за плечами тяжелый мольберт, тренога, сбоку ящик с красками, весь он опоясан ремнями, и маленькая кисть в руке, как кинжал. Он напоминал Рыцаря Печального Образа. Брюки его и роба на голом теле были как панцирь, но панцирь, сделанный из коры. Грубо шершавая поверхность была не просто не отделана. Ее изъязвляли длинные трещины, рубцы, подобно коре старых лип. Да, это была кора. Не бронза, а кора облегалась его, и ноги его в этом корье были как стволы дерева. Он рос из земли. В подстриженном, ухоженном сквере, среди уюта добропорядочных коттеджей черная высоченная костлявая фигура выглядела чужой. Изглоданный всеми земными муками, он уходил отсюда со всем своим нехитрым имуществом, что ему еще надо, «все мое со мной», спешил и никак не мог уйти.

Смерть его, как всякое самоубийство, вызвала подозрения. А может, то было убийство? Что вы, откуда, клялся Овер, никто не убивал его, он сам выстрелил себе в грудь; по этой дороге везли его на телеге, умирающего, Овер стоял на крылечках, в садиках, возмущенно шептался, шокированный скандалом. Овер еще не знал, как лихо ему предстоит торговать этим днем, какую славу он извлечет и втайне будет благодарен этому оборванцу за то, что он застрелился именно здесь, а не в каком-нибудь Арле.

— Позвольте, мосье, — оскорбленно возразил мне Овер, — почему вы обязательно ищите виновных? Кто виноват в самоубийстве Джека Лондона? Стефана Цвейга, Клейста; Гаршина? Разве можно упрекать людей за то, что им не нравились картины Ван Гога? Не нравились — и они не покупали, это их право.

...А теперь им нравятся, и всюду висят репродукции Ван Гога, это признак хорошего вкуса — впрочем, сейчас куда больше в моде Клей или Сальвадор Дали, а потом еще кто-нибудь.

Когда-то и Ван Гог слыл еретиком, бунтарем, чем-то же он раздражал, но постепенно они освоили его, приспособили. Им казалось, что он украшает этот горо-

дишко, но все равно он оставался сам по себе, чужеродный и непонятный. Хотя бы тем непонятный, что всегда он был недоволен собой, все время ему надо было больше рисовать, это ему-то, который каждый день-два делал картину. Ах, да при чем тут это. Все не так. Все было неправильно. Вы понимаете, что значит после всех мучений, болезней, лишений заявить, что все было неправильно.

«Десять лет убиты на никчемные этюды, теперь, наверное, настанут лучшие времена,— это он написал за год до смерти,— но (!) предварительно я должен усовершенствоваться в фигуре и освежить свои познания, тщательно изучая Делакруа и Милле. После этого я попытаюсь разобраться с рисунками».

И он писал это после того, как сделал за год сто пятьдесят картин, среди них лучшие свои работы, и более ста рисунков, это несмотря на припадки, болезни, заточения в больницах. И все равно — может быть, настанут лучшие времена, и то перед этим еще надо усовершенствоваться, разобраться, то есть настоящего еще не было... Значит, он считал, что не в силах был сделать то, что хотел, изобразить это мир таким, как он его чувствовал.

— В этом и вся штука, — сказал мне Пьер. — Мало увидеть по-иному.

— Конечно, — подхватил я. — Ну увижу, ну обнаружу себя, других, изнутри, сверху свою жизнь... Буду недоволен, и дальше что? И не смогу. А? Не смогу передать. Ведь я о себе не привык... Нет, не смогу, и что ж тогда?

— В том-то и штука, — сухо сказал Пьер. — Нет никакого смысла. Все это недовольство и прочее в наши годы пользы не приносит.

...Я всегда утешал себя, что это подобие чувств позволяло нам с ней оставаться вместе, а если увидеть то, что на самом деле, то вдребезги, никаких иллюзий, и прости-прощай, и все, и ничего взамен. Да, попробуй написать про все это — никаких сил не хватит. Ван Гог и тот не добился, чего хотел...

Так мы стояли перед ним в блестящих наших нейлоновых куртках, я в кожаной кепочке, Пьер в мохнатом берете, дымили сигаретками, предаваясь грустным размышлениям, недолгим и приятным.

Мы еле доставали Ван Гогу до плеча. Мелкие капли блестели на бронзовой коре его распахнутой рубы и под ней, на зеленоватом его впалом животе. Казалось, Ван Гог смотрит на нас. И вдруг я тоже увидел нас. Не он, а мы были нелепы, вместе с этим тучным Овером, шикарным рестораном в честь Ван Гога, с нашими ловкими самоутешениями.

— Давай я тебя сфотографирую,— сказал Пьер.

Ему хотелось вернуть меня в свой удобный мир без ненужных сантиментов и тягостных признаний и всяких раздумий. Ему хотелось продолжить наше путешествие, купить оверские сувениры, открытки с этим памятником, пойти на берег Уазы.

— Не стоит,— сказал я,— не пужно фотографий, я должен и так запомнить.

«Неужели все это забудется?— думал я.— Господи, только бы не забыть этого чувства, этой фигуры, этого утра. Чтобы все осталось. Не дай мне забыть того, как я сейчас себя вижу, и все, что я сейчас чувствую»...

ЖУРНАЛИСТ ГЛЕБ ФОКИН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ЗАГАДОЧНУЮ, ПОЛНУЮ ЧУДЕС, НИ НА ЧТО НЕ ПОХОЖУЮ СТРАНУ

Двадцатого февраля в 13 часов 40 минут я ступил на землю только что открытой мной Японии. Обнаружил я эту страну случайно, когда самолет летел над тусклым шитом океана. Я мог бы написать, как Америго Веспуччи:

«Я обнаружил материк, где некоторые долины гораздо гуще населены людьми и животными, нежели в нашей Европе, Азии, Африке, к тому же там более приятный и мягкий климат, чем в других знакомых нам частях света».

Никто до меня в Японии никогда не бывал. Я выяснил это перед отъездом. Никто из моих родных, ни Игорь, ни Владимир Яковлевич, который исходил даже Курилы, ни моя жена, ни дочь, которая отправлялась каждый выходной невесть куда. Я был первый из знакомых и близких мне людей, попавший в Японию.

Сверху, с летящего самолета, Япония выглядела маленькой, совсем как на глобусе. Караван вытянутых островов тянулся по воде, и было невозможно представить, как на этих буграх уместается сто миллионов человек с домами, пагодами и рисовыми полями. Вокруг по морю ходили пароходы, корабли, моря было много, и оно единственное с высоты не казалось игрушечным.

Когда самолет стал снижаться, появились подробности: черный остров превратился в небесно-голубой — это были крыши. Ни разу еще я не видел таких синих крыш. Лазурная черепица светилась и блестела, как будто мы спускались не на землю, а на небо. Китай назывался когда-то Небесной империей. Но я понял, что это ошибка. Имелась в виду Япония. Древние воздухоплаватели приняли Китай за Японию.

Это было мое первое открытие. Легче всего делать открытия, пока ничего не знаешь о стране. Я совершил поначалу немало таких открытий. Самое из них важное произошло в те минуты, когда я медленно спустился по трапу и встал на бетонные плиты аэродрома Ханэда,—я открыл в себе путешественника, который попал в никому не известную, загадочную страну.

Не так-то просто стать первооткрывателем, не имея компаса, карт, снаряжения, проводников, разъезжая в автомобиле, живя в отеле с телевизором и ванной, выложенной черным изразцом.

Но у меня были разные воодушевляющие примеры. Среди них самый убедительный — Аркадий Гайдар. Он умел войти в состояние путешественника в двух шагах от своего дома. У него есть рассказ «Голубая чашка», там он описывает путешествие в окрестностях дома, где он жил; он отправился с девочкой на обычную прогулку и увидел привычный, казалось бы, стертый от ежедневности мир глазами путешественника, попавшего в неведомые и дальние страны. Так видеть и ощущать умеют только дети. И хорошие писатели. Сколько раз мне хотелось вот так же пуститься в путь по Ленинграду, по Нарвской заставе, удивиться, увидеть все иным, испытать приключения чужеземца.

В Японии мне помогло то, что все тут говорили и писали по-японски. Это было весьма важное обстоятельство. В Америке, например, там тоже говорят и пишут по-английски, но там хоть что-то можно понять, например: «restaurant» или «sigarette», а кроме того, «thank you», «good-bye» — тоже можно догадаться. Здесь же все было начисто непонятно. Повсюду висели иероглифы. Между прочим, это такие знаки, что даже вполне образованный японец не знает всех иероглифов. У нас, наверное, надписей тоже многовато, но на них большей частью не обращаешь внимания: «Выписывайте газеты и журналы», «Пожарный гидрант», «Кассир справок не дает». А если это же, да иероглифами? Тут любая надпись станет опасно существенной. Кто знает, о чем она сообщает, то ли «Добро пожаловать», то ли «Вход воспрещен».

Приходилось полагаться только на свои чувства и наблюдательность. Я шел по Гиндзе, как охотник сквозь джунгли, оглядываясь, принохиваясь и на всякий случай улыбаясь. Надеяться было не на кого, я

должен был все визнавать сам, догадываться по каким-то ничтожным деталям.

Зато у меня было преимущество: никакие слова и надписи не могли обмануть меня. Меня легко уговорить, а еще больше я верю печатному слову. Тут же я видел все, так сказать, в неистолкованном виде. Грязь и мусор на маленьких улочках, расширенные зрачки наркоманов. Забегаловка напротив отеля была никудышная, а на вывеске и каких-то венках с лентами она расписывалась, вероятно, как образец японской кухни. Ничто не мешало мне составить собственное мнение о твердости жилистого мяса и недоваренной лапши. Чужие суждения не путали картину. Иногда от такой свободы даже становилось неуютно.

Осторожно я двигался, стараясь держаться толпы, быть вместе со всеми, останавливался, где останавливались другие, делал всё, как все. Я чувствовал себя разведчиком, заброшенным на другую планету, и ничем не выдавал своего присутствия.

Из того, что я видел, я сочинял себе свою Японию, не то чтоб я ее придумывал, я пользовался тем, что было передо мною,— соединял, выстраивал...

На перекрестке Гиндзы, у кинотеатра, горело световое табло, на табло выскакивали цифры: 75, 81, 86, 70. Перед табло стоял я, пытаюсь уразуметь, что это означает.

Сыпал мелкий снежок, по Гиндзе бежали ребята с лыжами на плечах. Где-то, значит, были тут и снежные горы и трамплины, а здесь снег таял, не долетая до земли, люди шли под зонтиками, синими, розовыми, расписанными бабочками и змеями. С высоты своего роста я не видел лиц, а видел лишь колыхание и движение зонтов — пестрые огромные цветы, которые распустились под снегом. Слякотная, самая что ни на есть питерская погодка стала таинственной и зыбкой, как на картинах Хокусаи. Люди, которые скрывались под этими зонтами, были тоже загадочны. Мне совсем не хотелось проникать в их жизнь, мне нравилась мелкая, скользящая походка женщин, стук деревянных сандалет, белые носочки с пальчиком, как рукавичка, печальный блеск черных глаз из-под голубого купола зонта, мужчины в черных прямых пальто, их тонкие гибкие пальцы, эта сырая зябкость чужой непогоды... Я дрожал

от холода. Меня уверяли, что в Японии цветут вишни и сливы, а под ними сидят японцы и обмахиваются от жары веерами. Поэтому меня нагрузили плавками, черными очками, шортами и безрукавками. Большинство людей считает, что чем дальше страна, тем в ней теплее, что в Южной Америке жарче, чем в Северной, а в Японии вообще солнце только и делает, что всходит. Я давно заметил, что больше всего знают о той стране, в которой никто не был. Игорь, например, заставил меня взять с собой кепку, мохнатую толстую кепку, чтобы защититься от солнечного удара.

Теперь я стоял на Гиндзе, защищенный этой кепкой, единственной своей теплой вещью, толстой кепкой, которая заменяла мне зонт, свитер и ботинки на каучуке.

Меня интересовало, почему на табло сменяются цифры. Никакой системы в этом не было. Что-то они показывали, но что? Число прохожих? Я пробовал подсчитать. Не сходилось. Пешеходы текли густой толпой, и какой смысл их считать.

Толпа на Гиндзе не убывала. В первый же вечер Гиндза ослепила и оглушила меня. В ней была огромность всего — света, сутолоки, ширины, возбуждения. Великолепные многоэтажные универмаги и крохотные лавочки, которые заполняли каждую щель и каким-то образом тоже дополняли чувство громадности.

Высоко в небе происходила битва, какой-то шабаш рекламных огней. Устраивались хитроумнейшие светопреставления, фирмы твердили на всякий манер свои названия, изображали свои товары. Grown, Song, Nissan — вверх, вниз, кувырком, то вдруг рассыплются, соберутся. Живые картины из неона опоясывали башни из стекла и бетона. Действо это творилось не на каком-нибудь пяточке, а километрами, занимая длинный проспект, захватывая узкие боковые улочки, где было еще светлее, многолюднее, многоцветнее, и это тоже была Гиндза. Пожалуй, она была обширней и ярче Бродвея.

Больше всего я боялся заблудиться. Названий улиц нет, номера домов не подчинялись никакому порядку, Гиндза — это целый район; удаляясь от отеля, я пытался ставить крестики на домах, чем вызвал острый интерес полицейских. Тогда я решил осваивать местность радиальным способом: пройти немного вперед и вернуться тем же путем, затем продвинуться дальше и опять назад. Вправо и назад, влево и назад. Примерно как Робинзон. Всякий раз я находил на своем пути что-

то новое. Я обнаружил крохотную закусочную, где еле могли уместиться три человека. Под железнодорожным мостом, в темноте, двое парней продавали пистолеты, то ли игрушечные, то ли настоящие, не разобрать. Я добрался до хвоста какой-то очереди, состоящей главным образом из девочек. Очередь сворачивала за угол и опять за угол. Девочки, им было по пятнадцать-семнадцать лет, раскладывали тьюфячки, располагаясь на ночь. Рискнув, я зашагал вдоль их воробьиного щебета, вдоль строя их нейлоновых стеганок, платочков, вдоль круглых, красных от холода мордашек, милых, разных, отвечающих на мое глазенье, на мою чудо-кепку смешливым блеском узких глаз. Голова очереди упиралась в подъезд концертного зала, где утром должны были продавать билеты на выступление американских певцов. На фотографии были изображены три женоподобных длинноволосых парня с гитарами. Я позавидовал их славе. Утром я встретил их в отеле. Они, скучая, слонялись перед витринами подвального магазина, разглядывая украшения из жемчуга, а я разглядывал их, но, поскольку это было бесплатно и без очереди, зрелище это не доставило мне удовольствия.

Наступил час, когда я решился пересечь улицу и направиться за угол, к дальнему перекрестку, давно манившему меня непонятными белыми листами, под которыми сидели люди.

Это оказались хироманты. На белых листах были нарисованы типовые ладони с линиями ума, жизни и любви.

Глаза пожилой хиромантки слезились. Кутаясь в затрепанное хаори, она выделила меня из толпы и усмехнулась затаенно и величественно. Перед ней стоял лакированный черный ящик. Типовые ладони на таблицах выглядели вполне научно, по ним можно было не гадать, а вычислять с точностью до миллиметра, что и когда случится.

Я нащупал в кармане деньги и покорно протянул ей ладонь. Кто знает, что находилось в черном ящике, — может, компьютер, может, в этой стране первоклассной электроники и всякой точной механики судьба была «как на ладони». Хиромантка и так и этак мяла мою ладонь и что-то приговаривала. По морщинам ее орехового лица я тем временем читал ее собственное прошлое и будущее. Это была довольно простая и грустная повесть. Хиромантка взволновалась — кажется, меня

ждали невероятные события. Какие — она и сама не могла разобраться. Она развеселилась и подозвала своего соседа, продавца кроликов, оба они склонились над моей ладонью. Судя по таблице, ладонь моя соответствовала девятому номеру. Одна линия, правда, загибалась не туда. Вся надежда была на эту линию. Я был рад — будущее хотя бы отчасти должно оставаться неизвестным. Зачем мне знать, что ждет меня за углом? Важно, что меня что-то ждало, что-то забавное, странное... Я понял, что должен быть готов к своей судьбе. И с этой минуты ожидание невероятного сопровождало меня, усиливая удивительность того, что я видел.

У меня был крохотный номер с крохотным душем и умывальником, с телевизором, который включался, когда в автомат опустишь сто иен, с окном, из которого была видна лишь стена и в ней окно такого же номера, где жил какой-то спортсмен. Утром я съедал банан, выпивал чашечку зеленого чая с сыром и уходил на свидание с нетерпеливо ждущей меня неизвестностью.

Кроме наземного Токио существовал подземный, с тесным метро, с магазинчиками, закусочными, ресторанами; еще существовал воздушный, приподнятый на бетонных столбах, — рокадные дороги, грохочущие эстакады.

В этом приподнятом над землей Токио люди проводили время в машинах и вагонах. Заточенные в железные коробки, они день и ночь безостановочно кружились по бетонным орбитам. Главным образом для того, как объясняли мне местные журналисты, чтобы скорее износить свои машины.

— То есть как это? — недоумевал я.

— Очень просто — износить машину, чтобы купить новую машину.

Журналисты время от времени сопровождали меня по всяким редакциям, молодежным клубам, издательствам, где мы устанавливали контакты, выясняли отношения, занимались деловой частью моей поездки. Со злостью и насмешками показывали они мне обязательную Японию — широко известную, выставленную напоказ, размноженную на великолепных открытках — объемных, стереоскопических, подмигивающих, Японию, экспонированную на международных выставках, сидящую в чайных домиках... Они терпеть ее не могли.

Они были отчаянные профанаторы, иронисты и галлофилы. Особенно отличался маленький Ямаи-сан. Он утверждал, что я попал в страну безумия и абсурда. В этой Абсурдии все заняты куплей и продажей. Если японец не едет в машине, то он что-либо покупает. Если же он не покупает, то он продает. Япония состоит из лавочек, магазинчиков, киосков, ресторанчиков, рынков, автоматов, универмагов, они повсюду, им нет конца; конечно, их пока что меньше, чем людей, но наверняка больше, чем домов. Установлено, что японская женщина смотрит телевизор на два часа больше, чем самая смотроспособная американская. На восьми или девяти телевизионных каналах ей объясняют, что необходимо еще купить. Таким образом, когда японец ничего не покупает, и не продает, и не едет на машине, то он сидит перед телевизором и смотрит рекламу. Время от времени передачи зачем-то прерываются фильмами, стрельбой, гонками и прочей интеллектуальной мурой. Ночью этому японцу снятся новые вещи. Сны приятные и красивые, как универмаги.

Есть ли бóльшая радость, говорил Ямаи, чем ходить по универмагам и выбирать вещи! Покупая, чувствуешь себя свободным. Семьдесят сортов подтяжек. А там еще шестьдесят. Полная свобода выбора. Можно выбирать часами — такой простор, столько возможностей проявить свой вкус и свои принципы. Могу купить не здесь, а пуститься по магазинчикам или поехать в Уэно. И повсюду вам будут улыбаться, любить вас, повсюду вы будете желанным. Миллионы покупателей замороченно кружатся, опьяненные, как наркоманы; их обирают, обманывают, они ничего не замечают...

Он иронизировал, издевался, преувеличивал, но он любил свою страну. За горечью его насмешек угадывалась и другая Япония. Она хранилась внутри этой сумасшедшей карусели, как сказочный ларец за семью печатями.

В писчебумажном магазине на полках лежали стопки бумаги. Мне надо было купить просто бумагу для писем. Но просто бумаги не было. Вся бумага была разной. Я перебирал шелковисто-лиловую, с атласнотисненными листами клена, мохнато-серую, песочную, края рваные, края с темным отливом, бумагу с водяными знаками, с еле видимыми рисунками, бумагу тончайше-прозрачную, шершавую... Я растерялся среди этих десятков, а может, сотен сортов. Выбор был действитель-

но удручающе велик. Но это был не просто выбор. Мне пояснили: вот это бумага — для деловых писем, эта — для писем друзьям, на этой пишут женщинам, на той лучше писать зимой, а на этой — печальные сообщения. Присматриваясь, я и в самом деле что-то такое начинал различать. Воспитанная веками культура чувств слегка приоткрылась передо мною через эти обыденные предметы.

Наверное, я купил бумагу для писем в дождливую погоду, ничего шутливо-беспечного не получалось.

«Когда ты далеко, я лучше тебя вижу; кажется, что я приехал сюда, на край света, ради того, чтобы увидеть нас обоих. Японию откроют и без меня. Сейчас модно писать про Японию. Но открывать в ней что-либо можно, по-видимому, лишь открывая что-то в себе самом. А это трудно. Легче заниматься чужими душами, чем собственной...»

Как-то под вечер я попал в огромный универмаг. Девушка у эскалатора радостно поклонилась, приветствуя мое появление. Она приветствовала каждого входящего, это была ее работа, но мне было наплевать, я не собирался ни с кем делиться ее улыбкой и нежными словами, которые она сказала мне. Эскалатор поднимал меня этаж за этажом мимо расшитых кимоно, харэги, коэнсита, золотистых татами, низких лакированных столиков, обеденных сервизов, игрушек, велосипедов, бамбуковых спиннингов, роскошных часов, и вдруг из этого мира новеньких, новейших, самых модных вещей, пахнущих краской, блистающих никелем, нетронутой чистотой, я попал в старое, поношенное, захватанное и поразительно знакомое. Это были вещи моего детства. Первые вечные ручки — толстые, из пластмассы в мраморных разводах, граммофонные пластинки — «Виктория»: «Голос его хозяина». Сами граммофоны с большими зеленоватыми трубами, деревянными инкрустированными ящиками. Шелковые цилиндры. Тяжелые карманные часы с цепочками. Старомодные коньки. Детекторные приемники. Сахарные щипцы. Лорнетки. Тут не было ничего антикварного, самые обычные бытовые вещи наших отцов и бабушек — корсеты, телефонные аппараты с кнопками, ридикюли, гамаши, большие роговые гребни, медные тазы, были тут и чисто японские старые вещи: игральные карты, где вместо мастей — разные растения, соломенные шляпы, веера,

какие-то трубки, шашки... Вещи радовали прежде всего узнаванием. Сразу вспоминались комоды, шифоньеры, полузабытые дома и люди. А кроме того, приятна была их добротность, честная неуклюжая добросовестность — вроде больших латунных контактов на приемнике.

В доме моего двоюродного брата стояли высокие бронзовые подсвечники. Только теперь я понял, какие это были красивые подсвечники.

Я помню каждый их завиток, потому что все эти завитки, лепесточки отвинчивались, чашечки, куда вставлялись свечи, тоже отвинчивались, а основание, залитое свинцом, тоже вынималось. Свинец мы оттуда вырезали, мы делали из него грузила, а потом пытались делать кастет. Завитки и прочие детали мы пробовали приспособить под что-либо стоящее, поскольку сами подсвечники никакой ценности для нас не представляли, наоборот, они выглядели нелепостью, почти позорным прошлым вроде керосиновой лампы или лючины...

Старая петербургская квартира досталась дяде от какого-то генерала, в ней было полно ненужных и странных, на наш взгляд, вещей. Ломберный стол, покрытый ярко-зеленым сукном. Сколько трудов нам стоило отодрать его! Огромный кованый сундук. Пустая золоченая клетка. Секретер со множеством отделений, мы выковыривали оттуда перламутр, замочки, пружинки, которые выталкивали потайные ящички. Мы презирали и не любили эти старорежимные вещи. Взрослые пытались нас остановить, но мы не слушали их. Дядя надолго уезжал в Арктику, тетка пропадала на фабрике, и мы хозяйничали. Подсвечники мы сдали в утиль и купили волейбольный мяч. Таким же способом мы расправились с бронзовыми чашами.

Спустя столько лет мне вдруг стали вспоминаться старые вещи, которые я уничтожил. У отца был огромный альбом с фотографиями камчатской экспедиции. Альбом погибал долго. Толстые, глянцевого картона листы не поддавались ни бритве, ни ножницам. Особо помнится мне найденный на чердаке большой пакет, обернутый в голубоватую кальку. Там были связки писем и рукописей, какие-то рисунки тушью, но ничто не представляло для нас интереса, кроме кальки. Все остальное пошло на растопку.

Тридцать лет спустя я попал в маленький старинный городок на берегу Онежского озера. Николай Иванович, учитель истории, повел меня в местный музей. Вытянутый одноэтажный деревянный дом, бывшая школа, стоял на окраине в запущенном саду. Музей был создан руками Николая Ивановича. Четверть века он собирал все, что относилось к истории края. Оружие времен гражданской войны, красноармейские книжки, фотографии. Но больше всего занимали его предметы быта. Он выпрашивал старые самовары, плакаты, прялки, даже мебель. Из дальней деревни он притащил на себе тяжеленный почтовый ящик александровских времен, фонарь, вывеску земской больницы. Чего тут только не было! Старая деревянная посуда, берестяные игрушки, вплоть до берестяного мячика. Детские грабли, весело разукрашенные, чтобы приохотить ребятишек к работе, жестяные банки из-под монпансье и чая, тетрадки первых лет революции, календари, кованые замки, вышитые рубахи... Из этого складывался быт, который я уже не застал и который застал лишь краешком. Вещи, среди которых выросли наши родители, были тогда незаметной обыденностью, а ныне они диковинные, даже непонятные: сапожные колодки, ухват, песочница. По ним можно было представить, как они жили — и бедность, и тяжесть работы, и веселье. Это были не столько этнография и не столько история, сколько именно быт, та повседневная жизнь, которую так трудно восстановить, которая у каждого поколения своя и уходит с ним...

До чего ж я был благодарен Николаю Ивановичу! Хоть чем-то, хоть как-то возместил он мои давние бесчинства. Со стыдом вспоминал я, сколько бесценного уничтожил я, уничтожил безвозвратно. В нынешней квартире моей нет ни одной старой вещи, ничего из того, что когда-то принадлежало родителям, связано было с жизнью отца, деда, ничего фамильного, наследованного. Низенькие эти трехногие столики, да диван-кровать с поролоновой начинкой, да полки, где те же книги, что и у всех, — новые, новехонькие, все, что у всех. Была, правда, старая настольная лампа, купленная Таней в комиссионном, чужая старина, не вызывающая никаких воспоминаний, поэтому ничем не дорогая. Такие вещи стоят столько, сколько они стоят, — не больше...

И тут, в этом универмаге, я увидел фарфоровый чай-

ник. На нем были нарисованы мост с бамбуковыми перилами и у перил две девушки в красных с золотом кимоно. Я сразу узнал их. Каждый вечер этот чайник, гордость моей тетки, ставился перед моим носом у самовара, и я разглядывал этих японок, гадая, кого они ждут на мостике, почему одна из них веселая, а другая печальная. Кончилось это тем, что я отбил у чайника носик, тетка плакала: чайник из настоящего японского фарфора считался драгоценностью, мне вспоминали его многие годы; и вот теперь он стоял здесь, целенький, хотя и пожелтелый от времени, в мелких волосяных трещинках. Он был дешевый, я купил его и смотрел, как бережно и долго его завертывали, упаковывали, перевязывали.

...На улице я сообразил, что тетя Вера давно умерла и дядя Гриша погиб, не осталось никого, кроме меня, кто помнил бы этот знаменитый чайник, и, собственно, мне некого удивить и обрадовать.

Может, эту удивительную встречу имела в виду гадалка? Однако ожидание невероятного не прошло, оно все так же томило — ненасытное и веселое, как предчувствие чуда.

И когда на перекрестке Гиндзы, перед непонятным световым табло, появился Коля Сомов, это было так сверхъестественно, что я убедился, что попал в страну, от которой можно ожидать всего того, чего нельзя ожидать.

Последний раз я видел Колю Сомова в дежурной комнате милиции, где разбирали нашу драку с соседней школой. Сомову выбили передний зуб, он говорил присвистывая, с трудом шевеля вздутой губой. С тех пор я мельком, на ходу, встречал его раза два в Москве, когда он стал уже доктором наук, лауреатом, но при виде его вставленного зуба я сразу вспоминал того Сомова.

— Привет,— сказал я.— Какими судьбами? Слушай, Сом, что это за штука с цифрами?

Он взглянул на табло.

— Индикатор уровня шума.— Затем добавил, снисходя к моему уровню: — Измеряет уличный шум. Доходит?

Мы посмотрели друг на друга и стали не торопясь, со вкусом изумляться.

Сомов жил в Токио уже две недели. Он прочел в университете курс лекций по искусственным элементам и теперь собирался в поездку по стране.

Мы отправились в ресторанчик, где Сомова знали и сразу подали нам какие-то катыши из мяса и риса, вино и пирог. Сомов двигался неторопливо, и, однако, я еле поспевал за ним. Видно было, что все у него рассчитано, налажено, особенно же меня поразило, с какой ловкостью он орудовал палочками.

Мне легче было подцепить рисинку ногами, чем этими палочками. Впрочем, ног у меня уже не было. Вскоре после того как я уселся, скрестив их под собой, они затекли, задеревенели и начисто исчезли.

— Ну, как тебе эта экзотика? Что-то ты мало ешь, — лицемерно беспокоился Сомов. — Давай, давай, наслаждайся. Ты же среди экзотики. Знаешь, глядя на твои действия, я начинаю понимать, откуда у японцев столько трудолюбия и терпения.

Низкорослый, массивный, со скуластым крепким лицом, он вписывался в окружающую обстановку. По тому, как уверенно он держался, можно было подумать, что он по крайней мере несколько лет пребывает здесь. И позже, когда он уговорил меня вместе с ним поехать на юг Японии, меня не раз удивляла, даже раздражала эта его способность немедленно адаптироваться; через час в любом городе он уже показывал дорогу, имел знакомых, ему уже звонили по телефону, как будто он приехал не в Беппу, а в Свердловск. Его сопровождал молоденький аспирант Тэракура-сан, влюбленный в Сомова, знающий наизусть его работы, он почитал его за великого ученого, записывал его изречения и поражался тому, что я осмеливался спорить с Учителем.

Мы ехали вместе, дорогой у каждого из нас постепенно появлялась своя Япония, мы с Сомовым как бы смотрели в разные стороны, мы словно двигались в разных плоскостях, и только в Киото пути наши пересеклись. Это было в Саду камней маленького храма Рёандзи.

А пока что мы шли с Колей Сомовым по Синдзюку и мне казалось, что мы те же десятиклассники, что Митя Павлов не сгорел в танке, Каменев не умер от рака, все живы, а вот мы с Колей Сомовым, на зависть им всем, каким-то чудом забрались в неслыханную страну.

Вспыхивали бумажные фонарики, сквозь высокие ворота храма светилось синее вечеряющее небо, кто-то мягко бил в гонг, все было, как тысячу лет назад и как тридцать лет назад.

**НАЧИНАЕМ С ТОГО ЖЕ, С ПОЛЕТА
В ЯПОНИЮ, НО В КРЕСЛЕ САМОЛЕТА СИДИТ
НИКОЛАЙ СОМОВ И ЧИТАЕТ КНИГУ ЛОУРЕНСА**

«Мы летим на северо-запад, взяв курс на Японию. Наш самолет «Энола Гэй», названный полковником Тиббетсом по имени своей покойной матери, соответствует двум тысячам, а возможно, и четырем тысячам «летающих крепостей». Лишь несколько звезд просвечивают сквозь облака, и время от времени вспышки молний озаряют небо. Мы летим в ночной мгле, сквозь грозу, вперед и прямо к Империи».

Стюардесса подала мне горячие салфетки, смоченные лосьоном.

— Где жили ваши родители в сорок пятом году? — спросил я.

Профессия приучила ее к любым неожиданностям.

— В Киото, — любезно ответила она.

— Вас, конечно, еще не было тогда на свете?

— О да!

Того журналиста звали Лоуренс. Он получил премию Пулитцера за свои очерки о бомбежке Японии:

«...Я нахожусь внутри небесного свода, пролетая над горами белых кучевых облаков. Наступают моменты, когда пространство поглощает время, и минуты, кажущиеся бесконечностью, заполняются гнетущим одиночеством».

Не очень понятно, кто кого поглощает. Они летели примерно на нашей высоте.

«...Где-то впереди за этими огромными горами белых туч лежит Япония, страна нашего врага. В мгновение, которое нельзя измерить, небесный смерч превратит в прах ее обитателей».

Стюардесса вернулась за салфеткой.

— Вам повезло, — сказал я, — вернее, вашим родителям.

Она не поняла и на всякий случай улыбнулась.

«...Но сейчас еще никто не знает, какой из городов будет уничтожен. Окончательный выбор сделает судьба. Ветры, дующие над Японией, примут решение. И если они закроют Хиросиму тяжелыми тучами, город будет спасен и его обитатели не узнают, что за ветер благосклонной судьбы пронесся над ними...»

Он чувствовал себя богом или близким к богам, этот Лоуренс. Во всяком случае, он был близок к генералу Гровсу, а уж тот-то наверняка считал себя богом, особенно когда решался вопрос о выборе цели.

«...Но тот же ветер обречет Нагасаки, или Кокуру, или Хиизату. Через несколько минут все будет ясно».

Генерал Гровс предлагал разбомбить Киото, а военный министр США Стимсон — разбомбить Нагасаки. Долгий ожесточенный спор выиграл Стимсон. Бомба была сброшена на Нагасаки, родители этой девушки остались в живых, и она появилась на свет.

— Благодарю вас, — сказал я.

— Все в порядке?

— О да, все отлично.

Острова Японии медленно проплывали под крылом. Прекрасной и беззащитной выглядела земля отсюда, с высоты. Япония была для меня: Хиросима, Нагасаки, август 1945 года и тот внезапный поворот в моей судьбе, после атомного взрыва. Насколько я знаю, Оппенгеймер не был в Японии, и Артур Комптон, и Эрнест Лоуренс, никто из физиков, членов комитета по выбору цели, не приезжал после Хиросимы в Японию. Глядя вниз, я пробовал представить себе, что бы они чувствовали, ступив на эту землю. И не мог.

С той минуты, когда машина помчалась по шоссе в Токио, ныряя в тоннели, возносясь на высокие бетонные эстакады, когда за стеклом потянулись тесно прижатые друг к другу крыши, заводские корпуса, трубы, виадуки, разгольдеры, и все это без малейшего зазора, без передышки, километр за километром, до самого горизонта, слева и справа — заводы, верфи, комбинаты, стапеля, — с этой минуты началось узнавание. Я готовился к тайнам Востока, а находил привычное, понятное, и это было приятно.

Улицы Токио знакомо воняли бензином, повсюду грохотали электрички, мчались машины, зелени было

мало, людей много, автобусы шли битком набитые, утром перед лекциями негде было перекусить, хотя кругом сотни забегаловок, но всюду переполнено, а в пустом ресторане отеля я ждал полчаса, пока официант принес креветки вместо заказанного омлета.

Мне было смешно, что я сердился точно так же, как в нашей институтской столовой. Студенты на лекциях так же, как и в Москве, гудели, перешептывались, в тех же местах начинали записывать, задавать те же вопросы и делали те же ошибки.

С утра я шел в толпе служащих, одетых, как и наши, с обычными папками, сумками, авоськами.

Я любовался архитектурой отеля «Отания» и еще какого-то нового отеля — белого с розоватыми полосами, словно обтянутого тиком, я понимал достоинства этих построек, мог сравнивать, оценивать.

Это было чем-то похоже на встречу с Глебом Фокиным. Неожиданность, казалось бы, удивительность нашей встречи здесь, в Токио, открывала нечто закономерное.

Меня забавляли его восторг и изумление. Для него такая встреча была чудом, он никак не желал понять, что прелесть ее как раз в другом, в том, что она уже становится не чудом, мы можем встретиться не только в Москве или в Берлине, но и в Токио.

Видимо, его как раз это не устраивало. С пренебрежением он показывал мне на билдинги деловых кварталов Маруноути: облицованные черным мрамором, полированным гранитом банки, офисы — с блестящими медными вывесками, с подземными гаражами и уходящими ввысь зеркальными плоскостями. Его возмущала похожесть. То ли это Дейтройт, то ли Лондон, то ли Москва. Те же лифты, эскалаторы, та же застекленная геометрия, удобная и безликая. Те же девочки в мини и парни в джинсах с транзисторами. У одного транзистор «Сони», у другого «Филлипс», у третьего «Грундик» — вот и вся разница. Он не видел ничего хорошего в этой всеобщности. Американообразные супермаркеты, знакомые проволочные корзины, заваленные жестянками с кофе, сыром, консервами. Толпы клерков в одинаковых синтетических костюмах, волосы припомажены тем же кремом «М». Эта Япония его мало интересовала.

В воскресенье мы гуляли с ним в Императорском парке. У ворот дворца стояли часовые. За каменной

стеной поднимались пагоды, аспидно блестя крыши дворца, выложенные фигурными черепицами. По дорожкам парка семенили японки в праздничных кимоно, с высокими прическами. Мужья или женихи фотографировали их. Этот милый маскарад среди бедных красок зимы восхищал Глеба. Он ахал, держал меня за рукав, как будто мы были не одногодки, а я дядюшка, а он племянник.

— Так вот что тебе нужно, — сказал я. — Рикши и гейши. Чтобы самураи делали перед дворцом харакири. Чтобы несли в паланкине микадо. Ты ищешь мадам Баттерфляй и тому подобную ветошь. Ты вроде тех иностранцев, которые, приезжая в Москву, ждут медведей, троек, зипунов и самоваров. Таинственная русская душа, загадочный Восток, чайная церемония...

Он посмотрел на меня с жалостью. Как будто мне была недоступна красота этого парка — слабые, приглушенные краски травы и голых деревьев и среди них плывущие кимоно с их трубными сочетаниями цветов, подобные фантастическим птицам. И барабанный стук деревянных гэта, сплетения ветвей, прорисованных легко и звучно в тихом небе.

Он считает, что либо — либо. Что ежели наука не знает, зачем павлину такой роскошный хвост, то рационалисты не станут любоваться этим хвостом. Что для таких, как я, главное — полезность, разумность. Рационалист для него бранное слово. Он не чувствует, что павлиний хвост для ученого — еще больше чудо, если его нельзя объяснить законами эволюции...

На горбатом бамбуковом мостике стояли две девушки в алых кимоно. Разрисованные их личики — белое, черное, красное — вызвали у Глеба нечто вроде приступа астмы. Он задышался от счастья. Девушки и впрямь были прехорошенькие, этакие фарфоровые создания, желтый мостик был как ломтик луны... Но когда я увидел у одной из них в руках книжку в зеленом супере — курс лекций Фейнмана, я рассмеялся и подошел к ним.

Глеб издали пожирал нас глазами, он был изумлен моей смелостью, как будто я заговорил с небесными ангелами.

— Заурядные студенточки, — сообщил я, вернувшись. — Имеют «хвосты», общественно пассивны. Английский знают плохо.

Я думал рассмешить его или в крайнем случае подразнить, но он всерьез огорчился.

— Что ты наделал! — сказал он. — Они ведь с чайника.

Вечером он показал купленный где-то старенький чайник.

— Любимый чайник тети Веры, зачем он теперь мне, если на нем изображены хвостистки? — сказал он.

Снова этот чайник разбился. Ах ты, бедный мой физик, тебе казалось все это очень остроумным, и вот видишь, что получилось...

Потом мягкое смешливое его лицо слегка покраснело.

— А все же ты, технарь, не прав: важно не то, что эти девушки в кимоно оказались студентками-физиками, важно другое, наоборот, что эти девицы с книгой Фейнмана ходят в кимоно!

Я пригласил его на обед к давнему моему знакомому профессору Кайно. Впервые мы отправились в частный японский дом. У входа мы сняли туфли, надели тапочки, и Глеб был этим доволен. Однако обстановка в доме была европейская... Мы сидели на нормальных стульях, за нормальным столом, и хозяйка с нами, ели мы ложками и вилками. Глебу не приходилось мучиться, и тем не менее он не мог скрыть разочарования. Мы пили виски, разговаривали о романах Кубо Абэ, о назначении фантастики и о космических кораблях. На стеллажах стояли Чехов, Достоевский, Ландау, и в числе прочих — моя книга, переведенная на английский, так же как у меня стояли книги Кайно-сан о получении новых элементов. После обеда мы вышли на террасу в крохотный садик. В горшках росли маленькие сосны и вишни, лежали декоративные камни, выгибался мостик над прудом величиной с крышку рояля, и стоял каменный фонарь. Ходить по этому саду мог один человек, и то имея ноги не больше 34-го размера. Кайно-сан показывал сад, как бы прося снисхождения к своей слабости. Вот, мол, и они, вполне современные люди, любят старинные игрушки. Однако Глеб нахваливал сад с таким энтузиазмом, что Кайно-сан повел нас в дом и, раздвинув оклеенную бумагой легкую дверь, или, как ее называют, седзи, открыл комнатку-нишу. Там стоял манекен, наряженный в самурайские доспехи — наплечник, латы, не знаю, что там еще, и меч, и шлем. Оказывается, это досталось Кайно-сан от его предков —

так сказать, фамильное наследство. Он надел на себя шлем, помахал мечом, посмеиваясь над собою и над священным трепетом Глеба.

Я подмигнул Кайно, и мы с силой напялили шлем на голову Глебу. За чаем мы обсудили последние работы Уильяма Миттла и так заговорились, что совсем забыли про Глеба — он сидел молча, в этом дурацком самурайском шлеме, одинокий, печальный. И даже когда я это заметил, мне все равно не хотелось отрываться от нашего разговора, я лишь мельком подумал, что у меня сейчас с доктором Кайно, наверное, больше общего, чем с Глебом, а может, и не только сейчас, подумал я позже, мысль эта смутила меня, не могло так быть, не должно было так быть, что-то тут было не так...

**ПРИЕХАВ В КИТО, ОНИ ПОСЕТИЛИ
САД КАМНЕЙ, И ГЛЕБ ФОКИН СПЕРВА
НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ И, УЖ КОНЕЧНО,
НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛ, КАК МНОГО БУДЕТ ЗНАЧИТЬ
ДЛЯ НЕГО ЭТО ПОСЕЩЕНИЕ**

Сперва это напомнило мне театр. Длинные деревянные скамьи ступенями спускались к дворику, усыпанному белым песком. Из песка, разбросанные как попало, торчали разные, большие и малые, камни. На скамьях сидели люди и взирали на камни. Некоторые присаживались на несколько минут, потом бесшумно уходили — бесшумно, поскольку обувь снималась у входа в храм. Переговаривались шепотом, сохраняя тишину. И вообще все выглядело весьма торжественно, как будто там, на этом песке, что-то происходило. А там ничего не происходило. Лежали старые обыкновенные камни, посреди песка. Напротив, огораживая сад, тянулась земляная стена, крытая черепицей. Все это сооружение составляло знаменитый Сад камней храма Рёандзи. Тэракура привел нас сюда как бы в заключение, после всех других храмов Киото; по дороге он рассказывал про Сад камней с благоговением, готовя нас к чему-то необыкновенному, и теперь он с надеждой ждал.

Я чувствовал себя виноватым. Я ни черта не видел в этих камнях. У нас в Новгородчине таких камней завались. Каждую весну их выкорчевывают, подкапывают, сволакивают на межи, увозят, а на следующий год

вылезают другие. Трактористам от них форменная беда. А тут, в Японии, люди сидят и почтительно взирают на такие же камни как на какой-то шедевр, словно перед ними «Джоконда» Леонардо. Добро бы на камнях было бы что-нибудь изображено, но они даже никак не отделаны, нетронутое естество природы.

Сбоку, на стене, в рамке висела надпись. Тэракура-сан перевел ее нам. Это оказалось стихотворение. Тэракура извинился за свой перевод, передающий лишь смысл:

Сядьте и побеседуйте с Садам камней,
В огромном мире, как отдаленные точки,
Затеряны островки с благоухающими вершинами,

Напоминая нам бескрайнюю Вселенную,
И наши сердца очищаются от скверны,
И мы можем постичь дух Будды.

Дальше про секту дзэн, что-то чисто религиозное, малоинтересное для Тэракура, поскольку он принадлежал к другой секте.

Пожалуй, камни и впрямь походили на острова, на ту Японию, которую я увидел впервые из самолета.

Я вспомнил, как три недели назад я летел сюда, и казалось, что этому путешествию не будет конца, что меня ожидают бог знает какие приключения, открытия, и вот уже скоро пора возвращаться, и, хотя я увидел больше, чем ожидал, все равно ожидание — оно лучше. Я все еще надеялся на невероятное, на чудо, обещанное хироманткой.

А теперь, увы... счет уже пошел на дни и часы, пора подбивать бабки, а кажется, что все это вступление, самого-то главного не было. И ведь упрекнуть себя не за что, ни одного дня не проведено впустую, бог знает сколько насмотрелись, где только не побывали. Чем же я не доволен? Какого «самого главного» я ждал? Может, это главное уже было — где-нибудь в маленьком городке Курасики или на пароме, когда мы с барменом показывали друг другу фокусы со спичками... Никогда не знаешь, что потом, впоследствии окажется главным.

За три недели было множество встреч, разговоров, наблюдений, казалось, что я уже что-то понял, разобрался, — ничего подобного: сидя перед этим Садам камней, я чувствовал себя болваном, невеждой, потому что ни чувств, ни мыслей не вызывало во мне это зрели-

ще, ничего, кроме досады. Который раз Япония огорчивала своими загадками.

А храм существует триста лет, и триста лет ходят сюда люди, сидят часами, любуясь, размышляя над этими камнями. Каждое поколение что-то находит здесь. Почему же я не способен?

Ощущал же я, хоть как-то, прелесть древней японской живописи, непривычной скульптуры, до самого закрытия бродил по сумрачным залам Национального музея, и так и этак подбираясь к нелегкой простоте картин Харунобу и к картинам, сделанным из одного иероглифа.

Если чего я не понимал, то хоть чувствовал, ощущал, что есть тут что-то, недоступное мне.

Я покосился на Сомова. По всем его теориям никаких тут тайн не должно быть. Не должно, и все. Подперев руками голову, он сидел, наблюдая, будто перед экраном осциллографа, перед стендом в своей лаборатории. Можно подумать, что с этими камнями происходило нечто, требующее изучения. По складу его ума ему мало установить, что тут ничего нет, что это в лучшем случае религия, мистика, шаманство, все это еще надо разложить на составляющие, вычислить и доказать. Его натура требует логических доказательств. Судя по холодному, насмешливому его лицу, он разрушал этот сад, камня на камне не оставлял. Бедные японцы, навсегда они лишатся своего национального сокровища.

А если он что-то уловил?

А что, если ему тут что-то открылось, а мне нет?

С ревнивой ожесточенностью уставился я на темные камни посреди белого песка, «затерянные островки» в бескрайней Вселенной. После стихов сравнение стало очевидным, в нем не хватало свежести поэтического открытия. Еще немного — и можно впасть в дешевое глубокомыслие. Примерно то самое, о котором писал великий японский поэт Басё:

Стократ благороднее тот,
Кто не скажет при блеске молнии:
«Вот она, наша жизнь!»

Вряд ли ради подобных поверхностных мыслей приходят сюда японцы. Сам Басё, который принадлежал к секте дзэн, наверное, тоже бывал в этом саду и видел свое в этих камнях.

Там, куда улетает
Крик предрассветной кукушки,
Что там? Далекие острова.

Триста лет может сохраняться лишь подлинная ценность. Всякая мнимость, модное, надуманное давно исчезло бы из жизни народной. Те же японские трехстишия, поэзия того же Басё не стареют, продолжают удивлять из века в век, несмотря на всю свою предельную простоту, а может, именно благодаря простоте. Чем-то они, конечно, похожи на эти камни: ничего проще, лаконичнее быть не может.

Помнишь, как вместе с тобой
Мы глядели на снег!.. Ах, и в этом году
Он, должно быть, выпал опять.

Три строчки, несколько слов, и, оказывается, этого достаточно, чтобы начался обвал чувств, лавина воспоминаний. И у меня был тот первый снег, утро, когда мы вышли на крыльцо и зажмурились от белизны...

Проза не в силах вызвать подобное столь скупыми средствами. Поэзия для меня вообще магия, а в японской поэзии секрет действия этих хокку совершенно непонятен. Емкость таких стихов кажется неисчерпаемой. Ну как, спрашивается, каким образом они умудряются столько передать тремя строчками, столько зацепить, вытащить из души? Вот, например, «Вспоминаю умершего ребенка» Фукуда Тиё:

Больше никому стало
Делать дырки в бумаге окон,
Но как холодно в доме!

Написано двести пятьдесят лет назад, и ничего не обветшало, все так же щемит сердце, и верится, что пройдет еще двести лет — и действие этих стихов не изменится. Да я и не представляю себе, что тут может устареть. Как вообще происходит старение в искусстве? Геронтологи пока что искусством не занимаются. Тут каждый, как говорится, сам себе геронтолог. Для меня первая примета старости — это когда в произведении появляется лишнее. В стареющих кинолентах начинают раздражать затянутости, в романах — долгие описания портретов, обстановки, чрезмерные разъяснения... Когда-то меня занимала тайна долголетия в искусстве. Почему одни произведения, которые при-

знавались талантливыми, дряхлеют, а на другие время не действует?..

Мы как-то обсуждали это с Сомовым, сидя в вечернем экспрессе по дороге из Токио в Нагасаки. За окном со скоростью двести двадцать километров в час мчалась Япония. Поселки и городки сливались в сплошные полосы огней — цветные повязки ночи. Мы сидели в высоких креслах, в вагоне было тихо и неподвижно, скорость была за окном. Сомов считал, что, проанализировав процесс старения в искусстве, можно найти способы избежать этого старения. Не торопясь, он принялся расчленять, прикидывать и так и этак, вслух, так, чтобы я мог следить за его мыслью. Она ловко нащупывала подступы, формулировала проблему, было страшновато наблюдать ее работу. Можно было подумать, что еще немного — и Сомов найдет секрет, длинную формулу, или таблицу, или правила, что-то в этом роде, и преподнесет мне. Я был уверен в его могуществе. По этим формулам можно будет создавать гениальные, то есть нестареющие, произведения. Ну, конечно, не так-то просто, но, как говорит Сомов, должны же быть какие-то законы, все явления подчиняются каким-то законам, на все существуют свои законы...

И вдруг я испугался.

— Кончай,— сказал я.— Довольно, не надо, не хочу я этого знать, не желаю.

По-кошачьему круглые глаза его заинтересованно прицелились, а потом он рассмеялся:

— Отказываешься? А мог бы сразу стать классиком. Чего ж ты боишься, задаром ведь... Впрочем, может, ты и прав. Такая штука — вроде эпидемии. Представляешь, если обнародовать секрет изготовления шедевров...

— Пожалуйста, не надо. Удержись. Не публикуй. Чего тебе не хватает, славы? — Я внимательно посмотрел на него.— Послушай, без шуток, если б ты нашел, мог бы ты остановиться, похоронить?..

— Не знаю.— Он подумал и повторил удивленно и встревоженно: — Не знаю...

Непривычная скорость «Хикари» размазывала пейзаж, ближние предметы глаз не успевал рассмотреть, они плавались, словно в фокусе, четкость сохранялась лишь в глубине. Там медленно кружились рисовые поля с маленькими домиками под тяжелыми крышами.

Неторопливость была задвинута куда-то вдаль, таяла в темноте, заслоненная шумом, скоростью, слепящей каруселью реклам.

Последние слова Сомова не выходили у меня из головы. В том-то и дело, что он не устоял бы и обнаружил свое открытие. Неважно, что никакого открытия не было и все это были фантазии, меня занимала сейчас ВОЗМОЖНОСТЬ. Он сознавал бы всю опасность своего открытия и все равно не удержался бы от искушения. Для него нет вредных и полезных открытий. Знание для него всегда хорошо. В Императорском парке мы с ним любовались двумя девушками. Они стояли на мостике, красные кимоно их отражались в черной воде, детские мои воспоминания были тут ни при чем, сама по себе эта картина была красива. Бывают такие редкие случаи: все вдруг счастливо сочетается — краски, воздух, солнце, — длится это какое-нибудь мгновение, и словно ощущаешь, что никогда это больше не повторится...

Что делает Сомов? Вздыхая и умиляясь, берет ножик и начинает скоблить краски на этой картине. Выясняет, что внутри этих кимоно пребывают студентки-двоечницы, что они не понимают какого-то Фейнмана, и т. п. Зачем ему понадобилось это выяснить? Любознательность сжигала его, мешала ему наслаждаться, он немедленно принимался потрошить, развинчивать, копать...

Вот и сейчас он точно так же примеривался к этому Саду камней.

Внезапно храм наполнился шумом, топотом. Рядом со мной на скамье уселась большая немецкая семья — множество детей, мамаша, бабушка и папа в красных носках и с таким же красным налитым лицом.

— Камни — это символы, — решительно сказал он. — Тут можно сидеть часами, погружаясь в глубины духа. Мы, европейцы, не умеем созерцать. Темп современной жизни не позволяет нам остановиться. Мы превращаемся в роботов... Ах, Восток...

Затем, по его требованию, семья погрузилась в умиленное созерцание. Через несколько минут он посмотрел на часы, поднялся, и все дружно встали и отправились покупать цветные открытки и слайды Сада камней.

Я был ничуть не лучше их. Я готов был обратиться к Сомову с теми же словами. Сад камней ничего у меня не вызвал...

**ИНОГДА КАЗАЛОСЬ, ЧТО ОНИ ПОБЫВАЛИ
НЕ В ОДНОЙ СТРАНЕ, А В РАЗНЫХ.
И ТОТ ЖЕ САД КАМНЕЙ НИКОЛАЙ СОМОВ
УВИДЕЛ ИНАЧЕ**

Сад камней представлял площадку примерно метров тридцать на десять. Темные камни на белом песке. Одни камни, больше ничего — ни травинки, ни листочка. Они прежде всего напомнили мне камни Нагасаки. Казалось бы, при чем тут Нагасаки, и все равно опять Нагасаки, опять Хиросима. Куда бы я ни повернулся, любое движение вызывало боль. После Нагасаки рана эта открылась, и все цеплялось за нее, она не давала покоя...

Тэракура прочел стихи про острова и Вселенную, но это были старые стихи, написанные за столетия до атомного взрыва, автор не мог и вообразить себе, какие сравнения вызовут у нас эти камни. Они источали угрюмую печаль. В них была дикость... Когда-то я читал книгу известного японского ученого Сёто Нагаока «Измерения в эпицентре атомной бомбы в Хиросиме». Профессор описывал превращения, которые произошли с минералами в Хиросиме после взрыва. Гранит выпустил тонкие шипы, как бы оброс щетиной. Камни текли, покрылись коростой — страшные, одичалые, они опрокинулись в свою первобытность, в какую-нибудь эозойскую эру.

Древние камни храма Рёандзи были красивы и патриархальны, они предназначались для тихого созерцания — вечная, неизменная природа и всякое такое, но я видел в них камни Нагасаки.

Киото могла постигнуть участь Нагасаки. Мысль об этом делала для меня призрачными тихие улочки бывшей столицы и глубокие полутемные лавочки, где горели бумажные фонарики и на полках нежно просвечивал тонкий фарфор. Красные ворота храма вели в чистый пустой двор. Холодное солнце светило там особенно резко и сильно. Голые ветви вишен были в белом, словно цвели тысячи подвязанных бумажек — молитвы и просьбы верующих. В пустынных храмах открывалось пространство, огороженная пустота: небо над головой, шум гравия под ногами, и в душе у меня становилось свежо и радостно, как когда-то, а теперь бывает только во сне, жизнь казалась еще долгой, и можно было в ней еще кое-что исправить. Я хотел бы наслаж-

даться прелестью этого старинного города, как Глеб. Но Киото был отравлен горечью Нагасаки. Снова я возвращался к этой старой истории.

В Нагасаки, в Музее атомного взрыва, мы встретили группу американских моряков. Рослые красивые парни, скучая, бродили между стендами. Они совершали экскурсию по городу, они уже побывали в храме Софукудзи, в домике мадам Баттерфляй, в католической церкви, и теперь их привезли в музей. Молодые челюсти их неутомимо жевали резинку, глаза лениво скользили по экспонатам. Они жаждали развлечений. От нечего делать они фотографировались, покупали стереооткрытки. Кое-что они, наверное, слышали о трагедии Нагасаки, но это было давным-давно, никого из них еще не было на свете, и к ним это не имело никакого отношения.

Город был испепелен. В центре взрыва он просто испарился, а дальше как бы постепенно появлялись развалины. Они отличались и от Дрездена, и от всех других развалин разбомбленных городов. На огромной фотопанораме от края до края тянулись выжженные остовы, впрочем, и слово «выжженные» тут не подходило, потому что не было природного огня, были следы катастрофы неземной, страшной своей неведомостью...

Макеты развалин, искореженные, остановившиеся часы, оплавленные камни и на них тени спаленных людей, фотографии детей, окруженных, словно нимбом, сиянием радиации, — я давно знал это все по описаниям, однако здесь, в Нагасаки, это выглядело совсем иначе. Глеб ни о чем меня не расспрашивал, поначалу он было пробовал что-то записывать, потом запрягал блокнот. И даже американские матросы постепенно примолкли. Все чаще они застывали перед витринами. Группа распалась. Каждый стал сам по себе. Надписи повсюду были по-японски и по-английски. Только на бомбе, на той самой бомбе, надпись была одна — английская. Первую бомбу, хиросимскую, называли «Малыш», вторую, для Нагасаки, — «Толстяк».

Матрос с золотистыми усиками спросил:

— Кто ж это ее ахнул?

— Вроде наши, — неуверенно сказал кто-то.

— Значит, все-таки мы. Я думал, это пропаганда.

Мне в голову не могло прийти, что такие вещи кто-то может не знать.

Их сопровождал пожилой офицер, грудь его украшала широкая колодка боевых орденов. Он остановился у витрины, где лежала листовка американского командования, и стал читать ее вслух. Описав мощь нового оружия, американцы доказывали бесполезность сопротивления, предупреждали жителей Нагасаки и просили покинуть город.

Офицер постучал пальцем по стеклу. Все же листовка эта как-то оправдывала американцев — они предупредили население, соблюдая тем самым законы честной войны...

— К сожалению, вряд ли ее успели прочесть, — сказал я.

— Простите?.. — сухо отозвался офицер.

Он был немного старше меня, кто знает, может, мы встречались в сорок втором, в Мурманске.

— Обратите, господа, внимание на дату, — учтиво сказал я голосом гида, мне не хватало только флажка, желтенького или зеленого. — Листовки были сброшены девятого августа, одновременно с бомбой.

— Почему ж так? — спросил кто-то.

Я улыбнулся загадочной улыбкой агента 007, улыбкой мудреца, которому все стало известно слишком поздно. Им лучше меня мог объяснить генерал Гровс. Он изо всех сил старался объяснить эту странность случайным запозданием, технической задержкой. Бомбу, очевидно, сбросить было легче, бомба не запоздала, а листовки запоздали, их вряд ли успели прочитать, и, уж конечно, никто не успел покинуть город.

Когда мы вышли из музея, матросы в садике курили. Один из них сказал:

— Вот оно как будет, если русские швырнут к нам такую штуку.

Кроме музея, мало что напоминало о дне девятого августа 1945 года. С горы, на которой стояла телевышка, Нагасаки открылся во всей красе. Нигде я не видел такой дивной бухты. Причудливые извивы ее, словно в танце, кружили город, блестели фиорды и мелкие заливчики. На рейдах дымили танкеры, лесовозы и белые пароходы с цветными трубами. В насыщенной синеве лежали острова, островки, заросшие лесом, проглядывались полосатые маяки, а внизу стлался по холмам город, с его гаванью, пирсами, проспектами. Сверху виден был каждый коттедж, садик, но лучшим украшением оставалось море. На смотровой площадке Глеб

и Тэракура разговорились с каким-то старым японцем о подробностях того августовского утра. Разговор завязался случайно.

— У нас крепкая память,— сказал японец.— Что другое, а этого мы никогда не забудем. Это останется, как шрам. Вы не в состоянии представить себе весь ужас того дня... Это надо пережить. Войн в истории каждой страны много. Но атомная бомба ни на что не похожа. Отсюда,— он показал рукой на эпицентр взрыва,— отсюда начался атомный век человечества. С этих бомб, сброшенных на нас.

Меня покорило его наивное тщеславие. Наверное, что-то отразилось на моем лице, потому что он чутко заметил мне:

— Простите, боюсь, вам надоело, все одно и то же.

— Наоборот, я боялся, что все это позабылось...

— Ах, вам, иностранцам, трудно понять! Вы думаете, что это просто психологическая травма...

— Откуда вы взяли? — Я вдруг рассердился.— В некотором смысле бомба эта была сброшена и на нас. Это и нас хотели устрашить. Я не сравниваю. Я лишь хочу сказать, что мы в этой истории не совсем иностранцы...

Я заставил себя замолчать и примирительно улыбнуться. Мне совсем не хотелось улыбаться. Мне хотелось рассказать ему о том, как мы делали бомбу. В ответ на Хиросиму и Нагасаки. Как это было трудно, потому что страна была измучена войной, а мы отбирали последнее — цемент, металл, транспорт, людей. Как мы начинали со стареньким щитовым вольтметром, с несколькими килограммами урана... И если после Нагасаки не упало ни одной атомной бомбы, то в этом и наша работа. Жаль, что, когда об этом можно будет рассказать во всех подробностях, это уже не будет так интересно. Потому что в первую очередь это интересно нам, современникам, но современникам всегда достаются секреты их отцов.

...Спускаясь в Нагасаки с горы, мы увидели кладбище.

— Здесь есть и русские,— сказал Тэракура-сан.

— Русские? — Мы заинтересовались.

Высокий буддийский священник в черной сутане проводил нас на террасу, где покоились русские моря-

ки. В желтой сухой траве лежали рядами плиты. Старые плиты с полустертymi русскими надписями:

«Во имя отца и сына и святого духа, аминь. На сем месте погребено тело раба божьего Филиппа Белухина, матроса с русского военного корвета «Витязь», скончавшегося 30 сентября 1872 года на 27 году».

Было чисто прибрано, не было ни цветов, ни дорожек, видно, редко кто посещал кладбище, да и кому тут посещать?..

Здесь покоились морские офицеры, артиллеристы, матросы, какие-то гражданские, которых судьба забрасывала в далекий японский город. Погибшие на чужбине, они все же здесь были среди своих.

Края нескольких надгробных плит оплыли, что-то странное показалось мне в структуре этих темных камней.

— А где же кресты? — спросил я смотрителя.

Бритая голова его склонилась в поклоне. Кресты были разрушены при атомном взрыве. Город лежал далеко внизу, но и сюда достала взрывная волна, она настигла и мертвых. Ни одного креста не осталось на этом старом русском кладбище. Лишь кое-где лежали стволы пушек и якоря.

*«Матрос Игнатий Харкевич
умер 25/V 1905
от ран в Цусимском бою».*

И сбоку на плите — каменный лишай, язва, печать от бомбы, пламя войны, которое снова, спустя сорок лет, опалило русского матроса.

Г. ФОКИН

На освещенных солнцем ступенях все так же неподвижно сидело несколько японцев. О чем они думали? Что они видели? Девушка в клетчатой мини-юбке что-то шептала бледно накрашенными губами и улыбалась крохотной улыбкой, еле заметной, которую я научился ценить лишь здесь, в Японии.

Она была лучшим украшением этого скучного храма. Другие храмы были поинтереснее. Например, храм Тысячи будд. Кроваво-красный храм Хэйан дзингу, Золотой павильон. И храмы Нары и Токио — в каждом

было что-то примечательное. В Наре, храме Тодайдзи, сидел бронзовый позолоченный шестнадцатиметровый будда Русяна. Лицо у него было с большую комнату, каждый глаз по метру. Никто еще не смотрел на меня такими огромными глазами. Если не считать нескольких сугубо личных случаев. Улыбка Будды была легкой, хотя она весила, пожалуй, не меньше десятка тонн.

От такого бога просто так не отмахнешься. Но и поверить в него трудновато. Слишком он был велик. Бог должен быть соразмерен. Вот в храме Сандзюсангэндо будды выглядели человечески. Их была тысяча, ровно тысяча золотых бодисатв. И все они улыбались. Они стояли шеренгами, по сто в шеренге, все одинаковые, как полк на параде. Одинаково сложенные руки и одинаково разведенные руки — у каждого было несколько пар рук. Странная улыбочка светилась на их золотых лицах, не поймешь: то ли это было начало улыбки, то ли конец — тысяча золотых улыбочек, и все разные. Их никак нельзя было сложить в одну.

Мне хотелось бы написать трактат об улыбке. Об улыбках своих друзей. О женской улыбке. О улыбке совсем маленьких — новорожденных и первой осмысленной улыбке ребенка. О том, как много можно сообщить улыбкой. О том, как улыбались на войне. Там была бы глава об американской улыбке — стандартной, коммерческой улыбке, отлично отработанной деловыми людьми, улыбке продавщиц и сенаторов, улыбке наркомана, просившего у нас милостыню, и улыбке директрисы колледжа под Новым Орлеаном. В одном из театров «of Brodvay» я видел пьесу, издевающуюся над американской улыбкой. Выступающему перед телекамерой приклеивается улыбка. Она изготовлена лучшими специалистами. Ее подновляют, ее согласовывают, следят за тем, чтобы она не перешла в усмешку, в улыбку над чем-то, она должна сохранять чистоту, стерильность, она свидетельствует о радости американской жизни, благополучии...

И была бы глава о японской улыбке. Она тоже необходимая принадлежность жизни. Сперва она утомляла нас обязательностью. Здесь улыбались все, по любому поводу, в любом разговоре. Постепенно я привык, начал понимать эту улыбку. В ней было скорее приглашение к дружелюбию, чем просто знак вежливости. Она была свидетельством гостеприимства: «Мы слишком рады вас видеть, чтобы думать о своих заботах». Ее

скрашивала щепотка грусти, настороженности, словно крупинки соли, которые добавляют здесь в клубнику, чтобы лучше почувствовать сладость.

На встрече с газетчиками, когда разговор обострился и мы перестали улыбаться, К.-сан переменял тему. С гостями следует говорить лишь о том, что им приятно. Если мы не хотели уходить от острых вопросов, мы должны были улыбаться.

В гостях, за чайным столиком, я любовался искусством, с каким хозяева поддерживали общую улыбку. В памяти моей сохраняются не лица, а улыбки моих японских друзей — серьезная улыбка Кобо Абэ, шелковистая улыбка Томиэ Охара, улыбка Хироси Кимура, которую он прятал, а она прорывалась в его глазах, редкая улыбка Хироси Нома...

В трактате были бы рассказы о фронтовых улыбках. Там была бы легенда, которую я услышал от М. М. Зоценко. Когда-то она ходила среди прочих легенд Ленинградского фронта. М. Зоценко ничего не изменил в ней, он лишь увидел в ней то, чего никто из нас не замечал.

Осенью 1942 года через лес пробиралась группа наших разведчиков. Шли они узкой лесной дорогой, вытянувшись цепочкой, бесшумно, как и положено разведчикам. И вдруг на повороте лоб в лоб столкнулись с группой немцев. Встреча получилась настолько внезапной, что все растерялись, наши стали прыгать в кювет по одну сторону дороги, а немцы, соответственно, по другую. Один молодой немец, ошалеv в этой неразберихе, прыгнул в кювет вместе с нашими. Со страху он долго ничего понять не мог, видит — кругом русские, и вертится в полной обалделости в этой канаве. Тут кто-то из немцев крикнул ему, позвал, наши поддали ему под зад, он выскочил на дорогу и отчаянным прыжком сиганул к своим. С таким воплем он летел по воздуху в своем невероятном, рекордном прыжке, так он был напуган, что все засмеялись. Немцы смеялись, и наши сидят напротив и смеются. И никто не стреляет. И когда все отсмеялись, тоже стрелять не стали, потому что вдруг оказалось — после общего смеха невозможно стрелять друг в друга. Наши поползли в одну сторону, немцы — в другую, так и разошлись. Тем более что нашим разведчикам не следовало вступать в бой, они имели спецзадание, и кто знает, может, и немцы избегали боя по своим причинам.

Всю жизнь улыбка и смех были работой М. М. Зощенко, он знал силу смеха и законы смеха, но этот случай поразил его, недаром он собирался включить его в цикл «самых удивительных историй». Слушая его, я невольно вспомнил известные мне удивительные случаи, и среди них — как мы в марте 1942 года поехали с Кондюковым в Ленинград за бетонными плитами для дотов. Время, известно, было голодное. Работницы, какие оставались на заводе, по слабости своей не могли помочь нам, да и сами мы каждые десять минут садились отдыхать. Промыкались мы с этими плитами до обеда, потом завалились спать.

Проснулся я, пошел искать Кондюкова. Сказали, что он у детей. На заводе устроили нечто вроде профилактория для детей. У дверей этого профилактория стояло несколько женщин. Укутанные всяким тряпьем, они выглядели толстыми, здоровенными, а лица их были крохотные, сморщенные, серые. Они не пустили меня. Они стояли и слушали. Из-за дверей донесся детский смех. Тоненький, слабый. Слышать его было непривычно. Женщины предупреждающе погрозили мне, чтобы я не мешал им слушать, лица их оживали, стали разными. Глаза прояснили. Появилась улыбка. Господи, какая это была дрожащая улыбка — с трудом, неумело раздвигались их губы. Они забыли, как улыбаться. Глуховатый голос Кондюкова что-то рассказывал, дети смеялись, а я ждал, прислонясь к стене.

...Поодаль от девушки, на той же ступеньке, сидел парень в черных очках, зеленой кожи сумка стояла у его ног. Он застыл в неподвижности, словно позабыв о своем теле.

Следы граблей ровными линиями тянулись по белому песку. Вокруг камней они расходились кольцами, как круги на воде. Расчерченный линиями песок словно бы растягивал пространство. Расстояния между камнями становились огромными. Они уже были не острова, а миры, галактики, затерянные во Вселенной. Я повторил строку стиха, переведенного Тэракура:

...в огромном мире...
затеряны островки...—

нет, не так уж это примитивно. Простота стиха была обманчива. Под ней открылся второй слой. Только теперь я ощутил затерянность этих камней. Часть из них, защищаясь от этой затерянности, сбилась в кучу, и потому другие выглядели еще сиротливей. Это только на первый взгляд показалось, что раскиданы они как попало. Наконец и я что-то увидел, понял, чем достигается впечатление пространства.

Может, это было даже больше чем галактики,— это были людские судьбы. Отчаянное одиночество людей, заточенных в свои легкие деревянные домики. Маленькая японка и этот парень в темных очках, их разделяло несколько метров, а на самом деле — космические дали. Чужие, незнакомые, они понятия не имели друг о друге, они существовали рядом лишь для меня, я единственный, кто мысленно соединил их. И кто знает, может быть, в единственно счастливом сочетании. Браки заключаются на небесах, я был небесами, богом Саваофом, обзирающим сверху свое хозяйство и эту затерянную парочку. Я вдруг сказал об этом Сомову. Богу тоже надо иметь общество, надо с кем-то делиться.

— Неужели ты до сих пор веришь в эту легенду о двух половинках яблока, о том, что есть на свете только одна-единственная, предназначенная тебе душа? — И на лице его появилась усталость, не его собственная, а усталость всех преподавателей мира, вынужденных объяснять, который раз, одно и то же. — Из скольких знакомых парень делает свой счастливый выбор? Из двадцати девушек? Из сорока? Ну максимум из пятидесяти знакомых ему, доступных для обозрения. Допустим, что ему повезло. Случай ему помог с вероятностью один к двум, ну пускай к трем, к четырем. Итого — одна из двухсот. Это значит, что на каждые двести девушек есть одна, которая могла бы составить счастье его жизни. Следовательно, таких единственных в мире, таких чудес света, неповторимых и самых лучших, существует только в Ленинграде тысяч пять, в Советском Союзе, соответственно, тысяч триста...

Я давно его не слушал.

Как всегда, он был точен. Ученый человек жаждет точности. Он будет биться за какую-нибудь тысячную и прохлопает самую грубую ошибку.

Я подумал о Тане. После того как она ушла, у меня была, согласно вычислениям Сомова, масса возможно-

стей найти замену. Так ведь не нашел. Триста тысяч — и ни одной, которая могла бы заменить ее. Она была далеко, а то, что нас разделяло и казалось неодолимым, выглядело отсюда ничтожно малым. Так я, наверное, и не узнаю, почему мы расстались. А что, если она не стала спорить потому, что я не понял ее правды и своей вины, не хотел об этом думать... Она всегда уверяла меня, что я первый ее брошу, а я уверял, что она. «Вот видишь, — сказал я, — кто был прав». Впервые она не стала спорить.

Разумеется, Сомов точен — существует пять, десять тысяч человек, которых можно полюбить, но когда любил, остальные каким-то образом начинают исчезать, меняться, и вскоре не остается никого, кроме одной-единственной. И вся сомовская матлогика идет псу под хвост. Единственная, неповторимая («Как странно, что ты тоже купила билет в этот вагон», «Что было бы, если бы мы не встретились?») становится такой по мере того, как ты наделяешь ее своими чувствами, и все остальное душа отторгает, поскольку оно чужое, несовместимое.

Островерхий, тронутый голубоватым мхом камень напомнил о Тане потому, что в Заонежье рос ягель, мы шли в ту весну по лесным дорогам до Пудож, ее родного деревянного городка, с деревянными тротуарами и старинными колодцами с большими обтертыми воротами. А может, потому, что камень этот лежал одиноко, вершина его была расколота, из расщелины несло тьмой и холодом.

Какой из этих камней был я? Только сейчас, выбирая, я заметил, какие они все разные, эти камни. У каждого была своя не то что форма, а свой образ. Приземистые, удобно плоские, выветренные, в мелких трещинах, лобастые, причудливые... Любой я мог приладить к себе. Я мог считать себя компанейским в группе этих камней, мог считать себя гордецом-одиночкой, мог — угловато неудобным, мог считать себя вот этим, чуть вылезшим на поверхность, а все остальное в земле, невидимое, скрытое, мог отнести к себе веселые солнечные блески...

В сущности, оказывалось, я толком не знал, какой я есть. Я мог указать подходящий камень для Сомова, для Игоря, для любого из друзей, а для себя не мог. Любой — значит никакой. Получалось, я сам не знаю, на что похож, каким я выгляжу, что я представляю

собой, я, Глеб Фокин, имеющий рост 176 сантиметров, высшее образование, вес 80 килограммов, военное звание — капитан танковых войск... Столько лет прожить с самим собою — и не представлять; я ведь не могу ответить: добрый или злой, решительный, твердый или слабовольный, скрытный или откровенный, мне всегда кажется, что я могу быть таким, а могу и другим. «Познай самого себя» — а ведь никогда этим не занимался, и в голову не приходило. Других — пожалуйста, с интересом, даже иногда довольно тонко и точно раскрывал... Да, хорош гусь!

Н. СОМОВ

Всего я насчитал четырнадцать камней. Почему такое число? Тэракура-сан обрадовался моему вопросу. На самом деле камней не четырнадцать, пояснял он, а пятнадцать. Один какой-нибудь камень всегда заслонен.

И, демонстрируя этот сюрприз, взял меня под руку, провел несколько шагов. Незаметный до этого камень открылся. Я сосчитал — снова их было четырнадцать. Мы передвинулись, и опять один из камней спрятался и появился другой. С любой точки можно было видеть четырнадцать и никогда все пятнадцать.

Это была наглядная модель познания, метафора науки. Обязательно остается что-то неизвестное, несосчитанное, неучтенное. Мы уверены, что мы видим то, что есть, до конца, и в голову не придет, что есть что-то еще, чего мы не видим.

Все зависит от точки зрения. Для Глеба, например, я известный физик, самоуверенный представитель ведущей науки, рационалист, ко всему подходящий логически, способный все разъять, вычислить, он делает вид, что не верит мне, и втайне побаивается, немного завидует и немного жалеет меня. Ему хочется найти уязвимое мое место. Он считает меня суховатым, обремененным славой и знаниями... Что ж, и такой Сомов существует.

В моей лаборатории этот Сомов выглядит иначе. Там я фантазер, мыслящий парадоксально, любитель всяких неожиданных вещей, вроде грузинской музыки. Ребята осуждают меня за то, что слишком много разъезжаю, представлятельствую на всяких симпозиу-

мах, перешел на общее идейное руководство. Недавно старик Климов спросил меня, разбираюсь ли я в том, что делают мои гаврики. Я поспешно подтвердил — как же иначе. Старик хмыкнул: «Значит, они работают не на современном уровне».

Я тут же подумал, что как раз я плохо понимаю их работы и прежде признался бы в этом с легкостью, а тут вот убоялся. И дальше я подумал, что все то, что я последнее время делаю, может делать любой кандидат, только ему будет труднее добиваться этого, чем Сомову. Пока что я хорош тем, что не мешаю. Существует, значит, и такой Сомов.

А есть за ним пятнадцатый, скрытый от всех, камень, тайный Сомов, который давно замыслил побег в обитель чистую... Там ждет старая, забытая всеми задача электростатики, и так славно было бы засесть за нее самому, поковыряться, не торопясь, со вкусом. Господи, кто бы только знал, как надоело мне руководить, возглавлять! Ничто не заменит тех мучений, той особой сладости разобраться самому от начала до конца, своим умом, своими руками. Иногда еще снится полутемный закуток, жар паяльника в руках, все, как было у нас в Политехническом сразу после войны. Сидит во мне старомодный одиночка образца прошлого века. Этаким романтик-отшельник типа Ампера или Столетова, индивидуалист, не созвучный нынешней науке. Душить его надо, прятать, чтобы не мешал. Ибо проблема, которой мы заняты, — торможение коррозии — насущная, экстренная, и никто не разрешит менять ее на милые сердцу пустячки. Да и я сам... видно, так это и останется пустыми мечтаниями того Сомова, которого я прячу от всех, как слабость.

Накануне моего отъезда отмечали сдачу этапа. Пили за новую программу, рассчитанную на три года, а фактически на шесть лет, на десять, до конца моей жизни.

Мы возвращались с Климовым. Он сказал:

— Довольна твоя душенька? Слыхал, как тебя нахваливали?

— Не меня. Какого-то Сомова. Хотелось бы раз и навсегда выяснить, в чем проявляется этот Сомов отдельно от своего сплоченного творческого коллектива.

— В чем дело, чем ты недоволен? — спросил Климов. — У тебя талантливые ребята, они воплощают, доводят твои идеи.

— А я хочу быть сам по себе. Надоело мне быть соавтором. Не желаю,— вдруг огрызнулся я.— Вы кто? Вы член госкомиссии? Я вам официально заявляю. Подаю в отставку.

— И что будешь делать?

— Найду, что делать. Займусь электростатикой.

— Ух ты! Кому это нужно? То есть, может, что и получится. Но пойми, если и получится, так ведь это семечки по сравнению с твоей темой. Пусть она не лично твоя. Разве это важно? Что нужнее: сделать табуретку или построить дом? Ты что можешь сам, своими силами — табуретку, не больше. У тебя восемьдесят человек. Восемьдесят голов,— сказал Климов.— Что бы ты сам ни сделал, это будет меньше. Да, жертвовать собой, да, ради этих гавриков, да, отказываться от собственной работы... Устраивает? А как ты полагаешь, Курчатов или твой учитель, они ничем не жертвовали?..

Медленно, торжественно падал снег. Мы шли по Садовой. На Климове была потертая кроличья ушанка еще первых послевоенных лет, полученная по ордеру. Он любил старые вещи. Он был похож на старенького бедного продавца лотерейных билетов. Никто не подумал бы, что красноносый старичок — член всяких иностранных академий и вообще...

— Вернешься из Японии,— сказал он,— поговорим. Кстати, будешь в Киото — поинтересуйся там садом дзэн.

На что мне этот сад дзэн? Чем он поможет? Как будто эти камни ответят. Еще два, три года — и конец. Для экспериментатора — предельный возраст. Для каждой специальности есть свой возраст расцвета. Через три года уходить будет некуда. Буду держаться за должность, буду оправдывать свои жертвы, как это делает Климов, и очень любить своих учеников за то, что они позволяют мне еще жертвовать собой...

Г. ФОКИН

Скоростной лифт поднял нас на вершину токийской радиобашни. Нечто вроде Эйфелевой и, конечно, выше ее, все они теперь стараются быть выше, хоть чем-то переплюнуть ее. Вдобавок она стояла на холме, над Токио. Лифт привез нас в застекленную обзорную галерею. Токио лежал где-то внизу, многие

вообще не обращали на него внимания, а толпились у прилавков сувениров. Красивые девушки продавали золоченые башни, торты с башнями, открытки, слайды, кукол, напитки.

— Вы не знаете, что это за виски? — спросила меня по-немецки похожая на мартышку маленькая девица в круглых черных очках.

— Виски «Сантори»? Отличное виски, — сказал я, потом сконструировал для светскости еще одну фразу: — Лучшее виски из тех, которые я не пил.

Наверное, она была испанка или итальянка. Может быть, она улыбнулась — за этими огромными модными очками не разберешь.

Она купила бутылочку, а я купил буклет. На цветных фото город сверху выглядел веселее. В натуре он был скучен. Даже Нью-Йорк с крыши Эмпайр стейт билдинг не казался таким безнадежно серым, как Токио. Солнце уличающе высветило пепельно-серую бетонную геометрию зданий, площадей, эстакад, стадионов. Редкие сады и парки ничего не могли поделать с этой туманно-чадящей пустыней. Собственно, пустыни-то и не было — что-то там внизу копошилось, сверкало, дымилось. По бетонным лентам ползли поезда, машины, и в пазах улиц шныряли машины, но все равно ощущение безжизненного механизма исходило от этого бетонного устройства. То есть механизм работал, железо двигалось, но назначение этой огромной распластанной машины было непонятно. Она не имела определенного профиля, четких границ. Она поражала лишь размерами. Хорошо, что с одного края ее пресекало море, но там, где не было моря, город расползлся, сливаясь в бесформенно-грязноватую массу, сходил на нет и все же тянулся бесчисленными деревянными домишками, лачугами, стиснутыми до духоты. И дальше уже неразличимо колыхалось что-то едкое, нечистое, словно дыхание больного.

Даже Сомов был несколько подавлен этой панорамой.

— Похоже на мусорную свалку, — тихо сказал я, так, чтобы Тэракура не слышал. — Никогда я еще не видел такой большой свалки.

— Хоть и свалка, а сколько труда, — возразил он неохотно. — Что, оказывается, может сделать человек, — целую страну. Конечно, не хватает красоты. Вернее, общей цели, единого замысла.

Он говорил вяло, как-то машинально, надеясь, что я его прерву. Я дождался, пока он истощенно умолк.

— Какой тут может быть замысел? Это всего-навсего машина для производства отбросов.

Неужели он не видел тусклого, мертвого блеска целлофана, пластика, заваливающего все это пространство, весь остров, горы банок из-под кока-колы, пива, упаковки с названиями фирм, бутылки, крышки, свалки старых машин, транзисторов, холодильников, пластинок, аккумуляторов? Город извергал отбросы; вещи, едва появившись, устаревали, становились отбросами. И некуда было девать эту старую синтетическую обувь, сорочки, парики, ручки, зажигалки.

Где-то внизу, в каменных выбоинах улиц, продавались цветы, фрукты. Был февраль, а на лотках желтели грейпфруты, груши и пушился салат, извивались огромные огурцы. По ним нельзя было определить, осень сейчас или зима. Клубника продавалась круглый год, по-летнему блестящая, пахучая. Времена года в бетонных укрытиях города почти не ощущались. И утро было не отличить от дня. Белый свет дневных ламп освещал офисы, универмаги, отели. Гудели кондиционеры, поддерживая постоянную температуру. Подземный Токио, с его ресторанами, супермаркетами, улицами, кафе, вообще не знал, что там наверху — дождь, мороз или солнце. И летом, и зимой работали катки, лыжные трамплины. Жалюзи моего номера в отеле никогда не открывались, да и зачем...

К нам подошла эта мартышка в черных очках.

— Хотите глотнуть? — Она протянула мне бутылку виски «Сантори», там осталось немного. — Давайте, давайте. Вы не из нашего автобуса? Слава богу, оказывается, есть еще люди не из нашего автобуса. А из какого вы автобуса?

— Мы из России.

— Господи! — Она сняла очки и уставилась на меня своими припухшими синими глазами. — Никогда не пила с русскими.

Я налил в колпачок. Виски действительно было отличное.

— А этот синьор?

Сомов покачал головой.

— Он пастор?

— Нет, — сказал я, — он апостол. Он апостол научно-технической революции.

Она засмеялась. У нее были красивые зубы и крепкие блестящие щеки.

— А что вы тут делаете, в этом... — Она остановилась и посмотрела вниз на город. Ручаюсь, что она впервые посмотрела вниз. — Послушайте, что это?

— Токио.

— Токио? — повторила она. — Зачем я сюда приехала? Синьор апостол, вы не знаете?

Я и не подозревал, что Сомов может объясняться по-итальянски. Мартышка расцвела, а я с гордостью слушал, как старательно Сомов выговаривал слова.

— Вы меня обманываете, — сказала она по-немецки, — никакая это не Япония. Меня привезли не туда.

— Это он виноват. — Я показал на Сомова. — Он построил этот город. И эту башню.

— На кой черт? — сказала она. — Сверху лучше не смотреть, все так безобразно.

— Вавилонская башня, — сказал Сомов. — Наконец-то ее достроили.

Вряд ли она поняла, что он имел в виду. Она что-то долго объясняла Сомову, слезы показались у нее на глазах.

— На какую тему она плачет? — спросил я.

— Не поймешь. Говорит, что слишком много людей. Она выиграла в тот и купила туристскую путевку. Всю жизнь она мечтала поехать в Японию. Дуреха, лучше бы она купила машину. — Сомов подмигнул мне. — Жаль, что ты не знаешь итальянского, она бы выплакалась у тебя на груди.

Я бы предпочел, наоборот, выплакаться на ее груди. Она полоснула меня глазами, угадав мои мысли; черт знает, как это происходит у женщин, но стоит что-нибудь такое подумать, и они безошибочно чувствуют это. Из густой синева ее накрашенных ресниц вышли монахи в бурых власяницах, с выбритыми тонзурами, они усадили ее в паланкин, она закричала, я выхватил шпагу, но тут открылись ворота замка, и ко мне поскакали норвежцы в шлемах и западные немцы с самурайскими мечами. «Спасайся!» — крикнула синьора... Конь мой устало трусил по узким улочкам Токио. Старинный Токио, которого нет и не будет. Этот город напоминал Киото, Курасики, отчасти Таллин и старый Псков, он был похож на Зурбаган, на города, где в детстве мы совершаем подвиги и любим безответно, преданно, как любят, когда еще не знают любви. В стрельча-

тых окнах поднимались жалюзи, чьи-то глаза следили за мною.

— Синьора! — крикнул я.

Она махнула рукой, норвежцы в беретах заслонили ее, и западные немцы, увешанные фотоаппаратами. У всех в карманах торчали зеленые картонки, и гид поднял зеленый флажок, уводя их к лифту.

Я опустил монетку в автомат. Объектив телескопа открылся. Поднимались и опускались самолеты. Автобус с зеленым флажком вез синьору сквозь Токио, а может, это был Детройт. Мелькали те же мини-юбки и макси-пальто, пахло тем же кофе «эспрессо», на экранах стрелял тот же агент 007, щелкали те же «кодаки». Токио незаметно переходил в Осаку, а Осака — в еще какой-то город, все было одинаково, как пилюли, поднимающие тонус, успокаивающие, снимающие усталость, пилюли снотворные, противозачаточные, стимулирующие.

Затем я навел телескоп на Сомова, в серой скважине его глаз печально горели нити накала анодов, и катодов, и электронных множителей.

— Зачем ты сгубил ее душу? — спросил я.

— Она работает в пуговичной мастерской, — сообщил Сомов. — Как, по-твоему, существует итальянская пуговица? — Он был чем-то расстроен. Несмотря на это, он продолжал задавать свои излюбленные дурацкие вопросы. Телескоп захлопнулся. Шторка опустилась, и в объективе стало черно. — ...Мы можем изменить, но не остановить, — продолжал Сомов. — Все ваши слюни и заклятия — сентиментальная труха... Бороться с техникой — все равно что бороться с природой... — И тому подобное, и прочие, прочие железобетонные неумолимые аргументы.

Города у него сливались с городами, закрывая бетоном землю, они прорастали вглубь, расплзались, заглатывая деревни, моря. Рис выращивался в лотке, в камне, и чай и яблоки росли под круглосуточным светом дневных ламп, под гул кондиционеров. И новые поколения находили в этих пейзажах свою лирику.

— ...Ты, лапотник, гусяр, — сказал Сомов. На тебе еще десять иен и посмотри вон туда. Там Черемушки. Купчино. Тот же стандарт. Мы поносим наших архитекторов, они — своих. В Токио строят, как в Барнауле. И квартиры такие же. Квартплата только другая. Можете плакать со своей итальянкой над японскими до-

миками из кипариса, над пятистенками с резными полотенцами. Их сносят. Ничего от них не останется. Не будет ни твоих любимых татами, ни жаровен, потому что дома проще строить бетонные и обогревать их электричеством. Несмотря на всю твою скорбь, придется японцам дома сидеть на стульях, за нормальным столом и спать на кроватях. Ничего не поделаешь. Так удобнее. Не сидят же они в автомобиле скрестив ноги. Боюсь, что они сами не прочь переселиться в европейские дома, да только пока это большинству не по карману. Молись, чтобы остались палочки да чайная церемония...

Можно было подумать, что он вещает с этой радиобашни на всех диапазонах, радиопророк. Иногда мне удавалось подставить ему подножку, сбить его, и тогда он смотрел на меня опечаленно, откуда-то из неодолимого, неизбежного будущего. Он был его представитель, посланный к нам для разъяснения, а не для споров.

Сидя перед Садам камней, я представил себе, что получится, если вместо этих камней сделать бетонные параллелепипеды, вместо белого песка — асфальт, вместо деревянных ступенек — застекленный зал радиобашни.

Ничего не получалось.

Будущее, которое рисовал Сомов, было неизбежно. Но когда Японию сделают сплошным городом, когда все острова залиют бетоном, что увидят люди, глядя на Сад камней? Что они почувствуют? О чем они задумаются?

Я вдруг сообразил, что для каких-нибудь придворных эпохи Тэйкё или эпохи Сётоку мы с Сомовым и Тэракура-сан были бы тоже непонятными, нелюдями.

А между тем пятьсот метров радиобашни были для меня ниже, чем высота этих старых деревянных ступеней.

Скинув пропотелые шлемы, усаживались рядом со мною сёгуны, грохоча тяжелыми мечами, приходили сюда князья и их самураи. Одних только князей набралось бы за эти столетия тысячи. Целый стадион. Представляете — полный стадион князей, сидят себе тихо, смотрят на камни и думают. Только что жгли, рубились, казнили, пытали — и вот приехали, оставили на площади коней и слуг и уселись...

Что их влекло сюда?

Учение дзэн проповедовало мужество, настойчивость, столь необходимые военным людям. Недаром дзэн было популярно среди военного сословия. Дзэн требовало самоограничения, воли. Может быть, безжизненная красота этих камней позволяла думать не о людях, а о человечестве. Наверное, это была немудреная философия. Без всякой книжности, простая, доступная любому простолюдину. Но все же они ДУМАЛИ, и что-то происходило в их средневековых душах. А кроме них тут сидели монахи, поэты, купцы. Приходили художники, чиновники, звездочеты и гейши, студенты и ученые.

Одни находили здесь модель вечности, неизменный мир, отрешенный от всех страстей быстротекущего времени. Другие — аскетическую простоту, лаконизм, самоограничение, жестокое и в то же время дающее волю фантазии...

Какими-то малопонятными мне ходами учение дзэн помогало утонченным формам живописи и поэзии, и сам Сад камней был результатом этого искусства и одновременно порождал его...

Я понял, что самые простые вещи достойны стать искусством — корень дерева, клочок травы, расположение этих камней. Главное — увидеть. Можно ничего не увидеть, и камни останутся неприметными камнями, и этот сад не вызовет ничего, кроме недоумения. Сколько раз я проходил мимо, глухой и слепой к тому сокровенному, что встречалось!

— О чем ты думаешь? — спросил Сомов.

— Об одной женщине, — сказал я, чтобы он отцепился.

Я не думал о ней, хотя все, о чем я думал, должно было привести к ней. И то, что я думал о строителе этого сада, тоже относилось к ней. А я думал: создавал он Сад камней или же у него получилось? Внезапно бросил камни, как игральные кости, и увидел, что получилось. Но в чем же тогда талант, если достаточно сидеть и кидать кости? А в том, наверное, что увидел. Талант в том, чтобы увидеть там, где другие не замечают. Конечно, я догадывался, что существуют какие-то традиции, законы гармонии и всякие секреты. Достаточно сдвинуть один из камней — и картина нарушится. Художник должен знать эти законы, уметь скрывать их. Все это так, но создавал он образ не из камней, он создавал его как бы из меня, во мне. Он заставлял меня с помощью этих камней что-то увидеть, вообразить.

Сад — это как японские трехстишия. Япония тут ни при чем. Япония — всего лишь фон, задник, вроде этой земляной стены. Так что вся штука заключалась во мне самом. А вот о себе-то я избегал думать. О чем угодно, о ком угодно, но не заглядывал в себя. Почему? Не то чтоб я боялся. Наоборот, я хотел понять, что же происходит со мной и что происходило, почему, мы разошлись, я хотел понять, чего же мне надо. Я давно не заглядывал в себя, бог знает сколько лет я не оставался наедине с собою и не старался увидеть себя со стороны, понять, чего я добиваюсь. Жизнь катилась по накатанным рельсам — я получал задания, ездил, писал, разговаривал, дружил, ссорился, все время что-то делал, и как-то не приходило в голову остановиться и подумать, что тут правильно и что неверно, каким я становлюсь. Мне вдруг вспомнился один день — сколько мне тогда было: шестнадцать или семнадцать? Я лежал в траве, и смотрел в небо на облака, и мечтал, каким я стану. Я мечтал о трудной жизни и плакал, переживая будущие обиды и горести. Я бесстрашно заглядывал себе в душу, давал какие-то клятвы. Все небо было в мелких облаках, я смотрел на них и выбирал себя, взрослого, нынешнего. В сущности, небо тоже было Садам камней. Тогда, в те годы, все могло стать Садам камней. А вот сейчас я сижу в Саду камней и не могу думать о себе. Не умею. Разучился.

Но хорошо, что хоть это-то я понимаю.

Н. СОМОВ

- Тэракура-сан, вы часто бываете здесь?
- О да, всякий раз, когда я приезжаю в Киото.
- А для чего вы сюда приходите?

Тэракура пожал плечами.

- Посидеть.
- И сколько вы тут сидите?
- Как когда. Какое настроение.
- Но перед вами всегда одна и та же картина.

Константа.

- Это верно. Но, может, я бываю другой.
- Они не возвращают вас к тому же самому?
- Для меня это как абстрактная картина. Я вижу то, что хочу. Она не возвращает, а скорее ведет дальше... — Тэракура виновато посмотрел на меня и попро-

бывал по-другому: — Я плохо знаю дзэн. Для меня это не религия, не бог. Когда я сижу тут, мне спокойно... В Киото вообще нет суеты. В каждой стране, наверное, есть Киото. Совсем необязательно думать о бренности жизни...

Потом он сказал такую фразу:

— Это ведь просто камни, без всякой мистики.— И еще: — Американцы, те все ищут таинственного. Они хотят разгадать секрет, которого нет.

В словах его заключалось деликатное предупреждение, а может, и просьба. Мне все больше нравилась эта манера разговаривать: хочешь понять, что тебе сказали,— вдумайся в каждое слово. Чем-то напоминало моего деда, каргапольского сыровара,— все больше обиняком, намеком, присказкой...

— Конечно, я слишком молод.— Тэракура почти-тельно наклонился.— Вы, Сомов-сан, видите здесь гораздо больше.

— Или гораздо меньше.

Он подумал и обрадованно кивнул:

— Да, да, я, кажется, понимаю, гораздо меньше — значит совсем иначе.

Черт возьми, и этот тоже, и Глеб — все они считают, что я должен видеть все вокруг особо, по-своему. Они требуют с меня как с обыкновенного таланта, чуть ли не гения. Так и я, наверное, требовал бы, допустим, с Нильса Бора, по любому поводу я ждал бы от него откровений: раз это Нильс Бор, то он обязан. Но я не Бор, я даже не Сомов, совсем не тот Сомов, за которого они меня числят. И которым я когда-то был. Но мне обязательно хочется держаться.

— Пожалуйста. Песок — это вечность,— изрек я.— Все превращается в песок. Рано или поздно камни тоже превратятся в этот белый песок. Он поглотит их. Так что время в данном случае опять торжествует. Рано или поздно все становится прахом.

Я слушал себя и думал о том, как это банально и как беспомощно в смысле философии.

Тэракура был доволен.

— Это похоже на Библию,— сказал он.— Прах ты и в прах превратишься.

— Совершенно верно. Помните, по какому поводу там это сказано? Бог наказывает Адама за то, что тот вкусил от древа познания. Людей сделала смертными страсть к познанию, то есть наука. Она на-

рушила вечность. Она как бы создала Время. В этой легенде что-то есть.

— Вы знаете Библию? — удивился Тэракура. — У вас читают ее?

— Конечно. Атеист должен читать Библию.

— Песок... это интересно. Ну а пятнадцатый камень?

— Что пятнадцатый камень?

Опять он ждал от меня откровений.

— Я полагаю, что пятнадцатый камень — это как ваш бог, — нерешительно сказал Тэракура. — Он невидим. Мы о нем не знаем. Бог всегда прячется в неизвестном.

— Ну что ж, это красивая метафора, — вежливо похвалил я.

Он низко поклонился, покраснев от удовольствия, и продолжал ждать.

Но я думал не о боге. Я думал о себе. Господь бог давно состарился, обветшал, иногда я даже жалел его, таким он стал беспомощным; времяпрепровождение для стариков...

Однажды ко мне направили инженера В. Он долго добивался консультации по поводу какого-то своего открытия. Оказался, как это бывает, чем-то вроде шизика, такого тихого, покорного, но неотступного шизофреника. Принялся он излагать мне математическое доказательство существования бога. Он доказывал с помощью высшей алгебры, что бог существует. Между прочим, ход его рассуждений был грамотен, без явного безумия. Вычисления казались вполне логичными. От него исходила завораживающая убежденность, я еле вырвался из нее, как из дремоты. Я согласился, все правильно. Допустим, правильно, но что от этого изменится? Мир живет по непреложным законам, на что может пригодиться бог, даже если он жив?

Инженер был озадачен. Он ушел выяснять — опять же математически — необходимость бога. Как знать, может, сейчас он сидит где-то и завершает окончательные расчеты.

— Бог, который прячется в пятнадцатом камне, — сказал я Тэракура, — существовал оттого, что человек не мог подняться. Достаточно посмотреть сверху, и тогда увидишь все разом, все пятнадцать камней. Человек должен жить в трехмерном мире...

Тэракура задумался, глаза его совсем смежились, только тоненькие черточки остались под изломом бровей.

(У него хватало всякого мусора в голове, но зато он ненавидел капитализм куда конкретнее нас. Потому что он знал его лучше. Он жил в нем. Он знал про его ложь и фарисейство, про гнусность университетских порядков, продажность чиновников, про то, как хозяйничают в физике крупные фирмы, — множество вещей, о которых я и понятия не имел, я знал японскую физику по журналам, по встречам на симпозиумах и конгрессах. Мы знаем капитализм по книгам и газетам. Мой отец ненавидел Романовых сильнее, чем я. Для меня Романовы, самодержавие, Распутин, Вырубова и прочее — это история, где больше диковинного, чем ненавистного.)

— Но я боюсь, — сказал Тэракура, — что сверху Сад камней вообще неинтересен. Сверху... — Он откинул голову, пытаясь представить себе: — Допустим, с самолета.

— С самолета... — повторил я.

...Они заседали в кабинете военного министра США Стимсона. Решался вопрос о выборе цели. Имелись две атомные бомбы, и обе надо было сбросить. На Японию. Собственно, капитуляция Японии не вызывала сомнений. Бомбы имели другое тайное назначение, их сбрасывали, чтобы показать мощь нового оружия. Показать кому? Естественно, не Англии, и не разбитой Германии, и не какой-нибудь Швеции. Имелась единственная страна, которую новый президент Трумэн и его советники считали необходимым устрасить. Это мы.

Из американских книг можно было представить себе, хотя бы примерно, как происходили этот и подобные ему разговоры. Все выглядело весьма прилично.

Леги (начальник штаба верховного главнокомандующего). Подобные методы войны неприемлемы для солдата и моряка моего поколения.

Стимсон. Я вовсе не хочу приукрашивать моральные качества этого оружия, но моя задача — закончить кампанию ценой наименьших жертв среди солдат, которых я сам помогал растить.

Леги. Вторжение на острова вообще вряд ли нужно. Военный флот Японии фактически разбит. Ее перенаселенные города и промышленные центры — класси-

ческие объекты для действий обычной стратегической авиации.

Маршалл (начальник штаба армии США). Опыт Германии показал, что решающего успеха обычной бомбежкой не добиться.

Леги. Тем более. Даже если мы применим новое оружие, все равно исход кампании решат флот и вступление в войну России.

Бирнс (личный представитель президента). Сейчас обстановка иная, нам нужен разгром Квантунской армии, а не установление русского контроля на азиатском материке.

Леги. Россия подтвердила свои обязательства, она вступит в войну независимо от наших действий.

Гровс. Хотел бы я посмотреть, как, не применяя бомбы, правительство отчитается за два миллиарда долларов, израсходованных на нее.

Ферми. Вряд ли человеческий ум может выдумать что-либо более оскорбительное для американского народа.

Стимсон. Господа! Нам предстоит дать рекомендации относительно действия, которое, возможно, изменит ход истории. Но это не значит, что нам позволено ставить под сомнение решение правительства. Поэтому я прошу говорить только по существу. Прошу вас высказаться, профессор Оппенгеймер.

Оппенгеймер. Я не имею сведений о военном положении Японии, поэтому я не знаю, можно ли заставить ее капитулировать другими средствами...

Стимсон. Перед комитетом ученых ставился вопрос не о том, надо ли использовать бомбу, а о том, как ее использовать. Поэтому прошу докладывать только по этому вопросу.

Оппенгеймер. Для достижения максимального эффекта избранные объекты должны представлять собой тесно застроенную площадь из скученно расположенных зданий и других сооружений. Желательны деревянные постройки, они создадут дополнительный эффект из-за пожаров. Цель следует выбирать из объектов, которые до этого не подвергались бомбардировке, чтобы воздействие бомбы было достаточно наглядным. Применять ее следует без предупреждения...

Бард (заместитель военно-морского министра США). Нельзя выиграть войну, уничтожая женщин и детей.

О п е н г е й м е р. Я расцениваю свое выступление как технический отчет комитета ученых на поставленный президентом технический вопрос.

Г р о в с. Комитет по выбору цели предлагает на случай облачности иметь при каждом вылете на выбор не менее трех-четырёх городов-мишеней.

С т и м с о н. Какие конкретно?

Г р о в с. Хиросима — пункт формирования морского конвоя, двести тысяч жителей; Кокура — военный арсенал, двести тысяч жителей; Ниигата — крупный металлургический завод, двести тысяч жителей; Нагасаки — порт, триста тысяч жителей.

Л е г и. В Нагасаки расположен лагерь наших военнопленных.

Г р о в с. Но там важные военные доки.

Л е г и. В них, по-видимому, и работают военнопленные.

Г р о в с. Тогда я предлагаю Киото, прекрасная равнинная цель с миллионным населением.

С т и м с о н. Киото?.. Я там был. Это же древняя столица Японии... Там великолепные памятники старины... Нет, этого нельзя допустить.

Пока они выбирали цель, мы бродили по Киото.

Нет, не так.

Пока мы бродили по Киото, мне все время казалось, что они выбирают цель.

Замка не будет. Каменного дракона на перекрестке не останется. Дворца в парке не останется. Больше всего мне было жаль тесных, узких улочек старого Киото. Мы бродили в теплой тьме, расцветенной светильниками, фонариками над дверями, легким светом из окон. Двери открывались, звенели колокольчики, взмах голубого света резал проулок. В яркой щели возникали, как в моментальном снимке, скользкое женское плечо, деревянный поднос, блеск бутылок. Свет был полон звуков — музыки, смеха, стеклянного звона. Потом дверь захлопывалась, возвращалась тишина, в темноте щелкали каблуки или стучали деревянные сандалии, все было таинственно и весело. Лабиринту этих переулочков, улочек не было конца. Сотни крохотных заведений, каких-то ресторанчиков, ночных клубов, кафе теснились одно к другому, и каждое было чем-то знаменито, чем-то отмечено. Киото, в отличие от Токио,

не зазывал, не навязывался, казалось, он веселится для себя, не нуждаясь, не ища приезжих клиентов. Казалось, мы попали на чужой праздник, и от этого было еще интересней. Улочек этих тоже не будет, хрупких домиков из кипариса, с темно-коричневой гладью полов, с переплетами, обтянутыми бумагой...

Глеб безмолвно торжествовал. Ну что ж, я признавал прелесть старого Киото, я мог любоваться вместе с Глебом изделиями гончаров Киото. Мы восхищались золотым шитьем кошелечков, не было двух одинаковых кошелечков. Лавочки огромного крытого рынка были набиты всякими мелочами — фигурки, платочки, корзинки, кольца, зажигалки, подставки, разнообразию их не было конца; казалось, каждая зажигалка сделана на заказ, отдельно, другой такой зажигалки нет ни у кого.

Министр Стимсон, будучи еще генерал-губернатором Филиппин, приезжал в Киото. То ли он был человеком любознательным, то ли его водили по всяким достопримечательностям, во всяком случае, у него остались прелестные воспоминания о парках и дворцах, конечно, и о Золотом павильоне, который так красиво стоит над водой, в которой так красиво отражаются его золотые стены, которые сами по себе светлого золота, и в воде они видятся только золотыми, и всякие беседки. Он побывал и в Саду камней и сидел здесь, размышляя над своими губернаторскими делами или над какими-нибудь личными проблемами, кто его знает, внутренняя жизнь американских министров проходит для меня, как говорится, в тумане. Вероятно, дорогие его сердцу воспоминания сделали военного министра неуступчивым, и он упорно стоял на своем. Подобная сентиментальность удивляла генерала Гровса. Он считал ее совершенно неподходящей для военного человека. Для него город Киото был удобной мишенью, поскольку город располагался на равнине, где ничто не должно мешать действию взрывной волны, населения там больше миллиона человек, много легких построек... И хотя Стимсон был военным министром, этот Гровс не побоялся настаивать на своем, проявляя, как он считал, убежденность и принципиальность. Он никак не мог расстаться со своей идеей. Он по-своему тоже любовался Киото как самой наилучшей целью.

«...Киото сохранил для меня притягательность в основном из-за его большой площади, допускающей оценку мощности бомбы. Хиросима с этой точки зрения нас не вполне устраивала...» — так писал Гровс в своих воспоминаниях.

Сад камней в Киото остался ценой Хиросимы или ценой Нагасаки.

Но ведь и в Хиросиме что-то было, какой-то свой Сад камней, свои неповторимые вещи, которые разрушены и исчезли навеки. Потому что такую вещь, как Сад камней, наверное, восстановить невозможно.

Если даже сделать самые точные фотографии, привести все замеры. Непонятно, в чем тут секрет.

А секрет был, я его чувствовал, но еще не верил, потому что всегда был убежден, что любую вещь можно измерить, вычислить, что в конце концов все можно свести к формуле, в крайнем случае понять или объяснить.

Но тут — заставь меня воссоздать этот Сад камней — я бы не взялся. Существовало в нем что-то неуловимое, какая-то добавка, черт его знает что, из чего все складывалось в одно целое, образ, что ли, и я никак не мог смириться с тем, что это нельзя выразить точными понятиями.

Вот Гровса я мог выразить. Гровс был ясен. Ему нужно было добиться максимального радиуса поражения и явить миру и начальству итог своей четырехлетней беззаветной деятельности. До последнего дня он настаивал на разрушении Киото. Стимсон не соглашался, и Гровсу пришлось довольствоваться Нагасаки.

Я вдруг подумал, что исчезни этот Сад камней, чего-то я лишусь, Япония станет другой...

ГЛАВА, В КОТОРОЙ ВСЕ ПРОИСХОДЯЩЕЕ ПРИВОДИТ Г. ФОКИНА В СОСТОЯНИЕ ВОСТОРГА

Наконец-то мы заблудились. Давно я мечтал заблудиться в чужом городе, потерять всякое представление, куда идти, где наш отель, в котором спит Тэракура, где центр, где север, где юг, так, чтобы стали безразличны любые повороты и перекрестки. Киото в этом смысле самый лучший город. Нигде нельзя так хорошо заблудиться, как здесь. Мы почувствовали себя обездоленными бродягами, готовыми шататься по кабакам,

зарабатывать на тарелку риса, разгружая машины. Ничего другого полезного мы делать не умели. Когда Сомов устал, мы уселись на набережной какого-то канала и стали гадать, как называется наш отель. У него было слишком простое название. Такие названия запомнить невозможно. Кроме того, стоит человеку заблудиться — и сразу все исчезает из памяти. Я вспомнил, как назывался наш отель в Нагасаки и отель в Кракове, где я жил шесть лет назад, а Сомов обрадовался, вспомнив, как называлась деревня, где он двухлетним ребенком пережил наводнение.

— Кошкино! — повторял он ликуя. — Кошкино! Ты знаешь, это мучило меня полгода. Самое страшное, что некого спросить. Родители умерли, дядя умер, а сестры моложе меня. Мы жили в Кошкино! Лодка подплыла к окну. Это первое мое воспоминание в жизни. Я сижу с матерью у окна, на лодке подплывает отец. Почему запечатлелась эта картинка?

— Потому что необычайность.

— Для двухлетнего все необычайность.

И мы принялись рассуждать о механизме памяти. Поскольку мы заблудились, времени у нас было много, нам некуда было спешить и нечем было себя ограничивать.

Мимо прошла компания подвыпивших мужчин. Вдруг один из них, услышав наш разговор, остановился.

— О, русские! Здравствуйте, — сказал он, с восторгом выговаривая эти слова. — Я приехал из Москвы. Я был у Сергеева. Я инженер-строитель.

— Это было прекрасно, — сказал я.

— Да, да, это хорошо, — тотчас подтвердил он. — Господин Сергеев хороший человек. Вам нравится господин Сергеев?

Он ни на минуту не сомневался, что мы знаем Сергеева, нельзя было не знать Сергеева, начальника отдела какого-то строительства главка. Вся строительная технология, вся Москва, все гостеприимство нашей страны сосредоточивалось в Сергееве. Признаюсь, был момент, когда огромная ответственность, возложенная на Сергеева, внушила мне тревогу. Одно неосторожное слово Сергеева могло пошатнуть репутацию миллионов. Господин Одани (он немедленно вручил нам свои визитные карточки) судил о всей России по Сергееву. И Сергеев не подкачал, он был молодец, этот Сергеев, он держался скромно, он был остроумен, радушен, он знал свое дело,

у него была дружная семья и чудный сынишка, и жена у Сергеева умела печь пироги.

— Это знакомые господина Сергеева! — объявил он своим приятелям, и нас потащили в кафе, потом в рыбную ресторацию, потом усадили в машину, и все поехали с нами искать наш отель. Перебрав несколько отелей, мы решили отдохнуть и поднялись на гору полюбоваться огнями Киото.

К тому времени из знакомых мы превратились в друзей Сергеева, в его родных, в нас находили сходство с ним.

Сверху ночной Киото сиял, как витрина лучшего ювелира. Опаловые огни светились матовопритушенным жемчужным светом. Если бы у меня было хобби, то это были бы ночные города, я собирал бы виды ночных городов. Ночью исчезают трущобы, лачуги, остаются огни — цепочки фонарей, вывески, реклама, подсветка, движение машин, и все машины одинаковы, окна домов, кружки площадей, темные провалы парков. Глухо поблескивают каналы. Огни движутся, гаснут, а где-то загораются... мигают светофоры, несутся огни электричек... Я вспоминал огни Киева и огни Ленинграда, железнодорожные огни Чудова.

Я уж не помню, как мы очутились в отеле. Утром нам принесли цветы, альбомы видов Киото и большие пакеты, перевязанные ленточками. Я развязал ленточку, потом надорвал разрисованную цветами вишни бумагу. Там была картонная лакированная коробка. Я открыл коробку. Там была пушистая толстая бумага. Внутри нее покоился деревянный футлярчик. Я открыл футлярчик. В нем лежало что-то завернутое в нечто белоснежное и легчайшее. Что-то было значком, маленьким значком с гербом Киото.

На нас обрушилась вся сила ответной любви и гостеприимства господина Одани. Мы тут были ни при чем. Мы вкушали плоды, возвращенные неведомым нам инженером Сергеевым.

— Соображаешь, — сказал мне Сомов. — Вот и в этом тоже нынешний смысл «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Чем больше я живу на свете, тем больше убеждаюсь, что это самый лучший, самый современный и нравственный лозунг человечества. Заметь — пролетарии! То есть рабочие, производственники, создатели техники...

А я думал о Сергееве. О том, как он, сам не ведая того, помог нам. Стоит сделать добро, проявить сердечность, внимание, и обязательно где-то, кому-то это отзовется. Я вспоминал заграничных гостей, которых приходилось мне принимать. Не всегда я делал это охотно. Жаль было времени, сил. Казалось, что мне эти люди, которых я вряд ли когда еще встречу. Сергеев преподавал мне урок. Инженер Сергеев никогда не был и, наверное, судя по словам господина Одани, не собирается быть в Японии. Мы за него любовались видом на Киото, смаковали каких-то розовых маленьких рыбок и густое, тягучее китайское вино. Благодаря Сергееву в Киото появились у нас друзья, а город, в котором у тебя кто-то есть, — это уже совсем другой город. Нет, нет, добро не пропадает, скорее зло может пропасть, сгинуть в чьей-то душе, зло можно простить, забыть, а добро, оказывается, не прощают. С грустью я думал, сколько я упустил — а мог бы делать куда больше добра, но не делаю: то по лености, то по душевной глухоте, а чаще от стеснения. Я давно заметил: большинство людей стесняются. Приласкать собаку или какое-нибудь животное не стесняются, а человека — неловко...

В Наре, вокруг храма Тодайдзи, бродили олени. Редкие деревья парка сквозили солнцем, черные тени ветвей сплетались, как рога, а желтая трава зимы сливалась с гладкой желтизной оленьего меха. В ларьках продавалось печенье для оленей. Мы купили несколько пачек, и олени тотчас окружили нас. Они ели с рук. Маленькие оленята тыкались носами в ладони, взрослые чинно шли рядом с нами, ожидая своей очереди. Среди них были исполненные чувства достоинства венценосцы, они оказывали милость, принимая угощение. Были нахалы, нетерпеливо фыркая, они требовали своей порции, намекаяще торкали в карманы. Были робкие скромники с печально просящими глазами. Они явно били на жалость и получали больше других.

Зоосад не выявляет характеры. Животные в клетках безлики, они лежат там, как чучела, наглядные пособия. Здесь олени выглядели почти свободными. Большой парк напоминал санаторий, они бродили здесь компаниями, как отдыхающие. В храм олени не заходили, хотя ворота были открыты и двор храма был просторен. Возможно, они исповедовали другую религию. Какое

место занимали в ней люди? Скорее всего, никакого. Люди кормили их и уходили в это раскрашенное здание. Мы были для них примерно тем же, что для нас пчелы. С той разницей, что пчелы, кормя нас медом, не считают себя царями природы и держатся без всякого высокомерия.

Длинный ряд лавочек раскинул на прилавках груды сувениров. Почти все они изображали оленей. Бронзовые статуэтки оленей, махровые полотенца с оленями, оленьи головы из черного дерева, шелковые платки, открытки, пепельницы, стаканы для виски — всюду олень. Примерно так же выглядят сувенирные магазинчики у собора святого Петра в Риме. Только там продают изображения святых, здесь же — священных животных. Такие же медальоны, резные барельефы, но вместо святых — олени с физиономиями благочестивыми, суровые старцы с могучими рогами, осеняющими их чело, и невинные младенцы типа Бэмби. Больше же всего надувных оленей. Почему-то все бесстыдно розовые, с черными рожками. Они висели связками, туго надутые, поскрипывая тонкой резиновой своей оболочкой. Натуральные олени подходили к прилавкам, недовольно разглядывали свои изображения.

И в Беппу, в парке на горе, обезьяны, покачиваясь на ветках, взирали на лотки, где старые японки торговали игрушечными обезьянками.

Сквозь деревья парка светилось море, мелкое, зеленоватое, по морю ехали грузовики и шли тракторы, собирая морскую капусту. Обезьяны носились по аллеям, прыгали над головами, ссорились, клянчили у нас орехи. Как только орехи кончились, обезьяны перестали обращать на нас внимание. Они играли в свои игры, они чувствовали себя тут хозяевами, а мы — гостями. Никто их не трогал, они тоже считались священными. В сущности, все свободные животные имеют право быть священными. Когда-нибудь люди дойдут до этого.

На прилавках двигались заводные игрушки. Плюшевые обезьянки лупили в барабаны. Другие обезьяны кувыркались, подпрыгивали, мелькали своим воспаленно-красным задом и, сделав сальто, становились на ноги. Делали стойку. Били в гонг. Чего только они не вытворяли. Внутри у них жужжали шестеренки и стонали пружины. Живые обезьяны сверху возмущенно плевались и швырялись в торговок ореховой скорлупой.

А в Киото были рыбы.

Аквариум, большой, с множеством океанских диковинных рыб, не отличался от подобных хороших аквариумов в других странах. Но главная прелесть заключалась в прудах вокруг аквариума. Поверхность воды в них почти сливалась с поверхностью берега.

Я опустил монету в кормушку-автомат и получил кулек с крупой. И сразу вода забурлила. Рыбы почувствовали, что у меня в руках, или увидели. Кто их знает, какая у них сигнализация. Из своего опыта они понимали, что сам я эту крупу есть не стану, они следовали за мной, толпились у моих ног.

Стоило бросить в воду горсть крупы, как поднялась кутерьма. Рыбы налезали друг на друга, лиловые, красные, аспидно-черные, отороченные алыми плавниками, полосатые, как флаги, они прыгали, рассекая воздух широкими лезвиями тел. Летели брызги, разинутые пасти словно заливались хохотом, не так уж они были голодны, им просто нравилась эта свалка, толчея. Я опустил руку в воду, гладил скользкую узорчатую плоть.

Пруды соединялись, образуя большой водоем, рыбы были почти свободны, конечно, этому «почти» не хватало камышовых зарослей, и речных перекатов, и тенистых берегов, но все же тут было больше воли, чем в любом аквариуме. Пожалуй, можно было сравнить это с городом, рыбий город-бетон, разноязычная толпа...

Они терлись шершавыми боками о мою руку, торкались в ладонь, маленькие рыбешки покусывали, пощипывали кожу. Я чувствовал себя добрее и лучше, я был их защитником, доверчивость этих тварей не позволяла совершить неосторожного движения. Я был морским богом, Нептуном, или нет, я был тоже земной тварью, ничуть не лучше этих рыб. Каким прекрасным мог быть мир, земля, со всей ее природой, если бы человек лелеял ее! Не понимают, какая великолепная планета нам досталась, как нам крупно повезло!

...Я обнял олененка за шею. Старый олень на всякий случай тронул меня рогами. Так мы шли втроем навстречу Сомову. Олени могли бы убежать, но они знали, что я ничего плохого не сделаю, десятки, а может, сотни лет люди терпеливо растили здесь это доверие. Я наслаждался, ощущая шелковистую шерсть, слыша у груди сопение.

— Модель рая, — сказал Сомов.

Ну что ж, из всех благ рая самым привлекательным было блаженство общения с животными. Другие прелести райской жизни выглядели туманно. Если бы я рисовал райскую жизнь, я бы изобразил примерно такой парк: кругом бродят пятнистые олени, на пруду возятся бобры, птицы садятся на плечи, тут же ходят жирафы и всякие бегемоты. Сомова я поместил туда на всякий случай связанным.

— То, что наши дети видят животных большей частью в клетках, — сказал он, — весьма безнравственно!

Мне это понравилось, и я развязал его.

— Может, мечтой о дружбе с животными, — продолжал он, — и жива до сих пор легенда о рае.

А вот леса на Кюсю стояли пустые. Дорога крутилась по лесистым горам, но в лесах было тихо, и сами леса тянулись шеренгами посаженных криптомерий, деловые промышленные леса выращивались на доски без всяких подлесков, зарослей и прочих излишеств. Земля слишком дорога. На одно дерево полагается три с половиной квадратных метра. Ни зайцы, ни медведи в таких местах жить не могут. Леса не отличались от рисовых и чайных плантаций.

Как-то я спросил у Тэракура, видел ли он лошадь. Он задумался, потом просиял:

— Да, да, в детстве, я даже потрогал ее.

А я ни разу, ни в Токио, ни в Нагасаки, нигде, сколько мы ни ездили, даже из вагона поезда, на полях, на дорогах так мне и не удалось увидеть лошадь.

Н. СОМОВ

...Забыл, в каком городе это было. Повсюду нам попадались эти заведения, повсюду они выглядели одинаково ярко, шумно. Назывались они «пачинко». Итак, мы шли по «неважно какому городу», и Тэракура пригласил меня зайти в пачинко.

По-видимому, Тэракура почувствовал плохое мое настроение. Посреди самой удачной поездки беспричинно накатывает вдруг удрученность. Чем? Да ничем. Сколько ни копайся, не найти и повода. И это меня всегда злит — какая-то неуправляемость. словно что-то есть во мне, кроме разума, хотя ничего нет и не должно быть. В такие минуты можно поверить в существование пресловутой души. На самом деле это

чистая физиология, тонкая реакция организма на какие-то пусть даже счастливые переживания.

Торговые улочки пахли рыбой, мускатом. Асфальт был влажен. У лавок стояли на ходулях огромные венки, закрытые целлофаном. Мне хотелось сесть на корточки, так, чтобы никто не обращал на меня внимания и сам бы я тоже не обращал бы на себя внимания.

Тэракура рассказывал что-то веселое, показывал на жаровню, где готовили осьминогов. Старенький японец бросил лакированную деревянную птичку, она полетела вдоль прилавков и вернулась к нему в руки.

Внутри у меня было пусто и тихо. Никаких желаний. Я был как вода в осеннем пруду.

Итак, мы зашли в пачинко.

В большом зале стояло несколько десятков автоматов для игры в пачинко. Они тянулись рядами, похожие на коммутаторы телефонной станции.

Мы купили кучу стальных шариков, как в детском бильярде, и стали к автоматам. Надо было пустить шарики в лоток, затем щелкнуть рычажком, шарик взлетал от удара и, носясь по лабиринту гвоздиков, постепенно спускался. По дороге он мог попасть в какую-либо из лунок. Каждая лунка имела цену. Автомат выкидывал выигрыш — столько-то добавочных шариков.

Металлический перестук несся со всех концов зала, сливаясь в дробный грохот, и, перекрывая его, гремела музыка — бравурная, быстрая.

Я щелкал рычажком, шарик выпрыгивал и пускался в свой прихотливый, полный случайностей путь. Красные, зеленые створки — мимо, разрисованные лунки, самые скромные — мимо, самые счастливые — мимо. Панель была изукрашена пестрыми завитками, звездами, блестели золоченые гвоздики, счастье было рядом, крохотная щель удачи, на мгновение шарик замирал, но золоченый гвоздик отбрасывал его в сторону и опять вбок, все ниже и ниже. Надежда убывала. Последний желобок — прибежище проигравших. Закончились метания, шумные перескоки, прыжки. Медленно и обессиленно выходил шарик из игры. Таких большинство. Много лунок, столько раз могло повезти, и почему-то большинство уходило ни с чем.

Вскоре, однако, я установил, что судьба шарика зависит от силы начального толчка. Оптимальный вариант получался, когда шарик взлетал точно на вершину, над средним гвоздиком, даже еще точнее — к острию

зеленого листка. Теоретически я определил наивыгоднейшую траекторию, теперь надо было научиться регулировать щелчок. Вот она, самая богатая лунка, — целая куча призовых шариков с грохотом высыпалась в мой лоток. Запас пополнился.

Я посмотрел на Тэракура. Он играл за соседним автоматом. У него бежал не один шарик, а сразу несколько. Он не ждал конца пути, он запускал шарик за шариком, три или четыре их одновременно скакали по раскрашенной панели.

Я попробовал то же самое. Шарики понеслись, догоняя друг друга. Теперь проигрыш ощущался слабее, некогда было огорчаться, потому что вслед за неудачником бежали новые искатели, новые надежды. Я щелкал и щелкал рычажком. Музыка подгоняла, она играла все время чуть-чуть впереди, не давая передохнуть, остановиться. Счастье мое, грохочущее, дробное, то увеличивалось, то уменьшалось. Я уже ни о чем не думал, лишь бы иметь побольше шариков, чтобы снова гонять их, чтобы ими выиграть новые шарики.

По узкому коридору справа, слева от меня, спиной ко мне стояли мужчины, женщины и тоже щелкали, курили, жевали резинку, свободной рукой подливали себе пиво. Мой сосед слева, толстенький, мохнатый, похожий на шмеля, выигрывал. Он кивал и причмокивал от радости. А мои шарики постепенно убывали. Мелкие выигрыши не спасали меня. У него мчалось одновременно штук шесть шариков. В конце концов он тоже останется ни с чем, но позже меня. Пока он счастлив. У меня осталось семь, четыре, два...

Все кончилось, как наваждение. Воздух сразу стал дымным, тяжелым, грохот — железно-пронзительным.

Игра, казалось бы, лишённая смысла. Тэракура сказал, что выигранные шарики можно сдать, получить за них столько-то иен, но таких счастливчиков я почти не видел. Выигрывали для того, чтобы играть. Зачем? Не знаю, мне показалось, чтобы продлить ощущение *возможности*. Возможности чего? Тоже не знаю, возможности удачи или просто возможности играть. Игра в Игру. Я вдруг обнаружил в себе Игрока, что-то шевельнулось в душе, какие-то темные страсти азарта. Наверное, родись я на полвека раньше, я бы просадил все, что имел, где-нибудь в рулетку, за карточным столом... Но не в пачинко. Азарт в этой бессмысленной игре и тот, неподменный...

Тишина Сада камней — и стальной грохот пачинко. Сосредоточенность ушедшего в себя человека, мысли о Вселенной, вечности — и нелепая погоня шариков; люди, сидящие на ступеньках этого древнего храма, — и люди, часами стоящие у раскрашенных автоматов.

Контрасты — это не только дворцы и трущобы, это еще пачинко и Сад камней. И там и тут была Япония. Крайние полюса ее души. Впрочем, это скорее годится для Глеба Фокина. А если вдуматься, то ничего таинственного не было в этих крайностях. Все это могло совмещаться в одном человеке, Тэракура любил играть в пачинко и любил сидеть в Саду камней. И во мне самом было и то и другое. Конечно, пачинко было не опасно, если существовал Сад камней. Но Сад камней был один, а пачинко тысячи и тысячи. Они зазывали музыкой, шумом, иллюзиями. Ни о чем не думать было легче и приятнее. Пачинко распространилось после войны. Игра эта как бы имитировала суматошную лихорадку времени, бессмыслицу жизни, погоню за случаем, за удачей, бездумной и нетрудной...

Это была мнимость. От нее не оставалось ничего — ни горечи, ни воспоминаний, буквально ничего. Ценность короткой человеческой жизни, ее считанные свободные часы превращались в ничто. Прославленная тонкость чувств этих людей, способных ехать за сотни километров, чтобы увидеть цветение вишен, — все стало несколько двусмысленным после пачинко.

Г. ФОКИН

Дверь распахнулась от удара ногой. На улицу, покачиваясь, вышел японец, длиннорукий, маленький, грудь колесом, надутый, как краб. Две красотки в кимоно бережно поддерживали его. Блаженство, довольство собой и всем миром плавало в пьяно-туманных чертах его лица. Я позавидовал ему. Одна из девиц, мелко и быстро ступая, побежала навстречу такси. Машина остановилась. Девушки принялись усаживать своего кавалера. Они прощались долго и нежно, как будто расставались на веки вечные. Радость, печаль, любовь и тоска сменялись, как пируэты в старинном танце.

Один за другим выходили подвыпившие мужчины, сопровождаемые нарядными заботливыми женщинами, и происходила та же трогательная церемония.

Таксомоторы плотно заполнили тесную щель, где не было тротуаров, и машины ползли впритирку, чуть ли не извиваясь, а между подъездами и нишами, прижимаясь к стенам, скользили гибкие фигурки в кимоно, раздавался смех и слова прощания, последние объятия и поцелуи. Улочки, переулки, еще более тесные, еще ярче освещенные и совсем узенькие, где и пешеходам трудно разминуться, — повсюду я видел те же сцены.

Мужчины, не пьяные, а хмельные, находились в том прекрасном состоянии, когда от них несет не вином, а восторгом; женщины излучали любовь и преданность, в бесчисленных вариациях разыгрывали они короткие представления — прощание влюбленных. Участвовали трое, четверо, иногда целая компания — несколько мужчин, несколько женщин и очень редко — двое: он и она. Поэтому расставание шло в хорошем темпе, без пауз и трагизма. Такси трогалось, женщины махали вслед, посылали воздушные поцелуи, и таинственная дверь закрывалась за ними.

Маленькие эти пьески можно было видеть в промежутке с одиннадцати до полдвенадцатого, до двенадцати. Затем все прекращалось. Улочки по-прежнему пылали огнями. Толпа не убывала, но она сменялась резко. Начиналась ночная жизнь, грубая, откровенная. Бродили пьяные, какие-то безукоризненно одетые господа шепотом на всех языках предлагали свои услуги, скромно прогуливались проститутки, околачивались иностранные моряки, компании местных хиппи, на дымных жаровнях шипел картофель, креветки, работали ночные клубы, кабаре — все покупалось и продавалось, как положено значным кварталам ночных столиц.

Каждый свободный вечер проходя по Гиндзе, я любовался сценами ночного разъезда. Я видел финал, счастливый, чуть тронутый грустью конец, завершение чего-то такого же прекрасного, иначе откуда это выражение блаженства, довольства, покоя, не мгновенного, а накопленного. Что же происходило там, за этими дверями?

Что было вначале и что в середине?.. Мне доставался последний кадр — поцелуй под занавес, *happy end*, но разве можно судить по нему о том, что было?

Однажды я решил выяснить раз и навсегда — что там. Я пришел пораньше, толкнул одну из заветных дверей и вошел. Пожилая женщина в кимоно низко поклонилась и спросила по-английски, чем она может

служить. Я заверил ее в невинности моего любопытства. Она была предельно внимательна, как минимум ее интересовало, есть ли у нас общие знакомые. Она любезно порекомендовала мне ближайшие увеселительные заведения и проводила меня на улицу.

Мое прощание с ней было совсем не похоже на то, что я видел. Тайна стала жгучей, она распухла — казалось, в ней-то и хранится секрет счастья. Жизненный опыт утешал меня, как мог: при ближайшем рассмотрении там окажется нечто пошлое, банальное развлечение, кабаре с приправами, нечто вроде «Ночного Нью-Йорка», что обосновался под мостом. Простейшее заведение, где у входа продает билет полуодетая кассирша, а дальше в синем полумраке хозяйничают полуголые девочки, и на стене лампочки изображают контуры небоскребов. Здесь подешевле, там подороже — вот и вся разница.

Но я надеялся, что это не так. Я чувствовал это по сценам прощания — церемонным, веселым, как после праздничного бала.

А также я знал, что существуют гейши.

Гейш я не видел. И Сомов их не видел. Тэракура видел их когда-то, но по своей молодости и бедности не удостоился... Однажды в универмаге он показал мне гейшу. Она покупала перец. Белое, загримированное белилами лицо ее было как маска мима, все в нем было нарисовано и неподвижно, но ничего клоунского, ничего смешного. Это была маска красоты и женственности. Я застыл, неприлично-жадно разглядывая ее замысловатую прическу, синих птиц на рукавах кимоно, ее наряд, продуманный сотнями лет. Веки ее дрогнули, на мгновение из-за укрепления, из этих сложных декораций взглянула на меня девочка, самая обычная, веселая, кокетливая девочка... Вот и все, что я увидел.

Я знал, что меня прежде всего спросят о гейшах. Славка, тот мне проходу не даст, если я скажу, что не общался с гейшами. Рикши, гейши, кимоно и самураи — вот его набор. И еще икебана. Но икебану он переживет, кимоно он видел, самураи исчезли, тут я ни при чем, нет самураев, кончились, а вот рикши и гейши — это предметы, так сказать, первой необходимости для моего отчета.

Я уже подготовил конспект — гейш в Японии осталось немного, рикш тоже, рикши существуют главным образом для гейш, которые на них ездят, а рикши ездят на автомобилях, они неплохо зарабатывают и имеют свои машины. Гейши тоже хорошо зарабатывают, гейши, они совсем не то, что некоторые о них думают. Гейши, они совсем не для того, а для того, чтобы вести вечер, поддерживать беседу, приятную обстановку.

«Вот ты, альпинист и библиофил, — скажу я, — ты бы не смог быть гейшей, в силу своей примитивности, мелкого остроумия и сексуальной озабоченности».

Как-то придется выходить из положения.

Откровенно говоря, сам факт пребывания в Японии давал возможность придумать любые ситуации. Наличие некоторой фантазии плюс знакомство с литературой, плюс та гейша из универмага, и я мог бы выдать милую историю о вечере, проведенном с гейшей. Случайное знакомство, вечер в чайном домике (чайную церемонию я видел, так что описать ее можно во всех деталях), песни, танцы (это из кинофильма), разговор по душам (придется поднатужиться за двоих) и концовка неожиданная, — например, за окном студенческая демонстрация, религиозное шествие, нападение полиции, летят камни, слезоточивый газ, я спасаю... Пожалуй, лучше не спасать и вообще не зарываться, а оборвать рассказ и замолчать, тихонько вздохнув.

Уличить меня невозможно, да и зачем, важно, чтобы история была интересной.

Прием в честь Сомова открыл председатель ассоциации физиков, подсушенный, костлявый, из тех стариков, кому всегда даешь на вид меньше шестидесяти, хотя знаешь, что им давно за семьдесят.

Вообще мужчины в Японии большей частью выглядят моложе своих лет. Аспидно-черная шевелюра председателя могла служить рекламой разных эликсиров и мазей, которых он никогда не применял.

Физики стояли вдоль накрытых столов. Прием происходил по-европейски, «в стоячку», в небольшом зале клуба. Председатель произнес двухминутную речь в честь известного советского физика мистера Сомова, затем началась циркуляция, перемещение, брожение с тарелочками в руках, и в какой-то точно рассчитанный момент председатель постучал ножиком по бокалу

и дал слово Сомову. Искусство короткого ответа, пожалуй, наиболее сложное. Конечно, Сомов мог себе позволить не стесняться. Его бы слушали. Но вежливость обязывала его говорить меньше, чем председатель. Он произнес всего несколько фраз. В них была благодарность ассоциации, и всем присутствующим, и господину председателю, и надежда на дальнейшую взаимосвязь советской и японской науки во имя мира, и даже его впечатления о лабораториях. Все это выразилось с помощью шутливой формулы о сильных и слабых взаимодействиях, взятой из теоретической физики, очевидно известной всем, кроме меня, потому что раздались смех и аплодисменты, и несколько человек даже записали эту формулу.

Я заправлялся бутербродами, креветками, вином и наблюдал. Прием несколько отличался от обычных приемов, заполненных пустой болтовней, ненужными знакомствами, обменом визитными карточками, рассеяно запоминающими взглядами по сторонам: кто с кем общается, а кто с кем не общается, кто в стороне, кто в центре... Конечно, кое-кто при этом делал свои дела, старался показать, что вот он здесь, допущен, приглашен; большинство на таких приемах скучало.

Физики общались иначе. Было видно, что все они связаны единой работой, понятной им, интересной, они знали Сомова, Сомов знал их, или слышал, или читал, собеседники вокруг Сомова быстро сменялись, и с каждым у него с ходу начинался разговор о самом существенном. Они общались свободно, точно так же, как общались между собою наши физики. Это могло быть в Киеве или в Дубне.

Внезапно Сомов, тоже по какому-то неизвестному мне сигналу, стал откланиваться.

— Очень жаль, — сказал председатель.

— Уходить надо раньше, чем тебя попросили остаться, — сказал Сомов, и мы с господином О. отправились ужинать в рыбный ресторанчик.

Господин О., давний знакомый Сомова, ученик крупнейшего японского физика Хидэки Юкава, как только мы очутились на улице, снял галстук, взъерошил волосы, расстегнул пиджак, высвободив маленький крепкий животик гурмана.

В рыбном ресторанчике нас ждал господин Т., и хозяин, пожилой японец в белом колпаке, и два его сына

в белых куртках. Мы сели к стойке, за ней блестели плиты, краны, горелки, терки, разделочные столики, сковородки, кастрюли — настоящая лаборатория, где, сверкая ножами, орудовали хозяин с сыновьями.

Пиршество началось с каких-то крохотных синих рыбок, запеченных в сладком соусе, за ними последовали круглые рачки, за ними — плоские розовые рыбы, украшенные зеленью. К каждому блюду полагался набор соусов, приправ. Захватив палочками рыбу, надо было макать ее в коричневый соус, потом в красный, а иногда наоборот, потом прослаивать ее рисом. Попробовав очередную рыбку, мы должны были сообщить наше мнение.

Вкусовой набор этих рыбешек, и рыбищ, и улиток, и прочей водяной живности с их тончайшими оттенками запахов, сладости, сочности, пряности следовал в определенном порядке.

— Морская симфония! — восклицал Сомов. — Гастрономическая мелодия.

И в самом деле, это больше всего походило на музыку. Старик повар был дирижером, его помощники — оркестрантами. Сверкали ножи, шипело масло, шлепались рыбы тела, лилась вода, и все это сопровождалось ритмичными движениями, согласованными, как в оркестре. Я никогда не представлял, что можно так красиво потрошить рыбу, валять ее в сухарях, вертеть над огнем. Видимо, и впрямь труд настоящего мастера становится искусством, и зрелище это всегда красиво.

Где-то на пятнадцатом блюде я изнемог, отвалился. Весь сыт, а глаза голодны, как говорят: «Есть не может, а отстать не хочется». А тут и обидеть не хотелось. Чувствовалось, что хозяева старались уже не корысти ради, они, как артисты, вошли в раж, они делали все, что могли, чтобы оживить, подстегнуть наш аппетит.

Наконец был устроен перерыв с зеленым чаем и фирменным киселем.

— Вот это чудо, я признаю, — сказал Сомов, утирая пот.

— Какое ж тут чудо, обычный хороший ресторанчик, — сказал господин Т. — До войны таких было еще больше. Ах, если бы вы приехали к нам двадцать с лишним лет назад, когда Токио был в развалинах, вы бы согласились, что произошло чудо.

По-видимому, они продолжали спор, начатый на приеме, а может, еще раньше. Речь шла о пресловутом

японском чуде. Насколько я мог понять, господин Т. убеждал Сомова, что нынешнее процветание Японии можно объяснить лишь психологической пружинкой, которая распрямилась в японской нации. Духовная энергия народа породила невиданный скачок экономики. За короткий период страна вышла на второе место в мире среди капиталистических стран. Любые объективные причины не выясняют до конца то, что произошло, ведь и другие страны имели те же возможности.

— Но мы же с вами знаем, что чудес не бывает,— благодушно сказал Сомов.

— А вспомните, что вы мне говорили в первые дни приезда. Как вас поразило Токио, а по дороге на завод Ниссан — наш индустриальный пейзаж... Ведь это все заново.— Господин Т. скинул пиджак, потер руки.— Вспомните ваши первые пятилетки. Тоже это было чудо. Энтузиазм народа, всеобщий подъем. Почему же Япония не может...

— У нас был социальный подъем, революционный,— сохраняя спокойную улыбку, ответил Сомов.— Не станете же вы утверждать, что у вас социальное единство? Думаю, что тут существенная разница, и мы никогда не ссылались на национальный дух. Это не материалистическая категория.

Пока что он сохранял преимущество — господин Т. как бы защищался, он вынужден был предлагать варианты, а Сомов их отвергал, разбивал. Но господин Т. знал факты, разумеется, лучше Сомова и поспешил это использовать. Он приводил цифры выпуска машин, запасов риса, роста продукции электроники, радио, судостроения. (Я вспомнил целый квартал магазинов, где продавались транзисторы, магнитофоны, проигрыватели, диктофоны, телевизоры, от огромных аппаратов до крохотных сверхминиатюрных, сотни моделей. Магазины тянулись сплошными шеренгами, узкий лабиринт, по которому можно было ходить часами, не было им конца и края.)

— ...Чем вы это объясните? И надо учесть, что мы лишены сырья, топлива. Мы работаем на привозных минералах, нефти, железе.

— Вот именно,— согласился Сомов.— Как же вы можете конкурировать с другими странами? Тут никакой дух не поможет. Дух духом, а чтобы продать автомобиль, стоимость его должна быть ниже, чем, допустим, «фольксвагена».

— Вы сейчас сошлетесь на низкий жизненный уровень наших рабочих, — подхватил господин Т. — Да, да, согласен, они получают в три-четыре раза меньше американского. Ну и что из этого следует?

Мне нравилось, что он не соблюдал обычных церемоний, он повышал голос, стучал по столу, несколько даже щеголяя своими американскими манерами.

Зато господин О., молодой, толстый, полузакрыв глаза, сонно покачивал головой, и хотя под нами были высокие стулья, он как будто сидел, скрестив ноги, на циновке. Он не принимал участия в споре, он кивал на слова Сомова и на страстную речь господина Т., который довольно ловко использовал низкий доход рабочих, чтобы укрепить свою теорию возрожденного духа нации. Да, эксплуатация, соглашался он, но народ пока терпит эксплуатацию, воодушевленный патриотизмом, гордостью, возможностью создать могучую страну.

Сомов некоторое время молчал.

— А что думает по этому поводу наш молодой друг? — спросил он.

Господин О. качнулся:

— Многие из старшего поколения в восторге от нашего процветания...

Собственно, все, что говорилось в тот вечер, я передаю весьма приблизительно, но слова О. поразили меня и, может, запомнились лучше.

Он сказал, что его сверстники считают процветание естественным, они родились после войны, и процветание для них не чудо, так же как и не чудо современная демократия. Хотя по сравнению с императорской Японией она тоже удивительна.

— Для нас, — сказал он, — и демократия, и экономика, и духовная жизнь полны недостатков. Не восхищаться надо, а изменять. Что из того, что мы производим пять миллионов машин? Разговоры про чудо — опасные разговоры.

Он открыл глаза, тоненький голос его исполнился почтительной нежности:

— Не кажется ли вам, что, ссылаясь на японский дух, духовную энергию, тайную пружину и тому подобное, мы приходим к понятиям особенным, свойствам, так сказать, исключительным? Вы старше меня, не вызывает ли это у вас некоторых воспоминаний? — И тут сладчайшая его улыбка стала острой: — Напри-

мер, арийского духа? Исключительности немецкой нации, ее великой роли, миссии?

— Это не доказательство, это предупреждение, — взорвался господин Т.

— Конечно, конечно, дорогой Т.-сан, — весело согласился О. — Но вот давайте возьмем известную нам область полупроводников. Благодаря чему мы добились таких успехов? Посмотрим, что тут — дух или нечто иное. Сомов-сан, пользовались ли ваши ученые нашими работами, допустим, по термоохлаждению?

— Сейчас не припомню, — осторожно сказал Сомов.

— И позже, боюсь, не припомните. Потому что мы предпочитали чужое готовенькое. Ваши разработки и американские. Мы скупаем лицензии, быстренько осваиваем, благо рабочие руки дешевы. Наши транзисторы — результат не чуда, а торгашеской ловкости. Что стало с нашей наукой? Мы ведь хищники. Мы не развивали науку, мы пользовались чужими идеями. То есть паразитировали. А наши университеты — кого они готовят? Дельцов. Лакеев. Не мыслить, а воплощать. Вместо духовной жизни мы поощряем барыш. О, японский дух — это так удобно для спекуляции... Мы, японцы, тоньше других чувствуем красоту, мы, японцы, самые храбрые, мы умеем делать все, что другие, только лучше и быстрее, мы выращиваем самые маленькие, прелестные садики, у нас самый скорый в мире поезд. Не так ли? И куда мы едем на этом поезде? Что мы дали человечеству? Мы живем за счет своих древних поэтов и художников, нас накачивают национальным высокомерием...

Никто не поносил так японский капитализм, как этот молодой профессор Токийского университета, сонный, тучный чревоугодник.

Жаль, что господин Т. распростился с нами, не доходя до Симбаси. По широкой слабо освещенной улице двигалась колонна демонстрантов. Взявшись за руки, что-то выкрикивая, молодые люди, мелко переступая, бежали, вернее, изображали бег. Головы их были прикрыты касками, нижняя часть лица завязана полотенцем, они размахивали голубыми флагами и транспарантами. По бокам колонны, окантовывая ее цепью, шли полицейские, тоже в касках, в белых, с дубинками в руках и с большими серебрястыми щитами. А позади двигалась колонна зарешеченных машин.

— Пожалуйста, полюбуйтесь на единство духа нашего народа,— сладко сообщил господин О.— Видите, как заботливо полиция охраняет студентов.

— А что за машины сзади? — спросил я.

— Арестантские. Туда их будут сажать. Затем машина со слезоточивым газом. Соблаговолите обратить внимание на техническое оснащение нашей высокочтимой полиции.

Дойдя до площади, демонстранты уселись на мостовую. Оратор начал речь. Полицейские заняли все входы и выходы. При свете неона театрально поблескивали их высокие металлические щиты, длинные дубинки выглядели как копья, и эти шлемы на головах — ни дать ни взять древние воины.

— Вот они, долгожданные твои самураи,— сказал Сомов.

Впечатление путали маленькие радиопередатчики. Выставив штыри антенн, офицеры что-то докладывали, нетерпеливо переминаясь, ожидая приказов. А площадь скандировала. Парни и девушки сидели, раскачиваясь и выкрикивая какие-то лозунги.

— Чего они требуют? — спросил я.

— Наверняка демократизации университетских порядков. А в остальном я и сам не могу их понять.— Господин О. развел руками.— Они и сами не знают. Они смутно чувствуют, что нужны изменения; как всегда, у них нет ясной программы... Но это не страшно...— Он прицокнул языком, не договаривая.

Мне все больше нравился этот парень. Сама его внешность этакого щекастого бодисатвы, воплощение традиционного японского духа, словно была насмешкой. Всем своим видом, подчеркнутой старомодной учтивостью он как бы издевался над своим японством.

Итак, мы стояли посредине Токио, в гуще политических страстей, животы наши были набиты рыбой, а головы — неразрешимыми проблемами японской действительности. Слава Сомова осеняла нас. Столичный вечер был в разгаре, и нам не хотелось возвращаться в отель.

— А-а! Стоять без дела и делать дело может только почтовый ящик,— сказал О.— Пойдемте!

За этой фразой могло последовать что угодно. О. мог выйти на площадь и произнести речь, мы могли отправиться в бар выпить виски, пойти в театр, где играла жена О., затеять дискуссию со студентами... Но того, что произошло, никак нельзя было угадать.

На площадке лестницы, застланной красным ковром, нас встретила пожилая японка в кимоно. Она несколько раз поклонилась, и мы тоже поклонились, прижав руки к бокам. Она сделала вид, что не узнала меня. А может, и впрямь не узнала. Может быть, все европейцы были для нее на одно лицо, так же как и для меня в первые дни приезда — все японцы. Кроме парадных улыбок она отдельно улыбнулась О., и он ласково похлопал ее по плечу.

Довольно большой зал был разгорожен ширмочками, каждый столик существовал отдельно и вместе со всеми. Мама-сан провела нас мимо оркестра к свободному столику. Перед нами сразу появились миндаль, бутылка вина, вода. Мама-сан что-то говорила О., он отвергающе мотал головой, а потом улыбнулся и кивнул.

Сомов полагал, что мы пришли в обычный ресторан, он ни о чем не подозревал.

Через несколько минут к нам подошла девушка. Она обрадовалась, увидев господина О.

— Познакомьтесь, — сказал он. — Это Юкия.

Миленьякая, курносая, ростом чуть выше обычного, в кимоно, расшитом голубовато-зелеными цветами, она привлекала, пожалуй, лишь живостью подвижного, быстроглазого лица.

«Ну-ну, посмотрим, что у тебя получится», — подумал я. Я был полон недоверия. Мне мешало то, что я знал результат, заключительную сцену.

Когда пришло время уходить, оказалось, что мы просидели часа два, а то и больше, но тогда они промелькнули мгновенно; это позже, размышляя, что же было, я припоминал множество всякой всячины, и было странно, когда это мы все успели.

Наверное, можно написать большую повесть, даже роман про эти два часа. В нем почти не будет диалогов. Потому что я не говорил по-японски, а Юкия довольно плохо говорила по-английски. Сомов еще кое-как понимал ее. О.-сан кое-что переводил, но, в сущности, мы в этом и не очень нуждались. Особенно я. Казалось, я понимаю каждое ее слово, — такая у нее была выразительная мимика. Кроме того, мы танцевали, пели песни. Юкия учила нас японским песням, мы ее русским. Затем она показывала нам фокусы. Затем мы играли в смешную игру с монетой, которая лежала на бумаге, натянутой на фужере. Мы сигаретами прожигали

ли дырки в бумаге так, чтобы монета не упала... Я говорю «мы», но правильное было бы говорить «я». Потому что Юкия обращалась прежде всего ко мне. Я был героем вечера. Принесли кофе, еще бутылку вина, но я почти не пил. О.-сан, сложив руки на животе, кейфовал, дремотно полужакрыв глазки. Как гостеприимный хозяин, он отказывался от всяких прав на внимание Юкии. Изредка он вставлял слово, отхлебывал вино и вновь погружался в нирвану, наслаждаясь нашим весельем.

Когда мы спустились вниз, на улицу, я чувствовал на своем лице то самое хмельное блаженство, какое я наблюдал у других. Юкия тоже подозвала нам такси, и я, так же как и все на этой улочке и на соседних улочках, стал прощаться, полный благодарности, грусти и любви.

Что же произошло? Как это все получилось? Были моменты, когда я холодно пытался проследить, каким образом Юкия добивалась этого. Кое-что я понял, но немного, потому что отстраниться, стать наблюдателем не было случая, она не давала, да и не хотелось. И это не было ни гипнозом, ни наваждением, все совершалось честно, открыто.

Ночью, лежа в номере, я пытался разобраться в своих ощущениях... Разделить действия и впечатления. Занятие опасное, в духе Сомова, пытался анализировать точно и беспристрастно, не боясь разрушить туманно-счастливой тайны праздничности. В чем состоял секрет этого вечера?

Что, в сущности, происходило?

Я вспомнил, как заблестели глаза Юкии, когда она пожимала мою руку и оглядывала меня, не скрывая радостного удивления. Наконец-то! Господи милостивый, неужели это тот человек, которого она ждала так долго, годы, может, всю жизнь? Вот какое чувство исходило от нее. Он появился! И он — это был я. Появился невесть откуда, из какой-то неведомой страны, из космоса. Может быть, она видела меня в своих снах, именно о таком она мечтала. Нет, все это было тоньше, поначалу она еще сомневалась, присматривалась, но каждый мой жест, каждое слово подтверждали... Она узнавала меня. Я был Тот Самый! Постаревший, усталый — не важно, пустяки. Я пришел! Я здесь! Через несколько минут я уже чувствовал себя сказочным принцем. Все, что бы я ни говорил, что бы ни делал, вызывало ее восхищение. Я был прекрасен. Я был

остроумен. Моя неуклюжесть была прелестна. Мое смущение доказывало богатство моей души. Как хорошо, что я пел хриплым голосом, это напоминало Армстронга. Она ликовала, если ей удавалось угадать мое желание — погулять по залу, посмотреть, что делается за соседними столиками, познакомиться со своими подругами. Полюбуйтесь, кто со мной, вам, бедняжкам, и не мечталось. И они восхищались и украдкой от своих мужчин выказывали зависть. Я тоже сравнивал всех этих хостесс — миниатюрную Осано, и пухленькую Миура, и хрупкую Оэй, — но моя Юкия была лучше всех. Конечно, прежде всего потому, что она любила меня и только в ней я видел себя таким сильным, умным, таким мужчиной. Получив надежду и как бы уверясь в себе, Юкия расцветала на глазах. Короткие черные волосы делали ее похожей на девчонку. Ей было все нипочем, бескостно выгибая руки, она танцевала старые японские танцы и тут же переходила на мальчишескую джигу. Самозабвенная ее лихость закружила нас. Я скинул пиджак и вместе с ним обычную стеснительность, ни разу в Японии я не чувствовал себя так свободно, и даже Сомов разошелся, откуда-то появился в нем мужичок-потешник, присвистывающий, кукарекающий, прошелся в деревенском «лансе».

Жизнь давно вытравила во мне легковерие. Достаточно нахлебался я разочарований и обманов, в этих играх я и сам мог провести кого угодно. Если бы Юкия хоть где-то сфальшивила, чуть переиграла, для меня все бы рухнуло, обернулось бы пошлостью. В лучшем случае — искусная проституточка в экзотическом оформлении. Но ведь и мысли такой не возникало. Танцуя, она вдруг прижалась ко мне всем телом, я поцеловал ее, мы обнимались — все это было, и в то же время было это попутно, как бы в дополнение к другому, куда более важному и дорогому интересу. С ней хотелось поделиться, спросить, почему та женщина, в Ленинграде, ушла, ничего не объяснив, должна же быть какая-то причина, все шло так хорошо, пока не началось всерьез, неужели это испугало ее? Русские слова мешались с английскими. Юкия напряженно вслушивалась, она все понимала. А моя журналистика — разве это специальность? Что она по сравнению с точно оценимой работой Сомова? Если надо будет, он сумеет описать ту же Японию не хуже меня, а вот я сделать то, что он делает, никогда не смогу, как бы ни старался.

Казалось, никого в целом мире не волнуют мои беды так, как Юкию, глаза ее влажно блестели, она тихонько гладила мою руку.

Не знаю, может, я произнес всего несколько фраз, не в этом дело, важно, что нашлась душа, готовая принять в себя путаницу несправедливых и справедливых моих чувств.

Я не жалел и не пожалею тех минут своей открытости. За соседними столиками я видел таких же мужчин. Замотанный клерк жаловался другой Юкии на своего управляющего, который его затирает, на тяжкую, унижительную работу, годную разве что для начинающего юнца, на взяточника-полицейского, на шарлатана-врача, на налогового инспектора, на ведьму-тещу... «Управляющий? — восклицала та, другая Юкия.— Да он дрянь, тупица, ищет сладкое, а пирожок лежит на полке. Подумать только,— возмущалась она,— не замечать, не ценить такой талант, такого работника!» Ах, до чего же она была расстроена, не существовало для нее сейчас ничего, кроме его дел. Он — лотос среди грязи, журавль среди кур, а тот полицейский или врач — недобитая змея.

Клерк оживал, распрямлялся, она вбирала в себя его обиды, неудачи, надеяя его верой в богатства его души, не ведомые до сих пор никому...

Он становился могучим, никого не боялся, он был свободен, и горд, и всемогущ, как Будда. А что, и Будда сначала был обыкновенным человеком.

Любопытно, однако ж, что за каждым столиком восседала компания, по меньшей мере трое-двое мужчин и женщина. Парочек не было видно. Повсюду цвела любовь, клерки любили, и клерков любили прекрасной и чистой любовью, без низменных страстей, похоть отступала перед сладостью духовной близости.

Ах как это было возвышенно, хотя наверняка тут хватало и другого, но что я могу поделать, если мне виделись лишь райские кущи, порхающие ангелы; разбавленное вино казалось нектаром, а плохенький джаз звучал эоловой афрой (которую я никогда не слышал).

Однажды, в разгар нашей любви с Юкией, я вдруг, по русской жажде копаться в душе и выяснять смысл жизни, стал расспрашивать о ее планах, мечтах и, так сказать, общей перспективе. Мало мне было ее любви,

мне обязательно надо было выяснить прошлое, будущее, а также духовные запросы.

При всей ее выдержке, на какой-то миг она растерялась, украдкой посмотрела на О.

Только позже, вспоминая об этом вечере, я понял свою бестактность, я грубо нарушил правила игры, как дикарь залез на сцену ощупывать декорации.

О. едва заметно кивнул, и Юкия растроганно — повелитель соизволил заинтересоваться ее ничтожной особой! — рассказала о себе.

Ей уже двадцать три года. Несколько лет она обучалась этой своей специальности и вот уже лет шесть работает здесь. Весной она собирается выйти замуж. Жених? Его еще нет. Есть деньги. Это главное. Она скопила ту сумму, с которой — так, очевидно, принято — можно выходить замуж. Если подходящего парня она не найдет, то поработает еще сезон. А если и будущей весной с замужеством не получится, то она откроет собственное заведение. Пора, работать становится все тяжелее.

Непривычный этот разговор сбил ее, редко кто интересовался утренней и дневной Юкией, одинокой женщиной, озабоченной ежедневными расчетами, ценами, занятой с утра подготовкой к вечерней своей работе. Надо разучивать новые песенки, сделать массаж, гимнастику, целый комплекс, чтобы быть в форме, сохранить свежесть, вид идеальной нашей возлюбленной. Кого на нынешний вечер пошлет судьба — загулявших шелководов из Нагано, французских моряков, бизнесменов, студентов, больных печенью маклеров, жаждущих утешений и лирики, или одиноких неудачников, которые ищут простого сочувствия? Каждый раз ей надо находить единственно правильную роль.

Юкия повертела бокал, всматриваясь в блеклую желтизну вина. Лицо ее поднялось над улыбкой, которая сковывала ее губы, злое и грустное лицо, вышедшее из повиновения.

Мне захотелось посочувствовать ей, приободрить. Слова, что приходили на ум, были не те — или фальшивые, или обидные. И жесты не те. Мы как бы помнялись ролями, и я почувствовал, до чего трудна ее профессия, как нелегко проникнуться заботами чужой души.

Юкия взяла мою руку, потерлась носом о ладонь и сказала все слова, которые я искал, с какой-то неза-

метной ловкостью она все сместила, повернула, и получилось, что это я чуткий, добрый, заботливый, и опять я был вознесен и грелся в ее признательности.

По ковровой дорожке мы долго спускались вслед за другими компаниями таких же разнеженных от счастья мужчин и влюбленных в них женщин. Маленькая рука Юкии лежала в моей руке, другая ее маленькая рука обнимала Сомова, третья рука поддерживала О.-сана, остальные ее свободные руки обмахивались веером, вдевали гвоздики в петлицы наших пиджаков, она была двадцатируким Буддой, а я воздушным шаром, аэростатом, раздутым от любви к людям, от любви к самому себе, лучшему из всех, кого я знал. Я держался за Сомова, чтобы меня не унесло.

Юкия подозвала такси, мы стали прощаться. Воздушный шар не запихивался в машину. Я все пытался узнать у Юкии номер телефона, мы должны были увидеться завтра же, я не представлял, как она переживет нашу разлуку, хотя бы на несколько часов. Юкия показала на господина О. — он все знает, поцеловала меня, поцеловала Сомова, и машина тронулась.

Мы смотрели назад. Юкия стояла у подъезда и кланялась, кланялась нам вслед.

Поток машин заслонил ее, на повороте вновь открылась ее фигурка — руки повисли, голова опущена. Лица ее было не различить, но у других подъездов стояли другие женщины, и было видно, как гаснут их лица, становятся некрасивыми и сонными.

— Господи, как же это? — сказал Сомов. — Только что она так любила меня. Навечно любила. Куда все это делось?

Я выкатил на него глаза:

— Тебя?

— Конечно... Я-то думал, что она не в силах расстаться...

— При чем тут ты?

Ничего не понимая, мы уставились друг на друга, к великому восторгу господина О.

Сперва нас охватило возмущение: нас обманули, так обманули...

Затем обида.

Затем разочарование.

Затем мы вынуждены были рассмеяться.

Сомов спросил О.:

— Что было бы, если бы кто-либо из нас попросил Юкию о встрече?

На это О.-сан дипломатично ответил, что, конечно, нам бы она, может, и не отказала, но вообще такое не принято, разве недостаточно того, что было?

И в самом деле, подумал я, чем-то она похожа на мою Японию, которая была и которой не было, и которая тоже искусно играла, и тем не менее...

— Какое искусство! — неуверенно сказал Сомов. — Какая актриса!

— Спектакль, — сказал я. — Обман трудящихся. Иллюзии чужого мира.

Но в глубине души я продолжал думать, что все же что-то было, что хотя бы до четверти двенадцатого она любила, и любила всем сердцем, и, конечно, одного меня.

Н. СОМОВ

Ровно в четыре утра меня разбудил телефон и сообщил, что я просил разбудить меня в четыре утра.

Это было чудовищно. Я не хотел иметь никакого отношения к себе вчерашнему. Я был чист и невинен. Пусть он, вчерашний, встает и едет на этот рыбный базар. А мне этот базар ни к чему. Как я мог дать такое обещание Конеко-сану? Бедный Конеко-сан, ему ведь тоже этот рыбный рынок не нужен. И Глебу не нужен. И все мы, проклиная себя, встанем и потащимся. Конеко-сан — ради того, чтобы доставить нам удовольствие. Глеб — потому что нельзя не посмотреть. А я? Что-то ведь я думал вчера вечером. Но в том-то и дело, что вечером человек думает одно, а утром другое. Вечерний человек щедр, беспечен, ему нечего терять, день окончен, а завтра далеко. Всегда кажется, что завтра можно совершить чудеса. Завтра огромно и бесстрашно. Завтра и я мог бы встать в четыре утра. Но сегодня...

Утро вечера мудренее — вот к какому замечательному выводу я пришел. И это утро было одно из самых мудрых, поскольку оно было одно из самых утренних за последние годы.

Безлюдный, еще неприбранный Токио был мрачен. Холодный ветер гнал обрывки бумаг, кружил мусор на полутемных улицах. Город был словно покинутый, словно после отступления. Огни реклам погасли, не

осталось ни покупателей, ни продавцов, дома стали просто домами, они появлялись из убывающей тьмы, лишённые подробностей и украшений, нагие, некрасивые. За окном такси бежали длинные глухие заборы, брандмауэры. Глеб посапывал, приткнувшись к моему плечу. Конеко-сан сидел впереди, и затылок его ласково улыбался мне. Довольно трудно улыбаться затылком, но Конеко-сан умел и это. Не знаю, чем мы заслужили его любовь, когда-то он перевел одну мою книгу, и это все, что нас связывало. Однако Конеко-сан пользовался малейшей возможностью услужить нам. Он делал это незаметно, стараясь избежать наших благодарностей, так, чтобы мы не чувствовали себя обязанными. Может быть, он любил слушать нашу речь, а может, он просто любил нашу страну, не знаю. Студенты жаловались, что он плохо читал лекции, и тем не менее ходили его слушать. Что-то в нем привлекало — наверно, все же это была доброта. Вероятно, доброта повсюду дефицитна.

— Приехали, — сказал Конеко-сан.

Я растолкал Глеба, и мы вышли на знобкую, ветреную, нежданно людную площадь, забитую машинами, мотоциклами. Все куда-то бежали, суетились, бесцеремонно толкались. Рынок был крытый. Под высокой крышей горели сильные лампы, прожекторы, и внизу были лампы, посверкивая фарами, сновали электрокары, тархтели вагонетки, людей тут было еще больше, и сновали они еще быстрее. Сперва это напоминало пролет большущего цеха, а потом стало походить на город, такой это был огромный рынок. Здесь были свои улицы и проспекты, свои труппы и свои центры.

Людской поток захватил нас, мы тоже долго куда-то бежали, пока не очутились на каменной набережной. Дальше было море, а может, залив; из темноты доносился плеск волн и дул свежий сырой ветер. Тусклые фонарики покачивались на мачтах невидимых сейнеров и баркасов. Вся набережная была уложена рыбьими тушами. На каменных плитах тянулись ровные ряды громадных тунцов. Темно-лиловые матовые тела их одного размера, одного калибра казались отлитыми из одной формы. Они лежали как торпеды. На каждой красной краской был написан номер. Хвосты были отрублены и засунуты в пасти. Какие-то люди в брезентовых робах наклонялись, высвечивая фонариком нежно-розоватый разруб, тыкали пальцем в мясо, нюхали, записывали в книжечки номера и бежали дальше.

Лиловый фронт тунцов растянулся на десятки метров, за ними начались такие же шеренги платиново-зеленого отлива плоских рыб, названия которых Конекосан перевести не мог. За ними следовали перламутровые треугольные рыбы с выпученными глазами. И все шеренги идеально выровненные, одна к одной, и рыбы одинаковые, не рыбы, а изделия, серийные выпуски, изготовленные по стандарту — полтора метра, один и три, ноль девять... Промышленный вид этой продукции никак не был связан с морем, с рыбаками, с ловлей рыбы. Это была индустрия. Стояли ящики, уложенные доверху слоями всякой живности, также тщательно рассортированной по размерам.

Конекосан виновато поторопил нас: начинались аукционы — главное действие этого предприятия. Вместе с толпой перекупщиков мы устремились к маленькой трибуне. На нее взобрался аукционер, и без всяких предисловий начался торг. Аукционер показывал или выкрикивал номер, перекупщики выкрикивали цену. У каждого из них был тоже свой номер. Все были пронумерованы — люди, рыбы, аукционеры. Шел этот торг с невероятной быстротой. Перекупщики, однако, успевали листать записные книжки, находить партии, которые они перед этим высмотрели и оценили свежесть товара, успевали произвести свои, отнюдь не простые, вычисления, исходя из конъюнктуры, конкурентоспособности и прочих способностей. Причем все это происходило на каком-то условном языке, непонятном даже господину Конекосу, с криком, толкотней. Нравы тут царили самые бесцеремонные, брали горлом, нахрапом, хитростью. Кто кого. Кто быстрее, ловчее, нахальней. Кончался один аукцион, рядом начинался другой, и все мчались туда, к следующей трибуне. Аукционер стучал, взметались руки, почти одновременно, но аукционер определял это «почти», скупщики то обгоняли друг друга, то медлили, какая-то тут чувствовалась тактика, сговоры. Одного маленького старика молодой бровастый парень попросту отпихнул, переорал, аукционер ткнул в парня пальцем, утверждая сделку за ним, старик пытался протестовать, тогда аукционер что-то выкрикнул и больше уже не обращал на него внимания, попросту исключил его из торгов.

Старик со слезами взывал к окружающим, но слушать его было некогда. Аукционы сменялись без перерыва. Эта работа была не для стариков. Впервые я по-

жалел, что не имею фотоаппарата. Нащелкать бы эти физиономии — орущие, свирепые, сверкающие ненавистью выпученные глаза, оскаленные зубы, или вот это безжалостное лицо убийцы, наносящего удар. Тут не существовало ни приятелей, ни знакомых — одни враги. Каждая физиономия крупным планом, как реклама кино — кадры какого-то самурайского фильма, где идет сражение не на жизнь, а на смерть, ужас надвигающейся катастрофы, восстание, убийство — словом, под эти портреты можно было подставить любые грандиозные страсти и события, но никак не рыбный аукцион.

Гильдия перекупщиков (их насчитывалось что-то около шестисот человек) сражалась беззаветно. Они действовали точно по К. Марксу: товар — деньги — товар, большие деньги плюс маленькие деньги, все делалось ради этих денег, ради этой прибыли. Тунцы переходили из рук в руки, и каждый раз получались какие-то деньги. В редющей мгле токийского утра нарастала битва, с нее начинался столичный день. Тунцов вваливали на платформы, везли в оптовые магазины, которые располагались тут же. Ничто не изменилось в этих тунцах, пасти их были так же заткнуты хвостами, и все же это были уже другие тунцы, кто-то приобрел на них, кто-то потерял, они двигались от перекупщика к перекупщику, отдаляясь от ничего этого не ведавших, спящих в своих поселках рыбаков.

На большущих лотках оптовых магазинов красовались десятки, а может, и сотни сортов рыб. Под прицельным светом ламп лучились рыбы глаза, переливалась чешуя. Рыбы были переложены льдом, расфасованы в специальную бумагу, упакованы в яркие коробки, плетенки, ящички. Огромные раковины, длинные миноги, какие-то черные с узорами змеи, крабы клешня к клешне, рыбы усатые, рыбы красные, синие осьминоги — чего тут только не было! И все это сверкало красками, тарашило плавники, и тут же не утихала работа — тюкали топоры, рыбу потрошили, ее пилили электропилами, обмывали из шлангов, под ногами струилась розоватая вода. Подъезжали фургончики, автокары, тележки, новые перекупщики торопились отправить рыбу к открытию городских магазинов, в большие рестораны, где ее уже ждали хозяева маленьких закусовых, всяких забегаловок. А цены все нарастали,

каждый раз в мясо втыкали новую этикетку. Перед нами была действующая по всем правилам, наглядная модель капиталистического рынка. Политэкономия всегда казалась мне скучным и малонужным предметом. Кто мог подумать, что через столько лет, после сданного экзамена она возникнет передо мной, играя красками, в запахах моря, рыбы, икры, в этом немолчающем гаме, плеске.

Мы переходили от магазина к магазину, осьминоги выхвалялись друг перед другом, как манекенщицы, конкурировали всеми своими щупальцами. Похоже, что рыбы каждого прилавка были втянуты в конкуренцию. Впрочем, Конеко-сан не видел в этом никакого преувеличения, даже метафоры. Конкуренция, по его словам, пронизывает жизнь японца с раннего детства, с детского садика, который должен быть самым лучшим, хотя бы на этой улице, хотя бы лучше соседнего. Конкуренция в школе, на службе, кто кого, у кого больше телевизор, у кого лучше садик, у кого меньше собачка. В чем угодно, но вырваться вперед, обставить.

— Зато как рыбы выглядят! — сказал Конеко-сан.

Рыбы выглядели прекрасно, они подчеркивали свои формы, треугольные, и шарообразные, и плоские, они демонстрировали свою свежесть, узоры на чешуе. Каждая рыбина улыбалась, пасти их были вытянуты, как для поцелуя. Круглые глаза светились, подмигивали. Всем видом они обещали блаженство, они стремились на сковородку, а главное — они стремились доказать, что они вкуснее, свежее, чем на всех остальных лотках.

Подбиралось освещение, подбирался цвет упаковки так, чтобы рыбы выигрывали. Продавец должен быть художником: тунцы, кальмары, скаты, которые только что тянулись неразлично однообразными рядами, теперь преображались, становились разными в зависимости от искусства продавцов.

Многообразные формы жизни, поднятые из океанских глубин, сверкали, горели, поражая своей причудливостью. Каким образом родилось это изысканное уродство химер? Или эта фантастичность четырехглазки? Природа была неистощима на выдумку и всякий раз проявляла безупречный вкус. Чего стоили сочетания цветов коралловых рыб! Казалось, все это имеет какой-то глубокий смысл, зачем-то нужно, чтобы эти

рыбы были ленточные, а эти — шаровидные. Но мне этого уже не узнать. Не придется попробовать их на вкус, увидеть, как их ловят. Дразня своей огромностью и новизной, приоткрылся передо мной уже недостижимый мир. И собственная жизнь, в который раз за последнее время, показалась слишком короткой. Я подумал, что и японского языка мне уже не выучить, и не дожить до той поры, когда люди сумеют понимать друг друга без переводчика. Ведь будет же такое время. Да, не сменить уже специальность. На рыбалку и на ту уже не собраться. Ни на что времени не осталось. Расписание стало слишком жестким...

Глеб взял с прилавка акулый плавник, поднял его жестом римского трибуна.

— О вы, рыбовладельцы! — воскликнул он, обращаясь к хорошенькой японке за прилавком. — Скажите мне, ради чего природа трудилась миллионы лет, изоцряясь, совершенствуя эти организмы? Смотрите, какие диковинные вещи они придумали: вот глаза как перископы, а этот могучий хвост — словно винт корабля. И все это, по-вашему, для того, чтобы привлечь покупателя? Финиш всех усилий эволюции — прилавок. Все для рыбы, а рыбы для продажи. Все для продажи. Смотрите, на улице светает, и новые краски играют на жабрах. Кальмары порозовели. Зарделись кальмарчики! Нынешний восход солнца добавит вам еще двадцать иен на килограмм.

Японка улыбочиво кланялась. Мы с господином Конеко почтительно внимали обвинителю этого рыбовладельческого общества.

— О вы, Конеко-сан! И ты, Сомов, рыбий человек с рыбьей фамилией, вы все, кто спешит мимо, не понимая меня, и облик мой бесследно исчезает из вашей сетчатки! Вы, барышники, перекупщики, маклеры, лоточники, приказчики, торговцы! Я говорю вам: должна же быть какая-то иная цель у этой красоты! Кроме барыша и наживы! Что-то ведь и еще имела в виду природа!

Милая японочка надеялась, что Глеб все же купит парочку скатов или хотя бы акулый плавник.

Над улицей поднималось румяное теплое небо. Отъезжали розовые рефрижераторы, груженные розовыми бочками. Грузчики с узкими повязками на розовобритых головах садились перекусить. Аукционы кончились. Город просыпался. Улицы были еще пусты, но

мусорщики жгли на перекрестках маленькие костры из бумаг и отбросов. Горький белый дым стлался по мокрому асфальту. Куда-то пробежала женщина в черных брюках с малышом за спиной, в руках она держала охапку цветов. Ночные бары были закрыты, а утренние еще не открылись.

На витринах лежали тарелки с бутафорской едой. Город еще притворялся заспанным. Но меня уже он не мог провести. В подъезд шикарного отеля вышел швейцар. Начищенная золотая ливрея горела на нем. Он стоял выпятив грудь, чувствуя себя генералом. Он мечтал стать генералом. Я вдруг подумал, что если бы японцы первыми придумали атомную бомбу, они не задумываясь сбросили ее на американцев.

Я чувствовал, что начинается предвзятость и, что бы я ни увидел, все теперь будет питать эту предвзятость.

В переулке за низкой оградой мы увидели камни. Они лежали, большие и маленькие, на земляной площадке. И на каждом была цена. Камни стоили дорого. Мы так долго рассматривали их, пытаюсь понять, чем же определялась их стоимость, что не заметили, как открылась мастерская. Полутемная мастерская-магазин, плечистый хозяин в халате улыбнулся нам из ее глубины, показав свои длинные, расходящиеся веером зубы, и уселся работать. Он делал очередной камень. Он орудовал резцом и молоточком, потом он водил напильником, брал какие-то пропитанные краской губки. Действия его были странны, потому что непонятно было, чего он добивается. Перед ним стоял камень, обыкновенный камень. Он скалывал какой-то кусочек, прищурясь, оглядывал и так и этак, что-то еще выковыривал, где-то заглаживал, втирал краску.

— Он делает из обыкновенного камня хороший камень, — пояснил Конеко-сан.

— Ага, он выявляет в камне камень, — сказал я.

— Как же так, что ж это происходит? — сказал Глеб. — Значит, эти камни изготавлиются. Смотри, он втирает зеленую краску. Делает камень старым.

— Их покупают для всяких садов. Декоративных, — пояснил Конеко-сан.

— Значит, вот так был изготовлен и Сад камней? — спросил Глеб.

Конеко-сан успокаивающе улыбнулся:

— Не думаю.

— Но зато сейчас наверняка изготавливают, — сказал я. — Ты посмотри, какой получается старинный замшелый камень. Сколько в нем поэзии и раздумий! На десять тысяч иен, не меньше. Хочешь, я тебе куплю в подарок? Отправишь его багажом и поставишь у себя дома. Вместо телевизора.

Лицо Глеба передернулось, как от боли. Он ничего не ответил. Камни стояли рядами. Все разные: мрачно-черные, округлые, угловатые. Маленькие, в зазубринках и трещинах, напоминающие замки; большущие, похожие на вулкан по дороге из Кимамото; театральный вулкан, откуда шел желтый дым и пахло серой, а кругом были желтые бетонные доты, на всякий случай, чтобы укрыться от лавы. И дальше были горы, похожие на эти камни со светлыми верхушками, или, вернее, эти камни были куда более похожи на горы, чем сами горы, затянутые понизу голубыми сетями от камнепада, а некоторые были залиты бетоном, и бетон, чтобы не портить пейзажа, был покрашен в зеленый цвет. Это были хорошо отремонтированные, ухоженные горы, снабженные канатными дорогами и отелями.

Вдруг Глеб рассмеялся и утешающе взял меня под руку:

— А хорошо, что эти камни раздражают нас. Все же, значит, мы можем отличить настоящее от всякого подражания. Мне и в голову не приходило, что камнями здесь тоже торгуют. Дешевые копии, дорогие копии. Ну что ж, может, мы не имеем права смеяться над этим. И все равно, камни — это одно, а Сад камней — другое. Неважно, как их располагать. — Он совсем развеселился: — Ты знаешь, говорят, что древние японские художники время от времени меняли свои имена. Они не боялись как бы начинать сызнова. Все-таки это удивительно.

Я не очень понял, какая тут связь с камнями, но что-то тут было. Я попробовал представить, как я, Сомов, принимаю другую фамилию, появляюсь где-нибудь в Харькове, и нет у меня ничего — ни звания, ни наград, ни трудов, а есть только то, что я знаю, что умею. Ставят меня каким-нибудь младшим научным сотрудником, и все начинается с нуля. Надо доказать, что ты что-то можешь, тягаться с этими быстрыми, языкастыми, самоуверенными юнцами. Что ты для них:

престарелый дядька, у которого нет за плечами ничего, кроме возраста, — следовательно, неудачник. Легко вообразить, с какими насмешками принимались бы мои замечания и всякие предложения. Бог ты мой, какое трудное это было бы испытание!..

Лавочки открывались одна за другой. Хозяева выставляли к выходу обычные счастливые амулеты торговли — больших гипсовых собак и кошек. Бежали школьники в форменных костюмчиках, умытые, краснощекие. Шагали в свои офисы клерки. На улицах становилось тесно. Двигались машины, автобусы, мотоциклы, в воздухе нарастал запах бензина, запахи асфальта, запахи толпы, запахи закусочных, но сквозь все это я продолжал различать устойчивый запах рыбного рынка.

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ

Дождь в чужом городе	6
«Ты взвешен на весах...»	55
Собственное мнение	78
Первый посетитель	91
Обратный билет	109
Чужой дневник	181

ПУТЕШЕСТВИЯ

Месяц вверх ногами	212
Примечания к путеводителю	311
Прекрасная Ута	372
Неожиданное утро	423
Сад камней	452

Гранин Д.

Г 77 Собрание сочинений: В 5 т. Т. 2: Повести и рассказы; Путешествия. — Л.: Худож. лит., 1989. — 536 с.

ISBN 5—280—00862—1 (Т. 2)

ISBN 5—280—00860—5

Во второй том Собрания сочинений Даниила Александровича Гранина включены повести и рассказы — «Дождь в чужом городе», «Ты взвешен на весах...», «Собственное мнение», «Первый посетитель», «Обратный билет» и «Чужой дневник», а также циклы путевой прозы — «Месяц вверх ногами», «Прекрасная Ута», «Сад камней» и др.

Г $\frac{4702010201-060}{028(01)-89}$ подписное

ББК 84.Р7

ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГРАНИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ
ТОМ ВТОРОЙ

Редакторы А. Рулева, Т. Мельникова

Художественный редактор В. Лужин

Технический редактор Н. Литвина

Корректоры А. Борисенкова, Г. Щеголева

ИБ № 5270

Сдано в набор 04.07.88. Подписано в печать 10.03.89. Формат 84×108^{1/32}. Бумага кн.-журн. имп. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 28,14. Усл. кр.-отт. 28,56. Уч.-изд. л. 29,78. Тираж 100 000 экз. Изд. № ЛПШ-228. Заказ № 1635. Цена 2 р. 30 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.

